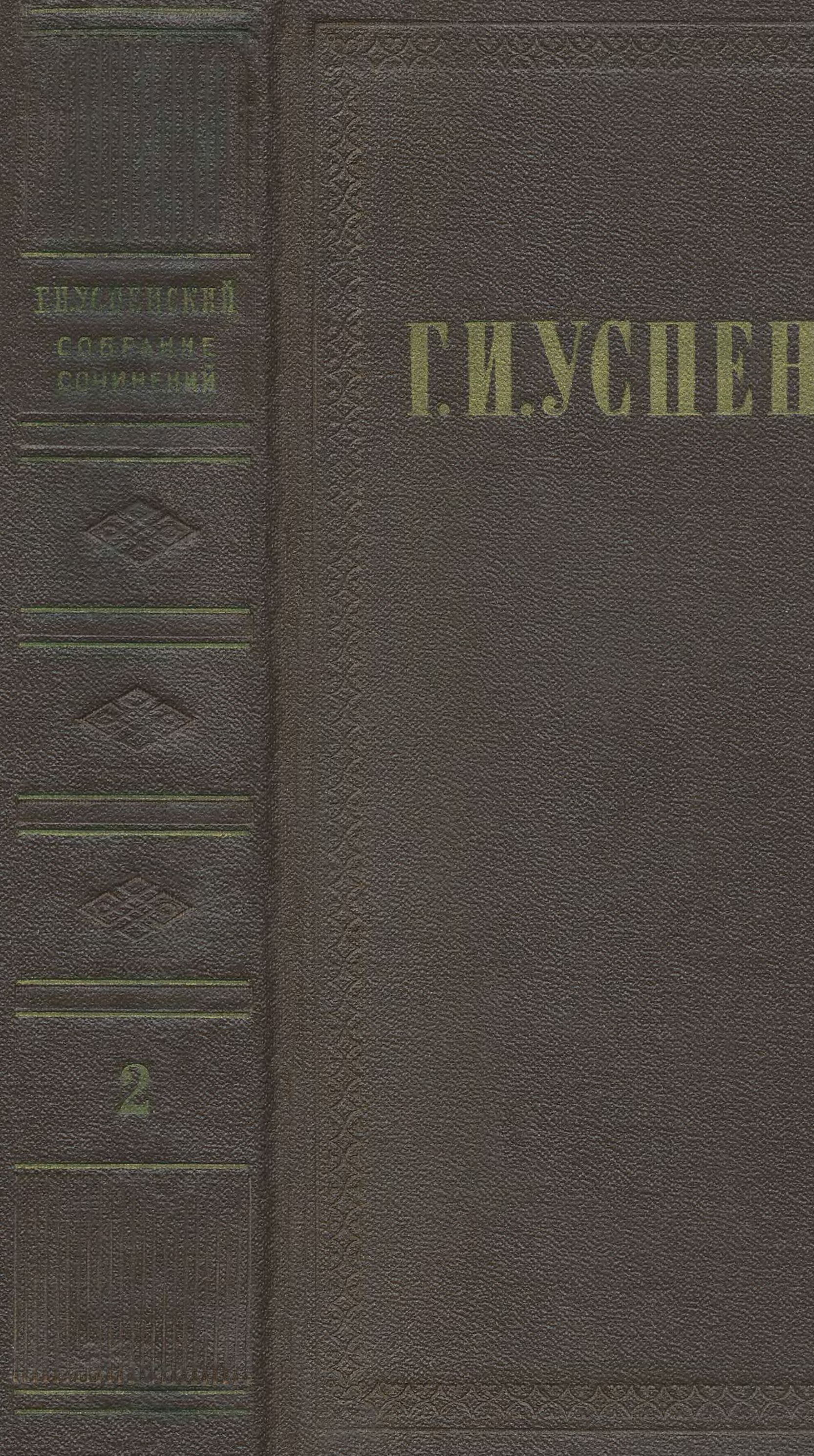


Г. И. УСПЕНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Г. И. УСПЕНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕВЯТИ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1955

Г. И. УСПЕНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 3

РАЗОРЕНЬЕ

ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1955

Издание осуществляется
под общей редакцией

В. П. ДРУЗИНА

Подготовка текста

Н. И. ПРУЦКОВА

Примечания

М. И. ДИКМАН

РАЗОРЕНЬЕ

Очерки
провинциальной жизни

РАЗОРЕНЬЕ[1]

Очерки провинциальной жизни

НАБЛЮДЕНИЯ МИХАИЛА ИВАНОВИЧА

I. МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

1

Несмотря на то, что новые времена «объявились» в наших местах еще только винтовой лестницей нового суда и недостроенной железной дорогой, жить всем (таков говор) стало гораздо скучней прежнего, ибо вместе с этими новостями пришло что-то такое, что уничтожило прежнюю, весьма приятную и певучую зевоту, и томит, и мешает. Никогда не было такого обилия скучающих людей, какое в настоящую пору переполняет решительно все углы общества, от лучшей гостиной в Дворянской улице до овощной и мелочной лавки Трифонова во Всесвятском переулке. Все это скучает, томится и вообще чувствует себя неловко.

---

[1] Под общим названием «Разоренья» здесь помещены три ряда очерков, печатавшихся прежде под тремя самостоятельными названиями: «Наблюдения Михаила Ивановича», «Тише воды, ниже травы» и «Наблюдения одного лентяя». По первоначальному плану «Разоренье» должно было составить *одну* большую работу, в которую должен был войти весь материал, распавшийся потом на три части. Обстоятельства чисто личного характера заставляли меня часто на долгое время прерывать работу, и когда она потом начиналась, после значительного перерыва, — придавать ей форму работы самостоятельной, как будто бы она не имела никакой связи с рядом предшествовавших очерков. Сколько-нибудь внимательный читатель увидит однако, что дневник «Тише воды, ниже травы» есть в сущности прямое продолжение первой части «Разоренья», печатаемой здесь под названием «Наблюдения Михаила Ивановича». В этой второй части действуют те же лица разоренной семьи — сын, дочь и мать. Но так как этот дневник по разным причинам появился после первой части почти чрез год, когда первую часть читатель мог и забыть, то являлось необходимым

Без сомнения, существует большая разница в формах тоски, наполняющей гостиную, и тоскою лавки; но так как нам приходится говорить о последней, то мы должны сказать, что упомянутая лавка и замечательна только потому, что служит пристанищем для тоскующего населения глухих улиц. Людям, потревоженным отставками, нотариусами, адвокатами и прочими знамениями времени, приятно забыться вблизи хозяина лавки — Трифонова, плотного, коренастого мужика, выбившегося из крепостных, любящего разговаривать о церковном пении, женском поле, медицине, словом — о всевозможных вещах и вопросах, за исключением тех, которые касаются современности. Среди современности господствует дороговизна, неуважение к чину и званию, неумение оценить человека заслуженного. У Трифонова же идет пение басом многолетий, варение микстур и целебных трав «против желудка», а сам хозяин ходит босиком и необыкновенно спокойно чешет желудок в виду самых разрушительных реформ. И к Трифонову идут... И когда бы вы ни зашли в лавочку, вы всегда найдете здесь двух-трех человек, ропщущих на неправды нового времени...

— Я говорю одно: иди и ложись в гроб! — взволнованным голосом говорит обнищавший от современности купец. — Нонешнее время не по нас... Потому нонешний порядок требует контракту, а контракт тянет к нотариусу, а нотариус призывает к штрафу!.. Нам этого нельзя... Мы люди простые... Мы желаем по душе, по чести.

изменить кое-что в характерах и обстановке главных действующих лиц. Неудивительно поэтому, что из собранных в этом томе очерков многое могло быть понято не так, как бы следовало, многому могло быть приписано вовсе не подобающее значение. Так, например, многим могло показаться, что в бессильном и слабом авторе дневника я желал видеть героя. Нет! этот тип так же, как почти все, что вошло в первые две части «Разоренья», отживает свой век, и автор дневника — тип «отживавшей» молодежи. Нарождению новых, неясных стремлений в толпе, то есть в неразвитой, забитой и необразованной среде, предполагалось посвятить третью часть, которая и явилась, опять-таки вследствие перерыва, под особым заглавием: «Наблюдения лентяя». Вообще же в объяснение недосказанностей некоторых из очерков, собранных в настоящем издании, я могу только еще раз сослаться на то, что уже сказано мною в предисловии к настоящему изданию.

Автор.

— Железная дорога! Ну что такое железная дорога? — говорит длинный и сухопарый чиновник Печкин в непромокаемой шинели. — Ну что такое железная дорога? Дорога, дорога... А что такое? в чем? почему? в каком смысле?

Много приходится Трифонову выслушивать излияний в подобном роде, но все это не составляет для него особенной трудности, потому что он, собственно говоря, и не слушает, что ему толкуют, и нуждается в приходящих и тоскующих только потому, что ему нужно кому-нибудь объяснить и свои размышления по части пения и врачевания.

— Ну хорошо, — как будто бы отвечая купцу, говорит он по окончании его речи. — Ну будем говорить так: советуют сшить сапоги из белой собаки. Предположим так, что я возьму и собаку... Но в каком смысле белая собака может облегчать ломоту?

И купец и чиновник, получившие такой ответ на свои сетования, никогда не претендуют на Трифонова; напротив: они весьма довольны этим невмешательством, ибо им, как и всякому, пораженному тоскою, хочется отыскать такой уголок, где бы он мог выкричать, занянчить своего нотариуса, свою железную дорогу без помехи. И так как большинство посетителей стоит именно за это невмешательство и уже привыкло говорить свое, не слушая друг друга, то всякий, желающий вести настоящие разговоры, то есть отвечать на вопросы, возражать и т. п., должен невольно покоряться общему ходу беседы и разговаривать сам с собою.

В лавке Трифонова бывает всего один из таких посетителей, пользующийся особенным невниманием потому, во-первых, что звание его, как шатающегося без дела заводского рабочего, уже само собою уничтожает всякое внимание к нему среди присутствующих в лавке чиновников и купцов, и, во-вторых, потому, что разговоры его тоже не идут в общую колею. И поэтому никто из посетителей не замечает, как тощая фигура Михаила Иваныча (так зовут этого человека), весьма похожая на фигуру театрального ламповщика или наклеивателя афиш, топчется то около купца, то около чиновника и сиплым голосом, в котором слышится чахоточная нота, пытается вступить в разговоры.

— А-а-а! — радостно оскаливаясь, говорит Михаил Иваныч купцу, вытягивая вперед голову и складывая назади руки. — А-а-а! .. не любишь! .. А тебе хочется по-старинному, с кулечком к приказному через задний ход? Заткнул ему в глотку голову сахару — и грабь? .. Нет, погодишь! .. Нонче вашего брата оболванивают! .. Ноне, брат, погодишь! .. Нет, повертись! Наживи ума!

Кашель прерывает его речь; но Михаил Иваныч не жалеет своей груди и, ответив купцу, тотчас же поворачивает свою вытянутую голову к чиновнику.

— А-а-а! .. Прижжучили! .. — хрипит он. — Оччень, очень великолепно! Очумели спросонок? Дороги чугунной не узнаете? Я вам покажу чугунную дорогу! .. Дай обладят, я тебе представлю, коль скоро может она простого человека в Петербург доставлять! Смахаем в Питер к Максиму Петровичу — так узнаешь дорогу! .. Н-нет, мало! Очень мало. О-ох бы хоррошенько...

— Ну хорошо... будем говорить так... — раздается басистый голос Трифонова, и в ту же минуту Михаил Иваныч обращает к нему пристальные, волнующиеся глаза, какими смотрит голодная собака на кусок. — Предположим, ежели буду я мешать микстуру палкой...

— Палкой? — хватаясь за слово, тоже как собака за кусок, вскрикивает Михаил Иваныч. — Нет, пора бросить! .. Ноне она об двух концах стала! .. Пора шваркнуть ее, палку-то! .. Д-да! Порассказать в Питере — ахнут! Ноне она об двух концах стала... Да-а! Позвольте вам заметить.

При последних словах Михаил Иваныч энергично тряс головой; но едва ли десятая часть его слов доходила до ушей посетителей, слишком плотно заткнутых нотариусами и железными дорогами. Кроме заморенного, не звучного, а как-то шумевшего голоса, который уже сам собою уничтожал силу его выражений, невмешательство посетителей было так велико, что к концу вечера Михаил Иваныч принужден был прибегать к содействию неодушевленных предметов.

— Пора простому человеку дать дыхание! — надседается он перед кульком с капустой. — Довольно над ним потешаться, разбойничать! .. Дайте ход! .. Что вы-с? .. Докуда вам разбойничать, — пора и вам ох-

нуть. Нет, поздоровей бы. Дай в Питер смахать, — я покажу! ..

Кулек с кочнями долго и внимательно выслушивал ропот Михаила Иваныча на разбойников и грабителей, безмолвно соглашался с его намерением насчет Питера и так же безмолвно провожал его, когда Михаил Иваныч, с сердцем надвинув шапку, уходил вон из лавки.

Перебравшись через длинную дровяную площадь, в виду которой помещается лавка Трифонова, он обыкновенно направлялся к подгородной слободке Яндовищу, иногда пешком, а иногда на беговых дрожках. Миновав Яндовище, он выезжал в поле, на большую уездную дорогу. Здесь, в трех верстах от города, стояло сельцо Жолтиково, с чудотворной иконой и разорившимся барчуком Уткиным, у которого Михаил Иваныч имел пристанище в кухне и исполнял разные поручения: ходил к бабушке барчука с письмами о деньгах, узнавал в городе, нет ли какого «представленья», гулянья и проч.

2

Как бы ни странен был Михаил Иваныч, набрасывающийся на людей, не обращающих на него ни малейшего внимания, и объясняющий кульку необходимость хода для простого человека, но его злость на прошлые времена, среди людей, проклинающих времена настоящие, обязывает нас к более обстоятельному знакомству с историей больной его груди.

И это знакомство тем легче, что Михаил Иваныч сам ищет человека, с которым можно бы было потолковать. Неудовлетворенный беседою с кульком, он прилипает ко всякому, кто хотя мельком взглянет на него, кто хотя от нечего делать задаст ему вопрос или ответит ему. Возвращаясь, например, ночью от Трифонова в Жолтиково, он зорко выслеживает, нет ли где огонька и, следовательно, вопроса и разговора. И где бы ни мелькнул такой огонек — в караулке ли господского сада, в кабачке ли, — Михаил Иваныч тотчас привертывает к нему свои дрожки и заводит беседу со всяким, кто попадется ему на глаза.

— Да как же с ними, с чертями, не разругаться! — дребезжит его заморенный голос среди пустынного кабака, где сальный огарок освещает курчавую голову целовальника, покоящегося за стойкой, и высокую фигуру угрюмо пьяного, пошатывающегося мужика. — Как их, бесов, не лаять, не хаять? — продолжал он, намекая своими словами на трифоновских посетителей. — Ты думаешь, ему это и в самом деле чугунка помешала?.. Ем-му зацарапать нечего в ла-апу!.. Будьте вы покойны!.. Ему не дозволяют по нонешнему времени разбою, — вот он и скулит, как пес: что такое чугунная дорога?

Сделав несколько торопливых шагов, Михаил Иваныч снова близко подходит, почти подбегает к угрюмому слушателю и продолжает:

— Купец-то вон в гроб просится: «Заройте меня живого!..» Эва! новые порядки, вишь, ему не по вкусу!.. А все потому, что ему с приказным нельзя оболванивать простого человека. И слава богу! И даже так, что поздоровее бы господь-батюшка их хлестанул... Очень великолепно!.. Потому они заморили, задушили простого человека. Через ихнее обиранье простой человек дураком стал... болваном...

Говоря так, Михаил Иваныч не может остаться на одном месте. Гнев заставляет его поминутно отходить от слушателя и тотчас же возвращаться к нему.

— Почему простой человек — дурак, болван? Почему он в жись свою сладкого куска не едал и сапог цельных не нашивал? Почему он заместо этого получал по скуле?.. Потому што его сапоги-то чужие носили... Брат!.. Голубчик!.. У чиновника-то, что чугунку лает, небось вон дом; а на какие он труды нажил? Жалованья ему всего грош! Откуда-а? — с нас! с нас, христианская душа! Наше все, хрусталь!..

Михаил Иваныч любил посылать слушателям эпитеты вроде «хрусталь», «птичка» и проч., не замечая, как и на этот раз, что они не совсем соответствуют тем лицам, к которым относятся. Михаилу Иванычу некогда было разбирать, что пьяный мужик в грязи далеко не походит, например, на хрусталь: ему нужно было говорить, высказываться.

— На наши! Всё на наши, брат!.. Купец брюхо нажевал по какому случаю? — по тому случаю, что с рабо-

чих либо так с мужиков лупил; у мужика совесть, а у купца ее нету, — вот он и загребает его когтями-то. Вот по какому случаю происходит брюхо! Все они домы строили и животы растили на наш счет, а наш брат получал по скуле... И немало их было!.. Ох, и нне-мма-а-ло, купидончик, было их!.. Задушены мы ими — так ли аккуратно...

Михаил Иваныч, произносящий последние слова с особенною протяженностью, вдруг словно вспыхивает и подлетает к самой бороде слушателя.

— Почему я нищий? — почти кричит он, ударяя себя кулаком в грудь и пристально смотря в лицо мужика. — Скажи ты мне, на каком основании до тридцати лет я дожил, нету у меня ни крова, ни приюта?.. Отвечай: имею ли я равномерную с благородным человеком душу? Говори мне!

Часто случается, что во время этих рассуждений Михаила Иваныча слушатель успеет заснуть или уйти; но можно сказать наверное, что в пылу гнева на прошлые времена Михаил Иваныч решительно не замечает этого; слушателем его может быть курчавый затылок спящего целовальника, ползущий по стойке таракан — все равно. Теперь уже нужно иметь только точку опоры для взора; ни вопросов, ни ответов не требуется; все, что накопилось в его груди, вырвалось наружу и хлынуло рекой.

— Отвечай мне, — вопрошал он затылок целовальника: — на каком основании обязан я быть дубьем, ходить ощупкой? Пред кем я грешен, пред кем виновен? А потому, что я простой человек! Простого звания! На этом основании и я виновен... Всякому мой хлеб был нужен! Кабы я ел свой-то, трудовой хлеб сполна, значит, получал бы, что мне следует, я, может быть, человеком бы был... Милашка моя!.. Может быть, и я бы все понимал, всякую причину, что к чему... А то, рассуди ты сам, как мне ослом-дуроломом не быть, коли я с малых дён нищим был. Ведь мне каши-то с малых дён в рот не влетало, дубина! А почему я недостоин каши? Почему в нашей губернии, коли кашу на стол, баб и ребят вон? А на том основании, что она другим требуется... Теперича десятнику потребна корова, — он к мужику: из каши-то нашей горсточку себе... Сотскому требуется телега, чтоб столярная, например, — он опять к нам, уж поболе

зацепляет... Старосте охота пчел держать... голове требуется овец гуртами гонять, чиновников угощать, дом строить, хоромы — всё к нам, всё из нашей каши! А там и над головами, и над старшинами, и над прочими — еще выше были; те уж, брат, на тройках к нам залетывали с бубенцами и всё спахивали, что-которое осталось, — ровно пожаром... Тем поболе пчелы требовалось, тем, братец ты мой, в благородстве надобно состоять, гулять в шляпках, в тряпках! Вот оно по какому случаю мы и побиралися, и просили у проезжающих христа ради, и, ровно собаки, куску радовались! Вот оно почему. С эстого с голоду-то и родители наши помирали, и сиротами мы оставались... Вот оно что, друг ты мой, купидон, дубина стоеросовая, рыжий чорт!

Безмолвствующий затылок не слышит этих ругательств, и Михаил Иваныч может беспрепятственно срывать на нем свой гнев и делиться своими обидами с мертвой тишиной пустынного кабака.

— Вот отчего! — продолжает он. — По тому случаю мы дураки, что прижимка, например, обдерка над нами была большая напущена! Вот чиновник-то орет: «Плохо жить стало!», а ведь этакую дубину мы прокармливали, мы ему, шалаю, сюртуки, манишки шили... Я это знаю; я видел, поверьте нашим словам! Потому я не в одной деревне претерпел от этого разбою, я и в городе его видел... Городской разбой пуще деревенского был... Тут простому человеку совсем дыхания не было... Привела меня тетка в город, нашлись добрые люди — мещане, взяли меня жить к себе. Девушка была у них одна... что за умница! Грамоте меня стала обучать, и, может, господь бы дал, в люди бы я вышел, человеком бы был (при этих словах Михаил Иваныч с особенною силою ударил себя в грудь, нагибаясь над сонным слушателем). Человеком бы-ы! Так ведь нет, — не дали! Словно они дожидались меня, сироту, потому только было я в тепло-то к мещанину попал, а уж из кварталу бежит скороход. «А где здесь заблуждающий мальчишка? . .» — «А что?» — «А то — пожалуйте его в часть». А зачем? Что я преступил? А то, что солдату трубочки надо покурить, водочки хлебнуть, — вот он и волочет меня в квартал, потому, знает, придут, выкупят... Да еще что-о! Везет меня в фартал-то на извозчике, да и с извозчика-то колупнет:

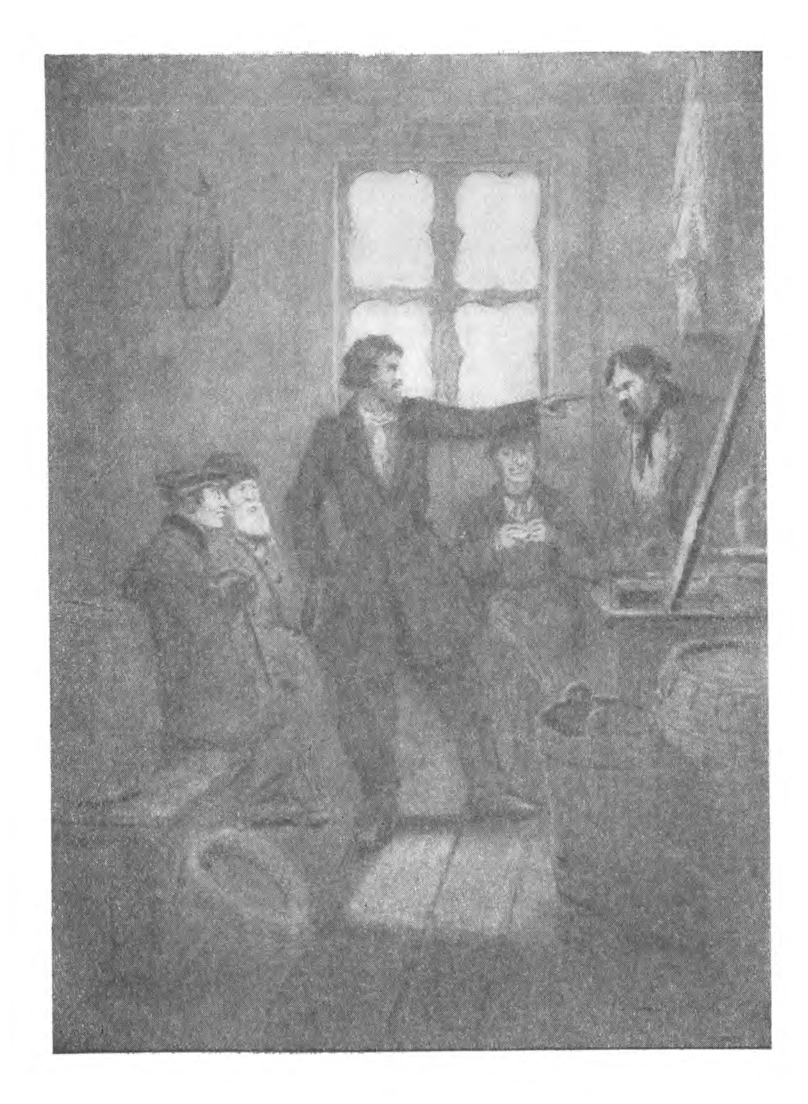
«Где билет? Был у исповеди, у причастия?» Да не на одном извозчике-то везет, а норовит от биржи до биржи, по закону, и со всех получит на свое прожитие; потому всем им, окроме мужика, не с кого взять. Без мужика-то им нечего старшому дать; а старшому тоже ведь надыть помазать квартального, а квартальному — частного... все на наш счет. Доброму человеку дня было не изжить. Вон мещанин-то мне пользу хотел сделать, добро — так они на него набросились, как скорпии! Подлая тварь! Пойми!.. Вот по какому случаю я чиновника-то ноне у Трифонова оборвал... Может, потому я и мучаюсь, что требовался ему каменный дом либо хомут новый: — и он меня в квартале томил и мещанина разорял... У-у! чтоб вам!.. А мало их было охотников-то трубочки покурить, сладкого кусочка пососать? Города строили! Что вы? Сделайте милость! С чего нашему городу быть? Кабы бабы наши кашей лакомились, небось бы не оченно-то много этак-то народу к осьмому часу к киатру разлетались на жеребцах... Н-нет, брат!.. Н-не очень! а то... «Эй, кричит, задавлю, мужик! Берегись, мол». Эво ли заг-гибают! Не знают, на какой манер сытость свою разыграть, — а наш брат нищий и чумовой ходит! Я, брат, видел, как из кварталу меня господа чиновники Черемухины «вынули» на прокормление; тут я уведомился, сколь они с чужих денег ошалели, — пиры, да банкеты, да кувырканья — весь и сказ! Голодны они — мужик, простой человек, терпит, дает им корм, а накормит он их — опять тоже ему вред и от эфтого... Теперьче посуди: жил я у мещанина; жена у него померла; осталось у него три дочки... то есть, я тебе говорю, девушки... Что же, брат? Выбегут это на улицу погулять, ан уж тут с сытыми утробами погуливают разные народы... Вот и колесят. «Мы вас замуж возьмем, благородные будете»... А тем и любо! Потому благородными превосходнее быть, не чем этак-то, как они, по ночам иглой тачать, слепнуть... Ну — и... Теперь вон на! поди! глянь!.. ровно как рваные тряпки по лужам валяются! Полюбопытствуй — поди!.. Может, теперь бы у меня такая ли супруга-пособница была, коли б не сытость-то эта краденая. Я почесть полгода дорывался, чтоб она на меня, на чумарзого, взглянула; да по ночам ворочал на заводе в огне да в пламени, чтоб мне лишний рубь достать, ей купить гостинчика полако-

миться. А чиновник-то налетел с мадерой, да с гитарой, да с шелковым платком — ан и взял! И шиш под нос! Наш брат ободранный человек песню-то поет, ровно режет ножом, потому голос-то наш в огне перекипел, а тот запоет песенку любо-два — ай-люли! Потому в огне он не горел, а больше нашего брата очищал... И бел он, и мадера, и на гитаре, примерно!.. А нашего брата по скуле! Он вон шваркнул ее, Аннушку-то, разорвал ее, словно собака тряпку завалящую, да и побег к осьмому часу к киатру, а наш брат только жилы свои в работе иссушил попусту; потому нам ее уж взять нельзя, Аннушку-то! уж нам невозможно этого! уж она набалована! Ей уж дай платочек шелковый... Он — шелковый-то платок — и нашему брату подходит к лицу, да нам об этом надо бросить думать... вот! Потому мы обязаны быть дураками, ошалелыми, коркой дорожить, по-собачьи жить, — потому наш хлеб другим надобился... Слышишь, рыжая ты шельма? Другие наш хлеб ели, бешеная ты собака!

— Вон! — внезапно поднимаясь во весь рост, гремит громадная фигура целовальника, сообразившего, что причиною некоторого беспокойства, испытываемого им во сне, было непрестанное разглагольствование Михаила Иваныча. — У-дди! У-убью!

Перепуганный сжатыми кулаками и вытаращенными глазами целовальника, Михаил Иваныч пятится к двери, зажимая рукою рот, чтобы рассвирепевшим кашлем еще более не рассердить врага; и так как враг в скором времени выказывает намерение броситься к нему из-за стойки, то Михаил Иваныч и исчезает вон из кабака. Спустя минуту дрожки его дребезжат среди темной дороги к Жолтикову. Но необходимость высказаться не прекращается красноречивым внушением целовальника насчет молчания; Михаил Иваныч снова ищет слушателя, огонька, и снова, завидев его, погоняет свою лошадь, и везде, куда бы он ни привернул свою лошадь, в караулку ли при господском саду, на мельницу, к постоялому двору, — везде слышится его чахоточная речь.

— И очень великолепно, коли кого из этих грабителей чем-нибудь да припрут! Рад я! Душевно. Одна мне и утеха, что на это поглядеть. Потому ошалели мы от них, дураками и нищими стали... В прежнее время чиновник-



то трифоновский — он бы меня в гроб вогнал ни за что... А теперича погодишь! И слава богу!.. Теперича еще и простой человек с ними, пожалуй, потягается... Да-а!

И затем, в подтверждение слов о господстве в старое время прижимки над простым человеком, Михаил Иваныч приводил множество фактов из своей биографии. И действительно, фактов этих перебывало на его спине достаточное количество, потому что, в качестве сироты и простого человека, он отведал прижимку и в деревне, и в городе, где жил у мещанина, изнывал в квартале, побирался, и, наконец, в казенном заводе, в качестве рабочего. Результатом этой «прижимки», по объяснению Михаила Иваныча, было одурение и обнищание простого человека, что и можно видеть на нашем рабочем, на нашем простом мужике, немыслимых без «зелена вина». Если сам Михаил Иваныч ушел от этого отупения и умеет рассуждать о прижимке, то этому есть особенная причина, о которой Михаил Иваныч рассказывает не с злостью и негодованием, волнующими его при воспоминании о прошлом, а с какою-то необыкновенною нежностью и внимательностью.

— А потому, — говорит он, разъясняя этот вопрос, — что я имею просияние моего ума! Вот-с на каком основании я всю эту разбойничью механику понимаю и чувствую и злюсь! Простой мужик делается от этого балбесом, но я, по моему понятию, получаю чахотку... Вот-с на каком основании. В течение времени моей жизни встретил я человека, который по щеке не бил, но внедрил в мою душу понятие...

Михаил Иваныч любил понянчиться с этим воспоминанием из своей несчастной жизни и говорил не спеша, останавливаясь:

— Ну, в то же самое время, — продолжал он, — надо сказать так, что и этот человек, благодетель мой, в первоначальное время нашего знакомства тоже по щеке меня щелконул довольно благополучно... для собственной моей пользы... Именно-с «для пользы», по той причине, что наш брат, простой человек, столь от разных народов за все про все наскулен, что и пользу ежели хочешь ему сделать, то и в ту пору без рукопашья не обойдешься... По этому случаю благодетель мой, Максим Петрович, в достаточной степени меня с печи за волосья сгромыхнул

в первоначальное время знакомства... Такое было дело: докладывал я вам, что из части, когда мещанин помер, взяли меня на прокормление чиновники Черемухины. Бывши в побирушках, в нищих, с холоду да с голоду да с кварталу очень мало я в ту пору на человека сходствовал, потому что, живши в квартале, коротко и ясно можно потерять человеческий лик и получить собачью манеру. По этому случаю, когда меня ввели в черемухинскую кухню, то стал я хватать съестное, например, съедобное. Стал рвать, набросился. Кухарка назвала меня в ту пору «волчий рот». И так я набрасывался, так набрасывался, до забвения доходил. Отъедался, отъедался я тут быстро, поспешно: вся прислуга у них очень торопливо отъедалась и щеки нагуливала, потому мужики всего натащат, не жалко — ешь! Хорошо. Как только привык я к сладкому куску, стал я свою бедность вспоминать, и стало мне страшно: ну-ко да выгонят отсюда, — что тогда? Страшна мне корка собачья показалась! .. Стал я об себе думать... И делаю такое замечание, что у всех народов идет грабеж. Кухарка и кучер с мужиков, барин и барыня — с мужиков, всё, повсюду, повсеместно идет ограбление человеческое... Думаю: мужик мне не даст, с кого мне? Думал-думал, затруднялся в мыслях, глядь — бежит ко мне на печку барчук махонькой, черемухинский сынок: «Скажи сказочку...» Изволь. Сказал. Он и повадился ко мне на печку шататься сказки слушать. «Э, думаю, друг-приятель; надо быть, тебе в хоромах хвост-от присекают, что ты во мне, в мужике, получаешь нужду...» Подумал так-то. Бежит барчук: «Скажи сказку...» — «Дай копейку!» Эдак-то резанул. «Дашь — скажу, нет — не будет рассказу. Я и то, мол, язык весь отколотил, рассказываючи тебе». Припугнул его таким манером, и стал он мне пятачки да грошики таскать, и стал я их попрятывать... И так было ловко научился я поколупывать с него; ан тут-то и подвернись ко мне человек... Максим Петрович... семинаристик, племянник черемухинский. Часто он к нам в кухню хаживал, дожидался, пока дяденька, сам Черемухин-то, проснутся,— полтинничек у него попросить... Когда тверез — тихий такой. «На сапоги», говорит... А Черемухин. «То-то, говорит, на сапоги? ..» И сердито на него смотрит, а тот боится. Это когда тверез. Ну, а коли ежели да пьян, так уж

тут никакого страху для него нету... Тут уж он кричит, бунтует... И дяденьку-то так-то ли поливает... «Взяточники, разбойники!.. Докуда вы разбойничать будете? Провались вы и с полтинниками...» Раз зимой скинул с себя полушубок и шваркнул его обземь. «Подавитесь вы им!..» и ушел. Бывало так, что и стекла он выбивал в дому и ворота исписывал ругательскими словами. Вот я на этого человека и наскочил... От него я и получил вдохновение, например. То есть сначала-то он меня за виски отворочал, а потом уж объяснил мне существо... Лежу я с барчуком на печке и делаю с ним подлый поступок: продаю ему кошелек, а в обмен требую с него серебряную цепочку... Кошельку цена копейка, а цепочка стоит пять серебром. Желаю я ее получить. Барчук ничего не смыслит: взял да и поменялся, а потом рассмотрел — и в слезы... «Отдай!» плачет. А я ему: «Нет, говорю, не отдам, потому что ты видел, что покупал. Назад не ворочают. Где у тебя глаза были?..» По-базарному поступаю... Максим Петрович пьяный сидел-сидел, слушал-слушал, да шарах меня за волосы с печи... «Мошенник! вор!.. С каких лет мошенничаешь!.. И без тебя много мошенников!..» Да за ухо... за ухо... Тут он меня щекотурил... Цепочку отнял, шваркнул: «Краденую воруешь!..» С этого дня стал я его бояться... Страх почувствовал; боюсь встретиться; ан раз несу водку господам из конторы, он — и валит с приятелями пья-а-аный. «Что такое? стой! Куда? Водка! Неси к нам... Там, брат (у дяди-то), за другой четвертью пошлют.. Там есть на что выпить...» Тут они меня поволокли в свою квартиру: бедность непокрытая, тараканы... Я сижу, боюсь. «Чего ты? Холуй! Раб!.. С каких лет мошенничаешь!..» Поругали вторительно, а потом сжалились. «Поди сюда, — говорит Максим Петрович. — Ты зачем мошенничаешь? Жить надо? Так нешто грабежом-то хорошо будет? Давайте книжку, я его обучу... Как ты думаешь, грамота лучше грабежу?» И сейчас стал меня учить. Тут я ничего не понял, потому пьяные они были; мало-мало погодя и сам к ним пошел... «Обучите», говорю. Там их много кутейников-то было: кто слово покажет, кто так что-нибудь... Я и нахватался, и не умею вам сказать, каким манером, только что стал я тут понимать, почему это наш брат в дырах, в лаптях, например. И в первый раз в голову мне влетело: «за что

же, мол, этак-то? . .» Разговоры ли ихние, Максим Петровича, или грамота, уж верно не могу объяснить, а что страсть сколько я разбойников вдруг увидал! И, может, господь мне и больше понятия бы дал, только что пошло вдруг во всем расстройство. . .

«С войны это расстройство пошло. . . Целые дни, бывало, стоишь на улице, смотришь, как везут на войну пушки да сабли. «Эдакие, — дивовался народ, — на человека страсти припасены!» Пошли тут наборы, мужики, бабы ревут, голосьба по всему городу. У Черемухиных идет огребанье невиданное, пьянство, жранье — боже мой! .. «Господи! — помню, жена Черемухина плачется: — когда это все кончится! . .» Ан скоро и кончилось. . . Прошла война, налетели ревизоры, всех взяточников повязали. Тут пошло швырянье — упаси бог! Один — вор; другой ополченцам сапоги на кардонной подошве делал; третий в рекруты забривал без закону. . . Стали кидать, швырять подлецами: один вниз, другой вверх, третий торчмя головой. . . Черемухина выгнали в другую губерню. Максим Петрович так-то ли поспешно в Питер ускакал. «Прощай, говорит, помни. Выпишу». Однако же не выписал. Стал я у Птицыных жить, у генералов, и там пошло все врозь. Все сыновья ворами оказались. Плач идет между грабителями. Поглядел, поглядел я, вижу — не до меня им: надел картуз, пошел своего хлеба искать. В ту пору на казенный завод стали принимать людей со стороны, не казенных, стало быть, — я и попал в завод. . . В лесу страшно, когда ежели гром да молонья, а тут в заводе еще страшней. Потому в лесу — дело божье, непонятное, там страх берет, а тут злость — потому видишь, из-за чего гром-то идет, из-за чего молота молотят, ножницы разеваются и наш простой человек недоест, недопьет, а в огне горит. . . Пить бы надо — слаб! не мог, а все больше злился, потому которые я получил от Максима Петровича мысли, то никаким родом они у меня из головы не выходили. Злился-злился я, бесился-бесился, да однова подгулял и махнул в арендателя камнем. . . Спасибо, скрось колесо камень прошел, а то б в каторге быть. Да еще то облегчило, что ночью дело было, не могли вызнать, кто такой, так что собственно по подозрению шесть месяцев высидел. . . Вышел из заключения, вижу — везде я бунтовщиком оказываюсь, никто не берет, и на частные

мастерские не допущают... Остался я один; на кого надежда? Окроме Максима Петровича кто ж мне защитник? Дай обладят чугунку... Я на него надеюсь... Нонче, брат, и им тоже очень мало готовых кусков: не то время идет. И рад я, коли ежели кого из них припрут, рад. Купец-то вон: ох-хо-хо, кряхтит! хорошо! отлично! .»

3

Михаил Иваныч, известный давно на заводе за строптивого и непокорного человека, последней своей историей с камнем и арендатором окончательно повредил себе; так как все частные заводчики смотрели на ропот его не иначе, как на бунт, то Михаил Иваныч, выгнанный с завода, остался буквально без куска хлеба, ибо его нигде не принимали. В эту пору его можно было встретить в небольших подгородных деревеньках, где он писал бабам письма и прошения, получая за работу яйцо, кусок хлеба. Письма выходили такого рода: «Честь имею известить вас, единоутробная дочь наша Авдотья Андреевна, что мы, родители ваши, с маиа месяца сего.. года состоим без куска хлеба, в полном смысле этого слова, и почтительнейше уведомляем вас, что подаяния от мирового посредника с сего ... месяца настоящего сего года прекращены» и т. д. Извещая о деревенских новостях, Михаил Иваныч всегда умел среди неурожаев и подаяний вставить некоторые фразы, обретавшиеся в фонде его образования и просияния. Но такой работы было мало. Работы «мужицкой», молотьбы, косьбы — он исполнять не мог: у него болели ноги от стоячей заводской работы, и поэтому долгое время пробавлялся, чем мог, и скитался, где пришлось. Среди этой нищеты и одиночества в голове Михаила Иваныча воскресло воспоминание о Максиме Петровиче, и больная душа тотчас же наполнилась какою-то неопределенною надеждою на его помощь, а больная, забитая голова довела эту фантастическую надежду до громадных размеров. Большие быстрые глаза голодного Михаила Иваныча и его фразы насчет этих надежд, насчет чугунки и Петербурга — весьма рассмешили юного потомка господ Уткиных, когда тот однажды вечерком, проезжая по дороге на старой громадной

и худой лошади, случайно наехал на Михаила Иваныча, лежавшего в канаве и бормотавшего:

— Нет, брат, не то время! Дай чугунку обладят!

О барчуке Уткине нам покуда надо знать только то, что денег у него не было; что жил он в имении, подлежащем описи; думая, во-первых, основательно заняться подготовлением к практической деятельности, он в то же время не менее основательно думал и овладеть приказчичьей дочерью и все эти вопросы разрешал внезапным выстрелом из ружья в глубине отцовского сада, разговором с приезжим из города гостем о современных вопросах, которые прерывались тотчас по появлении где-нибудь вблизи деревенской бабы, поездкой в город на гулянье и т. д. Из всего этого следует, что барчук скучал, и, среди скуки, лежащий в канаве при дороге Михаил Иваныч мог обратить на себя его внимание.

— Вы кто такой? — спросил барчук, когда Михаил Иваныч выскочил из канавы.

— Отставной рабочий... с заводу-с... Выгнан за бунты.

— За что?

— За непокорность, потому что я разбойничать им не позволял... Не согласен я на это! Довольно.

Эти речи до того показались Уткину ни с чем не сообразными и до того заинтересовали его, что он позвал Михаила Иваныча к себе поговорить, а потом, боясь скуки, сказал Михаилу Иванычу, чтобы тот оставался у него в усадьбе.

Михаил Иваныч поселился в кухне и в короткое время пошел у всех за большого чудака. Не один барчук смеялся всякий раз, когда из уст его выходили слова вроде «прижимка», «к осьмому часу, к киатру», «уведомился» и проч. Причины этому были его рваные локти, поставленные рядом с Петербургом и чугункой. В сущности же Михаил Иваныч был человек, потерпевший от отечественной прижимки в тысячу раз более других вследствие того несчастия, которое он определял словом «просияние ума», человек, которому осталась одна утеха: созерцать затруднения, выпавшие благодаря «новым временам» на долю людей, привыкших жить на чужой счет.

II. В ОЖИДАНИИ ЧУГУНКИ

1

Исполняя некоторые поручения барчука, Михаил Иваныч хотя и не ел даром господского хлеба, но и не был особенно завален работой, так что, помимо поездок в город по поручениям, у него оставалось еще достаточно времени, чтобы отдохнуть, отдышаться на свежем воздухе. И в Жолтикове была к этому всякая возможность. Стоит оно на высоком холме, окруженное лесами, оврагами, лугами. Заморенный городом, Михаил Иваныч благоговеет перед природой, как не может благоговеть деревенский житель; гроза здесь не то, что в городе, в рабочей слободе. Там гром колотит в крышу, шатает печную трубу, за которую нужно платить печнику; результаты ее — грязь по колено и лужи, по которым люди ходят с проклятиями. В деревне это явление принимало другой вид, и Михаил Иваныч мог определить его только словами «премудрость», «благодать»... Собаки деревенские, караулящие от лихих людей, тоже возвышали, по его понятию, деревню перед городом, где ту же должность исполняли будочники, сворачивающие скулы.

— Собачка, — говорил он, — она умница: я с ней могу поиграть, а с хожалым у меня игра слабая.

Густой старинный сад, весь изрезанный зарастающими дорожками, также манит Михаила Иваныча: по целым часам он бродит в этих заброшенных аллеях, слушая птицу, шум засеки, а иногда и засыпает, сидя на подгнившей бледнозеленой скамейке. Но озлобленная прижимкой душа Михаила Иваныча не могла долго быть покойной, тем более что на каждом шагу попадались вещи, где Михаилу Иванычу выглядывал чужой труд, потраченный без толку.

— Михаил Иваныч! — говорит барчук, торопливо проходя мимо него по саду, чтобы выстрелить из ружья в галку: — так «уведомились»?

— Я довольно аккуратно в жизни своей уведомился, как простому человеку... — начинает Михаил Иваныч вслед барчуку; но в этот момент раздается выстрел, крик разлетающихся галок и лай собак.

— Эх, ума-то нагулял! — иронически шепчет Михаил Иваныч, качая головою. — Сколько, чай, хребтов на эдакую-то тетерю пошло? Прок!

— Были у Синицына? — возвращаясь с убитой галкой, спрашивает барчук.

— Был-с.

Михаил Иваныч говорит с сердцем, но старается скрыть это.

— Афиш не было-с, разобраны! — продолжал он.

— Что ж в городе?

— На столбу объявлено воздухоплавание слона... в «Эрмитаже». Рубь за вход.

— Чорт знает что такое!

— Во всех Европах одобряли монархи, — прибавляет Михаил Иваныч, не скрывая негодования и как бы говоря в то же время: «сто́ишь ли ты слона-то смотреть?»

По уходе барчука на траве остается мертвая птица. Михаил Иванович смотрит на нее и говорит:

— Вот это господское дело!.. Хлопнул — и пошел. А ружье кто ему выработал?

Достаточно такого случая, чтобы все соображения Михаила Иваныча об участи простого человека поднялись целым роем. Через пять минут по уходе барчука его уже можно встретить в кабаке перед целовальником.

— Не беспокой!.. Оставь меня! — умоляет целовальник, с трудом приподнимая тяжелую голову, покойно лежавшую на локтях. — Не абеспокоивай меня!

— До-ку-уда-а? — надседается Михаил Иваныч. — Докуда бедному человеку разутым ходить? Что на него работали, сколько денег на него дуром пошло?

— Михайло! — вскрикивает целовальник. — Какие мои слова?

— Ха, ха, ха! — грохочут через несколько минут на мельнице. — Кормили, поили яво, а он — в галку?

— Д-да-а, брат! Кабы ежели бы он отдал...

— Держи карман — отдал!.. Хо, хо, хо...

У Михаила Иваныча так много накипело в груди, что никакой слушатель не в состоянии выслушать всего, что он желал сказать. Это обстоятельство служит причиной, что все считают его чудаком, который почему-то злится,

толкуя о какой-то галке или о ружье. С другой стороны, постоянная насмешка всех, от барчука до приказчика, и отсутствие достаточно внимательных слушателей заставляет его чувствовать себя совершенно одиноким, покинутым. Михаил Иваныч, у которого на уме одна мысль, что с открытием чугунки ему совершенно необходимо съездить в Петербург, вдруг начинает беспокоиться, что чугунка уж открыта и ушла без него. В таком случае, если бы у него и не было поручений от барчука, он выпрашивал беговые дрожки и ехал в город.

Часу в восьмом утра дрожки его торопливо мелькают по березовой аллее, пролегающей мимо церкви и поповских домов. Михаил Иваныч, подкрепленный свежестью и блеском летнего утра, весело похлестывает лошадь и весело смотрит вперед, не обращая внимания на то, что какой-то краснобай кричит ему:

— Ушла? В ночь ушла! ха, ха, ха!

Эта насмешка заставляет его поспешней добраться до холма, с высоты которого открывается вид на город, изобилующий золотыми крестами, красными и зелеными крышами. Картина эта не останавливает его внимания: — он смотрит левей, где видна желтоватая насыпь дороги, недостроенный вокзал и толпы людей с тачками...

«А ведь, пожалуй, и ушла!» — думает он и быстро подкатывает к вокзалу.

— Что ребята, не ушла машина? — адресуется он к рабочим на лесах.

— Нет еще!

— Ай не обладили?

— Облаживаем.

— Ладьте, ребята!.. Ладьте, матушки... Проворней!

Так как Михаилу Иванычу всегда остается очень много времени, то он позволяет себе шажком объехать вокзал, оглядывает его и говорит:

— Тут ума надо!

— По три сажени дров жрет смаху! — кричат рабочие с лесов, стуча топорами и шурша штукатуркою.

— Сто́ит! Сто́ит этакой шутовке и поболе!.. — с увлечением говорит Михаил Иваныч и в заключение прибавляет· — Ну, ладьте! Облаживайте, ребята! Старайтесь, чтоб ошибки какой не было!..

Путь лежит в город через слободку Яндовище, где у Михаила Иваныча между рабочим народом много знакомых, так как здесь он сам живал долгое время. При въезде в улицу, начинающуюся кузней, лицо Михаила Иваныча теряет то оживление, которое придало ему утро и чугунка; лошадь, которую он начинает называть «горькая», «мертвая», идет тихо: Михаил Иваныч едет по тому царству прижимки, от которой единственное спасение — Максим Петрович; ибо ни в этих домишках, осевших назад во время приколачивания к ним нумера, ни в этих грубах, похожих на решето, ни в этих воротах, слепленных из дощечек, решительно не усматривается того, по поводу чего Михаил Иваныч мог бы сказать — «Не то время!», как это он говорит при виде доживающего произвола...

— Ваня! — грустно сказал Михаил Иваныч, останавливаясь у одной кузни, лепившейся рядом с крошечным двориком.

Высокий черный и худой человек, стоявший в глубине кузни у пылающего горна, только обернулся на эти слова вытаращенными глазами и не сказал ни слова.

— Ванюша! — повторил Михаил Иваныч, привязав лошадь и входя в кузню. — Что-о? Здорово! Обмякли дела?

Вместо ответа Ваня сердито и торопливо засунул железо в горн и, попрежнему не говоря ни слова, вышел из кузни, причем большие вытаращенные глаза его как бы сказали: «в кабак». Идя проворно сзади шедшего Вани, Михаил Иваныч видел, как он, не оглядываясь и как бы мимоходом, овладел железным баутом, видневшимся из-за ставни одной хибарки, и юркнул с ним в кабак. Нужно было не более секунды, чтобы оторванный баут был грохнут на кабашную стойку, чтобы целовальник, мельком взглянувши на него, спихнул его куда-то в яму под стойку и выставил водку.

— Это так-то? — сказал Михаил Иваныч, взглянув на Ваню.

Но Ваня, молча совершивший все это, так же молча и торопливо выпил стакан водки, отошел в угол и, обернувшись оттуда, буркнул Михаилу Иванычу:

— Обмякло! ..

И снова сжал рот, загадочно смотря на Михаила Иваныча глазами, какими смотрят немые. Михаил Иваныч тоже смотрел на него.

— Они потеряли всякий стыд! — пояснил целовальник: — потому что они в настоящее время обкрадывают друг друга — в лучшем виде. Даже удивляешься, — прибавил он стыдливо.

Но Михаил Иваныч, не обращая внимания на это объяснение и глядя на Ваню, видел, что прижимка цветет и не увядает. Она изуродовала человека до того, что он лишился возможности выразить то, что у него на душе, а может только тупо смотреть, молча плакать, скрипеть зубами и вертеть кулаком в груди...

— Убечь от вас — одно! — сказал Михаил Иваныч, вздохнув и отводя от Вани глаза. — Надо, надо убечь!

— Что, душеньки, — робко произнесла женщина, войдя в кабак, — бауту не получали ни от кого?

— Какие бауты-с! — гордо ответил целовальник, не поднимая глаз. — Что такое-с? Что вы считаете? У вас нет ли чьих? ..

— Я вить так... чуть... что ты?

— То-то-с! .. Почему у Андрея трех досок в крыше нету? ..

— Увспросить нельзя! — сказала женщина, улыбаясь беззубым ртом. — Набрасывается!

— Отыщите-с! — заключил целовальник.

— То есть только бы господь вынес! — испуганный этим обманом и грабежом, проговорил Михаил Иваныч. — Надо, на-адо в Питер! .. Что это тебя ест? — отнесся он к Ване, который все время сновал и останавливался, как зверь в клетке.

— Жена! — брякнул тот, хватил стакан водки и одним шагом очутился на улице...

Михаила Иваныча рвануло за сердце.

— И что это еще эти шкуры выдумывают? Где она? Я ей... — сердито говорил он, догоняя Ваню... — Чего они еще мудруют, не умудрятся? Везде нашего брата обчищают, а тут домой придешь избитый да измученный, и тут тебя еще ожигают! Одурели! Баловаться-то не с чего... Ошалели! ..

Говоря таким образом, он дошел до Иванова жилья и отыскал его жену. Это была изможденная, какая-то сырая женщина, вялая, словно полинялое платье, в котором она была.

— Что вы, Федосья Петровна, забунтовали? Что вы заставляете мужа воровать чужое да в кабак таскать? Почему так? Али вы не знаете, что и без этого наш брат терпит? Что вы-с? Себя пожалейте.

— Я, Михаил Иваныч, не бунтуюсь... — едва внятно и испуганно проговорила жена Вани.

Смущенный тоном ее голоса, Михаил Иваныч уже гораздо тише продолжал:

— Как же не бунтуетесь? Уж с чего же нибудь да пьет он? Уж что-нибудь да...

— Потому что Иван Иваныч в том имеют сердце, что я не своим делом занимаюсь.

— А вы бросьте! У вас свое хозяйское дело на руках. Что вам в чужое соваться? Вы и с бабьим-то делом много помочи окажете... Вы, значит, держитесь своего...

— Чего ж мне, Михаил Иваныч, за свое дело держаться, коли нету у нас никакого хозяйства? Печка развалится, и совсем без печки останемся. Что я буду хозяйствовать? — полена дров нету.

Михаил Иваныч оглянул жилье и молчал.

— А Иван Иваныч в том серчают, что я им хочу помочь оказать. Когда у меня женского дела нету, я мужским хочу заняться... Думаю: обучусь я ихнему мастерству. Все что-нибудь добуду для дома... За это они и серчают и бьют, коли увидят, что я на станке занимаюсь. «Не твое дело! Что ты, баба, можешь! ..» Только у них и слов: «Не видано этого, чтобы баба...» и бьют... «Дайте мне обучиться!» — а они...

— Ах он, стоеросовая дубина! — озлился Михаил Иваныч и вскочил. — Чучело! — закричал он на Ваню. — Что ты мудруешь? Да что вы? Вы очумели совсем...

Ваня стоял к нему спиной и не отвечал.

— Как же ты не понимаешь, что жена хочет тебе пользу делать? Это вот никто тебе помочи не давал, так ты и не веруешь...

— Не видано! — буркнул Ваня и заворочал мехами.

— Да дай ты ей обучиться-то, дубина!.. Попадись к вам человек с понятием, вы его в гроб вгоните... Вы очумелые...

Михаил Иваныч долго вразумлял Ваню насчет пользы, которую ему хочет оказать жена; но в голову его собеседника решительно не входила мысль о том, что женина затея может иметь благоприятные результаты. Да и, кроме того, ему было обидно за жену — «жена не на это дадена»... Словом, ему было скучно утратить в жене женщину и получить «работницу»... Он молча ворочал мехами и калил свое лицо среди летевших искр. Кроме отрывистого «не видано», Михаил Иваныч не мог добиться ни слова.

— Ну чорт тебя возьми! — взбешенно проговорил он и ушел. — Тут с вами сам пропадешь. Вот сделай, сделай с ними! Ах, убегу, убегу!

3

— Надбавка? — это, брат, верно будет! — донеслось до Михаила Иваныча, когда он старался поскореее выехать из этой ужасной стороны.

Эти слова, произнесенные весьма самодовольным голосом среди стонущего царства прижимки, заставили его остановить лошадь.

— Кто надбавляет? — отрывисто спросил он высокого подгулявшего рабочего.

— Проезжай! — закричал тот.

— Пошел своей дорогой! Допросчик нашелся!.. — прибавил другой спутник.

— Ты не зевай! — оборвал его Михаил Иваныч. — Я, брат, сам зевать-то умею; а коли ежели у тебя спрашивают, отвечай по-человечьи. Что я тебе сделал? Что ты по-собачьи лаешь? Кто дает надбавку?

— Хозяин! — тоже отрезал рабочий сердито и пошел в кабак.

Михаил Иваныч не оставил его и отправился вслед.

При его входе небольшой котелок, хранившийся под полой одного из рабочих, тем же порядком, как

и баут, загремел под стойку. Два друга уселись за выпивкой.

— Кто такой надбавщик явился? — спросил Михаил Иваныч.

— Говорю: хозяин новый... молодой...

— Надбавил?

— Ожидаем!.. Потому большое старание есть в нем об нас... Обхождение благородное... Собрал всех посередь двора, пил чай вместе... увместях с нами... «Вы, говорит, потеряли образ божий... лик, например... от этого вы и»...

— Ну, ну! — понукал Михаил Иваныч.

— Ну... призывает к себе, лежит на диване и разговаривает: «Идешь ты, говорит, по базару, видишь картину, а понять не можешь, — обидно тебе?» Мы ему: «Обнаковенно нам стыдно...» — «Ну, надо грамоту»... Календари выдал...

— Вычел?

— Дарром! Эва... так — «на!» Чтобы справка была... какой, например, теперича ответ и за что... в какое время... и все такое...

— Старается, чтобы мы к нему чувствовали стыд!..— присовокупил другой товарищ рабочего. — Теперь у нас стыда нету. Мы разобьем рожу, идем как расписанные, словно господа в шляпках: — нам горя мало! А в то время, чтоб мы стыдились этого... Вот в чем! «Чтобы мне, говорит, не страшно было подойти к вам... потому вы вроде чертей!»

Как ни благородны были планы нового «молодого» — из московских — хозяина, но Михаил Иваныч, узнававший прижимку во всех видах и оболочках, не мог не заметить ее и здесь, хотя, быть может, хозяин и не имел ее в виду. Но так как тот же хозяин, требовавший от рабочих образа божия, сам пожертвовал им только компанией за чайным столом да календарями, которые стоят ему грош, то злоба Михаила Иваныча закипела еще сильней.

— Эх, чумовые! — сказал он, тряся головой. — Неладен ваш хозяин-то, погляжу я...

— Оставь, не говори!.. Елова голова!.. Чай пил...

— Н-неладен!.. — настаивал Михаил Иваныч. — Зачем тебе стыд?

— Эва! Для аккурату... само собой... чтоб я его чувствовал...

Рабочий остановился.

— Ну, а коли ежели ты чувствовать его будешь, складней будет али нет? Уж тогда ты не понесешь котелка в кабак?

Рабочие молчали.

— Теперича у тебя стыда нету, и то ты котлы в кабак таскаешь; а как да стыд-то у тебя будет — ты и совсем пропьешься. Теперь и без стыда ты пужлив, теперь тебя хозяин и без образу может оболванить по вкусу... А со стыдом ты еще пужливей будешь. Тебе уж будет стыдно к хозяину грубо подойти... Не нужно нашему брату стыда! — зашумел Михаил Иваныч. — Не надо-о! С нас драть стыда нету, а нам требуется вдвое того... Эх, тетери!..

— Это, брат, ты верно! Это ты.

— Он чаю-то с вами на двугривенный выпил, а ты вон уж котелок-то женин тащишь. Тебе неловко к нему подойти, попросить... Ты и будешь свое таскать, жену, ребят грабить... А пропьешь, он тебя за грош возьмет: «кабы ты имел образ, я б тебе больше...» А ведь и образ-то ты от него потерял!

— А именно, что женин я котел спахал!..

— Ну на что тебе календарь?

— Да я его пропил! — закончил мастеровой, и громкий хохот раскатился по кабаку.

— А зеваешь, дурак! — сказал Михаил Иваныч мастеровому. — За что ты меня облаял вчерась? Спросить у тебя, у дурака, нельзя ничего. После чаю-то ровно собака сделался... Надба-авка! Осел лохматый!

Хохот продолжался; но рассерженный Михаил Иваныч ушел, не сказав никому слова.

Такие сцены наполняли безнадежностью душу Михаила Иваныча, и всякий раз, насмотревшись на них, он искал случая сорвать на ком-нибудь сердце: «Куды лезешь! — кричал он тогда встретившемуся купцу: — Держи левей, еловая голова!» — «Но-но!.. Я, брат, тебя за эти слова...» — «Нонче, брат, и я тебя ожгу, держи своей дорогой... Что купец, так и при на человека?..» В эти минуты ему необходимо было утешиться зрелищем сцен, где бы человек, имевший в руках власть над простым

человеком, сам попадал в лапы к прижимке. И такой уголок был у Михаила Иваныча.

— Пойдем к Аринке! — говорил он, хлеснув лошадь вожжой.

4

Арина принадлежала к числу тех субъектов, которые «в нынешнее время» поднялись снизу вверх. Михаил Иваныч недолюбливал ее за то, что она занималась ростовщичеством, то есть все-таки более или менее разбойничала; но он охотно прощал ей это занятие ради тех страданий, которые она вынесла во время долгого подневольного житья в крепостных. Вся улица, где стоял дом ее господ, называла этих последних зверями, и действительно это были какие-то охотники воевать над простым человеком. Подъезжая, например, к дому, барин не звонил и не стучал в дверь, а только провозглашал: «ворота!», будучи почти уверен, что голос его не может достигнуть кухни, стоявшей в глубине двора. Крик этот повторялся несколько раз до тех пор, пока кто-нибудь из прислуги случайно не замечал барина и не отворял ворот. Но барин сидел на морозе, ждал: — и начиналось дранье и бушеванье. Не было ни у кого такой заморенной, забитой прислуги, как у этих господ. Она находилась у всех соседей в глубоком презрении, потому что слыла за воров и мошенников: нельзя было повесить сушить белье, пустить цыплят на улицу, чтобы все это тотчас же не было похищено ими. Арина находилась в числе этой заморенной прислуги и всю жизнь не видала света божьего. Среди этого житья она сделалась совершенной дурой. Странно было глядеть на ее испуганные глаза, когда она, бывало, поздним вечером пробиралась в какую-нибудь соседскую кухню и тайком продавала здесь молоко или какой-нибудь платок, цена которому был грош. Не один Михаил Иваныч мог уважать ту непомерную силу терпения Арины, которое помогло ей, среди этого варварского житья, скопить кое-какие крохи, доставившие ей впоследствии завидную долю влияния над благородными. После крестьянской реформы господа ее, убитые необходимостью отнять свои руки от щек и волос рабов, как-то скоро исчезли с лица земли — умерли. Арина, в эту пору

уже старая женщина, подыскала себе какого-то юного дуралея из кучеров, женила его на себе и стала отдавать под проценты деньги. Так как вместе с крестьянством рухнуло благосостояние и чиновной мелкоты, населяющей переулки, то Арина в короткое время сумела изловчиться в пользовании такими терминами, как «строк», «процент», «под расписку», загнала в недра своих сундуков беспорочные пряжки, шпаги, мундиры с фалдами, купила дом и могла жить в свое удовольствие.

— Ешь! — говорила она своему супругу.

— Надоело... будя! — потягиваясь, говорил тот.

— Чего ж тебе? Может, тебе чего сладкого либо моченого?

— Пожиже ба! С кислиной ба чего!..

— Ну и с кислиной. Вот об чем! Коли бы не было... А то ведь — скажи... Слава богу!

Говоря так, она любила порыться в своих сундуках, полюбоваться своим добром, переложить его с места на место, развесить все эти мундиры по заборам и посередь двора, ходила при этом близ них и утомленным голосом говорила слушателю:

— Куда человеку беспокойно, коли ежели денег у него много... Ах, как ему беспокойно!.. Только мученье через это... Ох, деньги, деньги!..

Михаилу Иванычу было приятно полюбоваться этим торжеством заморенного человека, и он заезжал сюда отвести душу, хотя в сундуках Арины покоились его две рубашки и жилетка.

— Ну что, карга, — говорит он, входя к Арине: — как грабишь? Все ли аккуратно оболваниваешь?

Арина, одетая в ваточную кацавейку, подносит водку какому-то мужику и говорит, не обращая внимания на Михаила Иваныча:

— Кушай-кось, Иван Евсевич... На доброе здоровье, дай бог вам счастливо!..

— Дай вам, господи! — говорит мужичок. — Коли ежели бог даст, укупим его у господ...

— Чего это? — вмешивается Михаил Иваныч.

— Дворец господский имеем намерение.

— Дворец!.. — жеманно и как бы недовольно говорит Арина. — Дворец господский укупают... словно бы диво какое.

— Важно, важно, брат! Тяни его! Вытягивай из чулка-то шерстяного, что утаил... Именно богатое дело!.. Вали!

— Хе-хе-хе! с мужиком мы тут. признаться... — хихикал лысенький Евсевич.

— Полезайте! — злобствует Михаил Иваныч. — Очен-но превосходно! Вали в лаптях в хоромы, чего там? Утрафьте прямо с корытами да онучами... Чего-о? Именн-но! Хетектуру эту барскую — без внимания...

— Хетектура нам — тьфу!.. Что нам с простору-то? Простору в поле много...

— Что с него с простору? — тем же тоном присовокупляет Арина.

— Нам главная причина — железо! Мы из яво, дворца-то, железа одного надергаем — эво ли кольки!..

— Дергай, брат! Выхватывай его оттудова...

— А которая была эта хектура, камень, например, кирпич, редкостные!.. Кабаков мы из него наладим по тракту с полсотни... Верно так!

— Разбойничайте, чаво там! запрету не будет!

— Какой запрет? Мы дела свои в аккуратности, чтобы ни боже мой...

— Ну выкушайте! Дай бог вам! — заключает Арина.

При выпивании водки хитроватые глазки Ивана Евсеича зажмуриваются, вследствие чего все лицо его изображает агнца непорочного.

«Ишь, — думает Михаил Иваныч, глядя на нищенскую фигурку Евсеича: — узнай вот его!..»

По части торжества прижимки, исходящей уже из среды людей «простого звания», у Арины большая практика.

Не успел потешить Михаила Иваныча убогонький мужичок, как сама Арина выступает на сцену с рассказом, тоже приятным для Михаила Иваныча.

— И что это, я погляжу, — говорит она, улыбаясь и как-то изнемогая, — и сколько это теперича стало потехи над ихним братом.

— Ну, ну, ну! — торопит Михаил Иваныч.

— Даже ужас, сколько над ними потехи! Онамедни идет, шатается... «Я ополченец... возьмите в залог галстух... военный...» Смертушки мои, как погляжу на него!

Все хохочут: и Михаил Иваныч, и Евсеич, и дуралей муж Арины оскалил свое глупое толстое и масляное лицо.

— «Что ж это вы, говорю, по вашему званию и без сапог? — трясясь от смеха, едва может произнести Арина. — Верно, говорю, лакей унес чистить?»

Смех захватывает у всех дыхание, так что в комнате царит молчание, среди которого смеющиеся хватаются за животы, закидывают назад головы с разинутыми ртами и потом долго стонут, отплевываются и отчихиваются.

— Хорошенько-о! Хорошенько, бра-ат! .. — красный от смеха, говорит Михаил Иваныч, нагибаясь к Арине и хлопая ее по плечу.

Эти сцены подкрепляли Михаила Иваныча и приятно настроивали его упадший дух. Но так как на пути в Жолтиково он имел обыкновение заезжать в лавку Трифонова, то ропот посетителей ее снова начинал злить Михаила Иваныча, и он начинал набрасываться на купцов и чиновников, как собака.

— «Хижина дяди Тома», исполненная декоратором Федоровым... на открытой сцене, — сурово докладывал он барчуку, возвратившись в Жолтиково, и норовил уйти.

— Куда вы? Погодите! — останавливал барчук, лежавший на кровати без сапог, с книгой в руках, в которой он перевертывал по тридцати страниц сразу, думая о приказчицкой дочери и норовя при первой возможности отделаться от книги. — А в театре?

— Больше ничего-с! С бенгальским освещением грота... волшебное... Рубь! Одобряли монархи..

И никогда скучавшему барчуку не приходилось получить от Михаила Иваныча другого, более ласкового ответа. Он уходил и роптал где-нибудь перед пьяным дьячком.

— Ты думаешь, это ему чугунная дорога в самом деле составляет препону? .. Ему зацар-рапать нечего... во-от! ..

— Оставьте, будет вам! .. — останавливали его.

Так проводил Михаил Иваныч время, ожидая чугунную дорогу и утешаясь созерцанием обнищавшего «благородства».

III. РАЗОРЕННЫЕ

1

И нельзя сказать, чтоб время убавляло эту потеху; напротив, количество людей, поставленных бездоходьем в трогательное и смешное положение, увеличивалось с каждым днем. Если бы сердце Михаила Иваныча не помнило того сладкого куска, который в дни его нищенского детства случайно попал ему в кухне Черемухиных, то он бы мог устроить себе славную потеху, любуясь их теперешним разореньем. Но Михаил Иваныч помнил этот кусок, и когда однажды, явившись к Арине, чтобы отвести душу, — узнал, что они разорились, сумел схоронить в глубине души свою злобную радость, хотя имел на нее полное право, если принять в расчет прошлое Черемухиных.

Черемухины, Птицыны и другие родственные фамилии с давних пор составили одно лихоимное гнездо, каких везде было много и которые дорого обходились народу. Родоначальником этого гнезда был некто Птицын, прибывший в наш город из какой-то другой губернии, по приказанию начальства, которое, оценив его «рвение и энергию», дало ему теплое место и возможность быть сытым. При поселении Птицына на теплом месте семейство его состояло, во-первых, из глухой жениной матери, умевшей говорить только одну фразу: «в карман-то, в карман-то норови поболе»; во-вторых — из жены, которая конкурировала с мамашей в более широком понимании и изложении мыслей насчет кармана; затем — из нескольких сыновей, воспитанных в страхе божием и в привычке к «доходам», согласно учениям бабки и матери, и нескольких молчаливых и забитых дочерей. Все это население, немедленно по прибытии в наш город, обзавелось благоприобретенным домом о множестве задних ходов и расправило свои необыкновенно цапкие руки, разинуло свои глубокие пасти, потянуло к этим рукам и пастям толпы просителей и стало жить, получая пряжки и благоволения. Безропотные дочери были выданы замуж за людей, тоже желавших быть очень сытыми. Люди эти тоже расправили пасти и цапкие руки, тоже обзавелись сенями и задними ходами, и таким образом в конце концов все вместе образовали один огромный взяточный «полип».

Но внешнее обличье и жизненный обиход людей, из которых этот «полип» состоял, не представляли для постороннего наблюдателя ничего особенно возмутительного. Все это были только обыкновенные чиновники с зелеными, непривлекательными лицами, с потухшими глазами, сгорбленными спинами. На просителей они в действительности вовсе не накидывались, а напротив — шепотком, потихонечку разговаривали с ними в сенях или на задних крыльцах; денег у них не выхватывали, а принимали их тогда, когда просители долго перед этим ползали на коленях, умоляли. Полученные ни за что ни про что чужие деньги устроили в среде этого гнезда самые идиллические нравы: советы глухой и начинавшей слепнуть бабки насчет кармана встречались с улыбкой, которую посылают взрослые детям, принимающимся рассуждать о незнакомом предмете, ибо все представители гнезда понимали насчет этого втрое более. «Что вы учите, без вас знаем!» — самодовольно говорила ей родоначальница гнезда, жена Птицына, и павой ходила по дому среди семейной беседы. О грабежах не было и помину: толковали об отвлеченных предметах, о душе, о царствии небесном; ходили к обедне, пили, спали, целовали друг у друга ручки, делились добычей поровну, пьянствовали, родили, крестили и среди этой нечеловеческой атмосферы растили детей... Птицын утопал в счастии среди этого благолепия, гладил взяточников-детей по голове, точил слезы, совершал объезды по губернии, причем деревенские начальники и оголенные деревни пели «многая лета», единодушно отдавали последние крохи на поднесение хлеба-соли и проч.

Пированье на чужой счет шло долго. Все гнездо объелось и опилось до потери сознания, что могут существовать на свете ревизоры, до потери счета нарожденному числу детей; многое множество было поглощено этою прорвою чужих денег, трудов, слез. и, наконец, настала война, пошли обличения... Гнездо разорено было мгновенно. Черемухины, устроившие свою жизнь на общих, вышеизображенных основаниях, были выгнаны и переселились в другую губернию. В семье Птицыных шел вой и плач. Исчезновение кармана, из которого можно было произвольно выхватывать сколько душа желает, подорвало даже и идиллию семейной жизни.

— В карман-то, в карман-то норови! — едва дыша, лепетала бабка.

— Прокарманили, матушка! Нечего накарманивать-то, — плакала ее дочь и с нежностью гладила по голове сына, попавшегося в двадцати уголовных делах. — Поцелуй меня, зайчик мой! — говорила она ему.

— Отстаньте вы к... богу... с поцелуями! Нашли время! До чего вы меня довели? — оскаливался сын на матушку, которую ему не за что было уважать. — Что я от вас видел, пользу какую? Вам только подавай... ризу сделать дали обещание... Ну и хватал... Вы — мать, разве я могу ослушаться?..

Птицын лежал в параличе, и над ним тот же рабски покорный сын срывал свой гнев.

— А называетесь генерал! Не умели во-время подмазать ревизора... Вам жаль... А небось как с меня, так «подавай!» Как принесешь, — «умник»... А-а! Бог вас наказывает... Какой вы отец? Удавлюсь вот возьму!

Неудивительно, что сын мог говорить родителю таким образом: они были равны в хищничестве.

Такие сцены заставили уйти Михаила Иваныча и искать своего хлеба, и он с тех пор не видал ни Птицыных, ни Черемухиных до настоящего времени. В тот большой промежуток Черемухины успели прожить на чужой стороне все наворованные деньги, сам Черемухин успел умереть, а жена его, раздав старших дочерей замуж, воротилась с младшей дочерью, семнадцатилетней Надей, жить на родину. Это была несчастная, невинно страдающая женщина. Грабеж и пьянство терзали ее в доме отца, по воле которого она вышла за Черемухина и снова попала в область какого-то рабского произвола, где ей было вдвое тяжелее, потому что, в качестве жены, она должна была разделять хищнические нравы супруга. Ее мучило то, что дети ее выходят среди этой атмосферы какими-то уродами, тоже лгунами и льстецами. Она что-то все хотела сделать, старалась поправить; но ничего не сделала, а только мучилась, молилась в то время, когда хрипел пьяный муж, и под конец терпела от этого мужа самые страшные истязания: почему-то одна она оказалась в его глазах виновницею всех его несчастий и достойна была поэтому всяких мучений. Уважения между ними не было никакого, ибо Черемухин взял ее тоже

потому, чтоб, под защитою Птицына, «делиться» с кем нужно. Возвращаясь на родину, она думала чем-нибудь согреть свою измученную душу, но это оказалось невозможным.

— Ты здешний, голубчик? — спросила она у извозчика, въезжая в свою губернию.

— Здешний, матушка, казенный!

— Что̀, помнишь ты, был у вас начальник?

И она назвала фамилию отца и потом мужа.

— Как не помнить. Этаких разбойников да не помнить!

— Довольно, довольно, голубчик... Не про тех!

— Что он сказал? — спросила Надя.

— Нет, не про нас, ошибся. Так, сдуру! — старалась она замять злые мужичьи слова.

Холодно ей было на родине.

Товарищи мужа, скомпрометированные тем же, чем и он, сторонились от нее и, как пьянчужки, отрезвленные в квартале, сердито смотрели друг на друга и на нее. Иные из них, перебравшись в новые суды, перестали нюхать табак, стали курить сигары, обрились, умылись и старались казаться людьми совершенно новыми или отделанными заново. Все знакомства, все старинные приязни как будто и не существовали: все они держались на «дележе» и кончились вместе с ним. Все было пусто кругом. Но переносить личную бедность было бы не так трудно и больно для Черемухиной, если бы она не попиралась теми, которые сумели выбиться, подобно Арине, из нищеты в люди. Примеры такого превращения приходилось встречать довольно часто; всякий из превращенных считал своею обязанностью взглянуть на разоренных господ как на ровню, на что, конечно, имел полное право. Однажды, не дотянув до получения пенсии, она пошла заложить воротник к Арине, и если бы не Михаил Иваныч, бывший тут и узнавший Черемухину, Арина бы потешилась над бедной, измученной женщиной, которая когда-то покупала у нее молоко.

— Ай вы разорилися?.. — рассматривая воротник, говорила она с жеманною небрежностью.

— Богу так угодно...

— Много вас этаких-то... Жили-жили, что нажили? Что ж тебе дать за оборох твой?.. рупь — более нельзя.

— Ну, ну — полегче! — заступился Михаил Иваныч.— Оборох? У тебя много ли таких оборохов было? С тебя не бог знает что тянут: три-то рубли он двадцать раз стоит.

Михаил Иваныч говорил тем суровым тоном, в котором слышалось почти согласие с Ариной.

— Вынимай-ко деньги-то... чего там? Со всяким случается...

— Воля божия, — говорила убитая Черемухина. — Мы должны ей покоряться.

— Обнаковенно... Вынимай, вынимай! зеленую-то!.. — заступался Михаил Иваныч.

Благодаря заступничеству Михаила Иваныча Арина не смела продолжать своей потехи над Черемухиными, и с этих пор, в ожидании железной дороги, Михаил Иваныч стал заходить к ним посидеть, покалякать.

2

Чтобы избежать всяких обидных столкновений, Черемухина жила в глухой улице, в дешевой квартире, не заводя никаких новых знакомств и не возобновляя старых; жила она небольшим пенсионом, постоянно была дома, постоянно что-то вязала, выбрав себе местечко у окна, выходившего на двор, и думала. Было о чем ей подумать. Не последнее место в ее размышлениях занимала дочь Надя, которой было уже восемнадцать лет и которую надо было «пристроить». Но женихи покуда не являлись, и Черемухина полагала (про себя), что народ избаловался, молодежь рыщет и не думает жить по-человечески. Что касается до Нади, то она покуда не испытывала ничего, кроме зверской скуки. Она успела уже познакомиться с хозяином-мещанином и его женой; узнала от них, что «канка» есть то же, что индюшка, и что занятия хозяина в течение шестидесяти лет состояли в том, что он скупал этих индюшек и отправлял их в Москву. Узнала также от солдата, который, возвратясь с ученья, любил посидеть на крыльце и покурить трубочку, что прежде был тихий учебный шаг и скорый шаг, а теперь осталась одна пальба, а шаг запрещен. Знала она также всех мальчиков, пускавших змеи середь улицы; ходила по хозяйскому саду, видела, благодаря его низеньким

заборам, что делается в других садах; посещала родных и нигде не находила ничего, кроме скуки. Даже лица, к которым она обращалась с известием «мне скучно», — солдат, хозяин, хозяйка, — надоели ей и прискучили точно так же, как прискучила улица, на которую выходили окна дома, сад, забор против окон.

Появление Михаила Иваныча, как нового лица, было одинаково приятно как для Черемухиной, которая не видала в нем открытого врага, так и для Нади, которая в сопровождении его могла идти, куда ей хочется.

Михаил Иваныч помнил Надю маленькой девочкой. В детстве он ее иногда катал на салазках; увидав ее теперь взрослой и невестой и не находя в ее молодости ни разоренья, ни прошлого, над которым бы можно было потешиться простому человеку, — решительно не мог сердиться вблизи ее и робко ежился где-нибудь у двери, если заходил посидеть; а если провожал куда-нибудь Надю, то шел позади нее, как лакей.

Посещали они попрежнему тех же разоренных родных.

Как один из множества результатов прижимки, — дом Птицына, дедушки Нади, представлял в эту пору нечто забытое, заброшенное всеми. Сыновья и родственники разбрелись в разные стороны и, отвертевшись от уголовных дел, имели где-то какие-то весьма современные места — «обрусяли», «водворяли», «описывали» движимое и недвижимое. Птицын, его жена и бабка, которая была еще жива, и сын Ваня, бывший во времена лихоимства и процветания еще мальчиком, все со дня на день ожидали смерти и, умирая, лежали в четырех разных комнатах, на четырех разных кроватях. Действительно умирающими были в сущности трое: бабка, Птицын и сын. Жена Птицына слегла за компанию. Обыкновенно она проводила время в ругательствах и брани, которая обрушивалась на мужа и на бабку. Так как на умирающего сына обрушиваться было не за что, а еле дышавшие муж и бабка не доставляли достаточного материала для ругательств, ибо не оказывали никакого сопротивления, то распеканию подвергался всякий, кто только чем-нибудь затрогивал ее внимание. С этими целями она очень часто вставала с смертного одра своего, высовывала голову в окно, и звонкий голос ее долго раздавался вдоль улицы...

— Что ты делаешь, сиволапый ты этакой мужлан? — кричала она на водовоза, зацепившего колесом ведро, поставленное на углу дома на случай дождя. — Дубина! ..

— Ну не больно! Не бывал дубиной! .. — огрызался водовоз. . .

Этого было довольно, чтобы все оскорбленные временем внутренности Птицыной закипели кипучей смолой.

— Ка-ак? Мы подлые? — восклицала она, захлебываясь от гнева, и, чтобы оправдать этот гнев, приписывала водовозу такие слова, каких он и не думал произносить. — Как? Я подлячка? Ах ты! .. Да я тебя в старое-то время в порошок бы истерла и по ветру рассеяла. Ах ты. . . Да я. . .

Скоро помрачался ум ее среди таких восклицаний, и через несколько времени можно было слышать, как из уст ее вылетают самые нелогические фразы.

— Мы здесь тридцать восемь лет живем, а не подлые. . . не подлячка я. . . не подлячка! У меня сыновья. . . в Польше, а. . . я не подлая!

Навоевавшись вдоволь, она шла на смертный одр, чувствуя необходимость послать за священником; но, отдышавшись, не посылала.

Но очень часто Надя, входя во двор дедушки в сопровождении Михаила Ивановича, встречала уходивший домой причт: батюшку и дьячка, которые были призываемы если не к барыне, то к барину, или бабушке, или Ване.

— Умер дедушка? — в испуге спрашивала Надя.

— Живы, все живы! — улыбаясь, басил дьячок, любивший поговорить. — Они уже лет пять всё отходят-с. . .

— Земля не принимает! — бормотал про себя неумолимый Михаил Иваныч.

— Хе-хе-хе. . . Нет-с! Телосложение крепкое-с. . . — пояснял дьячок. — Крепки оченно! Кажется, вот-вот, — н-нет! — оживают! .. Крепковаты, господь с ними.

— Крепки с чужого-то! — ворчал Михаил Иваныч. — Кабы со своего. . . А то с чужого-то, поди-ко, сладь с ними!

— Хе-хе-хе. . . Истинно что так! — соглашался дьячок. — Оченно много разного генералитету по нонешнему

времени преставляется, но с упорством! Кажется, вот совсем глаза закатились, а он, глядишь, очнулся да по щеке кого-нибудь и сблаговестил... Хе-хе-хе!..

Во время этого разговора Надя стоит поодаль, ожидая Михаила Иваныча: без него ей страшно и жутко войти в этот мертвый дом, в этот пустынный двор, зарастающий травой. Рассыпавшаяся бочка и гнилая, словно истаявшая на дожде водовозка, пустые сараи и грязная корова — все это отдавало такой пустынностью и заброшенностью, что Надя, прежде нежели идти далее, непременно обращалась к Михаилу Иванычу.

— Михаил Иваныч, идите сюда! — говорила она нетерпеливо. — Будет вам разговаривать.

— Ишь, — говорил Михаил Иваныч, следуя за Надей и глядя на разоренный двор: — ишь нагорожено!..

И при этом ему представлялся тот же двор, оживленный жирными кучерами, толпами просителей, смеющимися кухарками и другими атрибутами счастливого времени Птицыных.

— Заглохло! запустело! — бормотал он, останавливаясь и оглядывая кругом. — Ишь на чужое-то натаскано сколько.

Надя не сразу входила в дом дедушки. Окна, занавешенные платками и одеялами, заставленные щитами из каких-то лоскутьев разноцветных обоев, рисовали ей такую кромешную тьму, царящую внутри, что она невольно шла в сад. Но и здесь стояли заброшенные деревья с гнездами паутины; в густой траве еле заметны были следы дорожек; беседка стояла без дверей. Михаил Иваныч оглядывал все это, выталкивал ногою откуда-нибудь пустую бутылку и говорил:

— Пировать умели! Все хинью пошло, все прахом...

— Михаил Иваныч, за что вы не любите дедушку? — спрашивала Надя.

— Да за что ж мне его любить-то? Вашему родителю я обязан: он меня призрел... а дедушка ваш мало кому пользы сделал.

— Отчего мне не хочется к ним идти? — спрашивала Надя, не имея надлежащих оснований вступаться за дедушку.

— Да чего хотеться-то? Кабы вы его любили. А то и вам его не за что любить-то.

Надя молча думает о чем-то, но наконец говорит, лениво поднимаясь с лавки:

— Нет, люблю! .

— ...За что любить-то?

Надя не отвечает, потому что действительно не понимает, почему ей нужно любить дедушку. Однако она еще раз кивает головой, как бы повторяя: «Нет, люблю...»

— Авдотья! — говорит она кухарке шопотом, входя в кухню. — Что дедушка?

Прежде нежели ответить, кухарка с упорным молчанием ворочает какими-то корчагами, ушатами и отвечает совсем не на вопрос:

— И только бы, только бы вынес господь!

Авдотья постоянно проклинает Птицыных, потому что жизнь ее в их доме действительно каторжная. На всех четырех умирающих она одна прислуга; в кухне над ее головой висят четыре колокольца, за которые умирающие дергают каждую минуту, требуя то того, то другого; вследствие этого в кухне ежеминутно идет звон, от которого Авдотья потеряла человеческий смысл. До нее здесь перебывало множество народу, и каждый из них не мог выжить одного дня, и Авдотья жила только потому, что ей некуда было деться с двумя своими ребятами.

— И какой демон уживет здесь! — говорит Михаил Иваныч, глядя на звонки. — Ишь колокольню какую выстроили! кажется, тыщи рублей не возьму, чтобы мне тут... тьфу!

— Сама-то вдарит, вдарит в колоколец в полночь, так с печи кубарем и летишь... Всех ребят дураками сделали... С испугу плачут! — дрожащим от гнева и трудов голосом говорит Авдотья, продолжая ворочать корчаги.— Барин — тот делает удар легкий. Барчук еще тише, а бабка да сама — так уж ровно бешеные! Пуще всего сама: поминутно, поминутно.. Бабка — та очнется раз в день, а то и в два, да уж и дернет! Прибежишь к ней, а она этак-то ровно рыба рот разевает: «в карман-то», говорит...

— Опоздала! — радостно рычит Михаил Иваныч, удерживаясь при барышне от более веских выражений.— Ушли карманы-то, убежали... хе-хе-хе... Ишь как они

привыкли к чужим карманам, так это даже удивительно, ей-богу...

— Что ж дедушка? — спрашивает Надя, как-то обессилев от этих разговоров, и, узнав, что дедушка и бабушка живы, еле плетется в комнаты.

В комнатах прежде всего поражал мрак и духота, пропитанная ладаном и запахом лекарств. Среди этого царства смерти нельзя было бы пробыть одной минуты, если бы мертвую тьму не нарушал голос стонавшей и ругавшейся генеральши.

— Ну какой ты генерал! Ну как тебя возможно назвать генералом? — вопияла только что особорованная женщина, стоя над умирающим мужем. — Что ты нажил? Куда ты от меня прячешь, кому готовишь?

— Н-нету у меня! — еле произносит муж. — Нету!

— Как у тебя нету, когда ты все на сыновние да на зятнины деньги жил? Куда девал? Умрешь ведь... тебе жить одна минута... Говори, куда девал?

Но муж уж не отвечает.

— В гроб ты меня вогнал! Кабы знала бы, не вышла бы за тебя... этакого тирана... этакого душегуба! Ты всех нас в нищие ввел... Ты сына в гроб вогнал, погляди вон поди, полюбуйся на сына-то!

— Михаил Иваныч! — держась за его рукав, говорила Надя в передней: — я не пойду к ним...

— Дожили до каких делов! — качая головою, говорит Михаил Иваныч. — Теперь вот господь наказывает, сами себя едят; ишь грызутся!

Большею частию при входе Нади генеральша спрашивала: «кто там?» — и тогда Наде приходилось целовать ее ручку и сидеть у одра, слушать оханье и брань с мужем, лежавшим за стеной. Михаил Иваныч в такое время стоял в передней и злился; а когда ему приходило невмоготу, он отправлялся дожидаться барышню за ворота. Но иногда им удавалось прямо из передней пробраться в комнатку, где лежал умирающий Ваня, который один только из всех полумертвецов птицынского семейства пользовался симпатией даже Михаила Иваныча.

Самый сильный удар, какой только могла нанести жена Птицына мужу, состоял в упреке, что он уморил

сына, хотя в погибели этого человека принимали одинаковое участие и отец и мать Вани. С детских лет Ваня не был похож на то, что его окружало. Словно испугавшись того буйства и произвола, которые царили в его семье, он как будто бы отвернулся ото всех, притаился и пошел своей дорогой. У него стала развиваться страсть к музыке. Михаил Иваныч помнил, как, бывало, ранним утром маленький белокурый, очень похожий на тощего котенка Ваня, боясь испугать родных, осторожно пиликает где-нибудь в уголке на желтенькой скрипке, купленной в игрушечной лавке за двугривенный. Но в этом мире грабежа и веселого житья такое дело мальчика никому не казалось делом. Смурыганье нетвердого и дрянного смычка, пытавшегося извлечь из дрянных струн и из дрянного инструмента «Возле речки», непременно сопровождалось колотушками, дерганьем за ухо, ударом в затылок. Мать говорила: «Что ты очумел, — под воскресенье?» — и хлопала по затылку; то же самое делали братья, не говоря ни слова; то же самое делал отец, говоря: «Учился бы лучше, по два года сидишь в классе». Но поволочки эти оставались без ответа со стороны Вани; удар в голову заставлял его жмурить глаза, каплями пота покрывал его лоб с прилипнувшими белокурыми волосами; голова его, отдернутая за ухо, снова еще плотнее прилипала подбородком к грифу скрипки, и смычок все-таки пилил тихо, едва слышно, но рука, державшая его, судорожно сжимала его. Этакое упрямство вооружало против него родных. Отец Вани, в благодарность за то, что начальство отличило его, дав теплое место, хотел всех детей повергнуть на пользу отечества и заставил Ваню служить, когда ему было не более шестнадцати лет. Духота канцелярии, интересы чиновников были совершенно несхожи с тем настроением духа Вани, которое образовала в нем страсть. Он мучился этой канцелярией, терпел тысячи оскорблений, чах в постоянных попреках его глупости, срамящей отца, и все молчал и все бился вперед. Прямо из канцелярии он бежал к полковым музыкантам, заводил дружбу со всяким скрипачом, долго корпел по ночам, списывая ноты. Каких трудов стоила ему новая порядочная скрипка, сколько нужно было времени ждать, пока соберется десять целковых на ее покупку, так как мать Вани отбирала у него все

жалованье, оставляя на этот предмет полтинник в месяц. Его называли «гудошник», «скоморох». Тяжкая болезнь заставила обратить на него внимание родителей. Им было жаль его как сына, тем более что до отца стали доходить слухи о его таланте: какая-то приезжая знаменитость случайно услышала его и протрубила о нем вплоть до скудного талантами Петербурга, приписывая себе честь открытия. Знаменитость перерыла его ноты, которые он тщательно сохранял в своем уголке, и откопала какие-то композиции, в которых оказалось пропасть нового: «Скачет галка по ельничку» — русская песня — и баллада Пушкина «О спящей царевне» привели ее в восторг.

О Ване заговорило музыкальное общество города; к нему приезжали губернские знаменитости; Ваню тащили в люди, в свет; — его отец начинал гладить по головке. Но Ваню убила радость, которую он перенес в эти минуты; в обществе он терялся, делался дураком, и больная фигура его, с запуганными глазами, с странными смешными усами, в старом, задешево купленном фраке, была не больше как смешна. И Ваня лежал и умирал.

Комната его была вся обвешана лубочными картинами, изображающими смерть с косой, ад, геенну, страшный суд. Он был так болен, что считал себя возгордившимся перед богом, виновным в непочтении отца и матери, которые успели ему доказать, что он глубоко грешил, играя под воскресенья и под двунадесятые праздники. Религиозный ужас охватил его в последние дни, и он лежал, обернувшись к стене, не говоря ни с кем ни слова. Появление Нади и Михаила Иваныча не пробуждало его от забытья.

Несмотря на грустную картину умирающего, в комнате Вани Наде было легче дышать: здесь было чисто и тихо; все нотки и тетрадки Вани были аккуратно собраны и сложены в одно место, и Надя любила их разбирать. Каждый листок в этих бумагах говорил о том непомерном труде, с которым Ване стоило составить себе маленький уголок, отдельный от широких нравов семьи. Чего нет в этих бумагах? Вот случайно уцелевший нумер газеты с фельетоном о каком-то музыкальном вечере в Петербурге. Как тщательно и аккуратно сложен он!

Автор его мог бы умереть спокойно, если бы знал, как ценятся где-то в темном уголке его строчки, нахватанные, может быть, ради хлеба. Вот портрет какого-то музыканта, вырезанный из какого-то измятого журнала: но он расправлен, старательно наклеен на картон. Вот афиша о концерте, в котором Ваня участвовал в первый раз.

— Уморили человека! — говорит Михаил Иваныч, рассматривая Ванины бумажки.

Надя не слышит его и не отвечает. В руках ее какие-то лоскутки, вверху которых написано: «В газету послать». Лоскутков этих оказывается множество. Это какие-то отрывки из недоконченных писем, рассказов, в которых видно неуменье владеть пером, видно, что мысль убита у писавшего человека. Но содержание этих лоскутков почти одинаково.

«Дуэт. Рассказ И. П—на. В один майский вечер из —ской улицы вышел на большую улицу один человек... У него была скрипка. Но в этот восхитительный вечер молодому человеку сделали подлость. Съедобин, губернский франт, хотя и дурак, стал подтрунивать над моим костюмом, говорил, что у приказных снимают сапоги...»

Рассказ прерывался. За ним следовал другой с описанием июньского вечера; но во всех их на трех строках описание красот природы уступало место описанию какой-нибудь мерзости, которую откалывали перед «одним человеком» либо барышня, либо барчук. Почерк последних строк каждого лоскутка ясно говорил о том, что мерзостей и гадостей сделано автору в тысячу раз больше, нежели было красот во все августовские, майские и другие вечера в мире. Слушая осторожный шопот Нади, читавшей эти почти безграмотные, но грустные листки забитого человека, Михаил Иваныч и здесь находил вещи, объясняемые его взглядами.

— Ишь, — шептал он. — За что они над человеком издевались? Вот чужие деньги-то! Только бы потеху из всего сделать! Разве им понять серьезного человека?

Надя уходила с тяжелым чувством из этого дома.

IV. ПРОДОЛЖЕНИЕ СКУКИ И СКИТАНИЙ

1

Так как чугунная дорога все еще не достроивалась, то Михаил Иваныч продолжал проводить время попрежнему и стал шататься к Черемухиным все чаще и чаще, потому что здесь, среди покорных обстоятельствам людей, ему было как-то покойнее негодовать. Отравленный прижимкой, о которой было уже обстоятельно рассказано Черемухиным, Михаил Иваныч, однако, и здесь, среди покоя, не забывал толковать о новых временах, о своих планах, а главным образом о грабеже и разбое.

— Надежда Андревна! Надежда Андревна! — торопливо шептал он, догоняя Надю, гулявшую в саду, — гляньте-ко, вон взяточник на солнце греется!

Надя, от скуки гулявшая по саду, смотрела, куда указывал ей Михаил Иваныч. На лавочке, в соседнем саду, сидит отставной чиновник в халате и, подставив солнцу спину, потирает ее кулаком и поводит плечами.

— Ишь, словно кот жмурится!.. Кости свои оттаивает... Он тепериче приструнен; а вы дайте ему оттаять, пойдет щелкать по карманам — любо два!.. Надежда Андревна! — восклицал он чрез минуту, — эво-эво... еще! Вон грабитель на одеяле растянулся... Ишь нажевал утробу-то!

Надя рассматривала рекомендуемых ей Михаилом Иванычем разбойников с тем недоумением и любопытством, с каким дети глядят, например, на рыбу, плавающую в корыте; она шевелит перьями, дышит, смотрит и, должно быть, о чем-то думает. И хотя существо оттаивающих грабителей было ей в той же мере незнакомо, как и существо размышлений молчаливой рыбы, но бормотанья Михаила Иваныча об этих предметах внесли в ее скуку какую-то неприятную черту. Надя слушала и смотрела на Михаила Иваныча только потому, что не на кого было смотреть и некого было слушать, и, несмотря на полное почти равнодушие к его суждениям, дедушка и бабушка стали скучны ей не потому только, что у них духота и темнота в комнатах, а потому, что в них самих было что-то дурное, что они почему-то дурные люди. Улица и забор, видный в окно, и сад, помимо того, что надоели ей своим однообразием, получили еще какую-то

особенную ненависть Нади вследствие того, что кругом их и за ними жили и живут опять-таки дурные люди.

— Скука, Михаил Иваныч! слышите, что я говорю? Скука! — говорила она, лениво проходя по комнате и ложась на старый диван с старинной «Библиотекой для чтения» в руках.

— Скука! — ухмыляясь, говорил Михаил Иваныч, сидя или стоя где-нибудь у притолоки. — А потому, что обмякла прижимка.

— Что?

— Прижимка обмякла; нету того грабежу... Через это вы и скучаете.

— Да разве я кого ограбила? — с неудержимым смехом спрашивала Надя.

Михаил Иваныч не смущался смехом и отвечал:

— Вы не грабили-с, а женихов стало меньше... вот из-за чего и скука. В прежнее время жених был охоч; доход с простого человека у него был верный, он брал даму, не боялся... Первое дело — без дамы ему нельзя. Второе дело — ему одному не разорваться: он хватает, жена должна прятать, выходит — «семейный дом». И девицы, женск пол, скуки не знали. Потому мало-мало в возраст пришла которая, сейчас села к окошечку с шитьем, для близиру, ан уж грабитель-то и подползает... Ан уж он где-нибудь и пошевеливается... Уж он где-нибудь тут, поблизости! Ну и свадьба, и пошла девица дамой, пошла она в чулан таскать цыплят дареных. Только у вас и дела... И скуки нету... А теперь трудно этак-то!

«Подползает», «пошевеливается» и другие фразы, свойственные простому званию Михаила Ивановича, смешили Надю. Посмеявшись над ними, она снова углублялась в чтение глупейшего романа, по имени «Ветка фуксии», и как-то, почти без собственной воли, снова задавала Михаилу Иванычу вопрос.

— Как будто только и дела, что цыплят таскать? — говорила она, не глядя на Михаила Иваныча и перевертывая следующую страницу.

— Да больше у вас делов и нету... Какие у вас, у благородных, дела? Все у вас готовое, заботы вам нет; приходит супруг из должности, вы его спрашиваете: «Хорошо ли, душенька, служил?» И в губы его... А он

вам: «В каторжную работу сослал двадцать персон». И на оборотку вас в губы... Какие у вас дела?..

Надя едва улыбается на этот ответ Михаила Ивановича и окончательно забывает его, заинтересовавшись героиней романа. Роман прочтен; Надя снова ходит по хозяевам, разговаривает с солдатом, смотрит, как хозяева кормят цыплят, и вдруг опять, среди этой скуки, неожиданно припоминаются слова Михаила Иваныча. «Какие у меня дела? — думает она. — Не оттого ли скука в самом деле, что женихов нету? ..» Она думает, и — глядишь — при следующем появлении Михаила Иваныча снова задает ему вопрос:

— А если я не хочу ваших женихов?

— А вам этого нельзя! .. Жених требуется, только он очень мудрен нонче стал, вывелся. А без жениха вам невозможно. Потому вы так прилажены...

— Как я прилажена?

— А так, чтобы на чужое жить... Теперича маменька вас кормит, одевает, а замуж выйдете — супруг станет награждать... Вы так приучены! .. В прежнее время в вашем звании все на чужое жили... Вы извольте взглянуть на прабабушку вашу... Им, может быть, сто годов, они чуть дышат, а очнутся — первым долгом лопочут: «В карман-то норови!» Ишь ведь-с! С малых дён все на чужое приучена... Или опять дедушку вашего возьмем с бабушкой. Дожили они до веку, до шестидесяти лет, и нет у них других слов между собой, окроме ругательств... Чай, сами слышали, как она его честит? .. А потому — что ей скука! Покуда на чужое жили, покуда таскали ей дары, например, она и мужа любила и жила весело. Как чужой карман из рук ее выхватили, — они врозь. И помянуть им на старости нечего! А кабы они своим трудом кусок-то брали, кабы в одних оглоблях-то шли, небось бы нашлось, что в эдаком преклоне вспомянуть... А то вон набрасывается на всех, только и всего... Делов никаких не было, вот из-за чего! ..

— У вас всё никто ничего не делает! У вас все на чужое...

— Обнаковенно! Ваш дяденька-то, Иван Петрович, вон умирают; а по какому случаю? — потому, что над ними потешались в людях, не понимали ихнего сурьезу... Сами читали в сочинениях у них... Разве я, примерно,

посмею эдак-то хаять человека, как они его хаяли? А потому, что с чужого, с жиру... Им бы только баловаться... И баловались все... Как же не все-то-с? Из-за чего мы ободраны?

Тут начинался длинный рассказ о прижимке, которого Надя почти не слушала, ибо Михаил Иваныч успел уже изложить его несколько раз. Но скука ее еще более делалась содержательною. Непреложные результаты всеобщего ничегонеделания, которые она видела собственными глазами, заставляли ее снова адресоваться к Михаилу Иванычу.

— А у меня есть дело? — вдруг спрашивала она его.

— Какое у вас дело? У вас нету. Кабы вы были простого звания, у вас бы было дело. У простого человека делов много... Он скуки не знает... Никто не привидывал, чтобы, например, мужик шатался да валялся этак-то да зевал: «мне скучно!» Отродясь и не было такого мужика... у простого человека забота, скуки нету... Дела у него...

— Какие дела?

— Мало ли делов-с! Делов простому человеку много. Возьмите вот Авдотью, у дедушки служит. Башмак на ней надет — он у ней свой! Надыть его выработать... Вот она год целый ворочает корчаги да ушаты, и сошьет башмаки... вот и дела!

И Михаил Иваныч высчитывал множество простонародных дел, вращавшихся в области «обужи» и «одёжи» и прочих незамысловатых предметов. Надя высказывала сомнение насчет того, чтобы кухарке было особенно весело среди этих дел; на что Михаил Иваныч приводил тот довод, что хотя кухарке и не весело, но зато ее и не клянет никто так, как клянут ее дедушку, жившего гораздо веселей кухарки... В подтверждение своих слов о вреде этого веселья на чужой счет он приводил еще и тот факт, что дедушка Нади не может умереть в течение пяти лет, обзавелся болезнями, которых не узнают доктора, тогда как с простым человеком ничего этого будто бы не бывает.

Несмотря на односторонность взглядов Михаила Иваныча, бормотанье его о грабежах и разбоях сделало то, что в голове Нади зашумел целый рой совершенно новых для нее размышлений. Прежде всего почему-то оказыва-

лось, что скука ее происходит от того, что нет женихов; но если и случился бы жених, то ей придется заниматься какими-то злодейскими и гадкими делами, примером чему — дедушка и бабушка и умирающий Ваня. Причина всех этих злодейств — чужие деньги. Надо иметь свои. Своих нет. Свои — у кухарок, у кучеров. У них нет скуки. Неужели надо идти в кухарки?

2

Таким образом, результаты, добытые Михаилом Иванычем среди житья в области прижимки, оказались пригодными для тех лиц, нравы которых в прежнее время держались этой прижимкой, слагались благодаря ей в известные формы и уничтожились, развалились сами собою вследствие того, что прижимка «обмякла». Новое время незаметно строит новые нравы, и никакой Михаил Иваныч в мире не подозревает того, что бормотанье его о чужих деньгах, о жизни на чужой счет может заставить кого-нибудь крепко задуматься; точно так же как никакая Надя, из числа множества подобных Надей на русской земле, с тоскою и томлением проводящая дни за днями, решительно не подозревает, что время донесет к ней, устами которого-нибудь Михаила Иваныча, такие думы и тоскования, о существовании которых она и слыхом не слыхала.

С течением времени из множества запутанных вопросов начал особенно выступать один, и именно насчет того, что почему-то действительно требуется женишка. В том одинаково были согласны и мать, и солдат, и хозяин, и Михаил Иваныч; все они хором вопияли о необходимости этого предмета, помощью которого все вопросы разрешаются сразу. Все это сердило Надю. Но скоро к этому хору присоединился еще новый голос, который сумел так повернуть дело, что Надя даже стала бояться пренебрегать женихами.

Голос этот принадлежал Арине-закладчице. Пользуясь тем обстоятельством, что Черемухина была ей «подвержена» вследствие заклада ей воротника, Арина стала от времени до времени посещать ее, дабы в то же время потешить себя созерцанием ее разорения. Входила она

обыкновенно раскачиваясь и охая и полагала при этом, что так именно поступают благородные дамы и богатые люди. Жеманно поздоровавшись с Черемухиной, она, кряхтя, усаживалась на старинное кресло и вступала в разговор.

— Ну как живете? — утомленным голосом говорила она.— Эко бедность-то у вас какая!.. Чать жить-то вам нечем?..

— Мы пенсию получаем, — не глядя на Арину, отвечала Черемухина и старалась скрыть свой гнев в вязальных спицах, которые необыкновенно проворно начинали ходить в ее руках.

— Велика ваша пенсия! чать копейку какую выдают... Ноне, брат, оченно трудно вам! Так-то-ся!.. Что ж, дочку-то замуж норовишь?

— Не век же в девках ей сидеть...

— Ну, мудрено это для вас!.. Кто ее возьмет, нищую-то?

— Не все миллионщицы...

— Ну, и без гроша-то тоже не очень много охотников найдется... За дьячка, пожалуй, выдашь...

— Придется, так и за дьячка выдам! — соглашалась скрепя сердце Черемухина, чтобы хоть как-нибудь зажать этот злой рот.

— Чему приходиться-то? Приходиться-то нечему, и так выдашь, не минешь. Чему тут приходиться? Ноне, брат, не то время! Не старое, сударыня, время стоит. В прежнее время с доходов сколько хошь жен набери, по сту дитев в год рожай, — всем хватит... Ну, теперь не очень-то!.. Много тоже из вашего брата пошло на улицу молодцов закликать... Вон у нас генеральская дочь, а глянь-кось: день в день по утрам домой приходит, шатается... Так-то-ся! Кто ее возьмет? — заключила она, кивая на Надю и вглядываясь на нее весьма несимпатичным взглядом.

Налюбовавшись над разорением Черемухиных, Арина, наконец, поднималась с кресла, говоря, что «посидела бы, да, вишь, стулья-то у вас еле живы... голову свихнешь», и уходила.

— Эко бедность-то, бедность-то какая!.. — шептала она при этом и, покачивая головою, оглядывала все углы в жилище Черемухиных.

Такие посещения Арины сделались все чаще и чаще, и, благодаря ее разговорам об участи Нади и о том, что ее никто не возьмет, «жених» принял в глазах последней какое-то неотразимое значение. Тон, которым говорила Арина, очень близко подходил к тону ругательства; Надя как-то перепугалась своего положения. Не зная, почему ее бранят, и не зная, как «заслужить одобрение», то есть приобресть хоть сколько-нибудь спокойное состояние духа, она, благодаря рассуждениям Арины, потеряла всякую надежду достигнуть этого с помощью даже жениха, ибо оказывается, что ее еще и не возьмет никто.

«Кто ее возьмет? . .» звучало в ее ушах даже впросонках.

И если принять в расчет обстановку Нади, томившейся среди какого-то захолустья, битком набитого отживающими людьми, к которым сама собою уничтожилась всякая симпатия, то будет понятно, почему в это время Надя охотно бы вышла за любого, пожелавшего сделать ей предложение. Беззащитность ее нравственного и материального положения была до того велика, что, ради необходимости как-нибудь разрешить ее, она стала даже ободрять себя в намерении выйти поскорей замуж, подкрепляя это намерение тем, что дедушка и бабушка, нравы которых сделались для нее страшными, — старики, умирающие люди, а что молодые живут не так.

Это намерение было бы приведено в исполнение самым поспешным и самым легкомысленным образом, если бы в жизни Нади не произошло одно случайное обстоятельство.

V. ЗЕМНОЙ РАЙ

1

В числе знакомых Нади было, между прочим, семейство Печкиных. С этим семейством Надя познакомилась, во-первых, потому, что Софья Васильевна, жена Печкина, оказалась подругою ее детства, а во-вторых, потому,

что сваха, уже начавшая свои посещения, отозвалась о Печкиных почти с благоговением.

— Пройди ты всю подвселенную, нигде ты этого рая земного не сыщешь! .. — говорила она Наде: — Софья-то Васильевна — вот как ты же сирота, еще голей тебя была, а теперь глядь-кось! Ровно принцесса живет... Да что ей? Ни о чем заботушки нету, живет за мужем, ровно за каменной горой, даром что за не очень-то молодого выскочила...

В словах свахи скрывалась тайная цель сосредоточить внимание Нади на пожилом телеграфисте с рыжими волосами и с полупольским выговором. Но Надю главным образом интересовало видеть подругу, с которой она не видалась с тех пор, когда еще маленькими девочками они катались на санках, и которая теперь живет в земном раю; да и скука, требовавшая чего-нибудь нового, кроме бормотаний Михаила Иваныча о грабежах, тоже в достаточной степени помогла скорейшему посещению земного рая. Михаил Иваныч, знавший Печкина как посетителя трифоновской лавки, взялся ее проводить туда.

Узенький переулок, где был рай, приветствовал наших путников, помимо пустынности и тишины летнего полдня, длинными заборами, тянувшимися по одной стороне его, и несколькими домами, смотревшими в эти заборы с другой стороны; наглухо захлопнутые и мертво молчаливые ворота дома Печкиных, с своей стороны, прибавили некоторую дозу тяжести к тому тяжелому впечатлению, которое производил переулок. Но скука Нади, жаждавшая какого-нибудь исхода, сумела перетолковать эту смерть, носившуюся по переулку и веявшую от ворот, в смысле плотной ограды, окружающей более спокойную, нежели ее, жизнь.

Помощью веревки, протянутой через забор к колокольчику, из недр рая были извлечены предварительно несколько собак, оскаленные, захлебывающиеся рыла которых внезапно появились в десятках не замеченных до сих пор дыр: в заборах, в подворотнях, на вершине заборов и проч. Стараниями Михаила Иваныча и кухарки, отворившей ворота, полчища, охранявшие райские двери, были разогнаны.

— Дома барыня? — спросила Надя кухарку.

— Где им быть... Стал-быть, дома...
— Что она делает?
— Что ей делать? Почивают, поди, либо так...
— Делать ей нечего, обнаковенно! — подбавил Михаил Иваныч.
— Обнаковенно! — согласилась кухарка: — Делов у них нету никаких. Чего ей еще?

Говоря так, она между тем с большими усилиями отнимала от двери сеней довольно толстую палку, которою двери эти были приперты, и когда палка была брошена на землю, кухарка прибавила:

— Ишь вогнал как, насилушки одолела...
— Кто это? — сделав шаг в сени, не могла не спросить Надя.
— Да это наш... барин!.. — улыбаясь, отвечала кухарка. — Бережет ее... чтоб не было ей беспокойства... Тоже боится, не ушла бы!..
— Как не ушла?
— Да так ему взбрело: не ушла бы, мол!.. А куды ей уйти-то?.. Коли бы у нее дело... а то.. куды ей?. Ей и так некуда... Никакой заботы нету, ровно царица...

Михаил Иваныч не упустил случая поддакнуть при словах кухарки «кабы дело». Но Надя сначала посмотрела на них на обоих и, словно задумавшись, тихо пошла вдоль пустынных сеней. Шаги ее сделались еще тише, как будто даже боязливее, когда тяжелая дверь, обитая войлоком, ввела ее в переднюю, в которой, кроме темноты, со всех сторон пахнул на нее спертый, тяжелый воздух с запахом сырой гнили. Наде хотелось кашлянуть. Но тишина остановила ее от этого. Та же тишина и тот же воздух преследовали ее в двух-трех комнатах, по которым она шла вслед за кухаркой и где декорация рая состояла из продавленных стульев, пыли на пошатнувшихся столах, зеркала с каким-то рисунком вверху рамы, картин, вроде схимника, посещаемого Александром благословенным, зеленых стор, пожелтевших снизу и в десять раз уменьшавших то количество света, которое за минуту ощущала Надя на улице. Словно туча вдруг нанеслась на ясное небо, когда она вошла в этот рай, и она совершенно испугалась, вместо того, чтобы обрадоваться, когда кухарка вдруг довольно громко произнесла:

— Вот они... Пожалуйте... Почивали!

На широкой кровати с измятой периной и множеством толстых подушек восседало какое-то растрепанное существо с развязавшейся косой, спутанными на лбу волосами и необыкновенно испуганными глазами. Из-под желтой, покрытой пятнами блузы, с распахнутым у горла разрезом, высовывались ноги, из которых на одной чулок спускался почти до полу, а на другой его не было совсем; королевна или принцесса, словом — обитательница земного рая, упиралась руками в перину, что вместе с сонным выражением глаз напоминало человека, над которым внезапно раздался выстрел. При виде этого существа Надя остановилась в некотором изумлении, и в комнате некоторое время царствовала бы мертвая тишина, если бы не залегший во время сна нос королевны, который прорезывал эту тишину разнотонными отрывистыми звуками.

— Соня... Сонечка! — с робостью начала Надя; но прежде, нежели ей удалось расшатать это райское спокойствие, ей нужно было не робким, но усиленно громким голосом повторить, что «помнишь-ли... Надя!.. Я — Надя Черемухина... На санках-то...» Нужно было также потрогивать Софью Васильевну за плечо, за руку... Но когда Софья Васильевна, наконец, поняла, в чем дело, и несколько раз поцеловалась с Надей, крепко ее обнимавшей, испуг ее с внезапною быстротою заменился слезами, которые хлынули целым потоком, как вода на прорвавшейся плотине... Лицо и тело Софьи Васильевны, продолжавшей сидеть на кровати, как-то вдруг осели, раздались в стороны, сделались шире, и по всей их ширине бушевал поток рыдающего трепета.

Надя глядела на это трепещущее и рыдающее существо, слушала ее захлебывающиеся слова: «Надя!.. милая... Надя!» — и вдруг ей стало досадно. Во всем этом не чуялось ею даже и того ничтожного интереса и смысла, которые все-таки были в захолустье, где жила Надя. Эта досада, уменьшавшаяся по мере того, как слезы начали мало-помалу пересыхать на распухшем и раскрасневшемся лице Софьи Васильевны, вдруг была еще более усилена появлением нового лица. Среди новых всхлипываний Софьи Васильевны донесся из передней крикливый, рассерженный, но старческий и дребезжащий голос ее супруга.

— Кто такой? Ты что? Что такое? Это что? Что это такое?.. — бормотал он, натыкаясь на растворенные двери крыльца, на валяющуюся палку и с изумлением встречая в передней фигуру Михаила Иваныча.

— Что ты? Что ты орешь?— донесся до Нади не менее негодующий ответ Михаила Иваныча, который не мог относиться к Печкину равнодушно, зная его мнения по трифоновским беседам. — С барышней пришел, что орешь-то? Хапнуть не дали?

— Что мне с барышней? Что такое — с барышней? Я болен... С барышней... с барышней! Все росперто!.. Что такое? Софья!.. Что это такое?

Слова эти, раздавшиеся почти одновременно в передней, в зале, гостиной, вместе с торопливыми звуками шагов, наконец раздались и вблизи Нади, в спальне, где на пороге появился Печкин, длинный и дряблый чиновник, с растерянным, кислым и осерженным лицом. Не обращая на Надю никакого внимания, он бросил шапку, фильдекосовые перчатки, скинул сюртук и все время вопил:

— Что это такое? Акулина! Соня! Болен! я! господи...

— Дай ей с барышней-то повидаться, — усовещивала Печкина кухарка.

— Что такое? Барышня! Что мне барышня? С барышней, с барышней... Я болен... Говорю вам, меня баба сглазила... Господи!.. Росперто... растворено... Да сделайте милость... Софья! Спрысни!.. Спрысни, ради христа!

Сердитая чушь, которую Печкин сыпал не переставая, и сопряженный с этою чушью гвалт заставил Надю уйти в другую комнату. Отсюда она с большим испугом глядела на этих людей, обитателей рая, кропивших и брызгавших друг друга святой водой, сердившихся, кричавших, испуганных и в помрачении ума натыкавшихся один на другого. Все это до того изумило ее, что она, издали сказав Софье Васильевне «прощай», «приду», бегом бросилась вон из комнаты.

— Михайло Иваныч! — крикнула она ему в каком-то изнеможении, и тот, отвечая на отчаяние, слышавшееся в ее голосе, бросился вслед за ней.

Очутившись на улице, Надя перевела дух и, взглянув на Михаила Иваныча, сказала:

— Господи! что это?..

— Черти! — отвечал Михаил Иваныч. — Облопались. Сглазила! Ишь ведь что выдумает! сглазить этакого дьявола... Ему зацарапать нечего в ла-апу!..

На этот раз обыкновенные бормотанья Михаила Иваныча насчет грабежей не казались Наде скучными; напротив: они освежали ее голову, пораженную сценами райской жизни, обставленной припертыми воротами и одуревшими людьми.

2

А в сущности будущность Нади едва ли могла быть лучше участи Софьи Васильевны, которая действительно пользовалась самым лучшим положением, какое только возможно в том кругу, где живут не трудясь. До замужества с Печкиным, полтора года тому назад, Софья Васильевна имела решительно те же самые шансы на самостоятельную жизнь, как и скучавшая в настоящее время Надя. По выходе из пансиона она, как сирота, жила у вдовой пожилой тетки, где занятия ее состояли в том, что она тихонько ходила из комнаты в комнату, тихонько читала «Юрия Милославского», тихонько поливала цветы. Были ли у нее какие-либо планы насчет будущности — решительно неизвестно; пансионская наука, представлявшая смешение Гибралтаров с заповедями и Мамаев с перешейками, особенно определенных целей в жизни ей не дала, сделав из нее существо, о котором, при самом тщательном наблюдении, можно было сказать только, что она румяная и добрая! Все это, так сказать, обязывало Софью Васильевну отнюдь не делать шагу на том пути, где ничего не могут сделать перегоревшие в огне руки Михаилов Иванычей, и идти только туда, куда ее поведут и где ей помогут. И вот является какой-нибудь руководитель, которому нужна жена, берет ее, ведет в свой дом и наполняет пустой сосуд собственными интересами. И каковы бы ни были они, всякая Софья Васильевна должна быть несказанно благодарна за них, ибо чем бы могла наполнить она свое существование, если бы у мужа не было охоты водить кур, если бы он не любил драться, напиваться, если бы не направил взятого им автомата

к интересам толкотни на базаре, крика с торговками, дебоша с кухаркой по случаю пропавшего куска сахару? И если принять в расчет, что путь, по которому должны идти все имеющие в запасе один только румянец, усеян дебошами супругов, увечьями и прочими ужасами захолустной тишины, то положение Софьи Васильевны делается действительно райским, ибо Павел Иваныч Печкин, взявший ее для собственной надобности, избавил ее от всех вышеупомянутых терний, ибо женился на ней в то время, когда всякая возможность к интересам, вращающимся между курами и пьяными драками, была устранена.

До сорокапятилетнего возраста Павел Иваныч не чувствовал крайней необходимости в супруге, так как, принадлежа к числу людей, успевших по службе, и не употребляя водки, он один вил свое гнездо, при самой незначительной помощи толстой и жирной бабы, которая жила у него единственно только для порядка. Тщательность, с которою Павел Иваныч вникал в целость кусков сахара и копеек, придержанных бабою у себя во время покупки провизии, делала его самого более похожим на бабу, нежели на чиновника! Благодаря этой рачительности у него вырос собственный дом, собственное хозяйство, и благосостояние вообще достигло до такой степени совершенства, что в помощнице или жене не чувствовалось ни малейшей надобности. Только некоторые порывы жирной бабы, норовившей по временам отправить в деревню «к своим» какую-нибудь ложку или носовой платок ценою в гривенник, заставляли от времени до времени вступать в разговоры со свахой насчет невест; но благодаря находчивости бабы (у которой в Москве, в воспитательном доме, было несколько ребят) все неприятности с барином улаживались, устранялись, и переговоры со свахой оканчивались ничем. И Павел Иваныч никогда бы не задумался насчет женитьбы серьезно, если бы руководствовался интересами исключительно хозяйскими и если бы дух времени не ворвался в среду его установившегося миросозерцания. Необходимо заметить, что внутренний мир Павла Иваныча был до сего времени тоже в полном благосостоянии: он никогда не думал о том, почему, например, начальство может получать двойные прогоны, распекать, выгонять, гнуть

в бараний рог и почему в то же время он, Павел Иваныч, ничего этого делать не может?

Почему он, отправляясь на службу, должен строчить разные бумаги, брать взятки, вытягиваться перед советником и почему должны ему давать эти взятки, требовать вытяжки и проч.? Павел Иваныч принял все это с тем же спокойствием, с каким люди убеждаются, что солнце светит, что под ногами — земля, а над головой — небо; об этом даже и не думают. Павел Иваныч делал все это исправно и жил поэтому весьма счастливо до тех пор, пока время не пошатнуло этого миросозерцания. С некоторых пор стало оказываться, что взятка — вещь гнусная и что Павел Иваныч — подлец, тогда как он считал себя честным человеком. «Разве я что украл?» — говорил он в подтверждение этого. Начальство, которое прежде только распекало, которое прежде отличалось опытностью и дряхлостью, стало заменяться какими-то щелкоперами, которые носили пестрые брюки, курили в присутствии сигары, не брили бород, выгоняли вон без суда и следствия, не желали видеть доказательства честности в беспорочной пряжке. Все это и множество других либеральных реформ, похожих на снисхождение к пестрым брюкам, вломились в умственный мир Павла Иваныча и произвели в нем потрясение. Павел Иваныч впервые стал ощущать тоску, возвращаясь из должности в лоно своего благоустроенного хозяйства; впервые под ее влиянием он стал ощущать, что разговоры после обеда с бабой о разных разностях, которые в прежнее время он так любил, не идут к делу и не помогают. Как человек набожный, он возлагал большую надежду на помощь божию, надеясь, что все эти брюки, честности и бороды «прейдут», ибо посылаются в наказание народам за беззакония и блудную жизнь; но в сущности это были только самые легкие удары начинавшегося землетрясения. За бородами пришли времена, когда вдруг мужики перестали давать взятки. В былое время Павел Иваныч напишет бумажку и знает — что ему сейчас дадут и что потом это даяние он положит в карман; а тут пришло так, что он только пишет бумажки, а в карман ничего не кладет и не знает, чем занять оскорбленную руку. Затем пошли новые суды, неповиновение в народе (а в том числе и в кухарке). И все это вместе внесло

в душу Павла Иваныча множество самых непримиримых вещей; не говоря о существе этих вещей, можно указать только на силу их томительности, исходившей из того, что Павел Иваныч принужден был всеми этими новизнами к размышлениям о чем-то таком, о чем он прежде и не думал. Ради забвения этой тоски, с которою непосредственно соединялись боль в спине и крестце, ломота костей, нытье рук и ног, Печкин стал шататься в лавку Трифонова, которая уже успела прославиться своими успокоительными свойствами. Но у Трифонова хотя и было очень много вещей, совершенно не напоминавших современности, однако же не получалось и полного успокоения, потому что и сюда от времени до времени залетали слухи о новых судах, о честности, о железной дороге... В конце концов все это до того повалило Павла Иваныча, до того уронило его в собственном уважении, что требовалось какое-нибудь решительное средство для того, чтобы привести в порядок его душу и оживить ее.

Он решился жениться, обновить свою жизнь; для этого он пошел и взял Софью Васильевну, которой самой некуда было идти и которая без посредства Павла Иваныча должна бы была погибнуть, как муха, или весь век потихоньку поливать цветы и утрачивать румянец. Румянец этот первоначально был «поражен» «счастием», видя его в сорокапятилетнем Павле Иваныче, и стал громко и горько плакать; но когда был поставлен под венец и спрошен: «согласны ли», — то отвечал, что «согласен». После этого он перестал плакать, сказал себе «ну, что ж!», окаменел, одеревенел и, в качестве пустого сосуда, начал наполняться интересами супруга. Окаменение и одеревенение являются прямым результатом житья под чьею-либо властью. Софья Васильевна не могла избегнуть его, но зато самая власть, взявшая ее, была изумительно ничтожна: она требовала только одного, и именно только того, чтобы Софья Васильевна признавала ее за эту власть в то время, когда все считают ее за ничто. Софье Васильевне незачем было беспокоиться, что муж пьян и разобьет голову, прибьет ее и проч.: Павел Иваныч не пил ни одной капли; незачем было ей тревожиться хозяйством, устройством спокоя, благоденствия: все это было устроено прежде ее прихода; ей нужно было только слушать ропот Павла Ивановича на современность, и лучше,

ежели бы она не понимала его. Софья Васильевна была счастлива и в этом отношении, ибо ропот Павла Иваныча был лишен всякой логики. Разозленный, например, сразу множеством новых явлений, он в бешенстве ходил по комнате и вопиял:

— Железная дорога! Ну что такое железная дорога? Железная дорога, железная дорога! А что такое? в чем дело?.. неизвестно!

Отвечать что-нибудь на такие фразы или возражать на них — вещь весьма не безопасная, ибо Павел Иваныч и сердится на железную дорогу собственно только потому, что она, наряду с другими явлениями, тоже как будто возражает ему и мешает с прежнею ясностью видеть кругом себя. Софья Васильевна не понимает ничего и молчит. А Павлу Иванычу легче: его слушают.

Таким образом, у Софьи Васильевны не оказывалось никакой заботы, кроме заботы слушать брюзжания Павла Иваныча, и, следовательно, румянец ее и знакомство с перешейками нашли самый подходящий приют для себя, тем более подходящий, что одеревенение Софьи Васильевны уничтожило и ту тень труда, которая для нее могла заключаться в заботе слушать Павла Иваныча. Она слушала его и не слыхала ничего, и это было отлично.

Так и пошла ее райская жизнь.

Избавленная от всяких забот и трудов, Софья Васильевна могла спать, просыпаться, обедать и опять спать: окаменение ее росло и делалось способным воспринять самые раздражающие брюзжания Павла Иваныча, делало их даже незаметными, несмотря на то, что, согласно с беспрестанным наплывом новых явлений, они делались как-то бестолковее и длиннее. Разоренный ум Павла Иваныча, ободренный сначала появлением Софьи Васильевны, с течением времени снова почувствовал потребность подкрепить себя чем-нибудь новым, помимо Софьи Васильевны. Загроможденная железными дорогами, новыми судами, нотариусами и проч., мысль Павла Иваныча выводила его то к необходимости лечиться, ставить банки, пиявки, то к необходимости усерднее прибегнуть к богу и, наконец, совершенно неожиданно для него самого, привела его к убеждению в необходимости построже смотреть за женой. Это было до того ново

и до того во власти Павла Иваныча, что ему снова стало покойнее и легче, если он, возвратившись из должности, шопотом спрашивал кухарку:

— Что моя жена... ничего?

Кухарка передавала об этом барыне; но ей было все равно. Точно так же ей было все равно после того, как Павел Иваныч, в видах нового ободрения самого себя, выказал намерение запирать ее снаружи, упирая дубинкой в дверь, и проч. Она продолжала прозябать, теряла человеческий лик и нрав, теряла с каждым днем даже потребность опрятности, и таким образом получились те результаты райской жизни, которые повергли Надю в величайшее изумление.

3

Раздумывая над положением Софьи Васильевны, Надя постепенно додумалась до того, что Сонечка достойна величайшей жалости. Под влиянием этой мысли она снова отправилась к ней, снова перенесла все эти преграды, слезы, объятия и добилась все-таки того, что увела Софью Васильевну с собою. Больших трудов ей стоило уговорить ее не трепетать и не вздрагивать от уличного шума, который весь и состоял только в том, что какой-то мужик вез куда-то песок; не бросаться в стороны от прохожих, не ахать, хватаясь за грудь, при крике лавочного сидельца и проч. Кое-как, наконец, Софья Васильевна была приведена в дом Черемухиных и обласкана; успокоить ее тревогу относительно того, «что скажет муж», — не было никакой возможности, несмотря на одинаковые старания Черемухиной, Нади и Михаила Иваныча.

— Да что ты, матушка? — уговаривала ее Черемухина: — велика беда — раз из дому в гости ушла!

— Что вы уж очень-то? — успокоивал Михаил Иваныч. — Велика фря!.. Да шут с ним! пущай-кось подумает, не чем кольями-то припирать!

Никакое из подобного рода увещаний не могло хоть на вершок поколебать страха, который вдруг стала чувствовать Софья Васильевна к мужу, не внушавшему ей до сих пор ничего, кроме полного равнодушия. Надя

водила ее по саду, по двору, знакомила с хозяевами, показывала людей, спавших за заборами на перинах, и проч. Софья Васильевна как-то вдруг начинала радоваться всему, что ни показывала ей Надя, и тотчас же впадала в уныние.

К концу вечера эти старания сделали то, что вместе со страхом к мужу в сердце Софьи Васильевны воспиталось уже крошечное зерно упрямства; ей уже не хотелось домой; а когда Надя предложила ей остаться и ночевать, говоря насчет Павла Иваныча: «пусть его», то Софья Васильевна только залилась слезами, но в ужас не приходила.

Успокоивая ее, Надя шла с ней из саду и тоже несколько испугалась, встретив кухарку Печкиных, которая за минуту пред этим, запыхавшись, вбежала в ворота.

— Матушка, Софья Васильевна! Пожалуйте скорей домой! — испуганно говорила она. — Павел Иваныч такой сделали шум, такой шум!

И тут испуганным, как говорится, «насмерть» голосом она рассказала, что Павел Иваныч, не найдя дома жены и не зная, где она, распушил ее, кухарку, и хотел тотчас же объявить полиции о розыске сбежавшей с офицером жены. Кухарке нужно было много времени, чтобы убедить барина, что никакого офицера тут не было и в помине, а приходила «барышня». Павел Иваныч никого не слушал, кричал на весь дом: «Барышня, барышня? что мне с барышней? что такое? в чем дело?» и стал бегать по лавкам, рассказывать всем, что «пришел домой, а жены нету», расспрашивал всех: «не видали ли?», заглянул даже в некоторые кабаки и трактиры. Наконец кухарка, благодаря скуке и наблюдательности обитателей тех улиц, по которым Надя и Софья Васильевна достигли дома Черемухиных, отыскала их и требовала немедленного возвращения.

Досада охватила сердце Нади при этом рассказе и при виде убитой фигуры Софьи Васильевны, которую тащат в какую-то берлогу.

— Она не хочет! Она не пойдет! — сказала она кухарке довольно решительно.

— Как это можно не идти? Где это видано! — в ужасе отвечала кухарка. И ее слова были подтвер-

ждены хором нескольких зрителей, в числе которых были хозяин, хозяйка и солдат.

— Да она хочет быть здесь! — убеждала Надя публику.

— Мало чего нет? Она хочет тут, а муж хочет там!.. Нет, уж это что же?.. Нет, уж иди!.. Как жена может уйти?.. — говорила публика.

— Он, пожалуй, осерчает да прогонит еще! — прибавила кухарка. — Они вон, Павел Иваныч-то, чаю не пьют без них... Этого нельзя!

— Да он один напейся, разве не все равно? — отстаивала Надя Софью Васильевну.

— Супруг желает, чтобы вместе! Сударушка! — со всем усердием объясняла ей кухарка: — такое его желание, должна же супруга ему сделать по вкусу!

— А она здесь желает быть, должен он ей позволить!

— Матушка! — продолжала кухарка: — такое его желание, чтобы чай с нею... Он так желает... Должна она себя же приневолить!

Толпа подтверждала справедливость рассуждений кухарки. Старушка Черемухина, выглянувшая из комнаты, тоже не была против общего мнения, но высказала это довольно осторожно, сказав «вообще», что, мол, конечно, жаль, а все-таки... Но самое полное доказательство правды этих мнений было внезапное появление самого Павла Иваныча. Он торопливыми шагами направился к жене в самую середину толпы, и вслед за тем из разгневанных уст его полилась дребезжащая и крайне сердитая дичь и чушь.

— Это что такое?.. Что это такое?.. — захлебываясь от усталости и волнения, задребезжал он, глядя на Софью Васильевну: — я чаю не пил! Ведь это, ведь...

— Я с Надей! — едва внятно произнесла Софья Васильевна.

— «С Надей»? — почти вскрикнул Павел Иваныч, выпячивая грудь вперед и растопыривая руки. — Что такое: «с Надей»? Что мне «с На́дей»? «С Надей», «с Надей», а я... я чаю не пил!

— Ваша кухарка... — нача̀ла было Надя...

— Кухарка! — еще громче вскрикнул Печкин и еще больше качнулся назад. — Что мне кухарка? позвольте

вас спросить: что такое кухарка? а между тем... а-а... Ведь это невозможно!..

Сердитая чушь, сыпавшаяся из уст Печкина и произносимая довольно громким и крикливым голосом, в соединении с шумными суждениями публики с каждой минутой привлекали все новых зрителей и праздных наблюдателей. Еще две или три минуты, и на дворе Черемухиных собралась бы толпа. Старушка Черемухина, знакомая с нравами захолустьев, поспешила предупредить образование формальной сцены и пригласила Печкиных в комнату. Здесь она объяснила Павлу Иванычу, в чем дело, уговорила его не беспокоиться и затем ласково проводила супругов за ворота. Надя с грустью рассталась с Софьей Васильевной и долго не могла успокоиться насчет того, что́ значит в руках супруга такое ничтожное обстоятельство, как «я не пил чаю»!

По уходе Печкиных захолустье, разбуженное супружеским вопросом, продолжало обсуждать его, и Надя принимала в этих рассуждениях живейшее участие. Желая уронить в общих глазах значение Павла Иваныча, она высчитала перед хозяйской кухаркой, с которой шли разговоры, все его злодеяния в виде кольев, ворчанья и заключила тем, что если бы ей пришлось с этим человеком пробыть один день, то она бы умерла или уж, по крайней мере, ушла бы прочь.

— И, матушка,— ответила ей кухарка: — ушла! Куды пойдешь-то, посуди сама? Ведь ты дня без супруга-то не продышишь! Повертишься, повертишься на крылечке, да и придешь опять! Кабы вы были простого звания, он бы, муж-то, так-то не привередничал... А то вы благородные: по этому случаю вам надыть исполнять его приказ.

— А простого звания? — спросила Надя: — а ты?

— Я-то? Мой муж этак-то не посмеет... ему не расчет надо мной потехи потешать. Потому он знает, что ежели ему рубь серебром занадобится, я ему дам, помогу из своих трудов, из своих достатков, а ежели он пьян напьется да придет ко мне шуметь, — так я его тоже могу и в часть посадить! Потому я сейчас взяла из своих денег гривенник, дала его будочнику, он его так-то ли прекрасно в часть запрет! Так-то-с!

— Да ведь и он тоже может будочнику дать гривенник?

— С чаво ж не даст? — даст: только ему же хуже... В чужих людях той помочи-добра не сыщешь, что в жене муж, а в муже жена... Мы не допущаем себя до этого... К примеру сказано... А у благородных-то этого нельзя; благородный-то хоть «что хошь» — мудри над женой, ей и будочник помочи не окажет, потому как он барина в часть потащит? Так она и должна себя потрафлять по мужу... Потому ей без мужа не с чем взяться!

Почти то же самое высказывали и другие лица, обсуждавшие этот вопрос: Михаил Иваныч, и солдат, и хозяин, и хозяйка, и во всех их речах непременно упоминалось о каком-то «своем труде», «своих деньгах» как единственных средствах, с помощью которых можно избежать всех этих безобразий.

Вечером Надя долго думала обо всем, что пришлось видеть, и решительно не могла прийти к иному выводу кроме того, что кухарке действительно лучше жить, нежели барыне или барышне.

VI. ВСЕ ПО-СТАРОМУ

1

Как ни обстоятельно и ясно Павел Иваныч предъявил свои супружеские права и силу мужниной власти, однако же Надя и Софья Васильевна сошлись друг с другом ближе. Надю к этому побуждало сожаление о горькой участи подруги; Софья Васильевна стремилась к тому же почти буквально ради возможности «дохнуть свежим воздухом». Сближение это отчасти внесло некоторую долю разнообразия в скучную жизнь Нади, ибо благодаря ему против Павла Иваныча была открыта война, занятие, конечно, не особенно интересное; но в том мире, где умеют только покоряться, где не имеют другого дела, кроме подставления собственной спины под удары, и эту войну можно счесть делом. Обе наши подруги принад-

лежат к провинциальной «толпе», массе; они неразвиты, необразованны и испытывают самые первые, самые ранние симптомы сомнений; и если принять в расчет, что в этой толпе никто никогда не сомневался в том, в чем сомневается Надя, то и война против Павла Иваныча уже шаг вперед. Наперекор его брюзжанью, они стали все чаще и чаще пользоваться его отлучками в должность, послеобеденными снами, для того чтобы уйти из дому куда-нибудь, на что-нибудь посмотреть, посидеть и погулять в черемухинском саду или просто сказать друг другу: «экая скука!» и ждать, пока появится разбешенный Павел Иваныч. Появления его доставляли Наде некоторую долю удовольствия быть злой и чувствовать себя как будто бы самостоятельной, в степени весьма, впрочем, слабой, ибо вся эта самостоятельность состояла в том, что Надя с течением времени приучила себя без страха смотреть в разгневанные глаза Павла Иваныча и тоже без страха говорить ему, что Софья Васильевна не хочет идти домой, что она остается у ней ночевать.

— Вот и все! — с гневом прибавляла она.

— Ночевать! — восклицал Павел Иваныч. — Вот это великолепно! Ночевать, ночевать, — а что такое? в чем дело? Неизвестно! .. Ведь это... Авдотья Петровна! — обращался Печкин к старухе Черемухиной. — Вы мать... Я муж, разве возможно? Она ваша дочь... Ведь это! ..

— Я, батюшка, человек старый! .. — отделывалась Черемухина, чувствуя, что и ее голова разоряется в последнее время. С одной стороны, ей кажется, что нету греха в дружбе и скитаниях ее дочери с женой Печкина, с другой, ей тоже кажется, что Софья Васильевна должна почему-то сидеть дома, ибо и сама Черемухина делала так в течение целой жизни.

И Надя чувствовала полное торжество, когда, несмотря на продолжительное оранье и брюзжанье Печкина, ей удавалось обделать такое дело, как оставить ночевать у себя Софью Васильевну и видеть, как разбешенный Павел Иваныч плюнет и убежит со двора. Павел Иваныч, голова которого, как уж нам известно, была разорена современностью до последней возможности, благодаря этой борьбе с Надей и с женой получил тоже достаточно определенную жизненную цель и имел возможность восставать против событий, ему совершенно

ясных, и уже не враждовал против железной дороги, которая не сделала ему ровно никакого зла. Теперь было уже совершенно ясно, что во всем виновата жена, и о злодеяниях ее он трубил решительно повсюду.

— Вот как, брат, жены-то нынешние! — в гневе кричал он в окно соседу портному и показывал ему чайник. — Сам, брат, засыпь, сам раздуй самоварчик, а не хочешь — поди на улицу да издыхай в подворотне. Вот, брат! Голую взял, думал, что за мое благодеяние...

— Ишь шельма! .. — говорил портной и прибавил со вздохом: — не те ноне порядки, батюшка Павел Иваныч! .. Вы так думали, что за ваши ей благодеяния окажет она вам всякое удовольствие, например, — да! а она, например, задрала хвост в то же время... Так-то-с! ..

— Да-а, брат! Нонче порядки, брат, пошли совсем собачьи... Ты хочешь так, а тебе вот так! ..

— Ты, например, эдак вот имеешь желание, а на место того тебе делают так-то вот! — прибавлял, поясняя, портной и в конце концов получал от Павла Иваныча рюмку водки, что и составляло тайную цель портного в течение всего разговора.

Но главным пристанищем Павла Иваныча во всех горестях последнего времени была все та же лавка Трифонова. Как ни сильна была у Трифонова привязанность исключительно к самому себе, к своей медицине и пению, но, когда дело касалось женщин или «баб», он не оставался хладнокровным слушателем и всегда готов был произнести суждение на этот счет, причем на суровом лице его мелькало нечто вроде улыбки.

— Что, брат, — говорил Печкин, входя в лавку и в изнеможении опускаясь на стул. — Ведь опять хвостом вильнула, ушла!

— А ты спи покрепче! .. — говорил Трифонов.

— Проснулся, хвать! — и след простыл!

— Про что ж я-то говорю? Храпи поздоровей; каши наешься, набей брюхо-то, а она в течение того времени будет тебе весьма благодарна... Дубина! .. — начинал Трифонов, принимая обыкновенный суровый тон: — л-юбовника ищи! .. Гнилая колода! л-юбовников разыскивай... Чего храпишь-то? ..

— Да нету любовников, брат, нету! — в унынии говорил Печкин.

— Да как нету любовников? — сердился Трифонов.— Какую это имеет возможность твое слово, ежели она бегает от тебя? Плетень! Уж ежели же она хвост треплет, следственно, уж где-нибудь да имеет она свой преступок? Как любовников нету? ..

— Да именно я тебе говорю, что нету их! С девчонкой, с Надькой Черемухиной шатается.

— Да черепок ты этакой! Да и у девчонки-то, разгляди-кось хорошенько, уж они там, любовники-то, где-нибудь приуготовляют себя... Глупец! Разбери-ко девчонку-то с рассудком, так уж там, брат, они, любовники-то, в значительном благополучии состоят... Нету любовников! Экий нос табашный! .. А ежели нету любовника, как же не можешь ты жену свою вогнать в струну! .. И совершенная ты будешь пакля, ежели ты его не разыщешь, потому ежели ты его сцапаешь, то можешь ты ее, супругу, по закону раскритиковать всячески! .. А без этого тебе никак нельзя... Я, брат, учен ими... Они у меня, бабы-то, вот где сидят! ..

При этом Трифонов показывал на затылок, и именно этим можно объяснить то рвение, с которым он относился к делам Печкина. Дел этих, однако же, не поправляло участие, которое Печкин находил в лицах, ему сочувствовавших: любовников не находилось, и отлучки жены сделались еще чаще. Не проходило дня, чтобы Софья Васильевна не ночевала у Черемухиных или Надя не приходила ночевать к Печкиным, и с каждым днем в Софье Васильевне росло отвращение к Павлу Иванычу, к его скучному дому, глухому переулку, словом — ко всему, среди чего она до знакомства с Надей могла выработать способность спать по пятнадцать часов в сутки. Идти домой от Черемухиной для нее стало столь же противным, как гимназисту идти в пансион, когда на дворе еще воскресенье и когда дома братья и сестры еще бегают и играют в саду. Всякий раз эти возвращения сопровождались слезами, которые прекращались только тогда, когда Надя шла ночевать к ней. Действуя исключительно во имя жажды свежего воздуха, Софья Васильевна с каждым днем все больше и больше привязывалась к Наде и не отставала от нее ни на шаг, доставляя тем Павлу Иванычу множество неприятностей. Обезоруженный доводами Трифонова насчет любовников,

Печкин решительно уже не мог возобновить прежних предосторожностей по части запирания жены в свое отсутствие и ограничивался только бесплодными воплями, иногда, впрочем, изменяя обычную форму выражения их.

— Позвольте узнать, — говорил он жене, когда та с Надей возвращалась вечером домой. — Позвольте мне узнать, неужели я какая-нибудь собака, что... Ведь это, наконец... трепать хвосты!

— Мы не трепали, — отвечала Надя за Софью Васильевну. — Мы гуляли.

— Не трепали! вот это великолепно! Гуляли! Вот превосходно! Гуляли-гуляли, не трепали, не трепали, а что такое? Ведь не в подворотню же мне идти ночевать?

На это ему не отвечали.

Во время этих отлучек, прогулок, посещений родных, делавшихся большею частью в сопровождении Михаила Иваныча и воспитывавших в Софье Васильевне дух неповиновения, жизненные встречи и сцены наводили Надю все на новые и новые сомнения и все больше разоряли ее неразвитый, необразованный ум. Война с Павлом Иванычем, в которой супружеские права его играли такую видную роль, невольно заставляла Надю с особенной впечатлительностью принимать только те жизненные факты, в которых виднелся тот же вопрос. Много было этих встреч, и из всех их все-таки можно было вывести то заключение, что самостоятельность, свои деньги, свой труд существуют только у простых людей. Случались, правда, встречи, которые озадачивали Надю, открывали ей совершенно новые стороны жизни, но и они в конце концов оказывались нулем.

2

Между прочим одна из таких встреч произошла в окружном суде, куда наших подруг затащил Михаил Иваныч, весьма интересовавшийся «новыми порядками». Не зная ни старых, ни новых порядков, Надя и Софья Васильевна были прежде всего испуганы обстановкой суда: налоем, священником, толпою людей (которых, в сущности, было очень немного), и затем впали в состояние полного непонимания того, что пред ними

творится. В глубочайшем конфузе слушали они разбирательство какого-то неизвестного им дела и не могли даже прибегнуть за советом к Михаилу Иванычу, который почему-то уселся у самого входа.

— Действительно ли, — обращается председатель к купцу-свидетелю: — рука проходит в тот разрез в чемодане?

— С охотой пролезает, ваше высокоблагородие, с большим удовольствием! — отвечает свидетель. — Потому что он ее, дыру-то, васкбродие, ножичком распорол, эво ли какую! Икру, потому што, все он им резал, ножиком-то... Вы у него спросите, у шельмы!..

Председатель остановил купца на слове «шельма» и довольно строго объяснил ему, как тот должен относиться к подсудимому. Купец, все время отвечавший весьма храбро и подробно, вдруг испугался, замолк, побледнел.

— Потому что, который ножик у него, — лепетал он, спотыкаясь на каждом слове и обирая руками полы сюртука; — то он даже... васкбродие... может быть...

— Ишь путает! — говорили какие-то мещане позади Нади. — Того и гляди, «знать не знаю!»

— Настращен старинными пустяками! Думает: «как бы самого не упекли».

Надя и Софья Васильевна слушали и не понимали даже того, что понимают мещане.

— Подсудимый! Что вы можете сказать на это?

Молодой малый с плутоватыми глазами, обвиняемый в краже денег из чемодана купца, кашлянул, тряхнул волосами и довольно наивным голосом произнес:

— Ежели он меня упрекает насчет быдто икры, то даже совершенно это напрасно. Потому я ее с малых ден икру не потребляю...

— Действительно ли вы разрезали? — поясняет председатель свой вопрос.

— Действительно, что я ее, васкбродие, и по сие время не люблю икру... И что в ей скусу?

— Ишь оглобли-то поворотил! — рассуждают мещане.

Софья Васильевна и Надя понимали только одно, что подсудимый виноват в употреблении икры и за это окружен жандармами и штыками. Не к чести их относится также и то обстоятельство, что они засмеялись вместе

с публикой, когда оказалось, что один из присяжных заседателей, пожилой мужик, заснул, свесив с ручки кресла в стиле «возрождения» лысую голову и руку с громадной шапкой. Несчастного разбудили, в кратких словах изобразили ему, что поклясться пред крестом и евангелием и захрапеть — поступок по меньшей мере не джентльменский. В свое оправдание глубоко огорченный мужик мог только сказать: «Сморило... гнал всю ночь... стомлен...» Наконец ему объявили: «вы больны» и посадили на его кресло в стиле «возрождения» другого мужика, который вытянулся с испугу, как палка, и с затаенным дыханием и вытаращенными глазами стал слушать, как обвинитель начал «мотивировать», «формулировать» и как защитник потом, в свою очередь, стал «объединять факты» вроде икры и дыры и проч. Не знаю, как мужик, но ни Софья Васильевна, ни Надя решительно не были бы в состоянии произнести о подсудимом надлежащего приговора, потому что неразвитое понимание их было забито и испугано всеми этими «da capo», «ab ovo», «ex abrupto»,[1] «умственный уровень», «декорум той среды, где подсудимый» и другими оборотами образованной речи защитников и обвинителей.

В глубоком унынии и сознании своей глупости сидели они и слушали, ничего не понимая.

И вдруг в залу суда вошла молодая, отлично одетая женщина, почти девушка. Все, начиная с походки и развязности, с которою она прошла и села около наших подруг, обличало в ней по малой мере полное знакомство со всем, что тут ни происходит. Но через минуту оказалось, что соседка знакома и не с такими вещами. В маленьких руках ее очутились судебные уставы в отличном переплете; перелистывая их с тою быстротой, с какою вообще перелистывают книги дети, не умеющие их читать, она придавала своему лицу значительную серьезность и шептала довольно громко:

— Боже, как они неправильно решают! Ах, как врут! Почему нет мужа? Где муж? Что та-акое? Икра-а?.. И в окружном! Вот мило!.. Да это просто тюремное заключение... Отчего не говорит муж? Я не понимаю!..

---

[1] «Сначала», «с самого начала», «неожиданно».

Со взломом? — обратилась она к Наде. — Ах, вы недавно! .. Вы не слыхали! .. Ужас, что они делают! Где муж?

Все это говорилось весело, свободно и невольно располагало к сближению, не говоря уже о познаниях молодой дамы во всевозможных судейских тайнах, что возбуждало и зависть и уважение. Под влиянием этих ощущений Надя не заметила, что в разговорах соседки о правильностях и неправильностях судоговорения главную роль играет муж, «который знает все это лучше всех», и не придала особенного значения тому восторгу соседки, когда из-за прокурорского кресла высунулась и кивнула ей весьма приличная фигура мужа, после чего зала суда огласилась радостным восклицанием: «ах, вот он!», а судебные уставы упали на пол, и юридические разговоры заменились продолжительными киваньями мужу, посыланием поклонов и поцелуев. Надя не заметила этого; она видела только, что эта женщина все понимает, знает, где правильно и где неправильно, и завидовала ей. Случай познакомил их.

Фигура, выглядывавшая из-за прокурорского кресла, повидимому, удовольствовалась излиянием супружеской любви, которую выказала соседка Нади: она качнула головой, насупила одну бровь и скрылась. Соседка Нади тотчас же притихла, уселась и снова было взялась за судебные уставы; но так как небольшие часики с музыкой, болтавшиеся у ней на груди, были занимательны ничуть не меньше, чем эти уставы, то она, как ребенок, принялась баловаться и играть ими, вследствие чего в зале суда запищала самая смешная музыка. Неуместность этого обстоятельства здесь, среди людей, занимающихся делом, была до того понятна всем, не исключая Нади и Софьи Васильевны, что все они как-то вдруг испугались, потом засмеялись украдкою, вдруг закрыли лица платками, переглянулись из-за них и подружились сразу.

Через четверть часа они уже о чем-то много и скоро говорили в коридоре, выйдя сюда вместе с публикой и называя друг друга «душечка»... В тот же день были приглашены «к нам с мужем», а спустя несколько дней Надя и Софья Васильевна были у Шапкиных уже несколько раз.

3

На этот раз Наде показалось, что она действительно попала в земной рай, не такой, какой сумел оборудовать Павел Иваныч Печкин. Прежде всего Шапкины жили в удобном, светлом и чистом доме; в комнатах было светло, красиво: столы, рояль, стулья, полы — все было новое, блестело и не носило на своей поверхности ни пылинки, которая клубами вылетала из всех углов и вещей, находившихся в доме Печкиных. Вместо запыленной и разрушенной фигуры Павла Иваныча здесь был статный молодой человек, с мягким, деликатным характером, с симпатичным, но и солидным лицом, на котором хотя и мелькала довольно часто весьма милая улыбка, но в то же время особенно ярко выступал отпечаток серьезной думы, виднелись следы образованного ума, чему, кажется, способствовали и темные стекла очков. Как и Павел Иваныч, он говорил своей жене «ты»; но в таком братском обращении решительно не звучало желания припереть жену палкой или посадить ее на цепь; напротив: между супругами господствовали самое полное согласие и любовь. Но что особенно сильно поразило Надю в их обществе, — это то, что жизнь их была наполнена множеством занятий, уничтожавших всякую возможность к существованию того одурения, которым так блистало райское семейство Печкиных. Возвращаясь домой, муж сообщал супруге, чем решили такое-то дело, кто хорошо или дурно говорил в суде. И жена была совершенно поглощена какими-то совершенно новыми для Нади интересами. С чувством огорчения за самое себя, за свое невежество и с чувством зависти смотрела она на Шапкину, когда та разговаривала об этих непонятных вещах с мужем или принимала участие в суждениях по тому же поводу с его знакомыми, все молодым и умным народом, употребляя в разговоре слова вроде «обжаловать», «кассация». Но этого мало. В первый же почти день знакомства с Шапкиными оказалось, что, помимо множества дел, которые занимают голову жены Шапкина, у ней есть и «свои деньги», чего Наде решительно не приходилось встречать до настоящего времени нигде. Она переписывает мужу бумаги и получает от него жалованье. Часы с музыкой куплены на собственные ее

деньги; на свои же деньги приобретены ею зонтик и альбом и еще несколько вещей, которые и показывались Наде с особенным удовольствием. О взятках и о чем-нибудь злодейском, обезобразившем для нее, благодаря Михаилу Ивановичу, все — небо и землю,— здесь не было и помину. Напротив, был случай, когда Надя могла видеть страшнейший гнев и прилив негодования у обоих супругов по тому только обстоятельству, что какая-то мужицкая борода осмелилась высунуть голову из передней в залу и промычать: «Батюшка!..» По неразвитию своему Надя было сжалилась над человеком, который говорил таким жалким голосом и лицо которого носило следы великого горя; но ей тотчас же было разъяснено, что человек этот — не просто человек, а преступник, вор или даже убийца.

— Если бы у тебя или у твоего брата оторвали голову, что бы ты сказала? .. — возразила ей жена Шапкина. — Неужели ему прощать?

Надя была побеждена.

Так как к этому времени война против Павла Иваныча утратила почти всякий интерес, ибо даже Софья Васильевна в эту пору могла говорить ему то, что прежде решалась делать только Надя, и так как вследствие этого снова настала скука, то знакомство с Шапкиными было приятно нашим подругам, несмотря на неприятное ощущение самоунижения, которое испытывали они в их обществе. Это был уголок света, и его нельзя было не любить, тем более что тот угол тьмы и разоренья, где жили наши подруги, надоел им до последней степени, не исключая из числа надоевших лиц и Михаила Иваныча, сделавшегося к этому времени воистину бешеной собакой.

Одно незначительное обстоятельство, однако, сильно поколебало эту любовь Нади к Шапкиным и увеличило ее скуку новыми тягостными размышлениями.

Дело было в мировом съезде. Однажды явилась к Наде жена Шапкина и с торжеством объявила, что сегодня муж ее, наконец, «говорит». Очень жаль, что ему придется мало разговаривать, что нет возможности вполне выказать талант, но все-таки слушать его — наслаждение. Михаил Иваныч тоже отправился вслед за дамами, поместился в задних рядах толпы, наполнявшей

небольшую комнату съезда, до половины занятую столами господ судей. Дамы, в сопровождении жены Шапкина, пробрались вперед и поместились на первой лавке, в виду величественной и необыкновенно привлекательной фигуры самого Шапкина. Новенький, отлично сшитый мундир сидел на нем превосходно; золотой воротник как нельзя лучше и изящнее оттенял белые, выхоленные и выбритые щеки; белая рука небрежно поигрывала золотою цепочкою, и величественное лицо хранило печать тайны. Самоунижению Нади на этот раз решительно не было границ, ибо соседка ее, жена Шапкина, помощью продолжительных киваний, улыбок с мужем — доказала самым непреложным образом как трудовую, так и сердечную связь с этим величественным «мужем», который при одном ее появлении озарил свое лицо самою ясною улыбкой.

— Авдотья Тихонова! — раздался голос председателя.

— Слушай! — шепнула Наде Шапкина и притаилась.

— Тихонова... Авдотья?.. Здесь?

— Здеся! — послышалось в публике, и после некоторого волнения в толпе, расступавшейся, чтобы дать дорогу Тихоновой, на середину комнаты робко выступила пожилая худая деревенская женщина. На плечах ее, несмотря на летнюю пору, был надет старый и рваный тулуп; из-под полинялого, старенького платка выглядывало испитое и лихорадочно желтое лицо с ввалившимися глазами. В руках ее был темносиний набойчатый платок. Отделившись от толпы, она прежде всего стала искать глазами образа. «Где у вас бог-то?.. Ай его нету? Ай вон он!» — шептала она глухо, покашливая и прикрывая рот рукой. Окончив это, она подошла прямо к столу судей и поклонилась. Ее попросили отойти подальше, потом подойти поближе и таким образом установили на надлежащем месте. Приемы бабы не остались без улыбки со стороны публики. Под влиянием игривой улыбки Шапкиной Надя тоже было улыбнулась, но больное лицо бабы и ее нищенская, жалкая фигура уничтожили эту улыбку тем быстрее, что Тихонова, поместившись против судей, на надлежащем месте, почему-то глубоко вздохнула, сложив на груди руки с платком, и закашлялась.

Среди тишины, прерываемой только легким звяканьем цепей, которыми поигрывали некоторые из господ судей,

секретарь прочитал следующее: «Такого-то числа и года, в таком-то мировом участке, такими-то сельскими начальниками было начато дело против вдовы Авдотьи Тихоновой, обвиняемой в неисполнении приказаний начальства. Имея в доме своем довольно злую собаку, она никак не соглашалась ее убить или посадить на цепь, что было необходимо, ибо оная собака дважды нападала на сельского старосту, а в последний раз укусила за ногу проходившего мимо дома Тихоновой писаря. Хотя на излечение от укушения Тихонова и выдала писарю, по требованию его, до трех рублей, тем не менее, принимая во внимание неисполнение приказаний сельского начальства, мировой судья постановил: оштрафовать Тихонову пятью рублями, а собаку застрелить. Тихонова объявила себя недовольной решением, собаки не застрелила и подала в съезд».

Во время чтения этого протокола Тихонова стояла потупившись и по окончании его снова глубоко вздохнула.

— Что вы желаете объяснить суду? .. — спросили ее.

Тихонова замялась, зашевелила платком в руках и глухим, надорванным голосом произнесла:

— Я — вдова, ваше высокоблагородие! .. У меня пять человек детей, мужиков нету, мне невозможно без собаки... Ребята малые, самой не досмотреть, мало ли...

— Позвольте! — весьма деликатно остановил ее председатель. — Вы можете протестовать только против окончательного решения...

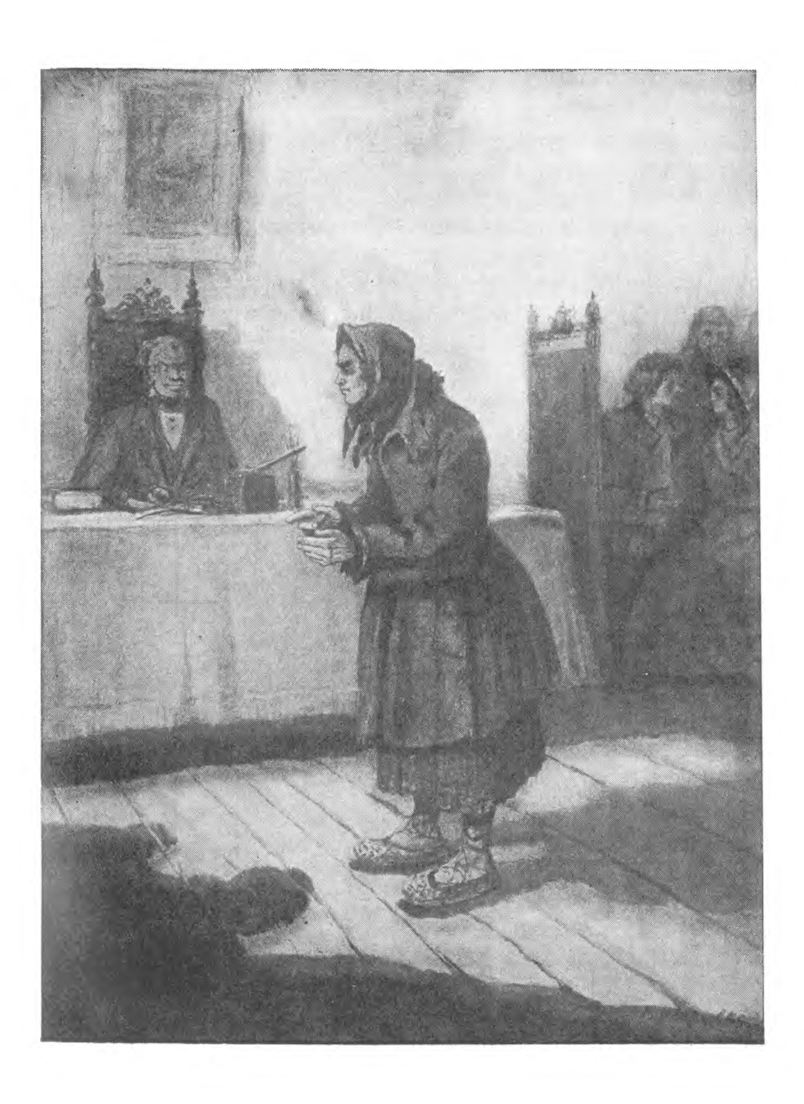
Председатель говорил ровно, заученно, словно по книге читал.

Тихонова замолчала; лицо ее покрылось пóтом.

— Потому что, — начала она взволнованным голосом: — мне без собаки никак невозможно! По моему сиротству мне требуется собака, чтобы верная, злая! чтоб она лихого человека не подпущала... Ну что же, ежели он ломит пьяный в сенцы? Меня нету, собака пужается... Она поступает по-хорошему! ..

— Потрудитесь разъяснить Тихоновой те основания, на которых она может основать свою защиту! — повидимому потеряв терпение, сказал председатель Шапкину.

Необыкновенная жалость, охватившая сердце Нади при виде запотевшего от испуга лица Тихоновой, при



виде ее тщетных усилий обратить на себя и на свои нужды чье-нибудь внимание, жалость эта отлегла от сердца Нади, когда поднялся Шапкин.

— Назначение съезда, — начал тот самым симпатичным и мягким голосом, причем Надя почувствовала самые нетерпеливые и нервные поталкивания в бок со стороны счастливой жены оратора: — назначение съезда утверждать или кассировать решения мировых судей; следовательно, вы, подавая на кассацию, должны выставить суду неправильность употребления господином судьею тех или других законоположений... Вы подаете на кассацию...

— Да, ваше высокоблагородие, — завопила, наконец, Тихонова. — И что же теперича разрешают собаку к расстрелу!.. Ну как мне без собаки возможно? Что же теперича, ежели я ее на цепь-то посажу, нешто она мне станет помочь давать?.. И на меня-то в ту пору будет она как на злодея глядеть... Спусти ее на ночь, она не стеречь, а убечь норовит... Ну что же я с малыми ребятами?..

— Кассационный порядок... — возвышая голос над ревом бабы, попытался произнесть председатель; но баба упала на колени, завыла, отстаивая собаку, и в съезде воцарилось нечто совершенно неосновательное. С одной стороны, господа судьи и Шапкин выказывали свойства истинных джентльменов, умоляя бабу подняться с колен и помогая ей в этом, с другой стороны, едва баба поднималась и открывала рот о своих нуждах, самым тесным образом сопряженных с участью верной собаки, — как те же джентльмены немедленно опять валили ее наземь новым требованием держаться законного порядка обжалования, в чем Шапкин принимал самое деятельное участие. Сердце Нади сжалось после речей Шапкина, которых она не понимала точно так же, как и баба, и если не заплакала от этого при виде плачущей вдовы, так именно потому, что не совсем ясно понимала и ее горе. В пугливом недоумении взглянула она на жену Шапкина, но и на ее лице не было заметно особенного веселья. Недоумевающее, сконфуженное лицо ее улыбнулось, но тихо и невесело. Она слезливо поглядела на мужа, полагая в простоте душевной, вместе с Надей

и Софьей Васильевной, что в его власти осушить бабьи слезы. После довольно продолжительного вытья бабы, среди которого перемешивались слова «собачка», «кассация», «к расстрелу», «идея мирового института», «я вдова... мне невозможно...», «апеллируя на неправильность решения, вы...», «мне легче помереть», суд ушел, потом пришел, и тут в растроганные сердца наших дам был нанесен новый удар, ибо Шапкин с своей кафедры окончательно пошабашил бабу: рассмотрев ее со множества сторон, подведя множество законных оснований, он *полагал бы* приговорить бабу к штрафу в объеме тех же пяти рублей, но собаку оставить в живых.

По окончании речи он взглянул на жену, попрежнему улыбаясь; но жена почему-то покраснела, глядела на Надю, грустную и расстроенную, и на бабу, которая всхлипывала, отирала синим дырявым платком заплаканное и запотелое лицо и глубоко вздыхала.

Во время «антракта» они вышли в сени съезда, чувствуя в груди нечто весьма тягостное. Шапкина уже не хвалила своего мужа, а только обмахивалась платком и смотрела через перила на лестницу, на которой сидели и стояли мужики и бабы.

— Что он? Ай он очумел! — шумел внизу у самого входа, среди кучки разных людей, голос Михаила Иваныча.

Заслышав его, Надя тоже подошла к перилам. Михаил Иваныч был совершенно взбешен, что, вместе с отсутствием галстука на худой шее и совершенно нищенским костюмом, придавало его речам нечто, действовавшее особенно сильно.

— Ай он одурманел? Что он ее гвоздит по башке-то? Он в сорока науках учен, в ста водах мыт, где же бабе деревенской сладить с ним? Докуда?

— Нет, брат! — слышалось тоже внизу, из толпы, окружавшей Михаила Иваныча. — Зубов у нашего брата нету!.. Вот чего! Покуда зубов не наживем, все нас этак-то кувыркать будут...

— Не дадут! зубов-то не дадут нагулять!.. — бесился Михаил Иваныч.

— А кабы она тоже его резанула на евонном наречии, ан и без штрафу бы!.. Он — сто двадцать вторая

статья, а она ему — пятьсот тридцать... он ей — тысячу, а она бы ему — миллион, небось бы — присел!

Все необразованные слушатели были согласны в необходимости «зубов» при новых жизненных порядках. Но так как никто из слушательниц достаточным образом не участвовал в этих порядках и не имел достаточного личного опыта, где бы зубы эти требовались, то рассуждения публики на этот счет хотя и припомнились Наде впоследствии, но в настоящее время не обратили на себя особенного внимания, которое гораздо более было поглощено словами разозленного Михаила Иваныча. Ничем не превосходя ни наших дам, ни бабу в понимании юридических наук, Михаил Иваныч, подобно им, возмущался жестокосердием господ судей и выражал эту мысль на своем разозленном языке так сильно, что слушательницы были возмущены поступком Шапкина до глубины души.

— Он ошибся!.. — с трудом поборов тягостное молчание, проговорила Шапкина.

В это время в сени вошел сам Шапкин. Надя не чувствовала к нему уже ни благоговения, ни симпатии: она боялась его. Стоя у перил, она не поворачивала головы в сторону разговаривающих супругов, но слушала их шопот с любопытством. Шапкин, успокаивая взволнованную жену, говорил ей, что он не имеет права вступать с бабой в задушевные беседы; что таких баб приходит по сту в день, всем не разъяснишь; что, наконец, он действовал так, как говорит закон, и что никакого зла он бабе не желал.

— Разве ты не понимаешь, чего она хочет? — говорила Шапкина.

— Разумеется, понимаю... Но видишь, в чем дело...

— Так зачем же ты не слушаешь ее? Она говорит свое, а ты свое!..

— Поэтому-то мы оба и правы: она говорит, что ей нужно, а я — что мне нужно.

— Да она не понимает тебя! Ты был в университете, а она?..

— Чем же я виноват, что она не была в университете?

Шапкин улыбался. Жена молчала.

— Я сам в том же положении, как и она. Я не могу ей сделать добра потому, что она тоже не может до-

ставить мне удовольствия быть ей полезным. Когда мы будем вместе с ней по одной книжке читать, тогда все это и кончится...

Потолковав еще на тему о всеисправляющем времени, Шапкин ушел. На лице его жены после этого разговора не проходило выражение огорчения.

При уходе его дамы постояли в сенях еще минуты две-три и тихо стали спускаться к выходу. У ворот на улице они встретили бабу. Полушубок ее был расстегнут, и концы головного платка развязаны. Отирая платком раскрасневшееся и потное лицо, она сидела на тумбе, положив около себя какие-то узелки, и говорила другой бабе:

— Пуще всего рада, собачку-то не ухлопали... Как ведь он меня полыхал!..

Шапкина дала ей двугривенный (больше у нее не было с собой) и приглашала ее к себе пить чай; но баба не пошла, отговариваясь тем, что она и так пять дней дома не была через этот суд и не знает, что теперь с детьми: живы ли.

Все медленно разошлись по домам.

В голове Нади бродила мысль, что не всякое дело образованного мужа может прийтись по вкусу жене. Бог знает, может мужу придет охота взять должность обижать да увечить, как выражается необразованный Михаил Иваныч, и тогда жить плохо. Тут ей припомнилась взаимная любовь Шапкиных, их поцелуи, нежности, перемешанные с непонятными словами, которые, быть может, и значат дурное, и она охладела к ним, а на душе стало еще тяжелее. Необразованная мысль ее шла ухабами, кривыми дорогами, словом — тем путем, каким шли современные будни, не освещенные никаким запасом знаний, опытов. Много было от этого лишних мучений, потому что каждый опыт, попадая в эту нетвердую, неопытную мысль ее, только мучил и разорял ее.

Грустно возвращались Надя и Софья Васильевна в свою глухую улицу, чтобы снова томиться в однообразии пустоты и скуки, поджидая нападения Павла Иваныча. На этот раз их не сопровождал даже Михаил Иваныч, с которым в эту пору происходили разные новости.

VII. НЕОЖИДАННЫЕ НОВОСТИ В ЖИЗНИ МИХАИЛА ИВАНЫЧА. — ЧУГУНКА

1

Как уже сказано, злость Михаила Иваныча к этому времени достигла самых крайних пределов, так что решительно не было человека, который бы, столкнувшись с ним, не назвал его бешеной собакой. Причиною такого озлобления было, во-первых, долгое бездельное житье, к которому Михаил Иваныч вообще не привык и предел которого был для него совершенно неизвестен; во-вторых — томительное однообразие нищенского и безвыходного положения и, в-третьих — наконец — чугунка, открытия которой ждали с минуты на минуту. До тех пор, пока чугунка не была достроена, когда этого нужно было еще ждать, одинокая, заброшенная всеми душа Михаила Иваныча могла пробавляться разными надеждами на будущее. Терпеливо ожидая ее, с этими надеждами ему было легче переносить постоянную насмешку над собой, скуку скитаний вслед за скучными «барышнями» среди июльской жары, пыли. Но теперь это делалось совершенно невозможным. Глядя, как с каждым днем около вокзала уменьшаются леса, как двигаются первые тяжелые вагоны, свистят паровики, Михаил Иваныч стал чувствовать себя совершенно одиноким, ибо все эти новости рассеивали надежды на Петербург. Оказывалось, что у Михаила Иваныча нет денег, чтобы туда ехать, что даже и ехать ему незачем, а фигура Максима Петровича утратила почему-то всю ту ясность, с которой представлялась до сих пор. Михаил Иваныч стал чувствовать себя растерзанным, убитым, но прятал свое отчаяние от насмешек и показывал только злость. В это время он уже не мог даже у Черемухиных злиться тихо, как прежде, а, напротив, — норовил всякого оборвать, перекусить пополам.

— Скучно! — говорила Надя.

— Да вот как же! — огрызался Михаил Иваныч. — Сейчас для вас заиграют в барабаны, в трубы затрубят, чтоб вам веселее! Очень все об этом в заботе, чтоб вас увеселить... Сию минуту-с!..

Вследствие замечаний старухи Черемухиной, чтобы он говорил попокойнее, потому, мол, что между простыми

людьми незачем этак шуметь, Михаил Иваныч иногда замолкал, а иногда, разозлившись, уходил ругаться в другое место. Подобно семейству Черемухиных, ему опротивел и помещик Уткин и все целовальники и знакомые в Жолтикове и на пути к нему. Он шатался то там, то сям, оборванный, худой, не вступая ни с кем в подробные разговоры, отплевываясь и отругиваясь от всех вопросов, задаваемых кем-либо ему, какого бы невинного содержания они ни были. Кашель и рев в груди, усилившиеся в последнее время, много помогали ему в этой неразговорчивости.

Случай спас Михаила Иваныча от погибели, от одинокой смерти где-нибудь в поле, по крайней мере на время. Оказалось, что есть люди, желающие и умеющие взять дань с этого кашля, ревущей груди и злости.

Предъявляя эти свойства на крыльце мирового съезда в защиту несчастной бабы, защищавшей свою собаку, Михаил Иваныч обратил на себя внимание одного из слушателей. Это был высокий, полный купец. Слушая, как он лается на властей, обидевших бабу, какие он употребляет при этом выражения, купец не мог не сообразить, что перед ним стоит человек, который в грош не ставит цену своей головы. Купец долго слушал его; при особенно веских выражениях отходил прочь, начинал смотреть в сторону или в потолок, принимая самое невинное выражение лица, и в то же время не проронил ни слова...

— Чуден! — произнес он с улыбкой, наряду с другими слушателями, когда публика на крыльце начала расходиться, и стал надевать шапку, чтоб идти. Над шапкой он возился до тех пор, пока не разошлись все, и тогда вышел за ворота, неторопливыми шагами пошел за Михаилом Иванычем, догнав его, тронул пальцем в плечо и проговорил:

— Толконись в трактир «Утюг»... разговор будет... дело есть! ..

И прошел мимо с беззаботностью ребенка, читая по складам вывески.

Михаил Иваныч остановился, как-то одеревенел от радости при словах «дело есть» и торопливо пошел вслед за купцом. Тот опередил его; первый вошел в самый

грязнейший трактиришко, где его, повидимому, коротко знали, и спросил нумерок.

— Какое дело? — пытал Михаил Иваныч, войдя в нумер. Но купец, не ответив ему, оглянул стены и сказал половому:

— Нет ли потемней комнатки? Дело секретное, не подходит! .. — шепнул он Михаилу Иванычу.

Половой провел их в темную клетушку с темными ободранными обоями и окном, заслоненным какими-то постройками и грязными тряпками, сушившимися против него на веревке.

— Какое дело? — повторил Михаил Иваныч, когда они уселись около маленького заплеванного стола.

— Настоящее будет дело-с, — сказал купец и потребовал водки и чаю. — Просим покорно; выкушайте! ..

Михаил Иваныч выпил, закусил и несколько времени молча глядел на купца.

— В каком смысле дело будет ваше? — наконец опять спросил он.

Купец налил чаю, уперся локтем в стол и стал хлебать, повидимому не спеша, приготовляясь к самому основательному разговору.

— Кто такие будете? .. — спросил он наконец.

— Рабочий, выгнан за непокорство с заводу.

— Очень превосходно! .. Выкушайте рюмочку.

Михаил Иваныч выпил.

— На каком основании имели ваше непокорство?

— А на таком, что большой очень разбой напущен на простого человека.

Две рюмки водки, выпитые среди июльской жары, подействовали сильно на больные нервы Михаила Иваныча, и он в длинном и желчном рассказе передал купцу свои взгляды на прижимку. Одобрение, которое купец высказывал при словах: «рабочий человек ошалел», «зачумлен», придало его речам гораздо большее количество энергии, нежели водка, и все душевные скорби его были выпущены на волю без всяких ограничений.

Рассказаны были, разумеется, все планы насчет Петербурга, Максима Петровича, от которого в деле заступничества за простого человека ожидается значительная помощь.

Купец все слушал, изучая натуру Михаила Иваныча, одобрял и наконец, перевернув двенадцатую чашку, сказал:

— Имеете большое роптание... Оченно превосходно! Для нашего дела такой человек требуется, чтобы с ропотом... Толконитесь завтрашнего числа вторительно в номерок об эту пору... Может, бог даст, в Петербург съездите... Будьте здоровы!

Как ни темны были дела, предлагаемые купцом, но Михаил Иваныч уж был закуплен в пользу их с одного разу: во-первых — эти дела одобряют его взгляды; во-вторых — сулят ему возможность уйти отсюда, из этого проклятого города, где он страдал и чах целую жизнь. Не разгадав сущности дел, затеваемых купцом, Михаил Иваныч с течением дальнейшей беседы с ним убедился, что лично ему поручаемое дело состоит именно в том, чтобы защищать простого человека, что составляло его заветную мечту.

— Вы обижены, — говорил ему купец, сидя за чаем в комнате: — вы, простой рабочий человек, потерпели большое притеснение? Такие ваши слова?

— Так точно! Потому все мы замучены...

— Ну вот-с! Вы так говорите, якобы все. Еще того лучше... Следственно, ваше дело роптать на притеснения-с... Куда вы намерены были сами в Санпетербурге жаловаться, роптать, например, то вы и ропщите!.. Производите по вашему рабочему делу шум, больше ничего и не требуется! Шумите-с!.. Перед начальством, например, сделайте объяснение... По знакомым, чтобы тоже бы шумели! Ропщите, например, и все тут!.. Больше ничего! Это для нашего дела оченно способствует, ежели вы за нашего рабочего заступление окажете в Санпетербурге.

— За простого человека? — кричал в таких случаях Михаил Иваныч, всегда угощенный водкой: — в гроб пойду!

— И чудесное дело!.. Производите ваше роптание в аккурате, и от нас будет вам взаимно.

В необходимости заступаться за простого человека и шуметь из-за него в Петербурге Михаила Иваныча укрепляло несколько разных лиц, которых поочередно приводил в комнатку первый купец. Все они выслушивали

ропот Михаила Иваныча, предварительно заставив его выпить водки, переглядывались между собою, шептали друг другу: «на что же лучше?» и затем объясняли цель его будущей миссии именно в смысле роптания на теперешнее положение рабочего человека.

Такие толки и испытания способности Михаила Иваныча роптать шли довольно долго; но мы не будем останавливаться на них, ибо все заседания в комнатке грязного трактиришка были совершенно похожи друг на друга. За день или за два до открытия чугунки поездка его была решена. Купцы дали ему пятьдесят целковых на расходы, одели его, как одевают вольника на три, на четыре дня, пока ему не наденут на плечи солдатской шинели; сказали, чтобы отписывал обо всем на имя какого-то ничтожного мелочного лавочника, и отпустили его собираться в дорогу.

И в то время, когда запыхавшийся от радости Михаил Иваныч бежал к Черемухиным, чтобы сообщить, что он воскрес, что он победил, — между его благодетелями-купцами, в том же нумерочке «Утюга», шел такой разговор:

— А это, брат, ты аккуратно придумал! — говорил один из собеседников коноводу тайного дела, — запустить волчка! хе-хе-хе!..

— Хе-хе-хе!.. — смеялся коновод. — Потому что без волчка невозможно... Ежели мы, примерно, сами пойдем по этому делу... нас, брат, начнут там чистить, карманы наши, например...

— Хе-хе-хе... Верное слово!

— Кроме того, мы пужливы... Тяжелы... Этакое дело нам начать, — так ведь это нас, по нашей глупости, как разграбят-то?

— Синь-пороха не оставят!

— То-то вот! А как я перво-наперво этакого-то пущу волчком, как он нашумит там перед начальством-то, ан уж нам тогда вольготнее; тогда уж они будут думать: эво, мол, до чего народ немцем-арендателем прижат, что ровно бешеные на последние в Питер бегут жалиться! Как Мишку-то увидят... Ведь что это? Пуля!

— Пуля!.. Это верно! Ну так надо думать, что башку ему свернут там...

— Это верно! Прямо в огонь лезет!.. Да что же? Первое дело, что своя его воля, а второе, что и башку ежели ему, так и то не бог весть что! Ни кола, ни двора, ни куриного пера... А нам все сходней тогда-то с хлебом, с солью подвалить, — так аль нет?

Разумеется, все были согласны с практичностью такого употребления особы Михаила Иваныча, тем более что и самое дело, которое намерены были господа предприниматели начать хлебом-солью, не было гуманным: партия провинциальных капиталистов, появившихся как-то внезапно в последнее время, намерена была взять у казны завод, находившийся в настоящую минуту в руках немца-арендатора. Пошатнуть немца сразу было нелегко, потому что в Петербурге он имел хорошую заручку; нужно было произвести особенный говор по вопросу о передаче завода в русские руки; нужен был шум в Петербурге, сделанный фанатиком страданий рабочего народа: и вот пригодились и больная грудь Михаила Иваныча, и его злость, и его фанатическая вера в «нынешнее время», когда простому человеку «дают ход».

2

Поможет или не поможет Михаил Иваныч этим людям в набивании их карманов — мы еще не знаем, как не знает этого и он сам, твердо верующий, что идет шуметь за права простого человека. Вера в это преобразовала его в последние дни совершенно. Злость пропала, и на худом, болезненном лице светилась какая-то детская радость. В новом костюме, стоившем несколько грошей, он, правда, походил в это время на человека, который только что выписался из больницы: худ, еще нездоров, но рад дышать чистым воздухом, рад глядеть на людей, ходить по траве. Без ругательств распрощался он с жолтиковскими знакомыми, с Уткиным, с целовальниками, с дьячками, и все они на этот раз тоже дружелюбно отнеслись к нему; иные даже просили «похлопотать» в Петербурге. Дали ему множество адресов, просили разыскать, купить, написать подробнее «обо всем». Михаил Иваныч охотно принимал поручения, целовался с оставляемыми им врагами и в детском умилении говорил:

— Много терпел простой человек — пора вздохнуть! Авось найдутся добрые люди, помогут нам!..

Все говорили, что найдутся, и верили этому.

За день до отъезда он совсем перебрался из Жолтикова в кухню Черемухиных и уже не злился в это время на скучавшую Надю и на старуху Черемухину, потому что в эти минуты был счастливее всех. Напротив: ему почему-то было немного даже жалко покинуть их; да и им без него видимо было скучно, в особенности Наде, которая в эту минуту стала чувствовать к Михаилу Иванычу особенное расположение: без него оставались одни мертвецы кругом нее. Под влиянием этого расположения к Михаилу Иванычу Надя, ее мать и Софья Васильевна снаряжали его в дорогу, как близкого им родного. Ходили с ним в ряды покупать галстук, манишку, каковые вещи, по мнению Михаила Иваныча, весьма необходимы в разговорах с петербургскими людьми; набили ему двести папирос из табаку в гривенник, ибо Михаил Иваныч не решался тратить на пустяки много, когда нужны деньги на хлопоты об участи простого человека. В свою очередь и Михаил Иваныч взялся сделать для Черемухиных доброе дело: сын Черемухиной Василий, тот самый, который лазил к Михаилу Иванычу на печку слушать сказки, пять лет почти без вести пропадал в Петербурге. Где он и что с ним — мать решительно не знала; последние два года он не писал ни строки; слышно было, что вышел из университета, не кончив курса; но жив ли теперь или умер — бог знает. Михаил Иваныч весьма был рад взяться за это поручение; кроме фантастического Максима Петровича, у него в Петербурге не было никого, а Василий Андреич, брат Нади, должен помнить его более, нежели Максим Петрович, потому что он не один десяток сказок рассказал ему в детстве.

— А не забыли, скажу, как вы ко мне на печку бегали? а?.. — фантазировал Михаил Иваныч. — Да помнит! Как забыть!.. А Максиму Петровичу — прямо в ноги... Земной поклон! Перед богом! «Как ты, скажет, смел купецкие краденые деньги на дорогу брать?» — «Голубчик! Максим Петрович! уж неужто ж так им, купцам-то, и оставлять все деньги-то?.. Довольно они денег-то наших положили в карман. Дай и нам грошик!..» Эх, и человек же!

Минуты всеобщего расположения охмелили Михаила Иваныча до того, что он в последние дни был постоянно немножко навеселе, ибо на радостях решался пропивать в день по двугривенному, по пятиалтынному. В таком радостном настроении он лез целовать ручки у Нади, у Черемухиной, у Софьи Васильевны; попил-погулял с мастеровым Ваней и его женой Фенюшкой; песен попел с ними, пошатался ночью по улицам с мастеровым народом и гармонией и даже выказывал поползновения насчет женского пола, остановившись на улице против прохожей девушки с такими словами:

— Дать тебе дорогу, красавица, али нет? .. — сказал он, сняв картуз, и прибавил: — проходи, милая, никто не посмеет... Бог с тобой! ..

Среди этого гулянья он не упускал случая раз-другой заглянуть на чугунку и расспросить: «не ушла ли?» Успокоенный ответом: «нет еще», шел проститься с старым знакомым, в кабачок, к Трифонову, где на прощанье весьма основательно обругал Павла Иваныча, за что заслужил всеобщее одобрение. Наконец в одно утро уж не рабочие, а сторож при железной дороге, одетый, как картинка, объявил, что сегодня в седьмом часу вечера будет из О. первый поезд в Москву...

— Вре? .. — пролепетал Михаил Иваныч, обрадованный до испуга, и долгое время стоял молча с разинутым ртом, чувствуя, что как будто бы все тело его превратилось в одно сердце, бьющееся от великого счастия, и побежал к Черемухиным.

— Облажено! — пробормотал он и стал сию же минуту собираться в дорогу.

Наде вдруг стало страшно тяжело от этого слова «облажено», от этого счастья улететь из разоренного омута, освежить свою разоренную, бесплодно тоскующую голову.

Не для одного Михаила Иваныча и Черемухиных этот день был чем-то особенным, не будничным, когда люди умирают от скуки, и не праздничным, когда люди могут пить, спят до обморока и смотрят фейерверк в присутствии господина начальника губернии. В нашу глушь, в нашу скуку, беззащитную, брошенную жизнь пришло что-то совсем новое, сулящее лучшее будущее и еще не изменившее нашей тоски, нашего гореванья ни на

волос. Не один Михаил Иваныч ни свет ни заря суетился и торопился на машину: весь город был как-то наэлектризован этой новостью, так что когда часов в шесть Михаил Иваныч, сопровождаемый Надей и Софьей Васильевной, пришел в вокзал, здесь уже были толпы народа. Все это двигалось, было весело, собиралось уехать, улететь; ни одной заспанной щеки, ни одних глаз, заплывших от одури, нельзя было встретить среди толпы, бродившей по широким комнатам вокзала. Вся эта суета, пробуждение чем-то горьким отзывалось в сердце Нади; а Михаил Иваныч, в жизни которого события следовали в последнее время с такой быстротой, почувствовал некоторый страх, вследствие чего, попросив барышень поглядеть за узелком, скрылся на время неизвестно куда, а возвратившись через несколько минут, имел лицо весьма радостное.

— То есть вот как обладим дела... — сказал он Наде, тряхнув кулаком.

— Вы водки напились? — вместо ответа сказала та.

— Да, голубчики! — снимая картуз, залепетал Михаил Иваныч: — милые!.. Да как мне не выпить? Ангелочки вы мои...

И принялся целовать у «барышень» руки, что хотя и было не особенно заметно среди толпы, однако заставило Надю и Софью Васильевну уйти вперед, на платформу.

Скоро Михаил Иваныч разыскал их и здесь. Но от излияний воздерживался, ибо всеобщее внимание было обращено на лес, из которого с минуты на минуту должен был выпорхнуть первый поезд. В ожидании его шли разговоры. Благородные толковали о том, что теперь представляется удобный случай ездить в Москву, в театр. «Утром выехал, к обеду там; умылся, оделся и марш, а к утру опять дома». — «Великолепно!» Другие, из числа тоже «благородных», смотревшие на это дело глубже, рассуждали о подвозе, о расширении. Простой народ, не имевший возможности понять, что оный подвоз и оное расширение могут образоваться из их дырявых лаптей, трактовал о чугунке кое-что совершенно случайное.

Разговоры публики были прерваны необыкновенно громким криком какого-то сильнейшего горла, раздавшимся откуда-то сверху:

— О-на-а! бра-а-тцы!

Все зашумело, шатнулось и как бы в каком страхе замолкло.

Из глубины просеки темного леса выглянули два красные глаза; донесся жиденький свисток. Это был первый поезд.

— Вот она матушка! — шептал замлевший Михаил Иванович в то время, когда среди всеобщего молчания поезд все ближе и ближе подходил к платформе.

— Ах! голубчики мои милые! — слышалось то там, то здесь.

Поезд пришел и остановился. Молчание сменилось еще более оживленным движением.

Говор. Шум. Смех.

Михаил Иваныч чуть не плакал от радости и беспрепятственно целовал ручки своих спутниц, которые были совершенно подавлены всем, что видели.

— Дай бог вам за вашу доброту! Надежда Андреевна! Софья Васильевна! — бормотал Михаил Иванович.

— Отыщите брата! Пожалуйста! — просила его Надя.

— Под землей вырою-с! На них надежда! Для вас... для маменьки вашей... То есть, господи, боже мой!

И снова начиналось целование рук, даже кофты, в которую была одета Надя. Долго на спине Михаила Иваныча плясал узел с пожитками от поклонов и намерений стать на колени.

Звонок прервал эти излияния.

— Дай вам бог! — крикнул Михаил Иваныч, махнув картузом, и скрылся в толпе.

Затертые толпой, Надя и Софья Васильевна не видали, как Михаил Иванович, высунув голову в вагонное окно, искал их глазами, чтобы еще раз сказать: «Дай бог вам!»

Они слышали, как застучали колеса поезда, раздались свистки; видели, как повисли над платформой и вокзалом черные клубы дыма; видели, как дым побледнел; слышали, как постепенно замолкал и, наконец, совершенно замолк стук и грохот колес.

Поезд выглянул черной массой на новом чугунном мосту, закутал дымом старинную маленькую колокольню маленькой церкви, на которой жиденькие колокола воз-

вещали «третий» звон, и без звука скрылся. Толпа долго стояла и смотрела ему вслед. Многие почему-то вздохнули, потом пошли по домам, и все о чем-то тяжко затосковали.

VIII. ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР

1

Был душный летний вечер, когда Надя и Софья Васильевна возвращались с железной дороги. Ни той, ни другой не хотелось идти домой в эту лютую скуку, из которой уходят даже Михаилы Иванычи. Надя была крепко грустна и задумчива и не выказывала на этот раз особенной внимательности к горестям Софьи Васильевны; а так как последняя держалась и жила только этим сочувствием Нади и ее внимательностью, то в настоящую минуту и она чувствовала себя совершенно одинокою, подавленною, брошенною. Слезы были близко. Сначала думали они идти ночевать к Печкиным, ибо Софья Васильевна не была дома почти два дня; но мысль о том, какая скука ожидает их в обществе Павла Иваныча, сделала невозможным это намерение. Подумали было идти к Черемухиным, но и там было не веселей: пожалуй, кто-нибудь умер, кто-нибудь отходит. Порешили идти на бульвар: было уже довольно темно, так что простые костюмы не могли конфузить их среди разряженных губернских бар. И пошли в той же тоске и задумчивости.

Но на полпути к бульвару тоска их была во сто раз увеличена нежданным появлением Павла Иваныча. На углу какой-то улицы он наткнулся на них и забормотал:

— Что это? Господи! Ведь это наконец... Что же это такое?

— Мы на железной дороге были! — ответили вместе Надя и Софья Васильевна, почувствовав, что к тоске прибавилось что-то похожее на злость.

— На железной дороге! — воскликнул Печкин. — Вот это великолепно! Железная дорога! Уж ежели железная дорога, так мне и... выпячиваться на нее?

— Мы вовсе не выпячивались!

— Не выпячивались! Вот это еще превосходно! Не выпячивались! Не выпячивались — не выпячивались, а в чем дело? Что такое? Неизвестно!

В дрожавшем от беготни и раздражения голосе Павла Иваныча все-таки слышалась на этот раз некоторая доля радости, должно быть потому, что он отыскал жену, и не в обществе подозреваемых им «любовников». Только этим и можно объяснить, почему он шел вслед за женой и Надей и хотя высказал намерение вернуть их домой, однако пришел вместе с ними на бульвар.

На бульваре играла музыка и происходило обычное провинциальное гулянье. Между темневшими в вечернем сумраке сучьями дерев, в особенности же около небольшого кафе в русском вкусе виднелись разноцветные фонари, освещая то женскую шляпу, то стол с чайным прибором. Липовая аллея, тянувшаяся по низменному берегу реки, около старинной кремлевской стены, была наполнена народом, медленно двигавшимся и весьма скучавшим. Когда замолкала музыка, то в саду наставала почти мертвая тишина; слышался только шум шагов и шлейфов по песку, стук чайной ложечки об край стакана и возглас: «человек!» Скука, составляющая обычное достояние провинциального гулянья, — так как обществу должно же надоесть исключительное занятие одним гуляньем, — эта скука в нынешний «день первого поезда» была как-то упорнее и молчаливее обыкновенной. И можно сказать положительно, что «первый поезд» играл в этой всеобщей задумчивости не последнюю роль. То «что-то новое», сопряженное с ним, та новая власть, как бы понукающая заснувший народ вперед, которая скрыта в этом событии, и другие элементы его, неуловимые, но вломившиеся в наш ум и тронутые им с новою силою, все это как-то отягчало душу всякого, кто только ни гулял, а стало быть, и ни тосковал в этот вечер на этом бульваре. Не один семинарист из числа тех, которые выступают на гульбище поздним вечером и скитаются по задним аллеям, боясь испугать своим халатом, — не один из них чертил в эту минуту планы будущей жизни в Петербурге, куда теперь так легко попасть и в ожидании которого так не легко живется. Не один подгулявший мастеровой, раздумавшись на лавочке около реки о своей

судьбе, подумал о том, что: «Была не была, удеру отсюда! Пропадай!» Не одна Надя и Софья Васильевна завидовали участи улетевших из этого мертвого царства.

Быть может, это тоскованье и нельзя признать общим; во всяком случае слегка знакомый нам барчук Уткин, находившийся тут же на бульваре, испытывал на себе именно это гнетущее душу содержание нынешнего события. Вялая, тощая фигура его, полулежащая на лавке, едва виднелась в темной тени бузинного куста. Мы рассматривать ее не будем, предпочитая сказать два слова о том, что именно делалось в голове барчука. Чугунка, явившаяся, наконец, у нас, привела его к мысли, что время идет все вперед и вперед, что «дела» с каждым днем все больше и больше. И все это как-то мимо его! Вспомнились ему без толку загубленные галки, выстрелы в собаку, в окно, приказчичья дочь, бесплодная возня с ней в течение полугода, чтение книг великих европейских умов, причем перевертывалось сразу по пятидесяти страниц. Все это необыкновенно грустно подействовало на его душу. Напрасно буфетчик Ларивон Сердоликов, содержавший в саду кафе, вывесил объявление о новой киевской наливке, только что полученной из Петербурга; напрасно только что приехавшая из Москвы камелия Анна Павловна несколько раз прошумела шлейфом около самых его ног и даже закурила у него папироску: — не было никакого желания с горя пойти в буфет и выпить или с горя же пойти за Анной Павловной, с горя спеть хором какую-нибудь соответственную ее салону песню, потратить деньги и потом воротиться в Жолтиково для продолжения мыслей «о подготовке», о приказчичьей дочери, о самоубийстве и о прочем. Ничто не шло в голову; даже денег в кармане Уткина было более обыкновенного, но они как-то слабо пытались вылететь оттуда на этот раз. Не буфета, не Анны Павловны, не выстрела в галку хотелось Уткину, а, напротив, — «дела», по возможности самого бы современного, хотелось ему, чтобы жить и дышать за ним полной грудью. Спустя несколько времени он, правда, пошел и выпил, и даже с Анной Павловной сказал несколько слов, и даже улыбнулся, когда она ударила его зонтиком по плечу; но в конце концов все-таки пришел к прежней скамейке и лег под бузинным кустом. Под влиянием скуки он

не замечал ни публики, ни даже того, что около него на лавочку присел, предварительно извинившись, какой-то оборванный мастеровой, с значительным «градусом» в голове, и не слыхал, что он что-то бормотал.

— Вашбродь! — шептал робко мастеровой. — Ужли пропаду?.. Вашскбродь!.. Неушта? Да, братец ты мой... Ягодка!.. Да я тебе скажу, это что такое? Игла! а-а! Вот то-то и оно! Я ей примусь орудовать — ах-ха! Долбону раз! — готово! Со святыми упокой! Прочнина на веки веков! От этого дела гонят, с иглой возьмут. Эх ты-и, бра-ат! Барин! Чуешь, что ль?.. Чудак ты!

— Что тебе? — произнес Уткин таким тоном, который прямо говорил, что слушать не хотят.

— Ну не надо! — сказал мастеровой и стал молча перекладывать что-то из-за голенища за пазуху.

Настала тишина.

— Ну посидели и пора!.. Что хорошего? — донеслось до слуха Уткина с соседней лавки.

Здесь, освещенные месяцем, сидели Надя, Софья Васильевна и Печкин.

— Посидели и будет! — повторил Павел Иваныч, боясь забрюзжать при публике, но все-таки с признаками некоторого раздражения в голосе.

— Пожалуйста, минуточку! — утомленно пролепетала Софья Васильевна.

— Да по мне, я говорю, — все одно. Только что нехорошо. Посидели — и довольно. Что торчать-то?

— Да что же все в духоте? Господи! — как-то раздраженно сказала Софья Васильевна.

— В духоте, в духоте! — забормотал уже обыкновенным голосом Павел Иваныч: — а вот как что-нибудь случится, вот... и будет «в духоте». Ишь! вон какие шатаются! Ну чего торчать-то? Посидели, чего еще? Ну и пора. Ишь, вон какие шлюхи, ей-богу...

— Павел Иваныч! Да неужели, в самом деле, лучше сидеть в душной комнате, чем здесь? — начала было Надя; но Печкин, взбесившийся вконец, перебил ее:

— Да, вот мы тут будем умудряться: «ужели», «неужели», а вот как случится что-нибудь... Вот и «неужели» будет.

— Что же случится?

— Да, вот мы тут самое место нашли рассуждать! Самое настоящее место, очень нужно! Ведь, кажется, довольно посидели? Ну что хорошего? Ишь, вон какие шкуры...

Ему не отвечали.

Как ни была разбита голова Уткина в настоящую минуту, однако и в ней нашлось несколько доводов против того, что весьма глупо запрещать человеку дышать чистым воздухом на основании того, что кто-то шляется и что может случиться какая-то дичь. Он понял, что кто-то почему-то притесняет другого.

— Вашбродь! — буркнул мастеровой... — Извольте послушать!

— Будет, пожалуйста! — умоляющим голосом остановил его Уткин.

— Да ведь фальшивую дали... Целовальник-то, который... Рупь, например...

— Отстань!

— Да ведь лавочник-то...

— Убирайся к чорту! — вне себя воскликнул Уткин.

Мастеровой остановился, добродушно сказав: «Ну, не надо!», и снова стал рыться за голенищем, за пазухой, перекладывать что-то из шапки в рукав, из рукава в сапог.

— То есть кабы знал бы... — дребезжал Павел Иваныч... — Ну что толку? Уж, кажется, ведь довольно...

— Ну пойдем! — отрывисто сказала Надя, быстро поднялась с лавки и пошла.

Вслед за ними торопливо побежал Павел Иваныч, а через несколько минут и Уткин, сообразивший, что «тут что-то есть», пошел тоже вон из сада, куда действительно начал стекаться разбитной народ. Музыка, оставленная капельмейстером-немцем на произвол солдата-помощника, играла русские песни, по глухой аллее уже кого-то тащили будочники. Кучка молодых людей, среди которых блистала на месяце кокарда, сверкали шляпы, накрененные набок, палки, положенные на плечо, громко разговаривая, смеясь, преследовала двух дам, с бронзовыми полумесяцами в больших шиньонах и с папиросками в руках.

2

Уткин шел почти следом за Павлом Иванычем и его дамами. Молча прошли они пустынную площадь кремля, где у лавок бегали на веревках собаки; миновали собор, на высокий и светлый крест которого молился деревенский мужик. Месяц ярко освещал и площадь, и собор, и мужика. Уткин шел тихо, считал часы, которые с переливами били на колокольне, и молчал. И там молчали. Только Павел Иваныч, спотыкаясь о камни и стукая о них палкой, не сдерживал уже своего брюзжания.

— Ведь этак торчать... Наконец ведь это... Надо же когда-нибудь домой? Не до бела же света?

— Ведь домой идем! — говорила Софья Васильевна. — Ну что ж тут бормотать-то?

— Да то и бормотать, что дурно. Бормотать!..

— Что ж тут дурного? — говорила Надя.

— То дурное-с, что... нехорошо! Дурно, больше ничего! Дурное! Дурное, дурное, а-а... в чем дело? Наконец ошалеешь!

В таких разговорах они, наконец, достигли переулка и ворот дома Павла Иваныча.

— С нами, голубчик! — не пуская Надиной руки, умоляла Софья Васильевна. — Ночевать!

Но какая-то жажда одиночества, овладевшая Надей, на этот раз решительно победила жалость к ней. Наде захотелось быть дома одной, не говорить ни с кем, никого не слышать.

— Нет, милая, я домой! — сказала она, вытаскивая руку.

Напрасно Софья Васильевна упрашивала ее остаться, — Надя попросила кухарку проводить ее домой и ушла.

— Умру-у!.. — слышался Уткину, повернувшему за угол, голос Софьи Васильевны. — Пожалуйста! Завтра! Ра-ади бо-ога!..

— Ну что же? Идти — так идти! Не до свету же тут толкаться, — проговорил Павел Иваныч, оставшись с женой у ворот по уходе Нади.

— Иди ты, пожалуйста! — с неменьшим раздражением ответила Софья Васильевна, быстро ушла в калитку и побежала вдоль темных сеней. Тьма, духота и гниль, охватившие Софью Васильевну, едва вступила она в первую комнату, и отсутствие Нади сразу подняли ее тоску до высшей степени. Захотелось сейчас же уйти отсюда, и она бросилась к окну, не обращая внимания на то, что рукав ее платья зацепил какой-то горшок или миску, стоявший на накрытом для ужина столе, и опрокинул все это на пол.

— Это что такое? — воскликнул Павел Иваныч со двора, заслышав грохот падающей вещи. — Это еще что такое? — продолжал он, прибежав в комнату, где у окна стояла Софья Васильевна и старалась отворить плотно затворенную раму.

— Это что такое? Что такое грохнулось?

Рама распахнулась с шумом и треском.

— Надя-а! Надя! — звала Софья Васильевна.

— То есть, я говорю, тут сам чорт не сживет! — проговорил в величайшем гневе Павел Иваныч. — Тьфу ты... боже мой!.. Ну что ты зеваешь на всю улицу?

Софья Васильевна безответной тишиной переулка убедилась, что Надя далеко, и, не раздеваясь, как была, села, почти упала на стул у подоконника, положив на него свою голову.

— Ну какая там «Надя! Надя-Надя»... Опрокинула что-то!.. Что такое опрокинулось? — бормотал Павел Иваныч, ощупью направляясь к столу, на котором обыкновенно помещался ужин, и что-то искал руками.

— Ну вот! — бормотал он... — Так и есть!.. И соль! Э-эх-ма! Уж неужели... неужели уж нельзя? Так и есть!.. Протекло!.. Эх-ма-а!.. «Надя-Надя»!

Руки его в это время шлепали по скатерти, по полу, по луже пролитых щей, и потоки гнева увеличивались с каждой минутой. Когда же, поднимаясь с полу, Павел Иваныч сам опрокинул что-то со стола, гнев его дошел до высшей степени и заставил его убежать в другую комнату.

— «Надя, Надя»! А что такое? С этими «Надями», прости господи... Тьфу!.. Ад, а не дом! — слышалось

в спальне в то время, когда Павел Иваныч срывал с себя сюртук и жилет. — Посуда не посуда, бряк обземь! .. Больше нам забот нету... «Умру, умру!» А что такое — «умру!» Позвольте узнать? .. Сам чорт, кажется...

Громкие всхлипывания, донесшиеся из комнаты, где была Софья Васильевна, прервали эти речи. Павел Иваныч приостановил свои ругательства, взглянул в дверь и увидал, что жена его все лежит на подоконнике, и шляпка, надетая на ней, колышется и дрожит отчего-то. Софья Васильевна горько плакала.

Павел Иваныч поглядел на эту картину, сделал шаг вперед, попробовал было издали утешить жену, сказав: «эка важность, только пролилось...» Но видя, что это не помогает, подошел еще ближе и попробовал употребить более сильные утешения...

— Ну будет... Ну брось, ну поцелуй! .. Ну сядь на коленки...

— Отстань ты, ради бога! — вся в слезах едва проговорила Софья Васильевна и снова опустила голову.

В минуту, в две слезы ее перешли в такие громкие, пугающие рыдания, что Павел Иваныч, по мере увеличения их, сначала разинул рот, потом подался к двери и, наконец, во всю прыть бросился на улицу.

Цель его была найти доктора; но, пробежав пустынный переулок и пустынную улицу, он наткнулся у забора на Уткина, который, повернув за угол переулка, медленно плелся вдоль большой улицы, испытывая ту же самую гнетущую тоску, какой были подавлены и Софья Васильевна, одиноко рыдавшая в пустой комнате, и Надя, молча лежавшая лицом в подушку среди мертвенной тишины родительского крова, и множество другого народа. Мы не будем распространяться о подробностях того, каким образом Павел Иваныч Печкин возвратился домой в сопровождении Уткина, хотя бежал за доктором. Достаточно будет только сказать об этом «случае» и перейти к продолжению наблюдений Михаила Иваныча, так как только этими наблюдениями мы можем объяснить дальнейшую историю Софьи Васильевны и Уткина и новый шаг во взглядах и развитии Нади.

IX. СЧАСТЛИВЕЙШИЕ МИНУТЫ В ЖИЗНИ МИХАИЛА ИВАНЫЧА

1

Первый поезд гремит по новым рельсам, оставляя за собой всеобщий испуг простых деревенских людей и клубы дыма, который долго копошится среди придорожных лугов или комом застревает в густых ветвях леса.

Говор и шум наполняет вагон третьего класса; но среди этого шума и говора самый крикливый голос, самая смелая речь принадлежит Михаилу Иванычу, который переживает поистине счастливейшие минуты. По мере того как родной город остается все дальше и дальше, планы насчет Петербурга, насчет дел, которые должны быть сделаны в нем, получают все большую прочность и широту и заставляют Михаила Иваныча заламывать картуз на ухо, подпирать рукою бок и разрумянивать свои впалые, худые и черные щеки посредством буфетов, не забывая поминутно предъявлять права человека, который никого не грабил и не грабит.

Во всех проявлениях Михаилом Иванычем его прав и надежд принимал весьма ревностное участие некоторый сильно подгулявший мужик, завербованный им в поклонники чуть ли не с первой станции. Этот человек всегда выказывал полную охоту заорать на весь вагон о справедливости того, что говорит Михаил Иваныч.

— Ай нам на пятачок-то выпить нельзя? — обращается к нему Михаил Иваныч, когда поезд подходит к станции. — Василей! Неушто не разрешают нам, мужикам, этого? а? Вася? А не будет ли мужик-то почище?

— Почище, брат! — зевает поклонник. — Почище!

— А? Вася? — продолжает Михаил Иваныч, обнявшись с мужиком и подходя к буфету: — дозволяют мужикам буфету? Как ты думаешь? за свои, примерно, деньги, примерно, ежели бутенброту мужикам бы? а?

— Бутенброту! — грозно восклицает мужик, вламываясь в толпу у буфета, но, увидав господ, пугается, снимает шапку и бурчит: — Дозвольте бутенброту, васкбродь! . .

Михаил Иваныч обижен таким поступком мужика и долго ругает его за малодушие.

— За свои деньги да оробел! — укоризненно говорит он, отойдя от него в сторону. — И дурак ты, сиволдай!..

— Голубчик! — умиленно разевая лохматый рот, винится мужик. — Милашка!..

— Ай у них деньги-то ценнее наших? Свинья ты, сволочь!..

Мужик шатается и смотрит в землю, оставив без внимания собственную бороду и усы, которые носят обильные следы позорно добытого бутерброда. Он виноват и готов чем угодно искупить свою вину.

Случаи к такому искуплению представляются часто, поминутно, ибо Михаил Иваныч тоже поминутно делает публичные представления своих планов или прав, так как и к этому тоже случаев довольно.

Какая-то барыня заняла два места, ест сладкий пирожок и презрительным тоном рассказывает соседу барину о том, что она никогда не ездила в третьем классе; что быть с мужиками она не привыкла, потому что она выросла в знатном семействе, за ней ухаживали генералы, у ней был очаровательный голос. Как она пела!..

Этого достаточно, чтобы провинившийся мужик понадобился Михаилу Иванычу.

— Вася! Спой! Мужицкую...

— Спеть, что ли?

— Громыхни, друг! Вот барыня тоже очень хорошо поет! Спой! Нашу! Чего?

— Нашу! Э-а-ах да-а...

Мужик разевал рот и горло во всю мочь.

— Кондуктор! кондуктор! — кричат барин и барыня.

— Кондуктор! — тоже вопиет Михаил Иваныч. — Пожалуйте! Разберите дело!..

— Что такое? — спрашивает прибежавший кондуктор.

— Помилуйте! Пьяный мужик кричит бог знает что! Сил нет!

— Он запел! — вступается Михаил Иваныч. — Мы посвоему, по-мужицки поем; ежели вам угодно, вы по-господски спойте. Чего же-с? Громыхните ваше пение... а мы наше... Господин кондуктор! Так я говорю? Где об эфтом вывешено, чтобы не петь мужикам?..

Кондуктор решает дело в пользу Михаила Иваныча, присовокупляя, что в правилах нет пункта, чтобы не петь, и предлагает барыне перейти во второй класс.

— Пожалуйте во второй класс! — прибавляет Михаил Иваныч от себя. — Пожалуйте!..

— Па-ажжальте!.. — бурчит мужик.

— Там вам не будет беспокойства... а тут мужики, дураки... Через них вы получаете ваш вред. Потому мы горластые, ровно черти... Вась! Громыхни-ко!..

— Э-о-а-а...

Хохот и гам на весь вагон.

— Что орешь, дурак! — вмешивается какая-то новая фигура, и тоже из мужиков. — Барыня сладкие пирожки кушает, а ты орешь?

— Сладкие? — перебивает Михаил Иваныч. — Василий! Чуешь?.. Попробовать мужикам сладкого! Али мы не люди?.. Почему нам сахарного не отведать? Пирожник!..

— Эй!.. Пирожник!.. — вторит мужик.

— Давай мужикам сахарного на пятачок!.. Барыня! Почем платили?

— Кондуктор! Кондуктор!

— Кондуктор! — кричит Михаил Иваныч и мужик вместе. — К разбору пожалуйте!

Является кондуктор, узнает, в чем дело, — и Михаил Иваныч снова прав, ибо нигде «не вывешено объявления насчет того, чтобы не спрашивать — почем пирожки». Многочисленность и быстрота побед до такой степени переполняют гордостью душу Михаила Иваныча, что унять его от беспрерывных предъявлений прав решительно нет никакой возможности.

— Позвольте вас просить! — упрашивает его, наконец, кондуктор. — Сделайте одолжение, прекратите пение!

— Не вывешшшен!.. — начинает дебоширничать мужик; но Михаил Иваныч немедленно зажимает ему рот рукою и говорит:

— Цыц! Васька! Ни-ни-ни!.. коли честно, благородно, — извольте! Ма-ллчи!.. «Сделайте одолжение», «будьте так добры», это другое дело!.. Это, брат, другого калибру!.. Извольте, с охотой!

И у буфета следующей станции можно снова видеть фигуры мужика и Михаила Иваныча.

— Вася! Милый! — говорит Михаил Иваныч, стараясь глядеть прямо в осоловелые от водки глаза мужика. —

Чуял, что ли? «Вы...», «сделайте милость», ну не по скуле же!.. Понимай-кось!..

— Гол-лубчик! — лопочет мужик, обнимая Михаила Иваныча за шею и хороня на его груди бессильную, хмельную голову...

2

Так Михаил Иваныч проводит время в дороге, и мы не будем утомлять внимание читателя подробным изображением его путешествия до Петербурга, так как, помимо вышеприведенных сцен, повторявшихся почти на каждой станции, с ним не произошло ничего существенно нового и любопытного. Приятное расположение духа продолжалось у него всю дорогу, несмотря на то, что мужик, его компаньон и поклонник, на одной из подмосковных станций покинул поезд, причем борода его, усеянная окусками сахарных пирожков и бутербродов, долгое время, в виду всех пассажиров, находилась в рассвирепевших руках разозленной жены, встретившей его на платформе. Исчезновение такого соратника не уменьшило торжества Михаила Иваныча и не делало его одиноким, так как каждую минуту на место его могло выступить вдвое большее число соратников из той же простонародной публики. Помимо всего этого, не было также недостатка и в возможности предъявить эти права. Поминутно Михаилу Иванычу говорили: «позвольте пройти», «прошу вас», «позвольте закурить», «извините». Эти и другие выражения заставили его считать себя не завалящей тряпкой, не собакой, а действительно настоящим человеком, которого не бьют по скуле. Эти случаи поглощали все внимание Михаила Иваныча во время дороги, так что новизна городов, через которые он проезжал, не оставила в нем особенно обильных впечатлений. Шумная и разнохарактерная картина Москвы дала ему только возможность заметить, что здесь всё на французский лад. Попросил он квасу на копейку, его тотчас же спросили: «Вам французского?» Шел мясными рядами и на вывеске увидел золотых поросят с золотою надписью внизу, тоже по-французски, как об этом объявил ему мясник, стоявший на тротуаре в окровавленном фартуке и певший басом: «Благоденственное и мирное житие». И более

не было никаких наблюдений насчет Москвы, ибо, во-первых, извозчики называли Михаила Иваныча «ваше сиятельство», а во-вторых — московский будочник, с револьвером и громадными усами, смутившими было робкого Михаила Иваныча, сказал ему весьма любезно:

— Вы чего пужаетесь? Вы нас не опасайтесь... подойдите! Мы бросаем по нонешнему времени эту моду, чтобы каждого человека облапить, например, с затылка и в часть! Кто нас угощает, тому мы не препятствуем!

Всего этого было слишком много для запуганной души простого человека, и одного этого случая уже достаточно для того, чтобы не любоваться Кремлем, Иваном Великим, Царем-пушкой, а прямо пойти в кабак и выпить в приятной компании веселых друзей.

Вид Петербурга, к которому обыкновенно поезд подходит долго и тихо, громыхая цепями и колесами на беспрестанных переводах рельс, несколько смутил было бодрый дух Михаила Иваныча. Длинные казармы с тысячами окон, бесконечные кладбища, громадные голые стены домов с белыми траурными полосами на местах печных труб — все это было так велико, незнакомо и грозно, что сердце его стало как-то тревожно биться и замирать, особливо когда поезд стал входить в темную арку дебаркадера, весьма похожую на разинутую страшную пасть, глотающую вагоны, словно куски, фаршированные людьми, и отправляющую их в такой бездонный желудок, каков Петербург. Наконец самая близость этого Петербурга, влекущего к себе такое множество настрадавшегося в провинциальной глуши народа, того самого Петербурга, о котором грезят тысячи захолустий, как о чем-то неземном, и который теперь в двух шагах, и тревожный, непонятный простому человеку шум которого уже доносится в вагонные окна, — все это испугало Михаила Ивановича, заставило похолодеть и отрезвило.

Но если мы через полчаса после прихода поезда отправимся в одну из множества харчевен, усеивающих собою берег узкой и грязной Лиговки, то мы будем иметь случай снова видеть Михаила Иваныча в его прежнем и даже еще более приятном расположении духа.

— Нам это дорого! — говорит он, ударяя себя кулаком в грудь, и тотчас же выпивает залпом стакан пива, который наливает ему петербургский джентльмен-

городовой. — Благодарим вас — вот как! — что вы не обидели нас, простых людей! Ну, толкони я ежели бы в наших, в подлых местах кого-нибудь этак-то узелком-то? .. — продолжает Михаил Иваныч, поднимая с полу свой крошечный узелок, и, швырнув его, вопиет: — ведь замучили бы! «Мужик! как смеешь...»

— Нет, у нас слободно! — говорил городовой, наливая пива и себе. — У нас это можно... с вежливостью ежели... Потому у нас порядок.

— Замучили бы-ы! Милый человек! Позвольте вам сказать, почему нам дорого! Потому, что мы в наших местах совершенно измучены разною бестолочью... Потому мучение! Да как же-с? .. Помилуйте! .. Почему я не покорствовал?

— Самой собой, — говорил городовой. — Потому глупость в провинции большая... В эфтом случае. Ну, в нашей стороне мы дозволяем человеку... С чего же? Ну, чтобы по распределению выходило — только всего... У нас все распределено: ежели вас в одном месте повреждают, то в другом вам делают починку; выхватили вам руку на Невском, а лечить повезут на Обухов пришпект. Распорядок повсеместно... Выздоровел, иди опять на Невский, запрету не будет... Хочешь — иди в кабак. Только чтобы с вежливостью... Вот!

Такие поощрения со стороны городового, в лице которого простосердечный Михаил Иваныч видел представителя самого Петербурга, помимо того, что заставили его поставить в виде угощения Петербургу дюжину пива, развязали язык его до самых жарких излияний жизни простого человека, до самого подробнейшего изложения всех причин непокорства и всех планов насчет хлопот, при содействии Василия Андреича и Максима Петровича, словом, до того, что сам городовой потребовал новую дюжину пива уже на свой счет и вместе с тем предложил Михаилу Иванычу самую верную и прочную дружбу.

При содействии нового друга Михаил Иваныч в тот же вечер, вместе со своим узелком, был помещен в одном из громадных домов Ямской, населенных столичным сбродом; как друга, его поместили где-то в хозяйской кухне, за ширмами, просили внимательно заботиться об нем и оказывать всякое почтение, ибо этот человек *«для нас дорог»*, как объяснил городовой хозяйке.

И Михаил Иваныч, сморенный и обессиленный дорогой, пивом и рядом радостных триумфов, глубоким сном заснул в душной и жаркой кухне, не слыша, что кругом его за тонкими перегородками шумят и ругаются пьяные люди, звенят деньги среди игроков в трынку, поют пьяные женщины, и не предчувствуя, что этим глубоким сном оканчиваются все его триумфы и победы, все его счастье и вся его гордость.

X. ЧЕЛОВЕК, НА КОТОРОГО НЕЛЬЗЯ ПОЛОЖИТЬСЯ.— РАССКАЗ ЧЕРЕМУХИНА

1

Причина такого быстрого окончания радостей Михаила Иваныча заключалась в том весьма неосновательном убеждении, что, отделавшись от разоренных и умирающих стариков, он уже не встретит разоренья в их детях; но неосновательность этой уверенности обнаружилась тотчас же, как только Михаил Иваныч разыскал брата Нади — Василия Андреича. В этом розыске ему особенно много помог новый друг-городовой, который, как оказалось, весьма коротко знал фамилию и местожительство Черемухина, ибо неоднократно носил к нему повестки «пожаловать к мировому». Последнее обстоятельство, впрочем, еще не особенно смутило Михаила Иваныча, находившегося все-таки в самом приятном расположении духа. Не смутило его также и то, что Черемухин жил в каком-то захолустном переулке, близ Николаевской дороги, в одном из громаднейших, набитых всякою нищетою домов. Поднимаясь по грязным лестницам этого дома, с грязными, оборванными толпами детей, пробираясь по темным коридорам, переполненным густым, удушливым цикорным дымом, Михаил Иваныч чувствовал, что Черемухин живет в большой бедности; но шел к нему, испытывая то веселое ощущение, которое испытывает человек, приготовляясь встретить знакомого, знавшего его когда-то нищим и покинутым.

Василий Андреич действительно жил в большой бедности и, повидимому, в полном одиночестве. О последнем можно было заключить по тому испугу, который выразился на его худом, зеленом лице при появлении Михаила Иваныча, и по той необыкновенной радости, которая озарила это лицо и оживила всю его фигуру, когда он узнал гостя. Встреча их была исполнена непритворной и глубокой радости, и в тот же день узелок Михаила Иваныча был перенесен в каморку Черемухина. Здесь в течение нескольких дней непрестанно пилось пиво, шли рассказы о прошлом, о будущем, высказывались обоюдно самые энергические меры в деле Михаила Иваныча, желавшего, чтобы простому человеку было лучше, и проч. Среди этих разговоров человеческому достоинству и самолюбию Михаила Иваныча было много самой роскошной, самой небывалой пищи. Оказывалось, например, что Василий Андреич не только не забыл его, но, напротив, с особенною ясностью помнит все самые ничтожные сказки и прибаутки, которые когда-то Михаил Иваныч рассказывал ему на печи. Оказывалось, по словам Черемухина, что такую же и едва ли не большую, чем его, радость будет испытывать и Максим Петрович, когда Михаил Иваныч его отыщет и придет к нему, и, наконец, Черемухин дал самое искреннее обещание разыскать этого Максима Петровича, о котором он слышал много хорошего, но которого не видал уже два года. Последнее обстоятельство было особенно приятно Михаилу Иванычу, ибо все расспросы его по этому предмету у друга городового были совершенно безуспешны. Друг-городовой уверял Михаила Иваныча честью, что хоть и знает фамилию Максима Петровича, ибо одно время стоял на Выборгской стороне, но что в настоящее время его положительнейшим образом в Петербурге нет.

Недели полторы или около двух между Михаилом Иванычем и Черемухиным царствовала полнейшая дружба и неподдельнейшая любовь.

Это были самые светлые, благородные минуты в их жизни. Но мало-помалу эти светлые ощущения начали помрачаться чем-то новым и не особенно приятным. Несмотря на обещания начать дело и хлопоты в самом скором времени, дел и хлопот, однако же, никаких не было. Большею частью Михаил Иваныч стал оставаться

в нумере один, так как Черемухин стал надевать его пальто и уходить со двора на целые дни. Возвращался он обыкновенно под хмельком, принимался целовать Михаила Иваныча и снова неподдельною искренностью своих сочувственных разговоров доводил его до восторга. Но дни шли, бездействие тянулось, и Михаил Иваныч, оставаясь по целым дням среди незнакомого населения меблированных комнат, стал грустить, ибо все это население, больное, бедное и злое, отзывалось о Черемухине весьма неодобрительно; не было, правда, человека, который бы не спорил про него, что он добр, но всякий зато мог сказать два-три факта не в пользу его. Оказывалось, что этот человек ничего не делает, долгов не платит и если получит иной раз откуда-нибудь деньги, то норовит прогулять их, а не отдать. Так говорило бедное население, у которого копейка стояла на первом плане. Но как бы односторонни ни были эти суждения, Михаил Иваныч мог убедиться, что это человек несостоятельный, человек, на которого нельзя положиться, что это какой-то добрый обманщик! Нехорошие ощущения врываются в сердце вдруг и в одну секунду истребляют в нем все, что сделала самая продолжительная радость. С Михаилом Иванычем было то же: наслушавшись этих суждений, он пересчитал деньги, и оказалось, что большая часть их ушла на Василия Андреича, на выкуп его сюртука, на пиво, которое тот поглощал, ради встречи, в весьма значительном количестве. Михаил Иваныч задумался и затосковал...

Нервная натура Черемухина в ту же минуту почуяла это и тоже сразу затуманилась. Отношения их быстро изменились. Оба стали чувствовать себя неладно, напряженно... Новые факты, новые посещения каких-то людей, спрашивавших рассерженными голосами: «дома ли Черемухин?», пополнили расстройство. Михаил Иваныч стал злиться; ему хотелось напомнить Черемухину насчет денег прямо, но он не мог и только косился на него. Черемухин был видимо подавлен этим, грустил и пил.

Еще день, и настал полный разлад. Нужно было кончить, разъяснить, разойтись...

И это случилось в один из тех мокрых ветреных дней, когда все население столицы, едва открыв глаза, начинает хворать и злиться. В бедном и действительно больном углу, где жили Михаил Иваныч и Черемухин,

почти до рассвета начались перебранки, рычанья друг на друга, ссора. По мокрым и затоптанным грязью лестницам ходили какие-то худые сердитые фигуры в рваных халатах, держась рукою за ревущую и надрывающуюся от хрипоты и кашля грудь и норовя спихнуть ногою попавшуюся на лестнице собаку или вышвырнуть за окно кошку, отвратительно мяукающую на весь коридор, но швырнуть так, чтобы она вдребезги разбилась о мостовую двора. Черемухин и Михаил Иваныч проснулись тоже невесело, так как были разбужены солдатом-хозяином, бесцеремонно потребовавшим деньги и украшавшим свою грубую речь выражениями: «ваша братия», «...эдак только шерамыги...», «...к мировому» и проч. Черемухин почти сейчас же ушел со двора, не взглянув даже на Михаила Иваныча. Михаил Иваныч разозлился, тем более что деньги за квартиру были взяты уже у него Василием Андреичем.

Затем полезли в нумер Черемухина разные суровые лица в мокрых пальто, с промоченными до невозможности сапогами, с мокрыми, сломанными ветром зонтиками и проч. В каждой черте лица их виднелась тысяча смертей, посылаемых отсутствующему Василию Андреичу, и по крайней мере такое же количество их вручалось Михаилу Иванычу, со злостью отвечавшему: «нет дома...» В заключение пришла какая-то женщина лет сорока пяти, весьма похожая на няньку, начала немедленно шум и не ушла, а осталась ждать.

— Пять суток просижу, а уж дождусь! — говорила она, отирая мокрое лицо платком, дрожавшим в сердитых руках. — Что эт-та такое? Докуда будет? За свои деньги да ходишь? Брать, так небось сами прибегут, а как отдавать, так...

— Зачем даете! — сурово сказал Михаил Иваныч, которому опротивело слушать эти ругательства.

— Да жалко его! Вот что! Мне жалеть-то некого, видишь вот! — гневно сказала баба и потом, не переставая волноваться и не теряя самого рассерженного выражения лица, объяснила, что родных никого у ней нет, что попробовала она раз помочь молочному брату, но тот вместо благодарности выгнал ее в шею из дому. Сама же она ни в чем не нуждается, живет на хорошем месте и скучает без доброго дела.

— Тоже сердце, друг ты мой! Ишь он какой май! — говорила она про Василия Андреича: — сколько времени мается! я еще когда его знаю, и все без помочи... И жаль ведь!.. Да ежели б не бестолочь его, ведь он ничего человек, уж этого не скажи... Тут было дело: чиновник один из ланбарту поступил со мной не очень-то чтобы спрятно. Василий-то Андреич только вот эдак строчку ему написал, тую ж минуту на ребенка выдал... Ведь добрый! То-то, друг!..

Женщина объяснила, что ради своей жалости к Черемухину она давно помогала ему, разыскивая его по разным трущобам, что несколько раз терпение ее готово было лопнуть и что теперь, наконец, лопнуло совсем.

— Бог с ним!.. Пущай теперь как знает!.. — заключила она и несколько часов кряду просидела, молча и сердито ожидая ненавистного человека. Михаил Иваныч не глядел на нее и злился. Неудачливый столичный день с каждою минутою вырисовывался все отчетливее и отчетливее. Михаилу Иванычу не дали обеда, ибо опять-таки деньги не были заплачены Василием Андреичем, хотя и взяты. В такую-то самую злейшую минуту явился Черемухин — пьяный и грязный. Осажденный воплями бабы, он спьяну пробовал улыбнуться, но заметил, что лицо Михаила Иваныча побелело от этой выходки. Словно грозовая туча, он потемнел и глубоко загрустил.

— Ну будет! оставь, Авдотья! Ну я виноват... — говорил он, нагнувшись над столом. — Будет!.. Я все это кончу... Михаил Иваныч! Пошли-ко, брат, за пивом... Нам и с тобой нужно переговорить... Одна бутылка не разорит — что там! Все равно!.. Посылай!..

Баба притихла и с испугом смотрела на Василия Андреича.

2

Пиво стояло на столе: с одного боку сидел Михаил Иваныч, не глядя на Черемухина; Василий Андреич, сидевший по другую сторону стола, с расстегнутым воротом рубашки, без сюртука, тоже не обращался к Михаилу Иванычу и, сосредоточив потупленные глаза с наморщенным лбом на пивном стакане, говорил:

— Откровенно и по чистой совести я должен признаться тебе, что никаких хлопот, никаких участий в делах твоих принять не могу! Сознаюсь тебе от чистого сердца, как ни тяжело это. А действительно, брат, это тяжело! Знаешь, что дело правое, выстраданное, вопиющее; знаешь, что за него надо умереть, истратить себя до последней капли крови, — и не мочь — это, брат, ух, как горько, и ух, как подло! Эти муки я испытываю давно, не в одном только твоем деле; таких новых, честных дел кругом меня кишит в настоящую минуту тьма! Пробовал я браться за них, но нет! Два шага сделал, и чуешь, что не под силу; честней всего уйти назад... Да и диво ли, друг ты мой? Всякое такое дело требует самой полной, самой честной преданности ему, прямоты, правды... и все это у нашего брата в таком крошечном количестве, все это чуть тлеет, чуть дает росток.

Василий Андреич поник головой над стаканом.

— И знаешь ли, — продолжал он, взглянув на Михаила Иваныча: — отчего это тлеет, а не горит полным пламенем? Отчего все это может быть уничтожено одним щелчком, самым ничтожным препятствием?.. Да все оттого же, друг мой, отчего и ты вот, простой человек, — нищий, больной и голодный!.. Помнишь, сколько ты рассказывал мне о прижимке и произволе, от которых одурел, очумел простой человек; — неужели ты думаешь, что для непростого, для благородного — ну хоть для такого, как я, — этот произвол прошел даром?.. Нет, брат! Ты знаешь, в какой семье родился я. Люди жили припеваючи, но среди этого житья ни мой отец, ни моя мать не могли ни одним словом, ни одним поступком заронить в мою душу первые семена того, чего теперь у меня так бесконечно мало! И именно потому, что жили припеваючи... Твой отец, общипанный купцом, ограбленный кабатчиком, возвратясь домой, чтобы вместе с тобой глодать, как ты говоришь, собачью кость, растил в тебе эти добрые семена своим рассказом. Ты учился уважать труд, учился любить ограбленного отца, и — посмотри — сколько ты накопил в своем сердце и любви, и справедливой ненависти, и прочного убеждения! Все это — сокровища, все это нужно, все это делает жизнь человеческую; наконец, все это — и любовь, и твердость, и ненависть — нужно просто для человеческой природы! Ты счастлив:

ты — настоящий человек... У меня, брат, ничего этого не было!.. Отец мой, возвращаясь домой, за семейной беседой не имел в запасе ни одного слова, за которое я мог бы его любить, жалеть... Подумай-ко, чем он мог поделиться со мною, что бы могло сделать меня энергично честным? Напротив, если ты хорошенько подумаешь о том, что могли внушить мне мои предки, мирно разговаривающие о своих успехах в области прижимки или веселящиеся исключительно ради веселья, — ты должен удивиться, отчего я не вышел прямо разбойником, которому ничего не значит задушить человека за грош, а состою только в звании негодного и слабого человека...

Черемухин быстро выпил стакан пива, как-то рванул всей пятерней свои и без того растрепанные волосы и сердитыми пьяными глазами поглядел на Михаила Иваныча.

— Удивиться! — повторил он и, помолчав, продолжал:— В жизни моей — к счастию или несчастию — успех пути в разбойники был ослаблен, во-первых, тем, что мои предки церемонились несколько посвящать меня в тайны своих нравов, в тайны того куска хлеба, из которого делалась моя ненужная кровь... Они предпочитали молчать. Выходили поэтому самые настоящие русские будни, половина которых идет на сон, а другая — на просонки, толкование снов и еду... По крайней мере я глубоко чувствую тяжесть этой чешуи на своих плечах едва ли не каждую минуту. Я не могу забыть этих томительных зимних вечеров с мертвою тишиною, стуканьем маятника и отдаленным храпом... Что значат эти бесконечные слезы, которые я проливал среди мертвой тишины всеобщего сна и которых не могли унять никакие просьбы, обещания, угрозы, на помощь которым так охотно приходили наши зимние вьюги, стучавшие непривязанной ставней и гудевшие в трубе?.. Я чувствую, вижу, что этими слезами вся человеческая природа моя протестовала против этой нечеловеческой жизни, которая была кругом меня. Она, голодная, тянула меня, милый друг, к тебе в кухню, на печку, слушать сказку, слышать речь человеческую! Я знаю множество русских людей, которые, дожив до седых волос, не могут вспомнить ничего отрадного, кроме какого-нибудь рассказа няньки, — ничего лучшего не было во всю жизнь! Что это значит? В моей

жизни было так мало этих случаев, что я до сей поры помню их самым отчетливым образом. Помню я, брат, тебя и все твои сказки про чорта, про кузнеца; но ты не любил меня, перестал рассказывать их, а меня перестали пускать к тебе. Я плакал от этого вдвое сильней; но мне купили дорогую, но безмысленную игрушку. Я взял взятку с родителей, перестал плакать, и доброе семя, которое упало в мое сердце из твоих сказок, заглохло. Помню я также, милый мой, и солдата-сапожника, который жил у нас в бане... Мне было необыкновенно легко и хорошо всякий раз, когда он сажал меня на свои колени, гладил по голове и рассказывал обо всем, что меня интересовало: о петухе, о канарейке, о собаке. Грудь у него была твердая, теплая и приятно грела мою спину. Руки были сильные и могли поднимать меня к потолку, опускать вниз, так что, не ушибаясь, я мог видеть, что делается на полатях, в печке, на чердаке... Я любил его. А когда этот силач и добрый малый пришел ко мне с заплаканными глазами и объявил, что у него пропали две пары казенных подошв и что за это его накажут, я в первый раз заплакал по-человечески, в первый раз ощутил в себе потребность заступиться за человека и выпросил у отца денег... И это было недолго. Как теперь вижу: грязная улица, среди нее рота солдат и в числе их Абрам. Слезы градом льются из моих глаз, потому что Абрам не может повернуть ко мне лица, которое закрыто каской, ранцем и перерезано чешуйчатыми застежками по щекам. И опять я плакал. На этот раз душевное расстройство было сильнее, потому что Абрам дал мне очень много. Но и это замыли, употребив уже более сильные средства: меня уверяли, что Абрам — вор, в доказательство чего приводились слезы кухарки, у которой по уходе его не оказалось платка... и уверили. Я перестал плакать, взял новую взятку, — не помню, в виде игрушки или сладкого, — и лучшее достояние сердца заглохло под грудою такого сора, как, например, уважение к родительскому сну, продолжавшемуся пятнадцать часов... Кроме тебя и Абрама, помню я еще кормилицу Алену, которую я очень любил и для которой с страшными слезами вымаливал у родителей позволение пройтись со мной и с маленьким братом по полю, где нас обыкновенно встречал какой-то молодой парень, угощав-

ший меня пряниками с золотом. Но и ее прогнали... В этом нечеловеческом мире, где никто никогда не любил, она вздумала любить этого молодца; «поймали» ночью в сенях и выгнали на дождь и ветер... Вот, брат, все! Кроме тебя, Абрама и Алены, в детстве и дальнейшей жизни моей никто не хотел, чтобы я был человек. И если в моем нравственном фонде есть какой-нибудь грош, если у меня, наконец, есть силы узнать в себе бессильного человека, то этим я обязан вам, никому больше!.. И кланяюсь тебе до земли! Вместо твоих сказок, вместо добрых россказней Абрама, простых ласк Алены и ее молодца заводилось в моем сердце гнездо апатии и пустоты... Средства у предков были к этому большие, прочные и мало-помалу сделали свое дело блистательно. Сердце мое стало похоже на гладкую мелкую тарелку, на которой валялся один только грош, пожертвованный вами. Всякий, кому угодно, мог класть на эту тарелку все беспрекословно; успех был до того блистателен, что с годами грош этот начал ржаветь и зеленеть. Я подрос; тарелка, за отсутствием вас, наполнялась щедрыми подаяниями окружающих, и я принимал все это с полным равнодушием, именно как тарелка, которой решительно все равно, лежит ли на ней апельсин или грошовая колбаса. Само собою разумеется, что в школе я был «лучший»; кроме меня, была там бездна таких же. Начальство было довольно этим. Ему стоило захотеть, чтобы мы, ради его желания, стали наушниками, сплетниками друг на друга, — мы охотно исполняли это: в пять минут нас можно было повернуть как угодно и покорить под власть какой угодно чепухи. Правда, были между моими товарищами честные натуры; но с ними нам было страшно. Честный человек с давних пор был рекомендован нам в виде пьяницы, вора, словом — в виде пьяного спартанского илота; тот внушал отвращение к пьянству, наш честный человек указывал путь к мелкодушию: он всегда был беден, нищ, убог, говорил странно, ругался; на него было страшно смотреть. «Дурные» товарищи само собою были зачатками этих страшных людей; «дурной» прибьет тебя за то, что ты пожалуешься, тогда как, жалуясь, ты исполняешь свой долг, принимаешь на свою тарелку подаяние; урока он никогда не знает, потому что играет в бабки; наконец, на твоих

глазах его родная мать со слезами просит начальство высечь его, и ты по совести не любишь его, по совести делаешься бессовестным. Едва ли не с тем же успехом продолжал опустошение моей души университет; но по крайней мере тут я вошел в возраст... да! усы пошли!

Василий Андреевич помолчал и вздохнул.

— И потом пошла самая разнохарактерная нравственная арлекинада! (Здесь он махнул рукой.) За отсутствием того настоящего человеческого капитала, из которого могли бы выйти человеческие интересы, я стал наполняться разною дрянью... В этом отчасти помогала и литература. Она потрафляла очень удачно испорченной общественной нравственности; она пихала в ее нравственный желудок самую тонкую и расстроивающую его стряпню. Но обществу приходилась эта стряпня по вкусу; оно брало оброки, взятки, орудовало откупами и разработывало их. Правда, были голоса призывающие, но их было не слышно; по крайней мере большинство, толпа, рать страны не была расположена и, пожалуй, иногда — не могла их понимать... и жилось хорошо, весело. Но мне не долго пришлось попировать с моими фондами, то есть с пустотой. Быстро принеслось другое время — заговорили другие люди. Разумеется, они не пробрали бы меня никогда, если бы слова их не начали осуществляться в окружавшей меня массе. Там и сям в толпе показались новые лица. Почему-то вдруг пришлось вспомнить про заржавленный грош, брошенный вами; но, господи, как мало этого гроша было для того нравственного обихода, который потребовали новые дни! . Каждое дело, каждое намерение этих дней требовало большого капитала, большой силы, а у меня был грош — страшно стало! Как я ни пробовал порыться в тарелке и поискать, нет ли где еще такого же гроша, — нет! Поминутно между разным тряпьем, гнилью, бессилием я находил плоское, ничего не сулившее дно! Попробовал притвориться, вздумал честно заработывать хлеб — не могу! Лень, скука, мало! Рванусь вперед, за каким-нибудь так называемым общим делом — на втором шагу начинает действовать вся эта нравственная арлекинада, все сотни направлений; пожелаю подходить к делу по сорока семи дорогам, осеняемый сорока семью разнородными взглядами, — и в результате нуль, вред делу. Чувствую, что «не за что»

внутри меня держаться хорошему намерению, нет правды, нет любви, нет силы убеждения!

Черемухин опустил голову и покачал ею.

— И тут я пал, братец ты мой! Если бы жив был отец, он бы еще снабжал деньгами, и я бы еще, быть может, «фигурировал».. Но ты вот говоришь «обмякло» — и я совсем «пас»! Ты, впрочем, не думай, что я один только такой... Массы, массы, друг любезный! — с тою разницею, что у одних больше моего гроша, а другие не совсем поняли свою обязательную смерть и врут или притворяются — не знаю! Есть и настоящие... ты встретишь — погоди!

Михаил Иваныч посмотрел искоса на Черемухина. Тот сидел молча; но спустя несколько времени как-то приободрился и сказал с улыбкой:

— Ты, однако, не думай, что я совсем никуда не гожусь... и не расплачусь с тобой и с ней. (Он указал на бабу.) Государству теперь нужна бездна народу... Нужны учителя, лекаря... толпы рабочих людей... Нас не минуют! Будем где-нибудь наставниками, будем получать с мужиков жалованье, глядеть на разутые ноги детей, тосковать о собственной бесполезности, пить... Может быть, даже и умрем в глуши от водки... Чего же еще? Самый любимый литературный тип.

Проговорив это, Василий Андреич совсем ободрился, встал и, заложив руки в карманы брюк, несколько раз уверенною поступью прошелся по комнате; вся осанка его была такая, как будто бы он в самом деле «расплатился со всеми».

В этом последнем случае едва ли не была согласна и баба, сидевшая здесь. Длинный рассказ Черемухина видимо тронул ее: она почти не понимала, что такое он рассказывает; но если бы даже Василий Андреич говорил по-немецки, то и тогда баба сумела бы почуять, что это говорит человек несчастный.

— Ишь наговорил!.. — сказала она тихо-тихо, потому что чувствовала себя неловко. — Пришла ругаться, а теперь стало жалко... Умирать бы уж тебе, право! Ах, бедный-бедный!.. Толку-то нету никакого... денег-то, чай, нету? — разрешила она вдруг свое неловкое положение, хотя в голосе ее снова звучала суровость. — Свечи-то есть ли? Ишь огарки какие! Поди, ни чаю, ни сахару?

Черемухин ходил по комнате, не слушая ее и задумавшись.

Но баба, почувствовав сожаление и видя, что есть забота, не могла скоро разделаться с этими качествами своей души. Наволочки оказались грязными; вытащена была из-под кровати пара носок, чтобы дома вымыть и принести чистые. Сосчитаны были какие-то лоскутья белья, и оказалась пропажа. Все это тряпье баба собрала, сосчитала, спрятала, словом — проявила непомерную сердечную доброту, что немало изумило Михаила Иваныча.

— Ишь, как я об тебе! — слегка улыбаясь, сказала баба и вдруг сердито прибавила: — на, вот, три рубли, да смотри — не проверти! ты ведь пойдешь швырять... да отдай!

Черемухин все ходил, молчал и думал.

Баба еще порылась, положила на стол три рубля, еще поворчала насчет того, что «ходишь без калош... Сляжешь... кому ходить?.. Что мать-то к тебе не едет?.. Писал матери-то?..» и, еще раз окинув все пытливым взглядом, прибавила:

— Усни-ко, ишь зеленый какой!.. Спи! право, какие...

И ушла. Видно было, что действительно ей некого любить.

Михаил Иваныч сидел и думал. Как и баба, он не понял и десятой доли ничтожных, но все-таки весьма ощутительных страданий Черемухина, и злился, и не мог не жалеть Василия Андреича.

«Что это за люди! — думалось ему. — И жаль и, кажется, — убил бы... Тьфу!..»

XI. ДОМА

1

Михаил Иваныч, исцеленный тяжкими страданиями своей заброшенной жизни от возможности понимать бесплодность нравственной муки, переживаемой людьми, подобными Черемухину, не понял почти ничего из его дол-

того рассказа; но мы все-таки воспользуемся сущностью этого рассказа, который может объяснить нам некоторые незначительные факты, происходившие в это время в покинутой им провинции.

Действующим лицом был известный нам барчук Уткин.

С первого взгляда Уткин, повидимому, совершенно не подходил к типу Черемухина; в нем не было ни одной из черт, так неприятно обрисовывающих Василия Андреича. Но это происходило оттого, что у Уткина, во-первых, была бабушка, снабжавшая его деньгами, и ему не было надобности наживать врагов, подобно Черемухину, не имевшему копейки, а следовательно, не приходилось становиться к людям в самые неприятные, враждебные отношения; не приходилось быть глубоко злым и разбирать самого себя с такой основательной злобой, как Черемухин. Была, стало быть, одна полусознательная скука, способность думать и действовать во множестве направлений сразу, не воспитав в себе жизненными впечатлениями никаких нравственных средств, чтобы быть «просто так» самим собою. Нам уже известно, что вечер «первого поезда», направивший размышления его в направлении «дела», привел его в квартиру Печкиных, где, несомненно, должно было быть «дело»: это было видно весьма ясно из разговоров между супругами на бульваре и на улице. Все это, однако, не определило Уткину, какого рода прием следует ему принять при начале и продолжении этого дела, пока он не наткнулся случайно на черепки разбитой посуды, валявшиеся на полу. Это обстоятельство разрешило его затруднение.

— Так нельзя-с! — довольно сурово сказал он Павлу Иванычу.

— Господин доктор! — начал было Павел Иваныч.

Но Уткин прервал его.

— Я не доктор-с! — с гордостью сказал он вслед Печкину, выбежавшему на новые поиски. — Тут не припадок, тут вопрос... Да-с! Так нельзя... Тут не в аптеку, а в полицию-с!..

— Да и впрямь связать его да с будочниками! — присовокупила кухарка, ползая со свечкой и с тряпкой по полу. — Ишь мудрует... муж!..

При помощи ползавшей по полу кухарки дело было разъяснено окончательно, и благодаря его совершенной ясности и полному убеждению, что сто́ит потратить себя на пользу ближнего, Уткин весьма подробно и резонно изложил перед Софьей Васильевной все, что относится к выгодам независимого куска хлеба. Изложено все это было с полным сочувствием; уверения в том, что «так нельзя», были обставлены весьма подробно, и главное — «независимая корка хлеба», как средство, могущее противостать против всевозможных жизненных преград, была выставлена в весьма привлекательном свете. Все это было сказано торопливо, под влиянием только что полученных впечатлений, но охота высказаться более и обстоятельнее быстро охватила все существо Уткина, и в конце речи он предложил Софье Васильевне еще раз перетолковать об этом деле, для чего и назначил особый пункт — городской бульвар, «завтра в три часа».

Софье Васильевне, ни от кого не слыхавшей фразы: «так нельзя», которая бы произносилась с такою уверенностью и сочувствием, все это было необыкновенно ново, а положение ее было таково, что выйти из него было необходимо. И средство к этому, в виде «корки хлеба», тоже оказывалось вполне возможным и осуществимым. Оставалось только знать мнение Нади, но так как и она не имела решительно ничего против возможности выйти на какую-нибудь надежную дорогу, то свидание с Уткиным и состоялось на следующий день на бульваре.

2

В три часа дня, когда бульвар обыкновенно пуст, а Павел Иваныч спит после обеда, в кустах на ступеньках старой губернаторской беседки, можно было видеть Уткина, Надю и Софью Васильевну. Все они испытывали какое-то новое ощущение и главным образом старались узнать, что из этого выйдет? Более всех это ощущение овладело Уткиным, так как он один из всех специально размышлял о том, что «вот новое дело», и он тут... и все ново, и т. д. Эти ощущения сделали его веселым, развязным. Он торопливо пощипывал маленькую бородку и говорил:

— Это дело такого рода-с, что... Сносить постоянные оскорбления... это...

— Я скорее готова корку хлеба! — говорила с самым искренним чувством Софья Васильевна.

— Корку! Разумеется, самостоятельная корка хлеба... — Здесь Уткин стал закуривать папироску и замолк.

— В самом деле, Сонечка так стеснена, — начала Надя, — что если бы какие-нибудь средства...

— Труд-с! — сказал Уткин, бросая спичку. — Стоит только пойти в первый двор, в первый дом и взять заказ белья... Корка хлеба, добытая честным трудом...

Но речь Уткина была прервана; Софья Васильевна, готовая идти в прачки, и в особенности Надя налегли на заказ белья с такой энергией, что в самое короткое время для Уткина предлежащее ему дело стало совершенно ясным. Оказалось, что ему нет никакой надобности разглагольствовать насчет достоинств корки, насчет необходимости свергнуть иго и проч. Нужно было одно: идти в первый двор и попросить заказ белья. Если бы Уткин был простой мужик, умеющий войти в первые ворота, остановить первую бабу и, назвав ее тетенькой или красавицей, прямо объявить ей в чем дело, то он бы так и сделал. Но у него были сотни разнородных взглядов на предмет, и поэтому, как только его дело обнаружилось вполне, вся серьезность и значение его поблекли. Уткин представил себе, как он, барчук, стоит среди двора и просит белья в стирку и как потом он идет с узлом. В голове его мелькнула мысль, что так не бывает, что это даже смешно. Он был совершенно согласен с тем, что это нужно, что это действительно так, и в то же время находил, что это — невозможная и смешная чушь.

Не знаем, что бы ответил он дамам, если бы его не выручил приятель, проходивший по средней аллее. Это был офицер, возвращавшийся из ресторана, где обыкновенно обедает более состоятельная губернская молодежь. Возвращаясь оттуда, он увидел женщин и прямо пошел на них, как будто это так и следовало. Без церемонии перешагнул он через скамейку, обломил на пути какую-то ветку и, похлестывая ею по ноге, очутился среди общества Уткина, Нади и Софьи Васильевны.

— А! Николай Петрович! — сказал он Уткину и посмотрел на всех такими глазами, в которых не видно было, чтобы приятель Уткина считал «делом» происходившее здесь. Смелость и особенную выразительность этого взгляда поддерживали простые костюмы дам.

— Так пожалуйста! — торопливо поднимаясь, заговорила Надя.

— До завтра! — сказал Уткин. — Это дело такого рода...

— До завтра! — сказала Надя, и вслед за тем они ушли.

Уткин и приятель остались одни.

— Эге, батюшка! — многозначительно сказал приятель; но Уткин нахмурился и объяснил, что предположения его неуместны, что тут такое и такое-то дело. Приятель, в качестве современного человека, извинился. «Не узна̀ешь ведь», — сказал он, взяв серьезного Уткина за талию, и пошел с ним по дорожке.

— А та, угловая-то, недурна! — сказал приятель.

— Тут не в том дело! — начал Уткин сурово.

— Я очень хорошо понимаю. Вы, батюшка, уж больно горячо. Ведь я понимаю-с! Читали тоже...

Уткин почувствовал, что обидел приятеля почти понапрасну.

— Они обе недурны! — сказал он мягким, но обидчивым тоном.

— Нет, та, блондинка-то...

— Да они обе блондинки, — тем же недовольным тоном проговорил Уткин.

— Ну ведь не разглядишь...

Они подошли к реке и сели на лавку.

— А знаете, — сказал приятель: — я, батюшка, как-то недолюбливаю блондинок... а?

— Гм! — промычал Уткин, но не возразил, потому что увлекся рассматриванием полуобнаженных баб, колотивших вальками на плотах белье.

— Право, — продолжал приятель и сообщил в довольно продолжительном рассказе все свои сведения о блондинках и брюнетках. Под влиянием этих рассказов взгляды Уткина, незаметно для него самого, приняли весьма веселое направление.

— Да, — сказал он снисходительно: — блондинки вообще...

— Я вам говорю...

— Но эта, кажется, нет. Открытая война с мужем... не шутите!

— Послушайте! — перебил приятель оживленно. — Будет вам умничать... Знаете? Тащите-ка их пить чай... Денщика по шее... а?

Уткин сообразил, что в подобных случаях многозначительно говорят: «милостивый государь!», и попробовал сделать серьезное и презрительное лицо; однако же попытка эта, не поддержанная никаким нравственным пособием, тотчас же уничтожилась, и Уткин сказал:

— Не пойдут!

— Ну вот еще!

И приятель стал убеждать Уткина, у которого вследствие этого очень скоро образовались два совершенно дружелюбные между собою и совершенно различные взгляда на наших приятельниц: не худо бы, думалось ему, «обработать» и «вопрос» и «чай».

— Не пойдут! — повторил он уже с улыбкой и прибавил: — неловко!

Скоро, при помощи приятеля и картины стиравших белье баб, обнаружилось, что в нравственном фонде Уткина одновременно могут уживаться и не такие еще взгляды.

Мимо приятелей прошел солдат с комком белья подмышкой и мокрыми косицами.

— Купался? — спросил офицер, когда солдат сделал ему честь.

— Так точно, васкбродие!

— С бабами?

— Там их страсть... копошится...

Приятель Уткина и сам Уткин полюбопытствовали узнать, где копошатся бабы. Солдат подался к реке и показал — где.

Приятели поглядели по указанию, но ничего не видали.

— Ну что же, — начал офицер: — Лукерья с тобой? Ведь ты — шельма!

— Нету-с, васкбродие... второй месяц как прогнал ее.

— Прогнал? Вот негодяй-то! Ты? за что же?

— Не производи обману... Обещалась подарить часы, а заместо того — нету ничего: этого нельзя!

Солдат остановился.

— Ну? — побуждали его слушатели.

— Ну пришла она, я ей и доказал: «как ты меня обманула», говорю... то и взял ее платье себе...

— Вот скоты! — не без улыбки произнесли слушатели. — Ну?

— Ну, потом стали сечь.

— Как сечь?!

— Чересседельником. Скрутили его вдвое и давай... хе-хе... Сначала Матвеев — я держал. А потом Матвеев стал держать — я принялся, еще сорок ударов дал.

— Ну уж это подло! — сказал Уткин и прибавил: — как же ты ее — по платью, что ли?

Солдат объяснил. Офицер сказал: «Вот мерзавцы». Уткин объявил, что это мерзко, и оба вместе долгое время хохотали. Рассказчик еще долго потешал господ, по их небрежному, но беспрерывному понуканию, и, наконец, ушел. К концу вечера взгляды Уткина на женский пол до того прояснились в известном направлении, что он уже сам сказал приятелю:

— А что в самом деле? — Но, как бы опомнившись, тотчас же прибавил: — нет, не пойдут!

На следующий день, отправляясь на бульвар, чтобы вести переговоры, он нес с собою такое громадное количество самых разнородных взглядов на наших подруг, что ни считать, ни распространяться о них мы не решаемся. Все эти взгляды мирились, жили в нем одновременно, но едва ли могли быть пригодными для осуществления крошечных надежд Софьи Васильевны. Эту непригодность чутьем проведала Надя, несмотря на то, что Уткин таким же сочувственным тоном, как и вчера, отзывался о необходимости для Софьи Васильевны свержения ига и проч. Точно так же, как и вчера, в кустах около беседки можно было слышать разговоры о том, что Софья Васильевна уверена в своей готовности есть корку хлеба, что Уткин вслед за тем несколько раз подтверждает это, говоря: «Ко-орку! Разумеется, корку... Чего же лучше?» Но Надя уже со второго свидания както замолкла, пытливо смотрела на Уткина и ушла домой в раздумье.

3

Таким образом, оказывается, что первые шаги «вперед» как у Михаила Иваныча, так и у Нади не были особенно удачны и только убедили их в силе окружающего их разоренья и разнообразии форм, в которых оно проявляется. Ошеломленный и вконец расстроенный Черемухиным, Михаил Иваныч с каждою минутою расстраивался еще более, теряя всякую возможность разъяснить себе будущие свои планы, по мере того как входил в более короткое знакомство с обывателями черемуховских нумеров. Нумера эти содержал какой-то седой старик, отставной солдат. Каким образом он нажил деньги, чтобы завести в Петербурге большое хозяйство, было неизвестно: ни он, ни жена его, молчаливая сгорбленная старушонка, никогда об этом не упоминали; оба они молча и угрюмо толклись в кухне, стряпали, таскали дрова, ходили на рынок и бегали в кабак по приказанию господ жильцов. Посторонний человек, как Михаил Иваныч, мог глубоко жалеть их, потому что большинство жильцов не платило старику денег и кроме того на его счет покупало водку и пиво и занимало на извозчиков. Но, в сущности, солдат этот нисколько не страдал от того, что ему не платят и берут у него деньги, ибо среди молчаливого таскания дров и сосания махорки он тоже по-своему понимал дух времени и разоренья и извлекал из них более существенную пользу, нежели Михаил Иваныч. Сущность этого понимания солдат любил высказывать один, глаз на глаз с самим с собою. Это случалось по вечерам, когда все жильцы улягутся, угомонятся; тогда солдат надевал рваный халат и выбирался из кухни в переднюю отдыхать; отдыхал он стоя, курил в это время трубку, смотрел на ночник и рассуждал.

— Денег не платят! — произносил он. — Хорошо! Ну ежели пущу я в комнату трудящего человека с верными деньгами?.. — Тут он задумывался и, пососав трубку, заключал: — мне это хуже! Во сто раз мне превосходнее допущать благородного человека без своего капиталу, нетрудящего... Это верно! Трудящий своим трудом живет, он копейку бережет, он хозяину подвержен, его могут прогнать, а нетрудящий — он трудом не живет, он живет займом, помочью... занятых денег ему

не жаль... так-то! Много их нониче бог послал!.. Одному родня помогает, а другому — вон баба деревенская... видишь вот!

Он запахивал халат, поплевывал и продолжал:

— Теперича пиво я им забираю, всякий продукт на свои... ожидаю... ну, получу с лишком! нельзя — за подожданье. Сейчас в одно место записку снесу, в другое и в третье — за проход мне опять же деньги... Откажут по записке — ожидаю, и опять же он мне заплати за это надбавку... Рано ли, поздно ли, а уж достанет денег, займет у кого-нибудь... Я и беру все сполна... Получаю свое удовольствие... Потому жить им надо!.. Будут жить! займут!..

Выработав такой взгляд относительно «нетрудящих людей», солдат крепко и стойко держался его, охотно принимая их в свои апартаменты. Узнать человека, имеющего намерение жить займами, не составляло для него никакого труда. Входит барин, барыня и двое детей и требуют комнату «получше»: это значит, что барин и барыня настолько не обеспечены постоянным заработком, что не имеют возможности одолеть свою квартирку, хоть и похуже... Является хорошо одетый барин и требует комнатку рублей в пять: — это значит, что в настоящую минуту он не имеет в кармане и рубля... «Всем жить нужно, все достанут! займут!» — думает солдат и принимает их в недра своего жилья, записывая на стене мелом: за проход, за подожданье и проч. Все это изображено у него просто, в виде палок, которые, тем не менее, имеют для него каждая свой смысл и значение.

И вот уже два года нумера солдата населяются исключительно «нетрудящим» народом, народом злым, оскорбленным, вспоминающим прошлое и строящим блестящие планы насчет будущего. Так как костюм этого народа находится под залогом у того же самого солдата, то он обыкновенно сидит постоянно дома, в каморках без форточек, в душных облаках кофейного, кухонного и табачного дыма, лежит, ходит взад и вперед по своему логовищу, ведет долгие переговоры с хозяином-солдатом насчет бутылки пива, убеждает, грозит, пьет, вздыхает, напивается, поет, бушует и проклинает.

Михаил Иваныч, истощивший свой кошелек до последней возможности и не находя адреса Максима Пет-

ровича, обещанного Черемухиным, томился в неприветливых солдатских нумерах наравне со всеми их обывателями. Как и все, он курил, лежал, злился, шатался по коридору, заходил в кухню, смотрел на проходящего по двору мужика и думал: «куда он идет?» и, повинуясь внезапному взрыву злости, снова в ажитации шатался по коридору и по своей норе.

Среди этой тоски и томительных скитаний Михаил Иваныч незаметно перезнакомился со всеми обывателями солдатских нумеров, все они на первых порах возбуждали в нем некоторую долю сострадания и совершенно сходились с ним в положении. Все они одинаково были согласны, что человек живет неправдою, что истинные достоинства ставятся ни в грош и что хорошо жить на свете могут лишь люди гнусные. Так говорили все вообще жильцы: и толстый человек в угольной каморке, говоривший по-французски, и маленький человек неизвестной профессии, жаловавшийся на жену, и другой человечек, покинутый женою, и женщина, жаловавшаяся на тирана мужа, от которого она ушла, словом — все. Все это вередило раны сердца Михаила Иваныча, доводило его тоску до последней степени и заставляло на последние гроши угощать этих несчастных людей пивом. Но после двух или трех приятельских бесед за бутылкой все эти лица принимали в глазах Михаила Иваныча совершенно другой вид. Толстый человек, под хмельком вспомнивший старину, вдруг выходил каким-то ненасытным хватателем взяток, в качестве начальника над какою-то «дистанцией» бечевника. Маленький человечек, роптавший на жену, оказывался просто деспотом и зверем, ненавидящим свою жену за ее «простое звание», которое его компрометирует перед благородными знакомыми, благодаря которым он давно бы мог получить невесту с капиталом, хотя сам не отказался бы от девчонки и простого звания, если бы она не претендовала на брак. Женщина, покинувшая мужа, оказалась разорительницею его самого. Поочередно с каждым из этих лиц Михаил Иваныч сходился, сочувствовал и потом, плюнув и озлившись, уходил прочь, неся в сердце новую рану. У всех из этих людей Михаил Иваныч, кроме того, заметил любимую фразу о том, что «мы свое дело сделали», «расписались, брат, в получении» и проч., которою они весьма искусно отмахивались

от Михаила Иваныча в то время, когда он, в первые минуты сочувствия к ним, предъявлял им свои требования и приглашения. Эта фраза особенно сильно терзала его, когда он, плюнув на них и снова оставшись один, сидел в каморке и думал о своем положении. В покинутой им глуши остались, по его мнению, просто изверги; здесь же, в столице, ему хотя и сочувствуют, но одни, как Черемухин, могут только испортить дело, а другие «уже сделали свое дело», разорили, изуродовали, обобрали. Что ж это такое? Где же Максим Петрович, который никого не грабил и вырос в «неблагоприятных обстоятельствах» русской жизни?

Но Максима Петровича не отыскивалось.

Михаил Иваныч томился, смотрел в окно и кашлял...

4

Положение Нади было ничем не лучше положения Михаила Иваныча. Мертвый дом с умирающею роднею, со всеми этими злодеями, рекомендованными Михаилом Иванычем и выглядывавшими из-за каждого забора, стоял в полной неизменности. Попрежнему ругалась измученная звонками кухарка Авдотья, попрежнему старая бабка раз в месяц разевала рот, чтобы крикнуть: «в карр... ман-то-о»... Попрежнему соборовали маслом генерала и генеральшу и тщетно ожидали их преставления на тот свет. Убитый Ваня лежал, повернувшись к стене, молча уткнув исхудалое, обросшее длинными белыми волосами лицо в подушку. Глаза его были всегда закрыты, и только легкий стон говорил, что это лежит избитый человек. За мертвым и неприветливым родительским кровом оставались попрежнему одни бестолковые мучители вроде Печкина, добродетельные и симпатичные «голубки» вроде Шапкиных и пустота, желающая во всем принимать участие, вроде Уткина.

Разумеется, как Михаилу Иванычу, так и Наде могли встретиться иные люди; но темный угол, где выросли и родились наши герои и где они хотели найти помощь, не мог им представить ничего другого, кроме широчайшего и громаднейшего разоренья, и не было отсюда видно ни одного луча света...

Такое томительное положение продолжалось довольно долго, не представляя никакого выхода, и, наконец, разрешилось совершенно неожиданно.

Для Нади и Софьи Васильевны это произошло на том же бульваре, в присутствии Уткина. Отправляясь на третье свидание с Уткиным, исключительно вследствие просьбы Софьи Васильевны, Надя уже не надеялась услышать от него ничего нового, а главное — никакой правды. Она даже холодно обошлась с ним, молча села на ступеньки беседки, не принимая никакого участия в их разговоре, и ждала Софью Васильевну. Невольно слушая сочувственные слова Уткина, не подвигавшегося ни на шаг к делу, и совершенно искренние излияния Софьи Васильевны насчет готовности есть «корку хлеба», она не могла не заметить, что тут сошлись люди, совершенно не нужные друг другу. И тут с самою поразительною отчетливостью припомнилась ей сцена с бабой у мирового судьи: и там точно так же понимали, чего именно хочет баба, и хотели ей сделать, но не могли; припомнились ей также и все разговоры, происходившие на крыльце суда, и в особенности рассуждения о зубах. «Зубы, зубы надо... небось бы!» — припомнила она...

Все, что было непонятно, выстрадано, передумано, все на мгновение как-то вдруг столпилось в ее голове, она как-то сразу оживилась и вслух сказала себе самой:

— Знать! знать надо... все, все! — повторила она, быстро поднимаясь с ступеньки крыльца беседки.

— Пойдешь или еще будешь? — сказала она Софье Васильевне, не глядя на Уткина.

Торопливость, с которою Надя надевала перчатки, обнаруживая намерение уйти не дожидаясь, оторвала Софью Васильевну от разговора с Уткиным.

— Так до завтра! — сказал Уткин, делая Софье Васильевне весьма ласковые глаза, и подруги ушли бы тотчас же, если бы в это время не произошло нечто особенное.

Отодвигая сердитою рукою куст, на площадку перед беседкой выступил знакомый нам лавочник Трифонов.

— Вот они, соколики! — заговорил он таким голосом, каким говорят люди, поймавшие вора. — Ишь жеребца какого припасли! Где тут еще-то? Их тут, поди, во всех кустах понасажено. Эй ты, тетерев!

На этот зов откуда-то явился Павел Иваныч.

— Правду говорил? — сказал Трифонов. — То-то я слышу: «корку, корку». А вот они тут какую корку... Чего глядишь? Ошарашь жеребца-то по рылу! Пакля! Кабы не разбудил, издох бы — не узнал!..

Павел Иваныч и Софья Васильевна были в каком-то ужасе. Печкин не мог произнести слова и стоял бледный, как полотно. Уткин прочищал палкой и ногой дорогу в куст.

— Ну что же? — командовал Трифонов. — Пехтерь! Производи свой порядок, получай жену-то! Докажи ей, шельме, права!

Софья Васильевна вдруг как-то рванулась вперед, побледнела, хотела что-то сказать и вдруг заплакала, зарыдала...

— Домой! — закричал внезапно, что есть мочи, Печкин.

— Эх, ляпнул дело! — передразнил его Трифонов. — Трехони ее, бери под руку-то, подхвати!

Печкин рванулся к жене, но Софья Васильевна, словно опомнившись, схватила руку Нади и побежала вперед по извилистой дорожке.

— Не пойду! никогда! — крикнула она всей грудью, скрывшись за куст.

И тут настало общее смятение. Трифонов, Печкин и множество зрителей бросились вслед за подругами по узеньким и извилистым дорожкам, цепляясь за кусты, ломая сучья, и надо всем садом раздавались крики:

— А-га-а! «Ко-орку»!.. То-то я гляжу! Ай-да барыня!.. От мужа!.. Полюбился! Нет, по морде!..

— Домой! — вопил каким-то неестественным басом Печкин.

— Дурак! — слышался голос Трифонова. — Беги налево! Сволочь... Держи!.. Эй, молодец, захвати даму! бей в мою голову! Ничего, за косу... То-то «корку, корку»!.. Хе-е-е-е-е, бра-ат!..

— Домой!..

Долгое время множество народу вылетало на средину дорожки из боковых аллей, кричало, ругалось и снова исчезало в кустах и снова кричало... Софья Васильевна и Надя, бегом пробежавшие две-три улицы, пошли тише. Софья Васильевна едва двигалась, задыхаясь от испуга и быстрой ходьбы, и не могла произнести ни слова... Надя тоже молчала, но в уме ее еще как-то ярче вылегали слова: «Уйти, непременно уйти и — учиться, учиться, учиться!»

Так они пришли домой и больше уж не ходили к Уткину.

XII. КОНЕЦ

Возвращаясь домой, Надя несла в душе какое-то серьезно-радостное ощущение. Виделось впереди не веселое, но умное и дельное.

— Ваня поправляется! — сказала ей мать. — Не знаю, что с ним, поднялся и сидит на кровати.

— И говорит?

— Говорит... Еле-еле!..

Какая радость в этой области смерти!.. У Нади радостно билось сердце при этой вести, хотя она сама не знала, почему.

— Господи! — сказала она, глубоко вздохнув и снимая шляпку, но, не кончив этого дела, вдруг почему-то принялась целовать у матери руки.

А мать стала плакать...

И никто из них не мог бы определить, почему все это делается?

Жизнь, жизнь пробуждается где-то около них.. и сулит им что-то... тоже жизнь!..

Надя сбегала к Птицыным тотчас же; но ей сказали, что Ваня спит. Ей рассказали, что он устал сегодня: он требовал к себе свои инструменты, рассматривал ноты, бумажки, просил всё расставить по местам. Всё это исполнили. В полуотворенную дверь Надя видела спящего Ваню, около кровати которого на стульях стояла его

скрипка без струн, валялись развернутые тетради нот... Как это было радостно! Поглядев, она ушла домой, долго не спала и встала рано.

День был чудный. Она тотчас пошла к Ване.

Он сидел на постели, худой, с ввалившимися глазами, с головой, при взгляде на которую воображению представлялся череп, с руками и ногами, напоминавшими не труп, а скелет...

— Цела? — едва говорил он матери.

— Цела, цела! — отвечала та, отирая тряпкой пыльную скрипку...

В груди Вани вместо ответа слышались рыдания без слез. Он несколько раз всхлипывал от избытка глубокой радости и каждую минуту готов был упасть в обморок...

Надя поддерживала его.

— Голубчик мой! — говорила она ему (хоть он и не узнал, кто она такая). — Все цело! .. Я все соберу!

— Все, все цело! — говорила мать Вани. — Погоди, я вот отца приведу... Хочешь?

Ваня долго рыдал, склонив голову на грудь и не отвечая на вопрос.

— Зе.. .млю! .. — наконец выговорил он и слабо, как мог, потянулся из рук Нади... — Зем-млю! ..

— Что ему? .. — спрашивала Надя... — Землю? Какую землю? ..

— Что тебе? .. — спрашивала мать.

— Ему землю хочется поглядеть! — сказала кухарка и вполне поняла мысль больного.

— Надо его поднять! — сказала Авдотья, — и к окошку поднести. Пусть поглядит на травку.

Все трое подняли его, худого, с пролежнями до кровавого мяса на всем теле, с неразгибавшимися коленями, и без особенного труда поднесли его к окну. Он рыдал без слез и стонал.

— Ну, вот, смотри, вот земля! — сказала ему мать.

Все цвело и благоухало в глухой улице...

Ваня зарыдал.

— Зеленое! .. — пролепетал он.

И слезы, крупные, как градины, затопили его лицо, усы, рубашку...

Все плакали...

Мокрая от слез, иссохшая рука Вани тянулась к подоконнику, как бы стараясь взять эту зелень в руки... Попросили прохожего нищего сорвать травку. Тот сорвал и подал Ване.

Ваня сжал траву в руках, — и буквально целое море слез затопило его лицо.

Все рыдали тихонько. Вошел старик отец и, едва взглянув на сына, тоже заплакал...

Глаза Вани были закрыты, руки сжимали траву... Лились слезы, рыдания, и стояла тишина.

Ваня умирал.

Через минуту узнали и увидали, что он умер..

Мертвого, с мокрым от слез лицом, его положили на постель.. Трава с корнями, осыпанными землей, была в его руке...

Какие это были чудные минуты для всех, кто только ни был тут, кто мучил и мучился, кто желал страдать и страдал сам!.. Это были слезы людей, убежденных, что они ужасные грешники, и узнавших хоть на одну минуту, что они ни в чем не виноваты.. Жизнь вспомнилась вся, своя и чужая, вспоминалась целиком и вызывала только горячие рыдания.

Все это старое, погибающее, проживши не один десяток лет, не имело и не могло иметь другой, более пленительной, более чистой минуты!

Но минута эта кончилась очень скоро. Похороны Вани вытащили на сцену рассуждения о расходах, о скупости генерала, снова раздались упреки в том, что он спрятал деньги, что уморить человека он умел, а когда пришлось хоронить этого человека — стал упираться. Несмотря на всевозможные усилия генеральши похоронить Ваню как генеральского сына, несмотря на всевозможные крики и проклятия, которыми был осыпаем генерал Птицын, похороны были самые беднейшие и жалчайшие. — Все нищее, что привыкло не стесняясь плакать, идя за таким неказистым, простым деревянным гробом, как тот, в котором лежали кости Вани, все тронулось за ним большою рваною бедною толпою и плакало, не надеясь даже получить за это кусок какого бы то ни было пирога.

Какая мертвая тишина стала в нашем углу после смерти и похорон Вани!

Чтоб уйти от угнетающего смысла этой тишины, Надя забрала с собою к матери все книжки, все тетради Вани. Целые дни роется она в них, откладывая из массы хлама, в котором не последнюю роль играют «Таинственные монахи», «Кузьмы Рощины», проповеди «о грибной пище», арифметику, географию... Она усердно учится и читает, но в то же время какая-то неотразимая сила все сильней и сильней побуждает ее убежать отсюда. Она очень хорошо знает, что надо учиться, трудиться, знать, а вместо того хочется бежать. Смерть разоренного угла до того ясна, до того на каждом шагу доказательна, что Наде хочется нового места, чтоб иметь возможность свободно думать о новом, не похожем на отжившее, будущем...

ТИШЕ ВОДЫ, НИЖЕ ТРАВЫ [1]

(Дневник)

1

*Уездный город*** Август 186**

«Случилось то, что рано или поздно, но непременно должно было случиться: третьего дня я прибыл в уездный город *** и очутился *«на руках»* (вот что особенно горько!), на руках старушки-матери. Мало она меня носила на этих несчастливых руках!

Тихо шел я по пустынным улицам уездного города, слушал давно забытый звон к вечерне и думал, что теперь волны русской жизни плотно и надолго прибили меня к берегу. Потому надолго, что я устал, что мои ноги гудут и ноют, что мне хочется лечь спать. Потому надолго, что больные кости приобретены мною в продолжительном и бесполезном томлении о своем и окружавшем меня ничтожестве вообще и в беспрерывном содрогании пред могуществом плети и обуха.

Я двадцать раз думал, что это «не так», теперь, кажется, уже не думаю. Теперь мне спать хочется и сил нет. Зерно апатии спеет в душе.

Помню, во время дороги сюда случилось нам остановиться близ новой строящейся железной дороги. У одного из деревянных бараков я заметил целую толпу мужиков, которые валялись ничком, разбросав руки и ноги как попало. С первого взгляда их можно было принять за мертвецки пьяных; но оказалось, что они скорее напоми-

---

[1] В этот дневник вошли материалы, которые должны были составить *вторую часть* «Разоренья». Подробно об этом сказано в примечании на стр. 7—8. *Авт.*

нают рыбу, выброшенную на берег, обессилевшую и изнывающую на солнце.

— Что с вами, ребята? — спросил я их.

— Ослабши! .. — еле проговорил один из них, старик, с великим трудом поднимаясь на локте и стараясь согнуть колено.. — Дюже асс-лабши! Кровь пущали...

Старик повалился на спину, не удержась на локте, и я долго ждал, покуда он снова придет в себя.

— Должно быть, много очень крови вам выпустили? ..

— Да, надо быть, что перепустил. передал...

— Как же это так? Доктор-то есть у вас?

— Ох, да есть он... О-о-о.. Да свой у нас доктор-то, неученый... простой... У яво положенная препорция насчет эфтого... кровопролития... примерно... Есть стакан у него в гривенник... и есть у него в двугривенный стакан... О-о-охх... Ну-ну... хочешь ежели ты фунт крови твоей отлить — ну, гривенишный стакан нальет... А ежели ты два фунта пожелал... О-ох... Оссслабши... Перпустил...

Что же? — прежде, бывало, я бы уж непременно вмешался в это дело, а если бы и не вмешался прямо, то уж во всяком случае настрочил бы хоть корреспонденцию, теперь же я только сказал мужикам: «Эх-ма, как же это вы так? ..», спросил: «легче ли?» и, получив ответ: «надо быть, легче», надел шапку и уехал...

2

«Но самое действительное средство, приковывающее меня к обезличению, это матушка и сестра. Я почти позабыл об их существовании; знаю, что несколько раз в течение десяти лет разлуки с ними я посылал им по нескольку рублей, но вообще что-то очень немного. Денег у меня было мало; а когда и случались, то большей частью тотчас же уходили на какое-нибудь такое дело (множество было их тогда), которое казалось мне и выше и нужнее потребностей матушки. Часто приходилось мне забывать ее нужды. Положим, что и свои я тоже не имел времени помнить, но теперь я мучусь этим. Какие результаты этих забвений? .. Результаты те, что я каждым

шагом, каждым неосторожным движением моим могу разрушить все благосостояние матушки и сестры, доставшееся им собственными невыносимыми трудами, путем каких-то протекций и просьб, — благосостояние, которое хуже каторги, которое они, однако, считают счастьем и взамен которого я им ничего даже обещать не могу.

Когда я явился к ним, радости не было границ; целуя меня и раздувая самовар, смеясь и плача, они рассказали мне, что живут отлично, что квартира у них казенная, что сестра — начальница женского училища и получает десять рублей, а мать — помощница и получает семь, что все «слава богу!»

— И как, я тебе скажу, Вася, купечество нас полюбило, — говорила мать: — так это просто необыкновенно! .. Пирог ли, именины ли, всё — нас, всё — нас! .. И Надю как любят — не нахвалятся! ..

— Да, да! — подтвердила сестра: — мне даже уж скучно от этих приглашений... Я не знаю, за что они меня полюбили.

— Как за что? Господи боже мой! Вон и Семен Андреич говорит: «как, говорит, не полюбить». Господи боже мой! . Ты погляди-ко на нашу школу, какой порядок, так это на редкость... Да опять — всем им угодить нужно... Легко это?

В ответ на все это я, разумеется, мог только поддакивать, потому что знал, какая начинается чушь за пределами этого «угодить». Все были по этому случаю веселы; имя какого-то Семена Андреича звучало очень часто в рассказах сестры и матери. На флегматическом и бледненьком лице моей сестры часто мелькала какая-то недоумевающая тень, которая, впрочем, почти мгновенно исчезала, когда мать говорила: «Семен Андреич не соврет уж, стало быть...» Сестра тотчас же припоминала подлинные слова Семена Андреича и делалась веселее. «Правда, Вася?» — обращалась она ко мне. Я подтверждал. Я все теперь подтверждал!

Из разговоров их я понял, что Семен Андреич — практическая уездная штука; что все его любят; что у него есть про запас деньжонки, несмотря на то, что он уездный учитель; что одевается он хорошо, никогда не пьян и избран старшиной в клубе. Купить что нужно — купит дешево; все знает и что понадобится — сделает. «Пять

рублей мы у него раз занимали — с удовольствием дал. Как получили, отдали...»

Словом, мать находила, что он отличный человек; сестра говорила: «да, он здесь первый...» А когда этот хороший человек пришел вечерком к нам, то матушка тотчас засуетилась и отозвала меня в другую комнату.

— Ты извини, голубчик! — сказала она шопотом: — ты при нем не скажи чего-нибудь про учителей.

— Нет, нет...

— Извини, милый мой! А то, пожалуй, кто его знает? — разозлится еще!

— Нет, нет, будьте покойны.

— Прости!..

Семен Андреич — фигура уютная, плотная, впрочем весьма умеренная, покойная; не стар и не молод: выпить может пять бутылок — и пьян не будет; выступает не спеша; одет прилично, а главное — дешево. Впоследствии я узнал, что он очень любит это слово; в этот же вечер он взял себя за рукав и, глядя на сукно, рассказал целую историю, потом сосчитал все копейки, подвел итог всему, что и во что обошлось, и засмеялся. И действительно, вышло ужасно дешево.

— А я, — сказал он, не спеша и усаживаясь на стул, — шел, признаться... (Тут он стал доставать платок и не нашел.) Куда же это я его сунул? в шапке? (Происходит отыскивание шапки, но платка нет.) Нет, в шапке нет... Не в пальто ли?

— Вы поглядите в пальто, — говорит мать и со свечкой уходит вместе с учителем в кухню.

Происходят поиски; платок отыскивают.

Семен Андреич садится на прежний стул, расправляет платок и говорит:

— А я, признаться, шел... (тут он обходится посредством платка, наконец запихивает его в задний карман и оканчивает) дай, думаю, зайду...

— Вот и чудесно! Прямо к чаю! — сказала матушка.

Семен Андреич засмеялся, поправил борты сюртука и покосился, впрочем без злобы, на меня.

Я подался в угол. Разговоры его продолжались с тою же неторопливою манерою; но, несмотря на мое молчаливое присутствие в углу, он как будто стеснялся меня, как незнакомого человека, у которого неизвестно, что на уме.

— Вася! — отозвала меня матушка: — ты поговори с ним поаккуратней! Извини, голубчик! Как бы не подумал: приехал, мол, из Петербурга критиковать.

— Да я с удовольствием...

— Пожалуйста! Так что-нибудь... Поласковей! Он у попечительницы бывает... как бы что-нибудь...

— Не беспокойтесь, не тревожьтесь! — сказал я.

Я собрался с духом и стал что-то говорить, даже смеяться. Должно быть, я угодил этому борову, потому что он ободрился и из круга уездных интересов мало-помалу стал довольно самоуверенно вламываться в области, ему, повидимому, весьма слабо известные.

— Скажите, пожалуйста, — говорил он, с лукавой улыбкой поглядывая на мать и сестру: — что, ежели, например, написать статейку?

— Что же? — мог я только сказать: — отлично!

— Гм... Право? Как вы думаете?

— Превосходно! — сказал я. — Что же?

— Ничего? Гм! А тут, я вам скажу, много можно, ежели захотеть... Так, хоть постращать... Тут — и-и-и можно сколько! Я давно собирался, да все думаю... чорт с вами! А, ей-богу, как-нибудь надо... Например, ежели описать, как у меня шапку в клубе украли... А? как вы думаете?.. Ведь это что же? ежели хоть так, для примера я возьму, — ведь все-таки же два с полтиной, как бы то ни было... А подите-ка у нас, разыщите!

Я решительно не знал, что говорить; однако говорил.

— Ведь пишет же этот, как его... Белинский, что ли, в «Сыне отечества»!..

— Едва ли Белинский... — начал я совершенно невольно.

— Вася! — быстро окликнула меня мать и увлекла в другую комнату. — Не спорь! Не спорь с ним!

Я замолк.

Хороший человек ободрился, выпил бутылку водки, но пьян не был. По его приглашению и из боязни, чтобы не разозлился, и я пил, сколько мог. В конце концов речь перешла на взаимную любовь; матушку мою хороший человек любил, как родную, а относительно сестры сказал с особенной выразительностью:

— Мы вот как дружны — дай бог всякому! Потому что мы оба профессора с ними, хе-хе-хе! Тоже пользу приносим, хе-хе-хе!

— Что вы смеетесь? — сказала сестра: — разумеется, пользу! Правда, Вася?

— Разумеется!

Сестра сказала это с полным убеждением, так что Семен Андреич устроил у себя серьезное лицо и произнес, как-то потупясь и расставляя руки:

— Да, само собой... Господи боже мой! Да кабы не пользу, так кто же бы стал бы! Господи боже мой, само собой!

Порядок был восстановлен, и снова пошли излияния. Теперь уже матушка заявляла, что любит его, как родного, и сестра тоже что-то было хотела сказать, но покраснела. В заключение и меня попросили любить его, как родного.

Я на все был согласен, и счастливый вечер продолжился в том же порядке довольно долго.

— Васенька! — сказала мне матушка по уходе гостя: — будешь ложиться, так поставь сапоги под кровать, а не в кухню... а то, пожалуй, кто-нибудь... подумает...

Я готов был проглотить мои сапоги, лишь бы никто ничего худого не подумал про сестру до тех пор, пока доподлинно не узнают, что сапоги принадлежат «родному брату»...

3

«...И при всех таких путах как, однако же, трудно удержать в душе эту совершенно обстоятельно доказанную потребность молчания. В Петербурге возможно достигнуть этого с гораздо большим успехом; среди ярких контрастов, составляющих столичную жизнь, может и разгореться до пламени и совершенно угаснуть несчастная болезнь — любовь к ближнему. Но здесь, среди народа, она только разгорается... Даже степи, еще только начинающиеся у истоков Дона, по временам сильно допекали меня. И кажется, чему бы тут донимать? Горизонт, не представляющий взору ничего, кроме длинной туманной нити земли и неба; упорный ветер, неутомимо несущийся навстречу одинокому нищему пешеходу, тер-

зающий одинокую ветлу, бьющий о задок кибитки ровно, мерно, скучно... Что тут? А ведь с ума сойдешь! Ни лесочка, ни жилья на протяжении двадцати верст... Вот обогнала нас, словно обезумев от кнута, маленькая тощая лошаденка, запряженная в громадную телегу; в телеге помещается пять мужиков, и шестой — солдат — свесил ноги с задка... Все это пьяно, весело, все это орет, шатается, горланит, хлещет клячу и, повидимому, совершенно забывает о том, что сию минуту какой-то проходимец, благодаря щедрому угощению которого они и пьяны, отхватил у них нужные ихним семьям луга лет на пять вперед, положив таким образом начало будущему разоренью. Хорошо, что с этой пьяной телеги соскочило колесо и вся компания рассыпалась в разные стороны — по крайней мере ее можно обогнать и не видеть этих горьких людей, ворочающихся в грязи, со спутанными на лице волосами, не видеть этой почти истерически дрожащей лошадки.

И опять рогожа бьет в задок, и ветер гудит навстречу.

Подходит вечер; темно; мысль утомлена. Но вот, наконец, замелькали огоньки; среди пустыни вырастает громадное степное село; на темном небе чернеет несколько колоколен; у въезда, в кузне шумят мехи, летят искры. Пошла широкая улица, обставленная каменными домами; соломенные крыши неприметны в темноте; попадаются постоялые дворы и дома двухэтажные с резными крыльцами, поднимающимися с улицы прямо в середину второго этажа. Вот трактир с фонарями и сияющими окнами, в которых виднеются люди. Слава богу, жилое место!

Но что же значит, что, завидев нашу кибитку с высоких резных крылец и отворотных лавочек, начинают бежать за нами толпы людей, и вся улица оглашается криками: «Раабооота!.. Эй, сдай проезжего!.. Эй! отдай!..» Что значит, что ямщик наш начинает гнать лошадей во всю мочь, махая над кибиткой и над тройкой концами вожжей и крича: «У нас свои есть, кому сдать! Своему сдадим!..»

Он не замечает, что мы избиты толчками, задушены поклажей и сеном, выбивающимся со дна телеги; он вырывает «работу» из жадных до нее рук своих собратий и тащит нас в какие-то низенькие ворота, которые

захлопываются тотчас же, как только мы вкатываем под темный навес крестьянского двора.

— Какому разбойнику сдаешь? — слышно с улицы: — Барин! барин! он вас убьет...

Но этот ропот толпы заглушается горделивыми возгласами ямщика, который, похаживая по двору с кнутом в руке и в расстегнутом полушубке, вопиет:

— Эй, получи работу!.. Тетери сонные! Где вы тут?

В голосе его слышно торжество. И это торжество начинается. Из всех углов, где в темноте пищат больные дети, вылезает множество разных нужд... Никто не спрашивает: кто мы, куда, зачем? — все внимание сосредоточено на трех рублях, врученных моими спутниками в задаток. Является множество людей, предъявляющих самые основательные права на долю в них. Старушка подползла к телеге и требует полтину. Человек в белой рубахе и жена его и еще два человека в белых рубахах с женами требуют тоже по полтине. Вылезает древний старик. Кряхтя и ощупью хватаясь за столбы навеса, пробирается он к телеге, долгое время молча трясет дряхлой головой, причем слышна хрипота в груди, и шепчет: «Родителю... старичку... колько-нибудь... хучь колько вашей милости...»

В толпе раздается: «Братцы!.. Боже мой!..» — «Ловки вы! завтра, небось, базар!..» — «Ах, боже мой!..» — «Я лошадь даю! Поди к суседу — даст ли?» — «И пойду». — «И пойди!..»

Пока пьют магарыч, пока запрягают лошадей, длинные сухие остовы которых выступают на середину двора медленно, уныло, с клочком недожеванной соломы во рту, — пока все это происходит, мы успеваем узнать, что во дворе у хозяина не чисто, что в два года у него пало три тройки, что ребенок болен, «пучит», что нужна растирка, а растирки настоящей нету. Развивается нестерпимая жажда уйти отсюда.

На дворе уже черная степная ночь. Моросит дождик. Тьма ночи, сливаясь с черною, как смоль, степною грязью, образует что-то до того непроницаемое, что глазам становится больно. Лошади идут шаг за шагом. Помню, пришлось нам ночевать в кабаке среди поля. В кабаке, прилепившемся около мельницы, было грязно, неуютно; ни лампадки, ни ветки за образом, ни картинки на стене, сло-

вом — ничего, на чем бы мог остановиться глаз; голые стены, запах сивухи, стол, лавка и громадные дыры в полу — «от плясу», как объяснил целовальник. До глубокой ночи я не мог сомкнуть глаз: дождь стучал, и ветер ломил в гнилую раму; воображение, разыгравшееся на тему об этих пляшущих людях, до того измучило меня, что я не знал, как дождаться белого света, дня.

Утро было прелестное. Против кабака на мельнице уже стучали поставы, и из амбаров неслась белая пыль, и шумели, как шелк, крылья множества прилетавших к амбарам и улетавших голубей. Солнце ярко и тепло пригревало сырую землю; вода шумно неслась с плотины и шумела внизу. Держась в стороне от водопада, дрожала лодка; два мужика в мокрых штанах и рубахах доставали из воды верши и вытряхивали на дно лодки мелкую сверкавшую рыбу. Все это более или менее выбивало из моей головы ночную му́ку.

Я пошел было на мельницу, но в воротах амбара наткнулся на мужика, который рылся где-то у себя в сапоге и нищенским голосом говорил надсмотрщику:

— Э-эх, бра-ат! .. А я думал — копеечку мне пожертвуешь на калачик?

— Нечего, нечего! — говорил надсмотрщик, смотря мужику на сапог и позвякивая деньгами в горсти.

— Андреян! Э-э-эх, брат! ..

Я сейчас же ушел отсюда и наткнулся на сцену, которая спасла мне утренний отдых. На крыльце флигеля, выстроенного против мельницы, сидел, повидимому, главный приказчик. Засунув одну руку в карман бешмета, он другой рукой щекотал брюхо паршивому маленькому щенку, который валялся у его ног.

— Э, злая бестия! — бормотал он. — Э! Уж и продувная только шельма уродилась... И как тебя, шельму, окликнуть? а? Ишь, ишь, зубастая тварь... О-о-о! Нечего, нечего! — подняв на минуту свое веселое лицо, крикнул он по тому направлению, где надсмотрщик стоял «над мужиком», выматывая из него деньги, и снова сосредоточился над щенком, который уже отбежал от него и, сидя на земле, беззаботно трепал свое ухо лапой...

— Скажите на милость, — отнесся приказчик ко мне, как к старому знакомому: — что за чудо! Все думаю, как мне его назвать, ну не нахожу слов — и шабаш! ..

— Как-нибудь, — сказал я. — Подумайте.

— Уж думали-с; уж очень хорошо обдумывали... Теперича, ежели бы он шерстью к серому — ну «Волчок»... Или бы толст был — ну «Шарик»... А то, шут его разберет, не то он дохлый, не то он... пес его знает!.. Развел блох — да и горя мало. И разбирай его фамилию... Нечего, нечего! — снова взволновавшись донесшимися с мельницы «э-эх, ма!», прогремел приказчик и потом тихим заботливым голосом принялся исчислять все придуманные им клички. Одна из них была до того уморительна, что, сказав ее шопотом, приказчик покатился со смеху. По крайней мере лет двадцать мне не приходилось ни слышать, ни самому смеяться таким смехом. Я стоял над ним, как под освежительной душей, и думал: «Как бы хорошо было мне теперь это миросозерцание!..»

4

«...Как бы годилось мне это миросозерцание, в виду тех бесконечных «эх-ма», которые постоянно вылезают на свет божий из недр обыденной жизни.

На другой день моего приезда сестра повела меня в класс. Признаться, я высказал было намерение не пойти, ибо пора мне знать науку, которою «все довольны»; но просьба сестры была так убедительна, она так страстно хотела моего одобрения, что я должен был идти. Семен Андреич был с нами.

В классах была образцовая чистота и порядок; доска была только что вытерта мокрой губкой и блестела; на стенах висели картинки из священной истории: «Потоп», «Каин убивает Авеля» и проч. На передней скамейке сидели купеческие дочери в люстриновых платьях, подальше помещались одетые похуже.

— Так лучше, — объяснила мне сестра. — Нехорошо, если кто-нибудь войдет и прямо увидит оборванных... а знают они почти одинаково... Вот посмотри, какие у всех тетрадки... Кузьмина! подите сюда.

С задней лавки вышла деревенская девочка босиком; тетрадка ее оказалась прекрасная; с большим старанием были изображены в ней описания осени, зимы, масленицы.

— Как же это ты, — сказала сестра, — пачкаешь тетрадь? Это не годится... Придет попечительница, посмотрит...

Девочка потупилась и вертела в худеньких пальцах кончик платка, которым была повязана ее голова. Семен Андреич ласково дотронулся пальцем до ее подбородка и, поднимая ее потупленное лицо, говорил:

— А ты не жмурься, отвечай!

Пересмотрели еще несколько тетрадей, и во всех было «хорошо». Потом сестра вызвала несколько девочек к доске, заставила написать несколько строк из стихотворения: «Зима... Крестьянин, торжествуя» — и сделать разбор. Девочки взапуски принялись отыскивать предложения, дополнения, подлежащие; они видимо старались угодить сестре: краснели, комкали мел, тревожно оглядывались, если была ошибка, и громко выкрикивали все хором, порываясь от доски к сестре, если были убеждены, что скажут верно.

— Видишь? — шептала сестра. — Директору очень-очень понравилось.

Показав мне познания девочек, она, наконец, сама стала задавать им урок; и действительно, сестра не жалела груди и сил, толкуя девочкам известное стихотворение «Птичка». Громадных трудов стоило ей разъяснить ученицам стих: «В сиянье голубого дня». Ей нужно было сказать: что такое «голубой», что такое «голубой день». Растолковав это, нужно было объяснить, что, собственно, голубых дней не бывает, что тут необходимо понимать небо, но нельзя также думать, чтобы это было только небо, а что тут примешано и солнце, и свет, и много еще других вещей, которые все вместе составляют то, что поэт разумел под названием «голубого дня». Откашлявшись, сестра задала это стихотворение списать в чистые тетради, — и урок кончился.

Сестра была утомлена; все, что она считала нужным сказать, она говорила не кое-как.

— Устали? — спросил ее Семен Андреич, когда мы уходили.

— Устала.

— Да, уж признаться сказать, не даром деньги берем! Это уж нечего... Ведь это только не зная кричат: «мало! мало!» А поди-ко, вдолби им в голову-то... жизнь

проклянешь! Вы знаете, что я вам скажу? — обратился он ко мне. — У нас какие есть мастера: ты ему твердишь, надседаешься — «подлежащее, подлежащее», а он тебя ж надует в лавке! Н-нет, батюшка, это хорошо разговаривать... Поди-ко, поворочай... Я, ей-богу, удивляюсь Надежде Андреевне, как оне еще справляются: ведь почти одне...

— Да, — сказала мать, встретившая нас в сенях и услыхавшая конец разговора: — это правда... Ермаков так часто манкирует... постоянно!

— Что! пьяница, прощелыга — уж извините, я прямо! — с снисходительным пренебрежением проговорил Семен Андреич. — Когда-нибудь дождется, турнут, вот и сказ... Я даже так думаю, не он ли у меня шапку-то... в клубе?

Семен Андреич мигнул.

— Ей-богу! Пожалуй, выпил лишнее, да и... Ему все равно.

— Ну что вы... уж! — заступилась матушка.

— Да я и не говорю, а что может быть... Бог с ним! Свинья — больше ничего... Обидно, что других заставляет работать из-за своего пьянства.

Все эти сочувственные слова сестра принимала молчаливо, и хотя видно было, что она не считает их лестью, однако я заметил, что она ждет моего мнения. Признаюсь, мне было не легко пристать к общему хору хвалений. Но, подумав, я нашел, что если точное исполнение этой программы ведет к тому, что сестре дают комнату и свечку, то, стало быть, не согласиться с этим — значит поставить сестру на ту дорогу, где не будет ни комнат, ни свечей и где, в конце концов, она может услышать: «нет проезда!» Припомнил я также кое-что и из своей жизни по этому вопросу, из своих путешествий по пути несогласий; вспомнил, что и я тоже был учителем и пробовал смотреть на школу и науку как на вещи, объясняющие вообще «человека». Но, кроме того, что мои бока были помяты лишний раз, не думаю, чтобы были какие-нибудь другие результаты для школы и для меня. Пытливые взоры сестры, которая поминутно взглядывала на меня во время обеда, правда, мешали мне хорошенько подумать надо всем этим, но тем не менее, когда, наконец, она задала мне роковой вопрос: «Ну, как ты, Вася?.. Хорошо ли?» — в вообра-

жении моем накопилось столько утвердительных доводов, что я должен был сказать: «Хорошо!»

— Только ты, в самом деле, не очень мучай себя... У тебя грудь слаба... — осмелился я пикнуть. Но когда сестра обрадовалась, то, право, мне кажется, я едва не сгорел от стыда.

Гулял я как-то по улице и натолкнулся на следующую сцену. Около полицейского управления стояла телега; на дне ее лежала человеческая фигура, с ног до головы закрытая полушубком; на тротуаре стояла баба с кнутом в руках и, обращаясь к полушубку, говорила:

— Ма-ашенник этакой! .. Злодей! .. Вот погоди, прощелыжная душа!

Человек, лежавший под полушубком, не шевелился. Я подошел к бабе и спросил: в чем дело?

— Да вот, батюшка, вора привезла! Пущай его запрут в казамат, шельму этакую, бродягу! Двух лошадей свел, нечистая сила. Хорошо, углядели во-время — догнали, а не угляди мы? Этакая паскуда! Все ты увертывался, ну уж теперя покаешься. Уж теперя...

— Авось бог милостив! — вдруг послышался голос из-под полушубка.

— Ах ты, нечистая душа! — гневно возразила баба. — Что же это, всякому вору да... А-ах ты!

— Нич-чево! .. Авось! .. Ты думаешь, бог-то для вас только? .. Нет, очнись! Ты думаешь, вора привезла — и всё тут? Нет, погоди маленько! У н-нас тоже против вас штучка есть! ..

Баба жестоко негодовала. Но тон человека под полушубком сделался от этого в высшей степени самоуверенным.

— Нет, шельма, погоди! — гремело под полушубком. — Так бы я тебе, шельма, и дался, кабы у меня эфтого не было. Так бы я тебе и лег в телегу-то? — как же, сделай одолжение! Нашла дурака! Кабы эфтой штучки у меня против вас, чертей, не было, нашла бы ты меня... держи!

Эта «штучка» до того заинтересовала меня и бабу, что последняя во все горло потребовала, чтобы он разъяснил эту штучку.

— Кажи, шкура свиная, что у тебя есть? Чем ты можешь нам во вред? .. Кажи!

Человек, лежавший в телеге, вдруг откинул полушубок и проворно сел в телеге, показывая нам почти голую спину.

— А это что, живодерная шельма? — зарычал он, стиснув зубы, и стал тыкать себя в затылок пальцем. — Что это-о?

Мы с бабой увидели, что затылок был у него разбит и волоса запеклись в крови.

— Что? что? что, гн-нусавая? — ревел человек, повернувшись к нам лицом и держась обеими руками за край телеги. — Ай присела? Нет, еще за эту штучку-то тебя, шельму, надо расстрелять! .. Аннафему!

Баба злилась, но молчала и видимо оторопела.

— Ты ловить вора — лови, а оглоблей его громыхать в это место — не показано! — продолжал мужик. — Что в законе сказано? Шельма! Так бы я вам, чертям, и дался, ежели б вы мне не повредили! Ду-ура! Ведь и мы с умом! Я тебе, дуре, нарочно затылок-то подставил! Кобыла-а! Потому нам за это снисхождают! Съешь вот! ..

Сказав это, мужик снова юркнул под полушубок, снова закутался с головой и, в то время как баба не знала, что отвечать, весело говорил оттуда:

— Х-ха! .. А то дурака нашли! Нет, брат, эта штучка — мое почтение! Вот как я тебе скажу... Шельма! Я тебе покажу мои права!

Я пошел и думал о том, что у меня даже и таких-то прав нет, точно на воздухе висишь.

5

«Время мое проходит большею частью в молчании, а со временем надеюсь и еще лучше освоиться с этим положением. И теперь я уже мало-помалу начинаю напоминать собой богомольца, который зазимовал у доброхотного дателя: пьет, ест, зевает, крестит рот, спит — и больше ни о чем не заботится. Записывая по вечерам коечто в записную книжку, я уже сам разыскиваю старую матушкину юбку, чтобы завесить окно, а не дожидаюсь, пока матушка сама протянется с нею к окну через мою

голову и не объяснит мне, что «как бы кто не увидал — подумают, сочиняешь, обидятся, разозлятся и того наплетут, что всю жизнь не разделаешься! . .» Все это я теперь знаю и исполняю сам.

Городишко оказывается самый обыкновенный; грязь, каланча, свинья под забором, мещанин, загоняющий ее поленом и ревущий на нее простуженным голосом: все это, вместе с всклокоченной головой мещанина и его рубахой, распоясанной и терзаемой ветром, составляет картину довольно сильную по впечатлению. Книг в городе можно отыскать много; есть книги даже хорошие, но боюсь их читать; чтение это не приведет к добру; читаю, что попадется! большею частью повести о любви, но и то редко. Большею частью стараюсь думать о вещах, отдаленных от действительности; на стене у меня висит картинка следующего содержания: на берегу громадного озера изображен крошечный человек, сидящий на корточках, в шляпе с широкими полями; в руках у него удочка; вдали колокольня, а внизу подписано: «Предприятие». . . Вот я и думаю: где именно тут скрывается предприятие? Предмет, достойный наблюдения и размышления.

По просьбе матушки я отправился недавно в гости к Семену Андреичу; живет «звериным обычаем», но собою доволен, и все у него есть. Я застал у него Ермакова, и если бы не полштоф водки, который уже стоял на столе и был почти осушен, я не знаю, что бы мы трое выдумали для разговора. Но Семен Андреич был под хмельком, а Ермаков совершенно пьян: поэтому мы все о чем-то разговаривали.

— Ведь вот какая скотина! — говорил Семен Андреич: — нарежется и орет! Ну что ты этим ораньем хочешь доказать? Кроме вреда себе и другим. . .

— Плевать! — прогремел Ермаков, обнаруживая громадный бас. — Плевать мне на вас на всех!

Ермаков был человек крепчайшего сложения и, повидимому, большая сила из числа тех, которые в трезвом виде не убьют и мухи; но в пьяном виде он был страшен; ему было не более тридцати лет, но лицо уже достаточно распухло и отекло.

— Черти проклятые! — ревел он, сжимая кулаки и косясь на меня.

— Болван ты этакой! Ну, если Иван-то Егоров передаст Фролову, что̀ ты болтал на крестинах у дьякона? — ведь пороху от тебя не оставят, дурак!

Ермаков посмотрел на него, вдруг приподнял плечи, сжал кулаки и зубы и прогремел что-то до того ругательное, что даже Семен Андреич не нашелся, что ему возразить; он схватил Ермакова за плечо и, наливая другой рукой водку, кричал:

— Да пей! Пей! Чорт!

Ермаков выпил и облил свою щеку и жилетку.

— Что льешь-то? Эх-ма! .. Пить не умеешь, а орешь.

Из всего оранья Ермакова я мог заключить, что в этом гигантском теле прочно засел неисцелимый недуг протеста, который, благодаря нищенской жизни и под влиянием нищенских интересов окружающего, состарился в нем, прокис, оброс мохом. Миллионы раз «возмущаясь» такими мельчайшими мелочами жизни, как, например, то, что штатный смотритель делает «подлость», не пуская учителей курить в своей комнате, а заставляя их исполнять это на крыльце, и т. д. и т. д., — как не кончить одним ораньем и как не развивать этого оранья дальше и больше?

Оранье и скрежет зубов раздавались ежеминутно, и Семен Андреич поминутно прибегал в таких случаях к водке.

— Да выпей! Выпей! Буйвол! ..

— Налей! ..

— Так-то лучше! Выпил да закусил — ан оно и... Нако, закуси!

Ермаков закусывал солью, которую пальцами клал на язык.

Я познакомился с ним. Он некоторое время молча держал мою руку в своей плотной и горячей руке, смотрел на меня, будто желая что-то сказать, и вдруг принялся ломать мою руку, скрипеть зубами и потащил к полштофу.

— Выпей! — едва проговорил он. — Выпей, брат!

Я выпил. Жалко мне было Ермакова.

Уходя, я оставил его совершенно пьяным: тяжело поднявшись, он ухватился за лежанку руками, что-то мычал, куда-то хотел идти, чтоб кого-то «избить», но двинуться не мог, а только стоял на одном месте и шатался.

По просьбе Семена Андреича я обещал как-нибудь опять прийти к нему «посидеть». Наверно, со временем я привыкну к этой работе «посидеть» и приду к нему, но до сих пор пока еще не был, ибо сам Семен Андреич посещает нас ежедневно. Часов в шесть вечера непременно слышно из кухни, как он скидает калоши и говорит: «а я, признаться, шел да... где ж это тут гвоздь был? ай вывалился? дай, думаю, зайду!» И затем тянутся медленные, неповоротливые разговоры о том, что хорошо бы пробраться в судебные пристава, и проч. Между прочим со слов Семена Андреича я узнал, что уездный предводитель определил происхождение нигилиста «помесью дворовой девки с дьяконом». Сам Семен Андреич понимает их не лучше. «Тут у нас в клубе тоже один появился как-то... пьяная размертвецки шельма! Просит — «подайте!» Я посмотрел, вижу — нигилист! «Нет уж, говорю, вы потрудитесь получить вашу субсидию из Польши! Вы оттуда по пятиалтынному в день получаете, ну — и с богом!» Разговоры вообще любопытные... По окончании их я ставлю сапоги под кровать и сплю; засыпать я могу быстро: для этого стоит только как можно ближе пододвинуть лицо к стене и смотреть во все глаза. Нельзя, однако, сказать, чтобы результаты всегда были блестящие: иногда не спишь, несмотря на все усилия. — Тогда зажгу свечу и запишу что-нибудь...

Вчера вечером разговоры с Семеном Андреичем были прерваны появлением кухарки.

— Барыня-матушка! — тревожно заговорила она, обращаясь к матери: — нет ли у вас какой мази?..

— На что тебе?

— Ох, да тут сейчас старушка одна знакомая прибежала: дочь у нее рожает, мучается! Так плачет, ничего сделать не могут!

В голосе кухарки была сильная тревога, и я высказал желание идти к бабе.

— Вася, и я! — сказала сестра.

— Куда вы в грязь этакую? — попытался урезонить Семен Андреич; но сестра уже одевалась, и скоро мы оба с ней побежали вслед за кухаркой, побежали

как на пожар, потому что помочь бабе едва ли мы могли чем-нибудь.

На дворе была тьма и грязь. Нам пришлось спускаться под гору, в слободку, где внизу светились огоньки, шумела вода на плотине и лаяли собаки.

— Так плачет, так плачет, горюшко — бедная! — душевно соболезнуя, слезливо говорила кухарка, спускаясь впереди нас по скользкой тропинке. — Лежит одна, ниоткуда помощи нету, да и где теперь, по этакому времю? И бабки-то не разыщешь! И бабки-то все в разборе!

— А Авдотья Ивановна? — спросила сестра.

— Да и Авдотьи-то Ивановны теперь ты с собаками не сыщешь! Кабы у нас народ-то был умный, а то он дурак! К одному времю все пригоняют... Целый год кушорка-то сидит без хлеба, а как осень — хоть разорваться, так в ту же пору!

— Да почему же осенью?.. — спросил я.

— А коли вам угодно знать, так потому, что все по нашим местам ведут счет этому делу с мясоеда, после рождества, либо с масленицы... Потому кругом посты... И считайте теперича девятый месяц... когда придется? И есть, что осенью! Ну и где ж ее теперь, кушорку, сыщешь?

Из избушки, к которой мы подошли, доносились раздирающие крики; по стеклам маленьких окошек бегала какая-то проворная тень, и слышался равномерный стук.

— Что это? — спросила сестра.

— О-о, черти, о-о, безумные! Коноплю треплют! Да они ее задушат, негодные! — почти проплакала кухарка и ушла в избу.

Мы вошли в сени; маленькая девочка с распущенными жидкими волосами и в распоясанном платьишке пробиралась босиком, с огарком в руках, куда-то в угол. Ее догоняла сгорбленная старуха и совершенно растроганным голосом кричала:

— Куда ты, паскуда, тащи-ишь? Все огарки пережгла, негодная!

С этими словами она выхватила у нее огарок и шлепнула по затылку, причем на пол упала книга.

— Меня бронют!.. — пропищала девочка, сначала схватившись за затылок, потом за книгу, и поплелась обиженная в избу.

— Да шут и с ученьем-то с твоим! Мать умирает, осветиться нечем, подлая!

Я заглянул в избу. Там слышались стоны и висели облака пыли и кострики. Идти было незачем. Сестра просила меня проводить ее к аптекарю, который постоянно дома и может чем-нибудь помочь. Мы собрались идти, как из избы вышла наша кухарка вместе со старухой, которая прямо повалилась нам в ноги и говорила только «батюшка!» — тогда как кухарка объяснила, в чем дело. У старухи не было тридцати копеек, и она просила их у нас, чтобы побежать к попу и просить его, чтобы отворил в церкви царские врата, так как это облегчает трудность родов.

Мы дали, что могли, и все вместе вышли вон.

Старуха побежала вперед и, карабкаясь на гору, стонала:

— Батюшка! дай тебе господи! Дай тебе царица небесная!

Кухарка, идя позади нас, вторила ей.

Я и кухарка долго дожидали сестру, пока она была в аптеке; наконец она вышла; аптекарь дал кое-какие советы и лекарство. Передав эти советы кухарке, мы все пошли к попу, которого сестра хотела попросить не задержать старуху, и вдруг наткнулись на нее.

— Акулина! Ты?.. — с изумлением воскликнула кухарка.

— Горюшки мои бедные! — плакалась старуха: — потеряла деньги-то, обронила!

— Все, что ли?

— Да вот одна монета выпала. Ищу-ищу — нету ничего!

— Брось! Брось! Беги уж к попу-то!

— Да как бросить? Ах, горюшки мои!

— Беги, старая! Ах, боже мой!..

— Ох-ох-ох!

Кое-как сестре и кухарке удалось уговорить старуху, и она побежала к попу.

— Ну теперь ты беги скорей, — сказала сестра кухарке: — неси лекарство да помни, что я сказала...

— Как не помнить, матушка, бегу, бегу! — торопливо говорила кухарка: — и что уж тут искать пятачка? Ах, старуха, старуха!

— Беги, беги...

— Бегу, матушка! — нагибаясь на ходу к земле, говорила кухарка и вдруг стала опять искать в грязи пятачка.

Кое-как и ее уломали.

Признаюсь, не без неприятного чувства в душе подходил я к поповскому дому. Я хотел подождать в сенях, но сестра втащила меня в комнату.

В передней на коленях стояла старуха, а из глубины довольно темной залы слышался звучный голос священника:

— Отдай дьячку ключи да скажи, чтобы поскорее отпер церковь. Я сейчас буду. Беги! — Кухарка выбежала из залы с ключами.

Мы вошли, познакомились; сестра передала просьбу; священник действительно торопился; застегивая полукафтанье, он торопливо говорил другому бывшему в комнате духовному лицу:

— А ты тем временем — того, Гавриил Петрович, подбавь что-нибудь сюда-то! — и он при этом кивал на лежавшую на столе бумагу.

— Я сию секунду.. Ступай, матушка, успокойся, — отнесся он к бабе: — Бог даст — все благополучно... Молись поусердней, да не переври, что доктор-то сказал. Ступай, беги! Да и ты, Гавриил Петрович, того-то.

Священник попросил нас посидеть и ушел...

Гавриил Петрович был дьякон и оказался добрейшим существом; голос у него был мягкий, юношеский и слегка дрожал от какого-то постоянного нервного волнения.

— Вот этакие сцены переносить, — начал он, предварительно несколько раз кашлянув: — право, до того неприятно...

Дьякон волновался и ходил по комнате.

— Иной раз, ей-богу, сам заплачешь, глядя, а не то что... Да ничего не сделаешь! — вдруг, словно выйдя из терпения, проговорил он. — Ведь будемте говорить по совести! я не рад этому — у меня дети! Их учить надо, кормить! Да кроме того...

Тут он исчислил множество разных взносов, требующихся ежегодно, и самым обстоятельным образом доказал, что нельзя не брать с народной темноты и невежества.

— Да вот, изволите видеть эту вот вещицу? — продолжал он, взяв со стола бумагу: — это умерла купчиха-с. Супруг желает, чтобы духовенство произнесло надгробные речи, и обещает по три рубля, а уж ежели очень хорошо, то и пять! .. Вот мы с батюшкой желаем получить по два с полтиной, и теперь, представьте себе, сколько мы должны принять на душу греха, чтобы растрогать эти аршинные души до слез! Нам нужно эти откормленные туши заставить рыдать-с! .. Нуте-ко, придумайте! И тогда только мы можем рассчитывать на получение из лавки фунта чаю подмоченного! Денег нам, разумеется, не дадут, надуют...

Дьякон в ярких красках нарисовал свое безвыходное положение. Пришедший из церкви батюшка прибавил к этому еще несколько других фактов. Он, впрочем, не волновался, как дьякон, а был положительнее, и, раз решившись смотреть на вещи так, а не иначе, шел не оглядываясь.

— Э-э, — говорил он: — тут церемониться, так с сумой пойдешь!

Когда речь коснулась проповеди, он прямо объявил, что нужно повести речь о том, что новопреставившаяся была недавно — новобрачная... а теперь.. что мы видим?

— Вот! — сказал он дьякону, ткнув пальцем в бумагу: — поверь, быком заревет и как сноп повалится!

Дьякон грустно улыбнулся, однако взял проповедь с собой и обещал составить ее в указанном батюшкою направлении.

Мы пошли вместе.

Дьякон всю дорогу жаловался на свою судьбу и рассказал целую систему невозможностей пойти по другой дороге, выбрать иной путь в жизни. Все это только вносило новые лепты в сокровищницу познаний моих о пользе молчания.

Думая так, я шел молча и почти не слыхал, что сестра что-то говорит.

— Что ты? .. — спросил я.

— Что она врет? Когда я браню их?

— Кого?

— Да девочка говорит: «меня бранят!» Она ведь у меня учится...

— Учишь, учишь, — шептала она: — бьешься, бьешься...

В голосе ее слышалось желание успокоения, сочувствия. Семен Андреич, сидевший еще у нас в то время, когда мы воротились назад, успокоил ее:

— Вы никак уже в акушерки пустились? Мало вам своего дела? Э-эх, некому вас се-ечь! .. Хоть ноги-то перцовкой разотрите... она оттягивает... Э-эх-ма! ..

6

«На днях опять факт...

Нужно сказать, что сестра, всегда флегматичная и вялая, в последнее время как-то заскучала, нахмурилась и от времени до времени как бы сама с собою разговаривала, перелистывала какую-то книгу и потом бросала ее, говоря: «я не знаю, что мне им диктовать!» Я случайно поглядел эту книгу, это была хрестоматия, обнимавшая все отрасли человеческих знаний, упрощенных до степени двугривенного, более каковой суммы автор не рассчитывал отыскать в народном кармане. Все знания поэтому принимали смеющийся оттенок: тут прыгали зайчики, разговаривали мышки, тут было и «Здравствуй, матушка Москва» и «Здравствуй, в белом сарафане, раскрасавица зима!», «Царю небесный» и таблица умножения. Мне пришло в голову, уж не оттого ли сестра стала бросать книгу, что при каждом стихотворном баловстве, попадавшемся там, перед ней мелькал образ умирающей бабы, у которой тащат свечку, чтобы выучить это баловство? Я поглядел на сестру; она хмурилась, но меня не спрашивала ни о чем. Не боялась ли она, что я, молчаливая, постоянно почти лежащая фигура, сочту глупым ее вопрос?

Семен Андреич счастливей меня. Как-то выдался ясный августовский день, мы сидели на крылечке, на дворе.

— Да вы что это так? — спросил он сестру и скорчил хмурое лицо.

То, что я думал, оказалось справедливым.

— Да вам какое дело? — сказал Семен Андреич: — что вам самим, что ли, сочинять? Слава богу, и так довольно есть кому!

Чувствуя, что этого мало для того, чтобы сестра повеселела, Семен Андреич прибавил:

— А в уездном-то училище, вы думаете, лучше? Директор приехал, спрашивает: «У вас какая метода?» А дьякон ему: «У нас метода одна — за вихор!» И то ничего! Разбирать! Вам сказано, как надо, — какое же вам еще дело?

Сестра улыбнулась, но молчала и слушала.

— Но все-таки по крайней мере им... — начала она, как бы желая успокоить себя каким-нибудь положительным решением: — все-таки какая же нибудь польза...

— Да господи боже мой!.. Само собой! Да кабы не польза, так ведь кто ж бы? Естественно, что...

В это время, среди лая собак, приблизился к нам отставной солдат в старой шинели и с деревянной ногой.

— Помогите, господа, прохожему солдату! — певучим и добродушным, почти веселым голосом проговорил он. Это был человек небольшого роста, тщедушный, но державший себя бодро.

— Иду на родину из службы, что ты будешь делать? — ничего нет! Помогите, господа, чем-нибудь...

— Ты грамотный? — вдруг почему-то спросила сестра.

— Был, сударыня, и грамотный — да всего теперича лишен... Ничего не осталось, только что караул ежели закричать — ну, это могу! Хе-хе-хе!

Нельзя было не засмеяться.

— Да ей-богу-с! — сказал солдат. — Надо быть, так уж мне на роду написано — не потрафлять: женился — взял жену ловкую, нежную девицу; служил чисто; веселей меня, ежели в работе али в шутке, человека не было...

— Ты чей?

— Здешний, здешнего уезду... Вот тут имение Двуречки... Слух есть, жена моя там... Бог ее знает!

— Ну так что же, как? Ну служил?

— Ну служил-служил, угождал-угождал барину... Бывало, целые ночи с ним куролесили в здешнем городе, по оврагам, все разыскивали веселых делов, да-с!.. Бывало, выпью водки, возьму хорошую закуску, вот эдакую вот дубину, пойду там ворочать — уж достану товару! Даже теперь подумаешь-подумаешь: чем у господа замолю грехи? Ну а в ту пору имел надежду; мечтал так,

что будто покоряешься господину, он тебя тоже не оставит. Женат был — только что, господи благослови, — хотел своею частью заняться, иметь уют. И так будто что выходило. Ну а вышло — эво как! . .

Солдат шагнул к нам деревянной ногой.

— Отчего ж так-то? . .

— Оттого что водка! Вот кто нас губит! . . Ярмонка, изволите видеть, была — вот самое это место (солдат показал рукою по направлению к реке). Жена у меня первое время — не знаю, как теперь, бог знает! — жена у меня франтовитая была, признаться, супруга... Пошли по ярмонке, обижается на меня: «Неряха!» А уж точно, сами знаете, как одевали нашего брата? Так эти слова на пьяну-то голову (а здорово действительно было) так меня повернули: «Э, думаю, надену господское платье, старое завалящее, пройдусь разок!» Ишь ведь! Ну сейчас побег; все господам живым манером прибрал, подал... Ж-живо, вот как! рукомойник несу, с пьяных-то глаз, не как люди, а норовлю его на одном пальце пронесть. «Разобьешь!»— «Будьте покойны! . .» Помои дали вылить, так я их под облака зашвырнул, через пять крыш. Ну подгулял, больше ничего. Таким манером и нарядился в господское... думаю, погоди! Хвать, а барин — вот он! С тае минуты: вор-вор-вор-вор! Что хошь! нету мне имени, как вор! Пошло и пошло, от всего отрешен... И добился под красную шапку, — что станешь делать-то?

Тут солдат стал рассказывать о своих трудах в военной службе, упоминал о городах, генералах, черкесе, турке, венгерце и множестве других подробностей, в которых путается внимание слушателей, если он не вникает в смысл путаницы, обыкновенно группирующейся вокруг заключительной фразы: «А все ничего нет!»

— А барышня говорят: «грамотный»! Что мне с грамоты-то? Хошь бы у меня сто пядей во лбу было — тож бы самое не легче: как захотят, так и будет! Я и рану, сударыня, имею, да и то вот побираюсь. Потому что и рану-то нам господь бог не сподобил настоящую получить. Изуродовать — изуродовали, а «к разряду» не подходит! Мне бы во сто раз согласнее было, ежели б мне обе ноги оторвало или бы без руки пошел: — по крайности «первый разряд»! А то только что калека: весь истыкан, как решето, зашили дыры иголочкой — и гуляй!

Мы помолчали.

— Ну а ежели, — произнес Семен Андреич, — голову оторвать: тогда что, какая цена?

Его громкий смех рассмешил и солдата.

— Да уж лучше, ежели бы голову-то. Верно! .. Теперича вот иду в свою сторону, жену искать, а что найду?— Богу известно! Где? как? Пожалуй, и так выйдет, что без меня уж и разбаловали бабу!

— Ну-у!

— Ну да уж там что бог даст! Коли что, так попрошу у барыни — говорят, добрая — местечка, сяду на хозяйство; ну, а коли... так уж...

Солдат тряхнул головой и отступил.

— Та-агда уж не попадайся! Уж что под руку, то и наше! Перед богом!

На крыльцо вышла мать.

— Идите обедать, — сказала она.

— Подайте, господа, солдату!

Ему подали. Он ушел, сопровождаемый собаками и без шапки. Я глядел на сестру и думал: «Однако действительность не церемонится с тобой! Помаленьку да помаленьку она выбивает тебя из колеи, пробитой с большими трудами и надеждами... Что будет — не знаю!»

— Однако они тоже ловки, эти штукари-то, — сказал Семен Андреич, поднимаясь. — Балакает-балакает, а глядишь — как-нибудь и сблаговестил целковых на пяток... Пойти поглядеть: не стянул ли чего солдат-то!

Потом мы пошли обедать.

7

«Осенняя непогода в полном разгаре; уездная нищета еще унылее влачит свои отребья и недуги по грязи и слякоти, вся промоченная до нитки проливными дождями и продрогшая от холодного, беспрерывно ревущего ветра. Не хочется ни выйти, ни взглянуть в окно.

Вечер. Я лежу за перегородкой близ кухни и уже часа два слушаю разговоры Семена Андреича о том, что он намерен перелицевать старое пальто, которое может сойти за новое. Приводятся примеры, когда действительно перелицованные пальто сходили за новые, и т. д. Ветер воет

за стеной и царапает ее. Пробовал упираться глазами в стену — не выходит ничего!

В кухню входит человек и, благодаря объяснению кухарки, которая, увидав его, побежала просить у матушки щепотку чаю, оказывается ее дальним родственником.

— Семен Сафроныч! Что это вы в эту пору?.. — удивляется кухарка.

— Ничего не сделаешь, матушка! Моченьки нету! и снизу и сверху — такая страсть идет, не приведи бог! — отряхая армяк, говорит усталым голосом Семен Сафроныч. — Двадцать верст по эдакому мученью обмолотить не больно сладко! — продолжает он, хлопая шапкой не то о притолоку, не то об стену; затем уходит в сени, где долго шаркает сапогами, и возвращается, отдуваясь и кряхтя.

— О боже мой!

— Пешком, што ли, вы?

— Да, пешком, матушка, пешком, что сделаешь-то?

— Что же это вы лошадку-то жалеете?

— О-о, матушка, кабы жалели!.. Нету ее, лошадки-то, пятый день вытребована по казенной части; нету, матушка. Господь ее знает, когда отпустят оттедова! А приказ был такой, чтобы отнюдь не умедлять, поспешать чтобы в город... Ну и пошли пешком.

— Что ж это вас, по какому делу? — суетясь и раздувая самовар, спрашивала кухарка. — Вытребывают вас, али как?

— Вытребывают, кормилица!.. Сказывали, которые тоже из деревень шли по эфтому, по выписке, сказывали, будто караул хотят держать из нас... Ну, а на постоялом дворе так объяснили, будто бы судить, что ли, кого-то.

— За что ж это судить-то?

— Да господь ее знает! Сказывали, будто бабу, что ли-то, какую присуждают к Сибири за ребенка, ну и приумножают... это самое, караулы. Господь ее знает, матушка! Там без нас разберут... Я уж у тебя, кормилица, заночую? Попытай у господ, не будет ли ихней милости на печку мне? Веришь, пришел в чужую сторону, хоть что хошь! Куда пойдешь-то? Иззяб весь... вымок...

— Вот чайку выпьешь, — сказала кухарка.

Гость поблагодарил и, помявшись, прибавил:

— А ты вот что, родная, — чайку, чайку... а ты бы... Нет ли, голубушка, хошь хлебца бы? Попытай у господ, матушка... Перед богом сказать, и дома-то ребятишкам почесть что корки не оставил — верное слово! Стыдно сказать, шли дорогой — побирался, ей-ей! Да покуда чего объявят, так и тут пойдешь по миру ходить, верно тебе говорю!

Гостю дали хлеба и щей. Пока он ел, пока укладывался на печке спать, из запутанных разговоров его я узнал, что человек этот, побиравшийся дорогой и не имеющий угла, где бы приклонить голову, не кто иной, как будущий присяжный заседатель. Под влиянием осени и рева ветра начинает разбирать злость. Закрадывается мысль о том, что действительно ли «дело» — сочувствие к чужим заплатам, и не лучше ли существование Семена Андреича, который вон преспокойно ходит по комнате и повествует о том, что в прошлое воскресенье он не достоял обедни?

— Слышу: «паки, паки преклонше...» Я — марш из церкви, прямо к пирогу, хе-хе! — благовествует он.

Суд, о котором я впервые узнал от кухаркиного гостя, был открыт через несколько дней в первый раз в зале мирового съезда. Публики собралось множество; сзади всех, на каком-то возвышении, помещался Ермаков; он был в шинели, надетой в рукава; лицо его было пьяно и необыкновенно строго. Но внимание мое главным образом приковали присяжные заседатели, почти все оказавшиеся простыми крестьянами. Какой-то длинный и поджарый мещанин, с робкою улыбкой поглядывавший на своих приятелей, сидевших в публике, должен был руководить суждениями гг. присяжных. Взгляды его, бросаемые на товарищей, как бы говорили: «И только история же, ребята, затевается!» На лицах крестьян-присяжных я заметил только уныние и страх. Проходя по комнате, они старались ступать на цыпочках, причем, однако, все-таки оставались лужи таких размеров, что можно было потерять рассудок, особливо если принять в расчет суровые взоры унтера, который как будто хотел сказать: «Эх вы, судьи! вам в свином корыте хрюкать, а не то что касаться к мебели!» Присяжные, видимо, понимали как справедливость суровых взглядов унтера, так и то, что над головами их сию минуту что-то должно разразиться.

Упираясь мокрыми бородами в мокрые груди армяков, они стояли пред налоем с опущенными вниз головами, глядя в землю, в то время как отец протоиерей, приготовляясь приводить их к присяге, держал к ним краткое «увещание». Говорю: «увещание», потому что из уст протопопа выходили такие фразы:

— Постыдитесь! — говорил он, потрясая головой. — Неужели вы думаете, что можно безнаказанно лжесвидетельствовать?.. Да! Правда! Пред лицом человеческим ложное слово иногда укрывается, но пред лицом всевышнего — никогда! Ни во веки веков!.. И ежели мы трепещем казни мира сего, то во сколько крат должны мы трепетать грядущего суда господня? Посему заклинаю вас судить по сущей справедливости, по сущей чести, по сущей правде, не ложно, не... (Тут председатель кашлянул.) Целуйте крест!

— Позвольте,— перебил председатель.— Господа присяжные заседатели! Отец протоиерей объяснил вам, что ожидает вас за пристрастные суждения в будущей жизни. Теперь, с своей стороны, я обязан вам объяснить, что и в сей жизни существуют возмездия, а именно...

Тут были объяснены размеры возмездия.

— И поэтому прошу вас судить по чистой совести, говорить только правду; помните, господа, что судьи — вы; что от вашего суда зависит участь человека! Не смущаясь ничем, говорите одну правду и больше ничего. Целуйте крест!

По окончании присяги присяжные пошли к своим местам попрежнему с понуренными головами... Когда в зале настала тишина, с их стороны послышались вздохи.

Вывели подсудимую. Это была рябая, некрасивая женщина лет двадцати трех, со старческим желтым лицом и тусклыми серыми глазами. Она была в коротком арестантском полушубке и держала на руках ребенка, почти грудного, который, увидав сбоку себя блестящий штык, потянулся к нему рукой. Солдат хотел сделать сердитое лицо и уже ощетинил усы, но улыбнулся. Бабу обвиняли в том, что она утопила своего незаконного ребенка. На вопрос: «признает ли она себя виновной?» баба отвечала, что «не признает». В тоне ее голоса и манере не было заметно никакой подделки: не было ни

принужденной бодрости, ни заученных со слов адвоката ответов; она качала ребенка, вздыхала и, смотря в землю, покорно слушала показания свидетелей.

— Пошли мы на речку, — рассказывала девушка свидетельница, — пошли на речку прорубь рубить-с... Потому старую прорубь у нас соседние бабы отняли-с...

— Вы говорите только о том, что знаете по делу.

Девушка кашлянула.

— Прорубили прорубь-с, только это я нагнулась — глядь, а там что-то краснеет. Увидала я это и кричу девушкам: «Идите, девушки, на счастье вытащим!..» Стали отдирать ото льду, а там... ребенок мертвый-с! — окончила она совершенно тихо. — Больше ничего-с!

— Больше ничего?

— Ничего-с! Дали знать в часть, нас записали, ребенка взяли в больницу Больше не знаю-с!

Выступила другая свидетельница: это была пожилая высокого роста мещанка с длинным носом на сухом и желтом лице и большими глазами «навыкат». Рваная шубейка была надета в один рукав. На вопрос, знает ли она подсудимую? — свидетельница отвечала грубым и резким голосом:

— Как не знать-с, ваше высокоблагородие, она мне посейчас два рубли серебром должна. Оченно знаем-с!

— Когда она у вас жила?

— Когда рожала-с. Она с солдатом-с бегала в ту пору... Н-ну солдат был мне знаком, я пустила ее, как добрую... Ну а за мои благодеяния...

— Что вы знаете насчет ребенка?

— Да утопила-с она его, больше ничего-с! Потому она имеет очень вредный характер, ваше сиятельство... Она посейчас не может мне, хошь бы по гривеннику в месяц, двух рублей-с...

Свидетельница была в волнении.

— Почему вы думаете, что именно она его утопила?

— Да потому, что оченно знаем это дело... Живши у меня, постоянно она им недовольна была, убечь ей от ребенка нельзя, а она это любит-с, надо по совести говорить. Она у меня два месяца жила с ним-с, на моих харчах. Я женщина бедная-с; мне взять негде. Теперь вот нешто радость за свои деньги да по судам ходить?

а пущай бы лучше тогда шла, куда знала... (Свидетельницу просят говорить о деле.) Жила, жила она у меня-с, только приходит ко мне одна моя знакомая и говорит: «Нет ли у вас девушки хорошей? — место есть». А она, Маланья, — «Я!» говорит. «Да у тебя ребенок. В благородный дом нешто возможно?» — «Да я, говорит, его отдам куму на воспитание: ко мне кум приехал, я, вишь, его встретила нониче». Знакомая говорит: «Коли так, так торопись, там ждать не будут, за два серебром сейчас другая с охотой пойдет». Ну она сейчас собралась и пошла, и ребенка взяла, а приходит уж поздно ночью, и без полушубка, и уж ребенка с ей нету. «Отдала!» говорит. «Ну, говорю, слава богу!» Я ей всегда добра желала, ну она мне хошь бы... Уходит она утром на место. «Смотри, говорю, Маланья, помни меня, старуху, получишь — отдай!» А она... Слушаю, ваше сиятельство! Виновата-с! Мы не учены этому разговору. Вот-с и ушла она... а вечером зашел ко мне знакомый фершел-с... «Что это, говорит, вчера я вашу Маланью около речки за часовней встретил и с ребенком и раздемши? По этакой, говорит, погоде она, пожалуй, и ребенка заморозит». А время было непогожее... мело и кура, да и студено. Тут я и подумала... Ан, глядь, пошел слух — нашли мертвого в речке; побежала я, поглядела, а ребенок-то солдатский! Ейный, то есть... Я верно знаю-с, что она руб у господ, как пришла, выпросила, ну она мне — хоть бы...

Ничего более взволнованная свидетельница не показала. В оправдание свое подсудимая объяснила, что она действительно жила у свидетельницы, но что не чаяла — как вырваться от нее.

— В полночь-заполночь — всё пируют! Я лежу больная, хворая, а круг тебя пляшут, потому что она, ваше благородие, нехорошим делом занималась...

— Это не твое дело судить! — прервала свидетельница, быстро поднявшаяся со стула. — Он, может, тяжельше твоего хлеба-от мой...

Несмотря на звонок председателя, она продолжала громко:

— Я как волк бегаю голодный по своим делам, и то у меня хлеб-то редок! Что дадут мне две копеечки на маслицо, так не раздобреешь от этого!

Кое-как свидетельницу усадили на место.

Во время болезни подсудимая не могла работать много, но все-таки ее понукали, и она через силу принуждена была ходить на поденщину. Деньги эти от нее отбирали. Среди таких мучений, услыхав, что есть место, подсудимая до того обрадовалась, что солгала, будто бы к ней приехал кум, а на самом деле побежала отыскивать человека, который бы взялся принять ее ребенка на воспитание. Пошатавшись часа два по улицам совершенно напрасно, она хотела было подкинуть ребенка, но пожалела, подумав, что он может замерзнуть, так как в вечернюю пору народу на улице почти не бывает и его могут не увидеть. Наконец ей встретилась старуха, лица которой она припомнить не может. Они разговорились, и старуха предложила взять ребенка с тем, чтобы подсудимая отдала ей полушубок. Подсудимая готова была на все и отдала полушубок; но в это время старуха пожелала узнать, сколько могут дать за полушубок, и побежала к какому-то знакомому оценить его, а подсудимая осталась ждать с ребенком на руках и в одном платье. На дворе была вьюга и метель; чтобы укрыться от непогоды, она схоронилась за часовню, и здесь ее встретил фельдшер. Старуха воротилась уж без полушубка, проклиная какого-то человека, который не хотел подождать за ней долга и, оценив полушубок, удержал его у себя. С ругательством старуха взяла ребенка и говорила: «Еще замерзнет — хоронить надо. Где возьму?» Однако взяла и сказала, где живет, но подсудимая у нее не была.

— Почему же вы не были у нее?

— Недосуг, ваше благородие! Да опять и скоро объявился он мертвым.

— Каким же образом ребенок очутился в реке?

— Да надо быть, что замерз он у нее на руках, она его и бросила.

— Не помните ли по крайней мере лица старухи?

— Не упомню, кормилец, в ту пору голова кругом шла. Не упомню! Не чаяла, как мне вылезти из вертепу. А тут пошла на место, спервоначалу непривычно... работы много...

— Коли правду знать хотите, — вновь заговорила суровая мещанка, — ей не то что спервоначалу, а больше

ничего, что опять затяжелела, — вот, коли ежели правду говорить-с!

Подсудимая молчала и шушукала на своего ребенка.

Следствие кончилось; настал промежуток для совещания присяжных. Все вышли в коридор. Ермаков, подталкивая приятеля в бок, торопился к выходу и, угрюмо глядя в землю, бормотал: «горькое, брат, горькое, горькое дело... горькое!»

Толкаясь в коридоре в ожидании приговора, я невольно припоминал всю слышанную мною историю о медном гроше, и мне было крайне жаль бабу, особливо когда я припоминал фразу кухаркина гостя — «там разберут». Эти соображения укрепляли во мне неприятные душевные порывы последнего времени.

Мне хотелось уйти куда-нибудь, когда суд вернулся в залу, но я заглянул туда и услыхал:

— Не виновна!

Вслед за тем по всему залу разразился оглушительный крик:

— Бра-а-во-о-о-о!

Это горланил Ермаков. Оглянувшись, я увидел, что сторожа уже теребили его за борта шинели.

— Урра-а!.. — гремело по коридору надо всей выходившей из суда толпой. Кругом был оживленный говор. Тут шли и зрители, и присяжные, и члены суда.

— Признаюсь, — говорил один из них, — нелегкое дело! Очень, очень нелегкое! Я им говорю: «да» или «нет» — больше ничего не нужно, больше ничего! А они: «Бог с ней!» — «Да поймите вы, господа, что тут не бог с ней, не господь с ней, а виновата или нет?» Молчат. «Ну как же?» — «Господь с ней!»

— Ну что уж! — шептал какой-то мужичок. — Тоже поморили ее в казамате. Господь с ней!..

Так кончился суд...

...Как ни оглушительно было оранье Ермакова, но в эту минуту я совершенно понимал его. Да, под громадою бед, забитости, темноты народа таятся светлые надежды, прячется живое, хорошее слово. Возвращаясь из суда, я не сразу пошел домой. Долго гулял я по городу и за городом — и чувствовал себя хорошо.

Я проходил часа два и усталый вернулся домой. Семен Андреич, проведавший обо всех событиях суда и находившийся у нас, рассуждал о них таким образом:

— Уж не сносить этому чорту головы! .. Ну помилуйте! .. Новые суды — и во все горло! .. Ведь это на что же похоже?!

В волнении расставив руки, он прошелся по комнате и прибавил:

— Ну хочешь напиться — ну нажрись дома: никто тебе не мешает! Всему есть мера и граница, а то... реформы... и как стелька! ..

8

«...Недель пять прошло с тех пор, как я не брался за мои заметки. Благодаря моей в известном направлении сломанной кости роковое «бог с ней» сделало то, что я, во-первых, потерял нить событий, доказывавших мне необходимость молчания, и перестал урезонивать себя в необходимости этого путем дневника, куда я обыкновенно вносил факты, подходящие к моему собственному положению. Во-вторых, благодаря тому же обстоятельству я весь предался надеждам, что если поразрыть да пораскопать эту забитость, это наружное ошаление народа, то там найдется что-нибудь и почище, нежели «бог с ней»; и, в-третьих, под влиянием разных мечтаний, зашумевших в голове совершенно неожиданно, я нашел, что, несмотря ни на что, ни на какие грядущие беды, я должен толковать с сестрой и разъяснить ей ее положение, объяснить ей все: и огарок сальный в избе, и солдата с деревянной ногой, и почему Ермаков заорал «при реформе»... Помню, что я насказал сестре слишком много; помню также, что немедленно после того в мою голову полезло такое множество убивающих меня воспоминаний, что мне сделалось жутковато... «Что я наделал?» — думал я... «Да разве можно, — думал я, — говорить о чем-нибудь лучшем, если есть на свете такие положения, как мое, при котором человек молчит самым тенденциозным, так сказать, образом и при этом находит нужным бояться «рассердить» какого-нибудь Семена Андреича? .. Сама сестра, впрочем, облегчила мою

душевную тяготу, оказалось, что скоро сказывается сказка, а дело делается не скоро; выслушав, повидимому, со вниманием мой длиннейший монолог к ней, она молчала и неожиданно спросила: «Так что же мне диктовать?» Я не ждал такого маленького вопроса и успокоился относительно разрушительных последствий моей речи. Но опять забиться в мурью, опять слушать вой ветра, поддакивать Семену Андреичу и молча смотреть на сестру, убеждая себя, что мне делать больше нечего, я уже не мог, я уже был выбит из колеи. Мне хотелось выйти во что бы то ни стало из этого угла и во что бы то ни стало сделать для сестры какое-нибудь небольшое, но практически полезное дело. Я подумал, что если ей заняться шитьем, а не преподаванием народу стихотворений, то это, пожалуй, будет лучше и освободит ее от тех душевных пут, которые накладывает школа, купеческие пироги, страхи пред легионом покровителей и т. д. Чтобы выработать швейную машину, я решился на всякий труд, готов был идти в писаря, в купеческие учителя; но размеры вознаграждения говорили мне, что машину я могу купить лет через десять, через двенадцать. Кой-откуда меня выпроводили без разговоров, и в таких неудачах я было стал уже впадать в уныние, как неожиданно пришлось убедиться, что на свете есть добрые люди. На крестинах у дьякона, того самого, который, отплевываясь, писал проповедь на погребение купчихи, познакомился я с его шурином, подгородным священником. Все они узнали мое желание что-нибудь делать; все увидели, что желание это ущерба им не приносит, и, в качестве людей, которых не особенно гнетет копейка, оказались добрейшими господами. Шурин поговорил барыне-помещице, которая оказалась «из нонешних»; помещица потолковала с шурином, тот опять с дьяконом, потом все они потолковали со мной, разузнали меня, убедились, что я буду только писать и читать с ребятами. Барыня похлопотала, мне сделали вторичное увещание, потребовали уверений, и, наконец, барыня согласилась меня взять, а шурин дьякона обязался, как преподаватель закона божия, «смотреть» за мной. Признаюсь, я крайне был рад этому: теперь машину можно было купить чрез полгода — не больше, теперь я мог что-нибудь делать, хоть учить мальчиков просто читать, и, наконец, сойдясь

с простым человеком, узнать его ближе... Уж если, думалось мне, жизнь, несмотря на все путы, все-таки выпирает таких калек, как я; уж если время не церемонится с такими углами тьмы, как тот, в котором живет сестра, то неужели же оно не делает ничего и в самой настоящей тьме?.. Я ведь уже услыхал оттуда хорошее слово!..

В один осенний вечер в квартиру моей матушки заехал двуреченский мельник и объявил, что отец дьякон рекомендовал ему подвезти меня в Двуречки, куда мне было нужно и куда, между прочим, отправился хромоногий солдат искать жену. Иван Николаевич был плотный и умный мужик лет под пятьдесят; одет он был по-купечески, в теплый, на лисицах, синий сюртук до полу, и держал себя просто и ласково. Мерин у него был основательный и телега удобная, прочная; тем не менее, по случаю грязи, мы ехали шажком и скоро разговорились; говорили о барыне, которую Иван Николаевич не одобрял за незнание хозяйства, говорили о мужиках, о новых порядках.

— Теперь вот он от суда отбился, — толковал Иван Николаевич: — выпустили его из присяжных... теперь, того и гляди, потянут его к земству... оглянуться не успеет! Еще когда надо бы выборку делать, да у нас всё так — «как-нибудь!» Что посредник скажет, так тому и быть, а мужика только таскают: из деревни в уезд, из уезда в губернию... Да хорошо, коли хлебушко есть, а то... Да вон один барин нашелся, на свой счет повез гласного в губернию, так тот и то выл!

— Отчего же выть?

— Да оттого выть, что помер было в городе-то... Посиди-ко на постоялом дворе али бы в гостинице без дела... небось! Спал-спал, пошел под ворота посидел, потом опять в нумер... Ну-кося? Мужик-то приехал оттедова ровно щепка, худой...

Я упомянул было о том, что мужик, как гласный, мог и должен бы был интересоваться губернским собранием, мог там говорить о своих нуждах.

— Ах вы, господа-господа!.. — сказал Иван Николаич... — «Гов-ворить»! Да нешто он умеет это?

Чудаки вы, ей-богу... Там нешто по-мужицки надо?.. Да ежели он какое-нибудь слово выворотит, так ведь ему в самое горло звонок-то запустят да там и зазвонят! Да и говорить-то ему не о чем.

— Как?

— А так! У них, у членов-то, ведь всё кругом родня, все они друг дружке либо брат, либо сват... Уж они все дела знают! Один другому «шу-шу» — уж они не продадут! Будем так говорить: остался ты тут недоволен, пошел в губерню — опять же они самые сидят... так аль нет? Стало быть, какой же тут разговор, — изволишь видеть? Ну и пойдешь в нумер спать...

Разговаривая таким образом, мы, наконец, кое-как доплелись до Двуречек. Ночь была темная, «черная», степная.

— Ко мне ночевать поедем, уж где теперь к попу! — пригласил меня Иван Николаич.

Спустившись с горы, причем мерин выказал большой ум, не допустив хозяина осаживать и натягивать вожжи, мы приехали к небольшому домику в три окна, стоявшему неподалеку от мельницы.

В одном окне светился огонек, несмотря на то, что был час двенадцатый ночи и вся деревня спала мертвым сном.

— Ишь,— сказал Иван Николаич,— жена-то у меня— копье неизменное, булат! — сидит, ждет!

Тут он слез, отворил скрипучие прочные и высокие ворота и ввел лошадь с телегой во двор; на дворе было тихо и даже казалось теплее: так он был защищен от ветров плотными навесами.

В жарко натопленной кухне, перед комнатой с чистыми полами, лавками и столом, нас встретила жена Ивана Николаича, высокая черноволосая женщина с прекрасными черными глазами. Не показывая виду, что она рада приезду мужа, она сказала ему шутливо-сердитым голосом:

— Н-ну, лысы-й, куда лезешь!.. Что полы топчешь. Чай, их мыть надо? Раздевайся в кухне...

— Ты меня с такой грубостью не встречай! — ответил Иван Николаич, возвращаясь в кухню. — Потому, знаешь, где я был?

— Шут тебя знает!

— То-то и есть! Я, может, нонешний день все с девушками был-то... с хорошенькими, хочешь — ай нет? Ты ведь что такое? — болтал он, скидывая сапоги. — Теперь ты что? — холера! Сибирская язва, вот как в ведомостях пишут, — больше ничего! Захочу — сейчас обротаю, сведу на толкучку, а сам на молоденькой... Хе-хе-хе!..

— Да ты-то что, лысый хрен?.. Ты думаешь, и я дремала? У меня, погляди-кось, какие припасены гусарики! — шутила жена, собираясь подавать самовар, который уже кипел. — Шут ты гороховый!

— Хе-хе-хе! — помирал Иван Николаич. — Уж и огневая баба!.. Хе-хе-хе... Нет, мы ничего, дружно! Деток нам бог с ней не дал, ну... его воля! А что так — ладно! Иван не был?

— Был... а ты рубашку передень! Утром был.

— Принес?

Так они пошутили и поговорили о делах.

Самовар был подан в чистой горнице, из которой была видна еще и другая, также чрезвычайно чистая, с спальным пологом. Несмотря на то, что мебель была топорная и выкрашенная темнокрасной масляной краской, чистота в комнате была примерная; на стенах картинки известного содержания, у подоконников бутылки с наливкой. Иван Николаич сидел за чаем в одной рубашке, нанковых панталонах и босиком. В комнате было тепло, да он и так не боялся холоду: послышалось ему, что кто-то стучится в ворота, он встал и, надев только какие-то неуклюжие калоши с соломенной подстилкой, вышел в одной рубахе на двор. «Ветер!» — произнес он, воротясь, и снова уселся за чай. Он пил чаю много и с таким аппетитом и умением возбудить жажду в госте, что и я не отставал от него. Разговоры поэтому были отрывочны и вялы. После чаю дело зашло опять про земство.

— Нет, вот что, ваше благородие! — сказал Иван Николаич, шлепнув широкой ладонью об стол. — Дюже, я тебе скажу, мутит меня самому в это дело, в земство, впереть! Ей-ей! Дюже-дюже, я тебе доложу... Об мире я не опасаюсь: ведро вина — сейчас тебя куда угодно; тут мы и посредственника со старшиной отставим; а вот как бы подальше чего не вышло... это вот? И боюсь!

— Чего же боитесь-то?

— У-у, боже мой!.. Как не бояться, друг ты мой... Не об разговоре — это что! Это я могу: говаривал на своем веку с архиереями — старостой был! А что, пожалуй... сильны они! Ну а только уж и повредил бы им... Большую бы нанес им ущербу! Изволишь видеть, какое дело... приходит зима, время голодное. Мужику есть нечего. Посейчас он уж лебедку жует... Следственно, требуется хлеб. Так? Хорошо! Ну теперь гляди, какое положение: посредственник впихнет старшину в гласные — рука ему, вот они и купят хлеб у себя... чуешь? Иван-то Петров, старшина, с коих пор у мужиков же хлеб скупал для барина-то... Видел? Посредственник — он тут «чур меня» — в стороне, под видом благочестия... Он говорит: «Как угодно. Я полагал бы так и так, лучше Ивана Петрова нету...» Ну и — получай! Уж цену ва-аз-зьмут ха-аро-шую! Уж это верно! Вот в чем обида! Вот тут-то бы я им и не дал! Мы можем хлеб по настоящей цене доставить, мы помним бога, так-то! Мы не позволим себе, чего не надо: нам этого не нужно. Мы век копеечками жили и проживем; рублей не оченно много видали, каменных палат нету...

— Чего же вы боитесь?

— Эх, друг ты мой... Уж мы — травленые волки! Как не бояться...

Иван Николаич на минуту задумался и потом, понизив голос, сказал:

— Был я церковным старостой в Рожествене... называемо село Рожествено... Храм древний, причт бедный, ничего не стоит. Помочь нечем... Только что и жили бездождием да градобитием... Тут молебны бывали, а то в год одни крестины да двое похорон — приход слабый! Гляжу я, ан в книгах в церковных эдак вот сказано: «Берутся из сего храму пять тысяч на ассигнации... для, например, победы-одоления французов... ну, по покорении, отдадим...» Я с простоты-то и бултыхни к губернатору: «Так и так... Франция теперича наша... сами без хлеба... пожалуйте назад, например, деньги...» Да к губернатору. Свету, свету, каков есть свет белый, не взвидел я с этого! Волокут в губерню. «Ты что же это... так и так... а?.. Франция — а?.. Ах ты...» Елееле уплел!

Иван Николаич сел на свое место.

— Не бояться! — нет, брат, тут скажи слово-то да оглянись! Так-то, друг, как вас? Василий Андреич? Так-то!

Перед сном Иван Николаич долгое время ходил по сеням, по двору — оглядывая, все ли заперто, не влез ли вор; поглядел, накормлена ли собака, и спустил ее с цепи...

Под чуткий лай верной собаки мы заснули покойно.

9

«На следующий день, взамен всего, что я знал недоброжелательного к бедному человеку, что слышал и вчера и сегодня и слышу каждый день, мне пришлось увидать народного благодетеля. Это была барыня. Добрые качества ее души бросались в глаза всякому, кто хотя только проходил мимо ее усадьбы. Такой прохожий непременно видел в окнах флигелей для прислуги — людей в красных кумачных рубахах, с жирными лицами, высовывающимися из-за ярко вычищенных самоваров; мог подивиться породистым лошадям, которых плотные и рослые кучера, один за одним, вели к водопою. Кучера обыкновенно были одеты в отличнейшие армяки, в которых не только не было ничего обужено и окорочено, но, напротив, — все «пущено слишком», так что подолы волочились по земле, а рукава, щедро набитые ватой, распирали мощные кучерские руки в разные стороны до того, что жеребцы часто вырывались из их рук или поднимали их вместе с своими мордами высоко над землей; при этом кучера имели на головах блестящие шляпы и выкрикивали «тпру!» такими неистовыми басами, что в тот же день получали от барыни прибавку. Ничего общего с теми людьми, которые норовят купить у мужиков хлеб по грошу и продать им же по рублю, барыня не имела — в этом я убедился во время своего визита. Это была белокурая женщина, лет тридцати от роду, высокая, худая, необыкновенно доброе существо, жившая в деревне по убеждению, что праздно жить нельзя, что надобно трудиться и делать пользу ближнему. Муж ее, с которым она была не в ладах, жил в Петербурге. Но так как в том

кругу, в котором барыня родилась и в котором жила в столицах и за границей, понятия о труде не идут далее уменья связать косынку, а понятия о пользе ближнему получаются посредством подарка этой косынки бедной чиновнице, получающей пенсию, то все добрые намерения барыни состояли в том, что называется «благотворительностью», со всеми атрибутами, обставляющими ее. В качестве такого рода особы она любила, чтобы ею были довольны и признательны, по возможности, до гроба... «Я не знаю, — сказала она мне: — быть может, я вам мало назначила... за труд? я не знаю». Я сказал, что «много доволен», да и барыня, видимо, знала, что цену она дала хорошую. Потом она постоянно читала французские книги, главным образом по части морали, и находила, что все это очень бы было полезно русским мужикам, у которых нет, например, прекрасного чувства благодарности. Так как это чувство в особенно больших размерах и приятных формах развито у иностранцев, то поэтому она была окружена немцами, которые только и делали, что благодарили ее с утра до ночи и оканчивали каждую почти фразу так: «это только мужик русски — не понимайт свой благодарнись...» Благодарные получали прямую выгоду.

Спустя несколько дней произошло открытие школы. За несколько дней перед этим крестьянским детям было велено собираться в школу, где их будут поить чаем и угощать баранками. Барыни в этот день не было дома, и угощением заведывала одна из немок в большом кисейном чепце, который возбуждал в детях самый веселый смех, сильно сердивший распорядительницу. Поэтому ругательные фразы вроде «свинья», «чушка» я довольно рано услыхал из моей комнаты при училище, ибо будущие ученики стали стекаться в школу чуть ли не до петухов. Обещанное угощение началось, однако, не ранее как по окончании обедни. Школа наполнилась множеством ребят, вслед за которыми робкою поступью прокралось и несколько родителей, в глубоком молчании засевших в дальний угол и принимавших все меры к тому, чтобы не рассердить немку, которая раздавала

баранки. Робкими глазами смотрели они на распорядительницу, столь же робко, как и дети, утирая рукавами носы.

— Мая-а! .. — запищал один мальчишка на своего соседа мужика, и вслед за тем под столом упал кусок баранки. — Пил-ламил!

Мальчик заплакал.

— Это что такое? — спросила немка, грозно взглянув на мужика и мальчика...

— Мою баланку узял...

— Я ее вам-с хотел! .. — пролепетал мужичок, поднимаясь. — Дюже много... Куды ему съесть? .. У! — сказал он мальчишке: — обрадовался! ..

Мальчишке дали другую баранку.

Чай пили охотно и много. Распорядительница только успевала наполнять чашки, пододвигаемые к ней с видом необыкновенного уныния на лице. А между тем посторонние посетители, взрослые, здоровые, прослышав об угощении, прибывали с каждой минутой толпами. Дворовые, как люди более или менее навостренные, с вежливостью раскланивались с немкой и старались заискать в ее расположении.

— Какое биспакойство! Экую ораву напоить! — говорил какой-нибудь из них, подсаживаясь на уголке и перехватывая на лету чашку, которую искала чья-то другая рука.

Слова мальчишек: «мая-а!» замирали в волнах комплиментов, отпускаемых дворовыми немке, в хрустении баранок и кусков сахару и стукотне ног входящих посетителей. Распорядительница сердилась и тыкала чайником куда попало.

— Коммерзум! — возгласил хромой солдат, которого я видал в городе, проворно шагая по комнате своей деревянной ногой.

Это непонятное слово относилось к другому отставному солдату, садовнику, высокая сухая фигура которого выдвигалась между крошечными ребятами за одним из столов. Садовник ответил хромому тоже каким-то непонятным словом, и потом они по-приятельски пожали друг другу руки.

— По-черкесски, сударыня! — сказал хромой солдат немке. — Что будешь делать! Тоже видали на своем

веку... И в теплых, сударыня, и в холодных землях побывали, всяких людей повидали!

— Молчи! — сердито буркнула немка, проносясь мимо солдата с чайником.

Солдат, очевидно, был под хмельком.

— Виноват, сударыня! — заговорил он, попятившись. — А что видали на своем веку много! Ну, позвольте вам сказать, такой госпожи, такого ангела не видал, как барыня наша! Да ты поди, всю вселенную изойди, не встренешь! Перед истинным создателем говорю, не найдешь!

Немка опять оборвала солдата. Он сел за стол, но не молчал.

— Ну что она видит заместо своей доброты? — продолжал он, беседуя с садовником. — Она делает обзор хозяйству, намочится по эстих пор... Будем так говорить.

— Само собой! — сказал садовник.

— Следственно, надоть ее уважать али нет? Что же мужик?.. Он, неумытое рыло, и под гору и на гору едет на барской лошади, не слезает!.. «Да ты бы, нечесаная ты пакля, хуть бы на гору-то слез. Хушь бы барыню-то пожалел! а ты, такой сякой!» Ну ангел, ангел — не барыня!

Разговорчивость все более и более охватывала солдата на потеху немцев, которые столпились у дверей с сигарами в зубах и развлекались этим кормлением. Из рассказов и разглагольствований солдата я узнал, что барыня дала ему клочок земли и помогла строиться. Наплыв новых посетителей вытеснял тех, которые успели уже более или менее угоститься чаем, и таким образом, спустя несколько времени, были вытеснены хромой солдат и садовник. Они вежливо поблагодарили распорядительницу, помолились на образ и вышли.

Я пошел вслед за солдатом; мне хотелось потолковать с ним.

— Ну что? — сказал я ему, когда он, простившись с садовником тоже, должно быть, по-черкесски, заковылял было в сторону.

Солдат узнал меня.

— Ах, барин-голубчик! Жену-то? Нашел, как не найти. Э-эх, сударь!.. Верный мне сон снился, когда я сюда шел. Так-то! Барыня вон добрая землицы дала... хочу

норку рыть — в караульщиках заслужу... да хушь и не рыть! Ей-богу!

— Отчего же?

— Эх, сударь! меня, друг ты мой, изувечили, видишь как? А бабу мою шибко поиспортили! Я думал — она мне жена, а она... видишь что! Стал быть, что ж мне? Она и не помнит, какой такой есть муж... Уж она отвыкла от ефтого!

Мы шли по грязной деревенской улице.

— И баба-то какая была, суды-ирь!.. Что веселые мы с ней были, что ловкие — ах!.. Меня забрили, она — и того... с горя да с горя, то с одним, то с другим! Ну и истрепали... Теперь что? — Рвань! больше ничего... Устрелись тепериче — и мне горе, и ей тоже беда. Хочет как жена — да я ей чужой! да любовник тутотко, по ночам постукивает, тоже, стало быть: «выходи, не то убью!» И меня-то боится — потому дочка есть, а чья? — и господь ведает... И дочка-то почесть сумасшедшая, по одиннадцатому году... Кормить ее мне надо — ну, бабе стыдно, и бьет дочку, чтоб мне в угоду... Да и прежде, когда еще только по вольному обращению пошла, и то все била ее... «Как вспомню про тебя... (стал быть, про меня) — так бить ее... проклятую!..» ну а тоже — любит... Так у нас: — только мучение! К вину приучена... хочет-хочет, в хозяйстве ничего не умеет... бьется-бьется — толку нету, и выпьет! Кажется, пошел бы да в речку, ей-богу, право! Ну все будто надеешься... авось господь!..

Солдат шел молча и дышал тяжело.

— Вот где мое гнездо будет, коли бог даст! — сказал солдат, остановившись около одного пустыря, начинавшего застраиваться.

Небольшой лоскуток земли был обнесен низеньким плетнем; в одном углу стоял крошечный сруб величиной с будку, а к нему примазывалась, из простой земли и навоза, другая половина будущего дома. На пустоши валялось два-три бревна да несколько охапок соломы.

Мы стояли за плетнем и не подходили к дому.

— Строюсь кое-как... Что бог даст! Авось и жена... Вон жена-то — эва она!

Из-за сруба, не обращаясь лицом к нам, вышла сгорбленная женщина с лопатой в руках и пошла туда, где

должен быть огород. Она была грязно одета, еле плелась, хромая на одну ногу, которая была обвязана грязными тряпками.

— И самое-то жаль! — сказал солдат. — Гулянки-гулянки, а тоже, поди, любовники-то колачивали как! Совсем ровно дурашная стала... Скучит да пьет... Э-эх-ма-а!..

Солдат махнул рукой и с горьким вздохом попросил у меня табачку.

Я пригласил солдата к себе, и он сделал то же в свою очередь.

Расставшись с солдатом, пошел я опять в школу; но там уже заседали кучера; ребят и немки не было. Сидеть в своей пустой каморке, в которой только раздавался стук маятника, было тоже не весело, и я опять пошел к Ивану Николаичу.

— Поедем, барин, в город! — сказал он мне. — К ночи домой. Прокатишься...

Я был рад как-нибудь занять время, и мы поехали.

— За хорошенькими! — сказал Иван Николаич жене, выезжая со двора. — Теперь месяца на два завалюсь!

— Хушь совсем не приезжай! — ответила та с крыльца и долго стояла, провожая нас.

В городе мы заезжали в лавки, ходили довольно долго по базару, где Иван Николаич закупил чай, сахар, свечи и проч.

— Теперича, милый друг, — сказал он, «справив» свои дела, — заверну я к куму, а ты к маменьке поди, проздравь, праздник!.. Вечером заеду.

По случаю воскресного дня у матушки был пирог, и по обыкновению присутствовал Семен Андреич. Он уже плотно закусил и выпил и почему-то сильно волновался.

— Признаюсь, — говорил он матушке: — по мне, как вам угодно, а что ежели на вашем месте, я бы его на порог не пустил. Как угодно!

— Да почему же его не пускать? — возражала сестра.

— Да просто потому, что... что́ с пьяницей за компания?

— Он не пьяный приходил! — защищала сестра.

— Ну что ж из этого? — как бы в самом деле имея средства опровергнуть сестру, самоуверенно вопрошал Семен Андреич. — Что ж из этого следует, что не пьян? Не пьян, а напьется — вот и пьян, очень ясно! Я только не понимаю одного, как можно... Да вот Василий Андреич, — обратился Семен Андреич ко мне с видимой надеждой получить подкрепление. — Вот вы рассудите... Помните, Надежда Андреевна как-то говорила, что спрашивала она Ермакова о каком-то сочинителе... Бог его знает, какой он там, а в том дело, что Ермаков этот, эта скотина, пьяная харя, лезет сегодня сюда...

— Он принес книгу... Он мне обещал принести, а вы его обругали.

— Этакую скотину следует ругать-с! Следует! Ежели же вам нужна книга, вы скажите мне, и я вам дам. У меня книги есть. Будьте покойны. Если пьяная образина может вам носить книги, то само собой естественно, что и я тоже могу принести. А заводить знакомство с пьяницей... воля ваша!

— Да он не был пьян! Что вы?

— Надя! Надя! поди-ка сюда... мне нужно тебе сказать словечко, — торопливо выходя в другую комнату, сказала матушка, все время смотревшая на Семена Андреича и на сестру с боязнью, плохо прикрытою улыбкой.

Сестра ушла, а Семен Андреич не переставал волноваться.

— Да по мне — как угодно! — говорил он почти грубо.

Я чуял, что в семье начинается какая-то тягостная рознь, и не знал, как дождаться Ивана Николаича.

10

«Занятия в школе сначала пошли довольно живо и успешно. Не ограничиваясь азбукой, мы стали толковать о разных предметах и явлениях, относящихся исключительно до нашего села: мы разобрали такие обыкновенные вещи, как волостное правление, кабак, сходка, нищий и т. д. Но с помощью одной родственницы барыни, пожелавшей участвовать в этих беседах, более или менее ясные выводы наши стали загромождаться кисло-сладкими

тенденциями, которые преподавательница вычитывала из каких-то переведенных на русский язык немецких книжонок, рассылаемых и раздаваемых с.-петербургскими благотворительными дамами. Все это, выдержавшее, к удивлению, по четырнадцати и более изданий, уверяет народ (за одну только копейку!) в том, что пьяница мужик, послушав один раз хорошую пасторскую проповедь, перестал пить и достиг до такого благополучия, что при конце жизни был сделан старшим лакеем у графа N. В учениках началась апатия и принужденность, которая, вместе с осенними непогодами, растворившими грязь до степени первобытной хляби, сделала то, что число учеников уменьшилось; приходившие из соседних деревень бросили ходить, быть может до поры до времени, а дети жителей нашей деревни стали ходить вяло. Занятия, таким образом, стоят почти на одной азбуке и чтении. Быть может, устанут барыни; быть может, и азбука сделает какое-нибудь дело. Все это хотя и держит меня на месте, но не особенно веселит. Участь сестры тоже не радует меня, тем более что по случаю распутицы в город проезду нет, и мне совершенно неизвестно, отвлекли ли ее кое-какие книги, которые я дал ей, уезжая в последний раз из города, от бесплодных волнений среди великого русского зла — самодурства, как видно имеющего опутать нашу семью благодаря Семену Андреичу.

Все мои горести несу я обыкновенно к Ивану Николаичу.

Кроме необыкновенного аппетита, с которым пьется чай в его чистых, теплых и уютных комнатах, Иван Николаич весьма приятен как человек, заинтересованный судьбами отечества. Русская история знакома ему не только по лубочным рисункам, продающимся на базарах, не только из книг и книжонок, попадающихся ему при помощи уездного протопопа, но в значительной степени пополнена толками народа, семейными преданиями, перешедшими от прадедов и прабабушек. Как ни темноваты эти сведения, но Иван Николаич умеет по-своему доказать ими свою любимую мысль о том, что Россия — государство богатейшее, если бы за ним «уход». Опоражнивая чашку за чашкой, мы ни на минуту не покидаем исторической почвы. Вспоминает Иван Николаич рассказ бабушки о том, например, что однажды императрица

Екатерина, желая пресечь мотовство, повелела генералам отрубить шлейфы у двух пышно одетых дам, разгуливавших мимо дворца и оказавшихся женами мелких подьячих. Генералы отхватили саблями шлейфы по самую спину. Ввиду развивающегося мотовства, примеры и источники которого представляются Иваном Николаичем в подробности и во множестве, нам нельзя не одобрить этой меры... Покуда супруга Ивана Николаича, занимающаяся чаепитием покойно и строго, полощет чашки, вытирает и наполняет вновь, мы успеваем перебраться к 12-му году, к Синопу, Севастополю. Оказывается, что Иван Николаич сам видел раненого севастопольского солдата и собственными ушами слышал от него рассказ о том, что Севастополь погиб «за-напрасно» и что ничего бы этого не было, если бы начальство послушалось одного простого солдатика, который со слезами умолял «дозволить ему распорядиться»... «Я их всех к обеду прогоню!» — «А оттого, что простой!» — говорит Иван Николаич в крепком огорчении, пихая пустую чашку жене.

Я так много навидался в жизни трусливых, почти бессознательных людских виляний в убеждениях, что эта прямота Ивана Николаича — какая бы она ни была, эта искренность — делают меня самым внимательным его слушателем. Искренность его очень велика. Среди огорчения о погибели Севастополя ему говорят, что с мельницы пришел мужик. Иван Николаич идет сейчас же, и в голосе его, которым он говорит с мужиком, уже не слышно огорчения... Он знает, «что к чему», и если не проглядит убытка государственного, то и на мельнице тоже маху не даст...

Досидевшись до позднего вечера, мы расстаемся. Иногда Иван Николаич идет меня провожать до дому. Собаки, хватающие нас на улице, грязь, в которой вязнут наши ноги, наводят нас на разговоры более современные: о земстве, о выборах, ибо Иван Николаич не теряет мысли разрушить намерения посредника и старшины насчет хлеба... Прямота и искренность, кажется, уломают его на это дело, тем более что окружающее сильно помогает им.

Так, однажды поздно вечером, возвращаясь с Иваном Николаичем домой, мы заслышали в темноте стоны и как бы какое-то вытье.

В грязи лежала женщина и долгое время не могла ответить на вопросы Ивана Николаича: злейший лихорадочный пароксизм бил и трепал ее.

— Куда ж ты, глупая, поплелась? — укоризненно говорил Иван Николаич, поднимая ее.

Баба говорила что-то, щелкая зубами, что делало почти непонятной ее речь. Но Иван Николаич понял.

— Ах, поганые черти, что выдумывают! ах, проклятые собаки! .. Это наш кузнец-немец выдумывает. Лечить народ взялся! Как начнет лихорадка бить, иди, вишь, к нему, в окно постучись, он тебе запишет, в котором часу трепало! Без этого и лекарства не отпущают... Ах, собаки, прости господи! Пойдем, бабка, помогу!

Иван Николаич помог бабе встать, доплестись до конторы и достучаться немца, который спал. Дорогой он сообщил, что немца выписали в качестве кузнеца, а он оказался не знающим этого дела и предложил себя в качестве медика. По доброте барыня на все согласна, и, уступая вежливому обращению немца, прогнать его не может.

— Сколько у нас этих искусников было — счету нет. Разорят барыню... И всё по часам! Как приехал, сейчас подавай ему часы стенные, да-а... с гирями! И пошел нехорошими словами ругаться, да на часы поглядывать, да в карман себе попихивать...

Поглядишь на такие вещи и невольно скажешь Ивану Николаичу:

— Выбирались бы вы, Иван Николаич, отсюда, да и рассказали бы там все, как есть.

— Ах, брат ты мой! Рассказать! .. Пожалуй, что и расскажешь, а пожалуй, что и язычок прикусишь... Это дело надо ладить «не с бацу»! ..

Проговорив что-нибудь подобное, Иван Николаич обыкновенно почему-то задумается и потом, повидимому совершенно ни к чему, приплетет какую-нибудь историю из своих воспоминаний. Вдруг вспомнится ему, что ребенком играет он в отцовском кабаке и с ужасом смотрит на громадного мужика, которого все шопотом называют «палач». Неизвестно почему, палач разъезжал в то время по уезду; но страх был к нему всеобщий. Похаживая во хмелю по кабаку, он похлопывает по полу своим кнутищем и предлагает какому-то пьяненькому мужичонке

получить «задаром» два целковых; желающий должен взять бумажки в зубы, подставить палачу спину и вытерпеть три удара кнутом, не крикнув и не выронив деньги изо рта. На глазах Ивана Николаича хмельной мужичонко подставил спину и мертвым повалился с одного удара, стиснув зубы так, что их с трудом разжали двое взрослых детей покойника, чтобы вытащить два рубля.

Иван Николаич не может забыть этой смерти, этого размаха кнутом, со свистом облетевшим всю избу.

— Как же можно с бацу-то! — бормочет он...

После случайной встречи моей с хромоногим солдатом во время открытия школы он сделался единственным и постоянным моим собеседником по окончании работы.

— Нет, барин, видно придется камушек на шею нацепить да поискать бучила хорошего!..

Так, почти всегда одинаково, слегка раздраженно начинает он свою речь, влезая с своей деревяшкой ко мне в переднюю и одновременно торопясь запереть дверь, снять с лысой головы шапку и обтереть не хромую ногу.

— Здравия желаю! всё ли в своем здоровье? — произносит он уже по-солдатски, бодро.

— Слава богу!

— Ну слава богу! А я, признаться, ваше благородие, все бучила ищу хорошего... Ей-богу-с! Хочу просить в губернии: «дозвольте, господа судьи, Филиппу Андрееву, хромому, не своею смертью помереть...» Ей-ей!

Этот шутливый тон, когда-то бывший большим природным сокровищем Филиппа, теперь только привычка, даже и не скрывающая горя, которое лежит у него на душе. Свернутый с пути господским сюртуком, имевшим когда-то всемогущие права, хромой солдат был измучен и изуродован нравственно и физически до последней возможности; вместо гнезда, которое думал он свить для своей старости, попал в новое море мучений. Помощников у него нет, потому что жена отвыкла от работы, расслабла от кабачной жизни и пьет. На шее солдата сидит и женина дочь, девочка больная, полусумасшедшая, избитая в детстве матерью в припадках отвращения к пьяной жизни, и, кроме девочки и матери, на той же шее сидит

бессрочный солдат Ермолай, пьяница и душегуб, любовник жены, который отрывает ее от дела, мутит все в доме и разоряет и от которого ни муж, ни жена отделаться не могут: оба боятся его, а жена, кроме того, привыкла к нему, жила с ним три года... По природе добрый, Филипп ничего не может поделать в этом содоме. Иногда даже сам подгуляет «на свои» с женой и любовником.

— Нет ли рюмочки, ваше благородие, солдату? — продолжает он хотя и с оттенком шутки, но уже совершенно болезненно. — Ей-богу! что ни сдумаю, что ни сгадаю — н-на!.. Что же мне? Драться я не охотник: слава богу, на войне, по приказу, дрался, а самому охоты нету!.. Да и не слажу я с этаким верзилой... Гляньте-ко: Еруслан! Звезданет по уху — дух вон! И подожжечь избу для него все одно — тьфу! Этакой собаке что угодно можно...

Выпив рюмку, он как будто приободряется и, повидимому желая отплатить за нее, как будто беззаботно говорит:

— Аль у вас печки не топили еще?.. Что же это вы, ваше благородие, не скажете? Да я вам ее раскалю духом-с! Какой холод... как можно?

Печка затапливается среди разговоров совершенно посторонних: о дровах, о дороговизне, о доброте барыни; но когда она, наконец, разгорелась, солдат уселся на полу около нее и уже не свернет никуда с повествования о своей участи.

— ...И по дому-то, ваше благородие, — болезненно лепечет он, — ежели что — и то она с неумелых-то рук до поту бьется! Иная бы вот как обернула, а она мечется, покуда вот этак-то за сердце схватится да на бок... Больная-с, куда ей! Девчонка полоумная, как ворон глазами пучит из-за печки... Опять слабость ейная, бьется-бьется, а Ермолка гакнул: «пойдем!» — идет! выпьет, раскиснет. Моего веку немного осталось... Скоро поколею, все одно! Ну и что хошь! Что и сам с хромой ногой наладишь — все тож прахом! Да и ладить-то не приходится... Целовальнику и посейчас из-за избы-то по шею задолжал... Поглядит, поглядит, да, пожалуй, и отымет избу-то. Прочие соседи рекомендуют: «бей!»... Ах, господи! Не могу я, старый человек, на это польститься! Она и так чуть ходит, боже мой!

Солдат помешает в печи кочергой, помолчит и снова тянет свою историю.

— Подумаешь, подумаешь, — говорит он в раздумье, — а выходит так, что не минешь, пожалуй, напишешь государю императору письмецо! .. Пожалуй, что не обойдешься! Обидно, обидно в эдаком виде себя представлять, а пожалуй, что придется попроситься, христа ради, в богадельню!

Но в этих намерениях несчастный солдат, очевидно, не находит успокоения. Собираясь уходить, он снова приходит к мысли, что камень да бучило — хорошие, единственные средства для его спасения.

Солдат ушел. Настала ночь, тишина и темь; степной ревучий ветер, облетая с шумом стены моего жилья, доносит множество самых тревожных звуков, в которых слышен и как бы набат отдаленный и неумолкаемый, и волны, и крик... История солдата, подновляемая новыми событиями, вместе с шумом ветра долго не дает заснуть.

Скоро к нашему обществу присоединилось новое лицо. Барыня взяла ко мне в служители некоторого человека, по имени Ивана.

Иван был корявый человек небольшого роста с рябым, некрасивым лицом, большим щучьим ртом и неприятными глазами, из которых на одном сидело громаднейшее бельмо, а в другом мелькало нечто трусливо-наглое и робко-лукавое. Барыня из милости и сострадания взяла его только до весны, так как весной Иван хотел идти в соловецкие монастыри и поступить в монахи: «хошь безделицу для души похлопочу», объяснял он это намерение, стараясь низвести свою хрипоту до степени голоса младенца. Серый глаз, нырявший при этом из угла в угол и, казалось, не знавший, куда деться, и поддельный голос могли привести к заключению, что человек этот питает какие-нибудь нечистые намерения. Но это было не так. Иван просто был пьяница, пьянствовавший сряду тринадцать лет, допившийся до постоянных галлюцинаций, которые не покидали его и в трезвом виде и почти убедили его, что он продал свою душу дьяволу на тридцать лет. Он так привык быть в обществе бесов, что в трезвом

виде не знал, о чем разговаривать, и плел в оправдание свое такой вздор, который, судя по глазу, нырявшему из угла в угол, казалось, удивлял его самого. Так, например, объясняя, почему он сидел шесть месяцев в рабочем доме, он обвинял в этом жену и чиновников, у которых та тринадцатый год живет в няньках в губернском городе, и выражал это обвинение так: «Они, ваше благородие, хотели, чтоб я был вором-с... да-с! А я им согласия не дал-с! Потому я никогда матушки царицы небесной не забуду... да-с! Пущай это им будет известно, свиньям!.. чтоб я был вором-с!» Кроткая хрипота, которою говорились подобные фразы, отнюдь не соответствовала тому реву и безобразничанью, которое Иван обнаруживал в пьяном виде... Судя по этим проявлениям, можно было видеть, что в молодости Иван был великий самодур. Начав свою карьеру маляром, он в короткое время пошел так блистательно, что даже женился на хозяйской дочери. Такой неслыханный успех развил его самодурство до громадных размеров; но в ту же минуту Иван, полагавший себя на высоте своевольства, получил неожиданный удар: жена не прожила с ним двух месяцев, как ушла к родным, а потом поступила нянькой в хороший купеческий дом. Иван «на зло» стал пьянствовать и безобразничать, полагая этим кому-то насолить; но на жену это не действовало. Она жила в купеческом доме, копила деньгу и умела при помощи хозяев сажать Ивана в часть, в рабочий дом всякий раз, когда он являлся требовать к себе ее или денег. Скромная женская практичность повалила эту громаду самодурства: Иван мало-помалу дошел до убеждения, что он в дураках, но вернуться на путь благоразумия снова уже не мог. Пьяница из него вышел совершеннейший. Заручившись копейкой от доброхотного дателя и окурком папиросы, он без зазрения делал всякие гадости на улицах, перед окнами, перед прохожими; ругательства его в это время раздавались на три квартала. Если же заручки не было, то, отыскивая доброхотного дателя, он умел вдруг упасть перед прохожим купцом в грязь, мычать, чавкая ртом, как немой, рвать на груди кожу, драть лохмотья халата, смотреть в небо выкатившимся бельмом — и сразу поднимался с земли, когда копейка попадала в ладонь. Доброхотный датель обыкновенно не успевал дойти до угла, сделать пяти

шагов, как за минуту рыдавший Иван, рассмотрев даяние, оскаливал свой щучий рот и обдавал доброхота на три квартала полновеснейшим ругательством.

Из города, где жила его жена, его выжили, и он шатался кое-где, то задумывая работать, то идти в монахи. Последнее намерение брало верх, ибо нервное расстройство от множества белых горячек достигло высшей степени. По его рассказам, бесы познакомились с ним лет двенадцать тому назад; сначала был «приставлен» к нему один, который начал с того, что уговорил Ивана отхватить ножом собственный палец. Иван это исполнил, и с тех пор за ним ежеминутно шатаются двое и делают с ним, что хотят; так — они примутся его «сбивать с ноги». Кричат: «держи левую ногу! эй, левую ногу держи!» Иван держит и попадает в яму со всякою нечистью. Они водят его целые ночи по разным вертепам, показывая пьяниц, которые лежат в темном подвале, как дрова, заплесневелые и зеленые, и от них несет холодом, от которого у Ивана захватывает дух... Приводят его к морю гущи, из которой торчат головы и вопиют: «Ваня! вот «которое» нам будет за трубочки с табаком да за водочки!» Во время таких путешествий поминутно попадаются собаки с человеческими лицами, которые его спрашивают: «где твой ангел?» и начинают ругать, а жену хвалить. Стоит ему заглянуть в какой-нибудь угол, — и там тотчас же вырастают носы по пяти сажен длины и тоже ругают. Однажды Иван валялся пьяный около корыта, где мок в овсянке овчинный рукав; этот рукав целую ночь ругал его: «камбала!», очевидно, намекая на его кривой глаз. Несколько раз неизвестные люди хотели его украсть, а на место его положить «пса», которого прятали под полой и на голову которого надевали Иванову шапку «для сходства». В ужасе от таких сцен он обращался к богу, бросался в церковь и начинал бить поклоны; но угодники отмахивались от него руками, говоря: «не нужно! не надо! вон пошел!» Лик божией матери чернел и уходил вглубь, а глаза белели. Иван распростирался на земле; но из полу прямо в рот ему лезли трубочки с табаком, и какие-то люди жгли ему пятки, говоря: «поддай ему жару! он мать проклял родную!» Бывали минуты глубочайшего отчаяния; но выручали те же расстроенные нервы: в самом страшном приливе

тоски ему вдруг являлось в небе видение — крест и евангелие, или под ногами распростиралось небо со звездами, и Иван восклицал: «Матушка, царица небесная! Никогда я тебя не забуду! Стало быть, поживем еще маленечко!» И начинал ту же историю вновь.

К нам Иван поступил в припадке величайшего уныния и, боясь быть выгнанным, покуда не пил, не переставая, однако же, слышать голоса, проклинавшие его и выходившие откуда-нибудь из графина или с потолка. Иногда неожиданно он совал в щель между половицами папиросу, так как солнечный луч, ударявший в пол, представлялся ему в виде головы, которая говорила: «нет ли покурить?» Ночью галлюцинации увеличивались до последней степени; стоило погасить свечу, стоило Ивану остаться в темноте, задремать, как тотчас же начинались таинственные явления.

— Прочь! — кричит Иван в темной комнате. — Убью, как собаку! Пес эдакой!

Иван вскакивает и бросается куда-то.

— Иван, Иван! — кричу я. — Куда ты?

Окрик останавливает его.

— Ах ты, господи, боже мой, — кричит он, опускаясь на пол. — А-а-а! Замучили они меня, черти проклятые! Смерть моя! Сейчас хотел бежать за топором, убить его... Как же, помилуйте, которую ночь пристает: «Ты душу мне продал. Пойдем!» Ах ты, шельма, сволочь!

Иван тяжело дышит и долго сидит в большом волнении.

— Действительно, — говорит он, как бы что-то соображая, — однова был торг, торговались. Ну, тогда обман вышел, это я верно знаю, потому что я ему тогда согласия не дал! Верно! Я ему говорю: «Поди к купцу Брускову... (на площади дом-с)... выноси деньги... пятьдесят серебром...» А он в ту пору уперся: «Обругай, говорит, нечистыми словами храмы божии, тогда вынесу!» Ну, а я ему наплевал на это, потому храмов божиих мне ругать неохота. Это я верно — вот как — знаю!.. Еще свою шапку тогда продал, а от него не брал ни гроша медного... Каков есть грош... Ах ты, собака поганая! Что тут делать? «Продал» — да и шабаш!

— Ты к доктору, Иван, сходи...

— Были-с, ну, пожалуй, что тут докторам-то не ухватить! — шепчет и хрипит Иван со вздохом и, помолчав, прибавляет еще более глубоким шопотом: — тут дело-то помудреней будет-с! Сказать по совести, а ведь я, ваше благородие, шесть недель креста на шее не имел, утерял, вот в чем-с! Так тут доктора не могут-с... Уж ежели шесть недель без креста я прошатался, то уж, сами знаете, все одно — татарин, собачье мясо, некрещеный! Тут не доктор-с, тут к митрополиту надо писать, чтоб по крайности хошь перемазали бы...

Иван долго рассуждал на эту тему и, уходя, говорит предупредительно:

— Вы, ваше благородие, замыкайте дверь... Неравно что со мной... Шут его знает!

Иногда я запираю дверь; но шум и крик Ивана вместе с ветром, который звонит и хлещет, не дают мне покою.

11

«С появлением Ивана разговоры у печки сделались гораздо продолжительнее, так как к тоскливым жалобам хромоногого солдата на свою семейную каторгу присоединились жалобы Ивана. И хотя несчастия последнего несколько разнились от несчастий солдата, но они сделались дружными собеседниками, благодаря тому, что Иван, подобно солдату, тоже хотел собраться да «шепнуть государю императору словечка два», и еще благодаря тому, что Ивану, познакомившемуся с делами хромого, была полная возможность излить свою ненависть на собственную жену, которую он ненавидел.

— Я, брат, знаю их, каковы они, жены-то наши! — хрипел Иван, сидя на полу у печки против солдата. — Они ловки нашего брата в землю по самую по шею забивать! Ты у меня спроси-и: что я был и что стал?

— Да уж что!

— Да-а! Знаешь Константинова, Петра?

— Ну?

— Ну первый маляр по губернии? Пять домов?

— Ну?

— Ну я его по щекам бил!

Сказав это, Иван торжественно замолкает, сверкая на нас глазами.

— Я своими ручками бил его по морде! Ученик он мой был, видишь вот! Поди спроси у него: сколько, мол, раз Иван Лазарев вам голову прошибал? Поди! — что он тебе скажет? А теперь я сам у него копеечки напрошусь! Он — миллионщик, а я... Вот они бабы-то!

Солдат вздыхает.

— У меня тридцать человек рабочих пикнуть не смели! У меня... ах! Ах, бож-же мой! — вдруг обрывая гневную речь, как бы от сильной боли хватаясь за ухо, стонет Иван. — А-ах, как завы-ыл!..

— Кто? кто такой?

— Да кто же?.. Пошел из-за спины, завы-ыл, завыл так, альни под сердце подвернуло! Ах, боже милостивый!

— Да это ветер! что ты? — успокоивал солдат.

— Знаем мы его, какой он ветер! Учены очень! — говорит Иван, мало-помалу освобождаясь от видения. — Они, жены-то, довольно хорошо нас этому обучили, слава богу! Прраклятые!..

Несмотря на добродушие солдата, несмотря на его полное понимание невозможности поправить что-нибудь в своем положении, открытая вражда Ивана к жене, подкрепляемая аргументами, подобными вышеприведенным, действовала на солдата весьма странным образом.

— Да что ж, ей-богу, — стал поговаривать он, — терпишь, терпишь... Сегодня вот опять вломился: «посылай!»

— Ермолка, что ль? — спрашивал Иван.

— Стало, он!

— По шее его! Больше ничего, одно! Дуй, как собаку!.. — советовал Иван гневно.

— Да что же в самом деле? Мне тоже требуется свой покой, право, ей-богу! «Ты, Ермолай, хушь бы подумал, говорю, ведь и ты тоже, чай, будешь на суде-то?..» — «Посылай!..» — только и слов... И жена: «Пошли, Филиппушка, нам, пропащим!» Уж я посылал, посылал...

— Ловки они нашего брата разорять, собаки. Огреть хорошенько — да и сказ!

— Да что в самом деле! — как-то неопределенно произносил солдат, обращаясь ко мне и не то жалуясь, не то соглашаясь.

В таких разговорах мы проводили время, ожидая, не получшает ли нам всем, не перестанет ли непогода, не начнутся ли выборы. Ни того, ни другого, ни третьего покуда не случилось; только история господского сюртука, изображаемая хромым солдатом, выяснялась все более и более, делаясь от этого необыкновенно мучительной. Однажды, в бессонную ночь, поднявшись к окну за табаком, я случайно увидел Ермолая, который прошел под моим окном по грязи, без шапки, с растрепанными по ветру волосами и распоясанной рубахой. Он шел медленно и считал на ладони медные деньги... Вслед за ним проплелась, завернувшись с головой в рваную свиту, сгорбленная и, судя по походке, крайне изможденная жена солдата; она плелась босиком, хромая на одну ногу, обвязанную грязной тряпкой, и, повидимому, шла, куда глаза глядят. После этой сцены мне было весьма тяжело слушать негодующие вопросы солдата вроде: «Да что ж в самом деле?», как бы грозившие чем-то этой замученной женщине. Но благодаря простодушию и доброте солдата, низводившим этот вопрос только до степени глубокого вздоха, никто из нас троих не предполагал, что из этого что-нибудь выйдет.

А между тем это «что-нибудь» вышло, и подзадоривания Иваном солдата разрешились совершенно неожиданно.

Однажды, занимаясь в школе, я слышал, как хромой солдат вошел в мою комнату, толковал довольно громко о чем-то с Иваном и потом ушел куда-то вместе с ним: в последнее время солдат охотно водил Ивана в кабачок выпить рюмочку, и возвращались они скоро, боясь рассердить барыню; но в этот раз пропали на целый день.

Господский кучер, принесший мне обед вместо Ивана, на расспросы о нем объявил, что он вместе с хромым солдатом погнался куда-то за ворами.

— За какими ворами?

— Да за Ермолкой, за полюбовником жениным. В прошлую ночь ночевал он у них... Ну и стянул,

увместях с Феколкой, деньги солдатские... Руп, что лито.. И ушли вместе с бабой куды-сь... Надо быть, на прощоновские колодези... Солдат-то хватился поутру, ан денег нет, а они с бабой ушли! Ну и погнал вдогонку. Да что, глупый совсем старик! Куды ему отнять? Это его Ванька поджег, он бы сам ни вовек — куда ему! А они, вашскбродие, в кабаке сначала зарядились, солдат-то накатился, боже мой, как! Мужика нанял — во весь дух!.. Барыня им попались — в город ехали, так даже очень удивились этому, что такое со стариком? Ей-богу-с!

Это известие весьма удивило меня.

— И стоит за этакой сволочью гнаться! На его месте я бы сам ей руп дал: иди, любезная, право. Что за такой, за паскудиной таскаться? Известная потаскуха, бродяга... Пирожное еще будет, ваше благородие!

Долго просидел я в этот вечер у Ивана Николаича и когда воротился, то нашел Ивана мертвецки пьяным. Он был весь в грязи и валялся в передней без чувств; рубаха его была изорвана, а лицо и руки покрыты ссадинами и синяками. Мне просто страшно сделалось в компании с ним. Очевидно, что было большое пьянство, большая драка, разыгралось какое-то невероятное буйство, в котором сорвано множество обид и огорчений.

Ранним утром, чуть свет, я был разбужен торопливым и нетерпеливым стуком в дверь, разбудившим даже Ивана.

— Погодишь, не умрешь! — рыча с похмелья и отворяя крючок у двери, бормотал он.

В передней застучала деревяшка солдата.

— Эко грохаешь! — хрипел Иван; но солдат ему не отвечал и прямо вошел ко мне.

На нем лица не было.

— Что с тобой?

— В дому не чисто, ваше высокоблагородие! — пролепетал он, вытянувшись в струну и как бы задыхаясь.

— Что такое?

— Очень не чисто, ваше благородие, жена померла!

— Ай померла?— воскликнул Иван в великом испуге.

— Померла! — прошептал солдат. — Ну не очень чисто скончалась... Очень... неаккуратно...

— Да в чем дело? Будет, говори!

Несмотря на испуг и трепет, солдат кое-как объяснил, что вчерашнего числа, после того как они с Иваном «выволокли» жену из прощоновского кабака, солдат привез ее домой, ругая дорогой, говоря ей, что она довела его, старого человека, до того, что он подрался, подрался из-за того, что она обокрала его, нищего, унесла последнее... Жена все молчала. Приехав домой, он взвалил ее на печь и сам лег туда же, предварительно привязав одним концом веревки за дверь, чтобы кто не вошел, а другой конец с пьяных глаз взял с собой на печку, обвязал им женину ногу и крепко держал веревку в руке, чтобы проснуться, когда она побежит. Жениной девчонке, которую тоже ударил несколько раз, он наказал смотреть за мамкой, ежели сам задремлет.

В глухую ночь он слышал пронзительный крик — голос походил на девчонкин, но очнуться не мог, потому что голова «дюже» была тяжела.

— Прочухался под утро, — шептал солдат. — Глянул к полатям... ан она... и веревка эта самая!

— Ах, дело-то не чистое! — хрипел Иван, очнувшись от хмеля. — А-а, братец ты мой!

— Очень не чистое дело!

Все мы помолчали.

— Эх, водочка-а, матушка! — утирая градом полившиеся слезы, говорил солдат: — два раза я от тебя погибель имею, под шапку из-за тебя попал... теперь, может, душу...

— Ах, бедовое дело! — охал Иван. — Девчонка-то что ейная?

— Убегла девчонка! .. Кабы не пьян был, я б окликнул.. Она, надо быть, видела, как мать-то... ну и убегла. Как не убечь!

Солдат был крепко убит и почти не разговаривал с Иваном.

Почему-то мы сочли нужным пойти на место происшествия. В селе уже знали о нем. У дверей изб толпились женщины, закутавшись от дождя свитами. Редкая из них осмелилась подступить к толпе мужчин, обступивших солдатскую избу в глубоком молчании

— Эй! Хромой! — послышалось с солдатского двора, когда мы все трое подходили к нему. — Где ты шатаешься, старый пес? Иди!

Это кричал Ермолай.

— Нашел время шататься! — продолжал он. — Тоже порядок спросят... Надо ее выволочь оттеда, для господ... для воздуха. Эй, ребята! помоги!

Какой-то старичок, на лице которого выражалось полное убеждение, что это дело мирское и его оставить нельзя, отделился из толпы; вместе с хромым солдатом они вошли в избу. Скоро оттуда вылетела на двор веревка.

— Пожалуй что утрафишь в хорошее место из-за этого дела! — толковал Иван в ожидании следствия и сам же отвечал на это: — куда угодно! в Сибири — тоже люди, и рад-радехонек!

Но этот ответ не успокоивал его, да и не один Иван, все село было в величайшей тревоге. Собственно страшен был не суд, не начальство, а та какая-то беспредельная тоска, которая сразу навалилась на всех после этого происшествия. Что-то тяжелое висело над головами всех и не давало покою. По ночам можно было заметить огоньки, чего прежде не было, что бывает, когда грозит туча, несчастие. Солдат два дня стоял на карауле при жене и не показывался, ожидая начальства. Иван не посещал его и, испытывая общий душевный ужас, мучился ночью более обыкновенного.

— Что, ваше благородие! — говорил он, тихонько пробираясь ко мне. — Как ни вертись, а надо быть, что промахнул я *им* душу-то! По совести сказать, чудится мне, что и в другой раз мы с ним торговались... Тут уж он мне: «Что угодно! Не токмо храмы божии, а хушь, говорит, дрова обругай, соглашусь!» Тут-то, должно быть, я и ахнул... Должно быть, что так! Потому и им не из чего звать попусту... Уж ежели кричат: «пойдем», стало быть, что-нибудь есть! Ничего не сделаешь!.. Коли, бог даст, отверчусь от этого дела, надо писать просьбу. Надо!

Наконец всем полегчало: приехало начальство: судебный следователь, лекарь и фельдшер с ящиком анато-

мических инструментов. Толпа около солдатской избы собралась громадная; на этот раз даже бабы, поодаль от мужиков, образовали довольно порядочную группу. Посреди двора возвышался шалаш, забросанный соломой, под которым лежала покойница. У ворот плетня стояли без шапок солдат и Ермолай, оба застегнувшись на все уцелевшие пуговицы. Трезвое лицо Ермолая было обыкновенное, форменное, солдатское лицо; только разбойничьи глаза его как будто стали меньше; он как-то хитро поглядывал ими и видимо робел... Хромой солдат был уныл и как будто отощал; тем не менее косицы его были приглажены, а когда подошло начальство, то вместе с Ермолаем он совершенно по-солдатски произнес:

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие!

— Здравствуйте, ребята! — сказал следователь, взглянув на вытянувшегося и бледного солдата. — Староста! Сафрон!

— Староста! Эй! Иди! — гудели в толпе.

— Самоварчик, брат, нельзя ли... а?

— Можно-с!

— Пожалуйста, поскорей... Ступай! Так это твоя жена-то?

— Так точно, ваше высокоблагородие, наша-с! — отвечали Ермолай и солдат вместе.

— Иван Петрович, — перебил лекарь, — скажите, чтоб и яиц всмятку.

— Эй, Сафрон, Сафрон!

Такой разговор облегчил душу солдата, ибо, очевидно, не приговаривал его к смерти; он поправил деревяшку и кашлянул. Вообще судьи, видимо, не имели намерения чем-нибудь страшить этот народ. Повидимому, такие трагические развязки истории господских сюртуков были для них вещью столь же обыкновенною, как обыкновенны они и в самой действительности. Они уселись на бревнушках и обрубках, достали карандаши, бумагу, велели открыть покойницу, при виде которой толпа шатнулась назад. Лекарь и фельдшер стали приготовлять место для анатомирования, требовали воду, лавку и проч., а судебный следователь понемногу расспрашивал народ.

— Гак распутничала? — спрашивал следователь.

— Было-с. . . — говорил свидетель.

— Точно, ваше благородие... Весьма по глупости своей... Большая была неряха!

— Ты что скажешь?

— Больше ничего-с! Непорядочная была-с покойница...

— Ничем не жаловалась?

— Кто ж ее знает? это надо у баб спросить... Эй, бабы, подь сюда!..

Бабы убежали прочь.

— Сердцем, ваше благородие, жаловалась, — произносит хромой солдат: — схватится так-то и упадет...

— Сердцем? Ну еще не можешь ли что-нибудь сообщить?

— Что ж, ваше благородие? — говорил солдат убитым голосом... — Жили дружно-с... Больше ничего... Что уж!

— Ты кто такой?

— Отставной-с... Что ж, дело божие! Ево воля... Моей причины нету; служил царю чисто — двадцать лет отслужил...

— Да ты сядь, старик, — говорит следователь.

— Постоим, ваше высокородие! — просветляясь от ласкового слова, говорит солдат веселее. — Я двадцать лет стоял-с, привык-с. Во дворцах стаивали...

— Во дворцах? — закуривая папироску, переспрашивает следователь.

— Как же-с! В тиатре тоже и во дворцах. Тут стоишь, дыхания своего не слышишь, не шевельнешься... Однова во дворце задремал, да и уронил ружье, так думал — умру-с!

— Как же можно! — поддакнул Ермолай.

— Как пошло по царским покоям ухать-с, от удара... так!..

— Эй, ну-ка поди сюда! — перебивает солдата лекарь: — подними-ка покойницу-то!

— Выволочь ее оттедова прикажете? — вызывается Ермолай.

Покойницу тащат на лавку; солдат помогает нести ее за ногу, Ермолай взял ее подмышки. Проходя мимо следователя и находясь под страхом суда, он желает заслужить у барина и ласково говорит:

— На карауле, вашескбродие, большая строгость! Теперича в Итальянской опере стоишь — ровно железный сделаешься... навзничь прикажете?..

— Клади навзничь.

— Слушаю-с!

— Ты кто такой? — обращается следователь к Ермолаю.

— Бессрочный... Ермолай Семенов.

— Ну ты что?

— Да что ж, ваше высокоблагородие? Что народ-с... Недаром он про нее... Что было, то было! — произносит Ермолай с умышленною ласковостью.

— Распутничала?

— И весьма-с! Что правда, то правда... Утаить нельзя... Поведение имела вредное...

Ермолай взглядывал на хромого, но тот молчал и стоял навытяжку.

Допрос продолжался, и никого виновного, кроме собственной глупости бабы, в ее самовольной кончине не нашлось. Затем покойницу вымерили вдоль и поперек и изобразили все это в аршинах и вершках; развязали тряпки, которыми были обвязаны ее пальцы на руке и на ноге, и узнали, что руку она разбила кирпичом во время поденщины, а ногу зашибла ей скотина во время работы. Слово «работа» стало звучать в устах свидетелей столь же часто, как и «распутство». Все это хотя и не убавляло мнения насчет глупости бабы, но тем не менее было записано, и затем приступлено к анатомированию.

— Десятый час! — говорил доктор фельдшеру.

— Сию минуту, сию минуту! — торопился фельдшер, вытирая тряпкою пилу.

Скоро слух зрителей был в высшей степени неприятно поражен скрипом пилы по черепу безжизненно мотавшейся головы. И вместе с этим звуком вдруг откуда-то раздался пронзительный краткий детский крик.

— Девочка кричит! — зашумел народ. — Догоните, братцы!.. Уйдет!

— Для начальства-а-а-а!..

Несколько человек бросились отыскивать девочку, но не нашли.

Крик ее был так краток, что нельзя было с точностью определить места, откуда он раздался.

Скоро следствие кончилось.

— Проворней, ребятки, проворней! — торопливо моя в ушате руки, говорил фельдшер: — собирай мозги-то. да не руками! Прикинется болеть, дурак! .. Солому возьми в руки, да так с соломой и вали в нутро... Зашьется! .. Все одно — прах! ..

Судебный следователь и доктор ушли, не дождавшись фельдшера...

— У твоей жены ожирение сердца, — сказал следователь солдату, уходя: — начальство принимает это в уважение...

— Слушаю, ваше высокоблагородие!

— Я похлопочу, нельзя ли будет предать ее земле по христианскому обряду... Не тужи!

— Что уж тужить, вашскобродие? На христианстве благодарим, а что... все одно! Тут мне жить не место...

— Отчего же?

— Сами знаете, место опоганено... Что ж! Не усидишь...

— В этакой-то погани, вашескбродие! — подбавил Ермолай.

Следователь сказал еще что-то успокоительное и ушел.

— Куда ты, старый хрен, уйдешь? — осторожно подходя к солдату, прохрипел Иван: — много ты с костылем ухватишь?

— Да уж надо! Так ли, сяк ли, а не будет дела на поганом месте...

— Дура-а! — продолжал Иван. — Давай-ко лучше вместе возьмемся... Погляди, как делами зашевелим!

— Опоганено! — сказал солдат.

— Ну, а девчонка? ..

— Нешто она моя? Пущай родители получают... Я сам калека... Да, пожалуй, и девчонка уважит не хуже матки... Ну их! ..

— Кабы наша была, — сказал Ермолай: — все-таки нельзя оставить... Будет вам балакать-то... Пойдем, хромой! .. Ночку выстояли, росинки во рту не было... Пойдем!

Все начали понемногу расходиться.

12

«Покойницу зарыли, перекрестились и замолкли о ней совершенно.

Продолжительные страдания исчезли, таким образом, бесплодно, не оставив ни одной капли вражды к причине их. Не испытав и сотой доли этих страданий, я, признаюсь, не мог вполне ясно и отчетливо представить и понять их глубину; но благодаря кратким и редким разговорам солдата и встречам я видел, что они велики, выше всего, что таится в этих затылках, жаждущих быть разбитыми для собственной пользы, и вообще во всех этих пришибленных существах. Веревка, которую я видел на дворе солдата, говорила мне, что ею прекращена такая нравственная боль, при которой утрачивалась надежда на какое бы то ни было избавление. И от всего этого мне стало как-то жутко... «Неужели, — думалось мне: — даже такие страдания не оставляют ничего кроме молчания, бесследно уходят в землю, только страшат и еще ниже пригибают головы?»

Я считал это ответом на тот вопрос, который задавал себе, едучи в деревню, относительно работы темной мысли над своим положением... Пожалуй, и теперь я не подыщу другого ответа; но одна неожиданная встреча, происшедшая спустя несколько дней после кончины солдатской жены, сделала этот ответ несколько менее безотрадным.

Я расскажу эту встречу.

Мне давно хотелось поглядеть на девочку, оставшуюся после покойной, как на экстракт всей массы страданий во всей этой истории. Я поджидал к себе солдата, чтобы сказать ему об этом: но солдат, находясь под пьяным влиянием Ивана и Ермолая, сам загулял и во хмелю спустил избу целовальнику, укрепившись в намерении идти «куда-то»...

— Вашбродь! — кричал он однажды, выйдя из кабака без шапки, когда я шел к Ивану Николаичу: — пожалуйте рассудить дело! В честную компанию.

В кабаке было много народу, и все почему-то засмеялись, когда мы вошли.

— Ладно, ладно! — говорил солдат всем. — Я своего дела не оставлю... Я это все ворочу!.. Вашбродь!

Отвечайте нам: могу я целовальника засудить? Тепериче хочу я судами деньги наживать... дело мое пустое вышло...

— Ну засуди! — сказал целовальник.

— Изволь, — как бы с охотой сказал солдат. — Изволь, друг ты мой... Барин, глядите, так ли будет?

Тут солдат как-то установил себя с деревяшкой перед стойкой, как перед судьей, и сказал целовальнику:

— Позвольте с вас взыскать сто серебром...

Все покатились со смеху.

— За что?

— А я вам сейчас объясню... Погоди грохотать-то! Примали вы мой дом, а там у меня часы остались... оптические... Пожалуйте!..

— Это какие оптические?

— Больше ничего — серебряные с двумя доскам... Штучка маловатая, а цена ей — сто целковых. Вынимай деньги! Вышло ай нет? Барин! — обратился солдат к публике и ко мне, выходя из позы истца.

Со смехом ему ответили, что не вышло...

— Ах, в рот те галку!.. Ну постой, я другую.

— Да будет тебе, крупа! — сказал целовальник, стукнув его по затылку. — Пропивай остачу-то да ступай на ярмарку, причитай: «безногому...» Судиться!

— Ну да ладно, — начал было солдат, повидимому намереваясь разыграть новую сцену, однако остановился и сказал: — а что, братец, ведь и так на ярмарку, пожалуй, ударишься? Барин! Пожалуй, что не сходней ли будет этак-то?.. «А-а, без-ру-укам-му, а-а, биз-זно-гам-му», — пропел он, как поют нищие, громко и отчаянно.

— Вот так-то!.. — одобрил целовальник среди смеха публики. — Как есть нищий!

— Да и так нищий, — подтвердили в толпе. — И зачем избу продал, старый шут?

— Что ему в избе-то делать, хромому, — сказал целовальник и прибавил, обращаясь к солдату: — допивай, что ли, остачу-то.

— Уж и велика же остача!.. — слышалось в толпе.

На следующий день, когда мы с Иваном Николаичем собирались ехать в город, на двор вошел солдат и попросился с нами.

— Есть слушок, будто в части девчонка-то, — сказал он. — Все надыть поискать. .

По всей вероятности, он уже успел истратить «остачу» от дома, взятого целовальником, был трезв, грустен, жалел об избе и не знал, что с собой делать...

— А пожалуй, что по ярмаркам пойдешь... с девчонкой-то, — говорил он в раздумье дорогой. — Ничего не сделаешь!

Мы приехали в город под вечер и прямо отправились в часть. У разрушенного каменного подъезда ветхого и ободранного здания части мы встретили пожарного солдата, который курил трубку и сквозь зубы бурчал: «нельзя!», относя эти слова к нескольким обывателям, стоявшим близ него.

— Блаженная? — отнесся он к нам. — Здесь! Надо к частному идти...

— Ну будет ломаться-то! — прервал его Иван Николаич: — авось и на пятачок выпьешь!

И дал ему пятачок. Солдат снял кепи и произнес:

— Дай бог ей, очень она нас выручает, блаженная эта. Вот двое суток, как нашли ее: нет-нет — и попадает безделица... А очень любопытствуют видеть...

По приметам блаженная оказалась солдаткиной дочерью. Ее поймали на дороге какие-то мужики и доставили в часть. Рассказывая историю находки, солдат вел нас по темному узкому коридору с ямами в каменном полу и с отвратительным казарменным запахом.

— Она у нас в темной сидит... — объяснил солдат. — Многие обижаются, что, например, блаженная, ну начальство... сами знаете... Вот тут!

Мы очутились перед маленькой запертой дверью, в которой было прорезано небольшое четвероугольное окно; солдат снял фуражку, просунул туда голову и шопотом сказал:

— Машутка, здесь ты? ..

Ответа не было, только кто-то завозился в темноте. Солдат повторил вопрос.

— Жиды пришли? .. — послышался изможденный и донельзя слабый детский голос.

— Я, я, Филипп пришел! .. — говорил солдат робко.

— А у меня петух есть... — ответил голос и слабо, как самый маленький петушок, пропел: — «кукурику-у! ..»

— Тронулась девка-то! — вздохнув, сказал солдат и попросил у пожарного огарочка поглядеть.

— Все больше на жидах, — объяснил пожарный, зажигая огарок: — «жиды, говорит, Христа распяли, а петух запел — он и воскрес. . .»

— И воскрес! — ответил из тюрьмы больной и ласковый голос. — И матка. . .

Зажгли свечку, и солдат приотворил нам дверь в темную. Здесь в обществе пьяной бабы, которая спала на лавке спиной к нам, и совершенно трезвого мужика, молча сидевшего в уголке и покорно ожидавшего, «что будет», на полу, грязном и мокром, сидела Машутка. Жиденькие белые волоса падали, как попало, на голые плечи; худенькими руками крепко сжимала она какую-то грязную тряпку, из которой высовывался конец деревянной ложки. Она была в одной узкой и испачканной грязью рубашке.

— Питушок у мине. . . — лепетала она, прижимая тряпку к груди и глядя неподвижными, но не в меру оживленными глазами. — Запоет он — все передушитесь, жиды. . . Запой, запой жа-а. . . Ра-а-диминькай! . . Христос-то воскрес тады. . . Сю минутучку запоет. . . Бежите отсюда, жиды. . . Луччи вам убечь. . .

Девочка продолжала лепетать слова и фразы в таком роде, советуя нам уйти поскорее, потому что петух запоет сию минуту: — мать воскреснет, а мы все задушимся. . . Мы посмотрели на нее и с тяжелым сердцем пошли вон, не зная, что предпринять.

— Жаль и кинуть! — в раздумье тосковал солдат, когда мы вышли на улицу и остановились потолковать.

Среди такого раздумья к нам подошел полицейский солдат и еще кто-то из толпы.

— А, старина! — сказал Иван Николаич одному какому-то понурому старичку. — Цел еще?

Старичок не ответил, но поклонился Ивану Николаичу и стал около нас молча.

— Вы родитель ей будете? — сказал пожарный солдату.

— Да, пожалуй, что на то найдет. . .

— Так вы ее долго у нас не держите. . . Вот что я вам скажу: она блаженная — блаженная, а тоже кормить зря не будут. . . начальство — нельзя!

Солдат задумался.

— Ну, — сказал Иван Николаич: — думайте! Думай, старик, а то вышвырнут, хуже будет... Жаль ведь... Надумаете — идите к Миронову в лабаз, оттуда вместе тронемся.

Мы с солдатом стали думать. Понурый старичок стоял около нас и слушал. Солдат не мог придумать ничего лучше того, что рекомендовал ему целовальник: он хотел как-нибудь перезимовать зиму, а с весны положить блаженную в тележку и тронуться с нею по ярмаркам. Никакого другого, более практического плана для них обоих нельзя было придумать.

— Ничего не поделаешь, — порешив, заключил было солдат.

Но в это время понурый старичок не спеша тронулся с своего места и, поровнявшись с солдатом, глядя в землю, буркнул:

— Вот чего... Бросить это надо... Не приходится младенцев божиих по толкучкам таскать... Не подходит это, так-то-ся!

Руки старик держал назад и, говоря это медленно и с расстановкой, слегка подергивал плечом в одну сторону и не поднимал головы.

— Кормиться надо, старина!.. Душа просит прокорму, — сказал солдат.

— Корму хватит... От господа корм-то идет... А ежели ты имеешь веру, отдай блаженную нам... Прокорм будет! Не место толковать-то. в нумерок хушь...

Не дожидаясь ответа, старичок попрежнему медленной походкой пошел в сторону, направляясь, повидимому, к харчевне. Солдат охотно поплелся за ним, обрадованный неожиданным прокормом, и я не мог отстать от них, в первый раз услыхав сочувствие к невинным страдальцам, считаемым «блаженными», которых бросать не приходится.

Все трое мы вошли в грязную харчевню с заднего крыльца. В узеньком и низком коридоре, обклеенном какими-то канцелярскими бумагами, с маленькими дверьми в душные и грязные «особенные комнаты», стоял, разговаривая с половым, молодой красивый парень в отличнейшем полушубке, с гармонией в руках. Он, видимо, подгулял, был весел и не замечал, что картуз его сидел

на затылке козырьком набок. При появлении старичка он сунул гармонию половому, сдернул шапку и, сделав постную физиономию, тоном сидельца заговорил, обращаясь к старику:

— Изготовлено все-с! Пятнадцать пудов муки пшеничной, два ведра вина-с, масла...

Старичок взглянул на него и молча прошел в нумерок. Малый как будто трусил, оглянулся на смеющееся лицо полового и скромно уселся в уголке нумера. Мы трое разместились по бокам небольшого стола. Старик не претендовал на мое присутствие. Он долго копошился, усаживаясь, покряхтывал, пожевывал губами, поднимал и опускал седые брови и вообще серьезностью лица доказывал, что в голове у него есть нечто весьма важное, по крайней мере для него, хотя в глазах его, тусклых и маленьких, приметна была некоторая тупость. Мы все молчали и ждали, что будет. Солдат, повидимому, был отчасти изумлен тем, что об угощении не было и помину, хотя дело очевидно происходило в харчевне...

— Вот чего, служба, — заговорил старец, прекратив свои таинственные прелюдии: — отдай ты девочку нам...

— Кто вы будете?..

— Здешние, подгородние, прощоновские жители... И скажу я тебе, что девицу эту ты отдай нам, по тому случаю, что нам мученики требуются... Они наши пред господом заступники, а мы, прощоновские, главнее о небесном благополучии имеем попечение, а в земное веры у нас нету!..

— Не стоит того дело! — подвернув ловко обутую ногу под лавку, подтвердил молодой малый, сплюнул и тряхнул волосами.

Но старик ничем, даже взглядом, не одобрил этой сочувственной фразы молодца, а продолжал:

— Требуются нам предстатели и защитники на небеси по тому случаю, что на земли у нас их нету... Вер-но я говорю?

Нельзя было хоть отчасти не согласиться с этим взглядом старца, припомнив, что на земле бывают случаи, когда предстательствуют затылки.

— Что такое твоя девочка? Умудрил ли тебя господь понимать это дело? Дитё божие, ангел непорочный, мученица невинная... Следственно, ежели мы у господа

награду ищем, то отнюдь не можем оставлять ее зря... Отдай ты нам ее в обитель, ибо имеем мы обитель собственную, и угодник наш, новоявленный мученик Мирон, при нас тоже состоит...

Старик перекрестился; молодой малый, заслушавшийся было гармонии, вскочил и сделал то же.

— От него, Мирона мученика, получили мы в эфтом понятие, его слушаем и веруем. Отчего мы, простые христиане, всю жизнь муку видим, отчего между нами ссоры и драки, буйства и зависть? По тому случаю, что мы во грехе, на уме у нас мирское — как бы лучше, как бы сытнее, как бы больше... «Кого мы боимся? Боимся начальства, суда человеческого, а того не видим, что и он тоже во грехе и в блуде, и сам тоже норовит для мамоны... а не что-либо... На него ли положим надежду?» Его это слова! И было тогда нам сказано: «Бросьте все, припадите к богу: на земле, как мухи паскудные, перегибнете, а на небе награда будет». Оно так и выходит... Вот ты хром и нищ, — сказал старичок солдату, — на земное или на небесное ты надежду имел?

— Грешен! — сказал солдат: — собственно что для прокорму...

— Как же вы... — ласково и как бы укоризненно попытался произнесть молодой малый, но старец продолжал:

— Так оно и выходит! Послушай teпериче, что я тебе скажу... Неспроста мученик Мирон этак-то говаривал. От юности своей имел он большое понятие и к нашему мужицкому мирскому делу не подходил. «Господи! — возопил он единожды перед миром, когда его силком на тягло посадили. — Не могу я в браке быть... Дозволь служить тебе, но не дьяволу». И в ту же ночь господь супругу его прибрал... С этих пор мученик покинул мир и ушел в пустыню и пятнадцать лет лежал в шалаше на одном месте. Вбил он себе колья под кожу, по семи вершков длины, и так стало, что обросли те колья кожею, а ино место стали раны и язвы. Завелись в этих язвах черви, и ежели случится какой червь упадет оттуда, вывалится, то угодник его вторительно в язву кладет... И немало мы дивились, грешные, на этакого мученика. Видим мы: не имеет он грехов, ни блуда, ни пьянства, не жаден; за одно за это стали мы его почитать,

потому все те грехи мы оставить не можем... Видим мы, что и мучения и роптания наши тоже ничего супротив его не составляют: нам голодно, — а он голодней нас во сто раз; нам холодно, — а он голый под рогожей лежит!.. И стали мы ходить к нему. «Помолись о нас грешных... дай совет...» И тут говорит он на наши глупые мужицкие жалобы: «Век вы свой покою не сыщете, ежели вокруг себя искать будете... Не о земле, но о душе подумайте! Ты, говорит, бежишь жаловаться в волость на мужа, а ты на жену; наказывают вас и усмиряют, а лучше вам от этого не будет! А по-моему так: замешалось промежду вас земное, брось, уйди от него; позабудь земную обиду и защиту, а припади к богу, у него ищи...» Не видали мы на земле проку и ходили к нему. И носили ему от трудов своих: кто грошик, кто сколько, кто и так. Пятнадцать годов учил он нас, и бывало так, что уйдет жена от мужнего греха или сын от отцовской неправды, уйдут в пустыню... Ну слаба была вера, ворочались обратно из пустыни... на лютую жизнь. Видел это мученик и говорил: «Всех я вас спасу, ежели уверуете в слова мои...» На шестнадцатом году, в весну, полднями слышен был звон в небеси... «Отхожу!» сказал мученик. Вынул он в ту пору из-под кожи колья кровавые и роздал нам их... И взял сам один колышек, вбил его подле себя в землю и сказал: «Будет здесь колокол (стало быть, монастырь), ну не в скором времени, а сначала будет дом общий». И помер, ровно дитё, тихо. Тут и вышло, как он нас спас: все-то грошики, все копеечки — все в ямку зарыты, и набралось тех грошиков пятьсот рублей... Помня заповедь, стали строить дом. Теперь он готов, в два этажа, на две половины, мужскую и женскую. Стал к нам бежать народ, стали молиться о душе своей, и живем под богом... Работаем вместе, вместе кормимся... И тебя прокормим, да и о душе своей вспомнишь. Так-то! Вот мои слова.

— Ох, надо! — сказал солдат со вздохом.

— То-то надо! А девочку мы сохраним в покое, в угождении — потому надо нам веру поднять; вот что: стечение большое, надыть строить другую храмину, а без веры толку не будет... да опять и то сказать, случается и грех в обители... И молитва слаба... Да! Сразу нельзя... И угодник, по повелению его, перенесен нами

в обитель по осени, нониче для того ж. Сам он, батюшка, в видении объявил: «Скоро надыть мне прийти к вам, укоренить веру... Пущай на кости и язвы мои поглядят и укоренятся в молитве... не даром я мучился...» В ночное время его мы, друг любезный, приняли из могилы в нетлении; благоухание от него, друг ты мой, большое, надо говорить прямо; но открывать — не открываем: пусть придет синод, откроет с честью; такое дело без синоду делать нельзя, ждем ответу, а бумага давно послана!.. Так-то, служба. Тебя мы прокормим, а девочка блаженненькая — пример для нас, глупых... «Вот как, мол, мучаются, ежели у господа желают получить...» Ибо, говорю тебе, не имеем веры в земное, но молитвою желаем заслужить на небеси...

— Да по мне что же? — говорил солдат. — Хоть бы как пробиться.

— Лучше нашего места не будет! — тряхнув кудрями, произнес малый. — Поверьте!

Рассказ и философия старика показались мне несколько странными: я никак не мог примирить толков его о неусыпной молитве с веселым и румяным лицом молодого малого, который, очевидно, тоже принадлежал к обители. Мне хотелось потолковать с ним.

— Вы тоже в обители? — спросил я у него, когда солдат и понурый мужичок вышли из нумера, ибо солдат потребовал «по грехам» магарыча.

— Как же-с, слава богу, второй год... Живем — лучше не надо... ну молитва, по совести сказать, слаба...

— Слаба?

— Дюже слаба. И очень плоховатое моление!

— Почему же?

— Да изволите видеть, как вам сказать... Первое дело, по книжной части слабы, путаемся кое-как. Ну а другое опять... Я вам про себя скажу. Убег я к ним от отчима... Бедность и мучение от него — страсть! Убег я, думаю: «отдам душу богу! .» И другой этак-то, и третий, и женский пол... Собрались мы так-то, да как взялись работать не на себя, а на обитель, — ан у нас страсть что всего: пищу имеем хорошую, всего много; что в дому нуждался, в обители все есть — на! И блуд-с! — прошептал малый, прищуриваясь: — верно-с! Младенцы

даже появились... Ничего не сделаешь!.. Молитва-то пообслабела... Иван Федосеич, старичок-то, они главные у нас, серчают! «Вы, говорит, все больше о мамоне...» А по совести сказать, придешь с работы, поужинаешь, прямо на печь... Ну и грех! И бабы-с! Которая от мужа ушла, сейчас она уж... а не то, чтобы мучению себя предать... Ну Иван Федосеич и серчают... «Надо веру поднять... Слаба молитва». Чудаки они! — робко улыбнулся малый. — А что житье — лучше не надо!

— Зачем же вы вырыли Мирона?

— По той причине-с, что мирское нас оченно обуяло-с... Стали душу забывать, — Иван Федосеич объясняют... Оно и точно, грех... Вот и вырыли, чтобы к богу оборотить... Вот извольте поглядеть, каков полушубок?

Полушубок был отличный, романовский.

— Обительский... Сапоги теперича, шапка — всё обительские... Ежели б своей силой, ни во век не сбился бы завесть, а тут у всех... Потому что̀ выработаем, всё несем на всех. Полушубки-то завели, а душу-то позапамятовали! Вот и вырыли-с... А то на Илью один наш обительский подгулял, высунул голову в окно, да и кричит народу: «наш-то бог получше вашего... вот — что!» ну, а ведь это не ладно... потому зависть... Которые нашей вере не передались, страсть как завидуют. Так-то...

На расспросы мои молодой малый с удовольствием сообщил, что, положив посвятить жизнь делу небесному, они тем не менее кое-что уделяют и земному, то есть исправно взносят что следует, и начальство покуда их не трогает, тем более — что многие из деревенских начальников сами «передались» в их веру и отдали на построение обители свое имущество. Приходский батюшка не раз грозил им Сибирью, но покуда что, а не слыхать, «и не будет этого, — сказал малый уверенно, — потому что бумага послана прямо к митрополиту». К бумаге приложен акафист и житие Мирона, написанные дьячком и волостным писарем, «то есть ах как!» Писарь бросил жену, мещанку нехорошего поведения, и уже передался им; а дьячок все ходит к ним, попивает меды и брагу, жалуется на свою участь и поговаривает: «аль и мне передаться в измену?» Вообще оказывалось, что спасение

души покуда ничем не стесняется; что житье, слава богу, сытное; что недостает только настоящей веры да иноческого сану и всего «чину». Всего любопытнее было мне видеть, как сытное житье и спасение души, хорошие полушубки и загробные услады, путаясь в воображении малого, невольно выдавали его симпатии, склонявшиеся, главным образом, к полушубкам, к довольству и сытному житью... Во всей этой истории мне было весело видеть, что неудобства будничной жизни хотя смутно, но ценятся, и хотя темными путями, через гроба, загробную жизнь, самоумерщвление и самоистязание, все-таки выводят по временам к тому, что действительно нужно народу и без чего он раб и нищий.

— Барин! — прервал мои размышления молодой малый. — А что я вам скажу...

Он подсел ко мне и шопотом, почти над самым ухом, проговорил:

— А ну-ко, ваше благородие, да обман все это?

— Что такое обман?

— Да это, Мирон-то? Третью неделю мы его в обители держим, а ведь, по совести сказать, благоухания нету!

Я с изумлением смотрел на его как бы оробевшее лицо.

— Что вы скажете? Покуда из синоду бумаги не будет, открывать его не посмеем, а что попробовала у нас одна бабочка секретом туда заглянуть, говорит: «одна земля, все обман! не верьте! ..» Вот что поговаривают-то! Как бы, пожалуй, наше дело не вышло дрянь! ..

Малый весьма озабоченно тряхнул головой.

— Как дрянь? — сказал я. — Да ведь вам хорошо жить? Ты сам говоришь, что никто из вас так хорошо не жил дома, как здесь?

— Разговору нету об этом!

— Так, стало быть, стоит попрежнему только работать дружно!

— Тогда-то? — перебил меня малый. — Нет, не будет! Разбежимся все... Н-нет, барин! За угодником шли; за ним покой имели... Полагали, как предстатель... да вдруг обман? Стало быть... что же? .. Коль велик мой грех? Правда-то, стало быть, не наша! — вот что я скажу! .. Да лучше я как собака. Да я тады сам передамся

начальству... У-уй-ду-у! .. То есть убегу, повинюсь. «Как угодно... без пощады! .» У-уй-ду-у!

В недоумении слушал я эти слова молодого парня. — Довольно долго говорил он о душе, о пшеничной муке, о язвах, видениях, предсказаниях, добрых обительских девках; но все это не уничтожило во мне ощущения, похожего на ощущение от удара обухом. Под влиянием этого ощущения я не помню, как подошли старик и солдат, что они тут еще толковали. Было во всем что-то такое, что действовало на душу весьма утомительно. Я посидел немного, потом простился с компанией и, получив от малого приглашение «побывать в обители», с уверением, что «угощение выставим настоящее», ушел.

Был девятый час вечера и темно; движение на улицах совершенно почти прекратилось, только лаяли собаки, охраняя наглухо запертую и мертвую тоску, да звонкими голосами визжали песню две мещанки, идя вдоль улицы и, повидимому, тщетно разыскивая хотя самого ничтожного развлечения. Нужно было торопиться к Ивану Николаичу. Но я еще забежал к матери и сестре — узнать о них что-нибудь.

Войдя в кухню матушкиной квартиры, я услыхал чей-то басистый раскатистый, как у дьяконов, голос. Это был Ермаков. Он был трезв, кроток и даже стыдлив, чему много способствовал его костюм, который хотя и был приведен в возможный порядок, но решительно не мог поддержать благоприличия, овладевшего хозяином. Матушка и сестра, напротив того, казалось, утратили значительную долю сдержанности и наружного спокойствия, сделавшихся для них крайнею необходимостью. Матушка как-то похудела, и черный чепец ее как будто увеличился в размерах.

— Ах, Вася, Вася! .. — заговорила она, качая этим чепцом. — Что ты нам наделал, голубчик мой! .. Ах, Вася! ..

Руки ее выронили чулок на худые колени, и голова упала на грудь, как бы от долгой усталости.

— И зачем только ты про какого-то сочинителя с Семеном Андреичем поспорил! Ах, боже мой! Пойдем мы все по миру... все с сумой. Ах, голубчик ты мой!

Мысль о неизбежности пойти по миру, должно быть, долго угнетала матушку и была обсужена ею крепко

и основательно, потому что, высказав ее мне прямо и без обиняков, она крепко вздохнула. Это немного облегчило ее; она могла изложить тайну погибели от «какого-то сочинителя» более покойно и последовательно.

— Не сердись ты на меня, христа ради... вся я издрожалась, измучилась, истряслась за это время... Не могу я умолчать об этом. Господи боже мой! Как же, что делается!.. Помнишь, ты заспорил с Семеном Андреичем?

— Помню, помню...

— Н-ну, ты сказал против него... И Гаврило Петрович тоже против него сказал, что, мол, твоя правда, что не тот сочинитель... Как его?

— Будет об нем! — произнесла сестра, повидимому, с большим нетерпением и, закутавшись в платок, прошептала: — уйду... в монастырь! Говорите, мамаша!

— Ну, голубчик... И книгу достали, тоже Гаврило Петрович Наденьке ее принес... Стало быть, послушания мы ему не оказали... Видишь, что вышло? А ты знаешь, какой он? Сколько раз я тебе говорила: боже тебя избави заикнуться! боже тебя сохрани!.. А ты... Ах, Вася, Вася!

К горестным речам матушки присоединились речи Ермакова и сестры. Все они, тоже достаточно потерпевшие в этой истории «о вреде непослушания», множеством фактов старались разъяснить мне, в чем именно заключается этот вред и почему.. Я узнал, что сестра принялась было читать оставленные ей мною книги и очень хотела спросить у меня кой о чем, весьма ее интересовавшем, но с этой историей бросила все: «не до книг... рвут, как собаку!» — говорила она. Узнал я, что Ермаков совсем было бросил шататься по кабакам, обрадовавшись, что нашел угол, где на него смотрят по-человечески, стал являться каждый вечер к нам, читать сестре книги вслух, так как у Надежды Андреевны грудь слабая, а он, Ермаков, рад-радехонек хоть что-нибудь сделать кому-нибудь. Узнал я, что даже и штатный смотритель уже намерен был ходатайствовать у директора о допущении в преподавание более разумных учебников, нежели те, которые существовали, и о дозволении заменить в уездном училище предметы, не подходящие к положению простых классов, как, например, рисование, история Римской

империи и проч., изучением на практике башмачного и сапожного мастерства и т. д. Узнал я множество самых хороших намерений, начинавших говорить о том, что где-то что-то просыпается, и видел, что все это было внезапно попрано каким-то Семеном Андреичем, который умеет «купить дешево», любит тех, кто его уважает, — человеком, которого все любят единственно за это уменье и ловкость в покупках. Авторитет, оскорбленный неожиданною встречею на своем славном пути чего-то, совершенно к дешевой покупке не относящегося, забушевал, и громадный поток самодурного «ндрава» хлынул, как лава из огнедышащей горы, и потопил все без остатка... Потопил матушку, потому что она держит у себя известного бунтовщика (меня) и, наслушавшись его советов, якшается с бродягами, подобными Ермакову, явившемуся при государственной реформе в виде стельки... Потопил сестру, упомянув попечительнице, что, слушая бунтовщика, она хочет превратить дочь градского головы в башмачницу и отзывается про дочерей Ивана Ларивоныча, известного по бакалейной части, что якобы она обломала «все ноги», покуда выучила его верзил-дочерей французскому кадрилю... Потопил Ермакова, упомянув некоторой нетрезвого нрава девке, искавшей от Ермакова законного удовлетворения с угрозами погубить навек перед целым светом и начальством, что ее подданный стал шататься «вон куда», чтобы она пошла и открыла барышне самой все начистоту... Штатный смотритель, узнав, что Ермаков шатается в женское училище и пересуживает о смотрителе, говоря, что он, смотритель, пьяница и что, возвращаясь с недавних крестин, умолял жителей втащить его на колокольню, дабы оттуда осмотреть местность и таким образом отыскать свой дом, — узнав это, смотритель немедленно разорвал бумагу о башмачном мастерстве и вычел у Ермакова из жалованья десять рублей серебром за утрату казенной линейки и за разбитие чернильницы...

Все было поглощено, задавлено, уничтожено бесследно.

Там, где робкая мысль только чуть-чуть пробивалась на свет, там, где впервые задумывались о настоящей пользе, начинали интересоваться первою дельною книгою, неожиданно появилось что-то такое, что совершенно

не хочет иметь никакой мысли; стали врываться пьяные девки с криками: «не дозволю!.. у меня ребенок!.. не допущу этого! в суд позову.. не погляжу!..» Стали вламываться благотворители и попечители, натягивая со зла бразды своей власти до невозможной степени, подобно тому как кучер, обруганный барином за то, что заснул на козлах кареты, срывает зло на лошадях, терзая вожжами их рты и что есть мочи отхлестывая кнутом на протяжении пяти улиц. Поминутно стали слышаться восклицания: «Позвольте узнать, на ка-к-ом основании вытребована вами губка, когда уже ассигновано было на оную еще в 18.. году?..» — «Позвольте узнать, по какому случаю обозвана моя дочь «верзилою», а? Да ты-то кто-о? а-а?» Везде, во всем, не исключая и первых четырех правил арифметики, открывались упущения, нерадение. Обо всем немедленно нужно было довести до сведения начальства, необходимо было «не потерпеть» и т. д.

— Побираться, побираться — больше нечего! Больше нечего! — твердила матушка, не зная, что придумать. — Исправник приходил, каково это! Вася! Каково это мне-то?.. «Что ваш сын делает? Знаете ли, что его ожидает? Я этого не спущу! Я уберу его подальше...» Что тут делать? И зачем ты только этого сочинителя... О господи!

Мне почему-то пришла в голову мысль о старце и о пустыне. Пожалуй, что он был прав, изображая, посредством забивания кольев под кожу и язв, все эти ужасные муки, происходящие от бессмысленных, но многочисленных сил, прочно и плодовито разросшихся в темноте русской жизни, разорванной ими на клочья и обессиленной.

Я не мог ничего посоветовать матушке, но видел, что виноват — я.

— Да пригласите вы их на пирог! Ей-богу, хорошо будет! — с полнейшею искренностью посоветовал Ермаков. — Или уж я брошу к вам ходить, пусть он!.. Бог с ним!

— Нет, нет! — сказали матушка и сестра. — Нет, что вы!

— Право, я готов! Эдакие мучения переносить!

— Нет, нет!

Матушка склонялась более на сторону пирога, и, должно быть, она имела основание верить в его целебные

свойства, потому что, не переставая убиваться и вздыхать, стала соображать кое-что о закладе по этому случаю собственного салопа.

— Право, это очень им будет по вкусу, — укреплял ее веру Ермаков. — Слава богу, помучился я от них на веку... Знаю их натуру..

Я ничего не знал, но невольно почувствовал теплую веру в пирог.

13

«Молча ехали мы с Иваном Николаичем домой. В голове стоял какой-то хаос, безотрадный и тягостный. Все виденное и слышанное мною представлялось мне в виде беспредельного пространства непроницаемой тьмы, в глубине которой непробудным сном покоятся массы человеческих существ. Десятка два-три мух с слабым, едва слышным жужжанием шныряют в пространстве, тревожа тьму, тишину и сон... Мухи эти, тощие, измученные, доведенные до степени «ниже травы, тише воды», могущие издавать только слабое жужжание, которое тем не менее делает сон человеческих существ тревожным, заставляет шевельнуть рукой, чтобы отогнать или открыть глаза, оглядеться. Но редкие, слабые движения эти немедленно прекращаются влияниями каких-то, как сокрушительная буря, действующих во тьме сил, которые мгновенно комкают человека, как тряпку, вбивают его в самую землю, уничтожают в своей стихийной вражде всякий раз по крайней мере половину летающих мух.

Картина выходила безотрадная, и скоро я действительно увидел в ней упущения. «А пироги-то?», «А гроба-то?» вспомнилось мне. Выходило, что во тьме существует уже такое движение, такая жизнь, что люди, обитающие в ней, уже сумели изобрести и средства к умиротворению темных сил. Оказывается, что там, в глубине мрака, они угощают друг друга пирогами, думают о том, какую именно начинку в пироге любит та или эта сокрушительная сила, перетаскивают какие-то гроба и кое-как чего-то добиваются, стало быть — живут.

Это соображение перенесло меня от отвлеченных рассуждений о виденном и слышанном к самим фактам. Мне пришло в голову, что, действуя посредством пирога,

матушка хотя и достигнет, быть может, успокоения и убедит, пожалуй, после продолжительнейших стараний даже Семена Андреича в том, что «это действительно не тот сочинитель» и что вообще Семен Андреич прав, и сестра, быть может, очнется от ужаса и снова через много лет будет иметь возможность заявить о пользе башмачного мастерства; но кто поручится, что действие пирога не будет вновь внезапно разрушено налетом какой-нибудь другой, тоже разгуливающей во тьме силы, которую будет олицетворять не «ндрав» Семена Андреича, а какое-нибудь другое, не менее веское и прочное русское свойство?

Внимание мое остановил также и прощоновский гроб. «Неужели, — думалось мне, — такая простая мысль, как мысль о том, что всякий голопятый прощоновец не только имеет право на получение теплого полушубка, но даже обязан его получить уже потому, что родился человеком, а не петухом и не собакой, которые, как известно, получают что им «следует» в исправности, неужели такая простая мысль должна укрепляться на пятнадцатилетнем созерцании кольев, на устремлении взора в неизвестное будущее загробное деяние, связывать себя с гробами, могилами, плестись путями окольными, не сознавая себя правою и рискуя быть мгновенно подавленной, чтобы уже не воскреснуть, или воскреснуть, но с мыслью о вреде теплых полушубков, с необходимостью вновь предаться «земле», которая на сей раз может рекомендовать только остроги, тюрьмы, Сибири, каторги и тому подобные вещи? Неужели мысль эта не может быть осуществима более простым и прямым путем, более кратким и здравым суждением, которое бы объясняло разницу между загробной жизнью и полушубком? Неужели на земле, в самом деле, нет возможности провозгласить открыто, очистив от могильной тьмы, о законности желания сытости и тепла?»

Соображения эти передал я Ивану Николаичу, который тотчас же согласился, что в данном случае идти в Сибирь за гробокопательство, в сущности заботясь только о полушубке, вещь — не резонная и большое... недоразумение.

Формулируя наши соображения, мы пришли к тому окончательному заключению, что Ивану Николаичу, как человеку, не покидающему намерения быть гласным

в некотором «земном» явлении, именуемом земством, не будет предосудительным потребовать от лица своих избирателей, во-первых, — хлеба, которого мало, и, во-вторых, — школ, которые дрожали на гроше, умирали с голоду вместе с учителями и которые должны быть устроены теперь по совести.

Иван Николаич высчитал даже и деньги и разыскал их весьма достаточное количество.

Так мы доехали до Двуречек.

В классных окнах училища светился огонь, чего никогда не бывало в эту пору. Войдя в переднюю, я нашел какого-то чужого кучера, сидевшего за самоваром. При появлении моем он поднялся, поставил блюдечко и сказал:

— Вы учитель будете?

— Я...

— Ну барин извинялись, что поместилися у вас... Больше ночи не пробудут... Приехали они гласных выбирать... Ну в волости им не подошло остановиться, дюже холодно... чистоты нету... всего одну ночку... Извинялися...

Я не заявил ни малейшего протеста. Меня занимало то, что я увижу **въявь** наши «земные» надежды, о которых мы с Иваном Николаичем только что толковали так задушевно.

— Они не задержат, — продолжал кучер, следуя за мною и остановившись в дверях моей комнаты. — Гласного они с собой привезли, стало быть — духом оборотят выборы.

— Как гласного с собою привезли? Его ведь выберут завтра мужики.

— Его и выберут-с... Так точно.

— Почему же именно его? Может, у них есть свои?

Кучер, казалось, не понял.

— Да потому выберут, что господин землемер завсегда при барине... Он за барина, ну а барин, само собой, за него... «Я тебя сделаю...» сами сказывали... «Ты — мне, ну и я — тебе...» Ну и к свадьбе дело подходит...

Кучер почему-то нагнулся к моим калошам, взял их и переставил за дверь.

— Сватается землемер-то... Протопопову дочь берет, — продолжал он: — ну оно к свадьбе и лестно зва-

ние... да-а! Ну и тоже за барина потянет, в случае чего... Они духом оборотят это дело! — заключил кучер, видя, что я не обнаруживаю намерения разговаривать.

«Земные надежды» начинали рисоваться мне в каком-то странном свете.

Иван Николаич один занимал меня.

Рано утром, когда «господа», то есть посредник и землемер, еще почивали, я пошел к нему и объявил о их приезде.

— О? — сказал, как-то побледнев и как бы испугавшись чего-то, Иван Николаич.

Я навел снова разговор на предметы вчерашней дорожной беседы; Иван Николаич поддакивал, как-то суетясь, обирая полы руками и, повидимому, растерявшись. Однако скоро он оделся и вместе со мной пошел к волости. Здесь уже была толпа: кто сидел на земле, кто на телеге, кто «так» стоял у крыльца или у заборчика и толковал о своих делах. Оказалось, что толпа эта ждала уже несколько часов, жаловалась на мокроту (был дождь) и обнаруживала нетерпение.

Иван Николаич не переставал волноваться и шопотом сказал мне, в ответ на мое предложение потолковать с народом, «что надо бы, да... не вдруг!»

Час или два протолклись мы на месте. Возможность разрушить матушкин пирог, помимо темных сил, имеющих разрушить его только впоследствии, удерживала меня от вмешательства, которое могло уничтожить дело пирога в самом начале, не принеся делу полушубков существенной пользы. Меня не знали и слушать меня не стали бы...

Часа через два старшина объявил, что «скоро будут», а теперь пошли к барыне кушать чай. Чай кушали тоже не менее двух часов, в течение которых толпа промокла, осоловела и как бы задремала, поеживаясь плечами и посылая по временам кому-то «в рот» галку, шило, муху и даже пирог с кашей. Был в течение этого времени момент, что Иван Николаич как бы что-то надумал, стремительно запахнувшись и кашлянув, как бы вознамерился что-то предпринять, но вдруг нагнулся к моему уху и шопотом рассказал историю о том, как в некотором уезде

мужики единогласно выбрали одного гласного, а потом сами же и высекли его, после чего присутствовать в собрании он не мог. Оказывалось, что там, где, по мнению Ивана Николаича, сватевья, зятевья и шуревья оцепили мужичий мир со всех сторон, изобретены ими не хитрые, но тем не менее весьма существенные «средствия» к устранению от себя всякого вреда, могущего произойти из мужицкого лагеря. Анекдот был очевидно невероятный; но Иван Николаич, не желая на старости лет быть высеченным, запахнувшись, попятился назад, хотя и надеялся, что, «подумавши хорошенько, надо бы... А вдруг-то, брат, нельзя!»

Наконец «прибыли». Все проснулось, сгрудилось у крыльца волостного правления в кучу и долго, долго мочило свои головы, уже не прикрытые шапками...

— Господа! — возглашено было, наконец, с крыльца. — Вы должны произвести выборы гласных в предстоящее земское собрание... Конечно, я не имею прав. Это — дело ваше... но с своей стороны я бы полагал, что Леонид Петрович может быть надежным вашим представителем, и поэтому, кто согласен покончить избранием Леонида Петровича, надевайте шапки и ступайте по домам! — заключил оратор внезапно и громко.

— Идем, ребята, по домам! — гаркнул старшина, как бы бросаясь от крыльца...

— Эй! ребята! По домам! — загудело в промокшей толпе.

Все зашевелилось, стало надевать мокрые шапки, тронулось, разбрелось и расползлось по грязи, хряская лаптями, скрипя телегой.

— Готово-о-о! — слышалось где-то...

— Ай будя?

— Будя-а-а!

— Шаба-аш!

Иван Николаич плюнул, крепко-накрепко запахнулся, еще плюнул и нахлобучил картуз на самые уши.

Тут уж я не вытерпел: — «настрочил»-таки корреспонденцию. А скоро пришлось настрочить и другую: «Мироновская» община была предана суду».

На этом дневник оканчивается.

Внизу приписано другими чернилами:

«. . .Почти год после отъезда моего из города ***, где пришлось оставить и сестру и мать — оставить на произвол темных сил, — не имел я от них такой тягостной вести, как та, которая пришла сегодня: «Вася! Вася! — пишет мне сегодня сестра, — я не могу, не могу больше! Возьми меня, возьми нас отсюда! . .»

Что мне делать? . .»

НАБЛЮДЕНИЯ ОДНОГО ЛЕНТЯЯ [1]

(Очерки провинциальной жизни)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

О МОЕМ ОТЦЕ, О «ПОРЯДКЕ», О МОЕЙ ЛЕНИ И О ПРОЧЕМ

I

«. .У ворот нашего дома и до настоящего времени сохранилась скамеечка, на которой по вечерам сиживал мой отец и бранился. Не было человека добрее его, и не было такого неусыпного ворчуна, как он. Ворчанье и брань, сыпавшиеся из его уст на самые разнородные предметы, не всегда были ясны обывателям подгородной слободки, где жил отец, содержа фруктовый сад. Смысл речей моего отца, чувствовавшего потребность касаться предметов, о которых отвык рассуждать простонародный ум, затемнялся собственным его невежеством, необразованием, водкой, непрестанной его спутницей, и некоторою долею того русского чудачества, которое является у простого человека, зачуявшего в своей голове необыденный ум. Ввиду всего этого нетрудно понять, что отца моего вся слобода считала за тронувшегося, сумасшедшего, чудака и пьяницу. Мне, шестилетнему слобожанину, тоже не была тогда понятна отцовская речь; но, не понимая ее, я любил в этой речи и вообще в разговоре отца его манеру, постоянная бойкость и насмешливость которой невольно

---

[1] «Наблюдения одного лентяя» (очерки провинциальной жизни) хотя по внешности и не имеют прямой связи с двумя предшествующими частями «Разоренья», тем не менее мы помещаем и их под одним общим заглавием, так как люди, о которых говорится в этих очерках, переживают те же самые заботы и затруднения, которые сулило им время «разоренья» старых порядков.

убеждали меня, что он прав, что человек, заспоривший с ним, ушел от него в дураках.

Теперь, когда мне много раз приходилось думать о моем детстве, об отце, я выучился отчасти понимать его запутанные речи и нахожу, что, несмотря на разнообразие предметов, которых касалась эта речь, и ее неизменно бранный тон, — в ней постоянно слышалось слово «душа», постоянно тосковалось «о душе», о ее погибели, о том, что ее забыли. Рекомендуя моего родителя, я считаю нужным остановиться именно на этой общей черте его ругательств, потому что она много значит для меня, потому что она выходила не из простой болтовни.

— Плевать я хотел на твои богатства! — кричал мой отец, сидя на лавочке в одной рубашке и обращая речь к богатому соседу дворнику, который вечерком пришел посидеть с ним *так, просто.*

— Потому, — продолжает отец: — в нонешнее время некуда мне и деть-то его по душе... Видишь, что ли?

— То-то, у тебя не густо, так ты и «не надо!» — с иронией бубнит сосед; но отец прерывает его на первом же слове.

— Дубина моздовская! Видал я деньги на своем веку, не твоим чета! Пропил я их, деньги-то, нищий теперь, а давай ты мне их, так не возьму-у, да-а! Не надо мне их, потому душа не может по нонешнему времени сделать мне указания, куда их деть. Разучилась она, душа-то наша, о себе... Ты вот что мне ответь, — вдруг с большим ехидством в фигуре и голосе восклицает отец: — отвечай, на какой рожон ты деньги копишь? Зачем тебе тыщи? Давай ответ!

— Тыщи-то?

— Д-да! Пятьдесят лет ты деньгу набивал, полсотни годов ты бился, можно сказать, как собака... Как ты теперича их истратишь-то с толком, «по душе»? Отвечай мне на это: тогда я с тобой могу поддерживать разговор.

— Ах ты, башка, башка! — удивляется купец. — Не истратить денег? Чай, и ты на это дело мастер был... Ты наживи-ко вот!

— Тебе, дубине, делают вопрос, так ты давай ответ! Что ты хвостом-то вертишь? Нешто я о наживе говорю? Махлак ты этакой! С умом ли можешь ты их истратить по нонешнему вр-ремени?

— Проломная голова! — горячится купец. — Есть у тебя дети-то, у шишиги?

— Есть дети. Ну?

— Ну и у меня есть!

— Ну?

— Что еще? Что нукаешь? Для детей наживаю... Гвоздь каленый!

— Для дет-тей? — переспрашивает отец и, ударив себя по колену, произносит: — Пач-чиму? Почему для детей?

С злейшей иронией в губах смотрит он в сторону, прислушиваясь к ответу собеседника, и чувствуется, что у него уже есть наготове вернейшие средства разбить этот ответ в пух и прах.

— Не отчитывали еще тебя? .. — трунит собеседник.

— Нет еще, не отчитывали! — самодовольно потряхивая головой, произносит отец. — Тебя вот сначала от одури отец дьякон отчитает, тогда уж и меня... А ты ответ-то дай! ..

— Надо бы, право, надо бы тебя отчитать...

— Давай ответ на вопрос! .. Спрячь хвост-то — будет вилять! .. Давай-ко ответ-то... пивной ты котел!

— Ответ тебе? — горячится купец, придвигаясь к отцу.

— Д-да! Ответ! Язык имеешь?

— Имею я язык, крыса эдакая! Им-мею! Ответ, что ли, тебе надо, Искариоту?

— Ответу давай, толстомясая дурь!

— На тебе ответ, купорос ты астраханский, н-на! В лаптях я пришел в город, вахлаком со щепки начал, семью имею, дом имею, деньги им-мею. Зачем? Да хоть дочь я свою из деревенских девок выведу в люди-и!

— За благородного? — быстро вставляет свое словечко отец.

— А нешто нет, харя балаганная, неужто нет? .. Заткнул ли я тебе глотку, Иуде? Получил ли ты ответ? ..

— Тебе ли, толстомясому, заткнуть мне глотку? Ах ты, гнилое ты колесо! Разевай рот шире, я тебе затыкать глотку буду... Я тебе заткну, дубью безмозглому! .. Я-а-а! ..

И действительно, мудрено было «заткнуть рот» моему отцу. Быть может, частью под влиянием желания оправ-

дать свое разоренье и бедность, он тотчас же переносил вопрос о разумном употреблении богатств на практическую почву и принимался представлять из тогдашних нравов такие картины бессознательности жизни, считаемой счастливой, что действительно оказывалось совершенно ненужным «биться» и наживать, чтобы завоевать это счастье. Купец Калашников уж кажется богат, уж кажется почтен и награжден начальством, а пьет не хуже мастерового и ездит к слободской солдатке Акульке, целует у ней руки, тогда как у него есть красивая жена с мильонами. А почему? — Душа тоскует. Для нее-то у Калашникова нету занятия, а медали ей не нужны... А дочь дворника, имеющая выйти за благородного? Что она может получить взамен отцовских, трудом нажитых, богатств? — мужа пьяницу от скуки, гулянье с зевотой да способность спать или плакать? Кругом в жизни было много явлений, в которых не было видно ума-руководителя, и отец ими-то и донимал собеседника.

Лежа подле спорящих в траве с каким-нибудь щенком в руках, я с удовольствием вижу, что богачу-купцу, должно быть, плохо приходится от моего отца, и рад этому. Мне смешно видеть, что с каждым словом в отпор моему отцу он злится более и более, говорит урывками, словно его бьют по спине, лицо его делается весьма глупым и смешным, вообще в нем является сходство с человеком, который ходит впотьмах, спотыкается, разбивает себе лоб и кроме ругательств не имеет другой защиты.

— Ну, в головы ты вылезешь, — кричит отец,—мундир на тебя, дубину, наденут, ну? — веселей тебе от этого?

— А то нет?

— Медаль на тебя навесят? а дальше что?

— Ну другую? Ну?

— Ну, а дальше что? Надел ты, дурак, мундир, нацепил медали, послы к тебе персидские приехали, к ослу лавочному, барана ты им зарезал, тысяч десять в утробу ты им всыпал, а потом что? Ведь снимешь же ты, мочалка глупая, мундир-то! И медали ты положишь ведь когда-нибудь в сундук; что же для твоей дурацкой души останется? Для души-то для твоей что? Сам про себя-то ты с чем останешься? Отвечай мне!

— Голова ты безмозглая! Вот тебе мой ответ.

— Сам ты — крыса бесхвостая, да не в том у нас

с тобой, с невежей, разговор идет. Уши-то твои слышат ли мои слова? Ведь ты на крышу полезешь с помелом голубей гонять! Для души-то у тебя нет ничего! .. Пузырь! Ведь это тебя нарочно исказили. Ведь это тебя нарочно приучили, чтобы душу у тебя вынуть, а ты и не видал этого? Башка-башка! Говорю я тебе, ежели богатств твоих послы персидские не сожрут, ежели со страху ты их начальству не рассуешь, да ежели дети твои, ослы лабазные, с цыганками не пропьют, что ты станешь с ними делать? Скажет ли что тебе душа? Есть ли у тебя душа-то? Отвечай-ко мне на это?

— Пес я, что ли? — кричит собеседник.

— Не пес, а пузырь! — наклоняясь к собеседнику, язвительно шепчет отец. — Пузырь пустой. Пе-ес! Пес свое дело знает. Что ему надо, он исполняет, на нем шкура своя, а вот ты-то, друг ты мой, сам про свою душу ничего не имеешь. Вот что, ангелочек мой! Что мы с тобой без толку орем? Надо говорить честно, благородно... Ругать, что ли, я тебя собрался? Велика радость! Эко собаку бешеную нашел! Не про тебя одного говорю, все мы, друг ты мой, обездушели! .. Все! — Вот что!

Ласковый тон и тихий стих, осенивший отца, отнял у собеседника последнее средство обороны — ругательство; он сидит, как ступа, изредка потряхивает головой и что-то бурчит. А отец, все более и более охватываемый серьезностью разбираемого или, вернее, разругиваемого вопроса, продолжает говорить все с большей искренностью и задушевностью.

— Что нам воевать-то без ума? Эх, куманек дорогой! Не в тебе в одном души нету, а во всем народе ее не стало. Вот что, друг! Видал ли в горнице у нас портреты родителей моих?

— Видал я твои портреты...

— Седенького старика-то помнишь, там висит, ай нет? Ну вот это, друг сердечный, прадедушка мой, царство ему небесное! Вот у него была душа, да и своя, не заказная! Да! Не на заказ сделана, а своя! Да, друг любезный, своя! Был он, видишь ты, раскольник и свой скит имел за Волгой, в лесах, да и так, пожалуй, было, что и толк особенный он сам от себя выдал — да-а! Что ж, я тебе скажу? Ведь он и торговал и деньгу наживал; ведь и он, друг ты мой, аршинничал, да только не по-нашему!

Ты-то вот, не в обиду тебе говорю, не знаешь, зачем деньги-то тебе, а он знал. Он, братец ты мой, руками в лавке, а душой в своем месте. Руками-то деньги принимает, а душа-то уж ему указание дает. Стало быть, он знал — что зачем. Мерин у него в тыщу рублей, рысаки тысячные были, и это неспроста! Именно ему тысячный рысак был надобен, потому начальство за ним на тройке погнало, а он попа-расстригу везет, так ему надо угнать от начальства-то. Видишь вот! Он, поп-то, хоть и вор и разбойник, а ежели настоящую очистку ему сделать, беглый солдат окажется, да душа этого требует — «спасай», «не поддавайся!» Глупы ли, умны ли были старички, а как-никак умели жить *своей* совестью. А в нонешнее-то время и нету ничего! Все и разучились так-то жить. Да-а! Всё исполняем, всё исполняем, а для совести-то и нет ничего! Мерин-то вот у тебя будет не дешевле, как тыщу, а ходу-то тебе с ним нету? Да-а! Ну куда ты с своим мерином сунешься? Посадил ты свою жену на него, пять молодцов его держат под уздцы, а выпустили они его — и некуда вам! И ходу-то всего вам с мерином два вершка, только на гулянье! Разлетелись вы, следственно, как дураки набитые, и домой тоже такими же дураками воротились. Окроме как спать, нету вам никакого интересу! Ты с супругой с одури-то храпеть завалился, мерин твой одурелый в конюшне жрет не в свою голову, и все вы — дурак на дураке!

— Ты умен! — огрызается собеседник, заметив в последних словах отца раздражение.

— Я-то, брат, умен! — быстро впадая в обычный ругательный тон, говорит отец. — А вот ты-то, куманек, не в большом уме, уж извини! Ты-то, брат, дурак московский! Как говорить-то мне с тобой, с пузырем бычачьим? Ах вы, идолы, идолы! К чему вас, идолы, приучили?

— Собака ты бешеная! — собираясь уйти от греха, бурчит купец; но отец не обращает на него внимания и продолжает:

— И уж изуродовали же глупых только вас, на чужую на потеху! Ишь ведь что им в голову-то набухали, пустозвонам несчастным: персидского ему дай посла! Свинья ты, свинья! Дочь свою за благородного в гроб желаю вбить; сыновей моих цыганкам отдать, а сам желаю на старости лет голубей гонять да водкой увеселяться! Ах вы, мордастые дураки!

— Пес поганый!

— Ах вы, черти ободранные! Ишь им что надо, а? Пятьдесят лет народ надувает, аршинничает, душу губит, зач-ем?

— Поди ты к шуту!

Собеседник положительно уходит.

— Зачем? постой, куда? Погоди, я тебе совет дам!

— Провались ты, чумовой...

— Погоди! — кричит отец, вскакивая с лавки и как бы желая пуститься вдогонку. — Масла ведра три в сундук-то с деньгами вылей. Эй! Чуешь! в бумажки его полыхни, масло-то, чтоб не сопрели. Да тогда и ложись на сундук спать...

— У кого язык-то наваривал? В какой кузне? — тоже кричит собеседник, остановившись в нескольких шагах.

— Тут у знакомого кузнеца наваривал... А что?

— То-то он у тебя дюже наварен, — язык-то... Много ли дал?

— За наварку-то? Я за наварку дорого дал, тысяч с полсотни ушло. Али хорошо?

— Провались ты пропадом!

— А то воротись, я бы с тобой еще потолковал.. Эй! сосед!

— Мошенник! — вопиет собеседник и скрывается за угол.

— Ай не любишь? Ха-ха-ха! — издевается отец и с сияющим победою лицом зовет меня.

— Вот они, богачи-то, — посадив к себе на колени и поглаживая мою голову, говорит он. — Ванятка! чуял, что ль? Крикни ему, дураку: «эй, воротись, мол! тятенька, мол, тебя еще раз-другой хорошенько наколпачит». Крикни ему!

В отце, в его речах, в его лице столько побеждающей правды, что, глядя на него и слушая его, едва ли можно когда-нибудь получить аппетит к богатству.

II

«Жизнь моего отца вовсе не так бедна впечатлениями, чтобы его бедный, заброшенный и неразвитый ум не получил потребности раздумывать вообще о жизни человеческой и ценить в ней только свободное развитие нрав-

ственных движений души. В самом деле, он недаром указывал на портреты своих предков. Прадедушка его, а мой пращур, был изображен на портрете (портрет этот цел у нас) масляными красками, худеньким старичком с живыми, внимательными глазами, с подстриженными на лбу волосами, лестовкой на одной руке; на затылке его одета какая-то скуфейка, на плечах мужичий кафтан. В оригинальности его костюма, взгляда, с помощью кой-каких сведений, рассказанных отцом, видно, что человек жил, слушаясь собственных убеждений, которые, как бы ни были они нелепы, охватывали мельчайшие подробности личной жизни вплоть до мерина и были в полном согласии с общественной его деятельностью. Худо ли, хорошо ли, но во всех и домашних и общественных делах у него работала мысль, что дорого даже с механической стороны; тут наверное была жизнь. Но «порядок», гонявшийся за ним по лесам, разорявший его часовенки и кельи, с целью наполнить его голову более здравыми понятиями, вроде, например, того, что пожары нужно заливать из пожарных труб, что квартальному нужно давать дань и т. д., внедряя какую-нибудь из подобных идей, уничтожал зародыш самостоятельной мысли. Я весьма сожалею, что в нашей портретной галлерее недостает портрета моего прадеда, а есть пращур и дед. Но если я представлю себе постепенное развитие «порядка» и предположу, что «порядок» поработал во времена прадеда в свою пользу не мало, то и тогда мне будет отчасти понятна разница между фигурой начальника нашего рода и фигурой его ближайшего потомка. Дед изображен уже не в мужичьем кафтане, а в длиннополом немецком сюртуке, к которому недостает только цилиндра на вытянутую колом голову, чтобы быть вполне уродом. Потрудитесь отыскать в этих глазах, выглядывающих с самого верху узкого лба, почти под пробором жирных волос, какое-нибудь подобие самостоятельной мысли прадеда: — ее нет и следа. Это — церковный староста, которому генерал подал руку и осчастливил, или гражданин, с двумя головами сахару подмышкой ожидающий начальника, чтобы поздравить и попросить прощения. Для этого человека, по всей вероятности, уже коротко известно, что назначение человеческой жизни — поднесение хлеба-соли

на блюде, плошки, дани, медаль и т. д. Отцу моему, принимая в расчет быстрые успехи прогресса, предстояла еще большая возможность превратиться в настоящего лавочного осла со специальной целью надувать и грабить сограждан. Но случилось так, что уродился или «вышел» он не в отца, а в прадеда; лет с шестнадцати стала надоедать ему лавочная жизнь, и в голове забродило бог весть что. Стал он читать книжки, захотелось ему писать стихи, и он выводил каракули, начинавшиеся словами: «скучно, скучно молодцу, да скучно мне!» После него осталась тетрадка, где переписаны разные стихотворения под общим именем: «Скука». «Приемлю лиру в руки и горесть разгоняю (начинается стихотворение), но протяженны звуки рождают горесть паки». Далее говорится, что даже и «млекосочны маки» болезни сей не уменьшают. Вообще скука угнетала его, не знавшего, за что ухватиться; от писанья стихов (грамоте его выучила бабка; мать, которой он лишился очень рано, была уже неграмотна) он вдруг предавался мечте поступить в монахи, да так, чтобы зарыться в землю по шею, навек, или сделаться силачом. Пока был жив отец, малый колобродил потихоньку; но по смерти отца, после которого, наравне с двумя другими братьями, получил наследство, не вытерпел скучного житья и стал колобродить въявь. Прежде всего, как за самое ближайшее и общедоступное от скуки средство, взялся он за пьянство.

Началось с того, что поехал он из города к кому-то на свадьбу в село Дубки, а его завезли в Дубы; надо было зайти в кабак расспросить про дорогу. А в кабаке в это время сидел дворовый человек и играл на флейте. Через полчаса отец уже угощал его, узнал, что это и знаток своего дела и «душа», просил выучить на флейте и готов был в ножки ему поклониться. Недели две дворовый человек учил его музыке, получая и угощение и деньги за «обучение амбушуру» и наставляя своего питомца в науке жизни. Как они очутились в Нижнем, долго ли там пробыли и что делали — этого отец никогда порядком припомнить не мог; но уроки «амбушура» прекратились по случаю того, что отец сделал в каком-то трактире «мордобой» половому из-за селянки. Половой бросился за будочником, а отец — на пристань, откуда тотчас же и уплыл. Очнулся он близ какого-то монастыря. Трога-

тельный звон, сзывавший братию к ночной молитве, сильно подействовал на его отягченную грехами душу; он не понимал, а чуял, что все эти отличнейшие люди, с которыми он беспутничал, — «не то», что с ними для души сделаешь немного, и пожелал очистить душу молитвою. Он вылез на берег, отслужил молебствие и попросил позволения побыть в монастыре для молитвы. На другой же день он нашел отличнейших, задушевных людей; принялся исполнять правило, послушание, стал поститься, <перестал> пьянствовать и желал принять схиму. Один монах продавал было ему за сходную цену вериги и предлагал заковать его в них на веки веков; но отец и тут почуял, что нет настоящего, и кончил дело спасения пьянством, дракой и бегством. Спьяну и сглупу исколесил он всю Волгу. В Астрахани перезнакомился с персианами, хотел ехать в Персию, учился у них ходить по выпуклой стороне надутых ветром парусов, но упал и разбил бок. Выздоровев, в Персию не поехал потому только, что сошелся очень близко с замечательным силачом из немцев, поднимавшим на одном пальце десять пудов. Этот силач ограбил его и чуть было не убил, так что блудный сын волей-неволей принужден был возвратиться в свое отечество. Это был первый поход за нравственными ощущениями. Он не только не научил отца ценить лавочный рай, но, напротив, заставил еще больше призадуматься о своей беззащитной душе. Позанявшись торговлей с полгода, скоро потом он снова сорвался и с деньгами, вырученными от братьев за свою часть в торговле, отчалил с родины — на этот раз навсегда.

Дальнейшие скитания моего отца продолжались более двенадцати лет, отличаясь тою же беззаботностью мечущейся души. Пьянство, как самое существенное средство залить горе своего убожества, стояло, разумеется, на первом плане, перемешиваясь с самыми разнообразнейшими душевными привязанностями: то опять хотелось писать стихи, то поступить в монахи, то сделаться актером. Отец мой всюду совался, всюду тратил последние крохи отцовского наследства, угощая профессионистов разных художеств, шатался с труппами, приставал к хору певчих — и пил, ибо, едва стакнувшись с какою-нибудь заочно любимою профессиею, чуял свое невежество и видел ограниченность дела. В сущности от этих скитаний

отец вынес только одно практическое качество: уменье играть на гитаре две-три чувствительные пьесы, от которых впоследствии плакала матушка, да еще внешний отпечаток бродячего человека. Он был небольшого роста, сухощав, с довольно хорошими и добрыми глазами. Костюм его всегда был именно такой, который рекомендует человека без звания и дела: какой-то пиджак с разодранными локтями или бешмет и на ногах опорки, а на голове иной раз появляется изорваннейшая шапка с красным околышем, неизвестно откуда попавшая в нашу сторону... Бороду он брил и волосы носил длинные, за ухо; я помню эти волоса — черные и с большой сединой.

Конец этих бесплодных скитаний, по всей вероятности, был бы для моего отца, оставшегося без денег, весьма плохим, если бы ему не помог выбраться хоть к какому-нибудь пристанищу один добрый человек. Это был какой-то «добрый барин», когда-то погуливавший с отцом. Он случайно встретил отца в Москве, когда последний в отчаянии за будущее хотел продаться в солдаты. Барин взял его с собою в одну замосковную деревеньку и определил садовником, так как отец совался прежде и в это дело. Очутившись в чужой стороне и видя, что выхода не предвидится, да и идти некуда и незачем, отец мой притих, пообдумал свое положение и занялся делом усердно, а скоро и женился на дьячковской дочери, моей будущей матери. Год они жили покойно, оба занимаясь садовым делом; но после моего рождения отец «заскучал» вновь... В свою сторону выехать было не с чем; отец решился переехать в город, чтобы меня поставить «на настоящую дорогу», если не пришлось самому быть человеком. Переезд совершился при помощи барина, моего деда-дьячка и всего имущества родителей, которое по этому случаю было распродано. В губернском городе, при помощи родственника матери, служившего в одном из губернских присутственных мест, была отведена нам бесплатно земля в подгородной слободке и выстроен крошечный домишко. При доме отец развел питомник фруктовых дерев, вывезенных из деревни, и по недоразумению думал, что он сам занимается всем делом, тогда как с первого же дня нашего поселения, с первого бревна, положенного в основу домишка, все заботы о нашем питье и еде всею

тяжестью легли на матушку, а отец стал скучать, попивать, подумывать о том, что хорошо бы пробраться на Дон («там места!»), и, как уже знаем, браниться.

Чужая сторона много помогла усилению этой брани, злости и питью водки. Сторона эта не нравилась ему по многим причинам. Природа здешняя была не та, что на Волге, где он привык видеть широкие виды, богатые места. Рек больших тут не было, лесов тоже; не было тут расписных ставен, петухов и коньков на крестьянских избах, не случалось слышать вновь сочиненной песни, встречать красной франтовитой рубахи: все было мелко, мало, бедно, все утихло, как будто умерло. Взамен всех этих пустяков царствовал один только порядок, который, как известно, в местностях около Москвы вводился почти с незапамятных времен, так что, когда пришлось жить здесь моему отцу, все уже было привинчено к своему месту прочно, туго, казалось, даже на веки веков. Не было людей, были «породы» чиновников, купцов, господ, мужиков. Всякая порода имела свои зоологические признаки: чиновник непременно ходил сгорбившись, был худ, как-то мокр и кожу имел зеленую, дьякон непременно имел бас, священник — тенор и т. д. Породы передавали эти качества из поколения в поколение; вместе с ними передавалось этим поколениям уменье исполнять именно те жизненные цели и обязанности, которые соответствовали той или другой породе. Обязанностью мужика было — ждать обиды от всех, говорить одно слово: «за что же?» и пить с горя. Обязанностью чиновника — говорить мужику и другим сословиям: «нельзя!», клевать со всех крохи и пить от несправедливости. Барин обязан был баловаться и мотать деньги от скуки; купец — мошенничать и угощать. Всем даны были места, отведены стойла с перегородками, удобными лишь на то, чтобы вырвать у соседа из высоко поднятой морды клок сенца... С этим ли народом, не чувствовавшим, что у него на плечах есть голова, с ним ли возможно было моему отцу водить компанию, дружбу? Ему ли не соскучиться с людьми, не знавшими, что такое «белый свет», тогда как он десятками лет скитаний приучен думать о множестве всевозможных человеческих свойств и отношений? В этой упрощенной стороне отцу моему не с кем было сказать слова, ибо специалисты по «своим частям» не могли ни слова

понять в его рассуждениях и сразу стали смотреть на него как на шута, на сумасшедшего...

— Нет, надо, я вижу, убираться нам отсюда, — говорил он чуть ли не с первого дня знакомства с новыми городскими соседями.

— Полно тебе чудить! Ну куда ты уберешься? — возражала ему на это матушка. — Ишь голова-то у тебя какая непокойная... Куда еще идти?

— На Дон, на Дон надо! Там, брат, ух какие места!

— И-и, сумасшедший! Право, ей-богу, с ума сходишь...

Матушка отговаривала его с тайной боязнью, как бы он не ушел в самом деле: она, наравне с другими, сама считала его отчасти чудаком. Но храбрившийся отец сам чуял, что теперь уж ему не уйти; он уж не один, у него дом, семья; оставить всего этого так, ни за что ни про что — нельзя, и надо терпеть. Он терпел и бранился.

— Ах он, неумытое рыло! — бывало, ворчит он, доставая из шкафа рюмку, чтобы выпить. — Собака я, что ли, что он меня держит в сенцах, а?

— Что ж тебя на диван, что ли, сажать? — возражала матушка. — Он благородный небось!.. Где ж это видано, чтобы мужика рядом с собой...

— Да я его, каналью, к себе бы в дом не пустил, ежели б не бедность. Покажи я ему ассигнацию, так ведь он в ноги ко мне упадет...

— То-то ассигнаций-то у нас с тобой мало...

Отец уклоняется от прямого ответа и все ворчит и бранится.

— Да будет тебе, христа ради! — говорит матушка, сильно опечаленная. — Ну что ты ворчишь? Душу только вытягиваешь...

— Свиньи они!

— Тебе какое дело? У тебя все — свиньи, а ты сам-то только водку потягиваешь... Поди-ка, послушай, никак кто-то стучит в сенях. За твоим бормотаньем да руганьем и не услышишь, кто войдет.

Оказывается, что стучит родственник матушки, чиновник.

— Поди, Иваныч, отвори ему, будет водку-то цедить-то.

— Зачем это? Кого это несет?

— Кирилл Кузьмич идет... Отвори же!.. Что ж он, докуда будет на улице-то стоять?

Но отец не особенно торопится.

— Кто его просил? Что я ему за компания? — говорит он, отирая мокрый от водки рот. — Шел бы в свое стадо, в гости-то, а не ко мне... Я ведь для него прохвост... чего ж он сюда?

Наконец, несмотря на неудовольствие, отец впускает гостя; но компании действительно не может составить для него никакой.

Гость здоровается, усаживается и мало-помалу заводит длинную материю о начальстве, о неправдах, несправедливостях, о циркулярах...

— А гражданская палата... во исполнение предписания... Как? а где же, говорю, циркуляр за номером три тысячи пятьсот сорок седьмым? Каким образом? Нет уж, извините, за правду, за справедливость... я никак не могу!

Длиннейший поток канцелярских новостей льется из уст чиновника, долгое время не переставая. Отец, на лице которого написано полное непонимание и невнимание к чиновничьему монологу, поддакивает из приличия и потягивает водку, которая уже давно на столе. Лицо его все краснеет и наливается; он начинает кашлять, и даже в коротких звуках поддакивания слышно, что язык его ходит не бойко.

— Па-азвольте сказать... — вдруг прерывая интереснейшее место, до которого только что добрался рассказ чиновника, произносит отец. — Оставьте это!.. Сделайте милость...

— Чего-с?

— Будет! Оставь! Что мелешь?

— Я дело рассказываю вам, — обиженно обороняется гость, налегая на «вам».

Отец тупо смотрит в землю и слабо махает рукой.

— Мы твоих дел не понимаем!.. Не нужны они нам! А ты так... свое...

— Я вам не угодил? — в таком случае я замолчу.

— Гов-вори!.. Я нешто... Господи помилуй!.. разве я про это?

— Я замолчу! — усаживаясь молча на стул, произносит гость, совершенно обидевшись.

— Не надо! Не молчи!.. Утверждай твое мнение! Сделай одолжение!

— Что же я могу? Я говорил, вы не желаете...

— Оставь свою канцелярию... Вот об чем!.. Свои слова говори!

Отец стучит пальцем в стол и пытается постучать для усиления речи ногой и в пол; но нога плохо слушает его.

— Свои слова имеете?

— Какие же у меня свои?

— Не имеете?

Хмельными, неподвижными, как будто необыкновенно внимательными глазами отец смотрит в упор гостю и выжидает ответа.

— Не имеете... слов?

— Авдотья Ивановна, — обращается чиновник к матери, — что им угодно?

Мать давно уже тревожится этой беседой. Чувствуя, что дело идет не к добру, она несколько раз дергала отца за рукав, но тот ничего не замечал.

— Оставь! Оставь пустое! — уговаривала она отца. — Что вы, Кирилл Кузьмич, на него смотрите? Кушайте, закусите, прошу покорно... Оставь ты!..

— О боге... можете? — продолжает отец, придвигаясь к гостю: — а-а бог-ге? можете отвечать?

— Что же вам угодно знать о боге? — иронически произносит чиновник.

— Как вы сами...

— Мне кажется,— продолжает в том же тоне гость: — довольно будет знать и того, что мы его должны бояться!

— Боитесь?

— Что же вас удивляет? Да, боюсь... а рассуждать мне нет времени.

— Поч-чему? По какому случаю опасаетесь?

— Я обязан, как всякий христианин, его бояться.

— Боюсь... боюсь, — бормочет отец: — а-а чем он вас напугал?

— Оставьте его, Кирилл Кузьмич! Кушайте, пожалуйста! — упрашивает матушка.

— Чем он тебя напугал? — вдруг возвышая голос, повторил отец с настойчивостью. — Чем он тебя...

— Нет, уж извините! — поднимаясь со стула, в гневе произносит гость: — я пойду!

— Останьтесь, пожалуйста! Что вы? он всегда такой!

— Чем он тебя напугал? Отвечай мне! — уже вопиет отец на всю комнату.

Чиновник торопится уйти, хватает шапку, палку, прощается, и матушка не смеет удерживать его, потому что отец сел на своего коня.

— Ах вы, мошенники этакие! Ах вы, канальи негодные! Д-дела у него! О бог-ге не вр-ремя ему... Стой! Где ты там, железный нос? Поди сюда, я тебе объясню... Эй!

— Скотина! — прощается железный нос и исчезает.

— Что-о! Б-бога забыл? Я тебя... Я тебя, каналья... Где палка? я тебе покажу!..

Он хочет встать, но матушка не пускает его. Отец никогда не кричал на мать, хотя в ее словах и было к чему прицепиться; он остается на месте, но не перестает браниться и ругаться.

— Ах ты, свиная щетина! Д-дела! По карманам шастать, народ пугать, а душа-то где твоя? Свинья ты скоромная!

И потом:

— Выели, выели из вас душу! Вынули! Как искусно выхватили-то! — любо два! Ах, так ловко! Ему все одно: бог — не бог, душа — не душа, ему одно свято — канцелярия! перо! Гнать их отсюда, стрекулистов, надо... Нет, на Дон, на Дон иду! Провались ты пропадом...

— Спи-и! Колобродник, когда ты перестанешь! — усовещивает его мать: — Ванюшке не даешь покою.

— Ванюшка! — кричит отец. — Не ходи, брат, в чиновники... чуешь, что ли? Не стоит того дело... Ей-богу! Все они вот что — тьфу! Слышишь, что ль?

— Да слышим, слышим.

— Не ходи, плюнь. Ну — спи!

Бормотанья идут шопотом. На другой день отец мрачен и молчалив, пока не опохмелится и не войдет в колею.

Материал ему всегда есть.

Сидим вечером на крыльце, во дворе, все трое — отец, мать и я. Разговор идет кой о чем. На двор входит новое лицо, одна из соседок, матушкиных приятельниц.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— А я к вам бежала. Какие дела-то! Какие смехи! Господи!

Гостья усаживается к нам на крыльцо и, задыхаясь от смеху, распахивает платок, освобождая грудь для того, повидимому, чтобы с полным простором рассказать про какие-то дела и смехи.

— Что такое? — спрашивает отец: — в чем дело?

— И-и, то-то смех-то, господи. Комнату мы сдавали. . . Знаете?

— Ну?

— В прошлом годе жил писец, а ноне бог послал генерала.

— То-то сласть-то!

— И сласть, уж именно сласть! Отставной этот, милые мои, генерал-то. Одинокий, родни не имеет и холостой. Вот он, милые мои, нанял комнату, переехал, сидит. Сидел-сидел, видно, его скука взяла, вышел, походил так-то. «Это что же, говорит, бочка у вас с водой не накрыта?» Отвечаем: «была, мол, накрыта, да, верно, накрышку-то взял кто-нибудь». — «Кто взял?» — «А не знаем». — «Как не знаем? Кто взял? Ты как смел взять крышку?» Дальше-больше, открыл он против нас чисто как битву. «Это что?», «Почему так?», «Чьи куры? Загнать! Запереть!»

— К команде приучен, — замечает отец.

— К команде, уж точно! Закомандовал он нас, просто вот хоть возьми да иди за будочником, чтобы его уняли. Ворочает с места на место — смерть наша пришла, руки все обломали; пошла я к зятю, призвала его к себе, говорю: «Поди ты, усовести его, что это такое?» Зять к нему. «Так и так, говорит, сделайте милость, ваше благородие, уж вы это оставьте. Мы вам власти не давали над собой, и, сделайте милость, уж вы нас не беспокойте. У вас есть свой упокой, так вы уж тут. . . А в наши места оставьте. . . Даже в случае чего, мы и в суд. . . Извините! . .» Обругался всякими словами, ну, однако, остался. . .

— А-а! — с удовольствием произносит отец. — Остался? Ну-ка, что он без команды-то может? Ну-ко, ну! . .

— Ну остался он, сидел, сидел, призывает. . . «Хочу, говорит, приплатить еще рубль серебром, только чтобы в саду бы мне вашем гулять». Посоветовались мы, руб взяли: — «извольте!» А мы сад запираем, потому неравно зайдет корова или коза, пожрет фрукт — нам этого

нельзя. Хорошо! Пустили его мы в сад. Погулял он, пришел назад. И на другой день пошел. Идет оттуда. «Червь, говорит, у вас там...» — «Есть, мол; от него не спасешься».— «Как не спасешься? Почему? ..» — «Много, мол, его...» — «Я выведу!» — «Нет уж, говорю, лучше вы оставьте».

— Опять его на команду потянуло! — замечает отец.

— Потянуло, друг, потянуло! .. Ну — скрыл. Замолчал. На третий день и не видала я, как он туда ушел-то. Иду так-то мимо саду, вижу, замок изнутри висит. «Когда ж это, думаю, он туда пролез?» И час и два, все нейдет. Пошла я поглядеть, уж нет ли какой его выдумки? — а он... (тут рассказчица задохнулась от смеха) а он... на дереве, милые мои, на самой-то верхушке, на эдакой на страсти, на высоте, с тазом. Сидит там с мочалой да моет дерево, ровно бы чашку чайную либо тарелку. Замерла я так-то со смеху, зову его оттуда назад: «Что вы, говорю, господин генерал, всё вы нам переломаете; так нельзя. Слезайте оттуда. Отопритеся, сделайте милость. Что вы!» Нет! Ни словечка — сидит, притаился с мочалой, ровно белка. Собрались мы все, стали стыдить. Стал ругаться оттуда: «Сволочь» — и так и эдак, а сам намажет мочалку мылом до по суку и трет... То-то смеху-то было! То-то смеху-то! Насилу, насилушки слез! .. Ну мы ключ отняли у него, потому, лазучи по сучьям, много он фруктов посшибал.

— Ну и что же? теперь-то как?

— Чижа учит воду таскать! ..

Всеобщий смех.

— Ай без команды-то деться некуда нам? Небось завоешь... Вот и генерал!

— Уж генерал! уморушка, да и только.

— Д-да! Мы и в генералах не были, а пожалуй, что не полезем с мочалкой на дерево. Плохо, плохо ему без команды-то! .. Ванятка! не ходи, брат, в генералы! Видишь, как ему пришло? Не ходи... Лучше прямо полезай на дерево. А то вот он все слушался-слушался, палил-палил, бил-бил по приказу, а себе-то и нет ничего! Слышишь, что ли?

— Слышу!

— То-то. Плюнь. Не ходи. Так чижей?

Рассказчица смеется, тряся наклоненной головой.

— Вы бы его, — предлагает отец, — женили бы на вашей на Федорихе? Ей теперь годов семьдесят есть, поди?

— Боле, куда!

— Ну самый раз ему! А не то и так в любовь войдут со скуки. Где ее взять, команду-то, нету ее... Отняли. Куда-нибудь душу-то деть надо...

Поутих наш хохот над этим эпизодом. Отец скрылся на несколько минут в дом и, выходя оттуда, что-то покряхтывает и пожевывает.

— Ты, что ль, Иваныч, давеча про любовь, что ли, говорил? — начинает гостья, обращаясь к нему.

— Я говорил. А что за беда?

— Никакой беды, а ты вот про генерала в шутку сказал, чтобы слюбились они, например, в шутку с старухой... вот мне и пришло в голову... Беда с ней, любовью-то!

— Как не беда! — насмешливо соглашается отец. — У вас, в вашей стороне, все беда. Вот ее родственник (отец кивнул на мать), так того, что ни спросишь: — все «боюсь» да «боюсь»!

— Ах, нельзя, нельзя так!.. Я что вспомнила. Влюбился у нас, сударики мои, чиновник, вдовый и почтенный человек, в женщину... Так страсть как измучился!.. Первым долгом, как там они сдружились, прости господи, вошло им обоим в голову написать какую-то, милые мои, клятву на образе.

— Зачем же так-то?

— А уж не умею сказать. Со страху, что ли, они или как. И женщина-то, прости господи, тоже, надо быть, с робости — прачка она — не шла без клятвы-то. «Напиши, говорит, на образе». Ну чиновник сначала упирался, думал как-нибудь так, опасался, как бы чего не было худа... отвертеться. Однако написал.

— Написал?

— Д-аа! «Написал, говорит, я (сам он это все рассказывал), и обуял, говорит, меня страх... Такой страх, такой страх...»

— Да что же они, дураки, там писали? Зачем? — волнуется отец. — Ах, шуты гороховые, и этого-то дела не сумеют сладить!

— Не умели, не умели, истинное слово! Не мне их учить, а нет, не умели. «Написал, говорит, я эти самые

на образе слова и весь испужался». И она-то, милые мои, тоже испугалась, и она-то в испуге. «Что это мы, говорит, написали, об каком деле? . .»

— Ах, шуты гороховые! Али своего дела не знают?

— «Дрожим мы, говорит, от этих мыслей, ровно бы вот сейчас гром нас обоих расшибет вдребезги». Стали они друг дружке: «Это все ты!» — «Нет, ты!» Какая тут любовь, а чистая одна смерть. «По ночам, говорят, глаз сомкнуть не можем»; дело свое канцелярское чиновник совсем позабыл, стал пить, стали ему мерещиться угодники, и всё с угрозами. «Пойдешь, говорит, после обедни прикладываться к образам; к одному приложишься, думаешь: «а вот этот осердится, что я к нему не приложился». И к другому приложишься, а там, глядишь — третий. . .» Что ж, милые мои? Весь народ уж давно из церкви разошелся, а он все по иконостасу лазает. Придут дьячки, насилу-насилу его стащат оттуда.

— Ну что ж с ним? Утопился, что ли?

— Нет, не было этого, сохранил его бог! Пришло ему от этого согрешения совсем плохо. «Вижу, говорит, что нету мне житья никакого, ни сна, ничего нету; помолился я богу, пошел к протоиерею, говорю: «Так и так, батюшка. Разрешите меня от этого. Смерть моя! Снимите с меня клятву». Рассказал ему, как было дело. «Спасите», говорит. Священник подумал, подумал. . .

— Умен, должно быть, батюшка был?

— Умный, умный был, говорить нечего! «Нет, говорит, не могу».

— Какой умный!

— Да-а! «Нет, говорит, нельзя, не могу. Мне самому за это может быть дурно».

— Очень плохо! — вставляет отец: — как же? Бедовое дело!

— Бедовое, бедовое, друг! «Нет, говорит, не могу». Просил, просил его чиновник-то, ничего не выпросил, так и ушел ни с чем. Что тут делать?

— Ну-ко?

— Совсем хоть топись — так пришло. И вправду ты давеча говорил, именно бы ему утопиться; да, счастлив

бог, попался ему какой-то добрый человек, монах, шел он из Иерусалима. Разузнал это дело. «Я, говорит, вам могу оказать пособие». Потребовал он, милые мои, мочалку чистую, расчистую...

— Чистую? — трунит отец.

— То есть вот самую что ни на есть! Потребовал он эту мочалку, налил святой воды, помолился и всю эту клятву и спорхнул с маху с одного. «Тут-то, рассказывают, мы дрожали, господи!» Того и гляди гром расшибет; а как отмыл монах-то — ну уж тут...

— Ах, черти, черти! — бормочет отец.

— Прачку эту он сейчас вон, прочь! «Иди с глаз долой!»

— А она-то?

— Да и она-то рада развязаться. Ушла, рада-радехонька... «Ну, мол, тебя и с любовью с твоею!» Так вот она какая любовь-то! Насилу-насилу кой-какое худенькое местишко выпросил. Вот как!

— Ах, поганые!

— Ведь она — солдатка, — робко вставляет матушка.

— Так что же?

— Ну а он — чиновник.

— Ну?

Отец так произносит это «ну», что матушка совсем сконфузилась.

— Вот и все. Что «ну»? — тихонько произносит она.

— Что ж что солдатка?

— Действительно, что ему может быть обидно, — желая поправить матушкину оплошность, вставляет рассказчица-гостья.

— Вам, я вижу, все обидно. Вчера вот о боге заговорил — обида, про любовное дело — тоже. Шут вас знает, зачем вы только живете на свете? Я не вас, не вас... Что вы? Я про этих, про ваших жителей. Ни бога ему, ничего не надо.

— Нет!— слышу я вечером, лежа в постели: — на Дон уйду! Уйду я отсюда... Монах его спас! От любви!.. Выели душу из вас, выели... Нету ее!

— Спи, спи, христа ради! — уговаривает матушка.

— Уй-ду! Уйду, то есть вот только до весны!

III

В планах на это бегство к Дону прошла одна весна, другая и третья.

На Дон отец не ушел и на четвертую весну умер. Мне было тогда семь лет. И хотя я не мог вполне понимать отцовскую брань, хотя эту брань, получившую более определенное направление в городе, я слушал не более трех лет, тем не менее она сложила мою будущность навсегда. Мне предстояло жить по смерти отца в том же неприятном ему городе и пришлось бы непременно попасть в то или другое стойло, стать в ряд той или другой породы, пропитаться теми или другими «заказными» идеями. Матушка, помнившая завет отца и причину нашего переезда из деревни в город, то есть желание вывести меня «на настоящую дорогу», по всей вероятности не пощадила бы трудов (она и действительно никогда не щадила их), чтобы я мог завоевать себе счастье лавочного сидельца, даже купца, чиновника. Но отцовская брань в самом корне подорвала эти надежды. Я тысячи раз видал, как благодаря отцу богач купец оказывался дураком, чиновник — совсем безумным. Я очень хорошо помню одну минуту в своей жизни, именно когда я вышел весной, после долгой лихорадки, на улицу. Минута эта могла быть приготовлена только «бормотаньем» отца.

Направо, на высокой горе, стоял город, весь в зеленых садах; налево, вдали, на краю низкого луга, где расположилась наша слобода, виднелась узкая полоска неширокой и неглубокой речки. Я мог бежать куда угодно, туда или сюда. Но фигура города — я очень помню это — как бы оттолкнула меня: так много дурного было о нем в речах отца; все, что он ругал и бранил, все, что мне вследствие этой брани было вовсе неинтересно, было там, в городе... Я теперь могу объяснить этот толчок, который ощутило сердце при виде города, тогда я просто побежал со всех ног в другую сторону от него к реке. И с этого дня будущий путь моей жизни был решен.

— Эй, эй! мальчишка, упадешь, упадешь в воду!.. — окликнули меня какие-то голоса, когда я опрометью разлетелся к реке. Я остановился.

— Купаться, что ль, бежишь? Рано! Кто теперь купается? — говорил мне какой-то седенький старичок.

Он сидел с удочкой в руках; шапка, кувшин, заткнутый тряпкой, и сапоги стояли подле него на земле; сам он был в калошах и рваном халате.

— Ты раков ловить прибежал? Так, что ли? — спросил меня собеседник старика, молодой худенький, с грустным лицом мещанин.

— Нет, — отвечал я обоим: — я так...

— Ты вот что, возьми-ко вот эту банку да нарой туда червей... Рой вон под камнем... Молодец будешь. Я, брат, сам тебе услужу...

Я с удовольствием исполнил эту просьбу, выучился, как рыть червей, и когда доставил, то старичок сказал:

— Вот, брат, спасибо! Садись теперь, отдыхай!

Я сел.

— Д-да! — повидимому продолжая прерванный разговор, начал старичок: — теперь пусть-ко они меня поищут... Пускай!

— Образованные — сказал мещанин с иронией.

— Д-да! Найди-ко вот, куда отец-то необразованный ушел. Разыщи! Отец ведь дурак, невежа... Ну и пусть!

— Мудрены больно, — прибавляет мещанин и вздыхает.

Вздох этот, как оказалось впоследствии, относился к личным несчастиям мещанина.

— Не такой я человек, чтобы кривить душой! — продолжает старичок с тем задушевным волнением в голосе, которое показывает человека мягкого и доброго. — Бедны мы? — так вы трудитесь! Что вы за королевы? Что такое «мы благородные»? Трудись! Тебе дал бог ум, а вы хвосты трепать, папироски? Нет, матушки!.. У меня, может, сердце разрывается, глядючи, как вы мыкаетесь за разными щелкоперами, — а уж душу я свою соблюду. Я поработал, нету толку, бог с вами! Живите одни!..

— Пущай попробуют... отведают!..

— Д-да. Сватался часовщик. Чего еще? Мало нам! «Мужик, невежа!» Ну как угодно!.. Не желаете рук марать, кусок хлеба заслужить, живите с благородными, пока держат.. А грабить, да кляузничать, да пороги обивать, «дескать, помогите», — нет, этого не будет! Не такой я человек! У меня отец в остроге за правду умер; бог с вами! Мне от вас ничего не надо... Чтобы через ваше распутничанье места доставать? — плевать мне и на

места! Тьфу! Вот они мне что... Буду вот сидеть под кустом да рыбу ловить, ничего мне не нужно... Ничего!.. Тебя как звать-то? — обратился старик ко мне.

Я сказал.

— Буду вот с Ванюшей... Ты ходи сюда. Будешь, что ль, ходить сюда?

— Буду!

— Мы с тобой, брат, тут как заживем-то! В золотых каретах приезжай — не поедем... Так, что ли?

— Так.

— Уху заварим — держись!..

Картина была изображена старичком пленительная.

— И отлично! — подтвердил мещанин. — Где тут кабачок у вас, почтенный? Я бы мало-мальски прихватил.

Старичок указал и крикнул вслед удалявшемуся мещанину:

— Больше полштофа не хлопочи. Будет!

— Н-ну!.. — протянул мещанин и скрылся.

В ожидании его старичок сидел почти молча и только изредка говорил про себя: «и отлично, хорошо так-то... Плевать я хотел...» Говоря так, он не спускал глаз с поплавка, как будто бы именно в нем обрел он это отличное и хорошее.

— Ты приходи, смотри! — шептал он иногда и мне.

Пришел мещанин. Выпили. Старик выпил умеренно, поел хлеба, перекрестился, поблагодарил и прилег на бок полежать. Удочку его с удовольствием держал я и получал указания, как поступать с ней. Мещанин все попивал по стаканчику; но лицо его было все-таки грустно. Иногда он про себя шептал: «пущай!» и выпивал еще стаканчик. Но вдруг он как-то раскис и внезапно повеселел.

— Да что же мне-то? — воскликнул он. — И превосходно! Сяду вот тут и буду сидеть. Почтенный! — обратился он к старичку.

— Что ж? — начал тот.

— Ей-богу! Что мне? Куплю (чтоб вам всем) удочку, залягу, знать никого не хочу! И богатое дело выдумал ты, старичок, пра-во! Ну, куда мне теперь! Никуда я не желаю!.. Не имею интересу, лучше же я тут возьму да лягу.

— Именно, брат, лучше!

— Именно превосходно! Про что же я-то? Из-за чего меня погубили! а!.. Я тебе вот что объясню... У меня

живет старушка маменька... (При слове «маменька» у мещанина появились слезы.) Ну, бог с ней! Я именно что любил ее, сердцем, потому она мне мать! Сколько она талек за меня господам переносила, чтобы меня в ученье отдать! Господи! Слепенькая! Бывало, все эти тальки на стол господам кладет, эво поскольку; и день и ночь, и день и ночь... все сидит, слепнет (опять слезы; мещанин замолкает, утирает их рукавом и потом продолжает). Отдали господа в ученье... На второй год посылаю маменьке денег... На третий хозяин говорит: «Поезжай, Аркадий, в Киев... Я тебе доверяю, заправляй всем. Там у меня жена и дочь, держи себя аккуратно!» (Мещанин плачет.) Увидал я дочку-то, как вот ровно оторвалось сердце у меня... Ангел, одно слово, купидон! Какое мое было старание, двужильная лошадь того не сработает, а я делал, потому, видишь ты: иду я из лавки в кухню, а *она* на крылечке стоит: «Аркадий, подойди... Держи себя аккуратно, я тебя люблю, я у родителя испрошу на брак согласие...» Как это слышать? Так я как бешеный для ней готов был... Хозяин пишет: «В удивлении, говорит, я от твоих забот, и благодарю, и не забуду...» Ладилось мое дело, почтенный человек, лучше не надо бы; уж насчет дочери-то родителям стало известно, только бы меня испытать мало-мальски, хоть еще годик... «Не уйдет, говорит она-то, Аркадий, наше дело, только крепись...» Хорошо ли было али худо?

— Чего уж еще!

— Вот как было хорошо, вот как хорошо! (Мещанин заплакал и продолжал со слезами, которые сыпались из его глаз поминутно, несмотря на то, что он их утирал.) Глядь-поглядь — несут письмо. Пишет мать: «Стара я, слаба стала, старушка. Одна-одинешенька, нету у меня ни роду, ни племени, один ты у меня! приезжай ко мне, утешь! Я тебя хочу женить и невесту нашла...» Послал я маменьке денег сто целковых: «Маменька, говорю, помню я, как вы из-за меня тальки носили, по гроб я этого не забуду; теперь же идет мне счастье в руки, повремените годик, будет у вас дочь хорошая». Идет ответ: «Стара я стала совсем, году не прожить мне никак, и оправдания твоего мне не дождаться. Мне скучно одной, не с кем в церковь сходить; чаю, говорит, не с кем напиться... Я из-за тебя ослепла, а ты и то мне утешения

сделать не хочешь! Приезжай, по крайности я хошь обняла бы тебя...» «Маменька! Что вы меня изнуряете? — пишу ей: — вот вам, посылаю еще сто целковых, съездите к Троице-Сергию али ко мне в Киев, поклонитесь мощам, успокойтесь; не тревожьте меня малое время; какая невеста у вас — я ее не знаю: за что вы меня желаете вогнать в гроб?» Идет ответ: «Просила я тебя, сын мой, чтобы ты приехал, оставил бы свои дела для родной матери... Ты и того не хочешь; я — старая старушка, слабая, куда мне трепаться? Мне перед смертью на тебя порадоваться с женой; невесту я тебе нашла, хочу я тебя обнять, не слушал ты меня, из-за своего, говорит, самодержавия, что ты все удерживаешь себя в Киеве, то принуждена я, старушка, вытребовать тебя (мещанин залился слезами) по эт-тапу».

— Ка-ак?

— По этапу, говорит, желаю я тебя... то есть, обнять... Через пересылочную, например, тюрьму...

— Ловко! — сказал старичок.

Мещанин выпил стакан водки и плакал.

— Ну что же? — сказал старик.

— Женила, чего ж еще? Больше ничего, женила на истукане, а я ушел от нее... Что мне? Узнал я это «по этапу», стал баловаться, стал пить, стал пить... И хозяева-то стали смотреть как на пьяницу: «хорошо еще, говорят, что пережали...» «Я, говорит *она*-то, не ждала от тебя, Аркадий, такого неаккурату, чтобы ты стал пьянствовать...» Ну что ж мне?.. Мне все одно!.. Поехал домой: «извольте, обоймите...» Женись! «Извольте. На ком? На статуе? Извольте! Что вам угодно!..» А теперь я ушел.

Мещанин махнул рукой.

— Эх, маменька!.. Люблю я вас... Ослепли вы из-за меня... Н-н-ну, бог с вами! Ничего!.. Как-нибудь... Мне теперь ничего не надо... Лягу вот тут, и шабаш!.. Больше ничего... Малютка! — адресуется мещанин ко мне: — мы с вами тут сделаем дела! Именно... Вы ходите сюда... Я, брат, отсюда — ни-ни-ни, никуда!

Выпив еще стакана два, мещанин ослабел. Попробовал было затянуть песню, но не мог и остановился. Потом снял сапог, стал его рассматривать, стучать по нем кулаком и бормотать:

— Что ж... Ничего! Возьму вот сыму... сапог... д-да! а потом надену... Ничего? и другой сыму... И на-д-дену... И преотлично! Плевать мне на...

И заплакал.

Я стал шляться к старичку на берег (мещанин не улежал долго и ушел в Киев на богомолье), и повторяю, что с этого времени будущее мое было решено. Отцовская брань приучила меня питать инстинктивное отвращение к окружающим нравам, не указывая никаких путей к спасению. Теперь, в лице старичка и мещанина, я встретил людей, которые уж изобрели эти «пути» и могут доказать, что лучше этих путей других нет. «Отлично» и «превосходно» — вот эпитеты, которые новые знакомцы прилагали к своим изобретениям, — сидеть с удочкой, плевать на все, лечь, или, как изобрел мещанин, — просто взять снять сапог, потом надеть, а там пусть трава не растет.

Я попал, таким образом, в область российского протеста помощию лени, и благодаря симпатичности старичка, влияние которого вследствие этого было весьма сильно, и сам я стал в эти ряды. Не велики были размеры этого рода протеста. Мало-помалу, под влиянием старика, я стал сходиться и с другими чудаками того же разбора: то с каким-нибудь охотником до бойцовых гусей или петухов, то с голубятниками, и вообще с людьми, которые «отбивались от порядка», отвоевывали себе какую-нибудь мельчайшую страсть, какую-нибудь смешную профессию. Большею частью бывало так, что та или другая мелкая профессия, вроде занятия голубями, была не просто страстью, любовью, а как бы протестом, в глубине ее всегда таилось что-нибудь такое, что рыболова старичка заставляло, бравшись за удочку, говорить: «Ищи вот меня! Я терпел довольно, — теперь вот буду ловить рыбу, и шабаш!» — «Матушки мои родимые! — кричит мещанка на всю улицу: — последнее разбойник «мой» платьишко заложил, купил гуся бойцового!» — «Нет, ты вспомни, — отвечал тоже на всю улицу «разбойник», прижимая к груди только что купленного гуся: — вспомни, шельма, как ты меня мучила... Да! как вы меня с любовником в солдаты хотели упечь, канальи!» Глядя на то, как любовно прижимает этот человек гуся к своей груди и с каким негодованием отстаивает свои

права на него, нельзя не видеть, что в этой покупке не просто забава от нечего делать, а протест. Мало-помалу стал я втягиваться в среду этих людей, живших кое-как, маячивших жизнь помаленьку, лишь бы как-нибудь сохранить в сердце хоть один уголок, куда бы нельзя было пролезть посторонней бесцеремонности. Отвоевывая гуся, мещанин приобретал пищу для мысли, где он был полным хозяином, мог поступать свободно, не боясь даже, что может вмешаться будочник. Приобретая гуся, мещанин удовлетворял потребности жить не по приказу. Мне хорошо было в обществе этих чудаков, потому что здесь они смотрели на меня как на человека, как на равного, и я весьма быстро пропитался идеями, господствующими среди этих протестантов. Я привык тоже дорожить правами собственной мысли, отвоевывать себе такую деятельность, где бы я знал, что и зачем делаю, и чтобы в этом деле мне не мешали, чтобы я знал цель моего дела.

«Науку», то есть ученье в школе (куда меня матушка отдала и о чем будет сказано в своем месте), я бросил на первых же порах, потому что шла она на меня не другом, а врагом, с розгой и палкой, и давала мне то, чего душа моя не принимала. Я ушел от нее обиженным и стал, подобно множеству других вечных представителей толпы, жить тоже «помаленьку», «как-нибудь», занимаясь чем-нибудь, лишь бы меня не трогали, лишь бы меня «не заставляли».

Так я прожил на свете почти тридцать лет. Как я провел эти годы, чем был занят, я положительно затрудняюсь объяснить. На языке нашей стороны есть, правда, множество выражений, определяющих формы захолустной жизни, например: «помаленьку», «кой-как», «как бог даст», «надо же где-нибудь умирать» и т. д. В качестве захолустного жителя я охотно применяю эти определения и к моей жизни. Но могу сказать положительно, что как ни основательно была разработана во мне лень и уменье уйти от «заказного» дела, не было в жизни моей минуты, когда бы я самым явственным образом не чувствовал всей ничтожности завоеванного мною угла и не тосковал; лень помогала только тому, чтобы эти тоскованья не приходили ни к какому результату, кроме того, что, не делая ничего, не вмешиваясь в дела, я смотрел на них весьма прилежно.

Передо мной прошли разные времена. Были времена, когда мы вместе со старичком считали лень вещью, разрешающею все затруднения, и говорили о ней: «отлично!»

Потом были времена, когда явилась у меня потребность сбросить с своих плеч все старое, вновь родиться на свет самым сильным, энергичным человеком, потому что даже в наших захолустьях по временам как-то неотразимо чувствовалось, что скоро жизнь закипит и забьет ключом отовсюду и мне останется одна могила.

Я со страхом видел, как это время надвигается на меня все ближе и ближе... «Не от *этого* ли мы все, захолустники и мраколюбцы, пропадем?» — думалось всем нам, большим, малым и средним лентяям... И вдруг — что же? Случилось нечто совершенно необыкновенное. Время это пришло, оно вот вокруг меня, а я не умер, а напротив — успокоился, да и все лентяи, на гибель обреченные, не погибли, а повеселели. Как ни мал угол, откуда я смотрю, однако же я не могу не видеть, что среди существующего общественного шума, суматохи и хлопот тонкой змеей вьется тоска, разрывающая грудь бессильной злобой, перед которой моя лень — счастие. Напрасно у домашнего очага, за чайным столом, я ищу следов того, что составляет видимость новых времен. Шатриан мог в избе французского мужика отыскать следы государственных переворотов в его стране и на трех бабах и двух мужиках показать всю их историю; поищите же в избе нашего мужика ну хоть следов такого переворота, как земство, — едва ли это дело будет успешно... Мужик исполняет «новые времена»; мой товарищ, которому я завидовал, веря, что его уму и сердцу будет много горячей работы, тоже исполняет «новые времена», а лично каждому из этих исполнителей, кажется, все равно, что новые времена, что старые.

Лет пятнадцать тому назад я знал одного чиновника (примеры у меня захолустные), Кузьму Егорыча Груздева. Он тогда только что с отличнейшим аттестатом окончил курс в семинарии. Способности он имел быстрые, позволявшие ему моментально овладеть всеми качествами отличнейшего чиновника, так что не было ни малейшего сомнения в блистательности его карьеры, необычайно быстро достигающей сначала секретарства и любви начальства, а затем тотчас же собственных домов, созидае-

мых на неслышном, хотя и горьком негодовании обираемых мужиков просителей. Все улыбалось ему.

Но при самом начале этой карьеры все надежды Кузьмы Егорыча были неожиданно и мгновенно разрушены совершенно новыми веяниями времени «после войны!» Ни одно из подававших блестящие надежды качеств Кузьмы Егорыча не оказывалось нужным... «Дело нужно, милостивый государь, а не подшивание бумаг! Слышите ли? Дело-с!..» — пропагандировало начальство, уничтожившее значение иглы с ниткой... «Ты, свинья этакая, — пропагандировал Кузьме Егорычу его товарищ в трактире за чаем, где умели прежде шопотом толковать «о делишках»: — ты, свинья этакая, не делу служишь, а лицам! Убирайся и пьянствуй один!..» Как это? Зачем это все пришло? Чем он виноват? Кузьма Егорыч был запутан кругом... С одной стороны слышалось: «честь нужна, честь...», с другой — «совесть», «благо». Кузьма Егорыч только повертывался, совершенно убитый, и с умоляющими глазами лепетал то направо, то налево: «Честь? Ты говоришь, честь? Ваня! Что ж я... голубчик! Совесть! Опять... Петр Иваныч, отец, разве я? Господи!» Но ниоткуда не было ни пощады, ни милосердия. На Кузьму Егорыча налетели такие понятия, которые вовсе в ходу не были: он был прав, он не успел приготовиться, но его, невинного, затирала льдина времени. Я видел его однажды в жалчайшем виде: он стоял в соборе в темном уголке, положив кисти обеих рук на набалдашник палки, и, закинув голову назад, как бы в исступлении отчаяния пел вслед за хором: «конец приближается!..», и слезы дрожали в его голосе...

После того как полицейский поймал его на площади, куда он выбежал в одном белье, будучи в белой горячке, — после этого случая я не видал его до настоящего времени.

Недавно я опять его встретил.

Он только что приехал из Польши. Поглядите на него, запоет ли он теперь «конец приближается». Едва ли. Он здоров, полон, весел... Он не терзается ничем; убеждения его прочны и сложились вполне, например хоть бы по части женского пола: всякая женщина, девушка — для него каналья и шельма. «Знаю я вас, шельмовок, — говорит он при виде чуть не годовалой девочки. —

Я в Польше... Канальи!» «Знаю я эти земства, мошенники, канальи...» «Я вот тебе дам протест!» «Я из тебя вышибу литературу! — думал он, потихоньку присватываясь к одной девушке, читавшей корректуру губернских ведомостей: — Я знаю, что у тебя на уме-то!.. Все вы шельмы...» А между тем этот человек делает одно из самых *новых* дел, отлично зная, что этому новому делу нет никакой надобности быть связану с личной жизнью. Какова же эта личная жизнь? — Дома он ходит в одной рубашке, не стыдясь никого и ничего. Он заплатил. В разговорах его чрез каждое слово — пять слов непечатных; прислуга улыбается на эти слова, и Кузьма Егорыч знает даже, что она довольна, потому что «все они подлецы» и «заплачено». Те из его слов «дома», которые можно бы печатать, относятся к водке и закуске; водку он уничтожает, пользуясь правом полной свободы. Рожа у него, когда он дома, постоянно цветет, как пион. Наевшись, напившись, он мечтает жениться на «шестнадцатилетней», чтобы она была «совершенный ребенок»; а пока еще этот вопрос не решен (много еще их, каналий, есть, успею!), Кузьма Егорыч беседует в своей квартире с привозными дамами, любезничая непечатными словами, потому что «заплачено».

Но что Кузьма Егорыч! Кузьма Егорыч, с позволения сказать, животное — и только. А вот вы подивитесь:

Недавно на моих глазах несколько вполне просвещенных лиц, занимающих в ряду новых деятелей видные места, приняли участие в деле, достойном, пожалуй, только моей скучающей праздности... Было жаркое послеобеденное время. Деятели спали (спали и они, потому что делать нечего), потом проснулись и пошли ходить друг к другу. Тех, которых проснувшиеся заставали спящими, они стаскивали за ноги и будили, говоря: «вставайте, вставайте», не зная, впрочем, зачем это нужно. Спавшие просыпались и тоже затруднялись определить — зачем они это сделали. Разговаривать им друг с другом совершенно не о чем, несмотря на то, что они делали целое утро множество новых дел. «Ну что?» — «Ничего!» — «Как?» — «Так, как-то». Вот что они со всею искренностью могли предложить друг другу. Впрочем, на этот раз я упустил из виду одно обстоятельство, в это время была война, и поэтому некоторое время шел довольно

оживленный разговор о коммуне. Могу уверить вас, что все эти господа действительно образованные люди. Они действительно способны, развиты; они много читали, много знают, много учились, но, тем не менее, по прекращении газетных разговоров им оставалось или идти слушать в саду музыку Бутырского полка, или заводить речь о женском поле, или сесть за карты, или, наконец, послать за бутылкой. Во время этого раздумья в комнату, где сидели несчастные люди, донесся со двора голос хозяина дома, отца протоиерея.

— Господа! поедемте со мной топить кобеля? — вопросил отец протоиерей столь же весело, как и неожиданно.

Приглашение было кстати.

— Какого кобеля? — раздались вопросы.

— Да нашего черного, стар и, кажется, от жары что-то дурит... Как бы не перекусал... Поедемте, господа? Я со всей семьей.

— Чорт знает что такое! — послышалось со всех сторон. — Лучше отравить... Что за зрелище!

— Право! — продолжал батюшка. — Отец дьякон едет тоже... а? мы бутылочку захватим. Хе-хе!

— Чорт знает что такое!

Могу уверить, что топить кобеля никто из этих господ не имел никакого желания; повторяю, что люди эти настолько развиты действительно, что вполне могут интересоваться более благородными и высокими вещами, тем не менее кто-то из них решился произнесть:

— Что ж, господа?

— Право! — продолжал свою песню батюшка: — ведь за город, вроде прогулки... самоварчик захватим... Вам все равно нечего делать. Собирайтесь-ко, всё веселей.

— Вы далеко ли едете? — спросил один из деятелей батюшку (товарищ прокурора).

— Мы далеко... Отлично на тразке... а? господа?

— Вы как же, камень, что ли, ему на шею? — с некоторым пренебрежением в голосе произнес кто-то из каких-то вообще довольно «крупных» деятелей.

— Да уж там увидим.

— Его лучше застрелить, — продолжал деятель.

— Не имею ружья-то!

— Да я принесу свое, если хотите, — вызвался деятель, все-таки с пренебрежением в голосе.

Несколько других лиц из числа присутствовавших тоже предлагали свое оружие, порох и готовность, так что мало-помалу общее мнение начало склоняться в пользу приглашения батюшки.

— Мы вот как, — подливая масла в огонь, говорил батюшка: — мы возьмем водки, закуски, пирог у нас делали с капустой и с яйцами, превосходнейший.

— Нет, зачем же! — откликнулись голоса: — что ж всё вы? Мы возьмем водку, вы берите самовар... Так нельзя... Надо, чтоб было поровну.

— Ну ладно... Так, стало быть, марш?

Очевидно, что все соглашались, хотя и ничего определенного не ответили.

Скоро по улице ехали батюшкины дроги, наполненные семейством и узлами с провизией; за ними два извозчика с гостями; кобеля вел на веревке мужик среди экипажей. На перекрестке встретились дроги с семейством отца дьякона. Весело раскланявшись, они присоединились к общей кавалькаде.

— Куда вы? — кричал с извозчика один из двух товарищей прокурора, ехавший в поезде, пробегавшему через дорогу судебному следователю.

— Я хотел тут по одному делу...

— В острог?

— Да. А вы куда?..

— Поедемте! Потом узнаете.

— Поедемте, надоел мне этот острог до смерти!

Следователь сел на извозчика, и увеличившийся поезд продолжал следовать безостановочно. Все чувствовали, что делают что-то глупое, — а все-таки ехали.

Утопили и напились.

Я бы мог представить и не такие примеры скудости личной жизни действующих в новые времена лиц, но это будет сделано со временем. Лично для меня достаточно и этих примеров, чтобы оправдывать и свою лень. Питать большие надежды, биться с нуждой, быть умным, честным, и все для того, чтобы рано или поздно, за неприложимостью к жизни всех этих качеств, поехать топить кобеля, — это, как хотите, весьма много говорит в пользу простой лени и ничегонеделания, спокойного сна. Мне бы

следовало быть очень счастливым, глядя на эти сцены; но я знаю, что кругом меня не всё топят кобелей, а порою и сами топятся и режутся.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ ПО СЛУЧАЮ СТРАННОЙ ВСТРЕЧИ

I

После обеда, часа в три или четыре дня, слободские улицы почти совершенно пустынны, особливо летом. Слобожане спят, забившись куда-нибудь в холодок, в чулан, в погребицу и ругаясь спросонка на мух. А проснувшиеся и уже усевшиеся за самовар долгое время не могут прийти в себя, привести в порядок размякшие члены и тоже не показываются на улице. Кое-где пищит ребенок, орет петух.

В такую-то безлюдную пору по пустынным улицам нашей слободы однажды шатался захожий мужик, повидимому разыскивая что-то или кого-то. Полушубок, надетый на нем, несмотря на жару, был расстегнут; в одной руке держал он шляпу и постоянно вытаскивал из нее полотенце и вытирал им мокрое лицо. Потел он, повидимому, и от жары, и от незнакомой стороны, и даже как будто от неопределенности своих желаний. Вот подошел он к дому купца Косолапова, остановился, тряхнул белыми волосами, взялся за кольцо калитки, громыхнул и пошел прочь, потом опять воротился и принялся грохать кольцом безостановочно, разозлив в короткое время косолаповскую собаку до невозможности. Купец Косолапов, по всей вероятности впросонках, спрашивал себя: «кто такой это долбит там?» По всей вероятности, с теми же вопросами обращались сами к себе кучера и кухарки, лежавшие недвижимо в жарких кухнях и прохладных сенниках; но так как ответом на этот вопрос было желание перелечь на другой бок, то захожий малый, несмотря на свое усердие в разозлении собаки, принужден был выпустить из рук кольцо купеческой калитки и, выйдя на середину улицы, взывать в пространство:

— Почтенные! .. а, почтенные? Как бы тут к примеру...

Всю эту историю я с большим вниманием наблюдал из окна нашего домика. Я, матушка, слесарь Лукьян и еще один благородный гость — все мы сидели и пили чай. Лукьян в это время был постоянным моим посетителем. Как попал ко мне гость благородный, почему он, «приезжий из Петербурга», разыскал меня в моей трущобе, я скажу впоследствии подробно. Теперь же сообщу, что это был молодой мальчик лет девятнадцати, до краев наполненный цветущими желаниями того времени (время тогда в самом деле было новое) и крайне удивлявшийся или, вернее, вполне не понимавший и как будто в то же время слегка интересовавшийся моими с Лукьяном разговорами, в которых уж ровно ничего не было относительно нового времени, а было нечто захолустное, обленившееся и вздорное.

— У кого петуха-то купил? — спрашивал Лукьян, дохлебнув с блюдечка чай и подавая пустую чашку матушке.

— У офицера, — отирая пот со лба и придвигая к себе новую, дымящуюся чашку, отвечал я.

Разговор у нас был отрывочный, потому что мы были заняты делом чаепития основательно. Делали это дело мы с удовольствием, торопясь не потерять понапрасну времени, которого нам вовсе некуда было девать. Мы опоражнивали чашки, наполняли их вновь, отирали лбы и откусывали куски сахару столь же быстро и непрерывно, как будто нами управляла какая-то неведомая сила. Так мы привыкли.

— Имя? — спрашивает Лукьян, словно бы собираясь куда бежать.

— Чье имя?

— Чье! Петухово имя спрашиваю! Чудак!

— Как звать, что ли? — помогает матушка, не отстающая от нас в спешной работе и накинувшая на плечи целое полотенце, вместо того чтобы вытирать пот рукавом, как Лукьян, или полой халата, как я.

— Известно, имя! Чудаки вы, ей-богу. Имя петухово как? Есть, чай, имя-то?

— Нету еще, — говорю я.

— Как же так нету? Это почему?

— Так и нету... Не придумал.

— Нету еще! — помогает мне матушка. — Надо как-нибудь собраться.

— Известно, надо. При охоте нельзя без этого... Зол?

— И-и, — говорит матушка. — Чисто изуит!

— Ну, «Мышьяк»! Вот ему — ежели зол.

— Злой!

— Злой?

— Петух — боже мой!

— Ну, «Мышьяк»... У меня был, я тебе скажу, петух, имя было ему под названием «Яд», и уж точно — отрава!.. Уж, брат, оборони бог! Сохрани царица небесная, до́ мозгу! — в восторге вскрикивал Лукьян: — до́ мозгу с одного бацу прошибал!..

И он с волнением ставит пустую чашку.

Благородный гость, на губах которого виднелась улыбка, внимательными и недоумевающими глазами смотрел на нас, иногда принимаясь хохотать, иногда спрашивая: «Ну, что же с петухом?..», иногда восклицая: «Чорт знает!..» Он думал, что теперь «все новое», а тут какие-то восторги из-за петухов, прошибающих до́ мозгу... Лукьян на поприще куриных вопросов мог быть положительно неистощим. Я, знакомый с этими вопросами лично, мог, слушая Лукьяна, в то же время наблюдать и за мужиком, шатавшимся из угла в угол по улице. Когда положение его достигло до полной беззащитности и когда он остановился посреди улицы, молча держа руку над затылком, я видел, что в нем надо принять какое-нибудь участие, и позвал его.

Это был парень лет тридцати, с маленькой белой бородкой, кустившейся по концам подбородка, с волосами, подстриженными в кружок и круто вившимися на лбу, напоминая бараньи рога. Глаза у него были бледно-серые, как будто без зрачков, и производили впечатление человека, помешанного на какой-то мысли, которая непрестанно удручает мозг.

— Ты кого ищешь? — спрашивал я его, когда он подошел к окну и поклонился как-то лбом.

— Человечка бы. к примеру... — задумчиво проговорил он и стал переминаться. — Такое дело... — прибавил он в раздумье.

Я думал, что ему неловко разговаривать на улице, и сказал, чтобы он шел в комнату. Он согласился молча; понурив голову, прошел двор и вошел в комнату. Тут он

помолился, поклонился и стал посреди дверей в той же задумчивости. Несколько минут он стоял молча, перебирая поля шляпы, так что я должен был опять спросить его:

— Ты кто же такой?

— Куприяновские...

— По делу ты сюда?

— По делу

Здесь он вздохнул и, слегка оживившись, прибавил:

— То-то, друг, по делу... От всего мира иду.

— Ходок, что ли, ты?

— Ходок.

— Какое же дело у вас?

— То-то дело-то наше... Человечка бы надо... Чтобы в случае он... Дело-то хитро наше, братец ты мой!

— Да в чем?

— Насчет земли? — спросил гость, сильно заинтересованный мужиком.

— Оно, точно, насчет земли... Земля-то оно земля, — потряхивая головой и как бы что соображая, тянул ходок. — Земля — это есть; а и окромя земли в нашем деле тоже есть много всего... Вот я тебе что скажу!

— Вы говорите! Вы не бойтесь! — сказал гость.

— Ты говори, — прибавил я: — может быть, мы тебе чем-нибудь поможем...

Все время как бы сонный ходок вдруг встряхнулся и произнес:

— Я бы тебе, друг ты мой, сказал вот как, эстолького вот не утаил бы, — да языка-то нету у нашего брата... Вот что я скажу! будто как по мыслям-то и выходит, а с языка-то не слезает. То-то и горе наше дурацкое!

Мы попросили его сесть.

— Об чем же бьемся-то? Об эфтем, друг, — присев на стул, продолжал он; голос его дрожал от искреннего, глубокого сожаления о невозможности овладеть и в полной ясности представить нам гнетущие его голову мысли. — Друг ты мой! Суди сам! Мир дал денег на поход, надежду на меня имеет, а что я? То-то бог-то нас убил!.. Мне, друг ты мой, копейку теперь мирскую проесть, и то я ее тронуть боюсь — я третий день, может, не ел, не пил, только что хлеба весовова покушал с полфунта... Как ее тронуть!

Ходок говорил все это с глубокой грустью. Положение его действительно было ужасное; по искреннему, задушевному голосу его можно было видеть, что, помимо мирского желания, он сам был глубоко поражен какими-то мыслями; с железною энергией готов был стоять за них, но голова не может справиться с огромностию лежащей на нем задачи так, как бы следовало в данном случае.

— Да нет, нету. Ничего не поделаешь! — сказал он бессильно.

— Как ничего? — придвигаясь со стулом к ходоку и желая помочь ему выбраться на дорогу, сказал гость. — Ты ведь говорил, что из-за земли у вас дело?

Желание моего гостя было им понято, он несколько оживился и стал отвечать как-то вопросительно, прилежно прислушиваясь к вопросу.

— Ну из земли?

— Плохой надел, что ли?

— Нет, ничего... Надел то часть особая. А из чего взялось-то это, ты вот что скажи!

— Что такое взялось?

— Да все наше недовольствие!

— Где же, у кого?

— В наших местах... там... Почему? Земля там — одно дело. А почему?

— Да что же? В чем дело... что почему?

Ходок помолчал и проговорил тихо:

— А душа? как ты об этом?

— Ну? — спросили мы оба, я и гость...

— Ну? Больше ничего. — Мы замолчали. — Есть ли у человека душа? Ее оставить нельзя... Эх! Ивану бы Митричу самому бы в ходоки-то идтить... Что я?

— Кто этот Иван Дмитрич?

— Старичок наш... вот ему так дано от бога! Что только у него ума, и-и!.. Уж он — так рассказал бы... д-да!

Признаюсь, мы ничего не понимали и сидели молча, потому что и ходок тоже молчал.

— Гов-ворил он этта... — как бы смутно что-то припоминая и пристально приглядываясь к чему-то, с расстановкой начал ходок: — говорил он этта: «Что есть человек?»

— Как что?

— Да! Что такое?

Мы не могли отвечать.

— Прах! Больше ничего. Так, что ли?

— Ну прах, — ответили мы. — Ну?

— Ну вот! Мне бы с головой-то разобраться, а то я тебе объясню, погоди. Поведем дело по порядку. Стало быть, прах — раз...

Ходок загнул один палец на руке.

— Раз, — повторил он. — Ладно. А земля? По-твоему, земля что будет?

Мы не знали, что сказать.

— Опять же прах! — радостно сказал ходок. — Видел? И земля, стало быть, тоже прах, — вот и два. Теперь гляди...

Ходок остановился.

— Гляди теперь... Ежели я, к примеру, пойду в землю, потому я из земли вышел, из земли. Ежели я пойду в землю, например, обратно, каким же, стало быть, родом можно с меня брать выкупные за землю?

— А-а! — радостно произнесли мы.

— Погоди! Тут надо еще бы слово... Видите, господа, как надо-то.

Ходок поднялся и стал посреди комнаты, приготовляясь отложить на руке еще один палец.

— Тут самого настоящего-то еще нисколько не сказано. А вот как надо: почему, например... — Но здесь он остановился и живо произнес: — душу кто тебе дал?

— Бог.

— Верно! Хорошо! Теперь гляди сюда...

Мы было приготовились «глядеть»; но ходок снова запнулся, потерял энергию и, ударив руками о бедра, почти в отчаянии воскликнул:

— Нету! Ничего не сделаешь! Всё не туды... Ах, боже мой! Да тут, я тебе скажу, нешто столько! Тут надо говорить вона откудова! Тут о душе-то надо — эво сколько! Нет, нету!

— Да ты припомни, пожалуйста, просто, покойно.

— Да нет, нету! Ивану бы Митричу надо это. Говорил я старичку: «потрудись, пойди за мир, постой. .» Н-ну! .. да и стар, да и дома надобен... Нет, тут нешто так надо-то? Э-эх, господа!

Ходок намеревался уходить.

— Куда ж ты? — сказал я; но ходок не слыхал и, поворачиваясь медленно к двери, говорил:

— За этакое дело не один человек стал!.. Глянь! куда хошь, не отступим. Д-да!..

— Куда ж ты уходишь?

— Д-да! За это дело помереть, и то ничего... Нам дана душа — тоже и об этом надо подумать... Вот что! Прощения просим!

Говорил он это каким-то отчаянным голосом и, не слушая нас, направился к двери и ушел.

— Куда же ты пойдешь? — спросил я, высунувшись в окно.

Ходок остановился.

— К угоднику теперича я пойду. Помолюсь, чтобы дал мне бог понятие... Батюшка! Отец небесный!

В голосе его звучали слезы.

— Прощайте! — сказал он тихо и пошел.

Так ничего мы и не добились.

— Зацепка в уме, — сказал Лукьян, все время молчавший и таращивший на мужика глаза. — Должно быть, и ему до мозгу голову-то прошибли, — прибавил он в виде остроты.

Но мы не могли ответить на нее.

Гость в задумчивости торопливо ходил из угла в угол и торопливо курил. Я смотрел в окно вслед ходоку и тоже думал.

Из купеческих ворот вышел кучер и, почесывая бок, поглядел лениво по сторонам.

— Кто это тут даве булдыхал? — вопросил он просыпавшуюся пустыню.

— Мужик! — откликнулся откуда-то неизвестный голос. — Он тут часа два слонялся... Я видел...

— Мужик? — повторил кучер весьма равнодушным тоном, опять поглядел по сторонам, опять почесался и, должно быть для округления фразы, прибавил: — Нет, надо дубину хорошую, к примеру... По морде, чтобы в случае... да!

Тут из ворот выкатилась жирная кухарка с голыми руками, которые она держала под легоньким фартучком. Кучер обратился к ней и прекратил свои мрачные монологи.

— Послушай, Ваня! — остановившись на ходу, с живостью обратился ко мне гость. — Знаешь что? Пойдем ходить с тобой по деревням? Неужели ты думаешь постоянно возиться с петухами? Ты видишь, — продолжал он, направляя руку в сторону удалившегося мужика, — люди хотят чего-то побольше, чем ты с твоими петухами... Что за свинство!

Я молчал, потому что и сам именно об этом думал.

II

В то так называемое «новое время» не раз приходилось мне робеть за покойную философию. Вдруг откуда-нибудь выплывет обыватель и предъявит что-нибудь такое, что и сам объяснить не в состоянии, как, например, мужик-ходок. Не мне было под силу вдумываться в запутанную мужичью речь; мне довольно было знать, что человек стоит за что-то, хочет чего-то такого, чего я не знаю, чтобы взволноваться; представить себе, что начинается что-то новое, в чем не могу принять участия, что мне, с моими куриными вопросами, придется лечь в гроб... «Что такое там у них есть?» Я помню, было время, когда все это мертвое ожило; но тогда была в обществе идея, крепко воспитанная историей, именно — ненависть к басурману, к турку, посягающему на гроб Христов... Теперь это прошло. Что же там еще? Я положительно недоумевал. К такому взгляду привела меня окружающая жизнь. Мужик-ходок заставил меня вспомнить кое-что из этой жизни и возвратиться к продолжению воспоминаний моего детства.

После отца, который, как уже известно читателю, первый развил во мне убеждение в том, что современное общество живет без всякой серьезной и совестливой мысли, я продолжал мои наблюдения лично сам. И какое было множество явлений, которые убеждали меня, что даже привязанность к гусю, к петуху, к какому-нибудь мелкому вздору, что даже такие ничтожности — и те составляли в то время достояние натур исключительных, талантливых. Сколько шло народу ко мне, тогда еще совершенному мальчишке, чтобы около меня, имевшего что-то «свое», отвести душу!

Сын того купца, который ругался с моим отцом, бывало, помню, жалобным голосом умоляет меня «взять его» с собой. «Куда ты?» — уныло поет он, выйдя за ворота, в то время, как родители его почивают и когда во всем доме слышен один только маятник. «Возьми меня с собой, Ваня! . .» Я мог взять его с собой и мог не взять, оставить его дома, чтобы он слушал от своего богатого отца рассказы о том, как родитель раз тонул, как ненароком убил человека, как женился на матери, причем ни одного из этих событий он объяснить решительно не может. Как он убил человека? Совершенно непостижимо. Поехал он по помещикам скупать хлеб и «обнаковенно» (ему так кажется) взял с собой дубину. И «обнаковенно» едет навстречу тройка, на тройке помещик с приятелем под хмельком. И «обнаковенно» помещик кричит: «стой!» И «обнаковенно» взял он дубину; помещик тоже выхватил пистолет. Произошла драка, после которой помещик (ехавший, между прочим, продать хлеб этому самому купцу) через два дня помер. Как это так? — «Бог знает! . . И страсть только!» А женился он как? Сидел он на базаре в халате (в те поры в халатах хаживали) и продавал пряники, — семья их пряниками торговала, была бедна, и надо бы им по-настоящему в такой бедности и век свой свековать, а вышло вот как:

Сидит он на базаре в халате, и вдруг подходит купец Орясинов, богач, и говорит: «Поди вот, я тебя на дочери женю; только я тебя показать ей не могу, потому — ты нищий, а ты гляди ее с улицы в окно, когда будет сговор. . .» — «А я не видала, какой такой жених, — прибавляет супруга, — а в те поры думала: где это наша курица пеструха, не украл ли кто?» — «Да я, признаться, поглядеть-то боялся, потому вы уж очень в ту пору богаты были. . .» А потом, после этой женитьбы, каким-то родом «открылось» какое-то дело, и пришлось три года просидеть в остроге. Конечно, этого толком объяснить решительно невозможно. Весь этот, зависящий бог знает от чего, жизненный опыт приводит только к одному: спать на сундуке, в котором деньги, есть редьку, бояться страшного суда, а в часы досуга поиграть в карты, «в дураки», «в пьяницы», «в свиньи» — названия, которые действительно можно объяснить и понять. . .

И вот, воспитываемый столь объяснимыми и столь способными дать определенный склад уму и характеру, наполнить сердце семейными преданиями, бедный малый ходит, как опоенный, и вопит к прохожим: «Ты куда? возьми меня с собой!» И какая скука в этих осоловелых, тоскующих глазах; какая жалость смотреть на этого рыхлого доброго мальчонку, не знающего, что с собой делать, куда деться.

— Пойдем! — говорил я обыкновенно и «брал» его с собою морозить ледянку или ловить чижей. Как он был рад, как услуживал мне и как я им командовал!

Потребность умолять о том, чтобы взяли с собой, осталась у этого мальчика навсегда. Когда же по смерти отца он остался почти хозяином отцовских лабазов и постоялых дворов, причем денег у него было довольно много, явилось множество людей, желающих «брать его с собой» и наполнять содержанием его опустошенную душу. В бурные, шумные компании кутил и драчунов его не тянуло: это была натура мягкая, робкая; ему нужно было занятие поскромней пьянства, и, по робости своей, он попадал на занятия весьма смешные.

Самым любимым из них сделалось для него пение и чтение в церкви: как он был смешон, выходя читать апостол или петь на клиросе «господи помилуй!», причем лицо его наливалось кровью, ибо шея крепко была затянута атласным платком. И чего стоило ему добиться чести хлопнуть крышками среди церкви или проникнуть на клирос, на спевку; прежде чем достигнуть этого, он должен был весь хор недели две поить в трактирах чаем и водкой. Заметив его беззащитность душевную, опекатели делали с ним что хотели. Рассказывают, что однажды регент «для смеха» предложил ему следующий ультиматум: «так как теноров у нас довольно и он, поющий тенором, только мешает, то если хочет оставаться в хоре, пусть поет басом или убирается вон». Беззащитный купеческий малый принужден был согласиться и, чтоб получить бас, в один холодный осенний день засел голый в воду, под мельничную плотину, чтобы вода била ему прямо в шею: он желал охрипнуть.

— Здорово, Ванюшка! — говорил я ему при встрече. — Как дела?

— Теперича в воздвиженском хоре... третью неделю, — весело отвечал он (тенором). — Басом приходится петь (это уж говорит басом и потом прибавляет): черти! Ничего не сделаешь с ними... Я уйду отсюда. У Покрова тоже хор хороший, и публика чистая; там меня прямо за тенора принимают. Я уйду.

Впрочем, в настоящее время ему сделалось самому интересным петь именно басом; говорит он поэтому всегда выгнув шею и ходит лбом в землю.

А мещанин Федотов?

Это был человек лет тридцати с лишком, высокий, костлявый, с подстриженною в щетку бородой, в легком длинном сюртучишке, который он нашивал лето и зиму. Он слыл за силача и действительно был силач; но в мое время он не имел уже «ходу», «прошло время», и ему пришлось иметь компаньоном меня.

— Развязное было время, — говаривал он. — Вот что я скажу... Бывало, братец ты мой, за сто верст Федотова-то возили... Только выди... да! У меня трех ребер нету, а и то было хорошо! На, пощупай.

Я щупал.

— Я ни одного живого места в себе не имею, — а ничего! Душа только радовалась... А теперь что? в солдаты, что ли? Бывало, рад душой за своих постоять... «Выручай, Гаврюша...» У меня сердце-то вот-как-вот от этого, ровно молотом, стучит... Своих да не выручить?.. Чтобы дать деревенским мужикам ходу? — Извините! Вот как, бывало, — что праху не оставалось от всей их мужицкой стаи... Тут тебя несут в город-то на руках... да-а! А теперь что? Картошки с женой печь? мне теперича и в семью незачем показываться... Эх-ма...

Действительно, в подгородном селе, с которым Федотов когда-то «дирался», с которым у города были какие-то счеты, одушевлявшие драку и дававшие ей известного рода мысль, теперь царствовала только бедность: в пору было выпутаться из какого-то межевого дела, которое выпивало все деревенские деньжонки и уже давно уничтожало возможность досуга.

Федотов не имел любезного ему дела и тосковал. Иногда он в скуке приходил ко мне.

— Ты что это тут? — спрашивал он.

— Хочу скворца повесить.

— Скворца? Ты бы мне сказал, я б тебе шест принес.

— Принеси.

— Ей-богу, принесу. Мы вот как: пойдем-ко с тобой в осиновую рощу да хорошую жердь вытянем оттуда. Ладно, что ли?

— Ладно.

— Ну так живее надо... Нет ли шапки там где отцовской? домой бежать далече... Поищи поживей!

И полсуток хлопочет, устраивая шест около крыши и вешая скворца.

Но такие мирные занятия были не по его натуре. Ему надо было бушевать, побеждать, сокрушать врага, ничего этого теперь не было, и он безобразничал.

— Эй вы... мясники! — кричит он зычным голосом в темный зимний вечер, когда наши ребята катаются вдоль улиц на салазках и на ледянках.

— Э-эй, живо! Кто там у вас? выходите!

Никто не выходит.

— Так-то, по-вашему? Эх вы! Н-ну выходите, что ли!

Иногда он, заметив в числе играющих меня, тащил и меня с собой «шляться по городу».

Бывали в моей тогдашней жизни минуты неопределенной тоски, когда я вдруг становился как-то равнодушен к своим скворцам и чижам, в душе делалось сухо, неприятно, холодно. Даже к матери я придирался в это время, зачем у меня рваная шапка; зачем меня не учат. «Не на что тебе шапки купить», — говорила матушка. Но я подкапывался под ее доводы, доказывал, что есть на что, что купили же скатерть, когда их две. «Та для гостей». — «Для гостей! Для гостей можно пеструю». Иногда я положительно выводил матушку этими придирками из всякого терпения и в то же время сам хотел плакать.

В такие минуты я с удовольствием принимал предложение Федотова путешествовать с ним.

Нельзя сказать, чтобы ему не было компании в этих путешествиях. К нему всегда присоединялось два-три человека, жаждавшие тоже раззудить плечо, а навстречу этой, так сказать, «нашей» компании, глядишь, валит другая.

— Что за люди? — кричит в темноте Федотов.

— Ты что за человек? — вопрошает компания.

— Стой! — категорически говорит Федотов: — я — Федотов: слышал это слово?

— Был Федот, да теперь не тот.

— Не тот? Али тебе показать? становись-ко!

— Ты лучше приставай к нашей компании, вот что, брат Федотов! Эх, ты...

— Ежели ты мне угощение дашь, я к твоей компании пристану.

— Это за что же? Угощали тебя, будет.

— Будет вам, — раздается сострадательный голос. — Пойдем, угощу. Потом вместе тронем. Андрюшка, гармония здесь?

— При себе.

— Делай...

И что же делает эта ватага силачей целую почти ночь?

Вытаскивала она из земли тротуарные тумбы, неизвестно зачем. Неизвестно зачем, валяла на землю фонарные столбы, поворачивала крыши на гнилых нищенских избенках, мазала дегтем ворота, даже там, где вовсе этого не следовало делать. Разворотить забор и разметать по сторонам доски, «вломиться» туда, куда не пускают: — вот что делала эта несчастная ватага силачей, не знавшая, куда деть свою силу.

Пошатавшись с этой ватагой, я снова чувствовал удовольствие уйти в свой угол и просил у матушки прощения.

Не могу не вспомнить еще об одном существе, хотя воспоминания эти и не в пользу моего честолюбия. Это был больной, нервный мальчик, тоже из купеческого сословия, живший в варварской семье. В нем было много потребностей, много задатков; познакомившись со мной и узнав все мои развлечения и дела, он отнесся к ним с большим презрением. «Эко!» — говорил он с какою-то гордостью, словно бы он может что-то сделать в тысячу раз лучше и интересней, нежели я. И действительно, не могу забыть, как он однажды наизусть читал «Конька-горбунка». Он ходил в это время вдоль забора, как тень, не обращая на слушателей никакого внимания, и с такой верою и задушевностью передавал фантастические эпизоды полетов конька по воздуху, что даже я не мог не глядеть в это время на небо и на месяц и ждал, что вот-

вот он пронесется с Иванушкой, рассыпая из ноздрей искры.

Разговаривать он не любил, все молчал и думал, а глаза у него были как у помешанного. Убежать! — вот что хотел он.

«Конек-горбунок» произвел на меня сильное впечатление, и я сам стал заглядывать к нему в дом. Но проклинавшая его как «дурака» семья стала объявлять мне, разумеется тоже с проклятиями, что «пострел» куда-то пропадает и что пора пришла отвязаться от него, отдать в солдаты. «По крайности царю будет слуга», — говорил его отец. Били его за эти отлучки и увечили; но он молчал и пропадал. Уходил иногда темной ночью и приходил на другой день вечером.

Я долго его не видал.

Вдруг однажды, когда мы с маменькой возились на огороде, как бешеный перескочил через плетень Андрюша и бросился бежать по грядам, повидимому, куда глаза глядят. Он казался совершенно помешанным.

— Куда ты? — закричал я, догоняя его.

— К царю! — задыхаясь, крикнул он мне голосом, в котором, повидимому, напряглись последние усилия измученного тела.

Тут только, когда пришлось ему перелезать через другой плетень, я увидел, что подмышкой у него был мешок, из которого торчала страшная звериная морда, и толстая лапа царапала плохо прикрытое одеждой бедро Андрюши. Это был необыкновенной величины дикий кот.

— Уйду! Погоди! — прохрипел он, перескочил плетень и, обхватив кота оцарапанными в кровь, сухими, как кости, руками, скрылся.

Оказалось, что по ночам он караулил этого кота, который жил в норе под хлебным амбаром и выходил только по временам. Андрюша вздумал поймать его, принесть прямо во дворец к царю и получить от него то, что в сказках сказывается.

Его долго искали — не нашли.

Через год он пришел с этапом. Где был его кот и что с ним случилось — неизвестно.

— Где ты, мошенник, пропадал? а?

Андрюша молчал.

— Отвечай, стервец этакой.

Но ни битье, ни угрозы не выколотили из него ни одного слова.

Он был нем.

— Андрюша, где ты был? — спросил я его при свидании.

— Молчи! после расскажу, — прошептал немой. — Теперь я немой... Меня к угоднику повезут... Я исцелюсь. Молчи.

Я молчал. Андрюша прослыл за немого и даже со мной не говорил ни слова. Идея — быть немым — была для него удовольствием, задачей, которую он выполнял с полною любовью.

Действительно, устав колотить и ругаться, родители повезли его к угоднику. Прежде, нежели они воротились оттуда, по нашей стороне пронеслась следующая легенда: по приезде в монастырь Андрюша, кроме немоты, сделался недвижим. Целую неделю он лежал, не шевеля ни одним членом. Отец и мать молились на его глазах и рыдали, служили молебны, клали вклады и впали в уныние. Вдруг ночью, совершенно неожиданно, при первом ударе колокола к заутрене, он вскочил, встал на ноги и произнес: «Господи помилуй!»

Господь его помиловал. Чудо было явное, и Андрюша теперь на вершине свободы, возможной для святого человека.

Он ходит в рясе и уж сам думает, что он святой. Сколько выдумывает он пророчеств и как работает его голова! Давала ли и даст ли такую работу мысли, придумывающей небылицы, наша обыденная жизнь?

III

При столкновениях моих с так называемыми «благородными» подобных ударов моему самолюбию я почти не испытывал никогда. В слободу, засевшую в грязи и глуши, надзор и порядок еще не успел проникнуть в тех широких размерах, в каких он проник впоследствии, доказав, что кроме его, то есть «порядка», ничего не надо никому. За право «не даваться в обиду» тут еще бессознательно боролось много народу, конечно без всякого существенного результата, ибо все «мысли о правах»

давно были подрублены в самый корень. Но все-таки были здесь люди по крайней мере погибавшие, как говорится, мастерски, сгоравшие, например, от водки, точно так, как сгорает свеча от огня. Были вообще натуры, желавшие плевать на мое спокойное существование с крошечными и пустяшными привязанностями. В обществе благородных было гораздо уж больше порядку. И тут я чувствовал себя хорошо.

С благородным обществом я познакомился посредством школы. Наука вообще ровно ничего и никогда не значила в моей жизни, в образовании моих взглядов; поэтому-то я до сих пор не говорил о ней ровно ни одного слова, хотя и учился. Сначала матушка отдавала меня к разным доморощенным учителям: старушкам, которые сами не знали ни аза в глаза, но были очень добры; к дьячкам, «набившим руку» в учении мальчуганов за целковый в год. Ученья тут не было никакого, а было усмирение бунтовавших мальчуганов, дранье и, как результат всего этого, — возможность учителю прокормиться. Таким образом, в первые годы моего детства воза, нагруженные редькой, капустой, свеклой, аккуратно доставлялись матушкой к тем или другим наставникам. Лучше всех из числа этих учителей был вдовый дьякон. Во хмелю он был тих (а хмелен был он часто) и в это время плакал, рыдал об умершей жене, сочинял грустные, слезные стихи в память ее и читал их нам. Во время этих рыданий была полная свобода, а главное — почти все мы любили этого дьякона. Случай заставил его прекратить школу. Напротив его дома жил с старухой матерью какой-то отставной гимназист лет двадцати, проводя время как бог пошлет и пробавляясь кое-как. Он однажды, в припадке той неопределенной и мучительной тоски, которая знакома только обывателям нашей стороны, когда не знаешь, куда деться, в воду или петлю, в такую-то минуту он однажды зарядил хорошим дробиным зарядом пистолет и выпалил им прямо в школу. Несколько книг было изодрано дробью, пробита аспидная доска, которую держал какой-то мальчуган, размозжены стекла в рамах и все перепуганы. Никто после этого не хотел отдавать сюда своих детей, и школа закрылась. Я некоторое время ни о каких науках не думал; но потом матушка, верная завету моего отца —

«вывести меня на настоящую дорогу», задумала продолжать учение и направила воза с овощью к начальству уездного училища. Но, одумавшись и разочтя, что овощь равно необходима и начальству средних и высших учебных заведений, как и начальству низших, направила воза в гимназию, куда я и поступил, выдержав экзамен, во время которого я чувствовал, что овощи действительно получены экзаминаторами в исправности и в почтенном количестве.

Уличный авторитет мой был в то время настолько велик, что, идя с матушкой в гимназию, я чувствовал, что делаю и ей и этому каменному желтому зданию большое одолжение и снисхождение. Я лишаю себя нескольких часов в день общества своих друзей, чтоб из деликатности, из доброты моей проскучать у вас там, в каменном доме, на задней лавке, часов пять-шесть. Задняя скамейка, или так называемая «камчатка», была отведена мне с первых шагов моих на поприще науки. Учителя меня не беспокоили. Это самое лучшее, что они для меня могли сделать: иначе бы они воспитали во мне чувство злобы, какой я до сих пор не знал. Они, должно быть, видели, что лучше .меня не трогать и не расшевеливать, ибо я был не ученик, а человек.

Как бы ни были пусты и ничтожны мои интересы, которыми я жил в слободке, но это были интересы человеческие, в которых играли роль любовь, совесть и честь. Если я сходился с кем, — я знал, почему. Если ненавидел кого, — тоже потому, что имел какие-нибудь этому основания. В школе тогдашнего времени я не заметил человеческих отношений. Лучший приятель, не задумываясь, драл, по приказанию начальства, своего приятеля за ухо. По воле начальства товарищ, назначенный «старшим», обязан был выдавать своих товарищей на заклание. Лучшая награда была за наушничество. «Это вот он сделал» — мог воскликнуть без просьб или приказания начальства не один из моих тогдашних соучеников. Были исключения; но я беру черту общую, существенную. Эта компания была мне не под пару. Человек, совершенно мне незнакомый, к каковым человекам принадлежало бесчисленное начальство, мог прийти, взять меня за ухо, за волосы, поставить в угол, — я возненавидел этих людей. Товарищество большею частью тоже было мне

не под стать. Вот два мальчугана спорят о том, что «у моего отца есть и шляпа и шпага, а у твоего — нет». Пересчитывая все отцовские отличия, они доходят до слез и идут жаловаться надзирателю, решение которого совершенно их успокаивает. Тот, кто по этому решению прав, — делается навеки неразубедимым; тот, кто неправ, приучается навеки знать, что с начальством ничего не поделаешь. С этой мелюзгой, не знающей, что у человека есть на плечах голова, мне нечего было делать. Я мог бы только бить их, если бы умел быть злым, и гнать от себя прочь. Но я этого не делал. Я не лез сам почти ни к кому, но ко мне, напротив, лезли многие. От иных я сторонился, иных любил и большинству покровительствовал.

Это большинство, у которого по малой мере семь колен родословного древа, не знали никакой другой цели в жизни, кроме повиновения; были, однако же, не совсем умершие, иссушенные дети. У них было сердце, которое билось, которое хотело что-нибудь чувствовать, и рядом со мной им было хорошо. Не прийти в класс вследствие большой рыбной ловли или охоты — что часто делывал я — было многим и многим здесь в высшей степени интересно. Уйти от уроков за утками, — да это что-то необыкновенное! Посидеть со мной на лавке, послушать, что я говорю, — для многих было истинное удовольствие.

О тех, кого я сам любил, я говорить теперь не буду; а из покровительствуемых мною скажу несколько слов об одном мальчике, который впоследствии, в качестве петербургского гостя, присутствовал у меня в обществе Лукьяна и деревенского ходока.

Я познакомился с ним в гимназии. Звали его Павлуша Хлебников. Это был слабенький, бледненький мальчик, одетый всегда с иголочки, снабженный всеми принадлежностями науки: перьями, карандашами в количестве более, нежели полном. Из-за этих карандашей и резинок к нему лезло много народу; но, повидимому, он не мог похвалиться любовью товарищей, потому что, как только у него иссякали письменные материалы, на него действительно мало обращали внимания, и даже иной из товарищей, кто понаглей, без церемонии бросал ему в глаза ябедника или труса. Слезами этот мальчик обливался почти постоянно, особливо когда не мог делать

подарков. На меня он давно поглядывал с своей первой скамейки, но как будто боялся.

Наконец однажды я увидел, что он робко перебирается ко мне с парты на парту.

— Хотите, я вам подарю чернильницу? — робко говорит он, держась от меня вдали и держа в руке зелененькую складную чернильницу.

— Нет, — сказал я. — Не надо.

— Возьмите!

Мальчик произнес это с дрожанием в голосе и готов был зарыдать.

— У меня дома есть своя, — сказал я.

Мальчик не решился сказать ничего, но слезы были в его глазах, а чернильницу он так и держал в руке, — ему было крайне обидно взять ее назад.

— Давай мне! — сказал один из начинавших ловкачей и ловких людей, Козлов.

— На! — радостно сказал мальчик и потянулся за Козловым; но тот уж был далеко и знать ничего не хотел.

Прошло пять минут; слышу, тот же мальчуган опять что-то кому-то дарит и плачет и потом скучный сидит один.

Не знаю, почему-то я почувствовал к нему большую жалость и как-то раз сам позвал его к себе «в камчатку», а потом познакомился с его семьей. Семья эта была образцом семей, в которых нет ничего «настоящего», «подлинного». Тут все, с седьмого колена, шло против личных чувств, против личных желаний, убеждений и покорялось какой-то тягостнейшей необходимости. Отец Павлуши Хлебникова был чиновник, занимавший хорошую должность. Происходил он из духовного звания, где, по крайней мере пять поколений назад (точно таких, как и в других сословиях), люди женились не любя, занимались делами, почти всегда не соответствовавшими способностям, и были связаны с местом жизни, с женой, с людьми, каковы — прихожане, родственники и проч., только тем, что, развязавшись с ними, должны бы были умереть с *голоду*. Голод — вот была идея, связующая все это, готовое разбежаться врозь. Сколько тут было лжи, взаимной ненависти, притворства, низкопоклонства, соединенного с полным презрением! .. Человеческим, свободным отношениям

здесь места не было. Отец Павлуши был человек не глупый, талантливый, а в молодости был мечтатель: так, будучи в семинарии, он думал идти непременно в священники; у него было призвание к этому делу, он обдумал его во всех подробностях, начиная от проповеди, которую он думал сказать не так, как говорят наши «балалайки», а по совести, с толком. Но личному чувству, личным симпатиям здесь нет ходу. На плечах его лежали целые поколения бедствующей родни, которая бы должна была умереть с голоду, если бы позволил он себе жить так, как хочется, — и он пошел в чиновники, чтобы помогать тем, кого не имел причины любить, и женился на той, которую не любил; ему, вступившему на путь необходимости, надо было покоряться всему, — жениться, поэтому, был полный расчет на дочери начальника, чтобы скорее добиться того, за чем пошел, то есть денег. Дочь начальника тоже, быть может, имела свои планы. Она была женщина умная и скромная и точно так же, подобно мужу, принуждена была обстоятельствами делать что-то такое, чего ей не хочется. Влюбись-ка она по собственному желанию вот в того молодца-красавца, меща́нина! Разве она не знает, что в красавце воспитано побуждение иногда вооружиться против своей возлюбленной поленом и поучить. И вот образовалась семья, в которой ничего нет сделанного «по душе». Они помогают родне, которую терпеть не могут. Родня низкопоклонничает, а в душе называет их разбойниками. Отец думает о том, как бы он был священником; иногда он даже, раздумавшись, видит жену, стоящую в церкви, — жену, которая совершенно не походит на теперешнюю, *та* совсем другая: волоса, глаза — все другое у той, а на клиросе видится ему маленький мальчик, поющий отличнейшим дискантом, — это сын. У него и теперь есть сын, который учится в гимназии; но это не «тот» сын, не «настоящий»; «настоящий», который на клиросе, нисколько не походит на гимназиста. В такой школе решительно не было возможности узнать, что̀ такое человек, что права над ним даны любви, совести. «Разве бы я пошла за твоего отца, ежели бы не нужда?» — сказала бы мать сыну, решившись быть искренней. «Нешто я бы иссох так, кабы не связали меня вы все?» — сказал бы отец, если бы тоже намерен был поступить искренно. Вот корень семейной войны и той легкости, с которой

сын может совершенно забыть свою семью, разлучившись с ней на месяц, а на другой месяц начинает ее ненавидеть. В семье Павлуши никто не давал себе воли; отец и мать сознавали, что делали, — и молчали. В доме вставали, ложились, пили чай, принимали гостей, словом — исполняли все, как следует, и, главным образом, молчали. Не освещала ли какая-нибудь светлая, широкая идея этого угла? Повторяю, что не было идей — ни у кого и никаких. Религиозны они были по форме, потому что принадлежали к приходу. Что такое «политика», они не знали; что такое общество, жизнь общественная, — тоже. Была здесь глубоко затаенная тоска и молчание. В этой-то обстановке и жил мальчик.

И вот он лезет дарить мне чернильницу с тем, чтобы испытать чувство благодарности. Он ждет, что я ему скажу: «Спасибо, Паша, какой ты добрый».

И будет некоторое время чувствовать себя хорошо.

Но вот приходит инспектор и приказывает этому Паше выдрать мне ухо.

И Паша выдерет его, потому что он поглощен новым удовольствием — быть предпочтенным пред другими. Он лучше других, а другой, кому он дерет ухо, хуже его! Ощущения, какие бы то ни было, до того новы, что совершенно поглощают его, и только опомнившись, он плачет.

— Свинья ты этакая! — говорит ему будущий ловкач и адвокат Козлов: — стал драть за ухо товарища, подлец!

Паша плачет и говорит:

— На тебе чернильницу. Я не буду никогда.

— Не будешь ты, свинья этакая, — говорит Козлов, пряча чернильницу к себе. — Дрянь!

— Возьми еще хрестоматию. Я не буду!

— Давай, свинья этакая, и хрестоматию!

Козлов обирает мальчика отлично! И, наконец, Козлов гладит его по голове, и они расстаются друзьями. Павлуша возвращается домой, к отцу. Отец, в знак любви, приготовил сыну подарок (потому что ни из чего другого семейные привязанности здесь не делаются).

— А где твоя чернильница?

— Козлов взял.

— Как взял?

— Просто говорит: «отдай!»

— Какая шельма!

Павлуша врет; но врет именно потому, что приятно чувствовать, как «заступается отец», давно желающий на какой-нибудь манер показать любовь к сыну. Павлуша не желает терять благоприятной минуты ни для себя, ни для отца. Да и «чувствовать себя несчастным», в виду такой непоколебимой защиты, как отец, тоже приятно.

И врет. Козлов представлен чистым разбойником.

— Я его, каналью! — говорит отец.

На другой день, по жалобе отца, Козлова секут.

— Свинья ты подлая! — говорит Козлов; но потом мирится на подарках.

Я взял этого обездушенного мальчика под свое покровительство; но из этого не вышло ничего. Бросался он на все, повидимому, с азартом; но это только повидимому.

Впоследствии из него явно стала выходить фигурка, которой бы нужно было что-нибудь поновей, да по возможности приятно, да чтобы и ненадолго.

IV

Я бы никогда не кончил, если бы стал обстоятельно перечислять сотни виденных мною людей, тщетно жаждавших осветить свое горестное существование какою-нибудь мыслью. Исполняя виды высшей воли, они чахли в собственной пустоте, почти не зная, что они люди. Единственный раз в моей жизни я видел, как зашевелилась общественная душа и когда почти до краев было полно существование каждого из этих мучеников. Это было во время войны. В общественной душе еще уцелел каким-то образом какой-то «турок» с неумытым рылом, град и гроб Христовы, Христовы страдания. Все эти вещи были воспитаны крепко и почему-то не были тронуты порядком. Как они, пробудившись, оживили всех и всё!

Чиновник, который вчера в пьяном виде еще не знал, за что подраться на свадьбе у приятеля, и выдумывал предлогом для драки обстоятельство, которое сам считал пустяками, например начинал придираться к хозяевам с криком: «а обещали подать малиновое мороженое! где оно?» — чиновник этот в настоящую пору требует к суду

Викторию, кричит: «подайте мне ее!» и искренен в этом крике, хотя и глуп. Мещанин, который вчера еще, ободрав падаль и продав шкуру, не знал, за что приняться, воротившись домой, — колотить ли семью, пойти ругаться к соседу, лечь ли спать или ударить поленом свинью, — знал теперь, что ему делать: сколько он жене принес секретных известий с театра войны! И у жены тоже они есть; да и ребенок, который прежде не мог рассчитывать ни на что, кроме подзатыльника, теперь нес с улицы также какое-то новейшее известие и внимательно выслушивался, да и сам знал, во что играть: вчера он просто лез головой в заборную щель и кричал от боли на всю улицу, а теперь он играет «в войну». Богач купец, который ездил к Акульке и сорил деньгами перед всей ее солдатской родней, с просьбою успокоить его; который, не будучи успокоен, напивался до чортиков в своих обширных палатах и лез, к стыду своему, на крышу гонять голубей, — и тот вспомнил турка и бога, и тому пришло на память, что, кроме медалей, есть еще душа. И вот он, вместо Акульки на площади, — уже перед воинами и даже говорит речь.

— Воины! — говорит он и плачет. — Не попустите ево, к примеру... турка. пытаму... (он рыдает)... пытаму, што... (он рыдает еще более)... от-течиство... (Рыдания заставляют его безмолвствовать минут пять.) По полуштофа на брата!.. Ур-ра!

— Ур-ра!

— Ловко! — гремят зрители, видящие хоть какое-нибудь деяние, которое и они тоже понимать могут. — Мещанам бы тоже ты, Иван Естафич, поднес по... отечеству... для веры... по случаю. по престолу.

— По косушке жер-ртвую! — подняв руку кверху, вопиет Евстафич и падает на колени.

На площади идет молебствие, и протодьякон, раздирая горло в многолетии воинству, знает на этот раз, что дерет горло за дело, которое ему известно, а не просто по приглашению соскучившегося купца, которого он в душе называл разбойником, и если все-таки гремел ему многолетие, то единственно из-за желания получить красную и купить ногу баранины. Он знает, что на него смотрит вся толпа, понимающая причину его воодушевления. А старушки, которые в былое время не знали, какую бы еще

придумать сплетню, чтобы попить благодаря ей чайку в хорошем доме, — и у тех теперь полны карманы новостей, и они тоже теперь чувствуют потребность потолкаться в толпе, потолковать с ней на площади.

— А анпиратор и говорит... — шепчет одна другой.

— Полегче вы, старенькие! — тоже шепчет им древний старец, которому теперь только представился случай объяснить, почему у него не ходит правая нога, еще во времена герцога Бирона отдавленная в застенке колодкой. — Полегче об эфтом!

— Мы худова не говорим, батюшка.

— То-то, потише бы: у меня до сих пор нога-то не ходит. Так-то! Ну что такое амператор сказал?

— А сказал, говорит, не давать им овса...

— Кому?

— Не знаю я, друг ты мой.

— А говоришь! Из портов не велено отпущать овса, — кому, знаешь ли?

— То-то не знаю...

— А мелешь. Попадешь вот в хорошее место, пропотеешь полгодика, узнаешь... Кому овса не велено?.. Австриаку! Тараторки! Овса, овса... Ты лучше бы богу молилась.

— Ты-то дюже строг ноне. Полегче бы маленько...

— Нет, вот как засадят в ямку, в темненькую...

— Урррр-а!.. — бушует на площади, заглушая шушуканья толпы и об овсе, и о птице, сидящей на московской колокольне, и о свече у Иверской, которую турки начинили порохом и поставили перед иконою ночью. Хорошо, что митрополиту приснился сон и он успел выхватить свечу, которую разорвало тут же на улице, и т. д. Все эти толки заглушены криком «ур-ра».

Молодцы Ивана Евстафича, запрягшись в телеги вместо коней, вытащили на площадь не один десяток сороковых бочек. Выехав на середину площади, молодцы становятся каждый на колесо своей бочки, имея в руках по черпаку; черпаком этим предполагается вливать водку в манерки солдат и прямо в рты обыкновенных обывателей, ежели они не могут представить посуды.

— Православные! — возглашают молодцы с черпаками.

Масса шевелится, и скоро закипает драка. Дерутся какие-то «ефимовцы» с «андроньевскими», «васильевские» с «котельниковскими», словом — выступают какие-то партии, оттененные неизвестными или ненужными до настоящего времени названиями, скрывающими какую-то мысль. Это не простое разворачивание забора, как еще недавно производили Федотов с компаниею.

Словом, все одушевлено мыслью. Турок, завещанный в сказках, делал жизнь сколько-нибудь понятною! Нельзя сказать, чтобы все это было чересчур умно, но факты оживления отрицать нельзя.

Вот в это-то время один обыватель, торопившийся ночью к приятелю сообщить газетную новость, наткнулся впопыхах на камень и сломал ногу; из этого обстоятельства возник вопрос об освещении, явилась статья в газетах. Невозможность достать газетки и неуменье ее выписать, чтобы знать, что такое делается, были причиною появления другой статейки — о библиотеке и т. д. Словом, турок так толкнул общество, что индивидуумы, составлявшие его, подобно биллиардным шарам от удара кием, зашевелились, задвигались.

— Почему же это я все пьянствую? — влетает в голову талантливому чиновнику Змееву, давно чувствовавшему, что ему нужно что-то...

До этого оживленного времени Змеев действительно занимался только пьянством, рисуя портреты с трактирных случайных знакомых. Он отлично рисовал карикатуры и типы из русской жизни. По натуре это был большой художник; но отец из статских генералов не дал ему никакого образования, художество называл чуть не преступлением и держал человека на какой-то должности с пятирублевым жалованьем. У Змеева была уже лысина на голове, а он все еще уходил из дому тайком, после того, как отец заснет: иначе ему могла быть гонка. Ропот против отца — вот что держало его на свете, подобно другим таким же субъектам, трактирным компаньонам, жившим — кто ненавистью к жене, кто ропотом на несправедливость начальства. Тысячу раз Змеев хотел бросить родительский дом, уйти. Иногда казалось, что он вполне готов привести свое намерение в исполнение, мечтая поехать в Петербург, показать там свой талант... Но ничего этого никогда не делал. За пределами страданий

в отцовском доме не было ничего... Были какие-то темные улицы и душные кабаки, и среди этой тьмы терялась всякая вера в себя, в свой талант. Но в новое, оживленное время, когда носилось в воздухе так много славы, храбрости и других вещей, которые доставались какому-нибудь Федотову нипочем, Змеев увидал слишком ясно свое ужасное положение. Ропот на отца, который довел сына до лысины, не сделав ничего для того, чтобы из него вышел человек, дошел до крайних пределов.

И вот он пьет и ругается.

— Ведь я человек, сволочь ты этакая! — кричал он в трактире собеседнику.

— Ты не ругайся, однако!

— Что «не ругайся»? Ну, чего «не ругайся»? Как вас не бить-то! Вот я чему удивляюсь! Нет, молодцы эти англичане, ей-богу! Перестрелять вас надо всех... до ед-динова!..

— Когда ты перестанешь пьянствовать? — говорит ему отец. — Когда ты перестанешь по ночам шататься? а? Ведь я тебя в солдаты, каналью, отдам.

— А ты зачем мне жизнь загубил?

— Ка-ак?

— Зачем жизнь-то загубил? Ка-ак!..

— Это мне ты смеешь говорить — «ты»?

Раз сорвавшись на слове, с наболевшей душой, Змеев не удержался.

— Я! тебе! Погубил ты меня!

— Вон! Вон!

— Погубил! Злодей! Ты злодей!.. Я — человек! пойми! А что ты сделал?

Старый генерал падает в обморок, а разозленный сын не унимается.

— Уйду! Чорт с вами, разбойники!

На этот раз Змеев действительно переехал из отцовского дома в какую-то трущобу.

Подобных этому случаев было на моих глазах великое множество, и я уж не смел драть носа перед окружавшим меня обществом.

Оно необыкновенно посвежело и ободрилось. Мои почитатели, как силач Федотов, чудотворец Андрюша и т. д., уже не нуждались во мне и нашли свое дело. Один дрался со славою, другой имел готовую тему фантазиро-

вать и предсказывать. Моим компаньоном остался почти один только Павлуша Хлебников, который очень часто сопровождал меня в моих скитаниях по оживившемуся городу. Я в это время целые дни проводил на улице: встречал и провожал войска, толкался на площадях, где по грязным заборам были развешаны бесчисленные картинки о победах, и слушал толки. Разнообразия было очень много.

Однажды я и Павлуша Хлебников присутствовали при приеме рекрут. Дело было в пасмурный зимний день. У крыльца присутственного места и по всем улицам и переулкам, прилегавшим к этому зданию, было великое множество деревенских саней, наполненных плачущими бабами с детьми; множество зрителей и участников в приеме толпились тут же. Раздирающий плач женщин, гармония вольника, который, расталкивая толпу и гордо заломив на голове шляпу, перевязанную лентой, направлялся в кабак, окруженный караулившей и ухаживавшей за ним семьей его покупателя; вообще все картины набора, драматизм которых увеличивался тем, что это был набор уж не первый и народ был истощен, — все это производило довольно тяжелое впечатление.

Зрители не испускали воинственных воплей и не вели оживленных бесед, и когда один из наших гимназистов, окончательно вышедший из гимназии и уж почти принятый в юнкера, завел разговор о храбрости, — то несколько голосов осадило его весьма бесцеремонно.

— Сволочь какая, ревут, как коровы! — произнес было гимназист. — За отечество идут и ревут! Какие ж могут быть победы?

— Уж ходили, ходили за...

— Полегче, полегче, ребятки, — останавливал народ древний старец... — За это знаешь что?

— Ходили, ходили, а все толку нет...

— Ежели мы будем реветь, когда война, когда надо драться... — сказал было гимназист; но ему не дали докончить.

— Что мелешь? — закричал на него мясник в белом фартуке... — Поди-ка сам под пулю-то!

— Я и иду! ты не ори.

— Идешь? Вы мастера только разговоры разговаривать...

— Нет, иду, ну?

— Ну, и с богом. Хоть бы поменьше было вашего брата... Мужика совсем вывели, — и вас бы пора.

— Осторожней, кум! — шептал старец... — За эти словечки знаешь куда?

— Ну вас к шуту! — с сердцем сказал мясник.

— Да кто ты такой? Как ты смеешь так говорить? — вдруг наступил на него будущий воин. — А хочешь к губернатору? ты против кого говоришь?

Мясник скрылся.

— Ах, каналья этакая! — в искреннем гневе сказал будущий воин. — Непременно узнаю, кто это.

— Кто этот юноша? — спросил кто-то сзади меня.

Я обернулся; сзади меня стоял молодой человек в клеенчатой фуражке и в поношенном драповом пальто.

— Это наш гимназист.

— Вот защитник-то отечества! — проговорил он, не улыбаясь, но довольно мягко...

— Все бы ему драться, — прибавил кто-то из толпы: — он тут давно шумел...

— Гм... — сдержанно сказал молодой человек и обратился к нам: — вы, господа, здешней гимназии?

— Да.

— Я — ваш новый учитель истории.

Мы было оробели, но, к нашему удивлению, учитель ласково сказал нам:

— Пойдемте, господа, ко мне; поговорим, да кстати вы меня познакомите и с городом.

Мы последовали за учителем и не могли порядком надивиться ему. Говорил он с нами как с людьми, ибо несколько раз спросил: «как *вы думаете*?», «не правда ли?..» Этого никогда мы прежде не слыхивали. Потом завел нас к себе в нумер и предложил нам, как настоящим людям, — вино. «Не хотите ли мадеры?» — «Извините, я разденусь...» Все это было ново, и учитель оставил в нас наиприятнейшее впечатление. Сколько сообщил он нам о войне, о злодействах, о злоупотреблениях! — и хотя мы были весьма далеко от понимания всей важности этих тайн, но и нас пробрал его разговор.

С этого времени и в порядках гимназии и вообще в порядках жизни произошел перелом. Новый учитель тот-

час начал борьбу с мелочностью начальства и тотчас нажил тьмы врагов, начиная с гимназического эконома до директора включительно. Ученики стали выписывать журналы и читать; собирались на квартире нового учителя потолковать, посоветоваться, образовали особую партию, к которой примкнул и Павлуша Хлебников. На моих глазах он столь же мило и легко делался либералом, как прежде делался ябедником (тоже очень милым) или исполнял волю начальства, повелевавшего выдрать товарища за ухо.

Я бывал в этом обществе; но я уж значительно обленился и жил жизнью толпы более, нежели можно было думать; я даже оставил в это время гимназию, потому что, в качестве одного из субъектов толпы, почувствовал большую тоску...

Война кончилась. Турку снова нужно было запереть в душу на неопределенное время, и все стало по-старому. Силачу Федотову опять нечего делать. Андрюше не о чем пророчествовать. Улица, где сломал ногу обыватель, бежавший с газетными известиями, освещена; но зачем теперь ходить по ней? Фонарь стоит в ней один-одинешенек. Почитать газету? — да что в ней интересного? У толпы опять не осталось ничего, и мещанин, вчера еще рассуждавший с женой о политике, теперь снова говорит ей свирепым голосом: «Что стала? Не знаешь своего дела? Загони свинью-то! Давно я за вас не принимался!..» Мещанский ребенок решительно не может выдумать игры «в освобождение крестьян», о котором уж бродили слухи и в толпе, и попрежнему лезет головой в заборную дыру и орет.

После турка у толпы ничего не осталось своего...

Зашел я к Змееву. Он жил в отдельной комнате у чиновника сотоварища и хотя не имел с отцом никакого дела, но я заметил, что он уже в затруднительных обстоятельствах относительно возможности распорядиться своей свободой.

— Ты что же в Петербург-то? — сказал я ему и заметил, что он пьян.

— Погоди... Будет все!

Храбрости в его голосе, однако, не было.

— Надо послать за водкой! — торопился он прервать речь о Петербурге.

Принесли водку. Змеев выпил и охмелел.

— Я — человек! Понимаешь ты это? — стал было он кричать попрежнему; но на крик явилась хозяйка и сказала:

— Вы, пожалуйста, не шумите.

— Как? Я не имею права делать, что хочу?

— Дом мой!

— Я плачу деньги.

— Все-таки вы не смеете...

— Не смею?

— Не смеете.

— Я не смею? Вот же вам!

И он поставил на стол некоторую посуду.

— Побойтесь бога, на столе стоит божий дар — хлеб, а вы...

— А-а... — вопил Змеев: — я не смею?.. Погодите, я вам покажу... Вот же вам...

Хозяйка выбежала вон, а за ней и я.

Змеев бушевал и дебоширничал еще недели две. Все безобразия, находившиеся в его руках, он пустил в ход для доказательства, что он человек, но так как этими безобразиями он ничего не доказал и, отрезвившись, сообразил, что далеко ему до человека, то вскоре засел он за письмо к отцу.

В письме он просил прощения, кланялся в ноги и умолял позволить ему вернуться.

Отец ответил ему длинным письмом, с текстами из священного писания, и позволение вернуться дал.

И вот Змеев опять не смеет выйти вечером из дому до тех пор, пока не «улягутся».

Все в толпе стало по-старому.

А я все плотней забивался в угол. Лень овладевала мною все более и более, и кругом было столь же много тоски, скуки, которая мне давала возможность быть покойным.

V

Так, за самоварчиком, просидел я долгое время. Не знал я, как мои гимназические товарищи кончили курсы и разлетелись по чужим краям; не знал, в каких они были университетах и что там делали.

На дворе у меня кудахтали куры, ходил петух «Мышьяк», прошибавший дó мозгу; все было тихо и покойно.

И вдруг является Павлуша Хлебников с бесконечными рассказами об университетской жизни.

«А, — думал я не без злости: — ишь тебя там как налили-то новыми мыслями! Помогать народу! .. И как это ты будешь помогать ему? Найдешь ли ты в нем такую струну, такую душевную привязанность, ради которой он бы стал тебя слушать? И к чему такому нашел ты у него жажду, чтобы ему было мало лаптей и неусыпного труда?»

А тут вылезает какой-то полоумный ходок и объявляет про какое-то дело, за которое все стоят, и это дело не просто из-за надела, а из-за души.

— Да что же? Неужели еще что-нибудь осталось в этой душе? Турка более нет... Что же там? Религия? Семья? ..

Я решительно ничего не понимал.

Но все это было весьма ново, и я решился предпринять путешествие с петербургским гостем.

Мы намерены были пройтись «недалеко», ибо даже и при начале путешествия (нельзя утаить) чувствовали тайно, что там, в народе, нам, пожалуй что, делать нечего.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Я И ПАВЛУША «ХОДИМ В НАРОДЕ»

I

Под влиянием смутного страха пред наступающим новым, неопределенные формы которого так неожиданно затронул известный читателю мужик-ходок, я и Павлуша совершили путешествие и утомительное, хотя и краткое, и весьма тягостное для души, но поучительное. Тягостное и странное впечатление этого первого путешествия ничуть не рассеялось даже тогда, когда случай дал нам возможность кое-что узнать о таинственном мужике и о том, как комбинируются его многосложные мысли.

Случай этот представился нам на богомолье, в уездном городе, отстоящем от нашего, губернского, верст на

тридцать пять. Попали мы на богомолье именно вследствие странного душевного состояния, которое стали ощущать почти с первых шагов пути, — состояния, которое можно назвать несколько неловким... Там, где есть настоящая, подлинная жизнь, там нет надобности шататься «за ней» куда бы то ни было, есть за семь верст киселя; там, по всей вероятности, всякий вопрос, возбужденный жизнью, получает тотчас же и ответ от нее самой. В путешествии нашем было не то. Отправляясь в путь, мы тоже имели некоторый, хотя и недостаточно определенный вопрос, но когда ответом на него стали нам служить десятки верст пустыря, десятки верст проселка, который, казалось, решительно не хотел вести к тому месту, куда шел, и как бы старался, виляя без цели из угла в угол, только проморить пешехода и протянуть время, когда пришлось радоваться всякой галке и вороне, которая заблагорассудит изредка оживить картину унылых полей; словом, когда обнаружилось, что мы за ответом отправляемся неизвестно куда, — я думаю, никто не задумается определить наше душевное состояние, назвав его неловким и тягостным.

«Куда мы идем? не лучше ли воротиться домой? И какое нам до всего этого дело?» — стало мелькать в голове, когда мы «отмахали» по тоскующему проселку верст пяток.

Признаться вслух, что мы были чужими в этих полях и проселках, было не легко, и мы шли, молча неся в душе неразрешимую тяготу. Невольно чувствовалась потребность ободрить себя, даже зайти для того в кабачок. Мы крайне обрадовались, завидя постоялый двор, стоявший при впадении проселка в старинную большую дорогу. Постоялый двор с раскрытыми по местам крышами, с пустым двором, на котором по временам ветер поднимал кое-где труху и раздувал хвост одиноко бродившей курицы, не особенно оживил нас, хоть мы и выпили водки и поели. Какое-то запустение веяло из каждого угла, от каждой вещи. Хозяйка ходила по сеням, распустив платье и босиком, и не то она чего-то искала, не то хотела позвать кого-то; но почему-то сердилась, что можно было заключить по довольно вескому удару, нанесенному ею свинье, опрокинувшей корчагу с помоями. Посердившись спросонок в сенях, хозяйка вышла на крыльцо и стала

будить работника, который спал ничком на лавке. «Иван! Иван! Иван! Иван!» — слышалось нам в окно, причем всякий раз раздавалось шлепанье хозяйской ладони об Иванову спину; но Иван не просыпался, да хозяйке, повидимому, и надобности в нем не было, ибо, наколотив ему спину и накричавшись, она пошла прочь несколько как будто успокоенная, — по крайней мере она залегла спать не ругаясь... Пустырь, неопределенное ворчание хозяйки, ветер и куры, без призора гулявшие по горнице, хлопавшие рамы — все это, при нашем неопределенном положении, еще более расстроило нас.

Вечером мы вышли на крыльцо постоялого двора, не зная, куда идти — направо или налево. По большой дороге плелись богомолки и богомольцы. Иные из них садились близ крыльца перевязать лапоть или просили напиться и скоро уходили далее.

На крыльце было общество.

Здесь на ступеньках сидел хозяин — лысый чернобородый мужик, повидимому спросонок, угрюмый и пыхтевший, как самовар. Он был в ситцевой рубашке, босиком и сурово посмотрел на нас.

— Расчет, что ли, требуется? — спросил он нас, искосясь.

— Да! Расчет бы... — сказали мы, хотя в сущности хотели посидеть на крыльце.

— Авдотья! — позвал хозяин жену таким голосом, словно бы он хотел ее растерзать. — Авдотья! Иди, что ли! заснула там?

Авдотья, жена хозяина, появилась на крыльце. Она недовольно сморщила свое лицо и пискливым, тоже крайне расстроенным голосом спросила:

— Ну что?

Говоря это, она одновременно обращалась и к нам и к мужу.

— Расчет дай господам.

— Почему же «господам»? — вдруг спросил Павлуша Хлебников, имевший неосторожность нарядиться в деревенский костюм, купленный в городе.

Этот вопрос весьма заинтересовал и дворника и дворничиху, так что у последней почти вовсе исчезло недовольное выражение лица.

— А кто же вы? — сказала она. — Я сейчас вас узнала.

— По чему же?

— Вот чудаки-то! Что ж вы, мастеровые, что ли?

Мы не могли дать ответа — кто мы.

— Нешто мастеровые, — продолжала она, — станут трескать — извините — под такой день скоромь?

Мы опять не могли ответить, ибо не знали, «под какой день» с нами случилось путешествие.

— Под какой день? — спросил Павлуша.

Тут хозяйка захохотала, ударив себя руками о бедра, а хозяин поворотил к нам жирную багровую щеку и, искашиваясь сердитым глазом, спросил:

— Да вы куда идете-то?

Положение наше стало еще труднее.

— К угоднику, что ли?

— К угоднику! — ответили мы наудачу.

— А потребовали молока! — произнесла хозяйка. — Какие же вы мастеровые? Нешто мастеровой человек сделает так-то? Он бога помнит, он не смеет этого... Я сейчас вас узнала, как потребовали молока... Как это можно, чтобы простой человек... Простые вы!.. А вы зачем нарядились-то, баловники? какие притворщики!..

— К угоднику идти на богомолье, — сказал хозяин довольно нравоучительным тоном: — да наряжаться, словно на масленице, — тут порядку мало. Так нельзя!

Хозяин даже тряхнул головой: — так убежденно и нравоучительно произносил он каждое слово.

— Какой человек имеет веру, тот идет, — продолжал он тем же нравоучительным тоном: — идет, например, с верой, например, да! А не то что... чтобы... молока там... Ему память раз в год, стало быть, надо ее почтить.. А не то что...

— Это «память» называется то же самое, что праздник, — пояснила нам хозяйка.

Мы сидели как школьники.

— А когда будет праздник? — спросил Павлуша.

При этом вопросе на некоторое время остолбенел и поднялся даже с своего сиденья дворник, а дворничиха просто отшатнулась в сторону.

— Вы что же это творите такое? — сказал дворник, когда прошло оцепенение. — Идете к угоднику, а не знаете, когда ему память?

Мы молчали. Дворник смотрел на нас в упор, как следователь, и, сделав небольшой промежуток молчания после первого вопроса, для того чтобы мы почувствовали всю нелепость наших поступков, задал другой, тоже следовательский вопрос:

— Утверждаете, что идете к угоднику, а позвольте узнать, каким манером вы можете туда идти, ежели вы ничего этого не знаете и спрашиваете, когда праздник?

— Ах-ах-ах! — покачивая головой, в каком-то полуудивлении и полусмехе лепетала хозяйка. — Н-ну богомольцы!

— Ну, да! идем к угоднику! — по возможности спокойно сказал Павлуша дворнику, поднимаясь с лавки. — Больше ничего...

— Идете богу молиться, а требуете скоромь? — сказала хозяйка.

— Что ж такое? Если я болен?

— Ах-ах-ах! — вопила хозяйка. — А угодник-то на что? Зачем к угоднику-то идете? .. Неужто ж молоко может больше против него? а-ах-ах! ..

— Вы бы в аптеку шли, а не к угоднику! — сказал хозяин весьма сурово. — Ежели вы полагаете, что наесться скоромного лучше, то угодника божия вы оставили бы... да...

— Ну, богомольцы... Прекрасно!

— В таком случае вам нужно в аптеку... да! — продолжал хозяин, сердито усаживаясь на ступеньки к нам спиной, — а не к богу! ..

— Ну, богомольцы! — удивлялась хозяйка. — Идут к угоднику — не знают, когда ему память! нарядились в мужицкий наряд, — а сами господа, веры не имеют; — а идут! .. Молоко для них больше бога!

— Что это вы говорите! — воскликнул Павлуша, видя, что она сделала слишком яркое резюме нашего глупого положения, — но спохватился он не во-время, ибо почти в то же время хозяин, точно так же пораженный яркостью резюме своей супруги, снова быстро поднялся и еще быстрее спросил нас:

— Да кто вы такие, господа?

— Ты давай-ко расчет-то да не разговаривай много! — сказал я весьма нелюбезно, — не твое дело!

— То-то лучше вам подобру отседа... поздорову.

— Говори, сколько надо, да заверни язык в тряпку, а то ты мастер молоть-то, я вижу...

— Три целковых — вот сколько! — закипев гневом, прогремел хозяин. — Давай деньги! С вас, проходимцев, и не так еще надо бы... Мы вашего брата знаем коротко... да!

Видно было, что хозяин считал нас в своих руках. Но я, чтобы не уронить себя перед ним, принялся торговаться, но выторговал, впрочем, немного, ибо в речи хозяина стали упоминаться такие слова, как «становой», «волость» и так далее, которые хотя и не предвещали нам опасности, но могли затянуть нашу прогулку в бесконечность, так что я был очень рад, когда нам, хотя и с малыми барышами, удалось, наконец, уйти. Расставшись с постоялым двором, некоторое время мы шли вдоль столбовой дороги наудачу, куда глаза глядят, и потому-то встреча с партиею богомольцев была нам необыкновенно приятна.

Мы пристали к партии.

II

Среди богомольцев нам было спокойно и хорошо. Народ этот шел, тоже как и мы, повидимому неизвестно зачем, и во всяком случае шел из-за каких-то совершенно непрактических побуждений; а это нам было по душе. Мы в этом обществе могли хоть немножко опомниться, ибо все это общество и причина его странствований были готовою темою для наших наблюдений. «Куда и зачем, в самом деле, идут они?» — пришло мне в голову, и скоро между нами и богомольцами завязались разговоры. Народ, который шел к угоднику, был самый разнообразный: тут были и чиновницы, и мещанки, и отставной солдат, и какие-то неопределенные лица в полукафтанах мужеского пола, и такие же женские.

Слушая их разговоры, я вспоминал нашу томительно скучную провинциальную жизнь, в которой вырастают Андрюши, бегающие с котом, Ванюши-тенора, поющие басом, и так далее.

— Вы, матушка, по обещанию, что ли?

— По обещанию, родная. А вы?

— И я по обещанию. Болели у меня зубы три года ровно, день и ночь, день и ночь.

— И — матушка!

— Измучилась я, родная, вся как есть измучилась! и доктора были, и заговаривали — воротит вот скулу на сторону. Тут я и дала обещание.

— И-и!.. И прошли?

— Как дала обещание, так сейчас и прошли.

— То-то угодник-то! Я сама тоже: у меня пять лет ломила нога левая.

Следует длинный рассказ про болезнь.

— И прошло?

— Слава богу! Каждый год с тех пор хожу к угоднику...

— А я, матушка, впервой... Сказывают, как хорошо-то.

— И-и, родимая! Так-то хорошо, так хорошо, боже мой! Рассказать этого, так и слов нету никаких... То-то хорошо-то!

Странницы несколько раз повторили, как все это хорошо и чудно; но в чем состояла красота, мы пока не узнали. В разговор вмешался странник в черном полукафтане.

— В Оптиной пустыни, — сказал он: — вот уж так хорошо, а в Соловецком еще лучше.

— Не была, батюшка, не хочу лгать.

— Как можно, — вмешалась новая странница: — в Соловецком невпример лучше... Есть ли тут ночлег-то странным?

— Тут, матушка, от обители нету ночлега.

— Где ж народ-то спит?

— А где бог пошлет. И на голой землице поспишь.

— Для бога все можно, а уж что насчет упокою, так в Соловецком монастыре эдакие хоромы выведены для странного человека — приют тебе есть по крайности... А трапеза здесь как?

— Не знаю, матушка, свое ем.

— Здесь трапеза слабая! — сказал странник. — Вот у Саввы Плотника, так там, вот там уж чудесно! В полночь ты пришел, заполночь, во всякое время тебе пища... Эконом сейчас выносит — рыбу ли там, квас ли — что там по чину — «вкуси», говорит... То-то хорошо-то!

— Уж так уж хорошо!.. А тут-то как же? Неужто уж угощения обитель не выставляет?

— Угощение есть, только скудное. После обедни по копейке, по полфунта хлеба, да щи там...

— И-и!.. Что ж так? Тут места рыбные...

— Рыбные точно, только что нету заведения этого... Настоятель из военных.

— Н-ну?.. Только щи? Какие же щи-то?

— Ну там со снетком иной раз... Скупо!

— Скупо! Уж скупо! такая обитель... Нет, у Тихона Задонского много лучше!.. Вот уж где хорошо-то, так уж, кажется, и рассказать-то не расскажешь. Там сейчас тебе подают пирог с кашей...

— В Оптиной — с капустой, — прибавил странник.

— А тут с кашей — первое. Съела ты пирог, начинается пение; пропела ты тропарь, опять садись за стол — щи от-тличнейшие!

Просто слюни текли, слушая реестр кушаньям, которые, по словам записной и опытной странницы, подавались в обители. Некоторые из странников и странниц, заслушавшись ее рассказами, в умилении повторяли:

— То-то хорошо-то!.. Уж и хорошо!

Съестная черта неизвестного нам «то-то хорошо» была разъясняема довольно долгое время, причем совершенно неожиданно обнаружился новый для меня тип странника — из мещан, обуреваемого исключительно съестными целями.

Это был молодой, лет двадцати пяти, малый, весьма недалекий, но крайне добродушный.

— Чудесное это дело, я тебе скажу, странствовать, — сказал он мне, слушая странницу. — Слабому человеку, вот как я примерно, лучше не надо!

— Чем же?

— Да чем? Чего мне нужно-то? был бы сыт, больше мне ничего не надо... А тут, в обителях, почесть везде кормят. Круглый год и сыт.

— Неужто круглый год?

— Да почесть что так. Теперь гляди: по весне идут обительские праздники с выносом: из теплого, стало быть, зимнего места переносят в холодное место. Тут бывают праздники: ну-ко, покуда обегаешь все-то их? Хвать, ан весна-то, господи благослови, и прочь! Весну отправишь,

идет лето; тут уж настоящие праздники, тут угощение от обителей иной раз суток по трое, по четверо... Тут только поспевай; я вот теперь сюда, а завтра, после вечерен, я уж отсюда в ход. Да надо поспевать к Савве Плотнику: большое празднество, с трапезой; тут надо облаживать дела, не зевать. Видели, как дела-то?

— А осень?

— А осенью опять, господи благослови, перенос начинается из холодного места опять же в теплое обратно, и опять же празднество. Тут опять обежишь местов тридцать, ан гляди — и зима.

— Ну а зимой как?

— А зимой, братец мой, я к купцам в кучера. Особливо люблю купчих. Куда ей ехать? Лежишь да стихи духовные поешь на печи. Купцы народ — не поворот; что ему? Иной раз только и езды бывает, что от угару...

— Как от угару?

— Угорают ведь они, купцы-то, часто по зимам. Почесть каждый день они угорают. Ну запряжешь мерина, потаскаешь ребят по воздуху, чтоб отошло... Сами-то хреном более... Только всего и работы иной день... А иной, случится, с хозяйкой на рынок съездишь. На рынок ей — все одно как в театр — время провести. Наш брат, простой человек, захотел есть, пришел в обжорный ряд: «Почем? Режь!» — больше ничего... Засунул рубец за щеку и пошел к своему месту; а им этого не надо. Едешь в лавку шагом, разговариваешь с ней, купчихой: «не будет ли, мол, завтра морозу, как узнать?» Ну, говоришь ей — так и так... Собака пробежит, о собаке поговоришь; галка в случае, тоже и об ней честью... Чудаки они бывают, купчихи! Я у них зимой жить люблю... А как весна, я марш на перенос и пошел. Да что же?

— Да, хорошо!

— Ей-богу! Да и по святым местам как хорошо-то...

— Хорошо!

— Дюже хорошо... Столь дивно, так это... Ах, шут тебя возьми, табак-то весь.

— На, возьми папироску, — сказал я.

— Да, друг, дай... Весь табак-то...

— Постыдись ты, беспутный, — заметила, увидев папироску, одна из странниц грубым, басоватым голосом. —

Далеко ль тут осталось до угодника? Хошь бы ты малость потерпел... Грех ведь!

— Грех, это верно. Только теперь я и курить примусь, и греха не будет, — хвастовито сказал молодец.

— Будет!

— Ан нет! То-то и есть. Они, — обратился он ко мне с веселой улыбкой: — они, эти богомолки, страсть как для моей души помогают. Ей-богу. Теперь, изволишь видеть: курить точно грех, это верно. Но коль скоро она меня осудила, на ком грех-то?

Богомолка сердито молчала.

— На тебе! — весело сказал ей молодец. — Видела? И выходит так, что ты идешь к угоднику-то с папиросой, а не я... Ловко, что ли?

— Бог с тобой...

— Видела? — продолжал молодец: — как вышло-то чудесно. Я вот покурю себе, накурюсь — и чист! а ты — с папироской... А не осуждай! Отлично мне, — продолжал он, обращаясь ко мне, — с этими, с богомолками, ходить... Я напьюсь, наемся, накурюсь, все справлю, а они идут, корочку да водицу, хвать — вся еда на них, потому не вытерпят, осудят, а я чист-чистехонек подхожу к господу, словно бы я и не ел и не пил ничего. От-тлично это выходит!

— А ты-то не осуждаешь, что ли? — спросила его старуха.

— Я-то? Никак. Чем я тебя осудил? Я тебя как называл: «старушка божия»; на мне грехов вот на этакой волосок нету, а вот на тебе есть... Теперича ты идешь к угоднику, и напилась ты, и наелась, и накурилась, а я чист. А кто ел-то? Я! Видели, как ловко вышло?.. Ха!..

Молодой малый весело покуривал папироску, весело шел вперед и по временам с улыбкой говорил:

— Ну-ка, старушка божия, закури еще папироску, — и закуривал сам.

— Ах, старушка, как тебе не стыдно, идешь к угоднику и табачищем дымишь... Ведь это дьяволы в тебе дымят... Какой у тебя табак знатный! — мимоходом замечал он мне.

Богомолка молча шла впереди и не отвечала.

Пройдя с богомольцами верст десяток, мы почти не слыхали от них другого объяснения выражению: «то-то

хорошо-то», кроме съестного. Изредка только кто-нибудь, пренебрегая съестным и желая коснуться предмета с другой, более высокой стороны, упоминал о звоне, о пении.

— В котором часу звон-от, батюшка? — поохивая и покряхтывая, спрашивала богомолка богомольца.

— В первом часу, матушка! — отвечал тот, произнося слова на старушечий манер и даже стараясь говорить женским голосом.

— В полночь?

— Пополуночи, матушка, в сам-мую пополуночи.

И они оба вздыхали.

По мере того как мы подвигались все ближе и ближе к городу, толпы богомольцев стали увеличиваться; по дороге все чаще и чаще стали проноситься экипажи и нарочно устроенные на случай праздника кибитки из рогож, трепавшихся по сторонам телеги; народу ехало много. На двенадцатой версте от постоялого двора в большую губернскую дорогу впадала другая такая же большая дорога, шедшая на Москву; и с этого впадения количество богомольцев и повозок с пассажирами еще более увеличивалось. Ходьба целого дня достаточно уже утомила нас, и мы приняли предложение какого-то ямщика, который громким голосом кричал, обращаясь к богомольцам:

— Два места есть; православные, садись! Недорого возьму! Звон прозеваешь! Эй!

За рубль серебром мужик согласился нас довезти до города, и мы, забравшись в просторный и круглый, как орех, тарантас, необыкновенно покойно сидевший на сломанных и перевязанных веревками дрогах, очутились в обществе купца и купчихи.

После обычных вопросов: «не к угоднику ли, батюшка?», сказанных тоже старушечьим тоном, почему-то необходимым при разговоре об угодниках божиих и вовсе ненужным этому купцу, когда он в своей лавке продает гнилой товар, после этого вопроса, на который мы дали утвердительный ответ, опять послышалось знакомое нам:

— То-то, говорят, хорошо-то!

Это сказала купчиха и вздохнула.

Купец, ее супруг, только вздохнул и, не имея, вероятно, возможности выяснить свой вздох словами, обратился к кучеру с вопросом:

— Это как деревня-то называется?

— Не знаю.

— Это — Красные Дворы, — ответил купец сам себе, ибо давно знал эти места, как свои пять пальцев.

Мы молчали.

— А что, господа, — сказал купец: — в котором часу в обители начало звону будет?

— В полночь! — отвечали мы.

— В полночь! — сказал купец. — Как чудесно!

Купчиха вздохнула. Она ехала к угоднику от стрельбы в голове.

— В полночь! — повторил купец. — Правда ли, нет ли, не знаю, сказывают, всенощная оканчивается в двенадцатом часу, а через час служение?

— Не знаю, — сказал я. — Мы в первый раз.

— Гм! В первый... Сказывают, дюже хорошо.

— Говорят, что хорошо.

— Хорошо!..

Купчиха, ударясь о косяк виском, вздохнула и перекрестилась. Разговор пресекся. Съестной взгляд на вещи не приличествовал купцу по его состоянию и положению, а насчет звону много не наговоришь.

— Это какая деревня-то? — спросил он опять ямщика.

— Не знаю! — отвечал тот.

— Это Мымриха...

Разговор было опять пресекся; но неожиданно враг попутал купца, и он произнес:

— Тут воров теперича наползло — господи, боже мой!

— Где именно?

— А вокруг обители, страсть одна! Тут воры шатаются целыми табунами, из одной обители в другую так и переваливают. Меня раз как обчистили; дело было так...

Начался длинный, длинный рассказ про воров, сразу ожививший нашу, до сих пор довольно натянутую, беседу. Сначала купец рассказал, как его обокрали у Митрофания; потом купчиха начала рассказывать про свояченицу, которую среди бела дня обокрали наиобразцовейшим образом. Интересны были не процессы кражи, а оживление, с которым шел этот разговор.

Видно было, что купец ехал поразмять кости, засидевшиеся за прилавком, и отвести душу, одеревеневшую

от постоянного сосредоточения на том, что «уступить нельзя» и «самим дороже».

Мы так подружились, что купец предложил нам отправить жену в странноприимный дом, а сам хотел остаться с нами где-нибудь в трактире.

— Всё чайку попьем! — сказал он.

— Перекрестись! — дернула его за руку жена: — аль не видишь? — колодец святой!

Купец снял шапку, перекрестился и сказал:

— Право, попили бы, господа?

Далее шел разговор о нынешних и старых временах. Сущность разговора была та, что теперь пошло в ход мошенничество, тогда как прежде его и слыхом не было будто бы слышно.

Между тем на дворе темнело сильно; ночь была жаркая, с тучами, без звезд.

Вдали, в стороне уездного города, виднелись огоньки, и ярко горела внутренность соборного купола над мощами угодника.

Фигуры богомольцев поминутно мелькали целыми толпами мимо нашего тарантаса.

— Марья Кузьминишна! — дернув за рукав жену и указывая ей на купол, произнес купец: — Глянь: кумпол-то!

Купчиха глянула и перекрестилась:

— Уж как хорошо!

— Дивно! — сказал купец; но намерения своего отправиться с нами в трактир не бросил.

Когда тарантас наш заколесил по темным, изрытым канавами и ямами улицам уездного города, он опять сказал жене:

— Право, тебе к Амелфе бы Тимофевне, в странноприимный! По крайности спокойнее.

— Ну-к что ж!

В голосе купчихи слышалось недовольство, несмотря на то, что муж говорил, повидимому, ласково; по всей вероятности, она коротко знала, что значат эти ласковые приглашения. Сдав жену в странноприимный дом, купец громко крикнул извозчику: «пошел!» и, судя по жесту, употребленному им при этом, намерен был провести время весело.

— В первом часу звон-то? — спросил он у извозчика.

— В первом.

— Теперь девятый час. Пошел! Еще много времени, валяй к Синицыну!

У Синицына был трактир, где мы нашли водку и жареную рыбу. Но оживленной беседы с купцом не состоялось: усталость клонила нас ко сну. Павлуша Хлебников совсем раскис, ничего не слыхал и не понимал, и когда мы, наконец, улеглись все трое в том же тарантасе на дворе, так как во всем городе не было угла, где бы уже не было набито битком, он заснул как убитый. Мы лежали рядом с купцом и молчали. О чем было говорить нам? Купец, видимо, настроивался на религиозный лад. На этот лад настроивалось, кроме нас, множество народу, лежавшего тоже в тарантасах и телегах, которыми был загроможден двор. Но, как они ни налаживались, ничего не выходило, кроме вздохов и вопросов о звоне.

— Когда звон-то? — слышалось в одном углу.

— В первом часу, — отвечало сразу человек пять.

— В первом?

— В первом часу звон.

— Что это?

— Про звон спрашивают.

— Про звон?

— Про звон.

— Звон в первом часу.

— Да я так и сказал.

— А-а! Я не расслышал. А звон тут точно в полночь начинается.

И потом:

— О-ох, господи, батюшка!

Или:

— Хорошо! дюже хорошо!

Я заснул.

Когда я проснулся, звон был уже в полном разгаре. На дворе все копошилось и суетилось; тут купец причесывал гребнем мокрые волосы; там богомольцы умывались, утираясь полами и шапками; народу было везде множество, хоть было только шесть часов утра. Купца уже не было. Не беспокоя Павлушу, крепко спавшего, я пошел в монастырь.

У монастырских ворот торговали свечами, иконами, книгами. Тут же была небольшая ярмарка: около пала-

ток толпились красные полки деревенских женщин. Слепые пели стихи, нищие просили милостыню, торгаши кричали с покупателями. В монастырских воротах стоял стол со множеством стклянок и бутылок, наполненных деревянным маслом из лампадок, горящих над гробницею угодника. Простые деревенские женщины, больные, увечные, толстые купчихи толпами подходили и пили по стаканчику, не обращая внимания на то, что иногда в масле чернел кусок фитиля.

— Ваше благородие! — весело произнес купец, встречая меня. — Что долго почивали?

— Устал.

— А канпанион?

— Он еще спит.

— Хе-хе-хе. Богомольцы! Разве так можно? А я уж приложился.

— Уже?

— Эво! А вы?

— Я вот сейчас.

— Пойдемте, я еще раз приложусь вместе с вами.

В это время из толпы народа пробралась к нам купчиха и, запыхавшись, произнесла, обращаясь к мужу:

— Приложился?!

— Как же!

— А в старом приделе?

— В каком?

— Где рака?

— Это где же?

— Да вон, вон, иди скорее! а то набьется народу... Иди!

— Пойдемте скорее! — сказал купец, торопясь идти.

— Ай не были? — спросила купчиха меня.

— Да народу много, не проберешься.

— Ах, молодые люди! Уж на что мы, женщины, уж, кажется, «дряни» считаемся, а и то пробились... Идите скорее!

Старая церковь была набита битком, так что народ большою массою толпился у входа.

Толкотня и давка ужасные.

— Купец, купец, — кричали купцу несколько богомолок. — Мы за тобой следом... Дай, батюшка, пробиться женщинам!

— Господин купец! проведи женщину!

— Идите! идите за мной!

Купец был истинный герой в эти минуты. Он оживился, стал молодцом, выпрямился и с истинно варварским ожесточением вломился в толпу. Круто согнутыми локтями он валил народ направо и налево, не разбирая, женщина ли тут с ребенком, старик ли, монахиня, — он просто крутил среди толпы, как вихорь!

Богомолки, держась одна за другую и охая, бежали по следу, который купец, как хороший пароход, оставлял за собой.

Минут через пять он воротился весь красный и, расшвырнув толпу с крыльца в разные стороны, появился предо мной.

— Приложились? — спросил я его.

— От-тлично, два раза приложился!

Купец встряхнул волосами и отер губы рукавом.

— А вы-то?

— Да теснота ужасная.

— Пойдемте, я вас проведу в другом месте. Я еще там не прикладывался. Доска там показывается.

— Что такое?

— По-священному будет дска, а по-нашему — доска, стало быть, от гроба... Так приложиться надо к ней... Пойдемте!

И опять он врезался в толпу с каким-то неестественным азартом, как будто в этом была его задача. И я заметил, что не один он любил расправить кости в этой свалке.

Наконец он везде приложился.

— Куда ж теперь? — сказал он в недоумении.

— Пойдемте чай пить, — сказал я.

— Грех бы?

— Как знаете.

— Да уж пойдем, пойдем. Обедни начнутся в двенадцатом часу... Куда деться?

Но выпив одну-другую чашку почти молча, купец сказал:

— Нет, надо отстоять раннюю, отделаться да пойтить по рынку потолкаться... Поздняя-то обедня, ведь она до трех часов протянется...

И ушел.

Я посидел немного и пошел разыскивать Павлушу Хлебникова. В тарантасе его не было. Поднявшись во второй этаж каменного постоялого двора, я нашел его в широких новых сенях: он умывался. Перед ним стояла кухарка с корцом воды и чему-то смеялась, прикрывая рот рукою.

Завидя меня, он молча махнул мне рукою, как бы говоря: «ступай, ступай!» Я не понимал, в чем дело.

— Нет ли полотенчика? — сказал он, обращаясь к кухарке.

— Нате! — послышался откуда-то девичий голос.

Из раскрытого, выходившего в сени окна, из-под опущенной шторы, высунулись пальцы женской руки, с колечком на мизинце, и подали полотенце.

— Покорно вас благодарю!

Рука спряталась, а в комнате, из занавешенного окна которой она высовывалась, послышался смех молодых голосов.

— Не хотят к обедне-то! — усмехаясь, прошептала кухарка...

Павлуша, очевидно, тоже не спешил к обедне. Я оставил его и ушел на улицу....

III

Шла поздняя обедня. Главная соборная церковь, где находился угодник, была битком набита господами, наехавшими из окрестных деревень, городской аристократией, купечеством и теми из простонародия, которые успели пробраться заблаговременно. Церковные двери были заперты, и на паперти стояли частные пристава и будочники, пропуская благородных господ и провожая дам. Массы других богомольцев наполняли монастырский двор и большими толпами разлеглись вокруг высокой монастырской стены. Было глубокое молчание — молчание необыкновенно томительное, — в котором, кроме терпения, я не мог ничего видеть. Изредка слышался голос кликуши в толпе, и тогда возбуждалось внимание, но потом опять та же тишина, терпение и молчание.

В проходе под колокольней толпа народу ломится в железные двери, стараясь проникнуть на колокольню,

и ломится потому, что какой-то слепой горбун не пускает туда, напирая широкою, неуклюжею грудью на дверь. Богомолец сам начинает продираться на колокольню. За копейку его пускают. Вошел он в первый ярус, тут народ идет во второй, и он за ним. Кто-то хочет перелезть через перила на монастырскую крышу и перелезает; весь народ смотрит на смельчака, вслед за которым лезет другой; железные листы кровли гремят под их ногами. Частный пристав погрозил им пальцем с крыльца собора, и они сели на крыше на корточках. И опять томительное молчание. Вокруг монастыря лежат толпы баб и мужиков. Разговоров нет никаких: — про свое, про домашнее говорить еще успеют в дороге и дома. Сюда они шли добровольно, не так, как на барщину или по требованию станового: — зачем-нибудь им это было нужно. На колокольне раздались удары колокола; лежавшие подняли головы, встали, поглядели, почесались и легли.

Я сидел за воротами постоялого двора.

Рядом со мной, тут же на лавочке, сидели: сельский дьячок и солдат, оба пожилые; солдат был отставной.

Дьячок задавал ему отрывочные вопросы, солдат отвечал ему тоже полусловами, растирая на ладони табак.

— Какой губернии?

— Новгородской.

Молчание.

— Новгородской? — переспрашивал дьячок.

— Новгородской губернии, — повторял солдат.

— Гм!

И молчание.

— Тихвинского уезда, — произносил он как бы в раздумье, спустя некоторое время: — Новгородской губернии, села Спасского.

— Большое село?

— Село у нас большое.

И потом:

— У нас село большое, большое село!

— Большое?

— Большое село... Семьсот дворов...

— У-у-у!..

— Да! Село богатое. Богатое село!

И опять молчание.

— Эта медаль где получена?
— За Польшу!
— За польскую кампанию?
— За польскую.
— То-то, я гляжу, новенькая.

Солдат поглядел молча на свою медаль.

— Мы тогда три месяца выстояли в Радомской губернии...
— Что же? как?
— Насчет чего?
— Как, например, бунт этот... ихний?
— Да чего же? Больше ничего — хотели своего царя!
— Ах, бессовестные! — сказал дьячок, качая головой.
— Ну, а как народ?
— Народ — обнаковенно... ничего.
— Ничего?
— Ничего!

Из подобострастия в голосе, которым дьячок расспрашивал солдата, и из торопливости, с которою он как бы наобум задавал ему ничего не значащие вопросы, я не мог не видеть, что дьячок боится потерять собеседника.

Да и сам я боялся потерять его. Вследствие этого, когда солдат замолчал и стал укладывать кисет в карман, как бы собираясь уйти, а дьячок, уставившись на него, не знал, повидимому, о чем спросить, я тоже поспешил задать ему вопрос.

— Ну, а прежде где вы стояли? — сказал я наудачу.
— По губерниям больше.
— По губерниям? — спросил я, и дьячок повторил то же.
— Больше всё по губерниям стаивали.

Нить разговора снова готова была прерваться; но солдат, должно быть умилосердившись над нами, произнес:

— Во время крестьянства, так тогда много нас потаскали... По Поволожью...
— Много? — спросил дьячок.
— Потаскали довольно!
— Что ж, усмирять, что ли?
— Усмирять. Усмирение было...
— Ну и что же, много было хлопот?

— Нет, настоящего ничего почесть не было... чтобы, например, битвы али что... Так!

— Ну как же вы?

— Ну придем, получаем от помещика угощение...

— Угощенье?

— Как же! один нам выставил шесть коров!

— Шесть?

— Шесть коров; да, как же? выставил!

— Н-ну?

— Ну пришли. Стали за селом. Бабы, девки разбежались: думали — какое безобразие от солдат будет...

— Ишь ведь бестолочь!

— Разбежались все, кто куда... А мужики с хлебом-солью к нам пришли, думали — мы им снизойдем. Хе-хе!

— То-то дурье-то, и-и!

— Уж и правда, дурье горе-горькое! Я говорю одному: «Вы, говорю, ребята, оставьте ваши пустяки! Мы шутить не будем; нам ежели прикажут, мы ослушаться не можем, а вам будет очень от этого дурно...» — «Против нас, говорит, пуль не отпущено...»

— Вот дубье-то!

— Говорит: «не отпущено пуль...» Я говорю: «а вот увидите, ежели не покоритесь...»

— Ну и что же?

— Ну обнаковенно — непокорство... И шапок не снимают! Начальство делает команду: «Холостыми!» Как холостыми-то мы тронули, никто ни с места! Загоготали все, как меренья! «Го-го-го! Пуль нет...»—«Нет?»—«Нет!»— «Ну-ко!» скомандовали нам. Мы — ррраз! Батюшки мои! Кто куда! Отцу родному и лихому татарину, и-и-и... А-а! .. Вот тебе и пуль нету!

— А-а! .. Не любишь?

— Вот те пуль нету! ..

— Ха-ха-ха! .. То-то дураки-то! .. Нету пуль! И заберется же в голову!

— После-то уж схватились... да уж! ..

— Уж это завсегда схватятся! ..

— То-то глупые-то, прости, господи! — сказал дьячок. — Какую иной раз заберут в голову ахинею, хоть что хошь, ничего не выбьешь! Ведь какую кашу иной раз заварят! Вот в нашем селе и посейчас идет суматоха с мужиками... Того и гляди доведут до беды... Ей-богу!

— А то что же? — сказал солдат. — Не будешь соблюдать, что показано, за это тебя по голове гладить не будут, будь покоен...

— И, ей-богу, так! Вот хоть у нас...

— Далеко ли?

— Здешнего уезду, верст тридцать... Село Покровское. Так у нас, я тебе скажу, вот уж который месяц идет бестолочь... Просто покою нет! Да ведь что они денег-то извели! Ведь страсть! А почему? Шут их знает!

— Порядку не знают. Больше ничего.

— Именно! Теперь на одних ходоков сколько они прогусарили денег. Посылают ходока, такого же бессловесного, как и сами: ходит, ходит, придет ни с чем... А теперь как ходок в город — и простись!

— Я одного такого ходока встретил, — сказал я. — Не знаю, от вас ли.

— Где вы встретили?

— В городе, недели полторы тому назад.

— Ну наш, наш! Ну наш! Это наши!

— Белокурый?

— Ну наш, наш, Демьян! Теперь он в теплом месте сохраняется...

— Из-за чего это у них все хлопоты? — спросил я.

— А шут их разберет!

— Как же так?

— Да так... Вы разговаривали, что ли, с ним, ходоком-то?

— Разговаривал.

— Ну что ж он вам сказал?

— Да он-то действительно что-то путался. Что-то про душу, про...

— Ну вот-вот! — перебил меня дьячок. — Про душу! Вспомнили душу, изволишь видеть! — сказал он, обратившись к солдату.

— Хе! — промычал тот.

— Что же может сделать для них начальство? Ну сам ты посуди?

Солдат не отвечал, хотя и произнес слово «обнаковенно».

— Больше ничего, — продолжал дьячок: — что дали волю!

— Это самое!

— Д-да! больше ничего — воля! Прежнее время он с утра до ночи на работе. Он пришел домой, повалился, как камень, а в нынешнее-то ему уж час-другой и без дела придется... да! Ну ему и лезет в башку.

— Этое самое!

— Да как же? Прежде он одно дело кончил, пошел бы, куда хотел, ан управляющий кричит: «иди туда-то». А теперь он лошаденку свою загнал в сарай — и все его дело... И в кабак.

— Да-а, в кабак! это ему первое удовольствие, весь пропился.

— Дет-ти пьют! Дет-ти!

— Цссс... Нет, этого в старину не было!

— И в уме-то ни у кого об этом не было, не то что въявь... А как дали им волю, вот и забрусило, на разные манеры: душа, то-сё... Ну только, я так думаю, опоздали! да!

— Поздна штука!

— Да, поздновато!.. Опомнились! Становой им говорит: «на все есть закон; там сказано, чтоб этого не было, больше ничего», — нет, воротят, стоят на своем.

— Да в чем же в самом деле вся эта история? — спросил я. — Кажется, дело началось из-за земли?

— Видите, какое дело. Я вам сейчас расскажу...

— И душа тут как-то к земле.

— И душа! Вот как было дело.

Дьячок придвинулся ко мне.

— Из-за земли, изволите говорить? Это несправедливо. Уж ежели бы из-за земли, то им бы надо затевать дело раньше, в самом начале, когда крестьянство уничтожилось. В это время с ними господские доверенные действительно поступали неаккуратно. Земля им дана плохая; но так как страху они были научены, то и взяли ее беспрекословно! Второе дело — придирка к ним большая: снопы развалились — штраф; целину пахали, борозды редкие — штраф, а мерзлую (раннюю весну их тогда выгнали) землю пахать, да еще целину, — и то спасибо, хоть и редкие-то. Но они и тут молчали. Другой раз троим досталось совсем понапрасну: гулял барин с собакой ночью, а караульщик увидал его, не разглядел и подошел с другим караульщиком к барину-то! У обоих на плечах дубины: ну барину-то и того... он бежать! они

за ним, он — «караул!» Поднялся шум (время было непокойное), и покажись сгоряча-то, что они с злым, например, намерением... Похватали их! Началось дело... Много было против них греха — это говорить нечего — только ничего, ни-ни, ни боже мой, не было... Авось не привыкать им к этому?

— Обнаковенно! — сказал солдат. — В прежнее время нешто — так-то?

— Ну да! Еще в тридцать раз хуже... А тут все же мужику и на себя время стало оставаться; иной раз что по положению справит дома, уберется, да и без дела посидит... Ну и пошло ему в голову. После того, как я рассказывал вам, посадили караульщиков в острог, отец Алексей, наш священник, сам ходил к барину, объяснял ему, что, «мол, неправильно это вы», и кстати уж и про управляющего объяснил: «теперь, говорит, воля, этого нельзя дозволять управителю, народ, пожалуй, неудовольствие окажет...» После этого барин взял другого управляющего, и народу еще послободней стало; тут ему и полезло в голову... Особливо, ежели пропить нечего.

— Да!

— Да! Как в кабак-то не пойдет! Что он на печи-то лежа надумает? Только дозволь себе мечтать, так ведь, кажется, и не глядел бы на свет; ну вот и у мужиков то же самое... Гляжу я, идет ко мне под вечерок мужик. «Здраствуй, говорю, Игнатич! Что скажешь?» Думаю, что-нибудь по хозяйству, по домашности там. «Да так», говорит. И мнется. «Садись, скажи, мол, что-нибудь...» — «Да я так, говорит, ничего...» Чешет голову. Я молчу. «А что, говорит Игнатич, что я хотел тебя спросить: правда ли, нет ли, кто на Святую помрет, тот в рай попадет?» — «Что это, говорю, тебе пришло на ум?» — «Да так, говорит, ноне рано убрались, так оно тае»... Ну, обыкновенный ихний разговор...

— Таё да таё! — сказал солдат. — Талды да калды.

— Ну да. Ну, объяснил ему, чтоб он и не мечтал: «Царствие божие внутрь вас есть, и для него много надобно, а не просто — умер да и на!..» — «А, говорит, а душа?» — «Что душа? Ну, говори». — «Нет, ты, говорит, скажи. Я не знаю»... Ну объяснил. «Ну спасибо!» И стали ко мне, друг любезный, шататься, то один, то другой. И почему человек идет в землю, и как в аду,

и что кому будет? Что за чудеса? думаю. «Что вас прорвало, ребята, говорю: я ведь не поп, я и ошибку могу дать; шли бы вы лучше по домам, потому у меня еще вон лошадь не убрана, а на все на это есть храм божий; слушай, что поют, читают, вот тебе и ответ». А иному просто скажешь: «Шел бы ты, любезный, домой на печку!» — «Да мне, мол, маленько в ум вошло». — «То-то в ум-то вам все лезет; шел бы ты лучше домой». — «Я, мол, так». — «Ну, и ступай с богом»...

— Да! На печку!

— «Уж куда, мол, нам с тобой рассуждать». Отвадил я их таким манером. Думал, конец, — хвать, ан далеко еще до конца-то. Стали они уж вот как: «Давай, говорит, спорить!» Эге! думаю. Встретится иной раз на улице. «А давай, говорит Игнатич, спор с тобой сделаем». — «Об чем?» — «О душе». — «Давно ли ты об ней узнал?»— «Когда ни узнал, да узнал, говорит. Недавишь узнал». — «Поздновато, говорю, ты спохватился». — «А то мы, говорит, как свиньи». — «Именно, говорю, похожи, и разговаривать мне с тобой не время. Извини». И уйдешь. «Нет, кричит вслед, это дело оставить нельзя». Ну, думаю, как знаешь. Оставляй, не оставляй, у меня своих хлопот полон рот. Да, право!

— Чего еще? Всякий исполняй свое дело, свое положение, что следует.

— Да, не до того. Отбиваешься так-то от них, а дело-то все не к концу, да! Что за чудо? Слышу, и у батюшки были, тоже спор предлагали, и у отца дьякона... Идет слух, человек пять на работу не пошли... И все «душа». — Да что вы за черти такие? какая душа? ведь подписали грамоту, слышали положение; чего еще? Нет, о душе что-то городят, работать не хотят. Что такое? Стали мы искать, кто такой это их завастривал. Потому ежели бы они одни, то им только в кабак от скуки ходить, а тут нет, тут ишь какую паутину распустили. И что за чудо: неповиновение стали оказывать! За землю, говорят, платить не надо. «Да ведь вы платили, ведь уж два года платили?» — «Ошибка была; по-божески, говорят, этого не выходит». — «Да ведь закон, порядок требует?» — «Ладно!» говорят. Вот и сказ! Что такое? Дальше — больше, дальше — больше, чисто бунт открывается! «Отчего ж вы тогда не претендовали?» — «Бог нам ума

не дал». — «А теперь дал?» — «Теперь, говорят, дал». — «Ну, говоришь, гляди, ребята: становой тут как тут, как бы чего не вышло».

— А это что же?

— А это, изволите видеть, проживал у нас в деревне какой-то старичишко. И уж с давних времен все я его таким помню древним. То на пчельнике проживает, то так... Так, бездомовный. Был слух, что даже и в бегах он состоял. Вот этот-то старичишко их и помутил всех; может, слыхали, есть такие раскольники, называемые бегуны! По следствию-то вышло, что и этот старикашко тоже бегунской ереси... Бегать-то ему уж некуда, так вот он и стал разводить смуту. А бегунская ересь — это уж самая закоренелая. В епархиальных ведомостях было описание — так это страсть! Против начальства, против податей, против всего ломит «напрочь». Сам-мая злющая ересь эта. Вот старикашко-то тож этой ереси придерживался. «Живи, мол, сам по себе, отчет отдавай одному богу; у тебя душа, ты подумай о ней, сам-то в навозе весь, и душа твоя в навозе, душу твою платой обложили, за нее ты платишь, а не думаешь о ней». И всякое этакое. Вот как стало им посвободней-то, старикашко это и запел свою песню, и заворочало у них. И стали они: «Я человек!» А я им: «Да мне-то какая от этого корысть, прости господи? Мне-то что? хоть ты петух будь, так мне все равно». Право, ей-богу! А старикашко-то так растревожил этих мужиков — страсть! И возмечтали — и то им и другое, боже мой! Оно действительно человеку тоскливо; надо говорить по совести: с женой дерется, дома слова не слышно, праздник пьян — плохое житье. ну — старикашко-то тут и напутал. «А это, говорит, ты потому жену бьешь, что беден; а почему?» Надо говорить прямо — хитрая оказался шельма, этот старикашко! Я на допросе его был, так ведь как он, шельма, подводил одно под одно, просто чудо! По его словам, так кажному мужику барином надо быть. «Барин-то, говорит, вон как свою супругу любит — тебя, мужика, и на очи ей не пустит, а ты, говорит, подпоить тебя, так ты жену-то за руб серебром чиновнику продашь... А ты должен знать любовь!» Уж как подвел! Очень плутоватый был старичишко, нечего сказать! Ну и помутил народ, только в грех ввел. У самого старика весь, может быть, род ихний был

в этой ереси воспитан, все они по лесам бегали, может, лет сто, а то и больше; ему все это знать до тонкости не диво, он, может, никогда и в крепостной работе-то не работал, жил по-своему, так ему и не в диковину все эти привередничанья, а наш-то мужик с тех пор и думать обо всем позабыл. На крепостном-то положении у него вся родня лет триста либо пятьсот была, так какая тут любовь? Что он тут понимает? До любви ли ему было, когда разложат да...

— Гар-рячих! — вставил солдат: — штук пятьсот ввалят!

— Да! От всего этого он во-она когда еще отвык и знал одно: «исполнять, что прикажут». Стало быть, что же он мог тут понять по человечеству? И вышло у нас — невесть что! Старикашко-то разлакомил их, а умом-то взять всего они не могут.

— Опоздали маленько!

— Да! Припоздали малым делом... И хочется быдто как по-человечьи, а не туда! Не выходит! Всего-то порядку-то, какой у старика был в мыслях, у них и нет! Пошло у них в головах от этого большое смятение... И душа тут, и земля, и бог знает что. Приехал становой. «Вы почему не ходите на работу?» — «Так и так, мы люди, теперь возьмите, ведь у нас душа и все такое». Становой обнаковенно: «Молчать!» Да что же? Ну, что же ежели мы все так-то заорем? Нешто это дело начальства? Он требует порядку, эти разные мозголовия прошли; ежели хочешь по-своему, убирайся в дремучий лес, а в порядке этого нельзя...

— Каждому потрафить нельзя...

— То-то я думаю, что не подходит. Становой исполняет свою должность, ты исполняй свою. «Я с вами, говорит, не разговаривать приехал; разговаривать иди в кабак, а не здесь. Почему вы нейдете на работу? Это что такое?» Начинают опять свое: «Мы сами — земля, за что ж нам платить? мы — прах». Разумеется, опять становой им кричит: «Молчать!» Просто измучили бедного! «Порядок, говорит, требует, чтоб вы шли, все это вздор, не мое дело, душу имей, какую хочешь, мне это наплевать, а по закону исполняй все, что следует!» Просто даже весь красный стал становой! пот с него льет; а главное — человек он хороший, и рад бы, да ничего не сде-

лаешь. Какую он им душу? Откуда? Бился, бился, написал следователю... Что прикажешь делать?

— Ну и пошло?

— И пошло!

— Ну и что ж они?

— Всё стоят на своем. Как бы этого старичишку вытравили перво-наперво, они бы опамятовались. Это верно. Потому сами по себе они к этим философиям непривычны, а то старичишку-то они куда-то запрятали, а тот их и мутит. «Стойте, говорит, крепко, ребята!» Те и стоят... Ловкачи этакие есть: «Стойте, ребята, стойте, шушукают, хоть в острог!» И ничего не сделаешь.

— Не знают порядку, больше ничего.

— Да больше ничего и есть. Что такое ему надобно? Ведь человека, конечно, смутить можно. А по совести сказать, ну, что ему надо? Что он смыслит в душе? Живет он чисто как скот, надо говорить прямо. Придешь в избу-то, страшно поглядеть, как есть как свинья.

— Чего уж!

— Ей-ей, жену колотит; напьется, из дому все волочит в кабак, о себе не заботится, ни свечки, ни чашки, жрут почесть из корыта — куда ему толковать о душе? Он и в церкви-то стоит как столб, да это когда еще придет в церковь-то. Вон погляди, — сказал дьячок, указывая на валявшиеся близ монастыря толпы богомольцев, на людей, бесцельно шатавшихся по монастырской стене, по крышам, на колокольне. — Вот поглядите: кажется, все они пришли богу молиться, к угоднику, а видите, чем занимаются? Вы думаете, тут вера? Ему просто надо, чтоб ничего не делать, в чужом кабаке выпить...

— Тут уж давича ломились в кабак-то, да заперт; говорят, после обеден отопрут.

— Ну вот видите! Какая же тут вера! Он, как есть, как деревянный, больше ничего. Ему вот вышел денек, он и рад ничего не делать, вот и прет к празднику, а он и жития-то угодника не знает, так, как дикий какой эфиоп. Поглазеть, потолкаться... Теперь вон литургия идет, а он валяется, ему скука.

Дьячок прекратил, наконец, свое «пастырское» обличение и за недостатком подлинного гнева замолк. Мы тоже молчали; стояла прежняя тишина и томительное молчание.

Вдруг на колокольне раздалось несколько ударов колокола.

Валявшаяся толпа вдруг поднялась, как один человек.

— Ишь! Вон как! все поднялись! — сказал дьячок. — Как же, все разобрать хочется!

Толпа поглядела, поглядела и улеглась опять.

— Видно, не разберешь, — сказал солдат, — с мякины-то.

— Да-а! Так нам и разбирать... Хоть бы бог дал и с тем справиться, что следует по твоей части, и то слава тебе господи, а то еще...

Дьячок не кончил.

Солнце начало подвигаться в нашу сторону; я поднялся с лавки и пошел во двор, сам не зная зачем.

— Вот как по-нонешнему-то! — в полусерьезном, полушутливом тоне говорила кухарка, сметавшая пыль с последних ступенек лестницы.— Маменька в церкви божией, а дочки тут балясы точат.

Сверху лестницы раздался смех.

— А тебе какое дело? — послышался девичий голос.

— Как какое? А на ком взыщется?.. Я ведь за вами смотреть приставлена? а вы что делаете?

— Разговаривали.

— Что же такое? — послышался голос Павлуши.

— В такое время нельзя баясничать, а надо идти в церкву, да!

— Ведь идем!

— Эва! когда уж шапки разбирают... Ох, девки, девки!

Я вошел на лестницу, тоже потому, что некуда было идти и незачем.

Молоденькая девушка, одетая в какое-то нелепого покроя и цвета праздничное платьице, с голыми по локоть худенькими руками и плечами, сбежала мне навстречу.

— Пойдем! — сказала она назад, и вместе с двумя другими девушками за ней появился Павлуша.

Все они побежали к воротам.

— Ты куда? — остановил было я его.

— К обедне! — второпях произнес он, догоняя девушек, и умчался вслед за ними. В этот день я не мог уж разыскать его.

Сидя на балконе постоялого двора, я смотрел опять на ту же молчаливую толпу и чувствовал, что в этом безмолвном, терпеливом ожидании ею чего-то было много истинной душевной теплоты и глубокой веры, постичь которую я, как человек, не знакомый вовсе с народной душою, решительно не мог. Я видел только эти серьезные, задумчивые лица мужиков и баб, терпеливо ждавших выноса мощей с шести часов утра до трех часов дня.

Я не буду изображать необыкновенного воодушевления, охватившего толпу, когда неожиданно раздался громкий, веселый звон и тронулся крестный ход. Я ничего этого не понимал.

А когда через две минуты по окончании хода началось пьянство, наступившее почти моментально и в самых исступленных размерах, я вдруг почувствовал непреодолимую жажду вернуться домой... К вечеру мне удалось найти ямщика. А Павлуша так и исчез неизвестно куда.

IV

Этим богомольем кончилось краткое, но, в сущности, весьма тягостное путешествие. Выбравшись вечером из города снова в поле, на возвратный путь, и лежа в мужицкой телеге, я соображал о виденном и чувствовал себя крайне дурно; эти почти бессильные потуги ощущать что-либо, не похожее на тягостную обыденщину, и неуменье, отвычка от потребности ценить личные ощущения, которые я видел и в купце, притворно кряхтящем и охающем по-бабьи, рассуждая о звоне, который для него не представляет ничего особенного, и в особенности в любопытной истории, рассказанной дьячком о бестолковых односельчанах, затеявших запутанную историю «обо всем», о душе, о любви, и требующих удовлетворения от станового пристава, — все это наводит меня на грустные мысли. Как смутно чувствовали эти люди свои душевные потребности, как мало было у них средств выразить свои желания, как отвыкли они от этих насущных потребностей души, без которых обходилась столетняя, поистине мученическая жизнь!..

Небо было серое; моросил дождь; на душе было скучно и тяжело. Так провел я всю дорогу до дому.

Но вот я дома. На столе кипит самовар; мокрый петух орет под крыльцом во все горло и громко хлопает крыльями.

— Ай дома? — возглашает Лукьян, появляясь с веселым лицом в комнату. — Помолился богу-то?

— Помолился.

— Ну, ладно, посылай поздравку.

Послали за поздравкой.

— А тут без тебя то-то дела-то были.

— Были?

— Тут были дела. Боже милостивый! (Лукьян махает рукой, уже успев опорожнить чашку и придвигая ее к самовару.) Уж мы с твоей маменькой то-то посмеялись.

— Уж да! уж было смеху! — говорит матушка.

— Да расскажите, что такое? — говорю я, с удовольствием входя в колею наших обычных интересов.

— Андрюшку-косолапа знаешь?

— Ну знаю.

— Ну уж дело пошабашенное; уж ведь он шилья украл у меня весной?

— Это верно, что он.

— Ну, он. «Ты, мол, украл-то?» — «Нет, не я...» — «Не ты?» — «Нет, не я...» — «Н-ну смотри!..» Я ему давно это говорил и, признаться, точно что имел на него злобу... Попадись под пьяную руку, я бы с ним, с шельмой, шутить не стал. Ну так это тогда сердце и прошло: чорт с тобой! Только теперь и взбреди мне на ум: дай я с ним сшучу штуку. Пошел он в баню, а я взял ихнего петуха, знаешь, «Зубодер»?

— Ну знаю.

— Ну взял этого петуха — любимый он у него... Душу отдаст. Взял я петуха-то, поднес к окну в бане и говорю: «Андрюшка, говорю, я сейчас ему голову напрочь». Как он увидал петуха-то у меня, что ж бы ты думал?

— Ну?

— Выскочил, каков был, за мной. Я в переулок, он за мной, весь в мыле, — тут смеху! Вся улица высунулась.

— Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха!.. — помирает наша компания.

И мало-помалу успокоивает меня... Мне нужны были факты успокоительные; но в то тревожное время, когда появлялись уже знакомые читателю Демьяны, нужны были некоторые натяжки, чтобы отстранить от себя невольно мечтавшийся образ пленительного будущего; нужно было иной раз убеждать себя в том, что это пройдет, что ничего не будет.

Но чем ближе к нашему времени, к последним дням, тем мне становилось все легче и легче и тем чаще стали попадаться люди, изумительно хорошо выработанные для того, чтобы все Демьяны могли знать, что, кроме порядка, не должно быть ничего.

V

Познакомлю вас с одним из этих людей, участвующих в поддержании благообразия настоящего времени, которого мне недавно пришлось встретить после долгой разлуки со школы. Звать этого моего знакомого Иван Куприянов; он юрист. Трудно представить себе другую, более благоприятную обстановку для выработки современного типа «порядочного» человека, чем та, в которой с детства находился Куприянов. Прежде, нежели он родился на свет, семейство его хранило множество преданий относительно того, что «ничего не поделаешь», что каждый шаг зависит от кого-то, кто может позволить сделать его, может и не позволить. Слова «нельзя» и «молчать» семейство Куприянова знало в совершенстве. Отец Ивана Куприянова дослужился до офицерского чина из простых солдат; это стоило ему немалых трудов, увечий и ран и с словом «нельзя» ознакомило довольно хорошо. Отлучиться с часов к больной жене, крик которой слышится из соседней лачужки, — «нельзя». Купить корову для ребенка и повести ее за полком, так как приказано идти в поход, — «нельзя». Отлучиться к жене, оставшейся в лазарете на пути похода, — «нельзя»; купить и носить шапку на вате по случаю ревматизма — «нельзя», равно нельзя надеть фуфайку, несмотря на ломоту в пояснице. Все это, то есть и шапка, и корова, и проч., могли быть разрешены точно так же, как могли

быть и строго воспрещены, и если отец Ивана Куприянова успел достигнуть офицерского чина, то можете судить, какие громадные усилия должен был он посвятить терпению и повиновению. В такой страшной школе, где для того, чтобы надеть теплую шапку, нужно было дожидаться чуть-чуть что не указа из правительствующего сената, прожила семья Куприяновых, то есть отец и мать, до седых волос, когда, наконец, пожалован был чин, и Иван Куприянов, десятилетний мальчик, когда я узнал его, уже был прочно воспитан для безропотного повиновения. Я познакомился с ним на вступительном экзамене в гимназию. Это был не мальчик с детским лицом, а человек, в глазах которого было видно, что, кроме несправедливостей, он не встретит ничего, но что он к ним привык и покорно несет свою голову под их удары. Тут же я увидел и отца его, запыленного, только что с разрешения начальства отлучившегося из соседней деревни с стоянки и дрожавшего за участь сына. Пот лил градом с его худого загорелого лица, когда он вел своего сына к экзаминатору. Сын его знал все в совершенстве; он годится не только в первый класс, куда отец просил определить его, но в пятый. На подготовку он убил несчетное число трудов и бессонных ночей, причем ему твердилось, что на него в будущем вся надежда, что, впрочем, мальчик знал и сам, ибо бог дал ему простую, любящую душу; но, несмотря на все это, бог знает, что могло случиться.

И действительно случилось.

— Зарезал его учитель-то! — говорил его отец, чуть не плача, моей матушке, выходя в коридор.

— Что вы, родной?

— Именно зарезал! Не так! все не так!

— Да «дайте» вы ему... по силе, по мочи...

— Матушка моя, не имею! Семью оставил в деревне с рублем.

Иван Куприянов стоял при этом с опущенными в землю глазами, с дрожавшими, покрытыми мелом пальцами и с каплями пота на гладко выстриженной голове.

— Как же это ты, Ваня? — говорил отец. — Ведь знаешь ты... Как это ты?..

Ваня глубоко-глубоко вздохнул.

— Возьми у меня, отец родной, — предложила моя мать: — не пропадут, — отдадите! Авось, не на веки вечные, ведь дети вместе будут...

— Благодетельница!..

— Бог вам поможет. Подите к учителю да спросите, как бы, мол, повидаться...

— Спасибо вам, мать родная! Как ваше имечко, матушка? — заливаясь слезами и едва слышным голосом говорил воин, знавший и черкесов, и поляков, и турок, и венгерцев.

Ивана Куприянова приняли в гимназию, и с этого дня он стал моим лучшим другом. Это был человек опытный в несчастиях, знавший, что жить на свете трудно и что слава богу, если не умрешь с голоду. Сидя в училище на лавке, в то время, как товарищи отвечали учителю выученный наизусть «Делибаш», он думал о том, что шинель, которую он носит теперь, можно к рождеству отдать маленькому братишке; считал, сколько будет стоить переделка, кому отдать подешевле, и когда очередь доходила до него, он поднимался и исправно читал наизусть «Делибаш». Окончив отцу письмо, в котором напрасно бы стали мы искать просьбы взять на праздник, беречь щенков, оставленных дома, и проч., в котором, напротив, все — дело и горе, в котором прилагается рубль, вырученный за уроки, извещается, что полтинник оставляется на пуговицы, которые оборвались и за которые начальство строго взыскивает, — окончив это полное забот письмо, Иван Куприянов принимался писать к следующему уроку сочинение на тему «О спящем младенце», причем необходимо было выразить невинность спящего младенца и перенестись к его будущему, которое должно быть прекрасно, и притом изобразить так, чтобы было поболее придаточных предложений. Необъятного труда стоило ему сочинять заданную ахинею — ему, знавшему сон младенца без придаточных предложений розового цвета; но он писал это, воротил, потел целые ночи, потому что это нужно, надо; без этого плохо и просто нельзя жить на свете.

Когда, случалось, он приходил к нам по воскресеньям, я не мог надивиться его познаниям разных жизненных подробностей, в которых он смело мог конкурировать с моей матушкой, имевшей на плечах сорок лет.

Со мной, исправнейшим уличным мальчишкой, ему не о чем было толковать: — любимым собеседником его была матушка. В разговорах их постоянно слышались слова: «трудно», да «надо», да «нельзя», да вздохи.

— Теперь вот сестре уж четырнадцатый год пошел, а образования ей не дано, — говорит Ваня: — потому когда подавали прошение об определении ее, не вышло лет, нехватило два года и семь месяцев три дня, из Петербурга ответили отказом, а потом не с чем было ехать, потому — отцу не разрешено было перейти в —ский полк, который стоял в губернском городе.

— Да просили бы! — говорит матушка.

— Да уж просили. Отказано. Пропущен срок.

С этим семейным бременем на плечах, тяжесть которого в будущем должна была увеличиться во сто раз, ибо отец Вани Куприянова был плох, утомлен и страдал от ран, — с этими-то семейными заботами Ваня Куприянов родился, учился в гимназии, в университете, и везде, дорожа жизнью своей семьи, которая должна была остаться на его попечении, и не имея права подвергать несчастным случайностям жизнь родных ему людей, которые на своем веку вынесли слишком много, он должен был покоряться тому, что «можно», и учился знать, что то, что «нельзя», — нельзя. Поэтому-то в гимназии он учил аккуратно глупые и скучные учебники, отвечая на ни на что и никому не нужные вопросы учителей, хотя сам понимал жизнь больше всех учебников. В университете аккуратно держал экзамены, не имея силы отличаться и рассчитывая получить ровно столько баллов, чтобы аккуратно хватало для права более или менее свободно дышать на белом свете.

Я не видал этого мальчика с отъезда его в университет, куда он поехал на кровные деньги, добытые кровным трудом на уроках у купцов, плативших не больше трех рублей в месяц; денег этих было скоплено ровно столько, чтобы не умереть с голоду в дороге, а для продовольствия в столице необходимо было начать с первого же дня по приезде вновь трудиться, шагать из конца в конец за рублем. Жизнь эта была воистину мученическая. Но вот она кончилась, и Куприянов уже два года прокармливает семью скромным жалованьем судебного следователя; уже два года он, не зная ни сочувствия,

ни несочувствия, вымеривает утопленников, засовывает пальцы в раскроенные мозги, обозначает глубину и силу нанесенного «прохожим молодцом» удара, спрашивает о вере, о количестве лет и сажает в тюрьмы и остроги и т. д. Словом, делает свое дело и прокармливает семью. Бесстрастие его в этих делах изумительно. Переведенный в наш город, он случайно встретил меня на улице, и я едва узнал его. Это был худой, сухой и совершенно скучный человек, с каким-то сухим надорванным голосом, ничему не удивляющийся, ничего не ожидающий. Обстановка моего жилища с клетью, курами и прочими атрибутами, весьма заинтересовавшая Павлушу Хлебникова, не произвела на него никакого впечатления; казалось, какие бы ему обстановки ни попадались, для него все равно, потому что над всеми обстановками висит что-то такое, чего ни я, ни он предвидеть не в состоянии. Визит его ко мне был очень странен: я не был чиновник, не знал, о чем говорить с ним; он тоже не знал, о чем завести речь со мной, так что мы преисправно помалчивали.

— Это у тебя не кассационные ли решения? — проговорил он, потягиваясь к толстому «Соннику», только что приобретенному матушкою.

— Нет, брат, — сказал я: — не кассационные.

— А! — произнес он и стал собираться домой.

Я его не удерживал. Но спустя некоторое время, как-то совершенно нечаянно, я зашел к нему сам. На каждом шагу лежали разные законы и вороха дел. Он объявил мне, что, быть может, скоро придется получить место товарища прокурора, и поэтому-то он набрал разных дел, чтобы практиковаться. По стенам были развешаны окровавленные обухи, которыми производились убийства, окровавленные дубины с прилипшими волосами, висела кровавая рубашка и т. д. На полу были разломанные сундуки, на столе замки с уголовными взломами, словом — весьма много оригинальных украшений. Заглавия дел, валявшихся на столе, были тоже крайне любопытны. Тут были дела о солдате Стратилатове, жаловавшемся на обвес его при покупке свинины мещанином Уховостровым. Солдат дошел в искании правды до сената. Было тут дело: «Об обнаружении бутылки с малиновой наливкой на постоялом дворе крестьянина Бунтовщикова»; дело: «О бессрочно-отпускном рядовом

Бесхвостове, обвиняемом в имении при кабаке другой комнаты» и т. д. Все это были «дела».

Я развернул дело о двух комнатах, которые дозволил себе шельмец-солдат и которые с дьявольскою проницательностью открыло акцизное управление, и увидел, что солдат навострился ловко надувать начальство.

— Признаете ли вы себя виновным? — спросил его председатель мирового съезда.

— Нет! — отвечал солдат без зазрения совести. — Эко беда какая, вашебродие, что две каморки я по грехам моим обладил.

— Вы потрудитесь не уклоняться от прямого ответа, — заметили ему.

— Я как пред богом! — говорил солдат. — Какая она комната? — каморка. Там всего и есть, что сундук стоит с дрянью со всякою. Перед истинным богом!

Но в одной из толстых книг, лежавших на столе съезда, был пунктик, который давно уже предвидел суетную солдатскую мысль, пунктик о соответственном наказании, каковому солдат и подвергся.

Солдат этот, как оказалось в конце дела, тоже пошел искать правды в сенате.

Крестьянин Бунтовщиков, у которого «обнаружена» была бутыль с наливкой, тоже, каналья, себя виновным не признавал и ударился за правдою в съезд, а потом тоже в сенат.

Разговоры между нами в этот визит были плохи. Иван Куприянов даже не смеялся тому, например, что крестьянин Бунтовщиков или солдат не признавали себя виновными и достигали сената из-за бутылки и из-за свинины.

Пришел какой-то гость, поздоровался и тоже стал рыться в законах, нет ли каких-нибудь кассационных решений.

— Сам никак не найду, — сказал хозяин.

— Эка жалость! А мне было надо.

— Что у вас дело, что ли, какое?

— Да есть маленькое... оскорбление... Один повар сдернул кучера с лавки за ногу.

— А!..

Будучи посторонним свидетелем этих разговоров, я испытывал необыкновенную скуку и наверное не посмел бы, ради ее, в другой раз посетить моего приятеля, если бы сам он не явился ко мне и не сделал предложения проехать с ним недалеко в одну подгородную деревню, где у него было дельце.

— Страшно надоело одному...

Я в первый раз видел, что он скучен, и, признаюсь, немало удивился. На предложение ехать я согласился. Чрез несколько часов приятель мой подъехал к моему домишку в тарантасе на тройке земских лошадей, и мы поехали. Со времени первого моего путешествия прошло несколько лет, в течение которых было достаточно времени образумиться возмечтавшему о себе мужичью и научиться «исполнять времена» без запинки. Думая так, я крайне интересовался, в какие формы могло выработаться его поведение, и в этом смысле мне удалось быть свидетелем одной истории, которую я теперь и расскажу так, как она обрисовалась мне вся целиком.

VI

В тот самый день, когда я и следователь приехали в село Стрешнево производить дознание по какому-то дельцу, священник этого села уезжал на некоторое время вместе с женой к соседу родственнику, тоже священнику, а ребенка своего, оставшегося дома, поручил старушке дьячихе. Старушка дьячиха, недавно выдавшая дочь за молодого дьячка, которому муж старушки, старый дьячок, сдал место при жизни, не решаясь объедать молодую семью, кормившую ее мужа, проживала то у священника, то у дьякона, то денек-два у господ, лишь бы только «им» было хорошо. Но «им» вовсе хорошо не было. Почти с самой свадьбы старый и молодой дьячки начали ссору, нередко переходившую в драку, причем совершенно неповинно страдала дочь старухи: на нее сыпались удары с обеих сторон — и от отца и от мужа, которые к тому же оба придерживались крепкого напитка. Сердце старушки давно болело за свое детище, и в голове ее тысячу раз рождалось намерение увезти свою дочь куда-нибудь подальше от этих извергов. В тот день, когда она

осталась в доме священника нянчить ребенка, драка в ее семье достигала гигантских размеров. Замечательно при этом для характеристики нового времени: оба дьячка, нанося друг другу удары по головам скалками и горшками, кричали при этом: «Нет, *не то* время! .. Нет, брат, теперь не то! ..» Понимая сущность *не того* времени, очевидно, различно, они тем не менее находили в драке и поволочке общую исходную точку. Время было летнее, жара страшная; окна поповского дома были отворены, и драка и крики подгулявших дьячков, смешанные с воплями несчастной дочери, громом разбивающихся горшков, вылетающих стекол и т. п., были ясно слышны старушке, и она заливалась слезами, не знала, куда деться, как спасти детище. На этот раз ей нельзя было даже побежать к ней, потому что на руках ее был чужой ребенок. Намучившись, наплакавшись и не видя конца драке и воплям дочери, она почти в полном беспамятстве выхватила из шкафа священника пять целковых, положенные на ее глазах перед отъездом, и, оставив ребенка, бросилась к дочери с тем, чтобы непременно увезти в город и спасти хоть ее, не рассуждая о себе.

Пять рублей, предъявленные в дерущейся семье как явное доказательство того, что теперь с этими деньгами старушка непременно исполнит свое намерение увезти дочь в город, почти моментально прекратили драку, ибо хотя смысл возгласа «не то время», «теперь, брат, уж не то» — весьма таинственен с первого взгляда, но сущность его — бедность и голод и «есть нечего»... Поэтому-то пять рублей, как деньги, внезапно явившиеся среди старого и нового голода, которые потому можно употребить по благоусмотрению, и прекратили драку. Как только драка прекратилась, старушка опомнилась, пришла в себя, сообразила, что сделала худо, и вознамерилась тотчас же отнести деньги назад. Она бегом побежала в дом священника, который на ту пору воротился из гостей и не знал, что подумать: двери были росперты, ребенок сидел на полу и кричал во все горло; шкаф, в котором лежали деньги, отворен, и денег нет.

— Что ты это делаешь, Власьевна? Что это такое? — в изумлении и негодовании сказал священник старухе.

— Твоя во всем воля, виновата! Секите голову! — говорила старушка в изнеможении.

— Что ты с нами делаешь?

Поднялся шум, в котором принимала участие матушка и порядочное количество народу, сбежавшегося смотреть на драку.

— Не ждала я от тебя. Верь вот людям! — кричала она.

— Что такое, матушка? — спрашивали зрители.

— Да как же? оставили старуху, а она деньги вытащила из шкафа.

— Власьевна-то?

— Д-да-а! Власьевна! Ну-ка, думали ли, гадали ли?

— Ах-ах-ах!

— Секите, секите голову! — покорно твердила старушка, изнемогши от нравственной муки.

Когда дело о покраже разъяснилось, батюшка и матушка совершенно утихли, простили старушку, попросили даже у нее прощения; но весть о покраже уже разнеслась по селу. Все старушку знали давно за женщину добрую и честную, и при всем том вышло так, что жалость всеобщая ничего тут путного сделать не могла. Волостной старшина первый опомнился от обуревавших его душу сожаления и соболезнования к старушке и инстинктивно припоминал, что порядок что-то требует. Он знал, как намыливали шею за упущения, и дорожил жалованьем, ибо был мужик-чиновник — тип, нарождающийся по русским деревням.

— Как же быть, Иваныч? — сказал он писарю. — Надо как-нибудь...

— Надо-то надо, да жаль.

— Жаль, жаль. Да порядок-то, друг мой, требует. Что будешь делать!

— Что делать-то! Добрая старушка, нечего сказать, а во вред порядку — нельзя!

— Теперь мы ей помирволим, у нас пойдет и мужичье волочь что под руку попадется.

— Что тут делать? Надо!

— Что ж, бери бумаги-то. Пойдем к попу. Благо следователь здесь. Нам что? Свое сделал, а там пусть их что хотят... У нас спина-то одна.

— Надо идтить.

Несмотря на просьбы священника прекратить все это дело, старшина и писарь, почти со слезами на глазах, принялись писать протокол, а священник и его жена, тоже со слезами на глазах, принялись показывать против старухи.

— Секите, секите голову, отцы мои, виновна! — говорила старуха, рыдая.

— Виновна! Запиши, Пантелей, — говорил старшина писарю и прибавлял: — Матушка! душа у меня у самого разрывается на части! Али я тебя не знаю? Я еще тебе — как ты у меня второго ребенка принимала — не отплатил. Родная! Ничего не сделаешь. Пантелей, пиши — «со взломом».

— Боже мой! — восклицал писарь, настрачивая отличным почерком бумагу. — Что только делается... Со взломом! Да ведь это надо ее сажать в темную, боже!

— Боже мой! — восклицал старшина. — Посадишь! Посадишь! Ах ты, боже мой!

— Секите, рубите голову...

— Ах, боже мой! Собирайся, Власьевна! Кабы это я — это правило требует. И за что? О боже мой, боже мой...

Иван Куприянов приступил к этому делу с тем же сухим безразличием, которое составляет исключительную принадлежность людей, привыкших не разбирать своих личных симпатий.

— Неужели ты начнешь дело?.. — спросил я у Куприянова.

— Ни за что! — прервал он меня. — Пусть они (он указал на старшину и писаря) отнесутся формальной бумагой, иначе мне нет никакого дела.

Бумагу формальную написали, а Куприянов тотчас же составил «протокольчик», как он выразился. При всеобщих сожалениях к старухе и при точном и аккуратнейшем исполнении требований долга, ни в грош не ставящего этих сожалений, мы отбыли из села обратно в город, причем на вопросы мои, что будет со старухой, Куприянов отвечал:

— Уж там это дело прокурора. Я свое дело сделал, а там, что хотят, их дело.

Долго я не виделся с Куприяновым. Но мне хотелось знать кое-что о старухе, и через месяц я зашел к нему.

Куприянов встретил меня словами:

— Поздравь меня, я назначен товарищем прокурора.

Я поздравил. Объяснено было о количестве оклада, дальнейшей карьере и о прочем. Я выслушал все, но ничего не понимал.

— Ну, как старуха? — спросил я.

— Да! — вспомнил он. — Дело ее у меня.

— Послушай, брат, ведь жалко старуху-то?

— Да! ужасно жаль.

— Что же ты?

Куприянов пожал плечами и, помолчав, произнес:

— Надо будет написать «легонькое» обвиненьице.

— Обвиненьице?

— Да что же я могу? Посуди ты сам! Ведь со взломом! Что же я тут сделаю? Я и так избавил ее от ареста... Больше я не могу. Это уж будет дело присяжных...

Я слушал и молчал. Действительно, он ничего не мог сделать.

— Я и то стараюсь как можно легче. Вот что я написал. Слушай. — И, вынув лист, он прочел обвинительный акт старухи, в котором попадались слова: «преступное намерение, ясно обнаруживается, первое», «заранее обдуманное», «со взломом, а потому я полагал бы...»

— Ну? — сказал он, действительно в полной беспомощности и беззащитности относительно приведенных фраз, которых не писать он не мог, ибо других нет и нельзя.

Я не возражал.

Судить старуху, по расчету Куприянова, должны были не ранее, как через полгода.

Проведя эти полгода в уединении и обществе моих завалящих приятелей, я опять пошел к Куприянову.

— Поздравь меня! — сказал он: — теперь я бросил прокуратуру и поступил в присяжные поверенные.

— Поздравляю.

— Практика идет отличная. Недавно помирил двух помещиков и взял за это с них полторы тысячи.

— Хорошо, — сказал я.
— Теперь вон еще у меня есть дело...
— Погоди, — перебил я его. — А старуха?
— Теперь я ее защищаю...
— Вот как!
— Д-да! Теперь я ее защищаю...
— А обвиняет-то кто ж?
— Это уж не мое дело...

И точно, старуха была оправдана. Но смысл этой истории долго пугал меня и заставлял плотнее забиваться в свой угол. — Отчего? Не знаю я — хороши ли такие люди, не знаю я — нужны и важны ли такие дела...

ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ

БУДКА

(Очерк)

I

На углу двух весьма глухих и бедных переулков уездного города стояла будка; физиономия ее походила на те беседки с колоннами и куполом, которые встречаются на лубочных изображениях иностранных вилл, причем обыкновенно впереди виллы, в воде, плавают два лебедя друг против друга, сзади видны деревья, а по дорожкам прогуливаются господа в шляпах набекрень, в черных фраках, дети с обручами и дамы с зонтиками на плече; походила она также на те храмы муз, которые обыкновенно изображают на занавесях провинциальных театров; такому сходству весьма способствовала старинная архитектура будки; она действительно была с колоннами и куполом, а каменные ободранные стены ее были круглы; но некоторые, повидимому, весьма ничтожные вещи, как, например, измазанная дверь с клоками истерзанной рогожи и войлока, приземистая черная труба, венчавшая вершину купола, и в особенности жестяная алебарда, видневшаяся всегда у колонн, весьма красноречиво доказывали наблюдателю, что видимое им здание не есть храм муз, но есть кутузка или сибирка; тем более, что громадные калоши будочника Мымрецова, набитые для тепла соломой и постоянно торчавшие перед будкой на улице, — ни в каком случае не могли напоминать лебедей, плавающих перед иностранною виллой.

На тоненьких почерневших колонках будки всегда трепетали по ветру какие-то писаные и печатные лоскутки, на которых значилось, что такого-то числа военные и гражданские чиновники приглашаются пожаловать

в парадной форме... Что того же числа в мещанской управе будет происходить торг и переторжка на имущество мещанки Степаниды, состоящее из утюга и кровати, оцененных в тридцать копеек. Что в зале дворянского собрания имеет быть бал, почему благоволят надеть белые жилеты те, кои и т. д. Но страна, где стояла будка, не имела ни парадной формы, ни тридцати копеек, чтобы овладеть обольстительным имуществом Степаниды, ни, наконец, белых жилетов; и поэтому-то пропаганда будочника Мымрецова по исчисленным вопросам была совершенно ничтожна; закутавшись в казенную шубу, он, правда, постоянно торчал около той или другой колонки и, повидимому, сторожил эти писаные и печатные лоскутки, но в сущности смысл и содержание их были ему известны ровно столько же, сколько и жестяной алебарде, которая тоже торчала рядом с Мымрецовым, только у другой колонки... Оба они пропагандировали нечто другое и, следовательно, недаром мерзли на ветру...

Будочник Мымрецов принадлежал к числу «неспособных», то есть людей совершенно негодных в войске. Эти неспособные большею частию происходят или из обделенных природою белорусов, или из русачков северных бесхлебных и холодных губерний. Мачеха-природа и лебеда пополам с древесной корой, питающей их, загодя, со дня рождения, обрекает их быть илотами и богом убитыми людьми; она наделяет их непостижимою умственною неповоротливостию и все почти задавленные стремления человеческой природы сводит на жажду водки, которую они поглощают в громадных размерах; они умеют напиваться молча, не произнося ни единого слова; молча дерутся в кровь и, валяясь где-нибудь в глухом и безлюдном переулке, почти в беспамятстве умеют бормотать только одно: «виноват», ни на минуту не выпуская из скудного и запуганного воображения образ грозного начальства.

Начальство вообще панически действует на них; при виде его несчастные «неспособные» вытягиваются в струнку, замирают и задыхаются в воротнике, стянутом туго-натуго; виски, намазанные для праздника свиным салом, начинают потеть, а глаза получают способность пускать слезы. Кроме мачехи-природы, последние при-

знаки человеческого существа из них выколачивает военная муштровка; в древние времена результаты ее отдавались у неспособных на скулах, под скулами, на спине и далее. «Муштра» комкала их, переламывала в нескольких направлениях, как какую-нибудь палку или доску, и, оставив в живых только косицы, намазанные свиным салом, сдавала в провинции на разные должности: в «хожалые», пожарные и проч. Воины эти, вступая на новый пост, непременно имели разные увечья и вывихи — разорванную в драке губу, выломанное ребро, ухабы и ямы в голове и спине; соединив эти приобретения с тем наследием природы, о котором уже упомянуто, они представлялись субъектами самого странного свойства; никто никогда не мог вдолбить им в голову чего-нибудь, не относящегося до их пожарной специальности, и, в свою очередь, тоже и от них нельзя было добиться чего-нибудь. Самый краткий разговор с таким существом всегда оканчивался тем, что начавший разговаривать прерывал речь, с ожесточением восклицая:

— Да что ты? Ты оглох, что ли? ..

Но субъект не оглох, он просто был «неспособный».

Будочник Мымрецов обладал всеми упомянутыми увечьями в полном объеме; все эти вывихи, переломы имелись у него даже в сверхкомплектном количестве, делая из него угрюмую, неповоротливую фигуру, весьма походившую на корень дерева, глубоко сидевший в земле и вывернутый оттуда силою бури; видно было, что тут происходило и упорство, с одной стороны, и сокрушительная сила, с другой; корень вывернут из земли, изувеченный и бездушный.

Несмотря на то, изувеченность и умственное оскудение были главною причиною того блистательного успеха, с которым Мымрецов занимал предназначенный ему пост, можно даже сказать наверное, что успех этот мог увеличиваться и возрастать по мере того, как течение времени и драк будет выхватывать у него новые ребра и делать новые ямы в голове. Только при таких условиях раскраденный умственный капитал его, не развлекаясь никакими посторонними интересами, мог сосредоточиться и даже впиться в главные его обязанности; обязанности эти состояли в том, чтобы, во-первых, *«тащить»*, а во-вторых, *«не пущать»;* тащил он обыкновенно туда, куда

решительно не желали попасть, а не пускал туда, куда этого смертельно желали. Словом, где только человек находился в положении, определяемом фразою «ни назад, ни вперед», там наверное Мымрецов принимал живейшее участие; говорят, что с течением времени Мымрецов до того въелся в это таскание, что в людях начал замечать только шивороты и этим отличал людей от бессловесных животных и неодушевленных предметов; поэтому-то Мымрецов и жестяная алебарда были представителями шиворотной пропаганды и, следовательно, недаром мерзли на ветру.

Забота о шиворотах поглотила все его существо, так что в ней, как в бездонной пропасти, почти бесследно исчезала последовательная нить его философии и свойства его как семьянина; о семейных отношениях его к супруге можно сказать, что он и жена жили не так, как живут кошка с собакой, потому что несходные качества этих животных совмещались в одной супруге, и Мымрецову осталась роль бесчувственного пня, на который могут брехать собаки и царапать лапами кошки, не надеясь получить в ответ ничего, кроме мертвого равнодушия и поплевываний в угол, и то вследствие приятного ощущения, доставляемого махоркой. Гробовое молчание и угрюмость решительно не давали возможности разглядеть в подробности все личные особенности Мымрецова; несокровенным было то, что он очень любил тютюн, услаждавший его в минуты отдыха, и что три денежки в сутки да ковриги казенного хлеба с нумерами на верхней корке, написанными мелом, поддерживали его изувеченное существование на славу множества шиворотов, и только; мрак угрюмости и молчания непроглядною пеленою покрывал тайну происхождения его других желаний и убеждений. Так, нам уже известно, что он умел, в качестве илота, напиваться молча; по праздничным дням он угрюмо шатался из двора во двор и везде лил в себя водку, не зная решительно границ этому литью и не подозревая, что желудок его не бездонная пропасть. Целые недели после этого он мучился грудью, поясницей, головой, но на следующий праздник история повторялась в том же порядке. Такою же таинственностью покрыта его страсть копить серебряные пятачки. Почему он с лихорадочною жадностию завертывает тихо-

молком каждый пятачок в тысячу тряпок? зачем так далеко прячет их в шерстяной чулок и засовывает потом под крыльцо? Неужели он думает нажить богатства и сокровища? Неужели об этих сокровищах он так усердно молит бога, оставшись вечерком один, не спускает с крошечного образочка своих глаз, падает на колени так крепко, крепко бьет себя кулаком в грудь?

Мымрецов объясняет эти молитвы и собирание пятачков тем, что скоро он пойдет в *свою* сторону: он дожидается только времени, когда перестанут у него ныть кости, руки и ноги... Он ждет, пока у него отойдет хрипота в груди, мешающая ему свободно дышать, и тогда он непременно уйдет к своим...

II

Вообще таинственные свойства души Мымрецова совершенно необъяснимы, и мы, не имея права умозаключать о них, прямо переходим к его деятельности.

Деятельность эта, то есть таскание и хватание за шивороты, не прекращалась у Мымрецова ни на одну минуту: утром он обыкновенно отправлялся в часть и рапортовал начальству о своих успехах, излагая речь сообразно с своею изувеченностью и искалеченностью.

— Ну, — спрашивал его квартальный, перелистывая какие-то бумаги, — ты что же это там с бабами-то воюешь?

— Помилуйте, вашскобродие, я только что отпихнул ее от себя.

— Кого?

— Эту самую даму... Смоленскую...

— Какую Смоленскую?

— Да которая, например, шельма самая... Гордеиха приказывает ее узять, а она говорит: «Я, говорит, с эстой дрянью не пойду». Она, вашскобродие, меня дрянью назвала...

— Ну?

— Ну, я ее отпихнул... говорю: «Ты мне не нужна!» А разодравши они были прежде... Я подбег, они уж разодравши были... и уж глаз расшибли... в том числе...

— В каком числе?
— В числе драки-с.
— Чорт тебя знает, что ты городишь! Посадил?
— Помилуйте!
— Ступай!

Обыкновенно дела шли таким образом, что Мымрецов не успевал возвратиться домой, как где-нибудь на пути к будке ему навертывалась практика; но иногда прямо из части он приходил в будку, расстегивал шинель и, сладостно поплевывая, курил тютюн. В эти минуты он не слыхал, как жена его, орудовавшая у печи, костила его по какому-то случаю и замахивалась на него ухватом: угрюмо и безмолвно наслаждался он махоркой; но когда махорка выгорала в трубке и Мымрецову предстояла необходимость ограничиться созерцанием возносимых над его головой ухватов, ему вдруг делалось скучно и тоскливо; выйдя на крыльцо, он тревожно поглядывал в одну и в другую сторону, ища поживы, снова возвращался в будку и начинал чувствовать, что у него болят руки, ноги, ноют кости... Ему непременно нужно было куда-нибудь торопиться, ловить что-нибудь или кого-нибудь. Судьба обыкновенно недолго держала его в таком томительном состоянии.

Вот отворилась дверь, в будку понесло холодом, и вслед за тем появилась фигура женщины в истертой синей шубейке, с лицом, облитым слезами и покрытым темными, словно чернильными пятнами. Слез и пятен достаточно Мымрецову, чтобы увидеть под ними шиворот. Он начинает торопливо застегивать шинель и говорит:

— Где? — намекая тем на местопребывание шиворота.

Ему не нужно знать, почему и что? он давно убедился, что в этих слезах и синяках ничего не разберет сам чорт.

— Ох, да недалечко, родной, — говорит старуха. — Тутотко вот... к полю... Уж и наказал господь... О-ох!

— Потому, нам нельзя допущать дебошу,— торопливо говорит Мымрецов, надевая шапку. — Где тесак?

— Сократи ты его! Сделай твою милость...

— Палка где? Потому, мы не допущаем, коли ежели шум, например... Нам этого нельзя...

Палка найдена, и Мымрецов исчезает, куда призывает его долг, а будочница от нечего делать занимается исследованием причины синяков и слез; она знает все, что ни делается в окружности.

— Сынок ай нет? — спрашивает она старуху.

— Ох, нет, родная, не сын! Нету сыновьев-то! зять!

— Зя-ять?.. А то вот тоже у соседей поножовщина идет — ну, там сыновья!..

— Зять, зять, родная!.. Кровную детищу отдала — загубила. И ровно враг меня обошел, как отдавала-то я!.. За вдовца отдавала-то! конокрад, родная!.. Которые родные в то время случились, «что ты, говорят, делаешь? Что ты в гроб-то ее заживо кладешь?..» Дочку-то... Нет! Отдала... Прельщение от него уж очень большое было! «Век, говорит, кормить буду... до смерти...» Искусилась, да вот и вою... Только что, господи благослови, повенчали их, ан гляжу — уж он ее...

При этом старуха сделала руками такой жест, как будто бы хотела представить, как полощут белье...

— Опосле этого-то он недолго ее помучил — в солдаты ушел, охотою... В те поры мы с дочкою-то всё бога молили, чтоб ему голову бы снесли прочь... Все, бывало, черкесов да кизиль-башей этих поминали в молитвах — не утаю, родимая! Остались мы с дочкой да ребенок — троечкою; дочка-то пошла по портомойной части, а я так, на старости, с ребенком... Сама знаешь, касатка, протомойную-то часть. Теперь возьми зимнее время — бесперечь на речке, у проруби, руки и ноги стынут, да опять целый божий день согнувшись — легко ли дело! Уж она, бывало, придет домой, в чем душа... в чем только душенька!.. А там, глядишь, в ногу вступило, там в груди не пущает... Трудно, трудно было! Ну, всё жили... Пять годов этак-то мы мучились, и в тепершнее время бога бы благодарить надо: ходим не отрепанные, дите, внучек мой, тоже не без призору; чай пьем кажный божий день, а по праздникам иной раз и внакладку, бывает, разоряемся. Помаленечку! Только было выскреблись, ан господь и прогневался... Кровопийца-то наш, Пилат-то, пришел ведь! Эдакая образина! царица небесная... Глянула я на него, как он ночью-то к нам ввалился, — так меня ровно бы тряс какой схватил... Трясусь вся! И дочка-то тоже в трясение вошла... Трясемся

мы, что сделаешь-то! Стала это я его потчевать (сама знаешь, голубка, «не для зятя-собаки, для милого дитяти»...), а сама так вот и взлетываю... Хочу-хочу чашку ему подать, а руки-то кверху, а сама-то я в сторону... Порхаем с дочкою, ровно перепелки... И слова-то выговорить не могу: тра-ла-ла — только всего; хоть возьми вот топор да отсеки язык — все то ж самое! А Пилат-то наш заприметил это. «Что это, говорит, родственники мои, не вижу я в разговорах ваших настоящего порядку?.. Чем вам этак-то друг друга с ног сшибать, лучше же ты, теща, предоставь нам штоф вина»... Я было ему: «На что вам, Максим Петрович, эдакую прорву вина? (вежливо стараюсь)... Вы, говорю, неравно с этакой пропасти начнете над нами мудрить...» — «Намерение, говорит, мое такое, чтобы штоф»... Пошла я, горюшко мое, принесла... Пьет он вино-то и дочку мою потчует. Никогда вина в рот не бравши, очень ее растомило... «Сем, говорит, Максим Петрович, я прилягу, растомило меня»... Ляг она, да и засни. Как он, сударушка моя, увидал ее тихий, приятный сон, тую ж минутою хвать ее — и давай... «Ты, говорит, меня не любишь... Муж пришел, пять лет не видались, а она только приткнулась к постели и захрапела»... Я бросилась разнимать, говорю: «Что вы, что вы, Максим Петрович! вы этак посуду перебьете... (вежливо с ним стараюсь...) тут, говорю, на десять целковых добра», — а он-то ее...

Старуха опять повторила жест полоскания белья и замолкла, всхлипывая.

— Наутро, родимушка, ушел он в деревню, к своим... Через неделю приходит. Поцеловались они честь-честью; думала я — на добро этот поцалуй, ан вот что вышло... Сел он на кровать и говорит: «Я, говорит, супруга моя, беру вас в деревню... с собой жить, чтобы по мужицкому положению». — «Нет, — говорит дочь моя, — невозможно этого сделать; потому — у меня свое хозяйство... Каков, говорит, есть на сем свете грош, — и того я от вас, Максим Петрович, не видала; кровными трудами копила, мне этого не бросать». — «А ежели, говорит, я посконного масла набил на пять целковых и картофелю запасил — это как? Могу я бросить или нет?» — «Воля ваша! отвечаем: у нас посуда... теперь, ежели ее продать, что за нее дадут? Окромя того, мы отроду не едали вашего

свиного кушанья... Будьте так добры!» — «Ну, а ежели, например, я набил посконного масла?» — «Воля ваша... У нас тоже утюги, тарелки...» — «Не бросать же мне!» говорит. «И нам тоже не бросать!..» Тут мы и стали; он говорит: «У меня то, другое: — масло, веревки...» А мы говорим: «И у нас тоже, батюшка, вилки, ложки...» Он опять, значит: «Картошки, дрова, сбруя...» А мы своим чередом: «Утюги, мыло, доски...» — «Не бросать же мне?» — «Да и нам тоже не из чего бросать!..» — «Ну, а ежели, говорит, я возьму да по-свойски поступлю, например?» — «Воля ваша! — у нас посуда!..» — «А ежели я возьму да не помирволю?» — «Не бросать же нам. .». Тут, милая моя, он поднялся и сделал с нами, с женщинами, шум... Ах, и очень большой шум сделал!..

В это время на улице раздался крик и плач; рассказчица выбежала на крыльцо будки и увидела следующее: посреди дороги шел Мымрецов и увлекал за собою прачку, дочь рассказчицы; Понтийский Пилат, то есть солдат, шел сзади жены и, подталкивая, говорил:

— Нет, ты свинова кушанья не едала — отведай! Опробуй его, матушка!

— Дитю-то! дитю-то у него отымите! — вопияла прачка.

— За что ж дочку-то? дочку мою за что? — не понимая, как все это случилось, кричала рассказчица...

— Разговар-ривать! — отвечал на все вопросы и просьбы Мымрецов, зацепивший прачку потому, что она первая подвернулась ему под руки; он, должно быть, знал, что у каждого из них своя посуда, и, следовательно, кого ни схватить из них — все одно и то же.

III

Совершив этот подвиг, Мымрецов направился было в будку, чтобы озаботиться насчет тютюну, но едва он отворил туда дверь, как тотчас же получил новый адрес шиворота и торопливо отправился за ним; будочница выслушивала уже новую историю; рассказывала ей какая-то весьма полная дама; под ковровым платком, покрывавшим ее плечи, казалось, покоился какой-то битком набитый чемодан; но в сущности чемодана там не было

никакого, а была массивная грудь дамы; волоса ее были причесаны именно так, как чешется дворничиха Дарья, желающая быть дамою и Дарьею Андреевною: прядь волос с середины лба загибалась к затылку, где торчала коса величиной с пуговицу; по бокам этой пряди волоса падали на виски и уши, наподобие каких-то блинов или ушей лягавой собаки; в такой рамке заключалась конусообразная физиономия с маленьким носом и окороками вместо щек. Дама эта имела собственное «заведение» и хозяйство, и так как деятельность ее совершалась преимущественно в области драк и буйств, то она была коротко знакома с будочницей и иногда делала ей сюрпризы. На этот раз дама принесла кусок сахару и щепотку чаю, завернутые в бумагу. Обрадованная вниманием дамы, будочница из всех сил суетилась около самовара, который изрыгал клубы дыма, и в то же время слушала историю, которую не спеша рассказывала дама.

Дело в том, что дама была очень оскорблена отсутствием в людях совести: одна из девушек, которыми держится хозяйство дамы, несмотря на ее благодеяния, вроде чая внакладку, никак не хотела оценить всей глубокой доброжелательности своей опекунши: она не слушала ни одного ее совета; если, например, дама доказывала, что, «чем сидеть сложа руки или улизнуть куда-нибудь на извозчике, — лучше отправиться с салазками на речку и перестирать собственное белье», — то неблагодарная словно и не слыхала этих слов и более старалась удрать хоть в ближний кабак, только б не «спокойно» сидеть среди хозяйства дамы. Непокорность и дебош этой женщины достигли, наконец, того, что она совершенно исчезла от дамы и вот уже почти две недели скрывается в жилище горького пьяницы, портного Данилки.

Во время этих рассказов обе дамы не переставали ни на минуту наливать себя кипятком, обливались ручьями пота, обтирали мокрые и толстые шеи какими-то тряпками и говорили:

— Ну и где же, позвольте вас спросить, — говорила дама, — где же теперича у людей эта совесть?

— Степанида Петровна! — с глубоким сочувствием ответствовала будочница, захлебнувшаяся дареным чаем: — красавица ты моя! Ну где же, например, скажите мне на милость, это совесть у людей, я все думаю? ..

А между тем именно во имя этой исчезнувшей совести действовала та неблагодарная женщина, которая покинула благотворительную даму и приютилась у портного Данилки.

Это было две недели тому назад.

В одну темную ночь Данилка, «урезавший» сверхъестественную муху, шатался по пустынным и сонным улицам с какой-то крайне убогой женщиной под ручку и вместе с нею оглашал спящий город самыми удалыми песнями. В песнях главным образом преобладал элемент самого скорого отъезда из здешней грустной жизни — куда-то... «Мы наймем себе курьерских, развадчайных лошадей», — пели гуляки темною ночью и шатались по темным улицам.

Наутро Данилка открыл глаза, увидал свою убогую каморку и еще более убогую подругу. Узнал он также, что вместо головы у него на плечах пудовая гиря и что опохмелиться нет никакой возможности. Все это заставило его с грубостью отнестись к приятельнице.

— Это почему такое здесь? Ко дворам бы пора...

— Чуточку только погреюсь, Данил Гордеич. Уйду-с...

— То-то, поспешать бы...

— Уйду, уйду-с! Растоплю печку и побегу...

— Ну, и более ничего, с богом... только всего...

Два полена, выглядывавшие из печки и покрытые снегом, скоро затрещали, в конуре Данилки запахло дымом, пробивавшимся сквозь дырявую печь. Подруга сидела на полу и грелась, ежась плечами.

— Сию минуту уйду-с... — шептала она. — Не побеспокою... Озябла, признаться, бегала... Вам, Данил Гордеич, опохмелиться бы хорошо теперече...

Данила Гордеич, убежденный, что опохмелиться нечем, сурово смотрел на подругу.

— Это мое дело... Боле ничего!

— Право-с... Я, признаться, сбегала... Не угодно ли? .. Это вам для просвежения...

Оборванная женщина подсела к нему и поднесла стакан вина.

— Это ты где же деньги-то взяла? — не изменяя суровости, сказал Данило. — Ты, гляди, по карманам где не нашарила ли?

— Я, признаться, точно что... ну, нету у вас по карманам ничего... Да вы не бойтеся. Я чужого отроду не бирала... Вот щеколду у вас в жилетке нашла, вот она... Извольте. Это вы не беспокойтеся. Кушайте.

— То-то... Вы мастера по чужим карманам нашаривать...

— Нет, нет!.. Где уж нам, голубчик, на чужое льститься... На свои, признаться, двенадцать копеек сбегала... Кушайте... Оно освежает...

— Вы это мастера облущить кавалера, — сказал Данило Гордеич и выпил. Выпил он, почувствовал просвежение и продолжал молча смотреть на подругу.

— Все-то разворовано, раскрадено, — говорила она шопотом, прибирая какие-то гвозди и палки: — ишь натекло с окошка-то!.. Аль это у вас некому стену-то заткнуть, ишь несет оттуда, ровно из погреба...

Так шептала она, изредка прибавляя: «сейчас, сейчас, батюшка, уйду», — и Данило Гордеич почувствовал, что в этом прибиранье, в этой заботе о просвежении нету никакого желания нашарить в карманах и обокрасть... Думал, думал он, молчал, соображал, но в голове его ничего путного не происходило: не являлось ничего такого, что было ему очень нужно теперь, что ему именно теперь хотелось узнать... Но зато в груди его что-то поднималось и буровило...

— Ну, покорнейше вас благодарю, обогрелась... теперь...

При этих словах грудь портного с боков сдвинуло что-то.

— Ты! — крикнул он весьма громко.

— Что, голубчик?

— Оставайся!

Женщина изумленно посмотрела на него.

— Не ходить?

— Совсем оставайся... Не пущу! Боле ничего!

Данило Гордеич повернулся было спиной к своей уходившей подруге, но тотчас же вскочил и заговорил:

— Да что там? вот разговаривать!.. Беги-ко за водкой... полштоф!

— Не прогонишь? — чуть не рыдая, говорила женщина. — Голубчик!

— Я говорю, беги!.. Х-хе... Да я их, чертей... Ну-кося, вот эту штуку захвати в кабаке-то оставить.

— Чужая ведь! Данил Гордеич — заказная!

— Расшевеливайся! Заказная! Я их! погоди!.. Да сем-ко я с тобой... Что там!

С этих пор настало новое пьянство, пропивалась заказная работа, пелись песни, постоянно слышались слова: «чорт их возьми!», «погоди!», «я их!»

Пьянство это дышало какою-то надеждою и не носило того тягостного оттенка, с которым Данилка пьянствовал до сего времени. Новые чувства, расшевелившиеся в нем, выражались как-то странно. Иной раз он вдруг задумает что-нибудь открыть своей подруге, попытается что-то сообщить и скажет: «Чуешь ай нет, что я говорю?» Потом схватит ее за руку, сожмет ее крепко-накрепко, скажет: «так аль нет?», хлопнет со всего размаха своей ладонью по ладони приятельницы, словно барышник на конной, потом опять начнет ломать ее пальцы в своей руке и заорет:

— Пон-ни-маешь ай нет?

— Понимаю, Данил Гордеич, понимаю-с!

— Ну, и боле ничего! Так я говорю?

— Так, так...

— Ну, и шабаш! Только всего!

Пропивание чужого добра шло довольно долго. Подруга Данилки, знавшая, что остановить этого пропивания невозможно, заботилась только о том, чтобы друг ее не разбил себе головы: остальное «наживется».

К концу двух недель после первой встречи настала в конуре Данилки тишина и труд...

— Что за шум! — заговорил Мымрецов, появляясь в одну из таких необыкновенно тихих минут. — По какому случаю дебош?

Мымрецову не могло даже представиться, чтобы не было буйства там, где появлялся он.

— Потому, мы не допущаем, чтобы, например, дебош! — продолжал он, хватая Данилку.

— Кузьмич, друг! — завопил портной: — что ты?

— Не бунтуй, бунту не заводи! И теперича женский пол, ежели...

— Женюсь, женюсь, брат! в закон беру, аль ты очумел? за что ж в часть-то? в закон! хоть сейчас под венец.

Мымрецов выпустил шиворот Данилки и остался среди конуры в большом недоумении.

— Что ты? — продолжал Данилка укоризненно. — А я было в намерении моем на брак мой тебя хотел потребовать, но ежели ты меня в поволочку...

Долго Данилка укорял Кузьмича в несправедливости его желаний и развивал планы насчет будущего супружеского счастия с Аленой Андреевной, которой он задумал передать на руки свое добро и хозяйство нажитое. Речи его были до того сильны, что Мымрецов не осмелился снова посягнуть на свободу Данилки, а только прибавил:

— А все, Данило, надо бы тебе по делам-то в части высидеть... Потому, дебош оченно большой ты затеял. Оченно большой шум!

IV

Надо сказать правду, что случаи, подобные вышеприведенному, когда шиворот, попавший уже в руки Мымрецова, неожиданно исчезал из них, бывали с нашим героем довольно часты. В такие минуты он решительно не мог ничего сообразить и предавался глубокому унынию.

— У нас этого нельзя, — бормотал он, возвращаясь домой, например, от Данилки: — мы не дозволяем этого, чтобы вырываться... Так-то.

Течение времени, конечно, успокоивало его, но бывали моменты до того потрясающие, что потом нужно было много удачных тасканий, чтобы привести Мымрецова в нормальное состояние.

Вот, например, однажды темным зимним вечером в будку просунулась голова сыщика.

— Живо! Собирайся! — крикнул он Мымрецову и снова захлопнул дверь, чтобы созвать еще двух подчасков; сыщик торопился по случаю одного важного дела, в котором принимали участие многие уездные сановники: вечером того же дня у почтовой гостиницы сзади одного дормеза был отрезан каким-то вором чемодан. Надо было разыскать вора.

Мымрецов скоро был готов и вышел из будки, чуя поживу; на улице его ожидали сыщик, сидевший в санях, и два солдата.

— Куда ж нам натрафить? — спросил сыщик.

— Теперь, вашескобродие, надо бы нам в ночлежные дома утрафлять, — сказал солдат.

— Да застанем ли кого? Прохоров! есть там кто, как ты думаешь?

— Надо быть, вашескобродие,— отвечал Прохоров.— Потому к полночи там этих мошенников самая густота собирается...

— Главная причина — на след-то попасть...

— Так точно, вашескобродие! — присовокупил Прохоров.

Воинство двинулось в путь; ночь была ветреная; оголенные деревья стучали сучьями, между которыми свистал ветер. Ночлежный дом, куда пошли сыщик и солдаты, представлял ужасающее зрелище. Это был длинный старый дом, в котором когда-то жили господа-бояре или богатые купцы; теперь этот дом сгнил, обвалился; вместо ворот стояли одни притолоки; осевшая посредине крыша выперла полукругом всю стену, смотревшую на улицу; ставни днем и ночью были заколочены, и сквозь щели в них виднелись гнилые решетки рам без стекол или стекла, напоминавшие торговую баню; внутренность этого жилища была не менее ужасна: повсюду в полу виднелись глубокие ямы; в разных местах подпорки подпирали нависшие книзу потолки, ободранные стены были голы и украшались только гирляндами пакли, торчавшей между бревен. Черный ночник, накоптивший на стене длинную черную полосу, загибавшуюся на потолок, колебался от ветра, дувшего отовсюду, и едва-едва освещал массу храпевших и охавших людей; все они лежали вповалку на полу; тут виднелись солдатские шинели и деревянные ноги вместо настоящих; мелькали узлы богомолок, перевязанные покромками; виднелись мешки плотников, тряпье, лохмотья. Появление будочников произвело некоторое волнение; все закопошилось и вдвойне заохало. Несколько солдатских шинелей исчезло, укатилось в соседние, еще более холодные и темные комнаты. Среди ночлежников если не все, то большинство были люди вовсе не подозрительные; так называемых «пешковых» не пускают по ночам на постоялые дворы, и этим безвыходным положением пользуются ловкие люди: они нанимают за бесценок какую-нибудь развалину и заго-

няют туда одиноких скитальцев, собирая с них деньги за ночлег. Несмотря на это, будочники бесцеремонно относились ко всякому из этой оборванной и одинокой толпы.

— Разговаривай! — кричал Прохоров, самый опытный в сыскных делах. — Это что за узел?

— Сухарики, отец, сухарики, батюшко... хоть всеё обыщи...

— Сухарики! Ну-ко, ну... куда суешь-то?

— Куда мне совать! Господи-батюшко!

— Говорю, подай! Это откуда платок? Э-э, брат! Да ты кто такая?

— Странница, отец родной, скитаюсь.

— Покажи-ка вид... Э-ге-е! Возьми ее... эй!

— Голубчики!

— Покрепче приструни! Слышишь! Это что?

— Соль, соль, отец родной!

— Повернись. Ну-ко, встань, поворачивайся! Ты кто такой? Вид есть?

— Плотник, рабочий.

— Вид покажи!..

— Ды он у меня, вид-то...

— Эй! Привяжи его к богомолке... там разберем!

Все население ночлежного дома встало с своих мест, закопошилось, перетряхивало тряпки, лохмотья, охало... Повсюду слышались слова: «Хоть всеё обыщи... господи...», и тут же раздавалось: «Эй, ты! Ну-ко, повернись... Отставно-ой? Нет, погоди!» и т. д.

— Что зарылся-то? у меня, брат, прижукнуться мудрено! — произнес Прохоров, останавливаясь около одного спавшего человека. Это был дряхлый старик, почти раздетый и седой, как лунь; из-под дырявого кафтанишка, которым накрылся он, виднелись две маленькие шершавые детские головки.

— Господи помилуй!.. — зашептал старик, поднимаясь.

— Чешись! — перебил Прохоров, — разговаривай!.. Вид покажи...

— Есть, есть... Пашпорт есть! — кротко и торопливо шептал старик, ощупывая свое логово. — Есть.

— Это чьи дети? Покажи-ко узел...

— Внучки, внучки... батюшка. Погорелые! Было все, стало — нету ничего! Дочернины детки-то!

— Узел чей?

— Чужой узелок... чужой! Нету узлов... Ни узлов, ни-и... ничего нету!.. Побираемся... где узлам быть, постелиться нечем!.. Нету...

— Пашпорт!

— Есть, есть!.. Это есть!.. уж где разутым, раздетым.

— Он пьяница! — раздалось вдруг из толпы ночлежников... — Вы ему, ваше благородие, не верьте... Ему добрые люди помогают, и то он не имеет своих правилов...

— Помогают, батюшко, помогают!.. — так же кротко отвечал на это старик. — Слепыми полушками помочь оказывают..

— А тебе мало? — слышалось в толпе. — Твоего внучка-то намедни барин одел, а ты снял с него одежду-то... где она? Пропил!

— Проел я одежду, кормилец, — не пропил! Дай бог барину — точно наградил... И франтовитым одеянием даже наградил... Ну, проел я его! Да! Нету ничего...

— Нет, вы бы его, ваше благородие, в частный дом... Потому, смущение от него большое... Вы бы его, вашбродие, сцапали бы.

— Нельзя, голубчик, нельзя! . — кротко продолжал старик, глядя в землю... — Невозможно этого... Не за что сцапать-то! И шиворота-то у меня настоящего нету... Не уймешь.

— Вы ему, вашескобродие, не верьте! — прибавил голос из толпы... — От него и на нас мараль идет.

Но нельзя было не верить старику: у него действительно не было порядочного шиворота... Мымрецов, высвобождавший руку из правого рукава, чтобы соколом налететь на пьяницу, при последних словах старика совсем остолбенел и потерял сознание. Таким образом, благодаря отсутствию шиворота старик остался нетронутым в своем логове, с своими дочерними детками, с холодом, голодом и правом на побирушество.

Да, бывали, бывали подобные происшествия с Мымрецовым. Почему это он не торопится и не суетится, как обыкновенно, а не спеша, вяло, нехотя идет на призыв?

Это верный знак, что нет места его теории в предлагаемом деле.

Вот его пригласили на пивоваренный завод, где один рабочий, испуганный рекрутчиной, бросился в котел с кипятком и обжегся. Мымрецов молча и угрюмо смотрит на охающего и распухшего мужика и ясно видит, что некуда его тащить. Желая успокоиться, он дает оборот своим мыслям: «нельзя ли его по крайней мере не пущать?» Но и это оказывается невозможным. Чтобы окончательно не скомпрометировать себя перед толпой народа, Мымрецов, наконец, решается объявить свое суждение:

— Ну, что ж зевать-то? По какому случаю шум?.. Уж ежели ты, к примеру, влетел в котел, следственно, ты здорово, например, обжегся... Будем так говорить... Чего ж зевать-то?

Затем он ушел, а умирающий продолжал лежать и охать...

Бывали такие случаи.

А в доказательство того, что судьба вознаграждала Мымрецова за эти страдания, вернемся к сыщику.

— Теперь нам надо, вашескобродие, поспешить, — говорил ему Прохоров, выбравшись из ночлежного дома. — Попусту много промешкали... Надыть нам поторапливаться, а то вор-то, поди-ко, где уж щелкает...

Но вор, впрочем, недалеко ушел от них. Он притаился в лачужке в конце города, в овраге; здесь жила его жена с ребенком и какой-то старый солдат-калека. Чемодан был давно распакован; в нем оказалось роскошное детское белье и разные туалетные вещи.

Мало было поживы вору от этого добра. Роскошь его слишком приметна для того, чтобы не навести в этой бедной стороне на вопрос: «где ты взял этакое?» Тем не менее похититель кое-чем воспользовался и успел спустить. При разборке чемодана старый солдат получил в подарок ножик из слоновой кости и коробку пудры с золотыми украшениями. Когда сыщик с солдатами подобрался к лачуге, внутренность ее была ярко освещена; на полу, около развороченного чемодана, спал, закрывшись, человек — это был вор. Солдат сидел на лавке и повертывал в руках то ножик, то коробку, ухмылялся и бормотал:

— И духовитая, провалиться ей! Пойду в свою сторону — снесу... Надумают же! .. Эва, ножик-от, тупой. Ни то им резать, ни то шут его разберет... Песок не песок, а поди, чкнись укупить! ..

Старик нюхал коробку, качал головой и ухмылялся.

Прямо против окна стояла женщина, высокая и красивая, на руках ее был мальчик не больше году от рождения; на нем была надета одна из роскошнейших краденых рубашечек, не закрывавшая, впрочем, ни грязных рук, ни ног, ни чумазого детского личика. Мать подбрасывала его к потолку, тормошила и, слегка щекоча ему грудь, говорила:

— Ну, чем не графский барчонок? Ну, чем ты только не красавчик, чем не ангелочек?

— Отворяй! — загремев кулаком в окно, гаркнул Прохоров.

В лачужке заметались; солдат начал торопливо прятать пудру в сапог; спавший человек вскочил, бросился в дверь; но его встретил Мымрецов.

— Вот он — ты! — сказал будочник.

— Вот он, вот он! .. — бессознательно бормотал вор, остановившись.

Скоро Мымрецов был удовлетворен.

V

Теперь необходимо обратить внимание на самую будку, так как деятельность Мымрецова, несмотря на довольно большое однообразие, в сущности решительно неисчерпаема; всякий шиворот непременно совмещает в себе целую драму, а пересчитать эти драмы — нет физической возможности. Поэтому-то мы и обратимся к нравам самой будки.

Кроме Мымрецова, его жены и случайных посетителей, иногда проводивших здесь тягостную ночь, в будке были еще постоянные жильцы; это были бедняки, не имевшие места, где бы приклонить голову. Если у них было что перекусить и выпить, они делились этим с будочниковой супругой и старались не запруживать будку своими нищими телами; в минуту безденежья и бесхлебья они прямо шли в будку и говорили будочнице:

— Авдотья! Мы к тебе...

— И когда только это провал вас возьмет! — гневно отзывалась будочница, но не гнала их, во-первых, потому, что добрые сердца бывают и в храминах и в хижинах, а во-вторых, потому, что от жильцов частехонько перепадали на ее долю довольно вкусные и жирные куски пирогов. Жильцы ее принадлежали к артистическому классу «мастеровщины» и составляли захолустный оркестр. Состав и свойства этого оркестра довольно новы; чтобы познакомиться со всем этим покороче, мы должны зайти в будку в один из дней зимнего мясоеда.

В печке трещат дрова; в теплом и гнилом воздухе висит полоса дыма и слышится довольно плотный букет махорки; будочница орудует ухватом; Мымрецов занят отдыхом и молча поплевывает в угол. В это время в будку входит старичок-мещанин; сначала он крестится, потом кланяется хозяевам и, стряхнув с рукава и воротника снег, говорит будочнице:

— Что, любезная, здесь Иван, музыкант, проживает?

— Это который на скрипке?

— Этот.

— Здеся... Да шут их знает, шатуны этакие... их, поди, с собаками не сыщешь...

При этом будочница подняла ухват кверху и постучала им в потолок.

— Сейчас! — глухо отозвались с потолка.

— Аль они у вас под крышей зимуют? — спросил мещанин.

— А то где же? Тут, чай, сам видишь, негде повернуться двоим... А иной раз пьяниц наволокут: хоть возьми, завяжи глаза да беги вон.

— Так, так, — подтвердил мещанин.

— А что ж, думаешь, под крышей? — продолжала будочница. — Там им, погляди-кось, какое тепло-то! .. Труба горячая, что твоя лежанка...

— Так, так! Мместо духовитое... Труба дает теплый дух...

— Там им за первый долг валяться-то! ..

— Это справедливо! место хорошее... место миловидное! ..

Мещанин сел на лавку, погладил свои седые волосы и огляделся.

— Мешкают они что-то, — сказал мещанин, помолчав.

— Товарищей скликают. Что вы свадьбу, что ль, затеваете? — спросила будочница.

— Да что будешь делать, матушка!

— Кто такие?

— Кушаковы, мещане... здешние жители. Вот внучку просватал за кондитера Ваньку...

— Это хромой-то?

— Хром, матушка, точно что хром!.. Ну, дохтора обещались оттянуть эту хромоту-то... Беспременно, говорят, оттянем в другое место... И примочку дали, дай бог здоровья.. Примачивайте, говорят, через два часа по столовой ложке...

— Ну, дай бог!

— Уж мы и сами бога молим... К спине бы ее, хромоту-то...

— В спину? — спросил Мымрецов, неожиданно услыхав слово, так близко подходящее к шивороту.

— К спине, к спине, друг! Потому, надо так сказать: которая это нога кондитерова, то она более двадцати годов изувечена; ну, мы имеем упование на господа...

— Пьет-то он дюже! — с соболезнованием проговорила будочница. — А уж и девочка ваша!

— Девочка, одно слово! Рукоделью обучена...

— Первая по здешним местам девушка! Уж и мастерок! . ах!

— Ну, да ведь где, матушка, непьяного-то возьмешь? Кто не пьяница-то по нынешнему времени?

Мещанин вздохнул.

— И тяжка же наша женская часть! — заговорила будочница, смотря в печку. — Живет девушка невинная, чувствует про себя всякую любовь, а наместо того: — хвать! да за пьяницу... На увечья да на каторгу!..

— Родная! — грустно сказал мещанин. — Нету непьяниц-то, нету их! У кондитера, у Ваньки, по крайности сейчас пятьдесят целковых есть! Да платье, погляди-кось, какое невесте подарил! Только что в двух местах маленько тронуто, а то все чистое, можно сказать — муре! Так-то-ся!.. Санта-дубовое обещался — случай есть... Вот и гляди на него! каков он кондитер-то.

При этих словах будочница замолкла. Мымрецов, слушая эти разговоры, начал как-то таинственно покряхты-

вать, пошевеливаться, и будка неожиданно услыхала следующую речь:

— Ну, тоже, — не спеша начал Мымрецов: — и мужская часть через женскую часть не то чтобы очень благополучно хлеб свой ела...

Тут он остановился, тряхнул головой книзу, завернул лицо в сторону и продолжал:

— Тоже и нашему брату само собой по башке от дамского пола влетает...

С этими словами он вдруг направился к двери.

— Да как вас не бить-то? Как вас, кровопийцев наших, не бить? — загорячилась будочница.

— Да, брат! влетает препорядочно-хорошо! — заключил Мымрецов — и скрылся на улицу.

В это время в будку вошел человек лет тридцати, с доброй, но как будто заспанной, отекшей физиономией. Он был в сером армяке с широким квадратным воротником, лежавшим на спине; на шее виднелся ситцевый платок, туго завязанный крошечным узлом. Армяк был подпоясан кушаком; походил он на дьячка. Человек этот был застенчив и робок; добрые глаза мигали часто, словно стыдились чего. За ним вошло еще двое.

— Доброго здоровья! — сказал армяк мещанину мягким и заискивающим голосом.

— Здравствуй, друг! Ты Иван-то?

— Мы-с... Музыка требуется?

— Да, брат. Вот свадьбу затеяли...

— Дело доброе!.. Дай бог час!.. Конечно... Вам один инструмент требуется?

— Да хоть и поболе — все одно. Что уж...

— Да на что вам поболе-то-с? Конечно, что звуку более — ну настоящего увеселения не будет-с... Поверьте, так! Нам это дело вот как известно... Тепериче, например, труба или опять генералбас — через них только рев поднимается на балу, ну к танцу он не трафит; танец требует аккурату, чтобы нога действовала в существе, но не то, что ежели мы забарабаним очертя голову! В то время может произойти нивесть что...

— Это так! — подтвердил мещанин.

— Поверьте, так! Мы на своем веку поработали довольно... Мы знаем-с. Нет лучше, как скрипка: тихо, чудесно... А за ценой мы не постоим...

— А за ценой мы не погонимся! — прибавили два другие лица.

Костюмы этих лиц не отличались доброкачественностью. Один из них, худенький и сухой человек, лет сорока, был в чуйке, старался быть гордым и держать себя в порядке. Другой был в сюртуке, воротник которого терялся в каких-то тряпках, намотанных на шее. Сюртук был засален и застегнут на верхнюю и нижнюю пуговицы; боковой карман отдувался. Человек в сюртуке имел широкое рябое лицо, выражавшее равнодушие и весьма покойное состояние духа; лицо это очень походило на тарелку с кашей, густо намазанной маслом.

— Что же, — спросил мещанин, — и эти молодцы по музыкальному мастерству?

— Н-нет-с! — умильно отвечал армяк. — Нет-с, они этому не учены...

— Мы не учены...

— Мы только что *вместе ходим-с!* — продолжал армяк. — У нас, значит, *общее,* собственно по бедности. Так как, оставши без куска хлеба, — куда я денусь? которые были по оркестру товарищи, еще при барине, — тоже разбрелись... Струменту не было... с рукой тоже не хотелось, а кормиться надобно... Ну вот попался добрый человек, Петр Филатыч, дай бог им здоровья, инструмент свой доверяют...

— Это точно, что справедливо он говорит! — подавшись вперед, произнес человек в сюртуке. — Потому эту скрипку мне один помещик подарил, как, значит, из послушников монастырских выбыл я...

— Каким же манером в монастырь-то угодил?

— Да собственно таким манером, что ружье у одного приятеля моего было... — спокойно объяснял сюртук... — Раз он, приятель-то, баловался-баловался этим ружьем — «эй, говорит, берегись, застрелю!» Шутил. Я думаю, ты шути-шути, а тоже пулею какою двинешь, не оченно чтобы превосходно будет. Взял да и заслонился рукой. А он как брякнет! Да два пальца мне и отшиб... Извольте посмотреть! Ну, судить. Что, что такое? Ну выгнали нас, исключили... В училище духовном был я в ту пору... Входил я с прошением, так и доступа мне не было... Начальник случился робкий, увидал эту руку-то, например,

в крови — «уведите его, говорит, он меня убьет!» Так я и пошел за разбойника... Безрукий человек, куда ему? Думал, думал, и вступил в обитель.

— Да, да, да!.. Ну а из монастыря-то отбыл?

— А из монастыря я по искушению отбыл... Мысли разные смущали.

— Бесы! — шепнул армяк и кашлянул.

— Ну их!.. Что ж, — неохотно произнес рассказчик.— Гласы были: «Что ты, говорит, измождаешься?.. Лучше же ты утрафь отсюда... Птицы небесные, и те, например...» Ну, я и того... Искусился, да и ушел. Через соблаз. А оттуда, бог дал, к помещику одному мелкопоместному, детей учить: читать, писать... Только помещик-то этот оченно пил. Придерживался. Капиталу настоящего не было: душ всего шесть да собака борзая, а детей куча, да и вино это самое... Я в то время ничего это не одобрял, да и посейчас не лют; так, балуюсь. Ну а тогда в компании-то с хозяином и начал... Помаленьку да помаленьку... Бывало, жена-то воет-воет, а мы — знай свое... В полночь рыбу затеем ловить или в галок из окошка стрелять, это у нас во всякое время коротко и ясно. Сколько раз тонули, чуть детей не перестреляли, — все сходило; а тут вдруг и случись беда... Напились мы с ним, с помещиком-то, однова, да и поехали вместе. Дорóгой начнись у нас спор, слово за слово, я рассерчал да как цапну барина-то по голове!

— За что?

— Да это мне и тепериче неизвестно... Цапнул я его, а он и покатись, покатился, да и помер... Ну дело затеялось, меня в тюрьму... После этого, как, значит, я себя на отделку замарал, — нету мне пропитания: никто не берет, боятся: «он, говорят, убьет!» Некуда мне деться; взялся за скрипку, думаю: обучусь... Жена помещикова еще скрипку-то не отдавала: «Ты, говорит, мужа убил... Нам самим есть нечего... Нам самим скрипка нужна...» Не отдает! Ну, кое-как я ее отбил, да вот и пускаю в прокат... Скрипка хорошая...

— Скрипка хорошая! — подтвердил серый армяк, — только что щелочка...

— Ну что там щелочка? — возразил сюртук. — Авось я знаю... Кажется, своими руками ее заклеил.

— С этими щелками да скрипками, — прибавила будочница, — вы у меня, черти этакие, целое полотнище из юбки выдрали! .. Ох, музыканты!

— Щелочки той и помину нет, что ты! — продолжал сюртук.

— Да что ж я? — робко зашептал армяк... — Али я что-нибудь?

— Это, брат, скрипка итальянская!

— Я говорю, скрипка превосходная, что вы! Петр Филатыч? Так вот-с, — обратился армяк к мещанину: — скрипка ихняя, а струны Иван Ларивоныч от себя держат.

— Моя часть — струна! — сказал сухой и сердитый человек... — Мы, милостивый государь, струну держим дорогую, но не какую-нибудь собачью дрянь, позвольте вам заметить. Потому, нам нельзя как-нибудь! Ежели я только что и дышу струною, так уж я должен, чтобы она в полном звуке была... Так или нет-с? Положим, что я теперь во временной нужде; потому мне надо господина Приглотова дождаться, я у него сейчас буду тыщу рублей получать... Я его на руках своих вынянчил, он не забудет старика, потому это против бога... А что с этими пьяницами мне долго не возиться, — это я вам верно говорю...

Старик с гордостью и даже ожесточением произносил свою речь, презрительно посматривая на своих товарищей.

— С этими пьяницами не нажить мне долго. Я этого не люблю... Я знаю порядок.. Я этим не нуждаюсь..

Гордость и презрение, слышавшиеся в этих словах, почти обидели мещанина, тоже с гордостью приготовлявшегося устроить трагическую свадьбу с музыкой.. Среди раздраженной речи поставщика струн мещанин поднялся и сказал:

— Ну так как же?

— Да как прикажете! — снова заговорил армяк. — Сейчас — сейчас готовы; завтра — завтра. Как угодно.

— Ну там скажемся. Ладно. Только чтобы уж аккуратно было... Свадьба хорошая...

— Само собой! .. Так мы трое, значит, и прибудем-с. Я для музыки, собственно для искусства, ну, а они так... Пирожка там, чего-нибудь...

— Мы для пропитания! — прибавил сюртук.

Мещанин сторговался и ушел.

VI

Спустя несколько времени происходила свадьба.

В запотелые стекла любопытные зрители могли видеть внутренность лачуги, битком набитой гостями. Среди всеобщего молчания суетились какие-то женщины, поднося водку и поминутно раскланиваясь, в отдалении слышались звуки настраиваемой скрипки и мелькала фигура ее владельца с пирогом в руке и за щекой. Видно было также, как полупьяный кондитер, сидя на диване, притягивал к себе молодую жену, старавшуюся уйти от него; упругий стан ее неохотно покорялся его ласковым объятиям, и грустное лицо чуть не плакало, но все-таки улыбалось. Невеста, наконец, вышла в другую комнату и залилась слезами; несколько пожилых женщин принялись ее утешать.

— Что ты? что ты, родимая? Ты подумай, какой человек... Одно — кондитер...

— Больной... и нога... увечный!.. И ухо болит!..

— Ухо? Ах ты, касатка моя! Да ты пройди весь свет — такого уха не найдешь!..

— Нет, нет...

— Ну, а ежели и болит, эко беда какая!.. Уж и заболеть нельзя! Скажите на милость!.. Ты бы и не думала об этом... А уж ежели не нравится, возьми да отвернись...

— Отвернись, а он изобьет!

— Ни-ни-ни! Ни боже мой!.. Не такой человек! Просто-напросто попроси у него позволенья, тихо, благородно: «Позвольте, мол, Иван Капитоныч, с краю мне... Уж знаю, мол, что это непорядок! ну, что будешь делать — приучена!.. И сама, мол, не рада, ну не могу!..» Ни-ни-ни!.. Слова не скажет! что ты? Ведь ишь ты что... Ах ты! голубка моя! уж и смех же с вами, с девушками...

В это время серый армяк с отчаянною быстротою заиграл какую-то пьесу. Скрипка и струны были не особенно звучны: они напоминали не звучное и не стройное, но визгливое и раздирающее душу причитанье старухи.

Общество расшевелилось и зашумело.

— Эй, бабы-ы! — кричал подгулявший кондитер. — Жену чтоб сюда!.. Супругу!.. Это почему такое?

Прислушиваясь к свадебному бушеванью, Мымрецов стоял на крыльце будки, рядом с алебардой, и, должно быть, ей поверял свои одинокие разговоры.

— По какому случаю шум? — бормотал он. — Мы не допущаем, ежели, например...

Но мы уже знаем, что̀ «не допущает» Мымрецов, и не будем потому досказывать историю свадьбы, которая и женихом, и невестой, и драматическими солистами оркестра, кажется, сулит ему большую практику в самом скором будущем.

СПУСТЯ-РУКАВА

(Из провинциальных заметок)

I

Певцов был молодой человек, но молодость его постоянно отравлялась томительным нытьем о собственном положении, томительным ожиданием деятельности и в то же время полным бездействием. Где бы он только ни бывал, странствуя и в городах и в деревнях, — везде, и особенно в столицах, Певцов проживал у каких-нибудь родственников, собирался что-то начать, заняться основательным изучением чего-то, задумывал держать экзамен то в то, то в другое учебное заведение, бесконечно тосковал неопределенным положением в качестве приживальщика или дармоеда тетушкиных хлебов, курил множество папирос и шатался без всякого дела; живя, например, в Москве, он целые дни вялыми шагами перебирался с бульвара на бульвар, угрюмо смотря на проходящих, останавливался перед толпой народа, начинал вслушиваться, но тоска гнала его дальше, и вот он где-нибудь в Кремле, заложив руки назад, смотрит на царь-колокол... Ему не хочется идти домой; там его ожидают любопытные глаза тетушек, желающих знать, не сумел ли их племянник куда-нибудь пристроиться, не обеспечил ли, наконец, себя, прошлявшись целый божий день? Вспоминая об этих любопытствующих взглядах, племянничек делался еще мрачнее. «Эти идиоты, — мысленно ругался он, — и знать не хотят, что делается у меня в голове... хорошенько подумать не дадут. . им бы только с шеи спихнуть». И он опять плелся на Пресненские пруды, решая сегодня же бросить своих тетушек, да заняться хорошенько, да выдержать экзамен, потом «плюнуть всем им

в морду», потому что они не знают, что такое он... И вдруг в голове его возникают вопросы: «Что же такое он в самом деле... и какие такие у него особенные вещи в голове?..» Это снова повергало его в тоску...

Проходили годы, а он попрежнему жил у тетушек, собирался держать экзамен, выкуривал тысячи папирос, думал, тосковал и, наконец, очутился в уездном городке учителем...

«Вот где моя пристань!» — думал он, въезжая в город и озирая разоренные лачужки и повалившиеся плетни. «Что ж? здесь-то и делать дело!» — сказал он себе и почти с удовольствием перенес все неприятные ощущения, которые ему пришлось испытать, нанимая квартиру, знакомясь с учителями и училищем. Квартира его была простая лачуга, с грязным полом, перекосившимися стенами и сверчками; за стеной постоянно стучал молот жестяника и раздавался рев ребят, не дававший ему «подумать»; в окна глядела улица с измазанными грязью свиньями, забор и за забором бурьян. Училище тоже неприятно подействовало на него своим разрушенным видом, стертыми досками, ободранными стенами, изрезанными партами и проч. Все это рисовало в его воображении какое-то покинутое, заброшенное здание, где могут жить только летучие мыши и гнездиться ночные птицы. Он начинал дело с светлыми планами, и нервы его неприятно потрясались этою пустынностью, веянием смерти и заброшенностью...

«Но, — думал он, — живут же люди и здесь!» — и принялся знакомиться с учителями, которые представились ему мучениками; но люди, которые жили здесь, то есть учителя, к удивлению Певцова, еще более увеличили в нем ощущение разрушенности и смерти. Они сами были развалины: они давно уже служили здесь и привыкли ко всему. Появление нового лица родило в них относительно его какое-то враждебное чувство — они сторонились Певцова, старались отнекиваться и вежливость его объясняли желанием подделаться к ним, да потом и бухнуть директору, чтобы самому выскочить, а их погубить. Такой взгляд товарищей весьма опечалил Певцова; он недоумевал, но надеялся, что со временем они переменят об нем мнение. Он не ошибся. «Что ж? — подумали товарищи, когда им надоело шушукаться, — пускай доносит... наше

дело правое», — и стали смотреть на Певцова как на прощелыгу... «Прощелкался в Москве-то, — думали и говорили они, — вот и юлит...» Взгляд их еще более укрепился тогда, когда они узнали, что у Певцова нет ни копейки за душой, а у них были уже благоприобретенные шоры, самовары, кровати и беспорочные формуляры. «Нам бояться нечего!» — думали они каждую минуту... С этих пор они перестали сторониться Певцова и шушукать в уголку; теперь они уже громко разговаривали о крестинах, больных желудках, больных *со вчерашнего* головах, предлагали друг другу средства к исцелению и трепали учеников за виски...

Скоро он помирился с разваленными стенами, с пьяными фигурами учителей, но решительно терялся при виде учеников. Эти рваные полушубки, эти худенькие детские ноги, вымазанные холодною осеннею грязью, эти тощие лица и уже мозолистые руки приводили его в недоумение. Он знал, что эти дети пришли поучиться у него уму-разуму; знал, что полушубки, в которых пришли они, сняты с отцов и братьев; знал, что отцы и братья с нетерпением ожидают возвращения их полушубков из школы, чтобы одеть их и отправиться за добычею: они еще вчера заметили в овраге дохлую лошадь, которую еще никто не успел ободрать. Об этой лошади думают теперь отцы и братья, об ней думают и ученики Певцова. Маленькие слушатели его — уже действительные, нужные члены своих семей и заинтересованы в них наравне со стариками и взрослыми. Чем он, Певцов, может пригодиться им? Разве хватит у него духа ограничиться только поправкою грамматических ошибок в том маленьком детском сочинении, где говорится, что «вчера у нас обвалилась печка, а отца нету дома — он повез продавать подсолнухи по деревням, всего на четвертак...» Какая польза этим трудящимся беднякам в том, что они узнают логический состав мысли, что орган вкуса есть язык, а Монблан имеет четырнадцать тысяч футов высоты? какая польза в подобных знаниях, когда, заплатив за них кровные три рубля в год, ученики его все-таки будут продолжать жить по-отцовски, в лютые морозы плестись по полю на клячонке в соседнюю деревню, чтобы распродать подсолнухи на ту же сумму в четвертак и надувать при этом своих собратий мужичков?.. Он не верил, чтобы все эти маленькие тру-

женики добровольно отрывались на четыре года от семей; он видел тут какое-то строжайшее приказание... Опыт доказал ему совсем иное. На глазах его не один раз в училище приходили отцы и матери учеников и просили учителей наказать своих детей... Что им мешает драть и «полосовать» своих детей дома? Они дерут их дома, но не видят от этого никакого проку; им нужно, чтобы детей наказывали в училище. Следовательно, училище имеет некоторую силу: бедные отцы ждут от него чего-то. У них дома не находится одного из свойств нравственного влияния, необходимого для их детей; они полагают, что спасительница ихняя — это училищная казенная розга, укрепленная в чужих, ученых руках... Так думают необразованные отцы. «Но, — думал Певцов, — на нашей обязанности заменить эту розгу светлым нравственным влиянием».

На первых порах ему казалось, что в нем проснулась какая-то новая, страшная сила...

«Но, — думал он через две минуты, — чем же может быть он полезным в этом отношении?» Углубившись в разработку собственных нравственных сил, он с ужасом убедился, что ничего не может сообщить своим питомцам, кроме мыслей о пользе терпения, повиновения, послушания, труда... «Что такое?» — недоумевая, толковал он и приходил к тем же заключениям. Певцов почувствовал, что не эти ли истины, вколоченные в него с детства, с целью приучить его к существованию сидя на одном месте и быть довольным этим «определенным» положением, — были причиною того, что, оставшись без цепи, без привязи, сделанной чужими руками, он мечется из угла в угол, не знает, что делать, куда деваться? Мысль эта, мелькнувшая в его голове как молния, как молния и исчезла, но общий и душевный хаос, который подняло в его душе «дело», заставил его сказать:

— Нет, кончено! Завтра же бросаю все. и не могу здесь быть... Нет!.. Нет!..

Завтра он не уехал, потому что этому помешало одно новое и весьма хорошее соображение.

«Что ж, — думал он, — и здесь можно быть полезным... Стоит только отдать свое жалованье в пользу бедных учеников, их семейств, отцов и братьев... Ведь это все ихнее...»

Эта мысль озарила все его тосковавшее существо...

— Завтра же, завтра же! — толковал он с восторгом и ерошил свои волосы...

Но завтра он этого не сделал.

«Как только получу жалованье, — думал он «завтра», — тотчас же...»

Жалованье он получал, клал в карман — и думал: «Завтра непременно!»

Но завтра он этого не делал — деньги нужны были самому, «а вот в следующий месяц!»

II

Прошло два года. Певцов никуда не уехал. Мысли об отъезде и о раздаче собственного имущества он считал окончательно решенными; он был уверен, что сделает все это непременно, и не считал нужным размышлять об этом каждую минуту. Дело решенное. К концу второго года он сделался как-то спокойнее. Учителя его уже не дичились, и он тоже спокойно презирал их. «Что же требовать от них!» — думал он. Отношения к ученикам уже не были загадкою, во-первых, потому, что «завтра непременно...», а во-вторых — «нужно же хоть для виду; приезжают ревизоры... охота выслушивать неприятности от кого-нибудь»...

— Вы, пожалуйста, сбрейте бороду, — сказал ему смотритель.

— Я думаю, борода моя не повредит?

— Так, но что вам за охота из-за какой-нибудь бороды выслушивать замечания? Согласитесь...

— Так, так, действительно, — отвечал Певцов и сбрил бороду.

Сидя в классе, он видел те же полушубки и голые ноги, но для того, чтобы «не нажить неприятностей», трактовал о подлежащих, сказуемых, выслушивал басню «Осел и соловей», «Проказница-мартышка».

Неужели он забыл, что выучить эту басню, не понимаемую почти наполовину, стоило и времени, нужного на домашнюю помощь, и сального огарка, стоившего проклятий? Нет, он знал это, но «что за охота выслушивать...» и т. д. Кругом его за стенами в соседних классах

раздавались возгласы его товарищей, заматоревших в процессе преподавания, основанном на том, чтоб «не нажить неприятностей». Певцов слушал это преподавание и был равнодушен к нему: он ведет свои дела и не имеет надобности до своих товарищей.

— Кроме видимых, вещественных глаз, имеет ли человек невещественные? — раздавалось за стеной.

— Человек имеет невещественное око.

— Которое называется?

— Которое называется внутренним.

— Как?

— Внутреннее око.

— Садись! — Пономарев! Осязаем ли мы внутреннее око?

— Нет, мы его не осязаем.

— А оно само осязает ли внутренно предметы? то есть видит ли?

— Оно видит и осязает.

— Что именно?

— Невещественные предметы.

— Садись!

За другой стеной идут рассказы о том, чем замечателен Манчестер; о том, как Мамай разбил Донского «с тылу», причем беспрестанно слышатся слова «наголову»... «обратился в бегство»... «славяне, подобно германцам, а германцы, подобно славянам» — и проч. Но вот раздается звонок, Певцов стоит среди учителей: они просят у него папироску, расспрашивают о квартире.

— Да не пойти ли нам к Гаврилову? У него превосходная наливка.

— Нет, господа, — говорит Певцов.

— Да ведь в Москве пили же что-нибудь?

Певцов соображал: «Отчего же и в самом деле не пойти?»

И действительно шел, так, от нечего делать. Дорогою он видел, как ученик, отвечавший о внутреннем оке, тащил, весь потный, коромысло с ведрами воды; думал, что тяжесть этой ноши способна выколотить из него в одну минуту целые миллионы сведений вроде внутреннего ока, — и шел с товарищами дальше. Впрочем, он вежливо отвечал на поклон ученика, который, высвободив одну

руку из-под коромысла, снял-таки шапку перед наставниками.

— Ну-ка, рюмочку! — говорят ему товарищи.

— Нет, я не стану.

— Да пили же в Москве-то? что за глупости!

Певцов думал: «что ж такое?» — и пил.

Но вот уже он выпил пять рюмок. Как это случилось, обстоятельно объяснить невозможно; достоверно известно только то, что, поднося себе рюмку за рюмкой, он думал: «что такое, если я... велика беда!» Через несколько времени он уже целуется с кем-то. «Что это за рожа?» — думает он, упираясь глазами в какую-то щетину, которая принадлежит обнимающему его человеку, и, убедившись, что это один из товарищей, автор внутреннего ока, думает: «а, это ты, подлец!» — и целует щетину.

«Эка важность! — думает он, совершая эту церемонию. — После злиться будет... чорт с ним!»

Откуда-то явилась гитара, началась пьяная песня. Оказывается, что Певцов знает эту песню, — и подтягивает; начинается другая — Певцов и другую знает. Между ним и товарищами рождается какая-то пьяно-дружественная связь, он уже не с отвращением, а почти добровольно слушает, как кто-то признается ему в любви.

— Ты, брат, хороший человек, — говорит ему кто-то. . — Я, брат, люблю откровенность.

— Ты, брат, сам отличный человек, — говорит Певцов. — Я, брат, люблю правду.

— Ты, брат, с Ивановым не сходись, он — подлец... Я тебе по душе говорю.

— Иванов? о, это подлец! — не задумываясь, соглашается Певцов.

— Целуй, брат!.. Вот спасибо!.. Давай по одной!

— Давай, брат!

— Что, моего пса тут нету? — раздается голос за окном.

Это ходит по городу жена учителя и ищет своего пропавшего мужа.

— Поди ты к чорту! — гремит компания.

— Убирайся к чорту! — присоединяется Певцов.

Словом, он — приятель всем, находящимся в этой компании. Певцов возвращается домой навеселе, не замечая

любопытных, изумленных уездных лиц, привыкших встречать его всегда в порядке.

— Нет! это невозможно! — с болью в голове решал Певцов, проснувшись на другой день. — Нет! это чорт знает что такое!..

Сообразив все подробности происшествия у Гаврилова, Певцов назначал немедленный отъезд из этого проклятого города завтра утром. Это немного успокоивало его; но до завтрашнего утра оставалось громадное количество уездной скуки. Он попробовал высидеть целый вечер дома, но бушеванье ветра, грохотанье ставней и болтов, рев свиней под полом комнаты заставили его подумать: куда бы деться? Он подумал было в последний раз сходить к тому или к другому товарищу, чтобы показать себя снова в приличном виде, но это оказалось неудобным: у женатых людей не всегда есть свободные минуты, одни дети чего стоят! Да, наконец, велика ли важность доказать товарищу свою трезвость. «Чорт с ними!» — думал Певцов и все-таки не знал, куда бы, в какую бы нору заткнуть себя, лишь бы поскорей проснуться завтра. Судьба помогала ему. Буря и грохот ставней не его одного гнали вон из дому, не в нем только было желание куда-нибудь деться; на его стороне была холостая уездная компания — он и сошелся с ней.

«Завтра же, завтра же!» — думал Певцов.

III

Прошло еще два года — Певцов уже не думал этого «завтра же», он советовался с товарищами насчет желудка: ему присоветовали употреблять огуречный рассол.

«Завтра же прикажу хозяйке купить капусты и огурцов», — думал Певцов в эту пору.

Холостая компания, к которой он продолжал принадлежать, в сущности своей была глубоко грязна и отвратительна; отягченная бременем тоски и пустоты, она спустя рукава смотрела и переносила самые возмутительные вещи, понемногу привыкла принимать страшное нравственное падение за удовольствие и увеличивала скудость духа и сердца, уже оскудевшие в пустоте, еще больше и безжалостнее.

Иногда Певцов, поразмыслив над своей жизнью, вдруг снова впадал в усмиренную кроткими мерами тоску, которая на этот раз не выражалась в потребности рассола, но и не была уже та московская тоска, в которой все-таки звучала молодость. В ней уже не мелькало неопределенное желание что-то начать: она говорила о том, как бы все это кончить добровольно. Певцов давно уже сидел на привязи и мало тосковал об этом; он даже не замечал этого — так привык он к ней с детства. Но время и другие условия, о которых уже сказано, навели его на мысль, что привязь эта очень длинна: она дает ему возможность шататься по улицам безо всякой надобности, вступать в сношения с другими субъектами того же сорта, грызться с ними и потом, повидимому безо всякой надобности, уносить в свою конуру переломленную ногу, боль в боку. Не лучше ли просто сидеть в конуре и заботиться только о собственном благосостоянии, пусть там грызутся. Но иногда не утерпишь... Для этого-то нужно привязать себя в самую глубь конуры, опутать себя веревками, надеть намордник, наконец приковать себя к земле.

Соображения, которые привели Певцова к мысли о женитьбе, были, конечно, не такого свойства; и это происходило только оттого, что он не подозревал о существовании в себе глубоких начал рабства. Поэтому-то желание более короткой привязи он переводил на собственный язык так. «То ли дело, — думал он, — я живу сам собою! Чорт их возьми всех! Я их не хочу знать! Я буду делать свое дело, и у меня будет своя жизнь. Жена подойдет и сядет. Я занимаюсь (тогда можно будет заняться), а она что-нибудь шьет. Чистота. Порядок. Тихо, смирно. Она подойдет и обнимет меня; по крайней мере я знаю, что есть на свете существо, которое...» Мысль о женитьбе охватила его гораздо серьезнее, то есть настойчивее, всех других его мыслей, он решился взять непременно красавицу и умницу. Пусть она будет бедна. Певцову это решительно все равно. Одна красавица была у него на примете, но он все как-то мешкал: — дело новое. В один вечер вой бури и рев свиней под полом квартиры достиг таких размеров, что Певцов в каком-то исступлении произнес:

— Завтра же! завтра же, непременно!..

На этот раз он сдержал слово. Хлопоты насчет невесты начались с следующего же утра. В качестве человека, окрашенного уже уездными красками, он не мог обойтись без советов и толков по этому предмету с своими товарищами, решившись впрочем, как и всегда он решался, действовать сообразно собственным взглядам, так как он и товарищи — это две вещи совершенно различные. Он сообщил между прочим, с кем из женщин намерен сойтись поближе.

— Красавица и умна — мне этого только и нужно, — говорил он, называя фамилию девушки.

— Это что! — говорили ему товарищи: — а вы вот за Зацепиной приударьте... Во-от! Тут по крайней мере — деньги; у нее вон три лошади, какие сани, посмотрите-ко! а с красотой долго не наживешь... Красота пройдет...

— Нет, я уже решился, — твердо сказал Певцов.

«Но, — думал он через несколько времени, оставшись один, — почему же мне нужна только красота и ум, отчего и не средства? Зацепина! Что ж такое? Я не мальчик, мне нужно установившуюся душу. Она и не дурна... даже красавица... Средства? Они мне дадут возможность еще более отделиться от этой пьяной оравы и жить самостоятельнее...»

IV

Прошел год.

Певцов был уже женат на Зацепиной. Он чувствовал истинное блаженство: какая у него чистота в комнате, какое тепло! Как-то радостно смотрят на него новые обои комнатки, новая лампа, новые стулья и новая, чистая блуза жены, в которой она подходит к нему и подсаживается. Правда, она молчит большею частью, но это-то и дорого: — ему давно хотелось тишины и покоя.

— Ванечка! — говорит жена Певцова, — Авдотья разбила чашку, я ей приказала купить новую на ее счет... Посмотри, какая миленькая чашка!

— Какая в самом деле хорошенькая.

— Я тебе налью сегодня в нее чаю, — присовокупляет жена и целует супруга; Певцов тоже целует ее.

Затем снова тишина, свет лампы, медленные прогулки супруги из одной комнаты в другую, чтобы поправить подсвечник под зеркалом, чтобы задать кухарке вопрос, — и главное: тишина и молчание... Молчание жены Певцов объяснял себе ее умом, который ни на минуту не перестает работать в пользу спокойствия и тишины. Каким ангельским голосом говорит она даже фразы насчет вычета за разбитую чашку! В этом голосе слышится и любовь к Певцову и ежеминутная забота о нем.

Жена Певцова была честнейшая исполнительница того назначения, которое ей было внушено в доме родительском ежеминутными примерами действительной жизни и основано на том, чтобы «не из дому, а в дом». Эта теория, смотрящая на жизнь как на возможность скопить и нажить, делает множество женщин, которых в молодости можно насильно выдать за семидесятилетнего старика, но которых нельзя уже оторвать от этого старика, потому что они сразу предаются продолжению «наживы», развитой в их мужьях, и делаются скрягами. Такого воспитания была и жена Певцова; молодое красивое лицо ее было всегда задумчиво, по причине тревожных вопросов насчет капусты, огурцов, яиц, сковород, ухватов и проч., нескончаемою вереницей тянувшихся в ее уме... Все-то она думала о том — как бы не прогадать да лишнего не передать, а если случится, то и недодать... Она жалела, что этого не случалось. Еще она думала о том, как бы было хорошо, если б ей пришлось найти где-нибудь на улице пять тысяч; она бы сейчас их спрятала и никому бы не показала... Все это совершалось в голове ее молча, тихо...

— Ванечка! — говорила она ангельским голосом, целуя Певцова в губы, — ты куришь дорогой табак! голубчик, ангелочек! брось!.. Кури в гривенник... Не все ли равно?..

— Изволь, изволь!.. — в умилении лепетал Певцов.

Жена осыпала его поцелуями.

Певцов не мог ни на минуту расстаться с этой тишиной. Уездное общество решительно не влекло его; он равнодушно относился к своим холостым приятелям и даже подтрунивал над тем, как по вечерам они с пьяными разговорами шатаются по темным улицам, натыкаясь друг на друга и не зная, куда деться... Он чувствовал, что

мог смеяться над ними, — у него был свой угол, который он боготворил... Возвращаясь вечерком домой, после кратковременной беседы у семейного товарища, он непременно заглядывал с улицы во внутренность своего дома: какая райская тишина! Вон жена сидит на диване и вяжет чулки ребенку!.. Его еще нету, но она так предусмотрительна... Какое у нее святое выражение лица... Как ярко горит лампа!

Он входил в комнату и с удовольствием целовал жену; жена отвечала ему еще с большею страстностью...

— Ванечка! я все ждала тебя, все боялась, — говорит она.

Следовали опять поцелуи.

— Я думаю, не обварить ли нам клопов? — произносила жена.

— Обвари, обвари, ангел мой!

И Певцов снова заключал ее в свои объятия.

Ощущение под ногами твердой земли, испытываемое Певцовым после женитьбы, не прекращалось даже тогда, когда обои комнаты несколько позапачкались, когда блузы жены запачкались совершенно. Он даже начал находить что-то приятное в этой расстегнутости; начинал любить свой угол даже и тогда, когда все бывшее в нем было пополам с грязцой! Встречая жену с растрепанной косой или со щекой, на которой видны следы ухвата или сковороды, он радовался даже. Что ж такое, что жена его облита помоями? Зато какое у нее ангельское выражение лица!.. Помои знаменуют хлопоты о тишине... Все эти помои, шерстяные чулки, клопы, начинавшие колонизацию около новобрачной кровати, — все это в глазах Певцова были атрибуты прочности его земного существования. «Довольно висеть на воздухе-то», — говорил он, обнимая жену, несшую полено... Жена пламенно отвечала ему и, как зефир, уносилась с поленом в кухню.

V

Довольно долго тянулось это блаженство. Он не терял к нему аппетита, но иногда в голову его закрадывалась мысль: «Отчего бы не пойти куда-нибудь посидеть вечерок?» Старая холостая компания, исчезнувшая из его

памяти, снова вспомнилась ему. «Отчего же не пойти? Авось, меня не убудет от этого?»

И вот однажды он пошел туда.

— Ну-ка, рюмочку! — сказали ему.

— Нет, нет, господа! Теперь рюмочки прошли.

— Фу ты, господи! .. Хорошо же ваше семейное счастие, если рюмка может вредить ему.

«Да! Ведь и в самом деле! Что за вздор!» — думал Певцов.

— Что, нашего барина тут нету? — спрашивает через несколько времени кухарка Певцова, посланная женой,— барыня дожидаются.

— Скажи — иду, — отвечает Певцов довольно развязно.

Он уж порядочно выпил; вместе с первой рюмкой ему сразу вспомнилось холостое одиночество, обуреваемое душевными терзаниями и ревом бури. Было что-то хорошее, какая-то крупица поэзии в этом тоскованье и вине. Рюмки быстро вырастили эту крупицу. Певцов не замечал, как летело время.

— Я сказал, что приду! — крикнул он на кухарку, когда она в другой раз, спустя несколько часов, снова появилась требовать барина, — я знаю, что я делаю!

Наутро он просил у жены прощения, но вечером снова вспомнилась ему «жизнь» в компании, и его тянуло-тянуло туда.

— Ты опять напьешься? — говорила жена Певцову, когда он собирался пройтись погулять.

— Ну вот, разве я не знаю!

— Пожалуйста! что это за пьянство?

— Я знаю. что ты?

Певцов возвращался пьяный.

Время шло, и стремление Певцова к «грязям» холостой компании не уменьшалось ни на волос. Напротив, оно росло с неудержимою силой и в сущности происходило из сознания, что привязь слишком уж коротка, что размеры деятельности Певцова, даже в территориальном отношении, сузились до последней степени: — она не должна была простираться далее спальни, и он мог свободно трактовать только вопросы о том, на какой бок

удобнее лечь, на правый или на левый? Среди холостой уездной грязи было больше простору и разнообразия. Укрепляя себя в этих взглядах, он, спустя еще несколько времени, уже не извинялся перед женой в том, что был вчера пьян, и вообще не с таким, как прежде, жаром разделял ее цели и намерения.

— Ты видишь, я занят, а ты лезешь целоваться! — сердито говорил он ей, набивая папиросу и локтем отстраняя объятия жены.

— Скажите пожалуйста! Я вовсе не думала целоваться: я хотела сказать, куда мне девать капусту — прокисла.

— Мне какое дело! Пожалуйста ты с капустой сама распоряжайся.

— Что ж ты после этого за хозяин? Не бросать же мне ее. Я должна посоветоваться.

Певцов не отвечал ни слова.

— Тебе только улизнуть да нажраться где-нибудь,— сердито проговорила жена.

— Пожалуйста, пожалуйста...

— Разумеется! Я не затем шла, чтоб с пьяницею возиться.

Певцов с сердцем уходил из дому.

«И какие у этой женщины права, — думал он, — на обладание мною, как какой-нибудь столовой ложкой? Что за достоинство целую жизнь молча просидеть на одном месте?»

По вечерам он уже не заглядывал в окна своей квартиры с улицы, она представлялась ему гнездом духоты, кухонного воздуха и мертвой тишины.

— Тьфу ты! — говорил он с сердцем.

VI

Прошло еще немного времени, и он уже не просто лез в грязь — в нем сразу пробудилась вся тоска. Какая страшная разница между первым его приездом в уездный город и теперешней жизнью. Жена, не церемонясь, тянула его на привязь к обязанностям хозяина, и Певцов метался на этой цепи, как бешеный. К ужасу его

оказывалось, что у него нехватает даже силы подумать о бегстве отсюда, что нет выхода из этих перин и духоты, из этой тишины, вычетов за разбитые чашки, рассолов и кислой капусты...

Певцов предался самой страшной распущенности. Он подружился с какими-то еще более грязными лицами уездной холостежи, сошелся с какими-то женщинами, пропадал целые дни из дому и если возвращался домой, то, уже не робея, кричал своей жене:

— Только пикни!

Жена плакала по целым дням. Среди рыданий она, наконец, пришла к той мысли, что если так дела будут продолжаться, а она будет обливаться слезами, то немудрено, что хозяйство придет в упадок. И то муженек перебил уже две дюжины тарелок... Конец этому она решилась положить по-свойски...

— Марфа! — сказала она однажды кухарке. — Запри двери и ночью не отпирай ему... Пусть его идет, куда хочет...

Ночью пьяный Певцов колотил в дверь и кричал:

— Отворяй!

— Пошел туда, откуда пришел! Пьяница!

— Отворяй, говорю...

— Разбойник! Какой ты хозяин? .. Умирай на морозе, с собаками...

Дверь с грохотом повалилась на пол, и пьяный Певцов ввалился в комнату.

— Не пускать? Ты не пускать? — наступая на жену, кричал он...

— А ты бушевать начал. Хор-рошо!

— Ты не пускать? ..

— Хорошо! хорошо! — продолжала супруга, опомнившись, и — выскользнула на улицу...

— Не пускать? — продолжал Певцов, всаживая кулак в раму. — Не пускать! — бормотал он, всаживая другой кулак в другую раму. — Ты н-не пускать! — прохрипел он, намереваясь отнестись с тем же движением кулака к физиономии кухарки, но...

— Мы не допущаем дебошу... — произнес суровый будочник Барсук, охватив веревкой локти Певцова. — Потому, ваше высокоблагородие, нам этого нельзя; начальство тоже шуму не позволяет.

— Хорошенько его, голубчик! — советовала будочнику жена Певцова.

— Будьте покойны!.. в лучшем виде приставим!

С течением времени все пришло в надлежащий порядок.

Теперь Певцов привык ко всяким привязям и находит положение свое весьма определенным, безропотно неся крест, назначенный ему с первых дней колыбели...

ИЗ БИОГРАФИИ ИСКАТЕЛЯ ТЕПЛЫХ МЕСТ

(Карикатурные наброски)

I

...Едва ли не вместе с первым поездом новой дороги, прихватившей уездный городок *** более или менее к свету, неизвестно откуда налетело в него бесчисленное множество какого-то инородческого воронья, тотчас же принявшегося опустошать глухую сторону самыми разнообразными способами: в глухих уездных улицах, на деревенских ярмарках появились коленкоровые вывески о лотереях с значительными выигрышами, о распродажах с премиями, о представлениях с сюрпризами; повсюду завелись фортунки, юлы, билеты, на которые ждут получения, чтобы выдать дочку замуж, и так далее. Все эти знакомые столичному жителю попытки, не наносящие ему особенного ущерба в ряду надувания еще более поглощающего свойства, — в глуши, в бедной, нищенствующей стороне уподобляются своею опустошительностью моровой язве, пожару, нашествию орды сарайской, формальному грабежу. Успешность действий налетевшего воронья в особенности обеспечивается тем, что обыватель никоим образом не усматривает в этом действии ни малейшей тени грабежа. С грабежом обыватель глуши давно знаком; он знает его во всех статьях и давно привык кричать: «обман!», бегая при этом по торжищу и раздирая на себе ризы, но здесь он не знает его, видя не грабеж, а благодеяние... Это последнее качество современного грабежа, давая опустошителям основательную поживу, совершенно отличает их от людей, занимавшихся тою же профессиею в прежнее время.

В самом деле, кто в прежнее время, помимо людей, приходивших брать с простоты обязательную уплату, зарился на оставшийся от этой уплаты грош? На первом плане, несомненно, стоит целовальник; название *душегуба* и *кровопийцы* столь же неразрывно связано с его званием, как и название хищного зверя связано с волком... Не без успеха на тот же грош охотился кулак, поджидавший мужичий воз, лежа в грязи в канаве за заставой; с помощью отвода глаз и дьявольского наваждения иногда обделывал свои дела цыган... Кроме этих собственно грабителей, за получением того же гроша, спрятанного в чулке под печкой на случай смерти, шел с Белого моря старец, божий человек! прискакивал босый и почти голый Фомушка-юродивый с палицей и, став на одной ноге, говорил: «дай грошик!» Плелись нищие и нищенки, стеная и суля блаженство за могилой.. Лиц, желавших получить грош помощью увеселений, почти не было, исключая разве деревенского мальчишки, который кой-когда забредал в глушь, неся для потехи публики или хорька в мешке, или ежа в руках; шатаясь по глухим улицам, он пел стишок своего сочинения: «Выходите, господа, посмотрите на зверя», и ждал: «не пожалуют ли чего? ..» Вот почти все, что норовило овладеть оставшимся от уплат грошом; тут и хищники, и успокоители, и увеселители; нельзя сказать, чтобы их было мало и чтобы они действительно не получали барышей; но каковы в сущности были эти барыши? Самый отъявленный грабитель, целовальник, получал барыш только после долговременнейшего грабежа. Веря, что камень обрастает, лежа на одном месте, он обыкновенно прирастал десятка на два, на три лет к какому-нибудь поселку, состоящему из пяти-шести дворов, и кровопийствовал над ними без пощады. «Ты мне подвержен!» — говорил он совершенно открыто обывателю поселка, что значило — простись с полушубком! «Помилосердуй!» — умолял обыватель. Но целовальник не отвечал на это, а, поплевав на руки, прямо воротил шкуру обывателя с затылка. «Грабитель ты, Исай Ильич». — «А ты думал, я — нянька тебе достался?» Очевидный грабеж этот основывался в целовальнике на убеждении, что душа его принадлежит дьяволу и что, следовательно, все равно — заодно кипеть в смоле. Это тягостнейшее сознание

тяготело в нем десятки лет, вместе с проклятиями и угрозами ограбливаемых им обывателей; к концу жизни, когда душа его была уже совершенно отягощена грехами, приходило благосостояние, то есть возможность ежеминутно мазать свои сапоги дегтярным помазком, а по праздникам окунать их прямо в бочку. Тут он начинал служить молебны, замаливать грехи, угощать станового и причт, питаясь сам исключительно и непременно только редькой и не показывая вида, что в подполье у него хранится пара новых лаптей, ибо как только прохожий солдат замечал их вместо редьки, капусты с маслом и квасом, то тотчас же догадывался о богатстве целовальника и начинал подглядывать под лавку, где лежал топор... При самых тщательных соблюдениях «уха востро», при самых изысканнейших выдумках на тему о том — что нечего есть, что скоро пойдешь с сумой, большею частию случалось так, что солдат увлекал внимание целовальника рассказами о царских смотрах и, дотянув дело до ночи, внезапно отхватывал целовальнику голову топором, овладевал лаптями и скрывался в дремучий лес... А как надрывал свою грудь цыган, чтобы всю жизнь ходить голым и голодным? Какими проклятиями должен был осыпать кулак свою жену и детей, чтобы уверить простого человека в чистоте своих намерений: овладеть меркою овсеца, пропить ее в кабаке, быть избитым целой ярмаркою и умереть, как умер Ильич? [1] Странник, божий человек, должен был сделать тысячи верст, самолично побывав на Белом море и в Иерусалиме, принести оттуда выжженный на груди и на руке крест, мерзнуть от вьюг и метелей, жечься на солнце, страдать от волков, врачуя прокушенную ими ногу собственными средствами, травами и листьями... И тогда только он получал скудное даяние, но и на это даяние уже зарился прохожий солдат и поджидал странника в лесочке со шкворнем в руках, надеясь поживиться. Только бог спасал старца от погибели помощию заключения в темницу, ибо по уходе старца от доброхотного дателя обнаруживалась пропажа набойчатого платка... Не ранее как через год кухарка, обуреваемая ночными видениями, валилась господам в ноги, прося разметать кости ее по полю, ибо платок — ее грех;

---

[1] Герой поэмы Никитина «Кулак».

безвинного старца выпускали, и, пробираясь леском, он наконец-таки встречал прохожего солдата, исхудавшего в ожидании старца наподобие лучинки. «Бог на помочь!» — говорил он старцу, присоединяясь к нему, заводил речь о турках и, отвернувшись на минутку по своему делу, внезапно наносил ему смертельный удар шкворнем по голове... Старец падал мертв, а солдат, овладев сумкой, в которой хранился «Сон пресвятыя богородицы», исчезал в дремучий лес. — Барыши увеселителя мальчишки были еще ничтожнее: имея пагубное убеждение, что в увеселениях нуждаются господа, он шатался с своим ежом и стихом: «Посмотрите на зверя» под господскими окнами. А так как в редкое окно глухого городка не глядит начальство, то ежа у мальчишки обыкновенно отнимали «для детей», уплачивая вопросами: «имя? звание? кто? откуда?», на которые мальчишка отвечал бегством... Бывали случаи, что ему попадала корка хлеба; бывали случаи, что он, идя леском, хотел ее отведать, но в это время невдалеке показывался прохожий солдат со шкворнем, поступая на этот раз по-божески, то есть брал корку, не убивая на смерть, а только помахав шкворнем над затылком мальчика...

Вот приблизительно все барыши, которыми пользовались претенденты на оставшийся грош в прежнее время. Количество их до такой степени неуловимо, что прохожий солдат, наконец-таки схваченный и закованный в кандалы, мог совершенно по чистой совести отвечать судьям: «не помню, не знаю» на вопросы их: «где был? чем жил? что ел?»

И вот эту-то глушь, бывшую бесплодною пустыней для людей легкой наживы старого времени, современные опустошители сумели превратить для себя в золотое дно, единственно благодаря благодетельствующему и увеселительному приему, заменившему собою и действительное сдирание шкуры с простодушного обывателя, и отвод глаз, и обещания царствия небесного и т. д. За заставой например, где валялся в канаве и в грязи кулак, умиравший впоследствии с голоду, теперь охотится на мужика целая толпа джентльменов; этим людям нельзя дать другого названия, потому что они, видимо, хотят быть джентльменами: для этого они нарядились в пиджаки, шляпы, слегка сидящие на затылке, и каждый закусил

зубом по толстой сигаре... Слегка странное впечатление, которое они могут произвести на постороннего зрителя; прогуливаясь в пятом часу утра за заставой, они побеждают необыкновенной солидностью телодвижений и походки, необыкновенно гордым и беспечным видом, с которым они гуляют, курят и при появлении мужичьего воза преграждают ему дорогу...

Франтами они нарядились для того, чтобы скрыть от взоров русского мужика свое происхождение, — большею частию это немецкие или польские евреи, — и, избежав с помощью сигары и шляпы необходимость разрушать недоверие мужика, основанное на «свином ухе» и «христопродавстве», прямо приступают к делу, то есть к мужичьей бедности и нищете. Они не клянутся, не заговаривают с надсадой в груди, как кулак, потому что они и не умеют говорить по-туземному, а действуют посредством денег — языка, для нищеты крайне любезного. Денег у них много; благодаря им они имеют возможность купить у мужика «все», и не только то, что есть, а даже и то, что будет на будущий год и еще года на два, на три... Это объясняет и их обилие и возможность курить сигару, носить шляпу, тогда как кулак, разбойничавший без гроша, норовил урвать мерку овсеца и умирал как сказано выше, то есть с голоду.

После кулака оставались проклятия; после джентльмена — масса денег в руках мужика—и благодарность... Если мало ему этих денег, он может получить еще с помощью лотерей, юл, фортунок и т. д. Это тем более кажется вероятным, что облагодетельствованный туземец пьян с радости, да кроме того, ему коротко известно, что в Усмани был с одним мещанином случай: заплатил он гривенник, а выиграл самовар... С пьяных глаз хочется спешить этим делом потому, что вывеска кричит народу большими красными буквами: «Еще только два дня...» Обыватель спешит... Ничего, что он проигрался, — дело поправимое: можно вернуть все с большим барышом... «Нет денег? А самовар-то вы выиграли? Ставьте и вертите сколько угодно...» Самовар исчезает совершенно неожиданно... «Ставить нечего». — «Как нечего! А лен, а сало?» — «И яиц можно?»—«И яиц, что угодно... всем магазином отвечаем». — «Абма-а-ан», — шатаясь из стороны в сторону, шепчет про себя обыватель, не решаясь

по-старинному громко возвестить об этом на торжище, ибо виноват он сам: ему не хотели ничего, кроме добра, ему дали денег столько, сколько он не видывал отроду. «Да ведь выиграл же в Усмани мещанин», — думает общипанный туземец, как на место улетевших благодетелей уже налетают новые, беспокоящие тихую уездную улицу церемониальным и совершенно небывалым шествием... Впереди несут громаднейшую афишу с изображением танцующей девицы (это для господ), с исчислением фокусов белой и черной магии (для мальчишек) и с обещанием разыграть в пользу посетителей предстоящего представления две коровы... «Абм-ман!» — думает обыватель, но пара коров шествует вслед за афишей налицо. Ленты и бантики, навешанные на них, свидетельствуют о том, что это те самые коровы, которые могут быть выиграны всяким за самую ничтожную цену... «Обмана нет; счастье — дело божие: либо пан, либо пропал... — думает обыватель: — воротись, выиграть что-нибудь нужно, непременно нужно... дочь невеста... да и в Усмани был же случай...» И глядишь, деревянный балаган, наскоро сколоченный среди уездной площади, в тот же вечер трещит от множества народа. Дырявая парусина на его крыше ходит волнами от степного рвущего ветра, который, на ужас уездных старушек, разносит уханье барабана, звон медных тарелок, песни и хохот по всем закоулкам и лачужкам городка... Да! при виде этого веселого опустошения кровопийца целовальник является щенком, глодавшим с голоду старую калошу, тогда как настоящий кусок прикрыт лапой настоящей собаки...

«А я думал, кровь я пил, — думал не без злой и горькой иронии кровопийца. — А я даже нисколько этой крови и не пил-с...»

II

Не исчисляя всех видов опустошителей и их приемов, можно вывести общее заключение, что первобытные формы грабежа, руководившие целовальником, кулаком, возведены инородцами в самую правильную систему, облеченную в форму преимущественно увеселительную и рекомендующую бедности возможность обогащения..

Всеобщая потребность в этом обогащении, как видно, с каждым днем все более и более упрочивает успех опустошительного дела и не сулит опустошителям, повидимому, ничего, кроме барышей...

Но Антон Иванович Чижов, портной из Москвы, недавно прибывший в городок ***, не вполне согласен с этим.

— Грабить-то грабят — надо говорить по совести, — а не туда! Нет! Не в то место попадают! Нет...

Так рассуждает он, сидя с работой под окном маленькой хибарки своей родственницы прачки.

— В какое еще место попадать? — не весьма довольным тоном возражает ему родственница. — Кажется, и так живого места не осталось... Не в то еще место!.. Я слушаю, вы только любите разговаривать, а толку от ваших разговоров очень мало.

Антон Иванов принимается работать иглой, хотя вообще он весьма ленив, и молчит.

— Считаетесь вы московские, — продолжает родственница: — а не можете иметь столько ума, чтобы себя успокоить... Добрые люди за все принимаются. Тот розыгрыши... тот билеты... всякий ухватит по силе, по мочи... А вы только разговариваете: «не в то место!..» в какое это место? Я сама на билетах нищей стала — кажется, это им пошло... И это не барыш?

Антон Иванов вздергивает иглу все выше и выше над головой.

— Ну что вы иглой сделаете?.. Да в нашей стороне и брюк-то ваших никому не нужно... а считаетесь с умом, будто московские.

Родственница умолкает и, обернувшись к Антону Иванову спиной, сердито вскидывает на веревку против окна мокрое белье. Молчат они долго. Игла ходит тише и, наконец, останавливается совершенно... Антон Иванов приподнимает голову и не без робости произносит:

— Анна Карповна! не туда, матушка!.. Не в то место попадают-с! Ну что они наладили бить всё в мужика. Что у него есть, скажите на милость? Ну годик-другой потянут, а потом и шиш возьмут; у него и так одни онучи остались... Наладили одно — мужика обирать! Эко диво, ей-богу!.. А того не видят, что совсем не в то место

надо... Надо запускать дело так, чтобы в хорошее место оно было запущено...

— Погляжу, как вы будете запускать.

— Запустим-с... Позвольте оглядеться, ничего-с...

— В какое это такое место? Где такие клады у вас?..

— Запустим, — понижая тон до степени шопота, впрочем весьма самоуверенного, произносит Антон Иванов и почему-то вновь припадает к работе.

Разговор этот ведут не разбойники и не грабители, а просто бедные люди; и если у Антона Иванова разговор о запускании лапы сделался господствующим, то это произошло от особенных причин.

Антон Иванов был когда-то крепостной и по желанию господ поступал то в портные, то в лакеи, то в повара, нигде не успевая изучить дела, во-первых, потому, что его слишком быстро отрывали от одного дела к другому, а во-вторых, потому, что по натуре он отличался наклонностью к живописи и обладал в качестве талантливой натуры значительною художественною ленью. Лень эта прекратила стремление к живописи на нелепейшем изображении двух фигур неизвестного пола, лежащих подле лесу, не научила ни поварскому, ни портняжному искусству, помогая понимать дело лишь в общих чертах и потом скучать им.

Частая перемена мест и занятий, сталкивая его с разным народом, приучала задумываться вообще о жизни человеческой, а лень превратила эту наблюдательность в любовь к рассуждениям и обсуждениям. Работать с такими стремлениями у хозяина нельзя, и Антон Иванов работал один, работал кое-как, плохо, лениво, гнездился в глуши Москвы, не имея почти давальцев, хотя знакомых, с которыми можно потолковать, у него было много.

Таким образом, им было обсуждено все, что случилось с русским человеком в последние годы; но покуда все эти события были внове, толковать было можно спокойно, плачась на участь и не стесняя себя во всевозможных фантазиях: рассуждения эти происходили где-нибудь в бане на полке или под машиной в трактире за парой чаю... Но с течением времени современные новости начали утрачивать характер чего-то неопределенного и быстро стали окрашиваться оттенком стремления

к опустошению. Антон Иванов не мог не видеть этого и с каждым днем стал испытывать дух времени на своей шкуре: каждый день стали его таскать к мировому за худо сшитый жилет, за окороченный сюртук; стали его подводить под статьи, описывать, штрафовать, заключать в темницы. В то же время он видел, что это происходит не с одним им, что каждый день массы людей открыто подводят друг под друга какие-то непостижимые махины, от которых ничего не стоит сгинуть, подобно капустному червю. Это его обескуражило. Портное мастерство, с таким знанием, какое было у Антона Иванова, могло его привести к Сибири и каторге, так по крайней мере ему показалось. Стал он задумываться насчет нового какого-нибудь дела, но и тут стремление к лени оказалось помехой; ему не под силу было как-нибудь при помощи любовницы оборудовать буфет на железной дороге или открыть какую-нибудь «Сербию», представить себя тоже иностранцем, говорить «мой» вместо «я» и обыгрывать на биллиарде славянских братьев. Словом, повсюду открылось такое обилие разных ловкостей, подходов, махин, такое обилие людей, которые всё это понимали и как будто специально с давних пор готовились к обделыванию ловких дел, что у Антона Ивановича захватило дух. Потянуло его на родину, где потише, где можно удить рыбу и где, он помнил, были благословенные места...

С такими совершенно мирными наклонностями прибыл он в уездный городок ***, где у него была родственница и где он надеялся еще поживиться насчет своей вывески: «вновь приезжий из Москвы». Но, к удивлению его, здесь уже были «вновь приезжие из Петербурга», стучали швейные машины, и в заплесневелых оконцах глядели модные картинки. Все они уже пустили корни, обстроили свои дела практично, рассудительно, и не с ними можно было конкурировать лени Антона Иванова... Антон Иванов до такой степени оторопел, до такой степени остался без хлеба, что, дабы не быть выгнанным родственницей, с испугу заговорил необыкновенно храбро и разбойнически.

— Пустое дело!.. Ничего не стоит! — испугавшись, но, повидимому, довольно развязно сплевывая в сторону, говорил он относительно какого-нибудь нового увеселительно-грабительского явления. — Этак-то, конечно...

пожалуй — грабь... Да что толку-то? Навертел пустых билетов, да и обираешь — это, брат, не бог весть... Эко ухитрился!

— Ну как же по-вашему-то? — недоумевая перед этим самоуверенным тоном, вопрошала родственница, не успевшая еще рассердиться.

— Мало ли как можно.

— Ну да как же так? Вы говорите, плохо, — а у кого барыши-то? У них, — а мы голые... Как же хорошо-то, по-вашему?

— Да мало ли орудиев... Что ж я буду раздобарывать без толку... Дай время... Ухватим свое... Эко ухватились в самом деле! Ха-ха-ха!

Перебиваясь кое-как мелкой починкой у приказных, Антон Иванов хотя и не терял самоуверенного тона, но в душе глубоко надеялся, что все это должно прекратиться, что такому человеку, как он, будет легче. Но время шло и, так сказать, на крыльях своих несло все новые и новые виды людей легкой наживы. Родственница, втайне чувствовавшая, что во многоглаголании гостя спасения нет, — старалась подвигнуть его к действию и всякий раз, возвращаясь с работы домой, приносила ему какую-нибудь поучительную весть. «Вы бы, Антон Иваныч, на кладбище сходили, — говорила она: — например, люди говорят, какие там бабы устроили грабежи любопытные — так это очень, очень мило! Всё, может, надумаете... Мы тоже, сами знаете, чуть ходим... Право-с!» Антон Иванов шел узнавать о вновь открытых грабежах и приносил по обыкновению известие, что «пустое дело... эко выдумали». Оказалось, что старухи — подьячихи, мещанки и разные бесприютные древние вдовы — стали лепить к кладбищенской каменной ограде какие-то клетушки из земли и навоза или помещались в надгробных деревянных будочках с разрешения купцов-благотворителей, обмазывали эти здания глиной и, непрестанно поминая благотворителя о здравии, а усопших сродников его о упокоении, кое-как влачили последние годы жизни, причитая на похоронах и по окончании их рекомендуя посватать невесту — вдовцу, жениха — вдове. Но вообще в этой странной обители не было ничего, кроме сухих кусков пирога, злости, слез, холода, взаимной вражды, и Антон Иванов мог по совести назвать этот способ

наживы пустым и удерживать тайное негодование родственницы к его нерадению в пределах некоторой деликатности.

Но не всегда это случалось; так, однажды она принесла такую весть, которая прорвала ее негодование и ошарашила Антона Иванова совершенно безжалостно.

— Что вы всё только разговариваете, Антон Иваныч! — швыряя корзину с бельем на пол и опуская в изнеможении руки, закричала родственница, — подымитесь вы, поглядите, что только вокруг вас делается! Боже мой, боже мой! .. Ваш же дворовый, из одной с вами деревни, а жена пришла к обедне — шаль в триста рублей! .. Побойтесь вы бога!

— Какова шаль! .. — лепетал Антон Иванов, не зная, как быть. — Бывает шаль одна, а то... бывает тоже шаль... похуже Сибири... Чай, с мужиков все дерет?

— Со всех, со всех сос-словий!

При последнем слове она всплеснула руками, закрыла глаза и продолжала как бы в каком-то забвении:

— Ссо всех до ед-ди-нова... ах-ах-ах! .. Адвокат! Этакая механика... Будет вам торчать.

— Адвокат? Ну это, брат, не по рылу! ..

Антон Иванов побледнел от гнева, получив это известие; он не поверил ему и считал упреки напрасными.

— Не та морда-с, не из того кроена! — в гневе кричал он.

— Не в рыле... ах, не в морде! ах-ах-ах... Узнайте вы... возьмитеся сами, Христом богом прошу... Умрем ведь с голоду.

— Не из того материалу харя-с! Будьте покойны! — твердил Антон Иванов, дрожа и торопливо одеваясь, чтоб идти и удостовериться своими глазами.

Пошел он и удостоверился — обомлел. Родственница была права. Дворовый действительно оказался принадлежащим к тому бесчисленному сословию ходатаев, которые, покорясь духу времени, появились в опустошенной стране в качестве утешителей, берущих дань с темноты и отчаяния. Это не те более или менее настоящие адвокаты, которые знают дело и толк, — это та саранча, которая облепила углы улиц крошечными вывесочками с надписью: «адвокат для *хождения*», «здесь дают советы», «пишут просьбы», «принимают просителей» и т. д., под

которыми скрываются многочисленные удители рублей и грошей со всех опустошенных сословий, бьющиеся главным образом из-за «возложения» издержек на ответчика.

В комнате, куда вошел Антон Иванов, стоял стол с перьями и бумагами; на стене около него висел медный крюк с насаженными на него бумагами и небольшой портрет государя, что для простого человека делает это место официальным, где разговаривать много нельзя. У окна сидела женщина, видимо желавшая походить на барыню; она была в шелковом платье, глядела в окно и по временам зевала.

— Что вам угодно? — спросила она Антона Иванова довольно сухим и очевидно заученным тоном.

— По делам-с, — ответил тот резко и сердито.

— Это будет стоить двадцать пять целковых. Кладите деньги об это место, — объявила она, указав пальцем место на столе.

— Почему же так об это место класть? Есть ли этакое в законе-то? Кажись, нету-с. Я думаю так, что не было его, закону-то!

— Я в законах не знаю... Иван Дмитрич придут... вот у них узнаете... Это их заведение — чтобы беспременно об это место...

— То-то, надо быть, очинно рановато класть-то.

— Подождите их... я не знаю.

— Как не погодить-с, — сказал Антон Иванов и сел. В его лице и фигуре было что-то такое, что можно передать фразой: «уж жив не уйду отсюда, а возьму свое», или: «разорвусь, а не дамся жив в руки!» Стал Антон Иванов ждать. Женщина зевала, беспечно смотрела в окно и думала вслух о предметах совершенно невинных.

— И откуда столько мух? Надо быть, из дерева они родятся?

И опять зевнула.

— А из камня идет муха или не бывает этого? — обратилась она к Антону Иванову.

— Сколько угодно! — сверкнув глазами и сплюнув, со злостью ответил он, ибо беспечность, с которою разговаривала женщина, ясно говорила ему, что дела ее мужа идут превосходно и что житье ее покойное. Он решительно не мог понять тайны этой наживы.

Пришел Иван Дмитрич, следом за ним шел проситель. Иван Дмитрич походил по виду на трактирного лакея или уездного цирюльника, который «пущает» кровь. Войдя в комнату, он повесил картуз на гвоздь, сел за письменный стол, зашумел какими-то бумагами и обратился к мужику.

— Что вам угодно?

— Жалоба.

— Кладите деньги об это место. Это будет стоить три рубли серебром. Об это место кладите.

— Помене бы.

— Здесь не такое место...

Мужик подумал, поставил шапку на пол и вынул деньги.

— Об это место. По уставу. В чем дело?..

— Обида, ваше высокоблагородие... Понадеялся на человека, а пользы не вижу...

— Вы думали, что он вам ответит добром, но вам сделал зло? В нонешнее время завсегда так, я это знаю... Положили деньги? Так, так. Я это тонко знаю.

— Истинно так говоришь!.. Верно, что не ждал этого... Рассуди это дело.

— Будьте покойны, — придавая голосу искреннейший тон, говорил Иван Дмитрич. — Всякий человек по нонешнему времени делает пользу для себя, но не для других!

«Но не для других!» Иван Дмитриевич произнес это с полнейшим отвращением к человечеству и ударил себя в грудь.

— Так, так, — твердил мужик: — дай тебе бог за твою доброту.

— Потому что я знаю, — продолжая держать кулак на груди, говорил Иван Дмитрич: — я знаю, каково жить с честью; но во сто раз счастливее тот, кто ее не имеет.

— Так, так... дай тебе бог.

— Жена, позови писаря... А честного — защитить некому!

Мужик очевидно был растроган сочувственными словами ходатая, и видно было, что брать с него можно сколько угодно.

Антон Иванов только крякнул. Пришел писарь, старый подьячий со слезой в глазу; не глядя ни на кого, подвернул под локоть лист бумаги, припал к нему ухом

и загудел пером, как локомотив, пускающийся в путь со свистом. Мужик рассказывал ему, в чем дело, а в комнату входил уже другой посетитель, пожилой чиновник во хмелю и в большом огорчении. Последовал вопрос: что вам угодно?

— Да с места гонят! Штучка самая пустая... Ха-ха-ха, — заговорил проситель, стараясь быть развязным. — Двадцать лет служил честно, ну, и того... пожалуй, что этак без хлеба... хе-хе-хе.. пустое дело!

— Вы надеялись получить благодарность, а вместо того... — начал ходатай, впадая в искренний тон: — в наш век, кто имеет честь... да не желаете ли пива? Жена!

Проситель не отказался. Ходатай наливал ему пиво и говорил:

— Норовят всё для себя, но для других — извините! — мое почтение, да-с.

— Я двадцать лет терпел, — заговорил проситель. — Двадцать лет — и что же? Из-за чего же? Помилуйте!.. Не более, как кружка баварского пива, и — нищий — господи боже мой! . Что же это такое? Знаешь портерную, новую, из Петербурга? Ну, вот!.. Я ведь сам петербургский... Я до шестнадцати лет жил там... И кой-что видел... Помню — булочная была; не знаю, есть ли теперь?.. мы туда часто хаживали, была там. ну, да что! И на Крестовском и в Екатерингофе (проситель в унынии тряхнул головой и рукой)... Но, что называется, дышал, жил.. как бы то ни было, а хорошо! Жил! Потом сюда, женился, дети... Знаешь жену?..

— Б-лагор-родная дама, — затянул было ходатай, кося глаза.

— Благородная?.. — вопросительно произнес проситель, на мгновение остановившись, но тотчас же продолжал: — Ну — да это в сторону... И двадцать лет — понимаешь — безвыходно. . Не имею прав — дети! Жену знаешь? — что это такое? Это, братец ты мой... Ну, все равно! Говорю по совести — потерял смысл человеческий, ум, все! Околел! А внизу у меня... заметь это — это очень важно, очень к делу, а внизу у меня помощник с семейством — квартира казенная, заметь это! Записал? Налей!..

Иван Дмитрич налил стакан, говоря:

— Потому что у вас добрая душа... вот что я вижу.

— Погоди, погоди — не торопись! — выпив стакан залпом, остановил его чиновник. — Погоди, брат... Что дальше. Так ли, сяк ли, но прихожу я, понимаешь, к издыханию. Молю смерти, как утешения, как спасения! Только, братец ты мой, пошли эти чугунки, то, се, — гляжу: портерная петербургская — ба! думаю... Что, думаю. Что, думаю.. Что такое? Какими судьбами? Зашел — в кармане двадцать копеек. Захожу: газеты, порядок — прелесть! Превосходно! Выпил кружку — пятачок, выпил другую — пятачок, отлично! читаю газету, сижу... наконец, чорт возьми, ведь, ей-богу, на душе легче! Что же? господи! Надо же ведь что-нибудь, ведь...

Проситель остановился в сильном волнении, упершись на мгновение глазами в пол, но тотчас же очнулся, ударив кулаком по столу.

— Ведь лицо-то у ней веселое! Ведь идет она с кружкой — не ткнет ее в рыло... смеется ведь, чорт возьми! Что мне немка? Мне пора в гроб, а главное: «шпрехен зи дейч?» отвечает — «я!», а не то что... Знаешь жену-то? Главное, по-человечески... что-нибудь... Зла нет! Не оскаливает зубов, не шипит, как змея... Ведь тоже вспомнишь — когда-то. А — да чорт возьми...

— Успокойтесь! — говорил Иван Дмитрич... — При вашей совести... при доброте благородному человеку, ах, как трудно...

— А-ах, брат, как... Ну, выпил, истратил там... копеек двадцать... дрянь какая-то! Пошел домой, — понимаешь — домой!? Вспомнилось все это, и там, знаешь, внутри...

Проситель вертел кулаком на груди, и лицо его выражало какую-то отвратительную боль...

— Горит! — подсказал Иван Дмитриев. — По доброте и по совести...

— То есть именно — горит! Воротит это прошлое... Противно идти... Идти-то противно, брат, — четыре кружки выпил да на немку взглянул — не могу! .. Но пришел. «Прррапоица!» Это, изволите видеть, оне шипят из-под одеяла, как зм-мея под-кол-лодная, чорт их по-

бери всех! Это двадцать лет шеи змеиные встречают меня... Ах ты, чорт возьми! Зашипела... я — палкой!.. В первый раз в жизни! Перед богом клянуся, вот перед спасителем... Когда вы мне дадите покой? Я не могу, я человек... Я взбешен. Наконец, чорт возьми, надо же... Тут уж я все, за всю — и не помню!.. И помощника! Прибежал он снизу — и его! Раскроил всех и вся! А помощник двадцать лет под меня подъедался, двадцать лет, шельма, точил зубы, анафема! Это потому, что мне выдают свечи казенные, изволите видеть? Два пуда восемь фунтов, да погреб у меня свой, а у него нет, так двадцать лет искал случая... А тут чего лучше? Не обмыл даже, а так, в крови, повез рожу в губернию... А главное что? (тут проситель как будто отрезвился и заговорил шопотом) а главное что — взял я как-то раз, не помню, какие-то пустяки из казенных... Только обернуться до жалованья, десять, пятнадцать... Словом — вздор, на крестины... И помощник, подлец, был... и пил и жрал... Да и самому я выдавал ему... Так и это, подлец, натявкал там... И это!.. Но я не прощу, я этого так не оставлю... Нне-этт! Я умер на службе... Я... чорт знает, не знаю я новых порядков... реформ... Самому бы надо писать-то... Все по-другому.

— Большие реформы-с, — с снисходительной улыбкой произнес ходатай: — очень громаднейшие... Это вам весьма трудно...

— То-то порядка не знаю... А уж не расстанусь — нет — нет.

— Как можно этакое дело оставлять-с... Опытный человек, который имеет стыд, совесть, честь... Это будет стоить на первое время пять серебром.

— Пять?

— Пять-с... Об это место кладите деньги — по уставу...

— По уставу?..

— По случаю судебных установлений... — лепетал ходатай, шумя бумагами.

Проситель обомлел.

— Пять?.. — переспросил он.

— Которые двадцатого ноября вышли установления, то по установлениям...

— На̀ — пять целковых! — перебил проситель, поднимаясь: — только уж обжечь их, то есть чтобы... На̀ — пять целковых!

— Об это место...

— Ладно! какие места! Но чтобы — обжечь! .. понимаешь — последнее отдам... Но чтобы уж пополам разорвать... Не пощажу! .. Запиши: я немку тронул за локоть один раз! Понимаешь? Один... шутя... Там (он показал через плечо) строчат другое... Змеи-то... Но в сущности — только тронул раз... Больше ничего... Запиши.

— Архаров! Запиши!

Приказный завертелся над бумагой волчком.

Антон Иванов, глядя на эти сцены, почти дрожал от страха. Все, что он видел до сих пор, покрылось непроницаемым мраком. Тут били действительно во все места и сословия, и тайна этого битья и грабежа была ему совершенно непостижима. Он видел только, что деньги брались единственно при помощи фразы: «кладите об это место», но почему люди покоряются этому — не знал, не мог постигнуть. Здесь было что-то таинственное, чем небо наделяет людей редко и чего у Антона нет; бесхлебье расстилалось перед ним ужасное.

Еле-еле он доплелся до дому; в горле у него пересохло, лицо вытянулось, и нужны были громадные усилия для того, чтобы собрать последние силы и пролепетать родственнице:

— Не в то место... попад-дают...

Кое-как пролепетав это, он тотчас же схватился за жилет, припал к нему иглою и глазом; но жилет выскочил у него из-под рук, а самого его шатало из стороны в сторону.

— Когда ты-то попадешь, проходимец! — заревела родственница на него, окончательно потеряв всякую возможность снисходить к московскому гостю.

Антон Иванов не мог пикнуть слова.

III

Если бы вновь появляющееся воронье действовало, к стыду Антона Иванова, постоянно с таким же успехом, как ходатай, то можно сказать положительно, что он

давно был бы уже выгнан родственницей вон из дому. Это непременно случилось бы, если бы его не поддерживали некоторые случаи промахов, иногда замечавшиеся в действиях опустошителей. Так, между прочим, был случай с одним трактирщиком, устроившим свой трактир против здания мирового съезда, в котором обыкновенно бывает много господ. Трактир был устроен по-столичному, то есть цены были хорошие, и замечалось стремление избегать возгласов: «половой! черти!», заменяя их по возможности звонком. Съездов было много, и в трактире тоже дело шло хорошо. Но вникая во вкусы господ, трактирщик задумал пригласить певицу, брошенную в уездном городе проезжим фокусником за ее пьянство. Певица была француженка, и если незнание ею туземного наречия чуть не свело ее с постоялого двора в гроб, то и туземец трактирщик тоже немало попотел от той же причины.

— Как дела? — робко спросил его Антон Иванов по приобретении певицы.

— Кажется, тыщи рублей не взял бы этак срамиться, как она понуждает! — в гневе ответил ему трактирщик. — Должен я перед ней, перед шкурой, по-куриному кудахтать да по-бараньи блеять. Что это такое? Чего стоит?

— По какому же случаю блеяние?

— Да ведь надо ей, шкуре, объяснить, что готовили? Ведь она галдит или нет? Скажу я ей — «баранина», для нее все одно: тьфу! Ничего не стоит... Ну, станешь перед ней этаким манером: «бя-а-а». Шельма! И лакеи-то несогласны! Сам принужден. Прогнал бы, да ведь должна сколько! разочтите. Собака немецкая...

Такие эпизоды очень радовали Антона Иванова. Он воскресал духом и мог снова воскресить перед родственницей свою фразу:

— Не туда-а! Я это видел вон когда! А вы серчаете. Как можно! Нешто это не видно? Оно-то сначала и ловко идет, а вот повернулась штука, и сел!.. Вон трактирщик-то теперича по-куриному кудахчет!.. Вот они барыши-то!.. А вы говорите... Надо оглядеться... Места есть!..

Так утешался Антон Иванов и все-таки не надолго, потому что промахи ловких людей заглаживались скоро, и трактирщик, например, почти мгновенно вышел

из беды, как только певицу пронюхали железнодорожные люди, с появлением которых где бы то ни было начинают бить фонтаны шампанского. Таким образом, вообще Антону Иванову приходилось радоваться недолго, и положение его было поистине ужасное. Родственница стала говорить ему «ты» и обращалась с ним необыкновенно грубо — и чашку со щами старалась швырнуть ему так, чтобы щи по возможности улетели за окно. Поощряя таким образом его энергию, она продолжала приносить вести о разных новых способах для наживы, открывавшихся то там, то сям. То приносила она ему, например, известие о том, что невдалеке живет богатый барин, бездетный вдовец, запершийся наглухо «после крестьянства». Десять лет он никого не пускает на глаза, не знает, что было и что есть, что случилось, ничего не хочет слушать и лежит неподвижно да плюет и молчит. Служит ему старый лакей. Для лежанья у барина устроено множество кроватей, но есть слух, к вечеру эти кровати до того ему надоедали, что он шел к лакею и говорил: «Дай-ко у тебя лечь!»

— Вот ты всё места выдумываешь, — выговорила родственница. — Поди да выдумай ему что-нибудь. Угоди!.. Может, и ухватишь что-нибудь на свою глупую голову. Пошел!

Антон Иванов сбегал к помещику, но тот пустил в него пулю из револьвера в окно и гаркнул: «Реформаторы! Канальи...»

Убежав от смерти истинно благодаря провидению, он был тотчас же отправлен неутомимою родственницею в другое место. Тоже неподалеку от уездного города жили старики помещики: один отец, другой сын, оба помешанные. Помешательство у них было наследственное. Помешаны они были на орденах и наградах, которые в прежнее время привозили им уездные чиновники ради смеха, а теперь их обстроивал какой-то человек неизвестного звания, нанятый опекунами. Комнаты их были наполнены целыми грудами бутылок, битых горшков, обносков и т. д. Все это в разное время навалено к ним разными депутациями в дар. Говорят, депутации имели при этом выгоды. Антон Иванов застал их в сильной ссоре; грызлись они постоянно из-за краж, которые делали друг у друга; дело происходило в ободранной зале,

сумасшедшие сидели в креслах друг против друга, в коронах из индеичьих перьев и в мантиях; один из них имел голые ноги. Выражение их лиц было то же, какое бывает у петухов, когда они собираются драться и злыми, вытаращенными глазами смотрят друг на друга.

— А ты у меня украл арр-деночки? — захлебываясь, прохрипел, наконец, один из них, и голова с короной затряслась от гнева.

Другой как бы онемел от злости. Глаза его, казалось, хотели выскочить вон, губы дрожали и, наконец, тоже захлебываясь, произнесли:

— А сам-моварчики ты украл мои?

Казалось, начнется драка, но первый из них заплакал, а за ним и другой.

— Ну-ну! — грубовато заговорил неизвестный человек, появляясь среди рева. — Не шуметь! .. Вот вам новые ордена прислали.

И он сунул им в руки по куску картона с какими-то рожами и большими печатями.

— От обезьянской царицы... Сидите смирно, а то отниму... Теперь вы оба обезьянами считаетесь. Чуете? Оба! .. Передеретесь, ежели вас порознь наградить... Ну, — пошли по своим местам.

Старики радостно захныкали и бросились по разным комнатам. Антон Иванов увидел, что место уже занято...

Разогнав господ по своим местам, человек неизвестного звания уселся на крыльце и принялся что-то вырезать из картона.

— Что это вы? — спросил Антон Иванов.

— Да вот короны нужны новые... Обижаются, когда нет награждения...

— Место у вас хорошее! .. — умильно сказал Антон Иванов.

— Опека это утесняет... А то место — что же? Ничего... Да что, местов много... Поискать, так такие ли? Наш брат найдет. Только что вот опека не дозволяет сделать настоящего запуску! .. А то ничего!

— А есть места-то? — со вздохом спросил Антон Иванов.

— Места-то? Боже мой, есть какие места! В случае чего опека... я такое место разыщу — сиди сложа

ручки да клади в сундучок на замочек... Эдак-то! Места есть — только поискать!

Как хотелось Антону Иванову именно такого места, где бы нужно было выдумать какую-нибудь невинную ерунду и получать довольствие, не разрываясь на части и не разбойничая окончательно. Между тем родственница своими ругательствами доводила его до того, что он должен был обещать ей бог знает что.

— Сделайте милость, дайте оглядеться, есть места! Богом вам божусь! — лепетал он, прижукнувшись в углу.

— Чего оглядываетесь? Оглядываетесь, оглядываетесь, а не можете... ограбить...

— Ограблю-с! — трепеща в углу, обещал Антон Иванов, моля бога о теплом месте.

IV

Наконец-таки отыскалось такое место. Это случилось в то время, когда Антон Иванов начал уже бегать от своей родственницы кое-где, боясь попасться ей на глаза. Был он таким образом в одной лавке, где уездные обыватели собираются толковать и посидеть, и услыхал здесь нижеследующий разговор.

— Что барин ваш? Жив ли? — спросил лавочник толстого и плотного управляющего, к которому вся лавочная компания относилась, повидимому, с уважением.

Управляющий барабанил пальцами по прилавку, сидя около него на стуле, и нехотя ответил:

— Забросили мы его, нашего барина... Теперича своя забота на плечах — земля... Да вот дом поглядываю купить... свои хлопоты! Будет барину-то, послужил ему... Теперича и по годам-то мне не подходит выдумками заниматься — уж я выдумывал, выдумывал...

Управляющий махнул рукой:

— Пущай другой кто!

— Какая же собственно выдумка вас утомляет? — спросил лавочник.

— Мало ли я ему выдумывал чего? Ведь он у нас, барин-то, совершенно вроде очумелого. Ну, и надо ему разное... по понятию... Ну — выдумал я ему примерно

корпию... Значит, чтобы щипал, только бы не брюзжал, в покое нас оставил. Выдумал я ему эту щипню — годика два щипал прилежно, все я ему, признаться, старье свое носил, например обноски... Само собой — на счет ставил... Только что же он выдумывает? — Давай ему цельного, из дюжины... С ума, мол, ты сошел? Все одно драть-то тебе, что обноски, что... Уперся. «Лучше же я, говорит, новые салфетки буду щипать и простыни... Это мне надолго удовольствие»... Каково вам покажется?

Все общество нашло, что барин очень чуден.

— Да что, — добавил управляющий: — щипня щипней, а еще умудряется свечку, не стеариновую, а нарочно сальную, около себя ставить. Это чтобы не скучно было, чтобы мы ходили снимать, когда свеча нагорит! А? Каково это? Нас-то замучил совсем, иной раз часу до шестого утра щиплет.

— Эдакие попадаются дворяне любопытные! — сказал лавочник. — Как же теперича? Щипня или что?

— Да уж, признаться, и не знаю... Неохота и ходить-то... Что мне? Бог с ним совсем... Жду вот, как дочь выйдет из ученья, — брошу... Иной раз зайдешь — бросишь ему салфетку — схватится, побежит. Пущай кто другой выдумывает, с меня будет. Сыт. Авось, проживу... Да и не придумаю уж — стар.

Слушая этот разговор, Антон Иванов почуял в словах управляющего нечто такое, что необыкновенно подходит к его талантам. Ему показалось, что именно здесь он может удовлетворить своему желанию: выдумке и совместному с нею пропитанию. Кое-как выждав, когда управляющий выйдет из лавки, Антон Иванов потихоньку вышел за ним, догнал его на дороге и объяснил, сняв шапку, желание попробовать себя перед диковинным дворянином.

— А мне что? — сказал управляющий: — иди да выдумывай. Мое дело — сторона. Я сыт. Благодарю моего бога — больше не желаю... Признаться, только бы ноги уплесть.

Слова управляющего, повидимому достаточно покормившегося на счет диковинного дворянина, были необыкновенно ободрительны для Антона Иванова. Не откладывая дела в долгий ящик, он тотчас же вознамерился отправиться в Васильково, где обитал сказанный

дворянин, и только на минуту забежал к родственнице уверить ее в бóльших предстоящих ему грабежах...

Родственница была довольна, хотя и не преминула на прощанье заметить, что если и теперь он не сделает надлежащую «запуску», то ему будет очень плохо...

— Лучше утопись, а уж ко мне глаз не показывай... Довольно я тебя кормила — борова. До свиданья!

Антон Иванов еще раз уверил относительно размеров и успехов грабежа и ушел.

Действительно, место оказалось чудное. Поместье Павла Степаныча Василькова лежало в десяти верстах от города, в прекрасной степной равнине. Издали оно представлялось каким-то цветущим оазисом, группою густых цветущих кустов и высоких темных деревьев, приятно действовавших на глаз смешением разнородных оттенков зелени, форм листьев и общих фигур разнообразных растений. Среди этой прекрасной растительности, оставленной без присмотра, помещалась господская усадьба, с старинным барским деревянным домом дикого цвета, с пристройками, людскими, банями, погребами и проч. Видно было, что хребты когда-то крепко поработали для господского удовольствия, роя пруды, прокладывая дорожки, строя беседки, гроты, мостики; но теперь не видать этих хребтов вблизи построек, и природа обильною растительностью и разрушением хочет загладить господский грех в пользовании терпеливостью этих хребтов.

Темные и сверкающие, как черный атлас, пруды лежат неподвижно, с каждым годом все более и более зарастая по краям густою травою, которая вместе с тяжелыми ветвями бузины и рябины мочит свои цветы и красные ягоды в темной воде... Мельничное колесо давно уже стоит неподвижно. Фантастические, выгнутые мостики еле держатся над тихо журчащими ручьями — кое-где нет доски, кое-где опали перила; кругообразный грот, напоминающий тулью старомодной женской шляпки, осел набок; от столика осталась одна подножка; стены, обклеенные когда-то бумагой, облупились, и болтающиеся лоскуты бумаги обнаруживают наблюдателю обилие исторических документов, неизвестных любителям старины... Дорожки покрылись яркозеленым мхом. В людской разбиты стекла; кое-где они заткнуты полушубками; на балконе господского дома, выходящем в сад,

под самую дверь намело песку, и видно, что нога человеческая давно не была здесь. Постоянный шум разросшихся деревьев, перемешанный с отдаленным и редким стоном флюгера, производит на душу посетителя усадьбы самое тягостное впечатление. Почему-то делается вдруг холодно, хочется завернуться потеплее, уйти в комнату.

В доме действительно тепло. Он сделан прочно, на старинный манер обит войлоком, законопачен и защищен густым и пустынным садом. Широкая барская передняя может порадовать человека, любящего вспоминать старину. Кругом широчайшие лари, и на них позабыты полушубки, на которых, очевидно, только что валялся лакей. На окне счеты, чернильницы с мухами, на стене старинные часы, сделанные именно, кажется, для того, чтобы напомнить человеку о непрочности всего земного; каждый медленный размах сверкающего маятника как будто отхватывает чью-то голову и уносит кого-то в вечность... А глухое нытье, сопровождающее эти размахи, почему-то напоминает о глаголе времен, о столе с яствами и о гробе... Жуткое ощущение, производимое часами и подкрепляемое отсутствием людей, может быть отчасти рассеяно присутствием на конике картуза с Жуковым табаком.

Сколько в самом деле пленительных воспоминаний рождает в заезжем наблюдателе этот лев, изображенный на картузе и поднявшийся на дыбы при виде слов «Мариланд — ду!» Право, только благодаря этому картузу и едва-едва весьма тонко доносящемуся откуда-то мариландскому запаху решаешься вступить в господские покои. Но здесь опять — часы, приближающие ко гробу, потемневшие золотые рамы с напудренными портретами дам, улыбающихся таинственными улыбками, кавалеров с разбойничьими взглядами, с таинственным конвертом в руке, с зрительною трубою подмышкой; на блестящем полу с черными нарисованными звездами неподвижно стоят старинные красного дерева стулья и кресла с золотыми львиными лапами и оскаленными, тоже золотыми, львиными мордами на углах спинок и на ножках; черная узенькая люстра с лирами, образующими нижний круг, в средине которого стекло. Тишина и шум ветра... За первой комнатой тянется другая, темносиняя комната, где становится еще тяжелее, потому что таинственные

улыбки и разбойничьи взгляды портретов выдаются резче, живее. Неподвижно стоят подсвечники — медные, аляповатые, изображающие фигуры мумий с квадратными египетскими лицами и мертво закрытыми глазами. Почему-то делается так жутко, что ветер, гудящий в саду, начинает казаться отдаленными стонами тех, кому с каждой секундой прекращают жизнь размахи маятника... Троньте за крюк небольшой органчик, помещающийся в углу, — из него послышится звук, похожий на щелканье челюстей, потом что-то заскрипит, намереваясь изобразить графа Парижского, но заскрипит так, что крюк невольно выпадает из руки, и в пустых покоях останется какая-то стонущая нота, которая долго-долго плачет надо всем, что вы видели... Хочется убежать в одну, в другую комнату, хочется человеческого лица, света, солнца... Везде пусто и томительно...

Но вот наконец, благодаря мариландскому запаху, вы добираетесь и до человеческого лица. В маленькой угловой комнатке перед вами очутилась фигурка господина Василькова, фигурка иссушенная, дряхлая, маленькая; на седой голове надет большой, старинного фасона картуз; из уха торчат седые волосы и вата; большие, повидимому очень живые, но в сущности детские глаза смотрят в стену; костлявая рука, испещренная складками, недвижно держит длинный черешневый чубук, шевелит губами, жует, причем слегка шевелятся отвислые складки подбородка, покрытого серебряной щетиной. Маленькое тело Павла Степаныча облечено в несколько ваточных халатов, а на ногах надеты мягкие козловые сапоги, не производящие ни малейшего шума и скрипа. Фигурка изредка хватает дряхлыми губами чубук, сосет, пускает дым, который неподвижным облаком стоит над ее головой и только чуть-чуть шевелится у отпертой двери...

Павел Степаныч несколько уже раз крикнул: «эй!» и несколько раз постучал в пол трубкой, но на его зов никто не явился: слуги действительно бросили барина; в каменном флигеле с окнами, заткнутыми полушубками, теперь слышится гармония и по временам смех — барин, очевидно, погодит, «не умрет». Барин действительно не умирает, и ему долго приходится кричать «эй!», покуда не услышит этого старая, полуглухая старушка, помещающаяся неподалеку от барской комнаты и считав-

шаяся когда-то первой господской любовницей. В широком чепце, старушка эта целый день роется в каких-то сундучках, перекладывая барское белье из одного места в другое: она боится, не пропало ли что, все ли цело; она одна только постоянно помнит барина и то время, когда он ее осчастливил; вспоминает сыночка, который по повелению барина был скрыт в бедной семье и там умер. Старушка думает, что ежели б барин был тогда в деревне, а не в Москве, то сынок был бы жив. Она хранит эту веру в барина и живет ею в то время, когда барин ничем не живет, никого не любит и если вспоминает какое-нибудь время, то уж вовсе не то, про которое думает старушка. Когда-то барин этот — единственный сын богатых родителей, начавших свой род в одно из царствований прошлого века, — был то, что называется Нарциссом. Почти с детских лет он вступил в занятия, так сказать, купидонными делами в качестве пажа; судя по его юношескому портрету, это был действительный купидон — мальчик, похожий на девочку; это было то, что дамы того времени называли «ангел». Ангельский образ сохранял он довольно долго; он не буйствовал, не кутил, не растрачивал наследия, но, напротив, приумножал его, действуя при помощи исконных средств — батожья во всех формах и видах. Сам он никогда не присутствовал на конюшне — это было ему не по нервам, — но делал все это при помощи грациознейших мановений верным рабам, помощью изящнейших посланий на французском языке и на превосходнейшей бумаге с целующимися голубками... Все это делалось за стеной, все это не было слышно, и Павел Степаныч получал только благие результаты: оброки, крестьянских девок, улыбки московских красавиц, впоследствии старушек, ласки их мосек. Никогда не истратил он лишней копеечки, никогда не находилось у него на копейку чувства — он до седых волос остался холостым. Но на старости лет его успехам и купидонству был положен конец. Сластолюбивый старичишка задумал жениться на первой тогдашней московской красавице, пользуясь затруднительным положением ее семьи. Брак состоялся самый торжественный, но по окончании венчания молодая жена простилась с ним и уехала неизвестно куда. Говорят, она любила уже другого. Это обстоятельство на весь мир опозорило

всепобеждающего Нарцисса. Он уехал в деревню и с тех пор не показывался в столицу никогда. Суматоха, происшедшая на церковной паперти, когда убежала жена, не покидала его воображение никогда; ему каждую минуту был ощутителен грохот насмешки родных, знакомых, целой вселенной. И каждую минуту он сохранял неослабевающую силу презрения ко всем им. Забившись в деревню, он усилил стремление к скопидомству — строил, перестроивал, рыл пруды, разводил сады, тиранил народ, как образцовый злодей, развратничал, не церемонясь ни пред чем, — и все это делалось тихо, почти без разговоров. Но время, наконец, взяло свое. Года запретили развратничать, воля была связана, одиночество томило, голова отказывалась не только вспоминать прошлое и утешаться им, но и вообще думать. Захотелось что-то воротить, поглядеть какие-то лица, но оскорбленное тридцать лет назад самолюбие со старостью еще более разрасталось, потом приезжал какой-то человек, извещая о смерти жены, — Павел Степаныч его не принял. Заглядывали знакомые, после двух-трех слов жаловавшиеся на безденежье, — Павел Степаныч не отвечал ни слова и уходил, гордо неся вперед свое презрительное рыльце.

Но одиночество, душевная пустота и старость делали свое дело; раззнакомившись с обществом, родными и знакомыми, которые сами бросили его, проведав непривлекательную для них сущность написанной им духовной, он все-таки должен был как-нибудь наполнить свое время, занять чем-нибудь душевную пустоту и старческую мысль. И вот он попал в руки челяди. Управляющий, встретившийся с Антоном Ивановым, забрал в руки барина помощью самых простых средств. Стал он выдумывать ему разные развлечения, подходившие к невинным стремлениям души умирающего Нарцисса. Старик-ребенок пристращался к занятию с истинно детским увлечением, и как только управляющий видел, что барин увлекся делом, тотчас же начинал ломаться и говорил, что ему нужно ехать на родину. Павлу Степанычу было страшно остаться одному: он видел, что тоскливыми упрашиваниями остаться с прибавлением плачущего: «пожалуста, пожалуста!» — взять нельзя, и принужден был удерживать приятного собеседника помощью денег... Так было достигнуто уничтожение в нем скупости —

началось доение. Доили его все слуги, действуя помощью той же методы устрашения. Только старушка, бывшая любовница, в своих заботах о барине поступала совершенно бескорыстно. Оставленная без призора, она едва ли даже была всегда сыта: по крайней мере кроме чаю, который был в ее каморке постоянно, у ней не встречалось другой более сытной пищи. Такими-то выдумками и устрашениями хранители старости Павла Степаныча пробавлялись довольно долгое время, и кажется, наконец, действительно все стали сыты. Управляющий набил свой дом всяким добром; у его жены под замком можно было встретить жалованные табакерки, бриллиантовые перстни, много серебра и т. д. Часто то же попадалось и у других охранителей. В тот момент, когда в Васильково пришел Антон Иванов, все были уже настолько удовлетворены, что могли забросить барина и желать — унести ноги подобру-поздорову: барин может умереть, наедет начальство, пойдут отчеты, откроются описи и т. д. Все это дало беспрепятственный ход Антону Иванову. Управляющий сам показал ему барина, рассказал его характер и желания и дал даже некоторые наставления.

— Ну, — сказал он Антону Иванову: — хлопочи, как знаешь... кормись...

— Надо кормиться!

— Как не надо! .. Умудрись как-нибудь... А как увидишь, что по вкусу, — упрись! это первое дело: «прощайте, мол, оставайтесь одни!» Так-то: «бог, мол, с вами!» Понимаешь?

— Коли так, надо упираться!

Антон Иванов говорил тоном человека, поставленного в необходимость делать так, а не иначе, и, напутствуемый желанием управляющего, выраженным словами: «ну хлопочи, умудряйся как-нибудь...», принялся умудряться...

На другой день по прибытии он вошел к Павлу Степанычу, помолился на образ, поклонился барину и положил к нему на стол хлопушку.

Павел Степаныч поглядел на вошедшего, однако взял хлопушку в руки, стал разглядывать.

— Вы вот как-с... — робко кашлянув и заискивая, произнес Антон Иванов: — вы вот этаким манером, Павел Степаныч.

Осторожно вынул он хлопушку из господских рук, подождал муху, хлопнул по ней и убил.

— Вы этаким вот манером.

Павел Степаныч торопливо взял у него хлопушку и сам убил муху.

— Ах, как вы ее наметили превосходно! — сказал Антон Иванов.

Лицо Павла Степаныча прояснилось. Он улыбнулся весело и стал хлопать по столу все чаще и чаще.

— Так, так! хорошенько их... Вот эту-то купчиху звезданите! — приговаривал Антон Иванов.

Выдумка удалась. Через несколько минут, поощряемый Антоном Ивановым, Павел Степаныч поднялся с кресла и, еле передвигая ногами, поплелся с хлопушкой в другую комнату, хлопая по двери, по стеклу, по стене и радостно смеясь при каждом удачном умерщвлении. «Пожалуста, пожалуста!» — застонал Павел Степаныч, когда Антон Иванов — тоже весьма обрадованный успехом — хотел на минутку сбегать посоветоваться с управляющим. Кое-как он отделался от барина, уверив его в скором возвращении.

— Упираться ай нет? — радостно спросил он управляющего, рассказав, как было дело.

Управляющий пил в это время чай и, занятый своим делом, не сразу ответил Антону Иванову.

— Повремени упираться... Покудова, — сказал он, подумавши и сообразив: — обгоди. Надо это дело разыграть попуще. Мух этих... Надо их разыграть, а потом упрись. Тогда так.

— Каким манером?

— Это уж твое дело. Я тогда скажу, когда нужно упереться.. Другого покуда не надо. Он и сам скоро не бросит.. Только надо расцветить это дело...

Антон Иванов призадумался и, тем не менее, должен был заняться разыгрыванием игры в мух до таких размеров, чтобы они охватили все существо Павла Степаныча. В этом ему оказывали содействие и старые охранители барина, уже достаточно сытые лакеи, руководствовавшиеся при этом убеждением, что надо дать хлеб бедному человеку — не все себе, а главное, желавшие свалить с своих плеч все это дело. Выдумано было таким образом: сначала подбирать убитых мух

на тарелку; потом принято во внимание, что не худо вести им подробный счет; затем придумали собирать каждый убой в отдельную банку. Бывали моменты, когда воображение Антона Иванова как бы истощалось, и он начинал поговаривать управляющему: «не пора ли упереться?», но управляющий говорил, что еще не время, и рекомендовал продолжать разыгрывание.

Антон Иванов что-нибудь еще выдумывал.

Таким образом однажды такой простой акт, как битье мух, был разыгран в приюте Павла Степаныча на манер какого-то представления в нескольких актах и какого-то идольского служения. Из комнат Павла Степаныча тронулось шествие, предводительствуемое Антоном Ивановым и направлявшееся из одной комнаты в другую. За Антоном Ивановым дрожащими ногами торопился Павел Степаныч с хлопушкой в дрожавших руках; халат его распахнулся, глаза оживлены; почти на каждом шагу он оглядывается назад, где шествует лакей с подносом, усеянным мухами; его интересует и беспокоит, все ли цело на тарелке! За лакеем с подносом шествует еще лакей, обязанность которого подбирать убитых, а за ним еще несколько лакеев зрителей, в случае нужды помогающих Антону Иванову по доброте своей. В конце шествия видна наблюдательная фигура управляющего.

— Бейте! — возглашает Антон Иванов, останавливаясь у зеркала.

Павел Степаныч, трясясь всем телом, убивает муху.

— Двести двадцать пять! — возглашает Антон Иванов. — Пожалуйте еще! Синяя, редкая! Превосходно. Двести двадцать шесть... Подбирайте! Держите счет вернее!..

Подбирающий мух пособник кладет трупы на поднос. Павел Степаныч оглядывается — положил ли он, и трясется от волнения.

— Мы ведем счет по-божески, — говорит пособник. — Будьте покойны...

— Пожалуйте! — возглашает Антон Иванов, останавливаясь около мухи и оборачиваясь лицом к Павлу Степанычу: — р-аз! Первый сорт!.. Отодвиньте комод! за комод упала.

— Отодвиньте комод! — слышится в толпе зрителей.

— Комод отодвиньте! — прибавляет издали управляющий.

Несколько человек принимаются ворочать комод, причем из-за него вылетают клубы пыли. Для большего возбуждения Павла Степаныча муху никак не могут найти и даже говорят: «Бросьте ее, Павел Степаныч! Шут с ней!»

— Как это можно! Барин муху убили — верно... — горячится Антон Иванов.

— Я... ее... убил! — лепечет с гневом Павел Степаныч.

— Как можно! Она там! Это верно!

— Нету мухи! — говорят из-за комода.

Волнение Павла Степаныча достигает высшей степени. У него дрожат все складки лица, не только руки и ноги; он вытаращивает глаза, хочет что-то сказать, но только чавкает отвислыми перекошенными губами.

— Врете вы! — возражает Антон Иванов. — Ежели я сам примусь искать, я найду-с... Это ваше нерадение... Вот она, муха-то, а вы говорите: нету.

И Антон Иванов выносит из-за комода муху, говоря лжецу:

— Стыдно вам!

— Я, Антон Иваныч, думал ее в счет не класть, — оправдывается лжец. — Ведь одна нога осталась, барин ее как охнули... Что ж ногу-то одну...

— И ногу в счет! Барин муху убили — она должна быть в счету. Это не ваше дело — вы должны спросить у барина... Класть эту, Павел Степаныч, штуку или нет? — вопрошает Антон Иванов барина.

Павел Степаныч сурово смотрит на лжеца, потом на муху и едва слышно произносит:

— Класть!..

— Говорено вам было?

— Виноват! — кается лжец.

С теми же приемами искусственных волнений устраивалось считание мух, закупоривание их в банку; интерес Павла Степаныча обыкновенно возбуждался тем, что непременно недосчитывались двух-трех штук и поднимали по этому случаю возню, ссору, суматоху; оправдывались, уличали друг друга; Павел Степаныч дрожал, сердился,

но Антон Иванов по обыкновению поправлял дело — и лицо Павла Степаныча сияло...

В такую-то минуту управляющий, наконец, шепнул Антону Иванову:

— Упрись!

— Время ли?

— Делай упорство без разговору...

Антон Иванов собрался с духом и сказал:

— Прощайте, Павел Степаныч! Оставайтесь одни!.. Бог с вами!..

Павел Степаныч чуть не зарыдал...

«В самое время наметили!» — наблюдая издали, думал управляющий.

V

Опыт с мухами удался как нельзя лучше. Павел Степаныч не мог остаться без Антона Иванова, и Антон Иванов, поживившись раз, мог таким образом живиться сколько угодно. Пособники дали ему полную волю, родственница ублаготворена; Антон Иванов помирился с нею, под влиянием успеха наобещал ей золотые горы и в надежде на эти горы истратил первую наживу на угощение... Но странное дело, как только все это совершилось, как только Антону Иванову осталось одно — выдумывать и получать благополучие, им вдруг овладела скука: в голове зашумели вообще соображения о жизни человеческой. «И что такое богатство? — стало мелькать в его голове. — Ну, стану я хватать табакерки? Ну?» Художественная натура его не находила в этом никакого удовлетворения... На беду еще, возвращаясь от родственницы в Васильково, встретился он с прохожим человеком, направлявшимся в Задонск, с целью поступить там в монахи. Прохожий оказался человеком благородным, презревшим суету мирскую и всякую скверну. Разговорившись с Антоном Ивановым по поводу томивших его мыслей, он завел речь на тему о том, что богатство земное — ничто в сравнении с богатством небесным...

— А о душе мы и не думаем, — говорил странник. — Ищем только, как бы урвать где. А хорошо ли это? А ангел-то твой? Разве ему приятно смотреть на все это?

Антон Иванов согласился со всем этим.

— Я не то, что ты! — продолжал странник: — я на своем веку жил получше твоего. Был я и в военной и в статской... езжал и в каретах, и сладко поел-попил, и в грехе тоже повалялся. а что я сделал для души? То-то и есть!.. Мне трудно было раздавать имение мое нищим, а я раздал — стало быть, уж...

Антон Иванов видел, что странник действительно был из господ; по крайней мере усы его, развевавшиеся по ветру, лаковые полусапожки на босых ногах и тоненький парусинный пиджак говорили не о крестьянском происхождении. Такое унижение барина перед богом и отречение его от суеты тем сильнее действовали на Антона Иванова, что ему не было другого выхода, кроме грабежа...

— А о душе и забыли! И не помним! — продолжал странник. — Отыскиваем теплые места, усадьбы... Как усадьба-то?

— Васильково, — с грустью ответил Антон Иванов.

— Васильково! — как бы с презрением промолвил странник: — а вот как ангел плачет, этого мы не замечаем...

Тяжелое впечатление произвели эти речи на Антона Иванова. Расставшись с странником, он несколько раз пытался его догнать; но сообразив положение и надежды родственницы, не мог этого сделать и шел. Шел с великим трудом, потому что его сконфуженную душу тянуло в другие места, полные успокоения... Стало тянуть его к речке, где под крутым берегом тихо ходила рыба, в лес, наполненный птицами. «Эка благодать-то», — думал он, оглядывая тихую картину таких сельских работ и интересов, от которых он отвык, шатаясь по столицам. Вот в поповском амбаре сама матушка просевает прошлогоднюю муку; в отворенную дверь слышно шлепанье ладоней в края решета и видна белая, медленно ползущая мучная пыль; неподалеку, около крыльца поповского дома, на разостланных по земле тулупах, пустых мешках и дерюгах рассыпано для просушки хлебное зерно, к которому со всех сторон лезут куры, с писком выхватывая зернышко или отскакивая в сторону, испугавшись щепки или лучинки, пущенной матушкой из амбара... За домом, в саду, две девочки поджидают рой; сидят они в тени бузинного куста, накинув платочки на разгоревшиеся от жару лица, и, засучив рукава по локоть, помаки-

вают березовые ветки в кувшин с водою... Какая тут тишина, какой покой! Гудят пчелы, спускаясь там и сям на цветы и листки, — гудят ровно и однообразно; но вдруг к этому гуденью прибавился целый хор. Словно оркестр грянул где-то высоко над землею, и рой — целая толпа из целых тысяч пчел — сверкающею и суетливою массою показался над неподвижной ветлой. Говор этой толпы, шум и гам делался с каждой минутой шумливее и словно сердитее... Но вот одна из девочек взмахнула веткой, капли воды высоко сверкнули на солнце и упали в середину пчелиной толпы. Шум упал; рой сел... На зов девочек впопыхах прибежал отец, священник, в подряснике и в широкой измятой шляпе... Все это растрогало отягченную душу Антона Иванова.

— Благословите, батюшка! — сказал он.

— Повремени, вот управлюсь! — ответил тот.

И управившись, с чинностию произнес: «Во имя отца и сына и святого духа! Откуда и куда?» Антон Иванов с чувством подставил горсть и голову для принятия благословения и с тяжелым вздохом ответил на вопросы батюшки. Давно он не разговаривал так, чтобы дело шло не о грабежах, и ему было любо потолковать с батюшкой о пчеле, о хлебе, о дожде... Из саду перебрались в горницу, ибо и батюшке тоже хорошо было потолковать с кем-нибудь, потом пообедали весело, в присутствии собаки, поместившейся под столом, как только все уселись; кошки и в особенности котята немало доставили удовольствия своими продувными играми, которые они подняли между собою на полу в зале, пред лицом всего семейства и Антона Иванова, перебравшихся сюда после обеда. Сколько было хохоту и смеху, когда матушка рассказала случай, как котенок зацепился хвостом за лукошко и застрял вместе с ним под комодом. Все «помирали» со смеху и рассказывали эту историю часа четыре, припоминая то то, то другое... Зашел разговор о Павле Степаныче, и трудящиеся люди представили его жизнь в истинном свете, от которого у Антона Иванова подрало по коже.

— До сих пор живет, — говорила матушка: — и что он кому-нибудь сделал ли пользы? Сколько из-за него нищими пошло, сколько народу разорил — деревни и посейчас голые стоят, — всю жизнь на эту собаку работали,

кровью обливались. Сколько он на своем веку чужого слопал! За что?

Невмоготу было уйти отсюда Антону Иванову. «Вот бы жить! по-божески! по совести! » — думалось ему. Дотянул он дело до вечера, а вечером, напившись чаю, собрался было уходить, да присел на бревно, на котором уселось семейство попа, против дома, да и досиделся до ночи. На господском дворе слышалась скрипка — это играет один лакей... Бабы прошли с граблями на плечах и песнями; прогремели, возвращаясь с работы, пустые телеги... подошла ночь. Идти было некуда.

— Куда тебе! — сказали ему... — вот тучки собираются...

Антон Иванович завалился спать на душистом сене и все думал о жизни человеческой. «А о душе и забыли!» — сладко засыпая, держал он в голове... Ночью, в глухую полночь, разразился удар грома, и Антон Иванов проснулся. Дождь шумел в крышу поповского дома, клокотал под окнами, как кипящее масло. Батюшка соскочил с кровати и ощупью пробрался к окну — поглядеть, но молния заставила его отскочить назад.

— Свят, свят, свят! Какая страсть надвинула! Телегу забыли под сарай задвинуть! .. Свят, свят... Фу ты, боже мой...

— Говорила я, надо сено захватить пораньше... — вскакивая на кровати, шопотом говорит матушка.

— Что теперь с сеном? Ух! Боже мой! Зажгу свечу страстную! .. Свят, свят, свят! ..

— Брысь, анафема... сгноили сено!

— Эдакой ливень, как не сгноить... Свят, свят... Эко блох-то! блох-то! ..

В большом испуге было все семейство, вся деревня. Один Антон Иванов не имел ничего общего в этих заботах, как и в дневных радостях, и думал: «А у меня что? Грабежи на уме, у пса!» Грусть и тоска распространились на другой день в доме священника; не было никакого следа вчерашнего веселья. За ночь успела пронестись гроза, но небо было покрыто скучными тучами; дождь шел не переставая; листья вишен, зеленевшие под окнами, измокли, ветки качались от ветра и роняли капли; капли ползли и катились по стеклам окон. Все живое куда-то исчезло, попряталось; куры, усевшись в сенях на

жердочке, встряхивали мокрыми перьями и, надувшись, ворчали что-то; продувные котята кучей лежали в зале на продавленном стуле и спали, тяжело, скучно, как спят в ненастье... Спит в сенях и собака Розка, вся мокрая и в грязи; даже мухи исчезли и столпились в темном углу передней, где висит овчинная поповская ряса. С сонным жужжанием вылетают они отсюда, как только кто-нибудь шевельнет рясу или протянется к окну за графином квасу, но скоро опять садятся на прежнее место, и не слыхать их... Тоска была большая, никому не хотелось выйти на улицу — и одному только Антону Иванову пришлось уходить: он уж слишком загостился, да и пора было поспевать к своему делу...

Распрощавшись с семейством священника, он по грязи пустился в путь. Промокший и грязный, он особенно был расположен проклинать свою жизнь и думать о душе.

«И куда я иду? — думалось ему. — Люди сидят в теплом гнезде, прячутся от этакой непогоды, а я иди! Собака бездомная!»

На пути он должен был зайти в чью-то господскую ригу, стоявшую в поле, чтобы хоть немного переждать дождь.

В риге было много рабочего народу, загнанного дождем. Одни спали на голой земле ничком, другие, сидя вкруг без шапок, жевали хлеб; народ был самый разнокалиберный; на одном была старая солдатская шинель, вытертая и дырявая, без пуговиц; другой погуливал босиком в заплатанной рубахе, рваных холщевых штанах; редко попадался мужик, одетый в целую, нервaную рубаху... В толпе шел недружный говор...

— Была телушка, — говорит один: — баба-дура опоила...

Молчание и жевание.

— С пальца? — спрашивает другой спустя несколько минут, проглотив ком черного хлеба.

— С пальца, — следует ответ через несколько времени, и с такою же медленностию идет разговор.

— С пальца-то приучила, да уйди... Оставила, значит, ее при молоке... Телушка-то ляп да ляп языком-то... хлебать, хлебать — разуму нету, дохлебалась до смерти..

Молчание.

— Это и нашему брату так-то дохлебаться можно, — замечает кто-то.

— Потому с работы... Томишь, томишь... да и дорвешься...

— Ну — и не уняться...

— Как можно! Ежели ты на голодное брюхо полыхнешь вина, первым долгом тебя поманит на соленое.

— Так, так! — подтверждают несколько голосов.

— Так! это верно...

— Как тебя на соленое поманули, сейчас ты, господи благослови, — селедку! Последнее отдашь, а чтобы соленого! Нутро-то у нас перержавело — вот мы и норовим: селедку, и пару, и тройку... Как стало у тебя внутри глодать, сейчас зачнет тебя звать на пойло, на брагу, шабаш!

Тут конец!..

— Шабаш! Тут! На браге! Простись!

— Тут, брат, со святыми упокой. Потому не оторвешься... Нутро полыхает, а ты и льешь! Ты и садишь! У нас один солдат до тех пор наливался, покуда раздуло его всего.. Вытянулся, как жердь, ни рук, ни ног не согнет, и пальцы этак вот разнесло...

— Так, так!

— Это так... У нас в деревне такая примета: как пальцы окостенели, согнуть их трудно — будя!.. Помрешь. Тут надо бросать.

— Навряд! — говорит кто-то.

Спустя долгое время начинается другой разговор, изображающий если не бедствия голодного желудка, то непременно какие-нибудь беды рабочего человека. Антон Иванов, невольно сделавшись слушателем этих разговоров, крайне завидовал терпению, честности, покорности этого народа, при всем бедственном положении не идущего на разбой, на который покусился он, Антон Иванов, не умеющий ни за что взяться и отвыкший от работы.

Из риги он ушел еще в более грустном состоянии духа, и все дорожные мысли его были направлены к тому, чтобы изобрести средства к существованию по чести и совести, не заставляя огорчаться ангела-хранителя. Но придумать ему ничего не удалось, кроме того, что лучшего места ему не найти...

А провидение уже пеклось о нем. Еще со вчерашнего дня в каморке Павла Степаныча заседало новое лицо, явившееся с более занимательными изобретениями, чем все эти вырезывания коньков, щипание корпии, битье мух и т. д. И в то время когда Антон Иванов, приближаясь к Василькову, с грустью помышлял о необходимости грабежа и погибели души, лицо это сидело за столиком против Павла Степаныча и метало карты, приговаривая довольно ласковым голосом:

— Это я пошел, теперь вы бейте... Ходите! Что-нибудь! .. Ну вот! Вот и выиграли... Берите деньги — вот вы и выиграли, Павел Степаныч... Тащите к себе.

Павел Степаныч с радостью тащил несколько медных денег.

— Видите, как любопытно! теперь ставьте вы... Ставьте вы пять целковых. Где у вас деньги-то? Не вставайте, не вставайте, вот я достал... Ну, ходите! Что-нибудь, все равно. Ну, вот я убил, мои пять целковых, я беру. Видите.

Павел Степаныч как будто сердился.

— Ничего, ничего, не сердитесь... Это так нужно — вы их сейчас выиграете. Вот я пойду, а вы кройте. Покрыли? Вот и ваши! Видите, как любопытно?

От души смеялся Павел Степаныч.

— Ну, теперь ставьте двадцать пять целковых. Сидите, сидите — не бойтесь... я сам.

В это время в двери показалась унылая фигура Антона Иванова, решившегося продолжать дело с мухами.

Новое лицо тотчас же поднялось со стула, положило на минуту карты и быстрым движением к двери вытеснило Антона Иванова в другую комнату.

— Ты что тут, каналья, шатаешься? — ошарашило его лицо довольно энергическим голосом и трясением за шиворот. — Вы тут, канальи, грабеж завели? Я твои все знаю штуки, мошенник...

Антон Иванов затрепетал и к ужасу узнал в новом искателе теплых мест вчерашнего странника. Трясение за шиворот доказало ему, что душа его спасена; но видимое в то же время ускользание из рук такого места, как Павел Степаныч, обидело его.

— Этот барин — мне отданы... Это мое... Я кормлюсь, — прошептал он.

— Кто тебе отдавал барина, каналья?

— Бог! .. — ответил Антон Иванов.

— Я тебе покажу, шельме, кто тебе отдал... Я вас всех разберу Гнездо завели? Бог? Вон отсюда, каналья! — шумел гость.

Как обваренный кипятком, уплелся Антон Иванов вон из барского дома и ясно увидал, что он опять без хлеба, что счастье ушло... прозевал...

VI

И это действительно случилось; новый гость — человек, видевший свет настолько, что ему не оставалось нигде прибежища, за исключением пострижения в монахи, человек, очевидно прошедший огонь, воду, медные трубы и чугунные повороты, человек благородного происхождения и, следовательно, просвещенного ума, — сумел воспользоваться теплым местом гораздо толковее, нежели простонародные бездельные неучи. В самое короткое время он забрал всю Васильковскую усадьбу в ежовые рукавицы. Павел Степаныч был опутан помощью карт. Карточные волнения, сопряженные с деньгами, овладевали им сильнее, нежели мухи и коньки, в тысячу раз. Каждая сдача карт приносила ему совершенно новые ощущения и каждую минуту волновала и занимала остатки умиравшего соображения. Память изменяла ему настолько, что проигрыши — почти постоянные — легко изглаживались из нее ничтожным выигрышем, который повергал его в радость; хотя в сущности самая игра была только швырянием карт без толку и разбору — и все выигрыши и проигрыши совершались единственно по воле нового гостя. Так был забран в руки Павел Степаныч; сытая челядь, готовая было уже разбежаться, была сразу схвачена и остановлена на месте помощью энергических обещаний нового гостя вытащить всех их наружу и раскрыть все их грабежи. Она невольно должна была служить новому барину, быть с ним заодно и выжидать минуты. Мертвый дом Павла Степаныча ожил, словно проснулся от сна; барин, поселившийся в доме, не утолился отдаванием приказов, начались обеды в зале, что давно уже было брошено; появились гости, за которыми

в соседние уездные города отправлялись тарантасы, долгое время стоявшие взаперти; появились в комнатах молодые девки, послышался смех. Карточная игра шла на несколько столов; открыты были погреба с старинным вином, о существовании которого прежние жители и не подозревали; на кухне целые дни стучали поварские ножи, в столовой звенели тарелки, окна дома по вечерам ярко светились, и по стеклам двигались тени гостей, все старинных приятелей с новым барином или людей одного с ним взгляда на вещи. За этой пробудившейся жизнью не слышно было шума ветра, стона флюгера, не заметно было смертоносного размаха часового маятника, не заметно было самого Павла Степаныча. Его видела в замочную скважину двери только старушка, первая любовница. Глядя на его седую голову с зеленым зонтиком на глазах, видневшуюся из толпы этого воронья, обступившего со всех сторон глупенького старичка, она утирала тихонечко слезы и шептала: «Разбойники, разбойники вы! каторжные! к царю пойду... грабители».

— Это, видно, брат, не по-нашему! — твердила полоненная челядь, запыхавшись в хлопотах.

— По-благородному!.. Они вон как: «ангел, говорит, плачет!» Дураки мы!

— Именно так... Пойдем по миру!..

— Верно, брат, простой человек немного ухватит; хошь, может, он и поумней барина.

Эту последнюю фразу говорил Антон Иванов, который тоже не мог уйти отсюда и занимал скромную должность кучера, собиравшего партнеров для нового барина. Он не мог забыть блистательного изобретения мухи и тосковал о себе теперь не в смысле погибающей души, а в смысле необыкновенного ума, погибающего напрасно, которому не дают ходу.

«Придет мое время!» — думал он, лежа в кухне на печи и выжидая этого времени.

Этого времени все дожидались с нетерпением.

Но не пришло это время, простому человеку не пришлось разжиться здесь...

Незваный гость пировал месяца три и затем внезапно исчез со всей компанией, оставив после себя такое опустошение, какое не могли произвести простонародные обиратели в год и в два. Вслед за ним разбежа-

лись и простонародные опустошители, захватив что пришлось; усадьба опустела — и пустота эта стала страшней прежнего во сто раз. Тоска Павла Степаныча достигла высшей степени, и у Антона Иванова, который еще надеялся, мелькнула мысль возобновить выдумки; но каждая минута доказывала ему, что не он один охотник до теплых мест, что время приготовило целые массы народа, шатающегося без дела и привыкшего даром есть хлеб. Вместо крупного опустошителя, пронесшегося над Васильковым ураганом, стали прибывать опустошители второго сорта, что-то отставное, прожженное и нецеремонное. Все это шло на поживу и живилось. Уходили одни, приходили другие...

— Нет, — сказал себе Антон Иванов, — надо искать другого места, бог с ними!

Он распростился с усадьбой и ушел искать счастья в другое место.

Павел Степаныч еще жил некоторое время, оберегаемый старушкой, добравшейся если не к царю, то к уездному исправнику. Начальство обратило внимание на расхищенную усадьбу старика, наняло караульщиков, и Павел Степаныч был лишен всякого общества. Изредка только украдкою пробирался к нему в покой какой-нибудь человек неизвестного звания, с гитарой в руке; садился на стул и, наигрывая кое-что, несказанно радовал этим старика.

— Пожалуйста! пожалуйста! — стонал он.

— Из «Троватора»-с, Павел Степаныч... «Трубадура»-с...

— Да, да...

— Итальянская более пьеса... — наигрывая, объяснял неизвестный человек и прибавлял: — жениться собираюсь, Павел Степаныч... Спешить надо к невесте... Не будет ли вашей милости...

Срывания даяний были гораздо меньше, да благодаря надзору и посетители стали редки. Зимние вьюги, долгие зимние ночи Павел Степаныч переживал один. Старушка рассказывала ему сказочки и по временам плакала.. И никто кроме ее не помянул Павла Степаныча добром или худом, когда он незаметно умер в одну темную зимнюю ночь.

ПРОГУЛКА

I

«. . .До сведения моего дошло, что в подгороднем селении Емельянове, на постоялом дворе, арендуемом —ским мещанином Гаврилою Кашиным, производится незаконная продажа питей. . . почему, почтительнейше уведомляя ваше высокоблагородие, поручаю вам произвести дознание. . .»

— Что это? Опять в деревню? — проговорила весьма изящная молодая дама, заглядывая через плечо тоже весьма молодого мужа, читавшего только что присланную со сторожем бумагу.

— Да! . .

— Вот тебе вместо прогулки! Погода прекрасная. . . далеко это?

— Версты две-три.

— Тебе надо пройтись. . . Ты засиделся. . . Что это ты читал?

— Последнюю книжку журнала. Попалась преинтересная статья, не мог оторваться.

— Ты пройдись, прогуляйся, — перебирая страницы журнала, говорила молодая супруга. — Ах, Тургенев! Что тут его? . . Как мило. . . непременно прочту! . . Из народного быта? Прелесть. . .

— Десятский дома? — перебил молодой супруг, отдыхая после интересной статьи на кушетке. — Надо расспросить, кто такой этот Гаврило Кашин. . .

— Он там в кухне! «Из Гейне». . . Это что? — продолжала рыться в книге супруга: — «Песня о рубашке».
Она вздохнула и произнесла как бы в раздумье:

— Тебе нужно оштрафовать его?

— Кого? — с некоторым нетерпением произнес муж, не видя в мыслях супруги достаточной последовательности... — Кого его?

— Мужика..

— Разумеется, оштрафовать!

Чтобы не раздражать супруга, молодая дама прибавила:

— По крайней мере отдохнешь!

II

На следующий день муж собрался на прогулку, которую предположено было совершить пешком. Часов в двенадцать дня он стоял среди двора с сумкой через плечо и шарил по карманам — все ли захватил.

— Да! — сказал он, обратившись к жене, стоявшей на крыльце, — пожалуйста, не отдавай Иванову газет. Непременно затащат!.. Судебные уставы положили?

— Я положила в портфель... Это с золотым обрезом?

— Да... где они?.. Положила ли?

— Посмотри в портфель, — кажется, положила!

— То-то, кажется! как это ты...

Десятский, сопутствовавший в прогулке, держал портфель подмышкой. Посмотрели — нашли.

— Здесь! — успокоившись, произнес супруг. — Ну, все, кажется. Папиросы?

— Тут, — сказал десятский.

— Ну, все... Прощай! Не скучай... там у меня есть «Один в поле — не воин» — превосходная штука: читай... Шпильгагена. Палку надо взять — тут воров много...

— Тут воров страсть! — сказал десятский.

Пока ходили за палкой, к путешественникам подошел молодой человек, исключенный из семинарии ритор, проживавший на том же дворе в нищете и в постоянном поругании со стороны родственников.

— Иван Петрович, — сказал он, — позвольте мне с вами пройтись?

— Сделайте одолжение!

Ритор поблагодарил, сняв картуз. Скоро была принесена палка, и через полчаса общество все было в поле.

Был жаркий летний день. В поле тишина. Ритор шел с десятским, который рассказывал ему про воров.

— Отчего это? — спрашивал ритор.

— Бедность, что будешь делать... Баб с молоком — и то останавливают.

Ритор задумался. Прогуливающийся чиновник наслаждался природой и соображал план — как накрыть Гаврилу Кашина на месте, в самый момент незаконной продажи.

— Иван Петрович, — проговорил ритор: — я с вами хотел потолковать об одном деле.

— Что прикажете?

— Да что — смерть моя... Я просто умираю с тоски, да и есть нечего... Не можете ли вы мне похлопотать через знакомых местечка?

— Какого же местечка?

— Я бы желал учительского... Это мне более по душе. Я знаю, что не даром возьму деньги: я люблю это дело...

— Я готов.

— Посмотрите — какое невежество, какая тьма кромешная! Неужели уж я тут хоть столько не сделаю, хоть на волос? Надо же когда-нибудь серьезно отнестись...

— Разумеется! — проговорил с одушевлением чиновник.

— Ведь сердце разрывается. Я знаю народ, я готов работать без жалованья, лишь бы не умереть с голода,— нужно пробуждать в народе хорошие качества... Они есть...

Ритор воодушевился и на все излияния своей души получал со стороны прогуливающегося чиновника самые сочувственные слова.

«Что за человек! — думал ритор. — Есть люди! Есть! ..»

Во время этого благороднейшего разговора они подошли к кабаку, стоявшему на полдороге им.

— Здесь надо расспросить, — проговорил чиновник, окончив какую-то благороднейшую фразу: — они ведь прячутся, канальи... Ты, — прибавил он, обратившись к десятскому, — не вхо́ди с портфелем-то! .. останься тут!

Ритор несколько изумился, но, сообразив, что пред ним благороднейший человек, тотчас же и успокоился.

В кабаке за стойкой сидела молодая женщина и дре-

мала. Маленькая каморка была оклеена разношерстными лоскутками обоев, между стойкой и стеной стояли бочки вина; в воздухе пахло водкой и носились мухи.

— Здравствуйте! — ласково сказал чиновник.

Хозяйка тоже ответила ласково.

— Пиво есть у вас?

— Есть, да нехорошо.

— По крайней мере холодное ли?

— Холодное-то холодное... да вы отведайте.

— Пожалуйста.

Хозяйка ушла. Чиновник оглядел стены — патент был.

— Тут есть патент, — сказал он ритору шопотом.

Тот смотрел на чиновника с любопытством.

Скоро в комнату вошла старуха, оказавшаяся матерью хозяйки, и, низко наклонив голову в знак поклона, стала у двери молча. Повидимому, она тотчас хотела уйти, однако не ушла и поминутно переводила глаза с одного гостя на другого, с большим искусством скрывая перед ними свою внимательность к поступкам и словам господ.

— Далеко ли тут до Емельянова?

— До Емельянова тут недалеча. Близехонько, батюшко... да вам на что же, батюшко?

— Так... Просто пройтись.

Старуха степенно наклонила голову в знак согласия.

Принесли пиво.

— Пиво ничего, — сказал чиновник. — А где у вас тут еще пиво есть?

— В Бучилове, — проговорила с расстановкой старуха: — верст за двадцать. не ближе...

— А в Емельянове? — простодушно произнесла дочь.

— И где там в Емельянове? — глядя прямо в глаза дочери, с легкой усмешкой сказала старуха. — Да там и кабаков-то нету.

Чиновник побалтывал ногой и слушал, рассматривая картинку.

— Кабы ежели бы кто торговал там, — шамкала старуха — и ритор заметил, как глаза ее оживились и стали строги... — Ишь, они гуляют, им нечто что!..

Дочь притихла.

— Нет, мы просто так, для прогулки, — проговорил чиновник. — Вон барин хочет в лесу погулять, — прибавил он, указав на ритора.

— Что ж, теперь ладно вам погулять.

А скажите, — с невинностью младенца произнес чиновник, — есть тут леса?

— Так, кусточки есть, а так, чтобы лесов, нету.

— Нам хоть и кусточки... Нам тень нужна.

Женщины кивнули дружно в знак согласия и обменялись взглядами. Скоро чиновник расплатился и вышел. Что ему нужно было узнать — он узнал и, выйдя на улицу, не церемонясь, полез в портфель — поглядеть, тут ли карандаш и уставы, — не обратив почти никакого внимания на испуг провожавших его женщин.

— Погуляйте, погуляйте, — говорила старуха в большой тревоге: — в лесочке теперь хорошо.

— Нам бы хоть в кусточки... — бормотал чиновник, записывая что-то. — Теперь там чудесно... Прощайте!

— Счастливо.

— То-то у тебя язык-то... — послышался ритору голос старухи.

— У-у, канальи! .. — шептал ему чиновник.

Ритор вытаращил глаза.

III

При начале деревни Емельяновки стоял кабак, в котором происходила торговля вином на законном основании. Чиновник вознамерился получить здесь самые точные сведения о Гавриле Кашине, торговавшем в том же селении — только на другом конце, в одиноко стоявшем постоялом дворе.

Был жаркий полдень; деревушка была пуста, только воробьи безмолвно, как пули, перелетали с крыши на крышу. Большие кабацкие сени, предназначенные для посетителей, были пусты. Внутри кабака за стойкой стоял маленький горбатый хозяин, навалившись выпяченною уродливою грудью на стойку, и вел беседу с подгулявшим отставным солдатом. Беседа его была весьма оригинальна: он отвечал, повидимому, на все вопросы солдата, соглашался, возражал, но в сущности не говорил ничего и не совсем даже слышал солдатские речи. Это особого рода язык, в котором с таким искусством употребляют слова: «к примеру», «а то как же», «в ак-

курате», «ишь» и т. д. Солдат тотчас вытянулся перед чиновником и весело произнес: «здравия желаю, ваше высокоблагородие». Встреча с начальством ему, очевидно, была приятна, и когда чиновник, потребовав себе воды, сел на лавку отдохнуть, солдат тотчас же приступил к нему с рассказами какой-то длинной истории о старом барине, о том, как любило его начальство, о смотрах, о новом барине, у которого он служил лесником, о своей исправности в лесном деле и т. д. Вытащил какую-то бумажку из сапога, подал ее чиновнику и с почтительностью стоял в отдалении, пока чиновник разбирал ее: «Объявление. Навалил лесу на маладятник на сорок сажон и на мой вопрос, как маладятник господский, то сопротивлялся»... Затем он завел речь о том, как трудно с народом, как его хотят убить за то, что он не идет расхищать барского добра, и что поэтому приходится постоянно стрелять в самовольных порубщиков.

— Как стрелять? — с волнением спросил ритор, молча куривший в углу.

— Я, вашскбродие, в ноги их бью, мужиков. Плюнешь ему бекасинником в это место, убить — не убьешь, а зачешется... хе-хе!

Ритор пускал клубы дыма и молчал.

Чиновник, напротив, говорил солдату «д-да...», «ничего не поделаешь...», посмеивался и вообще выказывал ему благосклонность. Эти выказывания благосклонности весьма ободрили солдата. Он вытянулся во весь рост и пропел:

Мы с героем дети славы,
Дети белого царя,
Есть у нас своя семейка
Невеличка и добра;
С нею жизнь для нас копейка,
Сухарь, чарка и ура!!

Благосклонно выслушав пение и одобрив солдата, прогуливающийся чиновник прямо приступил к кабатчику с расспросами. Кабатчик рад был утопить конкурента и с присовокуплением разных смягчающих слов, которые ровно ничего не значили, вроде: «конечно», «не наше дело», «а что надо говорить прямо», «точно что», «не по закону», весьма обстоятельно обвинил Кашина. Солдат поддакивал, говоря: «Как же можно? .. это непорядок! ..

нет, брат!.. что тебе по закону, то и получай, а что не по закону... У нас, вашскродие, в полку...»

Чиновник поднес солдату водки; это еще более оживило его и пробудило все чувства подчиненного при виде начальства. Приступлено было к составлению плана нападения на Гаврилу Кашина так, чтобы он не знал, не ведал, так, чтобы захватить его на месте преступления... Ритор сидел в углу и изумлялся, как может столь благороднейший человек, которого дома ожидают самые последние нумера журналов, выказывать такое предательство относительно ближнего, расспрашивать и разузнавать о том, когда лучше всего можно напасть на Гаврилу Кашина; подкупать даже рюмкою водки солдата, чтобы он пошел к Гавриле, потребовал бы стаканчик вина и затеял бы с ним разговор, не прикасаясь к стакану до тех пор, пока не явится неожиданно чиновник.

Солдат спьяну соглашался на все. Положено было десятскому и солдату идти вперед, а чиновник пойдет за ними кустами, стороной. Солдат получил гривенник.

Сначала он бодро и храбро пошел вперед. Вслед за ним следовала вся компания; водка и жара сильно разгорячили солдата, но среди деревни попался колодезь, всем захотелось пить. Солдат попросил позволения опустить ведро.

— Сделай милость, — с добродушием разрешил ему чиновник.

Холодная вода освежила солдата. Он вытерся рукавом и попросил позволения отдохнуть. Ему позволили. Поглядел он на постоялый двор, видневшийся вдали, близ самого лесу, вспомнил, быть может, что Гаврило и ему отпускал стаканчик, и, обратившись к чиновнику, сказал:

— Ваше благородие! а ведь теперь навряд мы застанем Гаврилу-то...

— Ну вот! — сказал чиновник.

— Право, навряд...

Солдат, несколько опомнившись от холодной воды, понял, что втянули его в непутевое дело...

— Право, вашскродие... Он теперь, Гаврило-то...

— Ну, что там! — сказал чиновник, стараясь не замечать волнения солдата, — долго ли тут дойти?

— По мне — как угодно... Я готов. Я что ж... Ваше

благородие! — воскликнул солдат. — Отпустите меня в город!

— Ты потом и пойдешь... ведь тут одна минута.

— Ваше благородие, у меня дела-с! .. Я при деле! ..

— Ну что, пустяки! .. Пойдем-ка... мы сейчас всё кончим.

— Я устал! — сказал солдат и сел...

Солдат снял картуз, отер мокрый лоб, поглядел по сторонам, как пойманный заяц, встал с бревна, валявшегося около колодца, потом сел опять.. Чиновник, десятский и ритор сидели на бревне неподалеку и молчали.

— Отдохнул? — спросил чиновник.

Солдат поднялся и сказал с умилением:

— Ваше благородие!

— Ну, будет, будет, не задерживай!

— Сделайте милость! ..

— Пойдемте, пойдемте! что тут раздобарывать? Пора! .. Ну-ка, десятский, идите вперед...

Чиновник поспешно направился в сторону, намереваясь пройти задами и тщательно наблюдая за солдатом. Да и десятский тоже наблюдал за ним.

— Что стал? — сказал ему десятский.

— Эх, в какое дело вкатили меня!

— Чорт тебе велел...

Э-эх! ..

— Дубина!

— Э-эх... в какое дело! ..

— Ну пойдем, разговаривай теперь!

— Надо идти-то... Вот, поди тут; шел человек в город тихо-благородно, ничего не знал, не ведал... Хвать! в какое дело! ..

— Ума-то у тебя нету. Я иду неволей. Порядок требует, а тебя-то черти пихают услуживать. Солдатская кость откликнулась! Пойдем! Иди, что ль?

Солдат махнул рукой и с горестью, с неохотою тронулся далее.

— Эй! Эй! — доносился к нему голос чиновника.

— Эхма! — убивался солдат, с каждой минутой убеждаясь в гнусности своего поступка. — Убечь бы? — шепнул он десятскому.

— Так я тебе и дал — убечь... Иди-ка, иди... теперь, брат, не уйдешь! .. Иди-ка, охотник!

— Не уйдешь! — бормотал солдат, подвигаясь помаленьку.

Он никак не мог не исполнить приказания и невольно шел вперед, чувствуя вполне, что делает подло. Иногда он вдруг останавливался — объявлял, что ему нужно закурить папиросу, принимался дергать спичкой по колену, по рукаву и, видимо, старался протянуть это дело: спички не горели или гасли, окурок попадал не тем концом в рот; но при всей его изобретательности он не мог долго протянуть эти отвлекающие от цели эволюции и, воскликнув с горестью: «Эх, в какую вбухали историю! Эх, куда всадили! . .», должен был идти.

Гаврила Кашин был в это время дома; дом, или постоялый двор, стоял на пригорке, отдельно от деревни, по другую сторону оврага, близ проселочной дороги, поднимавшейся из оврага на пригорок; дом был длинный, но ветхий, окон в девять, разделенный в средине крыльцом; большая часть окон была заколочена... Гаврила Кашин стоял за прилавком в пустой горнице, где пахло водкой, щелкал на счетах и соображал; на полках, предназначенных для водочной посуды, не было ничего; вместо штофов и другой посуды лежали баранки, булки и другие невинные предметы. Жена Гаврилы, мещанка в ситцевом немецкого покроя платье, сидела на крыльце и вязала чулок; около ее ног и вокруг крыльца бегали и ползали полураздетые дети с измазанными лицами и лежало штук шесть собак, без которых трудно обойтись человеку, поселившемуся на юру, в стороне от жилья. Собаки эти были верные хранители хозяина: они принялись лаять, когда десятский и солдат были еще на горе, шагов за полтораста от двора. Необходимым оказалось, прежде нежели идти далее, — сломать в кустах по большой палке, и только с помощью их они могли добраться до крыльца, где хозяйка прикрикнула на собак.

— Цыть вы! Свои идут, о дураки...

Собаки поверили и стали обнюхивать пришедших, виляя хвостами.

— Здорово! — сказал солдат.

— Здравствуй! Что давно не был? — спросила дворничиха.

— Дела, — угрюмо и коротко ответил солдат. — Дома Гаврило-то?

— В горнице.

— Водочки бы надо...

— Ишь торговать-то боимся... Поди, войди туда!..

Солдат вошел к Гавриле, который продолжал сводить счеты; десятский присел отдохнуть на крыльце. Угрюмо поздоровавшись, солдат спросил винца; Гаврило достал штоф из подполья, налил ему стаканчик и поставил штоф в сохранное место.

— Ух, братец ты мой, жарко как! — сказал солдат, не прикасаясь к стакану, и медленно отирал пот со лба.

— Я от жары-то от этой сам не знаю, куда деться, — говорил Гаврила, тыкая карандашом в язык и выводя в книге какие-то каракули. — Пятый день бьюсь со счетами — толку нет никакого... Разорился, кажется, весь дотла...

— Что уж так, дотла-то?..

— Да так и разоришься... Нанимал двор у барина на совесть — видишь ты — ему деньги даны, а барин-то, надо быть, замотался да окромя меня и другому на бумаге отдал: — получать, мол, ему с Кашина аренду... тот теперь и ломит с меня двести целковых, а не то другому отдам: другие, вишь, больше дают... Я с барином не за двести ладил; за что ладил, почесть все отдано ему, а теперь вот на, возьми!.. Велики тут барыши — двести-то целковых ему платить... Смерть одна!

— Ты бы к барину-то!..

— Где его, барина-то, искать? Его и след простыл... Его уж боле полугода нету в городе — вишь, в Питере либо в загранице.

— Ах, братец ты мой!..

— Пойдешь с сумой, право слово, пойдешь... — говорил Кашин, задумавшись и оставив на время книгу.

— Ты, Гаврила, — начал солдат, оглядываясь: — я тебе вот что... против тебя завели махину...

— Какую?

— Я тебе буду говорить вот как...

Солдат, оглянувшись на дверь, хотел было продолжать свою речь, но на пороге показался чиновник. Солдат замер на месте и вытянул руки по швам.

— Бог на помочь! — сказал чиновник.

— Здравия желаю, вашскбродие! — не удержался солдат.

— Здорово, любезный! Это вода в стакане?

— Водка, вашскбродие!

— Здесь разве торгуют водкой? — устало проговорил чиновник, опускаясь на лавку — Где же у вас патент?

Воцарилось мертвое молчание.

— Десятский! — позвал чиновник.

Хозяин бросился было из-за стойки, чтобы позвать десятского и услужить таким образом чиновнику, но последний с истинной вежливостью предупредил его.

— Не трудитесь, пожалуйста, прошу вас, не беспокойтесь... Позвольте просить у вас чернил.

Хозяин засуетился, поискал чернил на полке, под лавкой, побежал к жене, разогнал кучу ребят, столпившихся в сенях.

— Напрасно вы так. Благодарю вас!.. — сказал чиновник... — Ваше имя и фамилия?

— Гаврила Кашин.

Началось писание протокола; чернильницу подавал сам хозяин, желавший ответить тою же вежливостью, которую оказывали ему. Оправдываться, просить, предлагать помириться — он и не думал, ибо вполне понимал, что теперь «не то время», что настала такая вежливость, от которой нет никакого спасенья. Отвечая на вопросы чиновника, он в то же время старался подать ему спичку, чтобы закурить папироску, советовал взять другое перо, так как в этом мало росчерку; с своей стороны чиновник, выводя предложенным пером фразы вроде: «незаконная продажа вина, что по силе... статья... устава о наказаниях...» и т. д., предлагал мимоходом самые доброжелательные вопросы.

— Семейство ваше при вас?

— При себе имею...

— Много ли деток?

— Пять человек.

— Слава богу!

— Благодарение богу!.. Это муха там в чернилах... Самый махонький хворает все... Не знаем, как быть...

— Вы бы к доктору...

— Где у нас доктора найдешь?.. Да надо!..

— Этого оставлять так нельзя, болезнь может развиться... Имеете ли имущество?

— Лошадь имею...

— Мне следует, — с иронической улыбкой сказал чиновник, — следует с вас получить пятьдесят целковых за то, что я вас открыл.

Ироническая улыбка, относившаяся к самому факту получения этих пятидесяти рублей, играла на устах чиновника.

— Я знаю-с! Лошадь имею... Песочку? сию минуту.

— Не беспокойтесь... Не беспокойтесь, пожалуйста. Засохнет и так... — махая написанным листом и дуя на него, говорил чиновник...

— Потрудитесь подписать.

Гаврила Кашин подписал свою фамилию.

— Благодарю вас. А у вас, должно быть, здесь хорошо летом, в лесочке-то?

— У нас место хорошее...

— Я думаю, для детей.. Им здорово...

— Конечно, что... На вольном воздухе...

— Да... это очень хорошо!.. Ну-ка, любезный, — обратился чиновник к солдату, — потрудись, пожалуйста, подписать твою фамилию. Ты был свидетелем...

— Я, ваше высокоблагородие, неграмотен. Уж вы меня, сделайте милость, увольте от этого...

— Как неграмотен? а ты же показывал мне объявление?

— Ваше благородие! Сделайте милость! Шел я в город. Сделайте одолжение, отпустите!

— Нельзя, друг мой. Потрудись подписать и иди...

— Все одно уж... — сказал хозяин солдату.

— Разумеется, — подтвердил чиновник.

Солдат поглядел на них обоих.

— Вот в какое дело попал, ваше благородие... Бог с вами!

Он засучил рукав, снял шапку, взял перо и стал прилаживаться писать.

— Что писать? Я ничего не могу.

— Ну, ты эти разговоры, однако, оставь, — сказал ему чиновник серьезно. — Пиши имя и фамилию. Как тебя звать?

— Я ничего-с.. к слову... Эхма-а!.. Имя, что ли?

— Имя и фамилию.

Солдат писал долго, наконец кончил, весь красный и в поту.

— Ну, вот теперь ступай.

— Мне теперь и идти-то неохота... Всадили вы меня, ваше благородие, в ха-арошее бучило! Извините.

Чиновник засмеялся, хозяин тоже улыбнулся.

— В отличнейшее бучило всучили...

Чиновник захохотал этому оригинальному выражению и сказал солдату:

— Ты водку-то выпей.

— Я и коснуться ее боюсь...

— Пей. Чего же?

— Ну ее к богу! Вы теперича так благородно рекомендуете, а как выпьешь — завертишься, как кубарь. . Подведете бумагу, всю жизнь проклянешь! Ну ее к богу!

— Ну, как хочешь. Десятский, пей!

— Благодарим покорно. Не потребляем.

— Ну, как угодно. До свиданья!

Хозяева провожали чиновника.

— Счастливо, вашскбродие, — не утерпел сказать солдат, и когда чиновник, вежливо раскланявшись с хозяевами и с солдатом, отделился от крыльца в сопровождении десятского, — прибавил:

— Попал в кашу, нечего сказать.

— Спасибо тебе, друг любезный, — сказал ему Кашин, побледнев.

— Гаврила!

— Благодарен тебе, что ты меня разорил!

— Гаврилушко, родной! — начал было солдат, но Гаврила и жена не отвечали ему. Солдат с глубоким порывом сердечной грусти махнул рукой и сел: — словно пришибленные, сидели они долго, долго...

— Какая прелесть! — сказал чиновник, догоняя ритора, который все время держался в стороне и во взгляде которого чиновник мог заметить ужас. — Посмотрите, что это за прелесть!..

По косогору, открывшемуся перед прогуливавшимися, двигалась с граблями в руках целая фаланга женщин, разодетых в лучшие платья, яркие цвета которых как нельзя более соответствовали яркой картине природы — зелени, солнцу.

Ритор ничего не отвечал.

Скоро женщины столпились в кучу, и раздалась песня; прогуливавшийся чиновник приблизился к певицам и некоторое время наслаждался молча; но так как неподалеку стоял староста, наблюдавший за бабами, то чиновник обратился к нему с вопросом насчет Гаврилы Кашина: может ли он уплатить штраф? — затем прилег на траву, похвалил целебные свойства полевого воздуха и развернул судебные уставы.

Песня упала...

— Пойте, пойте! — поощрял чиновник, перелистывая устав о наказаниях.

Но хор косился на него и слабел.

— Пойте, пожалуста, — просил любитель природы.

Но несмотря на гуманнейшее обращение путешественника с поселянками, последние мало-помалу разбрелись, не докончив песни...

— Пора домой, — сказал, наконец, чиновник молчавшему ритору. — Я думаю, теперь получились газеты... С нетерпением жду.

Ритор молчал.

— Не сегодня-завтра, — шопотом прибавил чиновник, — во Франции должна вспыхнуть революция... вот штука-то будет. Давно пора!

Ритор все молчал, соображая, что все это значит? Как назвать, как определить эту гуманность, образованность, которая повсюду вносит с собой уныние и грусть? Вон с измученной совестью сидит на крыльце солдат... Вон вздыхает целая семья мещанина Кашина, видя пред собою голод... Бабы перестали петь... ушли...

— Иван Петрович! — сказал, наконец, ритор, когда они возвращались домой...

— Что?

— Как же вы... как же... — теряясь в возможности определить виденное, лепетал ритор и вдруг воскликнул: — Да что ж это такое вы делаете?

— Порядок, батюшка, нельзя! — категорически ответил чиновник и продолжал дорогу молча, срывая васильки и цветы и сбирая из них букет для жены.

ТЯЖКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

...Дождь только что миновал; по небу беспрерывно неслись толпы обессилевших жидких туч, которые изредка на быстром бегу своем роняли несколько капель на землю, на гнилой подоконник моей каморки и проносились мимо. В открытое окно иногда врывались волны сырого вечернего ветра, шевелили какую-то бумажку на столе и поталкивали тоже гнилую с выболтавшимся замком дверь. Дело происходило на беднейшем постоялом дворе беднейшего уездного города; я сидел на жестком неудобном диване, слушал, как замирает ворчанье кособокого самовара, пошатывавшегося от ветру на кособоком железном подносе, курил и, кажется, ни о чем не думал. В окно виднелся плетень, за колья которого хватается какой-то солдат, намеревающийся пробраться сухой тропинкой и не попасть в грязь... За забором, где-то вдали, видна какая-то мокрая соломенная крыша, две промокшие вороны с глухим карканьем поднялись было над нею, но тотчас же и возвратились в свои норы... За мокрой соломенной крышей — тучи и тучи... Тяжесть какая-то, которую испытываешь именно только под влиянием этих крыш, ворон, грязи и разоренья, веющего от всякой русской глуши, наваливалась на меня вместе с темнотою, сумраком дождливого летнего вечера... Бесконечным каким-то одиночеством веял и этот сырой молчаливый ветер и полузаглохшая комната постоялого двора...

— Откушали чай, батюшка? — с кашлем спросила меня ветхая и грязная старуха, входя в комнату.

— Убирай! — сказал я.

Старуха стала осторожно подходить к самовару, стараясь как можно аккуратнее ступать своими большими мужичьими сапогами. Покашливая и тяжело дыша, причем в груди ее что-то хрипело, напоминая испорченные деревенские часы, стала она убирать чашки, собирать с окна и стола ложечки и блюдцы в одно место, и в это время я заметил, что она как будто плачет: несколько раз она касалась концом грязного фартука своих глаз и как будто бы слегка всхлипывала. Сначала мне показалось, что это с холоду; но когда старуха утерла фартуком нос, то я уже не сомневался, что она плачет, ибо она так обошлась со своим носом, как это делают только горько плачущие люди.

Слезы старухи, благодаря грустному расположению духа, навеянному вечером, погодой и обстановкой комнаты, тотчас же отдались во мне.

— Ты о чем плачешь? — спросил я.

Старуха всхлипывала и, не отвечая мне, перебирала блюдцы и ложечки... Я думал, что это сердитая, должно быть, старуха, что она не ответит мне, и не повторил моего вопроса; но она, помолчавши несколько секунд, как-то отрывисто, захлебнувшись слезами, сказала:

— Жалко!..

И тотчас же опять утерла нос.

— Кого же тебе жалко? — спросил я.

— Да барыню свою очень жаль!

Корявые пальцы старухи не позволяли ей сразу справиться с чайным прибором; она попробовала было взять чашки, и поднос, и самовар — все вместе, но с подноса и блюдечка вдруг полилась на пол и стол вода; старуха принуждена была снова поставить все на прежнее место и стараться принять посуду как-нибудь на другой манер, поудобнее...

— Погляди-кось, — бормотала она, — как заливается-то, головушка!.. Глянешь, глянешь на нее, да и сама в слезы... Головушка бедная!.. Чать, видел, недавишь повозка тутотко проехала?

— Видел!

— Ну — барыня это.. Я — ее крепостная бывшая, сорок пять годов у ее выжила. Мне это известно, какая у нее ангельская душа... Как увижу — кажется бы,

в гроб мне легче лечь, нежели чем муку ее видеть... Вон теперче в город едет — поди-кось, полюбуйся, каково сладко причитает!..

— Да что такое с ней случилось?

— Да вот-то, вот, что погубили ее!.. Разбойник один, мошенник! Больше ему и звания нету — душегуб. Чтоб ему и с чугуном-то со своим — чугунную, вишь, дорогу вел, через барыню, через землю... Кто ж его знал, кровопийцу? Ему в душу не влезешь, тоже чиновник прозывается «Кто вы такие будете?» — «Я, говорит, путей сообщения...»

— Кто?

— Путей, говорит, сообщения... «Какое ваше будет звание?» тоже как у доброго человека спрашиваем... А какое его звание? Чорт! Вот ему и чин его весь, прости господи.

Старуха, видимо, была рассержена. Она несколько раз обхватывала рукой самовар, чтобы унести; но негодование до того было сильно, что его требовалось разрешить не исполнением своих обязанностей, а чем-нибудь посторонним — обстоятельным разговором, чьим-нибудь участием...

— Что такое? обидел он ее в чем-нибудь? — спросил я.

Старуха как будто бы не слышала моего вопроса и с сердцем сказала:

— Кабы на вас, на мужчин, управа была, а то нету управы-то на вас!.. Вот из-за чего!.. С нами, с женщинами, — так нельзя! У нас от покойника, от барыниного мужа, бумага была особенная, гербовая... чтобы ни боже мой — замуж не выходить... «Хоша я и умираю, отхожу, ну чтобы супруга моя была зачислена за мной, за упокойником, но ежели, когда ежели она замуж посмеет... Чтобы вдовела бесприменно по честности своей... А то всего имущества, которое, например, имение, — то я ее всего лишу...» Видишь вот? Так нам нельзя было себя допущать... Нам это невозможно как-нибудь... У нас первое дело — контракт баринов, а второе дело — стыд; так мы с барыней-то ровно на цепях были привязаны, как собаки какие... И мой-то муж в отлучке в Бисарабии был. Так-то, родной!.. Так уж мы как старались!.. Барыня молодая, я женщина в ту пору молодая

была, — как беспокоились-то! .. У нас, бывало, все окна занавешены, все двери на запорах, на крюках железных, заборы эво какими гвоздищами оковали... Нам нельзя как-нибудь себя допускать, мы женщины... И что ж? Слава богу было! .. Запремся на крюки, на запоры, всего у нас довольно, сидим мы, чаек попиваем, сердце у нас веселое, потому думаем: «Вот мы, слава богу, по честности живем, закон супругов соблюдаем», и таково нам чудесно, легко... А чуть ежели — сейчас мы панихиду по покойнику... Часто у нас служение было... Жили мы честно, благородно и век бы свековали, коли бы этого путей сообщения не принесло... Ох, уж и накажет его бог!

— Да что же такое он сделал?

— Тьфу! вот что! .. Ну позвольте вас спросить, ну вот вы проезжающий господин, ну что же хорошо это, ежели прийти к человеку в дом, к женщине, да прямо этак-то вот и завалиться где ни попадя? Ну что это — порядок? Как же, сидим мы — осенью было дело; заперлись, заколотились наглухо; пьем чай, думаем о своей участи — вдруг в сенцах: стук, стук, грох-грох. — Господи-батюшка, кому быть об эту пору — время позднее, жили мы в деревне — ну-ко да лихой человек, бессовестный вор-разбойник? Как нам быть? Дрожим, молитвы творим; мало-мало погодя — грох-грох-грох! Что ты будешь делать? Как нам мужчину впустить?

— Почему ты узнала, что это мужчина стучится?

Старуха на минуту остановилась, но тотчас же с особенной явственностью проговорила:

— Потому мы кажинную минуту за свое женское благолепие опасались... Вот отчего, друг ты мой! Как почал он громыхать — громыхал, громыхал — вижу я, надыть пойти узнать... Пошла я, спрашиваю: «Кто вы такие? Что вы нас, женщин, смущаете? Как нам можно мужчину к себе, к женщинам, допущать, коли мы не можем. Нам это невозможно». — «Сделайте милость, христа ради! Где угодно, хоть в сенцы, хоть в кухню...» Так упрашивал, так упрашивал, Христом богом молил... дрожали мы, дрожали, думали — «сем пустим?» Положили мы с барыней так, что запрем его на пять замков в кухню, — и пустили! Тут и спокою конец!

Рассказчица только руками развела и замолкла.

— Что же он — буян, пьяница?

— Ни-ни-ни! Этого нет, что греха таить — не было этого... Человек смирный, сырой, тихий — дитя малое... Как пришел — сюртук узенький, пуговицы светлые (в одном сюртучишке пришел), руки длинные, полный, настоящий медведь, и голова-то у него курчавая... Пришел он и осматривается: куда, мол, меня? «В кухню, говорю, пожалуйте, потому мы — женщины, нам нельзя себя допущать...» Ни слова не сказал, пришел в кухню, прямо на лавку — так во всем облачении и лег; и шапка в руках. Заперла я его здесь на два замка, все углы крестами осенила, окрестила — пошла к барыне, говорю: «наглухо заперла сообщения!!» Вот хорошо. Сидим мы с барыней — думаем, что это серый волк голосу нам не подает? Стало нам в голову все нехорошее приходить: — кабы не поджег, да не вор ли?.. Все такое. «Вот что, Арина, говорит барыня: мы — женщины, нам нельзя мужчину так оставлять... Бог его знает, что у него на уме? Надо нам его караулить. Лучше же мы его в горнице положим, по крайности он на глазах...» Пошла я к нему, разбудила, говорю: «Мы — женщины, нам невозможно вас без присмотру оставить, бог вас знает, что у вас на уме... Пожалуйте в горницу!..» Встал, пришел, молчит. Постлали мы ему на диване, сами целую ночь глаз сомкнуть не могли: одна — у одних дверей легла, другая — у других. Потому сам ты посуди! Хорошо это? Целехонькую ночь мы всё опасались... На утро, сударик ты мой, иду я к нему и говорю: «Извольте вставать. Кто придет, увидит мужчину, нам это невозможно, мы — женщины...» Лежит, с головой в одеяло завернулся, молчит... Молчал, молчал, высунул один глаз — шепчет: «Довольно я на своем веку на ветру да на морозе назябся, дозвольте мне кости мои успокоить... Я не молоденький... У меня кости ноют, нету мне приюта, назябся я...» Я говорю: «Нет, уж вы, говорю, сделайте милость; вы нас увольте... Мы женщины... Назябся, назябся, говорю; ну что же, ну пойду я да назябнусь; что ж, так мне и идти к мужчине в дом? Ну? Нешто хорошо это?» Молчал, молчал, высунул один глаз из-под одеяла, говорит: «Довольно я на своем веку земли ногами моими вымерил; довольно я с шестом по полям исходил. Дозвольте отдыху...» — «Ах, мои батюшки, говорю, с шестом, с шестом! Ну пойду я да

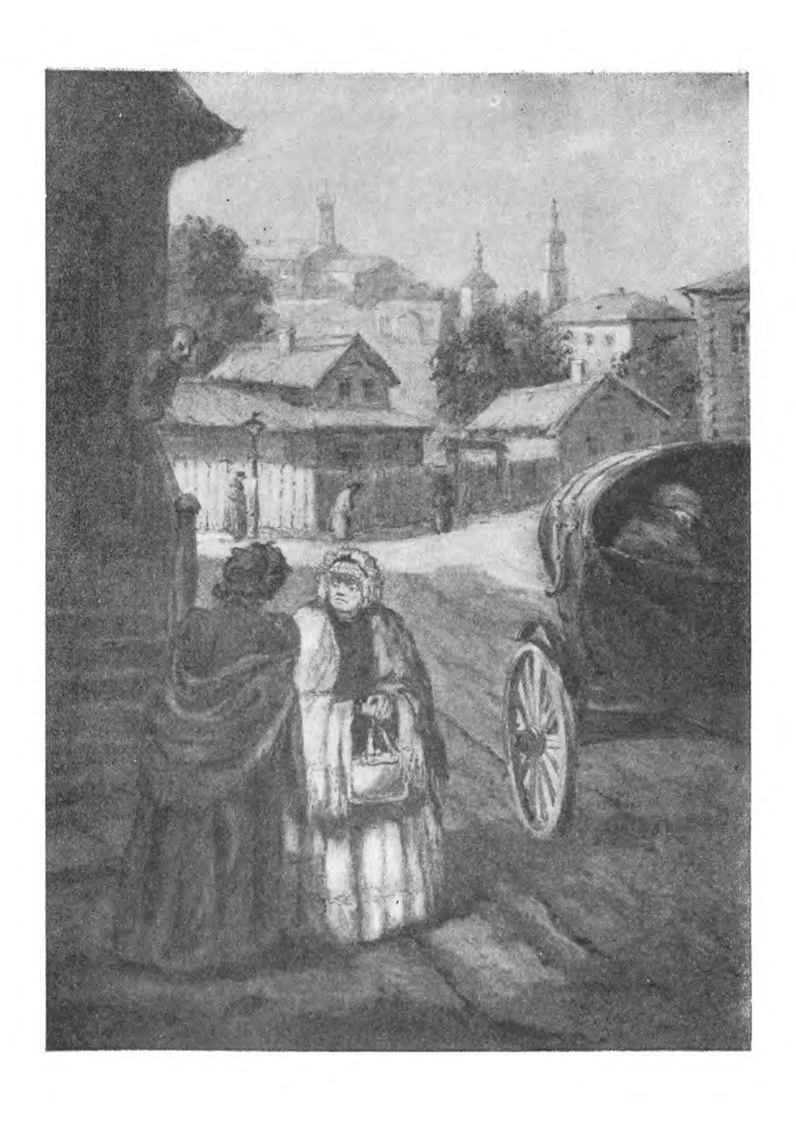
возьму шест, ну что же, хорошо это будет?» Так и так стараюсь его урезонить, моченьки моей нету! .. А он-то, голубчик ты мой, все эдакими же самыми словами: «Я бедный, несчастный, до старости дожил, утехи не видал... видеть я не могу мою должность. сжальтесь вы надо мной, я вас не обопью, не объем. Нету у меня угла, приюта...» Смотрю на него — страсть мне его жалко стало. Пошла к барыне, а уж она вся в слезах: «Погубил он меня. Сжалось мое сердце от него! .. На, отнеси ему халат мужнин. Ах, какой стыд через это!» — «Матушка, говорю, сем мы мужиков позовем — уволим его от нас! ..» — «Нет, говорит, стыд пойдет, срам, мужчина был у вдовы...» — «Ну сем он у нас жильцом будет, вроде жильца?..» — «И — нет, говорит, контракт покойников.. без куска хлеба останусь...» — «Что ж нам делать с ним, красавица ты моя? ..» Молчит да заливается! Ах, тяжело нам было... Помутились мы в умах своих... Пошла я к сообщению, говорю: «Что ты с нами, с женщинами, делаешь?.. За что ты нас мучаешь?» Высунул глаз, шепчет: «Нет ли покурить?» Я было ему хочу ответ дать — ан, слышу, барыня зовет: «На, говорит, отнеси ему трубку!» Сама горькими слезами заливается: «Ах, жалко, жалко мне его, жалко! ..» Принесла трубку, говорю: «Как вы можете, господин, женщин утруждать? Путей вы сообщения, а завалились в чужие хоромы?» — «Нет ли водочки?» шепчет... Я было опять хотела, слышу, барыня: «На, отнеси!» Вся в слезах.. Несу я водки — сама рыдаю... выпил он водки и сам зарыдал: «Не гоните меня... Я бога за вас буду молить... Дайте мне уголок...» И мы обливаемся: «Стыд... Срам... Контракт у нас. Мы — женщины...» Ах, большое рыдание у нас в ту пору было... Вот он чем нас погубил! ..

— Чем же?

— Тем вот, что. Зачем он нас смутил? Зачем он пришел?

— Чем же он смутил-то?

— Чудак ты, купец! — сказала мне старуха. — Кажется, можем мы, женщины, человека полюбить? Ведь полюбили мы его, злодея! Зачем он, жалкий, пришел к нам! .. Сколько мы из-за него муки вынесли! .. Первонаперво, как наплакались, стали мы за ним ходить: трубки ему набиваем, подаем чай, обед, ужин... Услужи-



ваем, стараемся... Тихий, смирный: «покорно благодарю, дай бог вам» — это у него кажинное слово. Ну, сударик ты мой, помаленьку да помаленьку — привыкли к нему. Все молчит. Как мы к нему привыкли, в то время стало нам опять в голову этакое нехорошее вступать. Стали нам сны сниться. Ночью к барыне приходит покойник муж и говорит: «Ты намереваешься противу моего закона поступить? Так и тебя, голубушку...» Опять страх берет: ну-ко народ узнает — живет мужчина у вдовы... Страсть господня! Первое дело, сударик ты мой, — закон, второе дело — стыд... Что нам делать? Мучились, мучились мы, вот барыня раз и говорит: «Нет, говорит, Арина, — я свою совесть должна сохранить! Жалко, жалко мне его, голубчика — путей сообщения, но мы должны его уволить...» Теперичe как нам его уволить? Народ позвать стыдно. Как быть? Не вытерпела я, перекрестилась, думаю: «ну, буди воля господня!», пошла к нему и говорю: «Господин! Уходи ты от нас, бога ради! Ступай, бог с тобой! Оставь нас! Будь жалостлив!» — «Куда я пойду?» — «Иди, куда хочешь, нам нельзя!» И расписала ему все, и про покойника, и про бумагу, все ему доказала. «Иди, батюшка! Иди, оставь нас!..» Умоляю, а сама плачу; и он-то, сердечный, рыдает. Встал с дивана, надел шапку и пошел... Ни словечушка не говорит! Глядим мы в окно. Как был в своем сертучишке — так и пошел... И пошел прямо в лес... против дома у нас рощица была. Пошел в лес, и видно нам, как он постоял эдак недалечко от нас и лег. И не видать нам его! Лежит, сирота, на сырой земле... Плачем мы, а крепимся... И обеды прошли, и вечерни, и уж смеркаться начало. Лежит!.. И тучи стали собираться — огонь пора зажигать... «Нет! говорит барыня, нету моих средствий! Он простудится! Поди, приведи его!» Пошла я... То-то жалость-то! Лежит, бедняжечка, ручки сложил на грудке, глазушки закрыл — как бездыханен!.. «Ну, говорю, вставай, бессовестный! Растиранил ты нас! Вставай, поднимись хоть сам-то! Неужто мне, женщине, тебя на руках нести!» Поднялся, пошел.. пришли. Он прямо барыне в ноги — ну, а та... прямо ему на шею! Ну и мучаемся с тех пор...

— Чего ж мучиться-то?

— А стыд-то? Ты думаешь, стыд-то ничего не стоит?

— Так замуж выходила бы.

— Да ты, купец, — чудак! Ей-богу! Замуж! .. А пить-есть надо, по-твоему, али даром? .. Что ж я тебе говорила-то — бумагу упокойник оставил, гербовую. «Всего решу! ..» Ах ты какой, купец! .. Да разве что может женщина обязанная? Он — муж-то, во гробу лежит, а нам все одно, что он жив-живехонек... Мы уж и то к царю хотели просьбу подавать...

— О чем?

— Чтоб над нами запретили надсмешку... да опять жаловаться хотели...

— На кого жаловаться?

— На путей сообщения: зачем он нас помутил... Зачем он пришел, как боров растянулся, мы — женщины. Ну — рассоветовали. И ежели об эфтакой срамоте да в Петербург посылать, так это, друг ты мой, тогда и не оберешься стыду-то... Еще пуще зашутят... Так и оставили...

— Где же этот?

— Путей-то?

— Да...

— С ней, все с ней... Поди-кось, глянь на нее, как заливается-то... Полюбила, горькая... Э-х, упр-равы нету на вас! .. На мучителей женских! ..

Старуха наговорила еще что-то в этом же роде и, наконец, ушла.

В комнате было совсем темно. Я закрыл окошко и, не зажигая свечи, улегся спать; но в воображении моем долго еще стоял странный образ мужа старухиной барыни, который, сходя в могилу, приготовляясь сделаться перстью земною, даже сделавшись уже этою перстью, все-таки имел дела с гражданской палатой, оставил на земле доселе действующие контракты и счел необходимым привязать к своему бренному праху несчастную, к великому горю — живую супругу свою...

На следующее утро, стоя на крыльце постоялого двора и утирая плачущие глаза фартуком, старуха провожала в дорогу свою барыню. К маленькому старомодному тарантасику дворник подводил какую-то приземистую и широкую женщину в куцем стареньком салопике; дворник был без шапки и оказывал этой женщине почтение, ибо это и была несчастная жертва путей сообщения. Широкое, слегка рябоватое лицо ее было орошено слезами; голова,

украшенная большим чепцом с крупными и шевелившимися оборками, падала то на одно, то на другое плечо, как это бывает у женщин, идущих за покойником; и не мудрено — барыня влезала в тарантас, где уже сидел ее губитель и хищник. Это была массивная фигура, плотно закутавшаяся в довольно подержанную шинель. Воротник совершенно закрывал его лицо, обнаруживая только вершину его староватого картуза и часть козырька. По этим судорожною рукою натянутым складкам шинели у воротника, по его полуобороту к публике, стоявшей на крыльце, и вообще по всей его фигуре, видимо жавшейся в угол тарантаса, можно было видеть, что этот, по всей вероятности больной, тронувшийся человек хочет спрятаться от взоров, от глаз — не только публики постоялого двора, но и вообще людей...

Коротенькие ноги несчастной барыни, ослабленные, кроме того, трогательностью минуты, долго путались и не могли попасть на подножку, так что на помощь к дворнику должна была тронуться и старуха. Наконец дело уладилось при общей мертвой тишине зрителей и главных действующих лиц. Едва барыня поместилась рядом с любимым злодеем, как он еще более подался в угол, вытянулся так, что весьма напоминал собою длинный ящик, какие обыкновенно возят землемеры с астролябией.

— Вся в стыду! Вся-то, вся-то в стыду! — плакалась баба вслед уезжавшей барыне.

— Как-кая дама! — с соболезнованием говорил дворник, качая головой и возвращаясь из-за ворот. — Погубил разбойник ни за что, ни про что.

НА ПОСТОЯЛОМ ДВОРЕ

(Летние сцены)

I

Город О. как будто скучивался и словно оседал, по мере того как широкая лента шоссе спускалась на другую сторону пригородного холма. Исчезли два каменные старинной архитектуры столба с необыкновенно широкими основаниями и острыми вершинами, увенчанными местным гербом; по бокам шоссе тянулись еще загородные дворишки, лачуги, землянки... Близ дороги стояли маленькие столики, за которыми старые оборванные солдатки торговали квасом, калачами; с писком гнались эти бабы за проезжающими, вытягивая вперед руку с калачом; но тройки и перекладные пары стремглав проносились мимо их, и городские, проникнутые достаточным ухарством, ямщики, залихватски гуляя кнутом по ободранным спинам и бокам почтовых кляч, не упускали случая хлестнуть мимоходом и бабу с калачом.

Исчезла, наконец, последняя подгородная хибарка. От города виден только кончик соборного шпица — и целое море пыли повисло недвижимо в раскаленном полуденном воздухе. Исчез и шпиц. И пыль, висевшая над городом, исчезла...

Дорога. Идут богомольцы. Шоссе круто поворачивает налево, и тут же от самого изгиба его бежит старая столбовая дорога с ветлами в два ряда и с необыкновенно извилистым и узеньким проселком, извивающимся по всей ширине этой широкой зарастающей травою дороги. Проселок перебегает с одной стороны дороги на другую и чаще всего вьется под густыми ветвями ив; одинокие ивы разрослись и опустили чуть не до земли свои тревожно

треплющиеся по ветру ветки; проезжий мужичонко нарочно прилег к телеге, чтобы не хлестнуло его; ветка не хлестнула, но тихо прошумела, пропуская между своими листьями и тощую клячу, и тощую телегу, и мужика. Кое-где густая сплошная масса зелени прорывается — видны попытки восстановить эти спасительные для пешеходов аллеи; но тощие и тонкие сучки, втиснутые в землю по приказанию начальства, в изнеможении попадали на землю, не имея возможности исполнить возложенной на них обязанности — давать путнику тень и прохладу. Кое-где валяется ветла, разбитая и опаленная молнией.

В полутора верстах от шоссейного поворота, по старой столбовой дороге, при начале довольно длинного леса расположился маленький поселок, состоящий из нескольких постоялых дворов, из которых иные очень зажиточны. Повидимому, в этой глуши на позабытой уже дороге не было никаких резонов существовать этому поселку — и притом еще существовать довольно весело (о чем свидетельствуют три кабака между шестью домами). Но оказывается, что резоны есть, и именно два: шлагбаум, или застава на шоссе, и непроходимый овраг на старой столбовой дороге. Шлагбаум тем содействовал процветанию поселка, что, пугая обозников разными взысканиями и пошлинами с лошади, с версты и проч., заставлял их объезжать лесом и старой дорогой; подгородные постоялые дворы поселка, не ломившие той цивилизованной цены за овес, сено и харчи, которую ломил город, привлекали сюда извозчиков, тем более что лошади, легко тащащие тяжелые возы по шоссе, смертельно уставали на мягкой дороге. Кроме обозников часто из прилеска ухарем выносилась почтовая тройка с офицером, тоже бежавшим узаконенной платы, — и в таких случаях все-таки поселку выпадала прибыль: празднуя свое избавление от шлагбаума, офицер и ямщик останавливались у кабака и подкреплялись. Такую же услугу оказывал поселку и овраг. Он пролегал по самой границе двух губерний, перерезывая собою большую столбовую дорогу, но моста через этот овраг, сколько запомнят столетние старики, не было никогда. Происходило это оттого, что мост нужно было строить натурою двум смежным деревням разных губерний. Дело всегда шло таким путем. Прежде нежели в чьей-нибудь голове рождалась мысль о необходимости

моста, нужно было нескольким десяткам человек сломать себе шею и даже отдать богу душу. Результаты этих происшествий, путем разных инстанций, наконец доходили до центра той или другой губернии; центр убеждался в необходимости моста и сносился поэтому с другим губернским городом. Другой, смежный губернский город, не торопясь, делал дознание в местном волостном правлении: «действительно ли?» Местное волостное правление докладывало другому центру, что «действительно». Тогда оба губернские центры списывались и соглашались, что действительно мост необходим. После множества понуканий начиналось устройство моста натурою; но при этом случалось так, что одна губерния выводила свою половину тогда, когда первая этого не делала. Провалились еще несколько человек и повозок, и первый центр торопливо приступал к работам своей половины. Но в это время вторая уже сгнила и провалилась... Люди летели в бездну, следствия шли судебным порядком и т. д. Роковое место это было известно далеко, и скромные помещицы и разные деревенские люди, проезжавшие в город по столбовой дороге, должны были делать большой конец, чтобы въехать на шоссе, и потом другой конец, чтобы избежать шлагбаума. Таким образом поселок процветал, и обыватели постоялых дворов его могли на досуге поддерживаться при существовании там кабака. Жизнь шла тихо, кое-как и не изобиловала ничем, выходящим из ряда вон. Такого же сорта будут и наши заметки об этом поселке.

Посреди поселка стоит дом русского мужика-барина, с такими признаками барства: железная крыша, а дыра в крыше заткнута соломой; комнаты большие с диванами красного дерева, но без подушек, с огромным барским зеркалом, в котором осталась только половина стекла; тут же «сляпанная» деревенским мужиком лавка, тут же и корыто с проросшим картофелем и с песком. На стене с лоскутками шпалер торчат лубочные картинки. Такое опустошение комнаты и вообще расстройство всего жилища, то есть раскрытые сараи, полное отсутствие замков там, где они необходимы, расколотые на дрова двери, сгнившие в две зимы рамы и проч., все это опустошение было произведено в самое короткое время «арендателем»,

которому настоящий хозяин сдал постоялый двор на два года. Хозяин, находившийся в это время в Петербурге в наездниках, был несказанно удивлен, увидав такое разорение...

Но он скоро успокоился, ибо столичная жизнь выучила его понимать всю силу выражения: «обвязался подпиской». Он был твердо уверен в силе воцарившейся законности, полагая, что законность эта непременно должна быть «против мужика», а к мужикам он теперь почему-то не причислял самого себя. Он служил наездником у какого-то графа, важные господа давали ему на чай, его рысаки получали призы, наконец чай и пиво он распивал не иначе, как с кучерами важных господ. Все это давало ему право думать, что он не мужик, а стало быть, и не может ни в чем проиграть по отношению к настоящему мужику-вахлаку. Вот почему он был совершенно спокоен, предоставляя себе право доказывать всему поселку, что петербургский человек целый день пьет и все-таки пьян не бывает; кроме этой способности, вынесенной из петербургской жизни, он в два года совершенно переродил свою внешность: клиновидная борода была тщательно подстрижена, почти под гребенку; лицо, обрюзгшее и отекшее от множества всякого рода чаев и питий, проглоченных им в столице, почернело, но сохраняло достоинство и гордость. На родине он не стеснялся костюмом: на голове был кожаный картуз, на плечах халат, ноги босиком. Глухая, под самое горло, жилетка и синие со складками штаны составляли весь его костюм. Немало также изменился он к жене. Пухлая баба в немецком платье не привлекала его взоров после столичных удовольствий; он даже был совершенно равнодушен к ее двухгодовому одиночеству, хотя и слышал, что что-то произошло этакое.

— Плевать! — говорил наездник.

Не торопясь взысканием с арендатора Ивана убытков, он целые дни только опохмеляется да посылает этого Ивана за водкой. То и дело слышится:

— Иван! Беги за полштофом! Марья! Давай деньги! Погоди, ребята, я вас разберу!.. Это отчего крыша разворочена?

— Крыша-то? — робко переспрашивает Иван, с испугу пред взысканием превратившийся в лакея. — Крыша, это, друг сердечный, — ветром. Ветром, братец мой.

— Я тебе не братец, а за ветер взыщу!

— За ветер-то?

— И за ветер и за каждую щепку! Ну да ладно! Беги в кабак-то! Живо! .. — И Иван, запыхавшись, бежал в кабак.

Приезжают к наезднику гости — старуха мать, какие-то развязные жилистые мещане — и опять раздается: «Иван! Беги! Марья! Давай деньги! ..»

— Федор Кузьмич! — впопыхах беготни в кабак пытается спросить Иван у хозяина: — а вот насчет ворот как будет? Ведь гурт стоял, бык и высадил...

— Для меня и бык — все же ты! И ветер — ты, и бык — ты! Ну, живо! Не разговаривай!

— Ох ты, батюшки мои светы! — вздыхает Иван, пускаясь босиком с пустой бутылкой в руках.

А в «горнице» разоренного дома то и дело слышится:

— Кушайте, маменька! Будьте здоровы! Ну, будьте здоровы! Марья, налей! За ваше здоровье! С приездом! Еще по стаканчику!

И опять:

— Иван! Живо!

Полдень. Жара. К крыльцу постоялого двора подошли два прохожих. Один из них был длинный, сухощавый, с каким-то ящиком за спиной, поверх которого лежало свернутое узлом верхнее платье; прохожий был в одном расстегнутом жилете, широких шароварах и в калошах на босу ногу. Другой, видом походивший на монаха, или, вернее, на «расстригу», в каком-то подряснике и в ветхом военном картузе, был плотный ражий детина лет под пятьдесят, с толстым рябым лицом и черными как смоль волосами, загибавшимися кольцом за ухом. Он шел босиком с высокой палкой в руке.

— Нет ли где уголочка, друг? — заговорил сухощавый, обращаясь к Ивану. — Нам бы самое это полымя-то — жару передышать...

— С чаво ж, заходите.

— В холодок бы где...

— Я вас в амбар поселю.

— Пречудесно!

Иван неторопливо слез с крыльца и, шлепая сапожными опорками, повел их улицей в ворота.

— Вы откуда ж это идете-то?

— Я-то, — говорил сухощавый, — я недалеко... всего двадцать верст... У помещика, у господина Чекмарева, ежели слыхал...

— Чикмаря? знаю. Это в Богоявленском?

— Ну во! он самый. Ну, я у него в церкви там, по живописной части маленько потрудился.

— Стало быть, живописцы?

— Н-да-с. художники.

Иван привел прохожих в амбар, где было действительно свежо, хоть воздух был несколько неприятен.

— Ну вот, художники, вот бы вы тут как-нибудь.

— Мы с удовольствием. Мы подстелим что-нибудь... А ящик-то под голову.

— Это ящик что такое? живопись?

— Да, предметы к этому, тоись...

— Ну, а предметы под голову.

— Ладно, ладно. Спасибо, друг! .. Мы разберемся!

Прохожие начали укладываться. Иван постоял и неторопливо пошел к двери. Живописец и спутник его, разостлав по полу свои одежи, растянулись.

— Фу, батюшки, благодать какая... Уж и жара, — бормотал живописец...

— Парит! — сказал спутник.

— Смерть... Уф, боже мой! .. Ну, батюшка, что же вы мне не договорили, как вы это грешить винцом-то начали.

— Да так и начал-с, — серьезным и несколько грустным басом заговорил его спутник. — Из-за пустяков, дальше да больше... Наконец того... доходит в замету самому. Под Тихонов день, как теперь помню, призывает он меня и строго выговаривает за мое поведение. Я же, признаться, изучился тщательно во лжи и отвечал ему: «В. п.! простите меня. Семь лет с зятем и сестрой не видался. Проезжая из Москвы, попотчевали они меня. Как владыку, прошу простить меня или наказать»... На это они сказали: «Прощаю»... Я же полз на коленях, говоря: «Накажите!» — «Прощаю!» — Умоляю опять, повелел удалиться.

Иван высунул голову в дверь и произнес:

— Художники, господа! Вы будьте столь добры не курить!

— Нет, не бойся, — заговорил живописец.

— Уж сделайте милость. Время, сами знаете, какое! Чего боже избави — искра, и шабаш!

— На этом будьте покойны. Я тыщи рублей не возьму, чтоб его коснуться... Тьфу!

— То-то-с... Сушь! Порох!

— Боже избави!

— Уж будьте так добры!

Иван ушел, бормоча:

— Тут теперь за всякую малость взыск!

Жара и тишина между тем все более и более налегла отовсюду; протянувшийся на высоком холме лес засинел под косыми солнечными лучами; ветер вяло дышал в разгоревшееся лицо. Наседка с цыплятами чуть слышно ворчала под крыльцом. По дороге в холодке пробирались богомолки, надвинув на лицо головные платки и нагнув голову. Навстречу им шел пьяный мужик в расстегнутой свите.

— Откуда? — проговорил он.

— Киевские, батюшка, киевские.

— К-еивские! а-а за меня, чай, забыли помолиться.

— Как забыть? Мы про тебя всю дорогу вспоминали.

— То-то! На вас не закричи, вы и рады.

Мужик споткнулся и без шума повалился на бок; он приподнялся было на одной руке, подумал и лег опять, проговорив:

— Еще маленько сосну.

Посреди постоялого двора на солнце стояла телега с каким-то продуктом, тщательно закрытым кожами и увязанным веревками. На телеге спал хозяин ничком; отпряженная лошадь ела овес из мешка, привязанного между оглоблями. По временам она валилась на землю, звякая бубенцами.

— Дья-вал! — поднимая лохматую голову, кричал на нее мещанин.

Лошадь становилась на ноги, вся усеянная сухим навозом. Мещанин спросонок зверски хлестал ее кнутом, снова подгоняя к овсу.

Тишина стоит мертвая. Только в амбаре слышен бас прохожего.

— Терпел я четыре с половиною года, женившись уже, — рассказывал спутник живописца, — и в это время тысячекратно утруждал его о рукоположении меня. Но

получал в ответ: «подумаю». Являюсь на четвертой неделе пред благовещением: «Я, Егор Смягин, подаю прошение: довольно я терпел четыре с половиною года, прошу всенижайше разрешить меня к рукоположению». Но он опять отвечает мне: «посмотрю». Горько мне, признаться, стало, повалился я в ноги, стал просить... говорю: «ежели достоин, то разрешите, ежели нет — изгоните». — «Ступай вон!» говорит...

— Погоди-кося, друг, сем-ко я испить чего-нибудь поищу, — сказал живописец.

— Холодненького! — добавил спутник.

— Да, кваску бы.

Живописец встал, тихо отворил дверь и тотчас же закрыл глаза от нестерпимого блеска.

При помощи Ивана и живописец и его спутник с жадностью напились холодного квасу и затем продолжали разговор. Речь рассказчика звучала как-то однообразно; он рассказывал словно вытверженную наизусть историю или же как будто репетировал прошение кому-то, где излагал формальным слогом свои беды.

— ...Через два года был я рукоположен. Но несчастия мои не оставляли меня. В 1849 году шестого марта, как теперь помню, приезжает к нам в К. генерал-лейтенант Лампасов. Приходит к нам в церковь. Я стоял на хорах, владыки не было. Феофан, казначей, отлучился к Софье Осиповне Труницыной (бывало... ну это я вам после расскажу). Начинаю я петь обедню. Спрашивает меня тенористый: «Как вы, Егор Прохорыч, прикажете — стихиры петь или читать?» Отвечаю: «На девятый глас пойте». Все шло хорошо. Только, забывшись, я вдруг и запел: *Свете тихий.* Наш же поп, который теперь расстрижен, из южных дверей кричит: «Дурак! замолчи!» Разогорчен был этим генерал Лампасов и тотчас пообещался довести до сведения. И вдруг я внезапно узнаю: в консисторию спущена резолюция: «удалить Егора Смягина по нестерпимому его поведению, лишив ношения рясы».

— Вот те на! — протянул живописец.

Спутник его на это только крякнул и, помолчав, продолжал:

— Поехал я на дьячковскую вакансию в село Голенищи. Живу полгода, ограничил себя во всех похотствованиях своих, а потом являюсь в К. с просьбою к самому:

«разрешить меня, оставляя на дьячковской вакансии по доходам». Спущает резолюцию: «Узнать, как он себя вел. . .» Но так как благочинный Зерцалов не рожден для добра, то и отвечает: «по дошедшим до меня слухам — не совершенно добропорядочно. . .» Спущает резолюцию: «воротить в Голенищи!» Падаю я в ноги и молю: «не терзайте меня или же уничтожьте». — «Ступай вон!» говорит. .

Настало небольшое молчание. Спутник живописца поправился на своем ложе и снова, смотря в потолок, ровным форменным слогом продолжал:

— Сидя в Голенищах, по возвращении, за столом у крестьянина Никифора Степанова, не стал я водки пить. . . Тут же благочинный Зерцалов сидел, праздник какой-то был. «Что же, — сказал Зерцалов с ироническою улыбкою в лице, — или вы не хотите теперь водки пить?» — намекая тем, как меня поперли под его начало на смирение. . . Меня взорвало. Беру стакан и говорю хозяину: «Налей!» Взявши стакан в руки, говорю мучителю моему: «Неужели же ты думаешь, что я боюсь тебя? но твое безумие побудило меня, чтобы я пил!» Выпивши, говорю: «Ты кончил курс, а забыл, что не всякому слуху верь!» На это отвечал он: «По-нашему гнуть, так гнуть». Я же отвечал: «Ваше благочиние! ведь я знаю, как дуги гнуть. Их нужно распарить, а не вдруг. . . а не то ведь соскочит да в рожу. . .» С тех пор началась у нас вражда, доколе меня не порешили. . .

Тянулось долгое молчание. Живописец часто вздыхал, прибавляя: «Боже, боже. . .» Спутник его тоже вздыхал, но редко и глубоко.

— Ну, что же, — спросил, наконец, живописец. — Как это вас всего-то порешили?

— Через клевету. . . Оклеветали меня в убийстве жены.

— А-а-а!

— Да-с. Точно что, не запираюсь, в унынии и горести моей, бывало, бивал я ее жестоко. Не утаю ни от кого, колачивал. Но на сей раз, то есть насчет убийства, перед богом и перед людьми покаюсь — чист! Случилось дело через это подлое вино. Надо по совести сказать — оба мы с женой придерживались его. Она даже жесточе меня. . . Через это и случилось. Видите ли, я был у помещика,

у господина Басова, и испросил у него десять рублей серебром, намереваясь купить якобы сруб. По дороге, проезжая мимо знакомого кабака, купил я винца полведра для рабочих плотников; штоф же отдельно для семейства — для себя и супруги моей. Дорогою я, признаться, из штофа примерно перстов на двенадцать отпил, да близ деревни еще немножечко глотнул, так что собственно штоф я выпил весь, ведро же доставил в целости. Время было осеннее, в избе холод и темно; под вечер жена моя лежит на постели и охает. Телосложение она имела тщедушное. . Я с любовью подхожу к ней и вдруг чувствую спиртный запах. «Что с тобой?» В ответ на это спрашивает она меня: «Что это?» — «Вино». — «Дай, христа ради!» Дал я ей чайную чашечку и повел лошадь к дьячку. Возвращаюсь домой не более как чрез несколько минут и вижу: жена лежит без чувств на полу, чашка около нее валяется, и ведро это самое откупорено... Ужас объял меня! Стал я на нее со свечкой смотреть: рот раскрыла, губы черные, так и пышет вином, ровно бы пламенем. С жалостью перенес я ее без чувств на кровать. Спрашиваю у работницы: что с ней? «Они, говорит, десять чашек выпили». Тут я с горя, не утаю, пил целую ночь до бела света. Наутро открывает жена глаза — никак не может открыть. Боль. «Что ты?» Только рукой чуть-чуть. Сожалея о ней, послал я полштоф и поднес ей чашечку... С жадностью выпила она. «Еще...» Я еще; да никак штук семь!.. Упала она и посинела вся. Как теперь помню, тоже был полдень — ни в деревне, ни в избе ни души не было, жара стояла нестерпимая. Сижу я у окна и думаю: господи! что же это я всю жизнь мою страдаю! Ни кола у меня, ни двора, ни хозяйства, только буйство одно и пьянство. С горя подзываю я мальчика маленького и прошу его добежать в кабак, — он приносит; к этому временя очнулась жена. Посадил я ее к окну; на столе промежду нас — полштоф. «Дай!» говорит. Я дал. Отпила она каплю, толкает — не надо. Через минуту опять: дай... Потом вдруг: ах, ах, ах!.. жжет, ах, жжет, — и тут она чашки четыре полных выпила; у самой глаза как угли. Начала пятую да как вскрикнет — кровь горлом... Бряк со стула, и дух вон...

— Боже, господи, владыко! — в ужасе произнес живописец... — Умерла?

— Умерла...

— Царь небесный!

— Ну, а потом все обвинение через родственников... Обидно было им, как ее потрошили...

— Потрошили?

— Как же, резали... Увидали кой-какие, например, ушибы, вывихи — убил. Я говорил судьям: «ваше высокоблагородие, все эти синяки и увечья получены ею в течение десятилетнего замужества, во время ее жизни, а не в день преставления...» Но не верили мне и судили. Присудили — лишить всего и сослать в монастырь на покаяние...

— Были?

— Был в трех. Но по чистой совести сказать — изгоняли меня.

— За что же?

— За нетрезвое поведение. Ведь я запоем...

— А-а-а!

— Да-да. Вот теперь месяца два воздерживался, а уж чувствую — сосет. Как бы господь дал до города добраться — всё подымут на улице где... А то боюсь, ну-кось где-нибудь посередь дороги схватит — сгниешь в канаве.

Спутник живописца, помолчав, прибавил:

— Да, признаться, чует мое сердце, что околеть мне скоро... Расслабел... С двух рюмок остервеняюсь. Околею...

Тягостное молчание.

— Боже, господи! Защити меня! — с чувством произнес рассказчик.

Молчание воцарилось снова. У самых дверей амбара долго пищали цыплята, слонявшиеся толпою за наседкой. Слышался звук бубенчика; где-то вдали звенел колокольчик.

— Дья-ввал! — орал мещанин на лошадь и хлестал ее кнутом.

— Вот вы, — заговорил живописец, — про родственников-то упомянули; то есть про родню...

— Да.

— Я тоже нагляделся на нее. То есть, на вашу духовную-то. Боже, какое ослепление!

— Нагляделись?

— Нагляделся... страсть! Вот я вам расскажу эту историю...

— Милые, — раздался голос у дверей, — что ж щец-то похлебаете?

— Надо бы, голубушка, — отвечали прохожие.

— Ну, ступайте. Иван! где этот дьявол, Иван?

Ивану в это время грезилось, как с него идет взыскание за ветер, за быка и проч. Судьи решают его освободить; Иван хочет поклониться в ноги, в это время раздается толчок в плечо.

— Аль ты оглох? — говорит хозяин. — Беги живей — полштоф, да проворней.

— Ссию минуту!

Иван пускается в кабак.

II

— Одно время, — рассказывал живописец после обеда, попрежнему лежа в амбаре, — одно время был я в большой тягости: работы никакой, супруга померла, на руках малый ребенок да теща старуха... Сами судите, куда деться? Пить-есть надо; стал я в эту пору всяческие работы принимать, как ни горько было унизить свое художество. Случалось, чиновник забежит с разбитым глазом, ну за гривенничек ему синяк-то и загрунтуешь, потому опасается к начальству идти — с увечьем таись; а иной — вот тебе, скажет, Гаврилыч, четвертачок, поднови ты мне конуру собачью по византийскому рисунку. Ну и расцветишь ее. Просто горе было неописанное. Жил я в эту пору в глуши — у одной мещанки уголок брал, и тут же полон дом семинаристов напущен. Гам, шум — сами знаете, чай. Старшой — первое удовольствие в трактир; мелкота — в драку. Боже избави! Опять эти возрастные, окромя трактиру, беспременно с мещанками любовь заведут, те жаловаться к начальству — комедия. Тут я и признал одного человека — богослова; тихий, красивый, белый, высокий, волоса черные, курчавые... Очень добродушный был юноша. Бывало, придет: «Ах, говорит, Виктор Гаврилыч, какую я книгу читал!» — «Какую же-с?» спросишь. «Дивную», говорит... И потом: «Голубчик Виктор Гаврилыч, нарисуйте мне этакую картинку: вода,

ракита... да лучше я вам прочту». И начнет. Я, признаться, толком-то не понимал, в чем тут сила, однако же, бывало, до слез растрогивался, на него глядя. Вижу я, начал он через тоску свою — в кабачок. Замечаю ему: «Что же это, говорю, Коля, — так неловко». — «Теперь, говорит, не буду... Вчера был в театре, и теперь не буду». И действительно, перестал; но заместо того каждый день в театр, каждый день в театр. Кажется, только один тулуп на плечах остался — все спустил. Дяденька у него был, в палате служил в одной; узнал он про это, явился и препорядочно-таки его распатронил. Шло так долго. Все он в театре, бывало, как нищий какой, местечка вымаливает постоять и каждый день домой часу в первом приходил. «Что это, говорю, Коля, ты этак-то шатаешься по ночам?» Тут он маленько в конфуз вошел, однако же рассказал мне, что втемяшилась ему в башку одна ахтерка. И что же, друг мой, он делал? Сейчас эту ахтерку от самого тиатру до дому провожает. Сначала, говорит, гнала его прочь, потом сжалилась — только, говорит, у фонаря не становись, чтобы публика не видала твоего авчинного безобразия. «Я, — говорит Николай-то, — стану в сторонке на углу — дожидаюсь... Подъедет, остановится: «садись...» Ну, он обыкновенно сейчас на козлы, и всю дорогу — разговоры... «Иной раз, рассказывал, сколько выездим по городу-то...» Ну, что же, спрашиваю, к себе-то припущает ли? — Нет, не подпущает: только что ручку дает поцеловать. Тут ахтерка эта стала ему давать билет в раек. И уж так же он рад бывал, коли она глазком туды в рай-то к нему замахнет! Вижу, колеет мой малый — похудел. В тую ж пору один из братьев его женился, взял благородную, дворянку. Тут на радостях-то его, Николая-то, кой-как обшили, вид ему дали какой ни на есть и спервоначала — не очень-то лаяли на него. Однова прибежал он ко мне: «Хватай, говорит, краски — пойдем». Собрались мы духом; притащил он меня к братнину тестю в сарай, сейчас это сани, дрожки, которые были, прочь — «грунтуй, говорит, — театр строится; рисуй дерево, хижину, воду». Принялся я за работу, расписал ему стену в лучшем виде, даже так, что сам удивился. Декорации, какие надобились, тоже приуготовил; на занавески, по его приказанию, голубой краской пустил и золотом звезды разбросал — дивно!

Подходит этот самый день, надо уж представленью начинаться: сует мне Николай в руку записку — беги, говорит, отдай этой камедианке-то самой и скажи, чтоб беспременно приходила: ей пропуск будет. Отдал я. Что же ты думаешь, друг, — пришла ведь! То есть как он обрадовался! Совершенно как сумасшедший стал.

«Хорошо. Сыграли это — и он играл: преотлично, надо сказать, сыграли. Народу навалило тьма-тьмущая, семинаристы это, бабы разные, чиновники, то есть вся улица как есть привалила. Христа ради просят: позвольте в щелочку заглянуть. Уж и надорвали животики! Этакого смеху, кажется, в жизнь свою никто не видал. И любезная его тоже хохочет и в ладоши бьет. Много что-то они тут представляли — уж я теперь и не помню. Опосле того представления — к тестю, пить. Наш Коля пообгляделся маленько, видит: компания зачумела, — сейчас за шапку да к ней... да целую ночь и не бывал... Тут малый к этой бабе совсем присосался — и все ученье навыворот пошло.

«Дальше да больше, дальше да больше — ан и подошло ему время семинарию кончать... Тогда стали ему родные говорить: «Ты, мол, Коля, теперича понапри в науку-то; старайся как можно...» Брат женатый говорит ему окромя того: «Ты знай, что быть тебе в монашеском звании, ибо за прежние успехи выхлопочем тебя в академию. Дослужишься, бог даст, у начальства получишь мнение и в архимандриты выйдешь».

«— Братец! — говорит Николай-то, — я совсем по этому званию идти не могу, потому против души моей будет. Я желаю в ахтеры.

«— А мы желаем в монахи.

«Тут малый и сел! Сами посудите, какое же это соответствие? Стали его на две части рвать — стал малый убиваться и винцом маленько того... Подходит это самое последнее время — «ах, говорит, брошу я все эти книжки, авось, говорит, выгонят в шею»... Совсем бросил учиться, махнул рукой и в той надежде был, что исключат его или по третьему разряду выпустят; но, однако же, такого он ума обширного был, что все же и при нерадении в первых вышел... Весьма его это убило! Запивал он в ту пору уж препорядочно. А от бабы этой, любимицы-то, и не оторвешь его. Часто я туда ходил

за ним, и, бывало, видишь, как она хлопочет — например, сейчас его на кровать, окно завесит, на цыпочках ходит... цссс... «почивают...» Бывало, станет мне говорить: «я, говорит, на своем веку видела мусской пол, не утаю; ну, только Колю мне пуще всех жаль — прост он и, окромя того, душу в себе имеет высокую. Да уж и любит же он меня! Куда ему в монахи!» Оно так по-настоящему и выходило. Между прочим съезжаются из деревень родственники за детьми, чтобы то есть на вакацию домой взять. Помню я один денек. Даже теперь страшно вспомнить, какую человек лютость в себе иметь может...

«Собрались, помню, родственники Николая у женатого брата в комнате. Страсть народу! Все это в кураже, бурлит... Собралась вся эта компания провожать Колю в Москву, в академию. Все это орет, кричит; песни, ругательства, водка. Коля целый день как шальной ходил. Побледнел, похудел, словно год в лазарете вылежал. Назначено было ему ехать с капитаном Зверевым. Помню: капитан этот молодой, плотный, приземистый, рожа красная, усы черные и лысинка небольшая. Ходил нараспашку; панталоны широкие со складками и манишки черные носил. Сейчас пришел, шапку бросил в угол, подошел под благословение, честь-честью, потом водки дернул и начал рассказывать; поднялся хохот, опять закипели самовары, водка, песни, пошел в доме содом еще пуще... Жена Колина брата просит мужа: «Федор Лукич, побойся бога, когда все это кончится?—«Поди прочь, не твое дело!» — «Который, говорит, день пьянство идет, господи!» А муж ей: «Дай ты мне, ради самого бога, хоть раз вздохнуть свободно!» Сидим мы с Колей. «Ну, прощай», говорю ему. «Я не поеду». — «Как?» — «Да так и не поеду совсем: я убегу». — «Нет, ты, говорю, этого не смей! потому от родных да бродягой в острог попадешь — хуже того». — «Нет, все же я не поеду; что хотят, то пусть и делают». А гости пируют попрежнему. Тары да бары, хохот да водочка — настегались ребята в лучшем вкусе... У каждого в голове засеяно было здорово. А ямщик капитанский ждал-ждал: «что же, говорит, господа, надо ехать; этак до ночи в Марьино не попадем». Дадут ему водочки — ждет. Наконец даже и капитан вспомнил: «Пора, говорит, теперь помолиться

с теплотою богу — и в путь! Где мой попутчик?» Отыскали Николая, привели в горницу. Стали молиться; иной поклонится в землю, потом вдруг и на бок и лежит, встать не может... Удивление!.. Начали прощаться... «Ну, Николай, — говорит старший брат, — целуй мою руку, потому я тебе второй отец. Ты меня должен в благодетелях считать. Целуй!» — «Я, — говорит Николай, — не поеду!..» — «Ка-ак??» Так все и заржали... «Вот мило! — говорит капитан... — Я, быть может, ста попутчикам отказал. Н-нет-с, я не позволю... Да как же ты это смел подумать?» Обступили малого со всех сторон, ругать всячески начали... Вижу, позеленел мой приятель да как гаркнет:

«— Не хочу! Изверги! — и вон из комнаты...

«Все за ним шарахнули, этакое ополчение! «Ка-ак, орут, нет, ты, брат, погоди!..» Забился бедняга от них в кухню: вижу я в дверь, бегает он около стола, кружит, а старший брат за ним с голиком, да все так в лицо-то ему этими корешками и тычет. Задохнулся малый, прижался в угол, лицо бледное, исцарапанное. «Убью!» говорит. А брат пуще того — по голове, по груди, по чем ни попади... Хотел было я за него вступиться, потому, истинно скажу тебе, друг, сердце на части разрывалось, но чиновник, брат Николаев, прикрикнул на меня и строгом погрозился. К старшему брату подоспела еще роденька, начали малого полыскать! Наконец он вырвался от них, в окно да опрометью в сад, в баню под полок забился. Опять же все за ним с дубинами, с метлами, с кочергами...

«Стоим мы на крыльце: женщины, которые были, плачут; особливо, помню, тужила тетка его, жена брата чиновника, очень убивалась. Но капитан Зверев ее утешал и говорил: «Вы, сударыня, не извольте беспокоиться. Это дело совсем пустое». В бане же между прочим только стон стоит... И слышу я, взвизгнул Николай. Ах, думаю, добили!..

«И действительно вижу — ведут его под руки. Совсем малый без чувств. «Извозчик, кричат, подавай!» Подкатила телега, стали они его, словно куль с мукой, туда валить. «О-ох», стонет, а глаза открыть не может. Посмотрел я на него: — боже мой! все лицо в синяках, из носу кровь... Сел потом капитан — «с богом!» Уехали.

«Ну слава богу, — заговорили родственники, — по крайности выпроводили!» И стали опять винцо попивать.

«Пошел я домой; иду по двору, и всё-то капли кровяные на камнях. И, кажется, сколько лет прошло, а я каждый камушек и теперича помню! .»

— Это что? — сказал спутник живописца таким тоном, в котором слышалось: «такие ли еще дела делаются». — Ну, что же потом с нею-то?

— А с нею, друг мой, видишь ли что... Как уехал Николай-то в Москву, стала она об нем тосковать. Письма он ей писал всё грустные: утоплюсь, удавлюсь — эдакое все. Слухи прошли, бытто совсем потерялся он; иной раз сумасшествие на него находило. В Сухареву башню топиться ходил, всё этакие печали да горести до ей доходили. А тут, между прочим, есть нечего. ребенок... хлопоты, стеснения. За болезнею за своею тиатры эти она оставила, да, признаться, ее и не требовали больше туды — из лица она спала, обрюзгла, и игры той уж не было.. Стала она, друг мой, горе мыкать. Прошел год, прошел другой, дела в Москве всё хуже да хуже; прошли потом слухи, бытто там какая-то посадская девчонка его яблоком заговоренным к себе приманила и стал бытто он еще горче запивать. Даже родные про него слухов в то время не имели, жив ли?

«Тут у ее такие тяжкие дела подошли... да опять же и то горе, что покинул... такие, говорю, трудности, что сама она мне в ту пору говорила: «Право, говорит, я теперь на все готова... я, говорит, ей-богу, ни в одном месте не жалею себя». А тут к ней и подластился один человечек.

«Был он какой-то советник, старичок; человек богатый, вдовый. Остался у него после смерти жены сын. Отец, кажется, всю жизнь свою положил в него, но вышел, заместо того, из этого сына как есть болван. Росту длинного, худой, шея журавлиная, язык заплетается... До двадцатого году достиг он от роду и только что умел домики рисовать... Как есть в полном комплекте олух. Отец же около него все старание прилагал, как бы люди на смех не подымали. Бывало — смех, ей-богу, — идут они по улице: сынок шею вытянет, руки как у мельницы ходят — умора; а отец глаз не спускает с этакой красоты. Идут-идут: «Стой!» Что такое? Пух на шляпе прилип...

Сейчас обчищать. Или, случится, гуляют они по бульвару, народу видимо-невидимо; вдруг опять: «Стой!» — Начнет галстук сынку любезному перевязывать. Сам-то он росту маленького, а сын — эва, дылда; по этому случаю отец на цыпочки становится, а сын на коленки: уморушка, да и только. «По сторонам не глазеть, — шепчет ему отец. — Ты теперь в полном соку юноша, ты теперь должен стараться заслужить чью-нибудь любовь, то есть у женского пола, — это, говорит, даже и по медицине не грех в твои года». — «Слушаю-с, папенька», — это сынок-то. «Я в твои года, — продолжает отец, — был словно петушок... Так и следует! Только старайся отыскать к себе любовь истинную». — «Слушаю-с...»

«Стал этот олух промежду женского полу увиваться, только хохот над ним раздается — никто на него и внимания обратить не хочет. Танцовать просит — никто не идет, потому одну барыню он так грохнул обземь — смерть просто. Попробовал на лошади зимой кататься — тоже не вышло, потому и так-то он с колокольню, а на лошади — это уж даже, если только посмотреть, и то опасно: высота беспредельная... Выехал на катанье — сколько ни было народу, все так со смеху покатились. Сконфузился малый; лошадь испужалась да в сторону, он брык, развел по воздуху ножищами словно рогатиной, да прямо так башкой и впился в снег... Ну уж с этого времени он и глаз не совал в публику. Между тем замечает отец, что сынок его еще пуще глупеть стал, еще пуще дурашней. Начал он думать, как бы это его с женским полом в знакомство ввесть, чтобы хоть к чему-нибудь он по крайней мере привязался. Тут и прослышал он про эту, про Глашу (камедианка-то), и начал он туда к ней с сыном похаживать. Девушка она была добрая, даже старику самому полюбилась. Начал он ей подарки делать, переселил в особую квартирку и просил ее усердно, чтобы она хоть малость внимания его сыну оказала, потому собственно, что тут из жалости дело шло. Глаша говорит: «Мне все равно теперь — что чорт, что дьявол». — «Согласны?» — «Согласна!» Поселил их старик вместе. В ту пору я часто к ней захаживал: сижу, бывало, в передней на оконнике и вижу его, этого олуха-то. Сидит он на диване, в полном костюме, расчесан, ручки сложил. «Что ж вы спать не ложитесь?» — скажет ему

Глаша. «Спать? сейчас». И пойдет спать. А не скажи ему, сам не догадается. Останемся мы с ней вдвоем-то, а она все про Николая, только про него одного разговор у нас шел. Бывало, заплачет-заплачет, бедная!.. Ну да и что будешь делать-то? Каково в самом деле с сумасшедшим человеком-то жить! Жила она так с этим дураком никак с полгода места. На что уж трудны дела ее были, все-таки невмоготу ей стало себя продавать, отказалась она от него... «Не могу, хоть зарежьте!» — «Чем же вы, говорю, барышня, жить-то будете? они, господин советник, теперь вам помощь оказывают, а ведь тогда, поди-кось, своим-то трудом немного получите!..» — «Лучше я, говорит, издохну...» Так-таки и отпихнулась от него. Уж как же сам старик-то плакал, как убивался этим отказом, что и не пересказать мне вам. «Он, говорит, без вас, Глаша, совсем околеет...» Ну, Глаша обнаковенно ничего ему на это не могла присоветовать. Так и разошлись они. На прощанье старик всунул ей деньгами что-то много; она было не соглашалась, однако взяла.

«Прошло так еще года с два. Подходит срок Николаю из академии выходить... Тут от него письмо получили — «еду», говорит... И приехал действительно вскорости, ну только совсем не тот. Горький пьяница!.. Дали ему в училище место; начал было сначала он туды ходить исправно, потом свихнул и запил. В эту пору он тоже уж запоем стегал. Только что приехал, Глашу отыскал. Она ему все подробно, что было... Ну Николай стал опять с ней жить, с родными рассорился, только уж прежнего-то не было!.. Н-нет! Не воротились развеселые деньки, слезовые времена наступили. Уж тут он даже и с любезной-то своей не ладил, случалось. Стал совсем другой человек, и горе-то другое у него было какое-то, только никто разобрать не мог — в чем оно?

«Пил, пил, да с тем и ноги протянул... Всего, может, с год места пожил... Человек был!..»

Время между тем подходило к вечеру; после шести часов в воздухе начинала чувствоваться прохлада. Солнечные лучи потеряли свою полуденную жгучесть; но зато были необыкновенно светлы и ярки. Мещанин тихо съехал со двора, хриплым спросонок голосом распростившись с хозяйкой. Одинокий наездник с багровым от водки лицом сидел на крыльце, держась за столб, поддерживаю-

щий крылечную крышу; он иногда словно хотел встать, но тело его не слушалось. В ворота соседнего постоялого двора въезжала рогожная повозка, наполненная множеством женщин и детей. Хозяин постоялого двора шел за повозкой без шапки. Живописец и его спутник виднелись уже на конце поселка: они торопились засветло выбраться на большую дорогу. Жена наездника, несмотря на то, что муж ее был пьян мертвецки, с некоторым удовольствием смотрела на него.

«Ишь, — думала она, — муж-то; вот он».

Не с таким удовольствием взирал на наездника Иван; при виде фигуры хозяина он чувствовал некоторый страх, точно сознавал, что стоит над какой-то бездной, в которую полетит непременно; но что всего горше — Иван решительно не знал, когда он полетит туда и возможно ли избавиться от этой погибели?

ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК

(Страницы из одних записок)

I

Года полтора тому назад печать и общество были, если помнит читатель, одно время сильно заинтересованы так называемым куприяновским процессом, разыгравшимся в нашем богоспасаемом городе и сразу занявшим в ряду рязанских, харьковских и других, родственных по своему внутреннему содержанию процессов — весьма почетное место. Подобно своим достойным сотоварищам начался он от совершенно ничтожного обстоятельства, так сказать, загорелся от копеечной свечи и, быстро достигнув громадных размеров, вытащил на божий свет великое множество самых темных и скандальных дел и делишек, совершавшихся, как оказалось, в среде так называемого образованного общества.

Я не имею намерения перечислять здесь все темные и скандальные дела этого процесса, так как, помимо утомительности этого труда, интерес скандала не имеет ровно никакого значения для предлагаемых читателю записок. Для пишущего их вся эта вереница обнаруженных безобразий интересна исключительно только относительно тех непривлекательных, но подлинных, неподдельных, ничем не прикрытых желаний, целей, жизненных руководителей, которые обнаружились, благодаря процессу, в человеке, обязанном, казалось, руководствоваться более широкими, более светлыми целями и желаниями...

Вялый, не всегда аккуратный исполнитель тех идей, за которые платит начальство, не сумевший наполнить своею личною волей даже тех пространств, которые отведены и дозволены для этой воли, слишком терпеливо

скучающий с своими приватными идеями, — этот вялый, бесхарактерный человек вдруг оказался и смелым и сильным, ни пред чем не задумывающимся, ничего не щадящим на своем пути, — в таких делах и делишках, где не требовалось никаких, ни оплачиваемых, ни неоплачиваемых идей, где не требовалось ничего, кроме самых грубых, животных аппетитов.

Все обилие скандалезных и темных дел процесса показывало именно всю ничтожность этих аппетитов, которые все сию минуту можно перечислить на трех пальцах, так их мало, так они просты и первобытны... Глядя на ничтожность той сферы, где интересующий нас человек является полным хозяином, — невольно становилось страшно за микроскопические размеры, до которых доведена личность этого человека. Боже милосердный, как он мал, этот человек! Разумеется, с такими средствами и оплачиваемые и неоплачиваемые дела вечно будут оставаться без результата или очень остроумно сводиться на ноль.

Вот каков был смысл этого процесса.

Много было по поводу его шуму и толков, но ни на кого он не произвел такого сильного впечатления, ни для кого так много не значил, — как для пишущего эти строки. Впрочем, быть может, и я бы, подобно другим, впоследствии позабыл его, — если бы сам не попал в этот процесс каким-то свидетелем каких-то пошлостей и, благодаря этой неожиданной связи с очень маленьким человеком, не задумался о себе, о подлинных размерах моих сил, моих личных желаний, — сравнительно с теми, которые признавал я за собою до сих пор.

Я позволю себе два слова о том, чем именно был я до сих пор.

Лет шесть-семь тому назад один из моих деревенских соседей, человек, не отличавшийся никакими умственными богатствами, совершенно случайно так метко определил мою особу и мою профессию, что кличка, данная им мне, признана за мною всеми единогласно, и я ношу ее в моей семье и в кругу соседей даже до настоящего времени. Подъехав как-то вечерком к воротам моего хутора, он попридержал лошадь и просто от нечего делать спросил дворника: «Что, дома ваш... *читатель-то*?» Случайно мне

пришлось видеть из окна физиономию дворника: не более одной минуты на лице его было как бы некоторое недоумение, происходившее, очевидно, от незнакомого слова *читатель;* но это краткое недоумение почти мгновенно заменилось светлой улыбкой, какая бывает, например, когда у трудной загадки оказывается самая простая разгадка. «Читатель-то? — весело переспросил он, — дома, дома, да вон они», — и он указал на меня. Я видел, что это слово пришлось ему по вкусу, — отворяя гостю ворота, он продолжал улыбаться. «Читатель! — казалось, думал он, — вот что. .» И он понял, что именно этого слова недоставало ему для того, чтобы разрешить себе все недоумения относительно моей особы. Ему стало ясно, отчего я не хожу по утрам в конюшню, не веду разговоров с лошадьми (их, впрочем, немного), не торгуюсь, не меняюсь, как делал бы всякий барин моих лет, не принадлежащий к особенно знатной семье. Ему стало ясно, почему это если и забредет этот барин в конюшню, то, вместо разговора о деле, продолжает смотреть в книгу, которую потом долго ищут по всему дому, пока сам дворник Петр не предъявит ее, объявив, что вот, мол, нашел что... Теперь он знал, что все это оттого, что это не барин, а *читатель*... Подобно дворнику, с появлением этого меткого слова — поняли меня и жена, смотревшая на меня с каким-то недоумением чуть не с первого дня брака и, кажется, втайне считавшая меня за сумасшедшего, и теща, при всем ее уме до сих пор затруднявшаяся сказать обо мне что-нибудь определенное и невольно разделявшая, кажется, взгляды моей жены... «Читатель!» Это слово объяснило им все: вот отчего я помещик, но не занимаюсь хозяйством, вот отчего я отец семейства, но как будто не забочусь о детях, муж, не высказывающий никаких, ни хороших, ни дурных качеств мужа, — теперь все это стало понятно; скоро и соседи, когда до них дошло это слово, поняли, отчего им не о чем со мной говорить, отчего я не езжу в гости, отчего, когда эти гости приедут ко мне, — вдруг, среди беседы, скроюсь и оказываюсь спящим так, что не могут добудиться.. За соседями из благородных поняли соседи крестьяне, и в очень короткое время кличка *читатель* осталась за мной навсегда. «Я у *читателева барина* пять с полтиной получал, что вы?» — торговался мужик, нанимаясь к соседу. «Ишь *читателевы* теляты-то как отощали!» —

говорит другой. Пошли «читателевы хомуты», «читателевы родители» и т. д.

Особенно старательно занималась укреплением этой клички за мною матушка моей жены, женщина удивительно даровитая. Природный юмор ее вдруг проснулся от одного прикосновения этого меткого слова, и нельзя не сознаться, что она сумела разработать этот эпитет в самую смешную, нелепую сторону. Вот пришел дворник Петр и объявляет, что сегодня ночью пропали хомуты. «Давича с забором, теперь с хомутами! То забор завалился, то хомуты пропали... Пропали! — будто бы с негодованием отвечает на это заявление моя теща. — Неужели вы не можете понять, что барину вашему с одними заграничными делами только-только впору справиться, а не то чтобы еще и этакой, прости господи, дрянью заниматься... Хомуты! Ты бы поглядел, как он, бедный, сегодня с приятелем всю-то, всю-то ночь убивались, успокоиться не могли до шестого часу: всё хотели сделать во вред французскому начальству... Иная какая-нибудь дура-жена прямо бы вышла да огрела бы по шее и гостя-то и барина-то, чтобы они не орали по ночам да не пугали детей, а мы, батюшка мой, — как можно! Я вон как пьяная хожу, глаз сомкнуть не дали всю ночь, покуда у самих языки-то, должно быть, не окостенели. А ты лезешь с хомутами». «Аль вы проснулись?— необыкновенно ласково и весело восклицает она, адресуясь иной раз непосредственно ко мне... — А тут гости приезжали и, представьте, какие невежи, обиделись! ехали за пятнадцать верст, всей семьей, думали, как у других у соседей, — чаю напиться, поговорить, — а вы спите на самом на парадном диване... Я подвела Ивана Ларивоныча, — «вот, говорю, до чего утомлен заграничными беспокойствами, что среди бела дня свалился... Говорю: такие беспокойства имеет, такие беспокойства, что вот уж, кажется, спит, а и то весь в ведомостях, весь в газетах. Уж извините», говорю... Плюнул даже, невежа... А вы из этих, из газет-то, только личико свое прекрасное показываете, ровно вот как иной раз свиньи, ежели, знаете, зарываются в грязи...» Иногда она как бы выходила из терпения, и тогда юмористическая речь ее принимала оттенок некоторой серьезности. «А что, Иван Андреич, как вы думаете, что ежели, храни бог греха, да как-нибудь ночью, нечаянно, вспыхнут эти

ваши ведомости и депеши, что тогда можем мы сгореть или так пройдет?» Но неудовлетворительность ответов с моей стороны делала этот тон совершенно бесполезным, и ей оставалось одно — попрежнему только подтрунивать надо мной... «Что это какой я сон странный видела сегодня, — сидя за утренним чаем, начинает Марья Ивановна, искоса бросив взгляд в мою сторону. — Вижу, будто бы в детской потолок эдаким манером провалился и всех ребят и нас — всех задавил.. Что бы это значило? Уж не к плотнику ли? Да нет! ежели бы за плотником посылать, так уж давно бы пора было. А то не посылаем... Нет! стало быть, надо понимать на другой манер... Уж все ли за границей благополучно? Помилуй бог!.. Иван Андреич! Нет ли чего об этом в газетах? Успокойте, пожалуйста...» И т. д.

Вообще кличка «читатель» имела в себе, несмотря на очевидную насмешку, некоторую долю правды. Иностранные беспокойства действительно приобретались мною почти помощью беспрерывного чтения и рассуждения над вопросами, ничуть не похожими на рассуждение о пропавших хомутах, о проваливающихся потолках, о неудовлетворительности исполнения помещичьих, супружеских, родительских и тому подобных обязанностей. Мысль моя, под влиянием непрерывного и разнообразного чтения, постоянно держалась на такой высоте, что оттуда все эти обязанности, хомуты, потолки и другие будничные заботы и явления представлялись мне как бы в тумане или как вещи, которые теперь неизбежны, но которых не должно быть... Ждать этого, повидимому, я мог довольно терпеливо. На этой высоте, в этом далеке я не ощущал даже собственного своего веса, не замечал самого себя до тех пор, покуда не брякнулся в куприяновское дело, которое и показало мне этот вес, поставив на одну доску с «очень маленьким человеком», вследствие чего вся прошедшая жизнь моя приняла совершенно другой цвет.

Мне стало приходить в голову, что обилие и превосходное качество идей, исповедуемых мною, ничуть, однако ж, не мешало быть мне самому вовсе не тем, чего бы требовали эти идеи. Так, не исполняя всех помещичьих обязанностей, я тем не менее был все-таки помещик, жил на чужой труд, ел не заработанный хлеб и не замечал этого... Я не замечал, как пропадали хомуты, не интере-

совался тем, кто подал прошение становому об разыскании воров, но не замечал также, что мне бы должно быть очень горько при известии, что хомуты найдены, а воры схвачены и сидят. Нет, стало мне казаться, мои идеи не составляли моей жизни, иначе как бы могло случиться, что вокруг меня в течение тридцати пяти лет во имя их не изменилось ничто ни на один вершок, что, как и тридцать пять лет назад, становой охраняет мою собственность, а рабочий своим трудом дает мне хлеб. Правда, во имя исповедуемых мною идей я постоянно желал предпринять нечто очень большое, но всякий раз находилось множество весьма основательных доводов, вследствие которых я не предпринимал ровно ничего. Единственное воспоминание, имевшее для меня кое-какое оправдательное значение, — шесть месяцев занятий в сельской школе, — представлялось мне такою ничтожною попыткою делать дело, что я охотно объяснял ее теперь простым желанием не делать ровно ничего...

Все эти соображения показали мне, что между мною и маленьким человеком существует самая неразрывная связь: обоим нам не пошли впрок ни дозволенные, ни недозволенные идеи; ни в тех, ни в других мы не были заинтересованы жизнью, довольствуясь очень малым, с тою разницею, что я был этим малым очень доволен и был вполне спокоен, а маленький человек выделывал разные штуки, проявлял в них удивительную природную даровитость; в остальном мы были равны. Это меня глубоко опечалило.. Под влиянием глубокого личного огорчения я невольно должен был задуматься и о других таких же маленьких, как и я, людях, у которых, — как доказали проделки процесса, — есть и сила, и ум, и воля, которые почему-то проявляются покуда только в области самого мелкого эгоизма, делающей жизнь скучною, мертвою, и, вопреки здравому смыслу, ровно ничего не делают в пользу тех идей, которые могли бы сделать жизнь — жизнью, которые носятся в воздухе, которыми нельзя не дышать даже самым отъявленным зверям куприяновского процесса.

Все, что придумалось и припомнилось мне в ту пору, я и хочу теперь изложить в этих записках, соблюдая в изложении моих впечатлений тот порядок, в котором они следовали одно за другим.

II

«Умереть!» — вот что сидело у меня в голове, когда я выходил из залы нашего окружного суда после того, как она огласилась рукоплесканиями по случаю полного оправдания всех подсудимых по куприяновскому делу. «Зачем жить, зная, что ничего не можешь, что даже ничего не хочешь? — твердил я себе в каком-то столбняке, шлепая по грязи среди темной августовской ночи. Только что вынесенные мною гнетущие впечатления и темная неприветливая ночь, с мертвыми улицами и глубокими лужами, спирали дыхание, теснили грудь... Мне страстно хотелось воздуха, явилась неотложная потребность уйти куда-нибудь непременно, сейчас же... Как-то добрел я до гостиницы, где ожидала меня жена, что-то говорил ей в объяснение необходимости моего немедленного отъезда и уж не помню, как очутился потом на пароходной пристани.

По счастью, у пристани стоял большой американской системы пароход, остановившийся ночевать благодаря очень значительной особе, занимавшей на нем весь первый класс. Я мог уехать... Много народу спешило воспользоваться этим случаем и толкалось на пристани с узлами, подушками, чтобы пораньше занять местечко и залечь спать. Много народу плелось так, от скуки, поглядеть особу и выпить рюмочку. Меня долго толкали взад и вперед, и так как, пораженный столбняком, я вовсе не думал сопротивляться этим толчкам, то иной раз ноги мои заносили меня вовсе не туда, куда мне было надо. Я бы очень долго не попал на пароход, если бы случайно меня не втянула в свои недра кучка народу, направлявшаяся туда, и, подхватив меня под бока подушками и сундуками, не доставила прямо в верхний этаж, где помещаются первый и второй классы.

В первом классе, с опущенными на окнах занавесками, пропускавшими довольно сильный свет, к которому льнули любопытные глаза, помещалась особа. Во втором классе было шумное общество. В табачном дыму можно было разглядеть несколько лиц, севших на пароход из нашего города. Всех, очевидно, занимал только что окончившийся процесс, о чем я тотчас же догадался, услыхав две, три знакомые фамилии, с прибавлением не совсем лестных

эпитетов. Эти толки не могли быть интересны для меня, которому процесс задал такую нравственную муку, — я ушел из каюты и, выйдя на галлерейку, идущую вокруг всего второго этажа, сел здесь на лавочку... За спиной моей лежал по склону горы темный, скучный город, впереди тусклый отсвет Волги, которая по временам хлестала в пароходные бока, а в голове тянулся ряд нестройных тягостных мыслей. И вот что, сидя на этой лавочке и припоминая путь, по которому я достиг до куприяновского процесса, — вот что припомнилось мне о житье-бытье очень маленького человека, угнетаемого очень маленькими целями среди довольно больших идей, которыми пропитан воздух..

Прежде всего я должен сознаться, что общество, в котором возможны куприяновские истории, весьма понравилось мне при первом с ним знакомстве. Мне пришлось встретиться с ним после продолжительного пребывания в деревне, где у меня очень долгое время не было ни единого человека, которого я бы мог взять за пуговицу и, продержав таким манером около себя часа два-три подряд, излить на него все мои не подходящие к окружающей действительности и никем не разделяемые заботы.

И вот, наполненный этими заботами, однажды отправился я в город с весьма простыми хозяйственными целями: нужно было купить чаю, сахару, свечей и т. д., о чем у меня хранилась подробная записка, в конце которой была прибавлена убедительная просьба: «не забыть и поторопиться», ибо иначе весь дом будет сидеть без продовольствия и освещения. Ехал я за покупками, думал, разумеется, о чем-то вовсе не соответствующем моей простой миссии и прибыл в город, но о покупках забыл совершенно и вспомнил о них только через два дня после приезда.

Произошло это именно оттого, что общество, с которым мне пришлось познакомиться, произвело на меня самое приятное впечатление, отодвигавшее всякие мелочи на задний план. Закадычных друзей-приятелей у меня не было в городе, но было множество знакомых, которых я знал и которые меня знали.

Тотчас по приезде я случайно встретился с одним из таких знакомых; этот знакомый повел меня к другому знакомому, ночевал я уже у третьего, а завтра шел с ним

к четвертому; так прошли два дня, но я не заметил их — и вот почему именно: несмотря на разнообразие профессий, которые занимали посещаемые мною люди, все они, как мне показалось тогда, вполне разделяли вышеупомянутые мои заботы, которыми я, как «читатель», был постоянно проникнут, все они понимали их и даже как будто бы только что думали о том, о чем думал я. Положительно среди этих новых знакомых не было ни одного человека, который бы не высказал самых новых мыслей, и что особенно подействовало на меня тогда, так это то, что новые мысли разделялись людьми, профессии которых, повидимому, и были учреждены собственно затем, чтобы мысли эти прекращать. Мне, как человеку, удаленному от интересов действительности, было весьма удивительно видеть такое обилие свободно мыслящих людей, и самое противоречие между свободомыслием и профессиею казалось мне в то время еще большим доказательством успеха новых идей, которые, как я думал, проникают уже в сферы явно им враждебные. Под влиянием этого-то свободомыслия я забыл совершенно о покупках, о продовольствии и, уж не могу сказать почему, стал крепко подумывать о поездке за границу, во Францию. Впрочем, не один я задумывал об этой поездке, — очень много людей, из числа моих новых знакомых, тоже хотело со временем ехать туда же...

Повторяю, я вспомнил о покупках спустя два дня после приезда, когда увидел перед собою некоего Федосеева и услыхал кое-что из его разговоров. Федосеев этот — человек просто голодный. Он нигде не кончил курса, нигде не нашел места, а между тем он здоров, молод, имеет огромный аппетит и очень мало средств к удовлетворению его. Аппетит его, разумеется, направлен к хорошему иску — но иска нет. С утра до ночи он бесполезно шатается по всем местам, где есть хорошие иски, где глотают хорошие куски, и злость его к окружающему возрастает с каждым днем. В старенькому пиджаке, плотно облекающем его плотное юное тело, он мрачно пробирается в какой-нибудь суд или съезд с маленькой трубочкой какого-то копеечного векселя в больших красных руках, исподлобья оглядывая идущих и едущих; ему кажется, что каждый из встречных только что проглотил какой-нибудь очень жирный кусок, целую деревню, купца

с пароходом и т. д. «Чем я хуже их?» — горько жалуется он своей старушке-матушке и, сравнивая *ихние* аппетиты, *ихние* приемы и взгляды на все и всех с своими, находит, что ему нехватает только костюма, ибо в остальном он ничуть от них не разнится и все понимает точно так же, как и они, хоть и не имеет на это диплома.

Я решительно не заметил, когда и как около меня очутился этот Федосеев, но помню, что он бродил со мною по всем моим новым знакомым и говорил про них, оставшись со мною наедине, что-то вроде следующего:

— Во Фран-ци-ю-у? Это Иван Иваныч-то едет? ха-ха-ха! Да у него здесь пять содержанок... Чего ему еще? Или еще, может быть, каких-нибудь мужиков обделал, денег много сграбил?

— Каких мужиков обделал?

— Должно быть, каких-нибудь обделал, — мало ли их... Намедни вон с кузминских пятьсот рублей неустойки взыскал, — полчаса опоздали с деньгами.

— Кто это взыскал?

— Да все он же, Иван Иваныч, — я сам был тут, видел... Он им показывает часы — половина первого, а у ихнего ходока без пяти двенадцать. «У меня часы по суду поставлены». И взял... Я теперь эти деньги с него взыскиваю, — да что! Хоть бы в самом деле уезжали уж, что ли, во Францию-то...

Подобным образом Федосеев относился ко всем почти моим новым знакомым и всегда рассматривал их с какой-нибудь совершенно неожиданной для меня точки зрения. Взгляды его, разумеется, были крайне узки и пошлы, но хотя я и понимал это, однако настойчивость и постоянство, с которым Федосеев их высказывал, невольно незаметно повлияли и на меня, и я волей-неволей должен был обратить на них внимание, так как и сам невольно припомнил такие мелочи, которые как будто бы подтверждали, что в этом свободомыслящем обществе есть какие-то шероховатости. Так припомнилось мне, что когда я входил в кабинет одного из весьма приятных молодых людей, последний вел какой-то весьма оживленный разговор, из которого у меня в памяти осталось несколько весьма отчетливо произнесенных слов, что-то вроде: «Принес?» — «Ваше высокое. .» — «Рта не открою, покуда все, сполна... А-а-а! — приветствовал молодой человек

меня, — причем все выражение его лица заменилось выражением гражданской скорби. — Читали?» — с грустию указал он на газету, и пока я читал, он поспешно окончил разговор с мужиком в передней и, воротившись, начал, по поводу газетного известия, один из тех разговоров, которые так пленяли меня.

— Явите божескую!.. — между прочим донеслось из передней, когда я брал газету.

— Сполна, сполна!

Припомнилось мне еще, что в другой раз, в другом, не менее симпатичном для меня кругу, где шел разговор о женском вопросе, причем было много высказано самых новых мыслей, с которыми согласны были *положительно все* присутствовавшие, кто-то, во время закуски, упомянул о некоей девице, отправившейся в Петербург, в академию. «Н-ну, — проговорил еще кто-то, прожевывая бутерброд, после второй рюмки: — эти академии, батюшка, нам очень коротко известны: просто поехала родить...» Последовал хохот, после которого кто-то сказал: «Что за вздор, не может быть, я никогда не поверю». Я тогда не заметил этого, даже, кажется, сам засмеялся, когда расхохотались все; я не вник тогда хорошенько в эту болтовню за закуской, у меня было в голове что-то другое. Но теперь, под влиянием тлетворных разглагольствований Федосеева, мне все эти мелочи и много, много еще других подобных мелочей припомнились и зародили во мне некоторое недоумение, очень тщательно поддерживаемое Федосеевым.

— Не поверит, — как же, так он и не поверил! — злобствовал Федосеев, припоминая слова того господина, который высказал недоверие, распространяемое невежами относительно женщин. — Подите-ка спросите у его жены, каков он, насчет синяков например.

— Что вы, Федосеев, с ума вы, что ли, сошли? какие синяки?

— Что мне с ума сходить! Синяки самые настоящие... какие же еще они бывают. Вы подите спросите у нее, — она вам порасскажет кое-что. Он ведь ее в Москве бросил, когда получил место-то сюда, — она из простых, из швей; ну, а здесь он как приехал, и стал ухаживать за Ломовой, — дочь богача-рыбника. Совсем было дело ладилось, вдруг эта московская-то и приезжает... Она вам сама расскажет...

С каждым днем разладица в состоянии моего духа делалась заметнее и ощутительнее, но все-таки не было никакой еще возможности решить, чего больше в этих людях, веры ли в сундуки купчих Ломовых или в женские вопросы, в судейские ли часы или в право ближнего опоздать и не платить того, что по совести платить не следует.

Определить настоящее, подлинное покуда не было никакой возможности, потому что всевозможные грубые вещи, сообщаемые Федосеевым, объяснялись моими знакомыми с самой интересной и неожиданной точки зрения. Например. Не кажется ли вам несколько странным воспользоваться просроченными минутами и, не принимая в расчет ничего, кроме права получать деньги, — получить эти деньги? А между тем, когда вам объяснит это дело тот, кто его сделал, то оно выйдет совсем не то; по этому объяснению выходит, что сдирание таким образом денег может благотворно повлиять на народ, который, изволите видеть, наконец сообразит же, за что это дерут с него, и... ну, и т. д.! Вам странным покажется, почему это один из ваших друзей, занимающий довольно видное место в новом суде, решается обвинять какого-то странного человека, из религиозных теорий собственного сочинения положившего себе быть молчальником, то есть просто молчать на все вопросы, обращенные к нему людьми какого бы то ни было звания; странным и несправедливым покажется вам, что это больное существо обвиняют в анархии, в неповиновении и, благодаря ловко подделанным фактам, сажают в острог или ссылают в Сибирь. Федосеев говорит, что это не в первый раз, что прошлым годом, когда в суде присутствовала знатная особа, имеющая власть, наш новый друг показал себя еще более ревностным слугою порядка, — но Федосеев невежа, умеющая видеть только дурное, а сам автор этих анархий, сам он вот что говорит: это, по его мнению, тоже как и по мнению адвоката, единственный путь, единственная возможность расшевелить, заставить думать и т. д. Вот как умно и ловко объясняют они свои подвиги, и не знаю, как другие, но я, как «читатель», некоторое время верил этому и чуть не с умилением смотрел, как они, продолжая быть свободомыслящими людьми, ловили карманы на просроченных минутах, отыскивали анархии, полу-

чали крестики и т. д., даже попросил Федосеева больше не бывать у меня.

И несмотря на то, что этот злой дух оставил меня и не смущал более моего веселого расположения духа, — подлинные верования продолжали выясняться все более и более. Шила в мешке не утаишь! И кто же обнаружил или по крайней мере дал мне возможность увидеть если не всю правду, то большую ее часть? Они же сами, мои новые знакомые, они выдали себя с руками и ногами. Как ни были они согласны друг с другом в объяснении своих дел (как видел читатель, анархию и просрочку они объяснили почти одними и теми же соображениями), но ни один из них не верит ни на волос словам другого. Едва я одному из моих новых приятелей объявил, что человек, напавший на молчальника, объясняет этот поступок так-то и так, — как тот, которому сказал я это, тотчас же усумнился.

— Ну не думаю, — сказал он... — Это говорит Иван Кузьмич? Навряд, чтобы общественная польза руководила им... Я, конечно, очень и очень ценю его ум и вообще, — но вот прошлый год какая вышла история...

История была такая, что оставалось только развести руками.

В свою очередь откапыватель анархий, узнав о том, как его друг объяснил геройский подвиг свой с просрочкой, произнес:

— Да, ловко!.. молодец, право молодец, но уж насчет просрочки-то он врет! Просто сорвать любит, какие там идеи! Знаем мы... Третьего дни он тут одного армянина общипал, так это тоже из-за... Врет!..

Вот как они относятся друг к другу.

Да не подумает читатель, что такое недоверие друг к другу обнаруживается между очень маленькими людьми исключительно только в области идей приватных, в области свободомыслия, увы! как только вы начинаете терять к нему уважение в области этих идей (а это доверие вы должны потерять очень скоро) и убеждаться, что в сущности он душою и телом предан тем идеям, за которые ему платят, тотчас же оказывается, что участь и этих последних ничуть не лучше участи первых!

Стоит только попристальней вглядеться в дело, чтобы убедиться в этом. Возьмите, например, моего недавнего

знакомого, откапывателя анархий: он получает за ревностную и усердную службу награду; им очень была довольна важная, влиятельная особа, присутствовавшая в суде в момент самого процесса этого откапывания. Но ведь и я тоже был им доволен: я обманулся; обманулась и особа, полагая, что тут происходит ревностная и усердная служба: этого-то именно здесь и нет, хотя, быть может, откапыватель анархий, ожесточенно нападая на молчальника, объяснил влиятельной особе эту ярость примерно хоть тем, что, мол, самое молчание свидетельствует о вредности этого человека для общества, ибо, не решаясь защищаться, он, очевидно, имеет какую-нибудь личную выгоду, боится высказаться, проговориться, открыть сообщников и так далее. Начальство его хвалит, а в сущности, кроме глубокой несправедливости, здесь не сделано ровно ничего другого. Уважает ли свою профессию этот ревностный слуга отечества? Очень мало. Уважает ли он такой же ревностный поступок в другом, своем сотоварище? Почти никогда.

— Вы слышали, как недавно такой-то спас основы?

— Как же, как же... отличился! Теперь он, посмотрите, какую карьеру сделает... Дочь председателя.

— Но я говорю не про карьеру, а про то, что основы-то едва-едва не погибли...

— Какие основы! Чорт знает что! Просто обделал дело и все... Знаем мы это! — и т. д.

Таких примеров можно бы было привести множество, но пусть это делает сам читатель, у которого в настоящую минуту под руками, может быть, более свежий материал, чем у меня, и он убедится, что у этого народа нет веры даже и в то, за что он получает деньги.

Во что же он верит наконец?

Неужели в купеческий сундук и т. п., а не в женский вопрос, не в «единственный путь к расшевелению тьмы», не в колеблющиеся основы, не в необходимость спасать общество и т. д. и т. д.? Не решаюсь сказать определенно то или другое, — воспоминания мои происходят под слишком сильным гнетом личного огорчения, но не могу не сказать одного, что верою в первые, очень простые желания сильно пропитан воздух, которым дышит общество, и жизнь, если только хватит охоты вглядеться в нее, дает много материала, доказывающего, что все, что

вообще должно жить мыслью, новая она или такая, за которую платят деньги, все это чуть живо, чуть дышит.

Вот семья, попробовавшая устроиться на так называемых новых началах, что же происходит в ней? Происходят в ней невеселые вещи, о которых общество узнает по какому-нибудь крупному и неожиданному происшествию — выстрелу, яду и так далее. И если есть у вас желание добиться сущей правды, то в конце концов, разбирая подробности этой истории, вы увидите, что идея, во имя которой устроилась эта семья, пожрана, так сказать, совершенно простыми аппетитами очень маленького человека, пробужденными временем.

То же самое случается и в другой семье, где есть глубокий аппетит к канкану и где пытаются устроить все на основании основ, завещанных предками. Здесь, быть может, не будет яду, но отсутствие веры в эти основы будет непременно, иначе зачем бы сюда попал канкан и потом разыгрался скандал, о котором «даже писали в газетах»?

А бывает и так, что, во-время узнав себя, примутся люди делать какое-нибудь очень простое дело — наживать, «нравиться», и все пошло как по маслу!

А учреждения общественные, не пускающие пуль в лоб и не принимающие яду, живут ли они тем, во имя чего устроены, во имя чего требуют хорошего продовольствия. Осуществляется ли в жизни хотя сотая доля целей, во имя которых учреждение это сделано, не говоря о том, что при искреннем убеждении одушевляющая деятеля мысль непременно бы, так или иначе, старалась проникнуть иногда и за дозволенные пределы, как свет проникает в такие щелки, которых и не заметишь.

Итак, по мере более ближайшего знакомства с окружающей действительностию я невольно, но тем не менее весьма основательно должен был убеждаться, что ни приватные, ни оплачиваемые идеи как будто бы не имеют ровно никакого значения в жизни «очень маленького человека», хотя он и не задумывается быть запанибрата и с теми и с другими, зная, что в сущности жизнью его руководят идеи самые простые, самые первобытные, даже самые не хитрые, достигаемые, однако, с удивительной энергией и настойчивостию. Как и зачем попадают сюда какие бы то ни было идеи — этот вопрос неоднократно приходил мне в голову, но всякий раз оставался без

результата. — Спустя только долгое время, при обстоятельствах совершенно иных, я мог, так или иначе, ответить себе на него, и когда мне придется говорить об этих иных обстоятельствах, я изложу все, что пришло мне в голову по поводу появления и исчезновения идей в обществе; — теперь же, сидя на пароходе и вспоминая куприяновскую свалку, мне не приходило в голову ничего стоящего, и казалось даже, что только отвиливание от идей и от дел, которые бы должны были делаться во имя их, — и составляет если не прямую задачу, то все-таки довольно характерную черту очень маленького человека. В этом отвиливании он дошел, как мне тогда казалось, до удивительного совершенства. В самом деле, посадить невинного человека в острог, сорвать просрочку и скрыть истинные цели этих поступков государственными или высшими либеральными соображениями, скрыть это от себя и от всех, да так скрыть, что никто не заметит и проглядит существеннейшую и самую ощутительную выгоду, которая осталась в карманах у вышепоименованных деятелей, это, как хотите, дело, достойное полного удивления.

Но как ни прочны результаты этого виляныя, как ни прочны, казалось бы, земные блага, достигаемые с такими ухищрениями и стараниями, — положение каждого отдельного человека, дышащего этим воздухом вранья, — поистине ужасное. Пробыть пять минут в обществе, которое устроил себе очень маленький человек, — чистое наказание. Земные блага приедаются, наскучают наконец, нервы когда же нибудь да одеревенеют, хотя на короткое время откажутся служить, и что тогда должен ощущать человек, поставленный с самим собою на очную ставку? Душевное состояние его весьма нескладное, — и эту-то нескладицу, это неуважение самого себя (а уважать себя он не может) — человек переносит невольно и на соседа, на ближнего, проделывающего то же самое — и, разумеется, ощущающего то же самое. Раздражительность, злость человека против человека — острою струею по временам проносится в воздухе, отравляя всякого, попавшего в область вранья, и эту злую струю ощущал, думаю, не один только я. Каждый как бы ищет случая вывести ближнего наружу и тем облегчить свою душу. Именно эта злость против человека, отсутствие веры в его слова и перетолковывание его поступков

на свой образец — разрушает всякое дело, начатое во имя какой бы то ни было идеи. Потребительное общество распалось именно от неуважения людей друг другом, оттого, что всякий считал другого лгуном, проповедывающим разные громкие идеи так, потому что чешется язык, — а ведь вся материальная часть дела не оставляла желать ничего лучшего: были и деньги, была и чудесная цель, а кончилось все скандалом и мордобитием. Да одна ли история с потребительным обществом! А все эти клубные, семейные и общественные поволочки, что это, как не проявление того же неприязненного, неуважительного отношения к человеку, порождающее злость, ищущую ничтожного случая, чтобы вырваться наружу.

Итак, вот до какого нищенства душевного доведен человек, сделавшийся очень маленьким. Он утратил веру в мысль, он приведен к необходимости быть хозяином только в навозной куче дрянных побуждений и, сознавая свое падение, негодует на себя и на всех...

Чтобы яснее показать читателю всю силу пропитывающей воздух злости, как результата полного душевного опустошения, я укажу опять же на куприяновскую свалку, которая никогда бы не всплыла на божий свет, если бы не существовало всего несчастия, о котором было говорено.

Вся эта унизительная комедия произошла, как я уж сказал, от одного совершенно ничтожного в нашей стороне обстоятельства: богатый купец Куприянов якобы переломил ребро солдатской дочери Перушкиной.

Эта продувная и смазливая девица, связавшись с родным братом богача Куприянова, так ловко повела свои дела и так ловко опутала этого простоватого парня, что тот решил вступить с ней в законный брак; свадьба должна была происходить в подгородном селе потихоньку, но брат богач узнал эти планы и с толпою своих молодцов напал на свадебный поезд, отбил жениха и в происшедшей при этом свалке будто бы переломил ребро. Началось дело; Куприянов стал платить; дело стало прекращаться и потухать и несомненно потухло бы, если бы у Куприянова не было связи со всеми вышеупомянутыми недугами общества. Во-первых, была связь по делам — поставки, подряды, отступные и т. д. и т. д., — дела,

в которых вечно надо что-то заминать и тушить: он, Куприянов, тушил кое-что в делишках общества, и общество тоже «замяло» не одно дело в пользу Куприянова... Во-вторых, была связь в виде жены, взятой Куприяновым из благородного семейства за красоту. Эта связь с обществом была самая опасная. Жена его была женщина весьма красивая и весьма легкомысленная, неутешно страдавшая в золотых палатах невежи рыбника, жаждавшая настоящей оценки; оценить ее могли, конечно, люди образованные, — и действительно, Куприянов неоднократно заставал ее сидящею на коленях у людей, игравших весьма видную роль в общественной иерархии. Долго терпел купец эти просвещенные взгляды, будучи подвержен этой иерархии своими потушенными, темными и другого рода обыденными делами, но видя, что иерархия, занявшись эмансипацией его супруги, забывает и свои темные, мутные и других цветов дела, забывает эти поставки, неустойки и тому подобные детали будничных своих занятий, — не выдержал и однажды даже занес палку над особой весьма значительной. Особа ушла невредимою, но ненависть к купцу залегла в ее душе неизгладимая...

Вдруг является на сцену ребро; дело о ребре возникает и, повидимому, прекращается... «На что же существует прокурор Протоклитов? — думает особа. — Протоклитов, который, повидимому, ухаживает за племянницей особы и норовит при помощи брака с хорошей фамилией, имеющей связи в Петербурге, сделать карьеру...» И вот в тот же самый день, когда мысль о прокуроре пришла особе в голову, встретившись с Протоклитовым, особа намекнула ему, что вот, мол, у нас что делается: толкуют о женском вопросе, пишут, — а тут под носом не видят, что купец, мошна, ломает женщинам ребра, колотит палкой образованную женщину и живет как ни в чем не бывало... «Как же вы, молодые люди, хотите, чтобы после этого вас любили женщины, хе-хе-хе-хе-хе...» Протоклитов очень сочувственно отнесся к положению женщин вообще и тотчас сообразил, что, поднявши женский вопрос судебным порядком, тем самым приобретет право на благодарность со стороны особы, а следовательно: «племянница...», «в члены...», «в товарищи председателя» и т. д., наконец «Владимира четвертой степени» —

и вот почти с быстротою молнии купец сидит в остроге. «Я вас не понимала, — сказала Протоклитову, вскоре после этого происшествия, племянница особы... — Я думала, вы злой!» Но теперь она почему-то поняла его и, зная, что он добр, просила кстати вывести на свежую воду Сергеева, который прежде все юлил вокруг ее дяди, а теперь связался с купцом и осмеливается делать дерзости с этой шлюхой, Антоновой, которая прошлый год в маскараде, и т. д. и т. д. Но и Сергеев, который, по словам племянницы, был кругом виноват, — едва только услыхал про то, что сделали с купцом, — тотчас же, припомнив прошлое, сказал себе так: «Так вы вот как! Насчет женского вопроса изволите действовать? А забыли вы дело о подкинутии младенца мужеского пола к лабазу купца Куприянова? Забыли? да еще воротишь морду? Нет, погоди, слава богу случай подвернулся, я вас выведу на свежую воду», — и, пристав к купцу, поднял в отместку *тем* пять, шесть таких дел, которые вдруг втянули в свалку человек пятьдесят народу... «А, — говорит одна из втянутых, — так ты так-то! А кто пять лет тому назад получил из-за границы прокламацию и съел ее? Слава богу, подвернулся случай...» И донесение о прокламации шло по форме... Злость закусила удила. Сначала, и то в самые ранние моменты свалки, можно было отчасти, и то на очень короткое время, видеть, что общество как бы распалось на две партии — одна за купца, другая за особу, — но эта ясность была почти моментальная. С удивительной быстротой эти две партии раскололись каждая пополам, потом еще пополам и т. д. и т. д., накопившееся раздражение, неуважение друг к другу — не могли долго сдерживать потребности выйти на свежий воздух и вывести ближнего на свежую воду. «Что я за дурак, что стою за него, — невольно думал всякий, приставший к той или другой партии, — что я вру? Разве я не знаю, кто они...» И партия раскалывалась пополам, и в каждом уголке ее кто-то хотел вывести другого на свежую воду, кто-то доказывал другому, что он врет, что он вот что такое, а вовсе не то, что представляет... От ребра, как от центра, рассыпалось по окраинам мировых судов, съездов, апелляций много дел об оскорблениях, о пощечинах в публичном месте, об угрозе застрелить из револьвера, «о сдернутии меня с кресла

за ногу в бенефисе госпожи Ленской, в оперетте «Прекрасная Елена»...», «о зашвырнутии моей калоши из швейцарской благородного собрания в дегтярный клуб дворянином Еруслановым, съевшим три прокламации» и т. д., без конца. Редкий из обывателей не платил адвокату и не имел где-нибудь дела, которое по своей нелепости, отдельно взятое, не значило ровно ничего, но объясненное помощию вдруг возникшей в обществе потребности вырваться из болотной тины на чистый воздух — значит очень много. Общая зараза злости охватила и меня. Наглядевшись и насмотревшись на действительность, взбесился и я — и попал в свалку.

Одна только солдатская девица Перушкина и осталась в барышах от всей этой передряги. Так как корень процесса составляло все-таки ребро, с которым неразрывно был связан карман Куприянова, в свою очередь связывавший с своим и множество других карманов, то показания девицы относительно того, переломлено ли ее ребро или нет, очень много значили для разных партий. Партии эти ей платили, и девица Перушкина, получая деньги, старалась услужить каждой из них, и ребро поэтому оказывалось то переломленным, то нет. «Так переломил он его мне, что даже я решилась всякого аппетиту!» «Что вы, помилуйте, — кабы переломил он мне, нешто бы я не сказала, а то нет, ни-ни... А это я так сказала, потому меня господин следователь напугали...» — и т. д. Переменив эти показания в течение процесса раз двадцать, девица Перушкина приобрела значительный капиталец и впоследствии, выйдя замуж за перекрещенного еврея, оказавшего ей значительную пользу во время процесса своими юридическими познаниями, — открыла вместе с ним на берегу Волги кафе под названием «Шато-де-Калипсо».

III

Признаюсь откровенно, все, что вспомнилось мне под влиянием неприятного состояния моего духа, — все это крайне односторонне и вовсе не рисует настоящего положения дела. Я был слишком недоволен сам собой, чтобы раздумывать о таких вопросах, которые в более спокойном состоянии духа неизбежно должны бы занять мое

внимание, как это и случилось впоследствии. Если бы мне пришло в голову подумать о том, что мысль, не пользующаяся правом жизни, должна неизбежно сгнить в уме, обладающем ею, должна пройти все фазисы разложения, то мне, наверное, стали бы понятны все явления куприяновского процесса, не относящиеся исключительно к желудку и карману. Мне бы стали понятны и злость, наполняющая воздух, злость на себя и на других, и желание на все плюнуть, пустить в лоб пулю и проч.

Но тогда ничего подобного не приходило мне в голову. В ту пору я мог чувствовать только сумбур, царствующий в человеке и в том обществе, в которое я попал. Жизнь этого общества, так, как я мог видеть ее, представлялась мне каким-то балаганным, но тягостным представлением, кошмар которого мучил меня всю ночь.

Я то сидел на лавочке, на ветру, то уходил в каюту, где уже спали, но опять возвращался на воздух, подавляемый все тем же сумбуром.

Проснулся я в каюте на койке, когда уже пароход шел на всех парах. День был превосходный. Волга сияла солнцем. Воздух был чистый, свежий и целительной струей лился в грудь. Я начинал было уже подумывать о том, какие, должно быть, глубокие страдальцы все эти люди, — но, к моему несчастию, и тут, на пароходе, то там, то сям я продолжал встречать кое-какие слова и речи, напоминавшие всё о том же кошмаре.

— Ежели бы мне сто-то рублей, как вот вы ежемесячно получаете, — говорит какой-то священник какому-то чиновнику, — я бы бога благодарил... Ни минуты бы не остался в духовном звании...

Чиновник возразил на это, что сто рублей вовсе не сладки, что за них надо переделать тьму таких дел, в которых сам чорт сломит ногу...

— А у вас что? — прибавил он. — Появился червь, пошел поп, отслужил молебен, мужики его угостили, денег дали, — чего ему? лежи да спи... А тут сиди, усчитывай там кого-нибудь...

— Червь! — воскликнул священник, — рубль серебром вы за него получили, прекрасно; а позвольте узнать, стоит ли этот рубль того огорчения, которое он несет вам

в душу? Да, я рубль этот получу, принесу домой и могу лечь спать, но засну ли? вот что!

— Отслужил молебен, — рубль взял, да и спи, вот и все! .. — твердил чиновник.

Ложь и вранье до такой степени мне опротивели, что я бог знает что бы дал в эту минуту, если бы мне пришлось увидеть что-нибудь настоящее, без подкраски и без фиглярства; какого-нибудь старинного станового, верного искреннему призванию своему бросаться и обдирать каналий, какого-нибудь подлинного шарлатана, полагающего, что с дураков следует сдирать рубли за заговоры от червей, словом, какое-нибудь подлинное невежество, — лишь бы оно само считало себя справедливым... Я ушел с верхней палубы вниз, где сидел народ все больше серый, черный даже, и скоро увидел, что желания мои могут быть удовлетворены весьма щедро.

Чтобы отдохнуть и дать отдохнуть читателю, я приведу здесь кое-что из слышанного мною в толпе, тем более что со временем это слышанное мне очень пригодилось.

Я вошел в толпу и остановился где пришлось.

— Вот как перед истинным богом! — крестясь и снимая шапку, говорил мещанин двум девушкам, тоже мещанкам, ехавшим со старушкой матерью. — Умереть на месте, ежели вру хоть на волос!

— Вот чудеса-то! — воскликнули девушки, как, должно быть, восклицают, когда действительно случаются какие-нибудь чудеса. — И где же это было?

— Околеть на месте: в Казани было! .. Видите, как: я, деверь, кума, золовка, шурин, — все мы ходили вместе туда. Приходим — а он ест ее! ..

— Кошку? — привскокнув, воскликнули девицы.

— Ее-с! Живую кошку, как перед истинным Христом моим! — воротит шкуру с затылку и питается ее кровию... Так и на афише было сказано. За вход двадцать пять копеек взяли.

— Ну уж это удивление! — сказала мать девушек. — Именно удивление! У нас бы, — в нашем городе, по три

рубли платили бы, ей-ей... Ну и что же?.. — как бы растерявшись от разнообразия и силы этого впечатления, продолжала она. — Как же он... Я думаю, ведь его не допустят к святому причастию после этого злодейства?

— С дозволения начальства! — сказал мещанин с покорностию в голосе.

— Что ж такое, что начальство дозволяет, — вмешалась одна из девушек: — он сам должен отвечать на том свете... Нешто можно есть кошек? Глядеть-то на это и то грех перед богом.

Это было сказано с такой энергией и убеждением, что мещанин не пытался возражать и в раздумье сказал:

— Так-то так...

— Отчего же смотреть-то? смотреть-то не грех, я думаю? — попробовала было вставить мать.

— Что смотреть, что есть — все одно! — сказала дочь решительно. — Не платили бы ему денег, небось не ел бы...

— Мату-ушка-а! — перебил эту негодующую речь какой-то старик, сидевший на полу. — Не платили бы, не ел бы и сам бы с голоду помер! Начальство и это дозволяет, да что хорошего!.. Ведь и ему есть-пить надо! Родная! Он бы, может, говядинки-то и охотнее бы поел, чем кошку-то, да нету ее... Чай, и самому не сладко...

— Это верно! — оправившись, вставил мещанин: — потому он из дворовых людей господ Елистратовых, а уж это через великую бедность за иностранца объявился...

— Бедна-асть! бедность, матушка, кошек-то ест, она и виновата, она и перед богом ответит!..

Девушка даже вспыхнула, так подействовала на нее речь старика, вдруг осветившая совершенно новым светом все ее с таким искренним убеждением высказанные соображения...

Давно уже я не видал такой искренности, и теперь мне стало немного повеселей на душе.

— Да, — со вздохом произнес кто-то, продолжая разговор в стороне. — Тоже трудновато наживать эту проклятую деньгу!..

— И-и-и трудно!.. — тотчас же последовал ответ. — Кого деньги полюбят — сами к тому идут, а уж кого не полюбят, ну — уж тут, брат!

— Тут, брат, лучше человеку лечь да помереть! — сказал отставной солдат.

— Первое дело! ..

— Нет! — весело проговорил молоденький купчик. — Нет, что-то, я гляжу, мало охотников помирать-то из-за этого! .. Вишь вон, кошек едят...

Смех.

— А не это, — продолжал купчик, — так и так как-нибудь, своим судом с ними справляются...

Говоря эти слова, он поглядывал на толстого угрюмого купца в лисьей рваной шубе, сидевшего поодаль. Купец как будто понимал, что в этих словах есть для него что-то очень неприятное, и отворачивался в сторону.

— Вот у моего у одного приятеля, — продолжал купчик, очевидно намекая на этого же купца, — тоже денег долго не было, тоже они его не любили, а потом вдруг совершенно сделались в него как влюблены... Откуда что взялось! ..

— Ну-ну-ну! .. — сказал купец, отодвигаясь. — Очень влюблены! .. Глотка-то больно широка у тебя! ..

— Нет, ей-богу, правда! — все веселей и веселей продолжал купчик, очевидно, намереваясь произвести потеху. — Ей, ей, влюбилися... Я уж сколько раз его спрашивал: «Как, мол, ты, Иван Иваныч, разбогател?» — «От бога!» говорит. «Да каким манером? говорю, ты вот что расскажи». Станет рассказывать, все хорошо идет, покуда еще в мальчиках первые сто рублей наживал, все богу молился, а уж за сотней и неизвестно что... Прямо говорит: «А как стало у меня денег тысяч двадцать...» — «Да как же это у тебя стало-то? седой шут!» — Ну, и «бог!»

— Ну-ну-ну... Эко глотка-то! .. — ворчал купец.

— Нет, должно быть, что полюбили они его, — не унимался купчик. — Допрежь этого они всё хозяина любили, а потом вдруг все к приказчику повалили, а у хозяина-то ничего и не осталось. Это через влюбленность...

Все поняли, какая насмешка скрывалась в этом рассказе, и все захохотали.

— Чорт эдакой! — негодовал обиженный купец. — Мелет, мелет, идол, не сообразится с умом... В бога не верит... Откуда вы только народились, ахаверники...

Но смех долго еще разносился из одной кучки людей в другую, каждый раз приправляемый каким-нибудь метким, веселым словом, от которого становилось еще смешней.

Осмеянный купец скрылся.

Все эти разговоры и шутки с большим вниманием и снисходительностию слушал седой старик, тоже, повидимому, из купцов, человек очень пожилой и серьезный. Рядом с ним сидел молоденький мальчик, одетый, как и старик, очень тепло и опрятно. Когда смех несколько поутих, старик, не обращаясь собственно ни к кому, произнес:

— А вы как же полагаете, без божия, например, надзирания возможно человеку богатство приобрести?

— Да он просто хозяйские деньги нечисто в руках держал! — ответил за всех купчик.

— Н-ну, это дело не наше. Он дурно делал, и ему будет дурно, это дело его... А вот вы, будто бы, насчет бога...

— Какое! это я так, подшутить.

— Да! Ну только бог в эфтом деле — все! Я верно вам говорю. Я скажу про себя... Я вот теперь, слава богу, имею достаток, а ведь начал — железного гроша не было, а кто помог и указал! все бог! Как, например, мудры его указания, например... да, премудро даже! (Говоря это, купец выписывал что-то пальцем вокруг своего лба.) Каждый шаг, помышление, каждое, например, предприятие — всё по божию благословению.

Все внимательно слушали эти слова. Кой-где только мелькала веселая усмешка. Не смущаясь ею, купец продолжал.

— Всего этого я рассказать не могу, этого не расскажешь во веки веков. А вот хоть и то примерно вспомнить, как я дочь свою замуж выдал: так и это вполне удивительно, ибо единственно по божескому приуготовлению. Изволите видеть, какое было дело... В начале всего надо взять материю из древности... Ехал я со всем семейством на жительство из одного города в другой, — все равно, какие там города ни будут, — перебирался я на житье. Сами судите, — едем в новый город, к незнакомому народу, — что с тобой может быть? — Может, и разоришься, может, и сгоришь, помрешь, — мало ли что? сохрани

только и помилуй царица небесная всякого православного христианина! Вот едем мы и думаем так-то. (А на переезд тоже было указание!) И думаем — «что-то, мол, будет?» Стали подъезжать к городу, — так сердце и замирает... Дело было днем, — город виден, осталось только лесок миновать; только что мы с лесочком поровнялись, — слышу пение, вроде как с небеси ангельские хоры... Гляжу: из лесу выступает крестный ход — с образами, с хоругвями, с певчими и народ: несут икону неопалимой купины, из дальнего монастыря в город, в этот самый, куда я еду. По положению так каждый год бывает, а я ехал — хоть бы вот раз об этом слыхал; как есть, как есть, ни от кого, ни единого слова, — и вдруг она, матушка, мне в сретение, потому мы как раз выехали ей навстречу. Боже милосердый — какая мне была радость! «Ну, думаю, означает хорошо! Во сретение! Следовательно, дело идет, слава богу!» Помолился я, повеселел, приударил по лошадям, — да как обогнали мы всю церемонию-то — и еще оказалось: в напутствии все она же, матушка, за мной! И в сретение и в напутствие! — уж так я был доволен, — совсем осмелел, а через недельку бог мне послал хо-оррошую поставку в казенное место. Сразу! Видите, господь-то. Мало ли и без меня там купцов, охотников на это дело? — а я пришел, чужак, оглянуться не дал — и ухватил. Вот он, перст-то, где!

Старик был в большом волнении.

Публика удвоила внимание, и улыбок не было видно уже нигде.

— Погоди! — продолжал он: — всё ли тут. Тут еще пойдет не то! то ли еще будет! Как сцапал я у купцов этот подряд, все купцы тамошние ровно как затмились, ошалели... Тут торги, там статьи оброчные, леса, — но они вроде как в обмороке каком, — ничего не видят, не понимают, расчет потеряли... а я приду и возьму, приду и возьму.. Нахватал я дел, слава богу. Думаю, надобно мне эту икону приобресть, иметь в своем доме. Стал искать по церквам; пошарил у себя в приходе — есть! И того же размеру и письма; прицепился, говорят: «Образ местный! Ему цены нету». Толконулся туда-сюда, видят, нужно человеку, заламывают. Ну, думаю, бог с вами, стал ладить со сторожами, авось, думаю, нет ли где простенькой, из старых... Мне дорога она не ценой, а

памятью, следственно, мне все равно, в аршин она будет или в пять вершков, — десять целковых я за нее дам или двадцать копеек, мне дорога память. Говорю: «Пошарьте, ребята, на чердаках, в подвале...» Прошло с полгода. Вдруг, отцы мои, приходит неизвестный человек. «Кто ты?» — «Сторож от Преображения, звать меня Степаном». — «Что тебе?» — «Так и так, батюшка наш согласен вам уступить за два с полтиной икону...» А я, перед истинным богом божусь, ни батюшки этого в глаза не видал, ни у Преображения не был, и вдруг сторож говорит: «уступает!» Показалось мне это странно. Думаю, уж не столь ли владычица вняла моему молению, что сама пожелала ко мне в дом? Потому ни сторожу этому, ни священнику ни единого слова не говорил и мысли о них не имел, — пришли сами. «Что, думаю, ежели это указание? дай испытаю. Сама она или не сама пожелала?» Спрашиваю цену. «Два с полтиной». — «Руб!» говорю. Думаю: «Ежели уступки не будет, не сама!» Что ж? Уступили ведь! Перед престолом господним говорю! Приносит икону: «Извольте, говорит, батюшка согласен!» Тут уж я ста целковых не пожалел, оковал ее в ризу, поставил в киоте, зажег неугасимую... И с этого с самого разу повалили к моей дочери женихи, офицеры, дворяне, купцы, — отбою нет. Свах вокруг дома, что воробьев вокруг овса, сила несметная. Иной по виду и по разговору кажется уж такой человек, уж такой — лучше не надо, а помолюсь хорошенько да поразузнаю, и окажется либо промотался, либо пьяница, а то и вор!.. Все бог хранил... Скажу одно, — год целый шли сватанья, все толку нет. Правда, только один из всех показался мне мало-мальски ничего, а то всё шишголь. Обещался я подумать и дать ответ. Вот, други вы мои, думаю я так-то однова, вечерком, перед образом, прошу совета, — так мне скучно что-то, неладно, а ответ надо дать завтра... Домашние уж совсем порешили на «этом», и дочь-невеста тоже на этого думала и даже имела в себе к нему любовь, но господь все перевернул по своему произволению. Думаю я, думаю, вдруг слышу, стучат в ворота. Кто такое, думаю? Слышу, отворяют. Входит, и кто же? Отец Иоанн, Преображенской церкви священник, тот самый, который мне уступил икону. Что за чудо? Почему ему быть? И тут у меня мелькнуло, не указание ли? «Что

вам угодно?» Что ж он? Просит руки моей дочери для своего племянника, письмоводителя у мирового посредника! Как сказал он мне это, так ровно бы меня всего обдало варом. «Она! думаю. Она!» Она меня встречала, сопутствовала, через нее я получил достаток, она сама пожелала в дом мой быть и теперь вновь являет себя чрез священника той самой церкви, откуда самовольно прибыла она ко мне, ну — явно! Да что еще-то? Еще-то что! Как пришел священник-то, я и думаю, уж не праздник ли забыл я какой! И вспомнил, что в тот день была память святому Стефану, да как сообразил после, что к чему шло, и вспомнил, что ведь сторож-то тоже Степан был, что икону-то принес... Как все это, други любезные, вступило мне в ум, — пал я и говорю: «Быть ей за твоим племянником». И отдал!

Все слушатели находились как бы под влиянием какого-то столбняка: так были непреложны и вместе с тем неожиданны умозаключения старика.

— А дочь ваша? — спросил кто-то спустя уже некоторое время.

— Что ж дочь! Они с матерью сдуру-то стали было ломаться, но как я открыл им, в чем дело, так и они поняли... И теперь слава богу. Так вот как премудро и как человеку надо соображаться, чтобы увидеть, где указания... А без указания — все ничего не значит!

Этот рассказ еще более, чем искренность девушек, освежил меня: тут было так много самого искреннего убеждения, неразрывного с каждым шагом человека, какого я тоже очень давно не видал... Я глубоко был благодарен этому старику...

IV

Рассказ старика о «промысле» произвел на публику довольно сильное впечатление; по окончании его несколько голосов из разных углов ехавшей толпы подтвердило сразу, что все это правильно, верно, и торопилось пояснить тот или другой памятный факт своей жизни наблюдениями, не уступавшими иной раз в точности и отчетливости наблюдениям старика. В каждом углу, под каждым полушубком и шугаем обнаруживались

жизненные теории, если не всегда достаточно справедливые, то наверное пережитые и крепко обдуманные.

Последнее обстоятельство именно и было мне дорого.

С большим аппетитом вслушивался я в живую искренность излагаемой моими спутниками чепухи, когда неожиданно услыхал мое имя, произнесенное кем-то в толпе.

Я оглянулся.

Передо мной стоял молодой мальчик лет шестнадцати, одетый так, как одет всякий крестьянский мальчик, приучающийся жить в городе: на голове, обстриженной под гребенку, была какая-то пуховая конусообразная шляпа, принадлежавшая, очевидно, другой, более обширной голове, ибо только растопыренные уши да нос мальчика удерживали ее в стремлении упасть прямо ему на плечи; красная рубашка с косым воротом, подпоясанная тоненьким ремнем, и сюртук, по размерам родной брат шляпе, — вот какой был костюм мальчика.

— Неужто не узнали? — произнес он, и, сознавая, что шляпа, сидящая на носу, не может помочь мне вглядеться в его лицо, он приподнял ее и улыбающимися глазами глядел на меня.

— Федя! — воскликнул я, припоминая нечто знакомое в чертах его лица. — Неужели Федя?

— Я-с...

Всмотревшись пристальнее, я действительно узнал в нем Федю, одного из лучших учеников кратковременно существовавшей под моим руководством школы.

Мысль об этой школе явилась у меня года четыре тому назад, в один из тех моментов ясности в сознании действительности, которые по временам посещали меня. В такие минуты я замечал, и не только замечал, но видел весьма ясно, что я отец семейства, что вот эту щепку или кирпич пустил мне в голову мой собственный сын; что другой ребенок, который, очевидно, сидит у меня на шее, ибо ноги его свешиваются мне на грудь, и который, судя по довольно частым ударам в мой затылок, ударам, сопровождаемым криком: н-но-о! — очевидно, куда-то едет, — что это тоже мой ребенок, равно как и третий, который беспомощно вопиет под диваном, высунув оттуда свое маленькое сплошь измазанное ягодами лицо... Увидав это и убедившись, что я отец, я не мог не видеть,

что мне действительно надо об них позаботиться, ибо, так ли, сяк ли, а ведь это будущие люди... В такие минуты я замечал и потолки, которые грозят падением, замечал и сараи раскрытые, — словом, начинал видеть все, что бы мне следовало видеть и чего я не замечал, будучи постоянно заслонен от этой действительности либо книгой, либо большущей газетой. Иногда в такие минуты на меня находил даже какой-то испуг, трепет: я ясно видел, что дела запущены ужасно, что надо хлопотать и поправлять их сию минуту, ни на час не откладывая дела... С быстротою молнии занявши деньги, я посылал за плотниками — подпирать потолки, за кормом собакам и лошадям, за чулками, башмаками детям и т. д. и т. д.; но вдруг случится что-нибудь за границей, как говорила моя теща, и глядишь — я опять не замечаю, что творится под носом, не слышу, — хотя плотники своими топорами потрясают все до основания, — не вижу, что вымытые и приодетые ребята давно уж толкутся вокруг меня с новыми азбучками и просят учить, что кто-то из них, не добившись толку и выдрав из азбуки все картины, предпочел снова ехать на моей шее, ехать куда-то очень далеко и очень скоро, ибо прут седока хлещет не только по затылку, но и по газетному листу, который у меня перед носом...

Не одни, впрочем, домашние семейные дела и необходимости озадачивали меня в такие редкие минуты полной ясности сознания; очень часто сознание это распространялось и вообще на отечество, которое для меня, как для деревенского жителя, являлось в виде этих босых женщин, шлепающих по грязи под проливным дождем, с промокшими ребятами у груди, в виде лачуг, с вылезающим на улицу зипуном вместо окна, скотины, напоминающей по худобе самых породистых борзых собак, лишенной, однако, прыти последних, — словом, в виде бедности и невежества, искать которых никогда далеко не приходится... Под влиянием испуга я соображал все ужасно быстро, и поэтому естественно, что едва мне приходили в голову вышеупомянутые признаки отечества, как я с ужасом чувствовал, что́ нужно делать сейчас же... С тою же быстротою, вслед за тем, я не мог не сообразить, что делать всего, что именно нужно, — невозможно потому-то, потому-то и потому-то сто тысяч раз. Оставалось

хоть что-нибудь — надежное прибежище и тихое пристанище таких пугливых душ, как моя. Из довольно значительного числа разных *что-нибудь*, переполняющих все учреждения, заботящиеся о бедном брате, ничто, разумеется, не разработано с такой тщательностью, как народная школа и наука. *Что-нибудь* в этой сфере доведено до размеров почти «ничего», а с виду кажется почти серьезным делом. Знатоки этого дела, с часами в руках, о чем они не без гордости упоминают сами, высчитали, минута в минуту, все малейшие крупинки времени, остающиеся у народа для самого себя от ежегодной и ежедневной работы для собственного пропитания, для оплаты благочиния, благолепия ими... Такого свободного времени с часами в руках насчитано, кажется, около полутора года, и того меньше, во всю мужицкую жизнь; ни капельки не задумываясь об этакой ужасной тесноте, ибо полтора года на науку во всю жизнь — то же, что полтора аршина для прогулки или полтора глотка воздуха для легких, — поборники *чего-нибудь* сумели изобрести такую экономную науку, которая за ничтожную цену пополняет это полутороаршинное пространство битком сверху донизу; но так как эти поборники ужасно озабочены, чтобы бедный народ знал все, и знал бы так, чтобы знания эти уместились в полутороаршинном пространстве, не повредив ничего из того, что народ обязан исполнять в пользу благочиния, благолепия и т. д., то все знания приготовлены так, как готовятся консервы. Вот что-то величиной в булавочную головку: это порция науки на полчаса свободного времени, оставшиеся у бедного брата между рубкой леса на продажу для уплаты недоимок и ожиданием сотского, который через полчаса придет брать родителя этого самого брата за эту самую порубку. Невелико зернышко, но чего только нет в нем? Во-первых, естественные науки: что-то о крокодиле. Рассказано дело в трех строках, чтобы не терять времени, которое, как знает уже читатель, очень дорого: того и гляди придет сотский сажать. Крокодил, в Египте пирамиды, фараоны. Вот примерно все дело, — здесь выпущены только предлоги и кой-какие глаголы. Но в этой же крупинке с булавочную головку не одни естественные науки: здесь есть еще и грамматика, тоже очень-очень крошечная: подлежащее — *крокодил* — есть, а сказуемое для краткости

опущено; здесь есть и история — фараон (фараоны были цари, и один из них утонул); здесь есть и арифметика (пересчитайте все собственные имена. Сколько? — Два.— А если я прибавлю три ноля? — Пять тысяч! — А четыре? — А пять?!); здесь есть и закон божий, и священная история, и много-много другого рода занятий, частию удовлетворяющих прямо невежеству, частию имеющих в виду цели просветительные. И все это в одной крупинке, и все это точно на почтовых.

Громоздкий груз науки, таким образом, приспособлен, приведен к возможности пройти сквозь игольное ухо. Второпях, разумеется, и я ухватился за этого рода науку. Народные беды были так велики, а времени так мало, что я принялся гнать, как говорится, по всем по трем. Показав, например, букву *А* на доске, я, чтоб не терять времени и пользуясь свободной минутой, чтобы тронуть и воображение учащихся, которому среди недоимок и прочих забот, разумеется, ходу нет, — я спрашивал почти тотчас же, на что она похожа? Если мне не отвечали (что в самом деле довольно трудно, ибо на что же она похожа, как не на *А*?), я старался придумать что-нибудь сам, например: дуга похожа на *А*; от дуги переходил к упряжи, от упряжи к коже, от кожи к кожевенному мастерству, так что иной раз, когда на следующий день я выставлял ту же букву и спрашивал, что это такое, то ответы были самые разнообразные: один говорил «кожа», другой «мастерство», третий начинал что-то вроде «кисло... кисло», стараясь припомнить, по всей вероятности, кислород, о котором тоже шла речь вчера.

Федя, которого я встретил теперь на пароходе, один только прежде всех привык опоминаться среди этой бешеной скачки в пользу бедных братий. Он почти один только из всех моих учеников мог отвечать мне, что на доске написано *А*, когда оно было написано, и не путался во мраке обилия сведений, которые я приплетал, желая в самое короткое время сделать как можно больше *чего-нибудь*. Это была умная, внимательная и понятливая крестьянская головка, успехи которой могли бы пробудить в душе самого неверующего соотечественника веру в существование вокруг него самых живых душ. Внимательный, серьезный взгляд его умненьких глаз, ясно выражавший жажду знать, один только, сколько помню,

поддерживал меня среди толпы других моих учеников, большею частью совершенно не переваривающих обилия и разнообразия духовной пищи, мною им преподносимой. Федя являлся в школу раньше всех, уходил всех позже; у меня родилась было мысль исключительно заняться им одним, чтобы сделать *что-нибудь* (разумеется, *«что-нибудь* хорошее») для одного, но, к моему удивлению, он безжалостно разрушил мои планы насчет его будущности, вдруг как-то осовел, раскис, утратил напряженность внимательности к моим урокам и скоро исчез из школы совсем. Это меня несказанно удивило и огорчило. Мне стало скучно в школе без такого ценителя, какого я ощущал во время своих лекций в Феде, и этого было достаточно, чтобы это предприятие на пользу общества приняло тот оборот, который принимали все мои предприятия на пользу собственного дома.

Скоро школа закрылась.

Встретившись теперь с Федей, я заметил, что юношеское лицо его носило тот же оттенок задумчивой сосредоточенности, какой бывал у него когда-то в школе.

— Где ты теперь? — спросил я его после того, как, поздоровавшись, мы отошли к стороне и сели...

— У Семен Сергеича теперь. Тут — недалеко по Волге село будет... Немудрово — знаете? Семен Сергеич там на фабрике механик... Я при нем...

— Что же ты делаешь?

— Покуда еще только начинаем. Я вот к матери ездил, билет брал, — думаю, тут, у Семена Сергеича останусь...

— Что же этот Семен Сергеич — хороший человек?

— Страсть! — с увлечением сказал Федя. — Что он для меня делает, так это только подивиться... Каким я к нему пришел и что я стал? Теперь же по крайности я могу со временем делать людям пользу.

— Что ж, это хорошо! — пробормотал мой язык, привыкший в том обществе, из которого я ушел, болтать ничего не значащие слова.

— Потому что, — продолжал Федя с прежним одушевлением и уверенностию, — я так думаю, что надо жить на пользу другим... Вы не поверите, сколько есть несчастного народу на свете... То ему надо помочь...

— Как же ты поможешь?

— Буду делать пользу!

Нельзя было не улыбнуться при виде несомненности, с которой была произнесена эта фраза.

— А те, — продолжал Федя, — которые есть не полезные люди, тех надобно искоренять, потому что от них вред... Ежели бы я прежде об этом знал, то другое бы было, а то сколько лет прошло занапрасно, теперь только стал входить в смысл...

Лицо Феди сделалось совершенно серьезным.

— Я бы уж давно, — продолжал он, — мог бы что-нибудь искоренить, а теперь, может быть, еще года три надо дожидаться... А три года — это ведь сколько времени-то! К тому времени страсть сколько народу может погибнуть занапрасно, потому что я, сколько ни гляжу, не вижу старания на пользу ниоткуда, но более есть народу, который поступает не на пользу. Этого нельзя!

Последняя фраза была сказана с таким убеждением, что я не посмел засмеяться, хотя и действительно было чему. Господи, подумал я, такие ли еще вещи могу я понимать и говорить о пользе! Сколько знаю я относительно существующего «вреда», и как отлично и убедительно могу я изложить бесчисленные мысли мои по этому поводу, — а между тем я чувствовал и знал, что мое «этого нельзя» ровно ничего не значит, тогда как Федино — слово вполне живое, нераздельное с ним и поэтому непременно что-нибудь значит, а для него, для его развития значит очень много. Этого нельзя было не видеть и не слышать, глядя и слушая, как он говорит. Я не смеялся поэтому, когда Федя в дальнейшем разговоре принялся излагать более подробные взгляды свои на существующий вред, высказывая их в форме тех азбучных, так сказать, изречений: «Бедный работает, но богатый только получает, почему? Этого невозможно. Разве бедный тоже не человек? Скажите, пожалуйста! Кто это вам сказал? Нет, бедный тоже человек, это я вам могу вполне доказать, да», — и т. д. и т. д.

Слушал, слушал я эти азбучные, но вполне искренние слова, и образ деревенского Феди, того, который с босыми ногами сидел у меня в школе, размеры его тогдашнего понимания, и Федя теперешний, с теперешними потребностями мысли, — совсем оказывались непохожими друг на друга. Как случилась такая перемена?

— Отчего ты бросил школу? — прервал я его.

Федя остановился не сразу: он еще несколько секунд продолжал договаривать свои азбучные фразы, не имея возможности остановиться, так как высказать то, что владело всей его душой, ему было необходимо. Договаривая, он смотрел на меня как-то странно, как на человека, который тоже «неполезный», должно быть. Но окончив и успокоившись, он произнес:

— Отчего я тогда перестал в школу-то ходить?

— Да. Ведь ты отлично учился...

— Скучно стало! — сказал он, улыбаясь мне прямо в глаза.

Мне даже стало неловко: «скучно!» — вот результат всех моих хлопот на пользу отечества. Это не много.

— Скучно? — зачем-то переспросил я. — Отчего же?

— Не по мне было... Я уж такой уродился: что мне не надо, мне сейчас скучно. Ведь я почему в школу к вам пошел? Мне битву с кабардинцами захотелось прочитать самому... К нам в избу хаживал Андрюшка, — знаете, вор известный был в наших местах; он хаживал к нам по осени либо зимой, когда вору плохо, и что же? За лето он всех обворует, целое лето за ним гоняются с дубинами, сторожат, — и попадись — убили бы, а зимой придет, и ничего, потому что он отлично сказки рассказывал... В избе темно-темно, скучно-скучно, а Андрюшка как начнет свою канитель, все так и притаятся... Глядишь, от соседа пришла за чем-нибудь баба, а стала слушать Андрюшку, так и сидит с горшком на коленях часа два... Целую зиму его и прокормят. К весне мужики начинают подумывать, как бы его связать да представить в тюрьму, но он всегда уйдет так, что не успеют опомниться... Вот этот-то Андрюшка и корень всему делу... Страсть, как я любил его сказки... В избе у нас уж какая жизнь? Там ох, тут о-о-ох, — скука! А как придет Андрюшка да начнет рассказывать, так так башка и загорится вся... Какой-нибудь великан едет... срубил у змеи двенадцать голов, искоренил, я очень рад; хвать, а наместо двенадцати пятьдесят выросли, тут нас всех ровно варом обдает, — что тут делать? Чистая беда. И когда тот справится — так уж как хорошо-то!.. Тут Андрюшке — что хочешь! Словно бы он сам ото всего этого отбился... Ну, вот от этого мне и вошло в ум

учиться, думаю, сам примусь обо всем об этом читать — больше узнаю; вот я и пошел в школу... Мне хотелось выучиться читать... Как я выучился азбуке, так мне и стало скучно у вас...

— Однако, — проговорил я, чувствуя себя слегка задетым за живое, — ведь я и кроме азбуки в то время говорил уже то, чему вот ты теперь только начинаешь учиться...

— То-то не так я был в то время налажен... Не шло мне тогда ваше в душу... Мечта действовала... Конечно, что всякий человек должен поступать по рассудку и не дозволять себе потакать в разных там пустяках. От этого может быть другим не польза, но вред (Федя произнес несколько фраз такого рода и доказал справедливость своих мнений), но в то время у меня орудовала мечта. Чтоб жгло бы внутри, вот... Я уж ждал не дождался, когда выучился читать, а выучился — и бросил школу... Потому мне стало скучно... У меня в голове одно, а вы, извините, как начнете пхать туда...

— Знаю, знаю! — сдавался я без боя. «Пхать»! — неизгладимо мелькнуло у меня в голове.

— Особливо помню под светлый день (ведь я ушел от вас под светлый день, на шестой неделе)... Мы все мальчики этот день любим, — сами судите, сколько тут чудес случилось. Так, бывало, сердце и изнывает, как начнешь думать об этом... Я думал, вы расскажете все-все подробно, а вы как начали пхать...

— Знаю! Помню! — второй раз сдался я и не без краски в лице представил себе этот урок, приноровленный заботливыми педагогами ко дню такого большого праздника.

Я представил себе, как ко мне собралась толпа детей, ждущих, что я расскажу им об этом празднике не так, как дома, в избе, рассказывает им старуха, а со всеми подробностями, со всеми чудесами, так весело гармонирующими с пробуждающеюся весной.

И что же делал я для удовлетворения желаний, с которыми пришли ко мне эти люди? По всей вероятности я, дорожа временем, рассказал всю историю в трех строках и, не удовлетворив сотой доли любопытства моих слушателей, перешел к извлечению из этих трех строк того обилия знаний и сведений, которыми никто

не интересовался... А между тем мне надо было тогда знать, что делается в душе моих слушателей, я должен был бы ответить на вопрос этих душ, а не «пхать», как говорит Федя... Впрочем, припомнилось мне, ведь с часами в руках высчитано, что у этих мальчишек, будущих мужиков, решительно нет времени на разглагольствия...

Последнее соображение не убавило, однако, конфуза, который я испытывал под влиянием речей Феди. Кое-как замяв воспоминания его относительно урока, после которого он окончательно оставил школу, я поспешил спросить его:

— Куда же ты делся, когда оставил школу?

— Мне даже удивительно это сказать теперь вам, куда я делся... Как я выучился читать, то принялся за чтение. Отец меня, разумеется, колотил, я озлился... Дело было летом... Однажды я порешил, что больше дома жить не буду. Нельзя... И попадись мне в это время Андрюшка-вор... Что ж вы думаете? Сманил ведь! Мне было тринадцать лет, как я пошел с ним. Пошел я потому, что был сердит, а Андрюшка ежели воровал, то тоже не просто, а потому, говорит, что тоже «сердит» был. «Сегодня, говорит, вот куда пойдем — к Илюшке-кабашнику в Старые Хохлы, — я на него еще с прошлого года сердит». В ту пору мне представлялось, будто все его дела справедливы, вот я и пристал к нему и приказания его исполнял. Потому верно выходило...

Такая школа, заменившая собою ту, которую Федя только что бросил, признаюсь, нисколько не разъяснила возможности появления в нем тех идей, какие он высказывал теперь на пароходе.

— Как же потом?

— Ну, а потом очень натурально попались в краже, попали в острог.

Я не удивился этому.

— Тут, я вам скажу, мне было вполне превосходно.

Этому я не мог не удивиться.

— В остроге — превосходно?! — воскликнул я.

— Редкостная была жизнь! Я говорю ведь правду, мне от вас скрывать нечего, я вам за азбуку век благодарен... Но верно говорю, отлично!..

— Да почему же? Что ж там кормят, держат хорошо?

— Вот — корм! Нашли что! Я говорю — весело. Это было мне в ту пору по душе. Как сам я шлялся с Андрюшкой, то я шлющий народ знал, я их так понимал, как себя... От этого они меня приняли хорошо. Конечно, я все перенес с первого началу, меня и били и на лицо мне садились, но я не сержусь, со всеми то же бывает... Это как экзамен... И главное, что мне было весело, это, я вам скажу, — фальшивая монета! Ей-ей. Весьма было интересно! В первый раз я тут занялся прилежно... Дома по хозяйству, признаться, меня не тянуло; ну, что за интерес целый день, например, вколачивать где-нибудь кол? — окроме, что измучаешься, ничего нет. Или в лес ехать, — вырубишь на гривенник, а проедешь туда да назад — сутки... Не по характеру мне это, потому пользы нет, хоть целый год изо дня в день езди в лес да колы вколачивай — все бедность... Ее лучинкой не подопрешь, не поправишь... Это я еще тогда чуял, от этого мне и скучно было... А тут, когда я при фальшивой монете состоял, совсем другое; тут я за свою братию стоял — первое, а второе, что наделаем пятиалтынных, всего накупим... Я так тогда понимал, что не грех обманывать лавочников, они богатые, и много народу, что в остроге сидели, были на них сердиты и меня подстроивали. А я в то время был согласен с ними... И они меня страсть как любили... Когда я вышел из острога...

Я подумал, что вот, наконец, где должна быть разгадка.

— ...Так заскучал, так зарыдал...

— Но как же ты, — не вытерпел я, — сделался таким, каков ты теперь?

— Да все же через фальшивую монету! Ежели бы не она, я бы, кажется, прямо в родительский дом ушел, был бы простым работником, возил бы воду, не имел понятия. Но через фальшивую монету я получил большую пользу.

— Это очень любопытно. Расскажи, пожалуйста.

— Это я вам сейчас скажу. Видите, когда мы подделывали мелочь, мы ее, надо говорить прямо, подделывали искусно. Это уж говорить нечего. Был один изъян в нашей работе — звон; звуку не было. Ежели так ее взять в руку, настоящая вполне, а ежели об стойку брякнуть, в ней тону нет. Видите. Когда я вышел из острога,

мне и пришла в голову мысль, думаю: «Дай я поучусь тон подпускать да опять как-нибудь попаду назад, — то-то, думаю, мне обрадуются...» А еще в остроге слышал я, что очень хорошее средство — стекло пускать в свинец; мы пробовали пускать, только нет, не выходило... Вот я и принялся искать человека знающего. Долго ли, коротко ли, говорят мне: «Сходи вот к такому-то, он может...» Вот я и пошел. «Скажите, ваше благородие, сделайте милость, говорю я, не знаете ли, каким манером звон в свинце делать и сколько на какую часть свинцу класть?» — «А зачем это тебе, друг любезный?» — «А, говорю, в монету фальшивую...» Тот и обомлел. «Как в фальшивую монету?» И глаза вытаращил. А я, признаться, не совсем аккуратно понимал, что такое фальшивая, что не фальшивая... Мне хотелось нашей братии острожной угодить. «Как, каналья этакая, говорит, в фальшивую монету? Да кто ты? Да что ты такое?» — «Я, говорю, из острога...» и все рассказал барину, а барин этот и есть Семен Сергеич... Как рассказывал я ему, он даже ни словечка не промолвил и не обругал... Вот он-то и перевернул у меня все в уме... «А что, ежели за твой пятиалтынный посадят, а то и в Сибирь сошлют невинного человека? Что ж, ты пользу этим ему сделаешь?» С этой точки он меня и пробрал... Я два дня, кажется, слез не осушал, как с мыслями сообразился да по-новому и деревенскую и острожную жизнь разобрал...

Федя замолк, молчал и я.

— Вот моя жизнь, Андрей Иваныч! — прибавил Федя. — Конечно, я дурное делал, но я не понимал; как у меня душа говорила, так я и делал... А теперь всей моей душой не вред, но пользу хочу оказать, а зло искоренить... И искореню! — закончил он, сверкнув полными слез глазами.

V

Второй день моего путешествия и пребывания на пароходе подходил к концу. Остановились на гладкой поверхности возле плота и барки и стоим неподвижно; только широкий и высокий вал пароходной волны, незаметно подбежав под неподвижно стоящий плот, коробил его

с одного угла на другой, вместе с десятком человек народу, усевшегося без шапок вокруг чашки с вечерней едой. Вылетавшие из пароходной трубы клубы дыма подолгу висели во влажном и начинавшем холодеть воздухе. На мачтах остановившихся на ночлег барж засветились огоньки... Хорош был этот вечер, потому особенно, что на душе у меня было тоже хорошо и покойно, чему особенно много способствовал рассказ Феди, разъяснивший мне и в моем прошлом и в том, на что я теперь, в течение этого дня, смотрел и что слушал, — очень многое.

Я не намерен здесь передавать в подробности все, что я переслушал, находясь с раннего утра до теперешнего тихого вечера в толпе. Я могу сказать положительно, что все рассказы и разговоры, слышанные мною в толпе, если не касались барышей, «дел» и т. д., блистали самою неподдельною дикостью и мракобесием; чего-чего только я не наслушался здесь! Если бы записать всю эту дикость и мракобесие, отделив тщательно от рассуждений о практических делах, то читатель бы подумал, что я представляю ему дом сумасшедших, а не обыкновенный пароход, наполненный обыкновенными пассажирами. Я знаю многих из очень развитых соотечественников, которые, проехав верст три-четыре тысячи по русской земле, чувствовали себя словно в дремучем лесу, не находили человека, с которым бы можно было сказать слово, хотя сотни тысяч народу прошло и проехало мимо них, и были рады-радешеньки, когда, наконец, где-нибудь в пустыне отыскивали нумер «Сына отечества», являвшийся при таких обстоятельствах истинным благодетелем, потому что в самом деле трудно себе представить, о чем только и как разговаривают эти сотни тысяч чуек, армяков, лисьих шуб и т. д. Не говоря уже об дикости понятий, в которых к тому же и разобрать еще с непривычки ровно ничего невозможно: самый язык, которым говорят эти народы, преграждает всякий путь и надежду на какое-либо понимание их сумасшедшей чепухи.

Вот, например, кто-то из этих людей произнес слово «прокламация», а другой сказал: «с прокламациями» — и захохотал. Тот, кто захотел бы принять это слово в том смысле, какой оно должно иметь, — очень скоро должен бы был почувствовать себя не совсем ловко. «Где

прокламации?» Отвечают: «В буфете!» В буфете сидят два купца, играют в шашки, один человек спит, один умывается, — а прокламаций нет как нет. «Где же они?» — «А вот, — говорит с затаенным смехом буфетчик, указывая на того, кто умывается, — он с самого утра так-то полощется; уж чего-чего не было: вынул этакие щипцы не щипцы, ножи не ножи какие-то, эво сколько, — как принялся выделывать эти самые прокламации, — боже милосердый! .. И в нос к себе лезет и за ногтем роется... Купец тут рядом с ним спал, так весь даже в мыле проснулся».

Вот каким языком разговаривают эти люди; но, несмотря на то, что язык этот — верх безобразия, что идеи переполнены дикости и мракобесия, вера в них и настойчивость, с которою они проводятся этими армяками, лисьими шубами и полушубками в жизнь, достойны полного удивления и доказывают, что между этими армяками, лисьими шубами и полушубками существуют массы сильных натур, могучих характеров. Как, например, последовательно осуществляет в жизни свои странные идеи старик, рассказывавший о неопалимой купине! С какой искренностью вспыхнули стыдом щеки девушки после того, как ее взгляды на казанского мещанина были разбиты вдребезги седеньким старичком! Глядя на эту искренность, можно было сказать с полной уверенностью, что после афронта, нанесенного девушке стариком, взгляды ее будут уж не те, что были, а несравненно лучше... Точно так же, если бы в жизни старика, так неразрывно сплоченной с указаниями неопалимой купины, произошло что-нибудь, разбивающее стройность и целость его теории, он не стал бы придумывать пустяков и софизмов, а, может быть, либо умер, зачах, не видя более почвы под своими ногами, либо взялся за что-нибудь другое, что точно так же уясняло бы ему все, как прежде уясняла неопалимая купина. «Дай попробую, узнаю, — говорил он в своем рассказе: — сама она или не сама хочет ко мне? Как цена?» — «Два с полтиной». — «Руб хочешь — бери!» С него взяли рубль, — стало быть, сама! И действительно, все пошло как по маслу... Ну, а если бы преображенский батюшка запросил не рубль, а, например, рубль шесть гривен? Оказалось бы, что «не сама», что во всей этой истории есть какая-то фальшь,

что-то неладно; оказалось бы, что и «в напутствие» и «в сретение» в сущности ровно ничего не значат, что подряд удачный попался не по божьей воле, а, может быть, по наущению дьявола, и т. д. и т. д. Я живо представляю себе состояние духа несчастного купчины после этого огорошивающего рубля шести гривен: все семейство его ходит на цыпочках, потому что он сердит; все ему «не так», потому что это «не так» сидит в нем; все домашние и служащие оказываются обманщиками и ворами потому, что он обманут сам и вполне надут дьяволом... Наконец — запой и появление уж настоящих бесов.

«Но, — приходило мне в голову, — все эти удивительные характеры, все эти люди с необыкновенно прочными верованиями веруют все-таки же в самую подлинную чепуху и, кроме непроходимого невежества, ничем в сущности не могут порадовать внимательный взгляд наблюдателя. Что же тут хорошего? При таком характере да при таком невежестве какой чепухи не сумеет сделать такой человек с своим ближним?» Такие соображения, несмотря на очевидную основательность, не особенно тревожили меня в настоящую минуту. Припоминая похождения Феди, я убеждался, что сфера невежества и дикости вовсе необязательна для хорошо сформированного характера. Мальчик, который ушел из школы воровать, — вор, сидящий в остроге, фальшивый монетчик; уж это ли не потерянное существо, уж это ли не человек, который более других способен наброситься на вас и схватить за горло? А на деле выходит совсем другое. Строго повинуясь указаниям своей мысли, он вышел сам собой на настоящую дорогу, прямо к свету... Этот путь к свету не заказан никому из массы чуек, армяков, лисьих шуб; этот путь даже неизбежен для всех их, и если области невежества и умственного вздора остаются для них обязательными, то причину необходимо искать не в них.

Рассказ Феди, хотя отчасти, указывает на эту причину. Выражения: «*мне* стало скучно, *я* хотел, *мне* не шло в душу», — выражения, которыми был переполнен его рассказ, невольно пришли мне в голову... Повинуясь этому настойчивому *я,* он бросает школу, учреждение несомненно полезное, особливо сравнительно с подделкой

фальшивых пятиалтынных, и идет воровать. Как это могло случиться? Стоит только припомнить намерения, с которыми Федя шел в школу, и сравнить с теми, которые с своей стороны имела школа, чтобы понять, что общего между теми и другими не было ничего, что Федя должен был непременно бросить школу, если хотел сохранить свою самостоятельность, если не хотел пустить в душу того, что не шло туда само собой. Следовательно, путь к свету, предлагаемый школой, угрожал Феде потерею нравственной самостоятельности и заставил его уйти, быть вором, шататься по чужим амбарам, по острогам.

Что делать! Должно быть, только в этой темноте, в этих темных углах, где не видно ни капли свету, и возможна эта нравственная самостоятельность! Разве старик со своей купиной не напоминает филина на церковной колокольне, забившегося от людей в такую высь и такую трещину, куда до него не дохватит ни один камень? Быть может, и эта трещина сохраняет его нравственный мир таким, каким сам он считает его лучше и удобнее для себя. Иначе вообще почему же эти характеры прячутся по мурьям, по острогам, гнездятся где-нибудь в темном углу, как совы, которые видят только в темноте? Их тут не трогают и не мешают быть самими собою...

И опять образованные люди куприяновской свалки пришли мне на память. Все они, бесспорно, исповедывали лучшие идеи, чем эти чуйки, лисьи шубы, армяки; все они шли в своем развитии по более торным путям, — и что же? есть ли в них хоть тень той силы в своих убеждениях, какою обладают невежественные лисьи шубы? Вспомните процесс, и вы убедитесь, что он служит самым прочным доказательством отсутствия веры в эти убеждения. Неужели же в развитии их не было тех благоприятных условий, какие Федя нашел в своей странной жизни или купец-филин, воспитывающий себя в глухой трещине под колокольней? Я припомнил ход своего развития, развития моих знакомых и товарищей и убедился, что на торных путях к свету нет в нашей стране возможности сохранить характер и личность.

Федя ушел, как только ему «не пошло в душу»... Кто из нас, из всех этих «куприяновцев», уходил когда бы то

ни было от этого «не идет в душу»? На торных путях нет никаких средств уберечь эту бедную душу на собственную свою пользу. Едва она попала сюда, как тотчас же начинаются над нею эксперименты, не ставящие ее в грош и имеющие в виду цели, ей вовсе посторонние. Находясь еще в школе, она приучается то думать об известных вещах, то не думать, потому что это кому-то нужно. И затем эти акции и реакции мысли, не зависящие от вас, начинают действовать без остановки во всю последующую жизнь. Поставленный в необходимость раз двадцать в жизни переменить направление мысли, человек теряет к ней всякий аппетит и может завещать своему сыну только то, что все эти мысли в сущности вздор, потому что не прочны, потому что завтра могут быть другие. И прочным и неизменным остается только то, что делает человека очень, очень маленьким.

Мне пришло в голову и припомнилось великое множество населяющих русскую землю людей, жертв этих внезапных акций и реакций мысли, от самих людей не зависящих, и я бы непременно теперь же представил их читателю, если бы не произошло следующее.

Пароход, описывая полукруг и жалобно гудя в ночной тишине, стал подходить к какой-то пристани.

На склоне горы темнели бараки и белели церкви. Несколько огоньков светилось на пристани.

— Село Немудрово! — сказал капитан.

— Немудрово! — раздавалось по каютам, где лакеи будили заспавшийся народ, которому нужно было здесь вылезать.

Я не спал.

— Прощайте, Андрей Иваныч! — сказал, появляясь с узелком подмышкой, Федя.

— Куда ты?

— Я здесь вылезаю...

— Разве здесь твой Семен Сергеич?

— Как же, здесь... У того купца он на фабрике. У седова, что вы давеча слушали... Первый фабрикант и первый кровопиец... А вы куда едете?

Этот вопрос заставил меня подумать, куда собственно я еду. Оказалось, что, садясь на пароход, я не взял даже билета.

Удаление Феди и скука одинокой езды на пароходе, притом еще неизвестно куда, навели меня на мысль сойти в Немудрове...

Я так и сделал.

И хотя это обстоятельство прервало на некоторое время нить моих мыслей, зато, ознакомившись с жизнью большого фабричного села, я могу теперь рассказать не только о старых моих знакомых, но и о положении целой деревни, испытывавшей на своем веку те же самые хоть и ненужные ей, но настойчиво приводимые в исполнение посторонние влияния.

С КОНКИ НА КОНКУ

I

...У Иоанна Предтечи, на Лиговке, — храмовой праздник.

Это праздник преимущественно чернорабочего народа, праздник мелкого торговца, словом — праздник людей «серых», работящих; вся Лиговка — длинная, в несколько верст улица, — как известно, населена именно этим серым рабочим народом; здесь квартиры и дворы легковых и троечных извозчиков, сенные склады, постоялые дворы для приезжих подгородних крестьян, масса кабаков, портерных, закусочных, съестных и т. д. Как бы дополнением, продолжением Лиговки служат с одной стороны Обводный канал, пересекающий ее почти в конце (если идти от вокзала Николаевской дороги) и на всем своем громадном протяжении густо обстроенный всевозможными фабриками и заводами и населенный тысячами чернорабочего народа, с другой — та же рабочая окраина Петербурга, центром которой можно считать Лиговку, — продолжается за Николаевский вокзал по тому же Обводному каналу, Шлиссельбургской дороге, далеко по Неве за село Рыбацкое... На всем этом пространстве не одного десятка верст, когда-то разделявшемся на слободы, села с приходами, а в настоящее время слившемся в одну сплошную линию заводов и рабочих помещений, между рабочим народом образовалась какая-то связь, одинаковость интересов, работ и забот... Конно-железные дороги, соединяющие село Рыбацкое — дальний пункт Шлиссельбургской дороги, с Нарвской заставой — дальний пункт Нарвского тракта, еще более развили потребность

общения, вытекающую из одинаковости условий стотысячной массы народа, расселившейся по петербургской окраине. Неудивительно поэтому, что храмовые праздники, празднуемые приходами разных церквей, расположенных на этой рабочей дороге, делаются мало-помалу праздниками как бы общими для всей многотысячной рабочей колонии... Из-под села Рыбацкого едут праздновать к Нарвской заставе, на Митрофаниевское кладбище; из-под Нарвской заставы, пересаживаясь с конки на конку, добираются в гости в село Рыбацкое, в Смоленское, Александровское. Конно-железные дороги очень много содействуют удобствам передвижения на таких дальних расстояниях. Церковь Ивана Предтечи, находясь почти посредине длинной линии, идущей по рабочей окраине Петербурга, привлекает особенно много любителей погулять. В описываемый мною день вагоны конно-железных дорог, усиленные количеством, ежеминутно подвозили «к празднику» с отдаленнейших окраин массы рабочего народа; еще бóльшие массы шли пешком, напирая всё в одну точку, к Новому мосту — что у самого храма; часам к двум все переулки, все улицы, прилегающие к Лиговке и Обводному каналу, все кабаки, все харчевни — все было переполнено народом; берега Обводного канала, обыкновенно весьма неприветливые, кое-где только покрытые тощей, ободранной растительностью, вытоптанной столичными бурлаками, обыкновенно бечевою передвигающими по каналу небольшие суда с разными, преимущественно строительными, материалами, — эти пустынные берега по случаю праздника были буквально завалены народом; тут и сидели, и лежали, и спали, и «валялись» в той случайной позе, в которой свалил подгулявшего человека хмель. Немало «валялось» в таких «невольных» позах и женщин и даже малых ребят из мастеровых лет по тринадцати; много было и таких, которые сидели «тихо-благородно», одевшись в новые ситцевые сарафаны и рубашки и скромно пощелкивая подсолнухи; но много было и крика, и говора, и шума; вагоны с трудом пробирались в этой сплошной толпе, наполовину отуманенной вином, в этой толпе обнимавшихся, шатавшихся, падавших и прямо валившихся лошадям под ноги... Неумолкаемый звонок кондуктора едва был слы-

шен в море всевозможных звуков, криков, песен, брани... Брань в особенности энергическая, а главное, почти беспрерывная шла между кондукторами вагонов и публикой... Спорили и ругались из-за сдачи, из-за мест. Поминутно изо всех сил, до хрипоты, кондуктора вопияли: «Ведь русским языком говорят: нет местов! Куда лезешь, говорят: местов нет! Тебе говорят: не позволяется стоять! Вот позову городового... Что это такое?» и т. д. без конца.

Именно вот в такой-то шумной, тесной, крикливой компании мне пришлось ехать на верхушке конки, подвозившей рабочую публику от Нарвской заставы к Иоанну Предтече, празднику. Ехал я не вследствие какой-либо необходимости, а единственно вследствие желания как-нибудь искусственно утомить себя, *измаять* — желание весьма странное, подумает читатель. Желание точно странное; но кто из провинциалов, заброшенных на долгие годы в столицу, не переживал по временам минут необычайной тоски — и не собственно по родине, а по чему-то уже почти позабытому, что́ столичная жизнь уже выела, но что́ *вдруг* становится ужасно жаль, так жаль, что не знаешь, куда деться. В такие минуты это почти позабытое, это спрятанное в самый темный угол глуши, это ненужное в столичной суете, беготне, хлопотах вдруг выйдет из своего темного угла, заропщет и застыдит тебя... Особливо в последние годы; кроме полузабытого прошлого, и настоящее ежедневное снедало петербуржца (да и не одних петербуржцев) ужасающею тоскою. Бывали минуты смертоубийственного холода, которым дышала жизнь, и в такие минуты тоска доходила до полного отчаяния. Вот в такие-то минуты необходимо было предпринять что-либо механическое, чтобы согреться, оттаять, очувствоваться, чтобы «забыться и заснуть», заснуть в буквальном смысле, то есть умаять себя и свои нервы так, чтобы нельзя было не заснуть... В одну из подобных минут я сел на верхушку конки, хорошо не помню где, и доехал по линии до конца, а там пересел на новую и поехал дальше... Толпа, чужие люди, чужие речи, толкотня, физическая усталость — все это было хорошо, как искусственное размыкивание тоски...

II

Очень, очень долго я не только покорно, а даже совсем нечувствительно относился к толчкам и пинкам, которыми награждали меня соседи по верхушке конки, устремлявшиеся к празднику. Долго я ощущал только одно — что меня качает спереди назад и что я поминутно стукаюсь спиной о спинку сидения. Некоторое время я совершенно спокойно смотрел на полу моего пальто, прожженную папиросой какого-то соседа, и, как кажется, полагал, что моя обязанность по отношению к прожженной дыре заключается только в том, чтобы с почтением взирать на нее и всячески не препятствовать ее постоянно увеличивавшимся размерам. Некоторая способность думать, чувствовать и слышать стала возвращаться ко мне по мере физического утомления. В смысле этого перехода от смерти к жизни немало помог один мастеровой, несказанно рассмешивший всю компанию, помещавшуюся на верхушке конки.

Поднялся он на верхушку вагона с величайшими усилиями, точно больной, — так качал его хмель; но поднявшись, вдруг обнаружил крайне буйный нрав и моментально поднял целую бурю, так сказать, коллективной брани.

— Где моя сумка? — загремел он, обращаясь неизвестно к кому, но таким требовательным тоном, что публика и кондуктор, все вместе, грянули ему в ответ:

— Пошел вон! Пьяная морда! Кто за твоей сумкой приставлен смотреть? Вон с вагона! .. Ишь, каланча какая выставилась! ..

— Подавай! — вопил мастеровой под градом ругательств, и вопил так, что очевидно хотел всех покрыть и явно не намерен был сдаваться. — Ты зачем приставлен? Ты кондуктор? Ты — подавай!

— Я вот тебя в часть, пьяного, шельму!

— Подавай сумку! ..

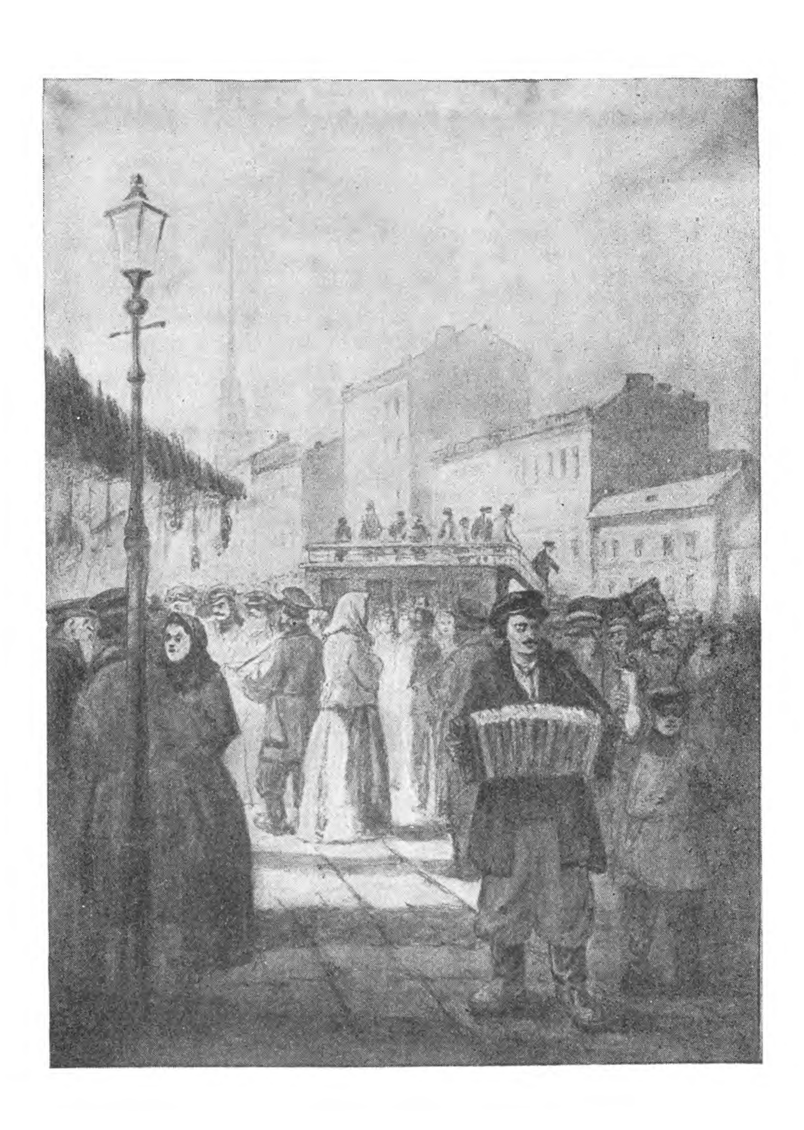
— Потребовать городового! Докуда это будет?

— Ты зачем приставлен?

— Пошел вон!

— Где моя сумка? Подавай мне! Ты зачем приставлен? Отве-чай! ..

Вдруг я почувствовал, что около меня лежит что-то твердое. Оглянувшись, я увидел сумку.



— Эта, что ль, сумка? — спросил я.

— Во-о-о! Она, она!..

Сумка перешла в руки мастерового, причем он разглядывал и твердил: «вот, вот», «она! самая это и есть...»

— Ну пошел вон отсюда! Не позволяется стоять! Говорят тебе — пошел!

— Не ори! Чего орешь? Что ты орешь, пес ты этакой, — огрызался мастеровой на кондуктора. — Должен я барина-то поблагодарить?

— Пошел долой с кареты!

— Ах вы... мужичье! — гаркнул мастеровой. — И никто из вас, мужичье вы дубовое, никто моей сумки не поберег... А вот барин, дай бог ему здоровья, обратил свое полное внимание...

— Уйдешь ты отсюда или нет? Ведь я городового позову?.. Пошел, говорят тебе!

— Мужичье! — пуще прежнего орал мастеровой, подаваясь к лестнице благодаря усиленному напору кондуктора. — Вам внимания этого нет... чтобы чужую вещь... свиньи! А барин обращали свой взор на мою сумку! Пьяные вы морды!

Оратор, не удерживаясь на ногах, почти «загремел» вниз по ступенькам крутой лестницы.

— Д-да! — заговорил какой-то тоже слегка пьяненький фабричный в синей чуйке и картузе, — да, верно! Верно ты сказал... мужичье есть вполне дурачье... Вот я — мужик; стало быть, я — дурак. Да? Господа? правильно я говорю?

— Дурак! — сказал кто-то.

— Вот! Вот это самое!.. Вот солдат — он есть умник. Он меня, положим что, пихнул, например, в бок, в ребро. Но я молчу, потому что я есть мужик и дурак, а солдат — умный человек. Ведь так? господа? Ка-н-нешно, вполне веррно! И это он правильно сказал... Я — мужик, я — дурак. Лежит чужая сумка — дурак, я внимания не обратил; барин, коль скоро он образован, то сейчас и обратил взор на чужую сумку!

Взрыв хохота разразился на верхушке конки.

— Как чужая вещь, — продолжал тем же, якобы совершенно кротким тоном фабричный, — как вещь чужая, так барин уж тут! «А, говорит, надо обратить свой взор,

потому вещь чужая!..» А мужик? Мужик глуп! Вот положи тысячу рублей — я и не взгляну!.. Но ежели хотя гривенник увидит образованный человек, то в ту же самую минуту обращает внимание... А мы? Мы животные!.. Дубье!.. Мне покойник барин махонькому говорил: «Мишка, придешь в возраст, то я произведу тебя в лакеи к моему сыну!» В лак-кеи! Ведь это что? Ведь это награда! На-г-ра-да ведь в лакеи-то! А я заплакал, убег! Потому дурак. Явно! Ежели б я был умен, так ведь я обрадоваться должен, что меня, дурака, награждают в такую должность... Лакей! Куда же дураку-мужику сравняться! А я убег, потому что дурак! Ведь барин обращает на меня внимание, счастия мне желает, говорит: «Мишка! Я тебе желаю счастие сделать и произведу тебя по этому случаю в лакеи, например, в холопы!» А я, дурак, не понимаю... Ведь дурак я, господа? да? Само собой, я глуп вполне! «В ллак-кеи тебя награждаю!» А я, дурак, — убег!.. Ах, животное!.. Бить! одно, одно и есть средствие! Бить надо всячески! Обломать, чтоб сучья-то все эти с мужика сшибить, — вот тогда он и поймет, образуется... Би-ить!.. Самое пер-рвое лекарство! Натуральное — минеральное! А то, помилуйте? ведь животное? Да, господа? Ну, конешно!

Непрерывный, хотя и сдерживаемый из опасения проронить хоть одно ядовитое слово, хохот продолжался во все время этого монолога, который прервался только потому, что мы подъехали к мосту Царскосельской железной дороги, где должны были пересаживаться в другой вагон.

III

Громадной массой столпились мы, публика, пред дорожной заставой, опущенной по случаю прохода поезда из Царского Села, и потом, когда заставу отворили, бурным потоком хлынули к вагонам конно-железной дороги. Оратор, смешивший публику, исчез в этой тесноте и давке, и я, с величайшими усилиями пробравшись на верхушку нового вагона, очутился в совершенно новом обществе. Рядом со мной уселись два мастеровых: один — дюжий чернобородый мужик в синей чуйке тонкого сукна, плотный, коренастый и красивый, другой — длин-

ный, как веха, белокурый и ужасно вялый от выпивки. Пахло вином и от первого, дюжего мужика, но он крепился, покрякивал с достоинством и вообще старался, чтоб хмель не был заметен в нем. Едва они уселись, как дюжий мужик встал с места и, держась за железные перила верхушки вагона, крикнул в толпу:

— Полезай сюда! Мишка! вот он я где! Лезь сюда!

— Мишка! — плохо владея языком, но стараясь крикнуть как можно громче, гаркнул белокурый товарищ дюжего мужика и тоже встал и, держась за перила, смотрел вниз... — Полезай, пострел тебя слопай!

К кому они обращались — я не видал; но вслед за воззванием к Мишке оба они, сначала дюжий мужик, а за ним белобрысый, подошли к лестнице, ведущей на верхушку, и, обращаясь к невидимому для меня Мишке, который был внизу, начали произносить ужасно грозные речи. Сначала заговорил дюжий мужик; он насупил брови и, потрясая сжатым кулаком, говорил невидимому Мишке:

— Полезай! ну только ежели ты, шельма, опять начнешь свою музыку — помни! Я тебя, перед богом говорю честью, расшибу с маху с одного. Полезай, что ль, чего стал? Я тебе говорю одно: будешь помнить! Ты мне с самого утра зудишь, единого шагу спокойствия от тебя нету, — я тебя произведу за это за самое... Чего стал? Полезай, ну пом-мни!

— Пом-мни! — присовокупил белобрысый, шатаясь и еле вращая языком, но довольно энергично потрясая кулаком: — Одно слово — убью! Без разговору! Коротко и ясно! Тресну — и аминь, со святыми упокой!.. Ты что не покоряешься? Ах ты!.. ты как можешь препят-ствовать? Мм.. .лчать! Не пикни! Убью в полном виде!.. Пшол сюда!

— Полезай, чего стал? — заговорил дюжий покойней. — Долго, что ль, с тобой вожжаться-то? Ну только по-м-мни!

— Пом-мни! Помни свой последний вздох. как пикнул, тут тебе и окончание!

— Ну-ну! — еще потише заговорил дюжий мужик и помог подняться на верхушку маленькому, лет одиннадцати, худенькому черномазенькому мальчику.

Мальчик был чистенький, в длиннополом сюртучке, новом картузике, но робок и пуглив был ужасно. Он испуганно озирался, очутившись на такой высоте, цепко хватал за руку дюжего мужика, за перила и даже приседал, боясь ступить; конка тронулась, вагон покачнулся, и мальчик побледнел, как полотно.

— А-а-а! — сказал злорадно долговязый, — боишься, пострел этакой! А как препятствовать старшим, так этого не боишься? Погоди вот! .. Видишь вот канал-то... я тебя, вот перед богом, возьму за ноги да и громыхну туда! ..

— Ну будет тебе, балалайка! Чего уж попусту-то пугаешь? — с легким укором перебил его дюжий сосед, почти насильно сажая Мишку, не хотевшего выпустить из рук железных перил, к себе на колено. — Уж чего попусту-то? Ведь так пугать попусту не годится... А вот ежели музыку свою заведет — ну, тогда разговор у нас будет особенный... В том случае, еж-жели ты т-только хоша бы даже... уж я тогда — поступлю!

— Уж тогда, братец ты мой, — дополнил долговязый, — поступок будет за первый долг... Прямо в канал! Да чего же? В кан-нал! Тут одной глубины сто сажен, так это тебя вполне сократит...

— В канал не в канал, а... уж поступлю! ..

Мальчик цепко держался за перила и едва ли что-нибудь слышал из этих разговоров, потому что, видимо, был под страхом упасть с конки. Долго мои соседи читали ему нотацию, грозили ему чем-то, и я никак не мог понять, чем бы этот крошечный, тщедушный мальчик мог вредить таким большим людям? Наконец белокурый мастеровой, сидевший со мной рядом, потянувшись ко мне с папиросой, улыбнулся пьяно-доброю улыбкой и сказал негромко:

— Пужаем постреленка! ..

— За что же?

— Способов нету, вот за это! Чистая змеиная порода — весь в мать! .. То есть вылитая шельма! Она мне родная сестра, мать-то его, — я говорю прямо — я этого не боюсь... Хорошая баба, нечего говорить, и вот он, муж-от, то ж скажет, а уж зме-я! уж что ни говори, а цепкая баба! Уж так цепка — на редкость, и мальчонка-то весь в нее... Уцепится, нет возможных способов ника-

ких! Что матка скажет — так, кажется, клещами из постреленка не выдерешь! Теперича вот возьмите в понятие: у людей ноне праздник, пре-стол! вед это надо понимать! Свинья она этакая! Ведь должон человек погулять, ведь и нашему брату надо разогнуться! Как вы полагаете?

— Она этого не понимает, — заговорил муж цепкой бабы и отец Мишки, очень ясно слышавший (как и Мишка) разговор своего товарища, который со второго слова перестал шептать и говорил громко. — Она этого не понимает... что значит молотком-то зудить десять лет... Ей бы только — муж «не пропил» денег!.. Ты должна же, дубина, понимать, пьяница или нет муж-то? Я пью в препорцию, мне надоть вздохнуть... Что ж я не накормлю, что ль, вас?.. Кажется, у меня есть своя голова на плечах — так мало! Караульщика приставила!

— Изволите видеть, — сказал белокурый, — пристанавливает к нам караульщика!.. Ну не сволочь ли, позвольте вас спросить, будьте так добры? Назудила мальчишку — «препятствуй»! Рюмки нельзя выпить, чтоб без прекословия... Чуть взялся за стакан — ревет! Слезами рыдает, всю душу повреждает человеку! Вы глядите на него — ведь молчит, не пикнет, а мысль у него: только бы нам во вред!.. Как чуть подошел к кабаку, даже к портерной, к примеру, — воем завоет!.. С утра мучает нас вот с Петром, отвязы никакой нет! Бросить его — ведь жалко мошенника! Ведь его раздавят, как муху, в народе-то... А с ним — беда!.. Измучил, чисто измучил! Какое же тут может быть удовольствие — воет да клянчит да за руки да за полы цепляется?

Дюжий мужик сидел все время молча, угрюмо и вдруг грозным голосом заговорил:

— Я тебе в последний раз говорю — не смей мне надоедать! Я тебе — отец; я могу по-свойски тоже, брат, смотри! я вас всех кормлю, я знаю, что делаю! Ежели ты мне посмеешь, так я тебе покажу, что я такое! Как ты смеешь, когда тебе русским языком говорят: «отстань»! Ах ты, дубина этакая! Больше я с тобой разговаривать не буду, а чуть что — пошел вон, убирайся от меня! вот что!

— Прямо гнать его прочь! — прибавил белокурый: — что это такое? На что похоже? Что за надзиратель

за такой! Пошел вон — вот и все! Пускай раздавит вагоном, коли не хочешь слушать, что старшие говорят. Вот еще какая свинья! Мы тоже на своем веку жили; кажется, знаем побольше твоего... Ты что за указчик? Ах, ты... С тобой говорят честью, а ты все свое заладил? Ну, брат, — гляди в оба!

— Слышишь, что тебе говорят? — тряхнув Мишку за плечо, сказал дюжий мужик. — Ну так помни! Я без тебя знаю свое дело! Я тридцать лет служу хозяевам, ты мне не смей!..

Мальчик ни слова не ответил.

— Ну, вылезай! — сказал дюжий мужик белокурому, когда мы подъехали к мосту на Лиговке. — Пора слезать!

Все трое стали спускаться вниз, и не прошло нескольких секунд, как перед моими глазами разыгралась удивительная сцена. Я сидел на верхушке конки, которая дожидалась встречной, видел, как из толпы выделились фигуры моих соседей, причем Мишка был между ними и держался руками и за отца и за дядю... Они что-то говорили ему, говорили сердито, останавливаясь нарочно для разговора и увещаний. Я видел, как от Мишки рванулся белокурый, потом как отец стал из его рук вырывать свою полу; но Мишка, этот молчаливый худенький мальчик, впился в него, присел и громко закричал что-то...

— Брось! брось! Брось его, шельму, — взывал белокурый из дверей кабака. — Бросай его под карету!

Дюжий мужик почти волоком тащил мальчишку по направлению к кабаку, оборачиваясь, бранясь, порываясь оторвать его...

Мишка выл, упирался. Вагон тронулся.

IV

Явный гнев и видимая сильная степень раздражения, которых я не мог не приметить как в отце Мишки, так и в его белобрысом дяде во время последней сцены, стали меня сильно беспокоить. Вагон двигался в сплошной толпе народа, поминутно останавливаясь и не переставая звонить, и мальчик не выходил у меня из головы.

«Что, — думал я, — ведь в самом деле он может так раздражить отца, желающего гулять, и его компаньона, что они всердцах и в горячности, пожалуй, сделают ему что-нибудь худое, в чем и сами будут раскаиваться. Мальчик же, очевидно, пристает к ним без всякого милосердия и снисхождения... Дюжий мужик был очевидно не из пьяниц, не из горьких запивох, но мальчишка раздражал его с утра, а он с утра уже был выпивши, как явствовало из рассказа белокурого, и притом выпивал без приятности, как видно было также из рассказа белокурого. В такие минуты случайно, невольно может выйти какая-нибудь потрясающая сцена».

Чем дальше я ехал, тем мне становилось беспокойнее; доехав до Разъезжей, на что понадобилось не менее полчаса времени, я решил переменить вагон, пересесть на встречный и доехать до того места, где я покинул моих соседей. Мне казалось, что я даже должен это сделать...

Прошло еще полчаса, пока я добрался до места и вошел в кабак. Не без страха переступил я порог и не без волнения заметил синюю чуйку дюжего мужика. Белокурый товарищ его также был здесь; здесь был и мальчик... К удивлению моему, лицо его было совсем не то, какое было у него на верхушке конки, он был покоен; вертел перед собой картуз и мотал ногой...

— А! — воскликнул белокурый, узнав меня: — наш компан-ен! Усмирили язву сибирскую!.. Тише воды — ниже травы стал! Что, Мишка, — обратился он к мальчику, — хороша наливка-то?

— Сладкая!

— А, постреленок! Покуда сам не отведал, покою не давал, а теперь сладкая!.. Ишь животное!

Да! мальчик тоже был под хмельком, я ясно увидел это. Увидел я также и то, что дюжий мужик плачет. Он и его товарищ были значительно под хмельком; путаясь в словах, дюжий мужик стучал кулаком в грудь и бормотал:

— Я... тыщи рублей не взял бы... поить... ты мой родной!.. Мерзавец этакой... Говорил: оставь! Знаю! все знаю! чувствую! Дов-вел! Принужден! Ну пей, пей, приучайся! Измучил ты меня! Чтоб только ты-то не мучился, я дал... я, тебя любя, дал... дозволил... Отец ответит за это, пред богом ответит!

— Ну будет нюни-то распускать! — перебил белокурый. — Велика важность — наливка... Мишка! пондравилась наливка-то? а? Хочешь еще рюмочку? я тебе поднесу! Только ты — гляди! Видишь, что ты с отцом сделал? Ввел его в слезы... хочешь?

— Давай!..

— А будешь препятствовать?

— Нету!..

— А-а-а! бессовестный!.. Ну, надо дать, делать нечего. Только гляди, чтоб потом не пьянствовать! Боже тебя избави!..

Дюжий мужик плакал и пил пиво.

НОРОВИЛ ПО СОВЕСТИ

I

Был тихий свежий летний вечер. Я вышел из дому, который нанимал на лето в деревне, на улицу и сел на крыльцо, прямо на ступени. Легкая, влажная свежесть приятно наполняла и освежала грудь. На небе и на земле было чисто, широко, просторно и вообще «хорошо», покойно. Хотелось «просто» сидеть вот так, чуть-чуть не в забытьи, дышать, смотреть и *наслаждаться* тишиной и покоем минуты наступившего вечера.

Какое-то странное, не то слезливое, не то злостное бормотанье прервало мое тихое наслаждение. Мимо меня шел мужик в одной белой рубахе, ободранных холстинных штанишках и босиком. Лысая голова его была обнажена. Шел он как-то странно, не то очень торопился куда-то, не то, вдруг вспоминая что-то, останавливался и что-то бормотал... Скоро, однако, я разобрал, что причина такой странной походки была очень проста: мужик был пьян, и кроме того, когда он пробежал мимо меня, я увидел, что он еще к тому же и слаб и худ и что не он управляет ногами, а они несут его куда им угодно. Бормотанье его было не то пьяное мужицкое галденье с ревом (необходимым, впрочем, для больной груди, желающей побольше вобрать воздуху) и гарканьем без всякого другого содержания, кроме крепких слов, — нет, это было что-то до последней степени жалкое, детски-бессильное; таким голосом жалуются дети, когда крепко оскорбят их самолюбие. Нечто бессильно-визгливое, не имеющее возможности «как следует» разозлиться, слышалось в тоне его бормотанья. А что такое он бормотал,

уверяю вас, не понял бы ни единый человек. Только слово «бог», повторявшееся довольно часто и всегда сопровождавшееся поднятием тощей, сухой руки к небу, только это слово одно и было доступно уху постороннего слушателя во всем, что выходило не то из сжатых губ, не то из беззубого рта пьяненького мужика.

— Ишь! ишь! как его швыряет-то, — появляясь с лопатой и граблями на плече, произнес наш дворник, приготовлявшийся собирать в садике близ дома скошенную утром траву.

— Э, как двинуло!

Бессильные ноги мужика в самом деле несли его куда им вздумается. Под горку он несся мелкой рысцой, всем корпусом подаваясь вперед и каждую минуту ожидая падения именно головою вперед. Но «бог пьяных» хранил его, и он, вместо того чтобы слететь с мостика в грязную канаву, что ожидало его неминуемо, вдруг заколесил так же проворно и так же еле держась на подгибавшихся коленках в сторону, ударился боком о загородь из жердей и, перевернувшись к ней животом, стал (очевидно, также невольно) заносить ногу через низенькую загородку. Та сила, которая его несла куда ей было угодно, продолжала и тут, при перелезанье, лихорадочно торопить его и в одно мгновенье, прежде чем он перенес через плетень колено, перебросила его на другую сторону.

— Н-на! — произнес Петр (так звали нашего дворника): — шмякнуло!..

Старика шмякнуло навзничь, и он со своей белой рубашкой совсем скрылся в траве, только рука поднялась, и опять послышалось что-то вроде «бог» — и совсем исчезла маленькая, маленькая фигура старикашки.

— Не ушибся ли он?

— Где там ушибиться! Там трава... Обстрекаться — обстрекается... Прямо в крапиву угодил... — И медленными шагами Петр отправился к загородке, чтобы посмотреть, не ушибся ли человек в самом деле.

— Ну, лежи, лежи!.. лежи смирно! — покойно и основательно произносил Петр, глядя через плетень в крапиву.

— Бог... создатель! О-о-о-н отец наш! — слезливо дребезжало что-то из-за плетня, и опять что-то забелело...

— Лежи, лежи! ну ладно, отдышись, очнись. Чего? Потому что пьянствовать не надо! Да! — слышались нравоучения Петра: — потому что пьешь! Ну, я уж, брат, не разберу твоих разговоров... лежи!..

И Петр так же медленно пошел назад, а за плетнем опять не стало ничего видно кроме травы — так тщедушен был старичок.

— Ничаво! проспится... Очкнется! Брякнулся словно на перину, и встать не хочется... любо лежать-то, прохладно... ха, ха!..

— Это ваш, мочалкинский?

— Наш, как же.

Петр пошел в сад, отгороженный прямо от крыльца, и, оттуда продолжая разговор, медленно приступил к работе.

— А отчего? Потому что нет в человеке ума. Доведись до меня, я б это дело в две секунды кончил... Взял бы вот топор и пошабашил сразу. И в Сибири люди живут, по крайности уж до эфтого бы не допустил...

Петр был человек не старый, лет тридцати, холостой и энергический. Он знал хорошо грамоте, думал попасть в Петербург в артельщики и теперь жил в деревне собственно для старухи матери, у которой он был один сын. К осени он полагал, что мать должна помереть (уж к Кузьме-Демьяну без сомнения), и тогда он тотчас уйдет в Петербург. Деревню он любил более с художественной стороны: луга, речка, рыбная ловля, зори утренние и вечерние, грозы, леса с птицами и ягодами — вот что было в деревне хорошо. Но народ деревенский уж не нравился ему, потому что он отведал столичного житья, видал людей и приучился рассуждать. «Бестолочь», «непорядки», «разини» — вот как характеризовал он большей частью деревенскую нравственность и ум и по своей суровости, даже иной раз какой-то жестокости полагал, что над всем этим «разгильдяйством деревенским» «мало страху», что тут нужна строгость, что без приказания ничего путного не выйдет. В таком суровом взгляде на деревню немалую роль играло в Петре и довольно сильное чувство родства с этой самой деревней — чувство, как я не раз мог убедиться, оскорбленное тем беспомощно-глупым положением, которое, по мнению Петра, эта деревня, эта его близкая родственница, переживала изо дня в день

и которое ей предстоит переживать, повидимому, несчетное число лет.

— Об чем это ты говоришь? — спросил я его.

— Да вот все об этом же! — сказал Петр, сгоняя граблями в кучу с куртин высохшие и приятно шушукавшие клочки сена: — все вот об этом пьяненьком-то. Ну что это, нечто хорошо (остановившись и почему-то поплевав сначала на руки, а потом положив их на ручку грабель)? — произнес он вопросительно. — Живут двое с однόю бабою! Ну аккуратно ли это? Ведь это так надо сказать: и у господ — и то в редкость, не токмо в крестьянстве... Срам! Пьянствуют трое целый божий день, вот уж который год не могут расцепиться!.. Доведись до меня, так уж я б не допустил такого безобразия... Прямо за топор: либо ее, либо его!

— Кого?

— Либо бабу, либо любовника. Как же иначе-то? На это закону нет... Хоть какой хошь закон утверди, а покуда живы, канитель будет тянуться, уж это верно. Там господь рассудит, так али нет? А что разводить этакую погань не приходится.

И опять, поплевав на руки, он быстро и далеко занес грабли и медленно потянул их к нараставшей куче.

— А ежели бы разойтись? Ведь тогда и без топора можно?

— Это как же так?

— А так просто — либо мужу с ней разойтись и оставить ее с...

— С любовником? Это я-то, муж (хоть бы я, например), так я и буду любоваться на них?.. Ну уж этого нет! Есть такие любители, чтобы ихних жен, ихний товар одобряли, ну моего на это согласия нет! Жена живи с мужем. Как любовник — так топор, и больше ничего, и весь разговор... А то как же? Разойдись! Как же муж-то? я-то?.. Да и как же это возможно, ведь, чай, мое доброе!

— Что это?

— Да жена?.. да чтобы я уступил? Даже вполне смешно это! Все равно ежели примерно купил я себе дом или что, и кому-нибудь он и понравился, так я и должен отдавать? Что ж я за полоумный такой? Мое так мое и есть. Как от меня прочь — тумака дал хорошего — ша-

баш. По крайности этого вот безобразия не будет (он указал по направлению плетня, где спал пьяненький). По крайности сам не будешь сердцем мучиться... В таком случае (Петр говорил медленно и отчетливо), то есть ежели жена например... то надо давать тумака жене. Долбани ее любовника, жена будет тосковать, вспоминать, и я покоен не буду, а как жену прекратил, тогда уж опять один и уж без надежды остаешься. Вот что!

Это, очевидно, был непоколебимый взгляд Петра на жену (сам он был холостой), на любовь и на измену. Он так определенно и веско выражал свое мнение, что я и не подумал спорить с ним. Я только спросил:

— А старик-то этот как же? Почему так не распорядился?..

— Старик-то?

Петр оставил грабли, подошел к самой загородке и, положив на нее локти, шопотом сказал:

— А потому старик не пошабашил с нею, что больно уж свят. Перед богом тебе говорю: совсем был спасен — угодник, одно слово; от ефтого рука и не поднялась у него! Вот и валяется теперь... вишь вот!.. А господь и разбойников и убивцев ведь милует. Отмолил, отпостил бы... А теперь что? Служил, служил богу, да вдруг дьяволу поклонился. Уж какой же тут расчет? Никакого нету расчету! Все и пошло невесть куда, хоть бы и не угождал богу-то... Вон теперь пьяный плачет, жалуется, все бога поминает. «Бог», «бог» — то и дело; а бог-то теперь и внимания ему не дает, потому что́ он такое? Свинья — больше ничего!

— А свят был?

— Боже мой, как свят! То есть по всей форме угодник. Именно говорю. Вот пожалуйте мне папиросочку — я вам объясню...

II

Петр сидел рядом со мной на ступенях лестницы, курил и рассказывал. Шапка у него была на затылке: «так слободней рассказывать-то»...

— Ямщики они были, значит, в старые годы... В старые-то годы Московская дорога ведь как гудела... Не дорога, а война была — одно слово! Теперича проезжайте

вы по старому шоссе — весь путь на сотни верст почти сплошь застроен; села, города всё к дороге жались, все на версты вытягивались... Теперь только пустые дома, да лавки, да постоялые дворы стоят; чем народ живет — неведомо. Теперь, примерно сказать, за сто рублей в год в городе отдадут вам с большим удовольствием целый дом, комнат в пятнадцать. Народу нет, дел нет! А прежде тут ключом кипело, и деньги большие наживались. У-ух какие деньги! Сколько с той дороги пошло по Руси тысячников, миллионщиков — сметы этому нету! Вот и Егоров отец — он Егор Петров прозывается (Петр указал на плетень, за которым валялся пьяный) — также тут орудовал. Также вот Петром прозывался, все равно как я... Родом-то они были здешние, наши мочалкинские, и дом у них тут был, ну а на дороге самый промысел, стало быть постоялый двор и ям. И из больших был мешков.. Девяносто лошадей, стало быть по тридцати троек, ганивал в день и шумел далеко, оченно шумел... Ну, греха таить нечего, деньги наживались всячески... Приезжий народ был (хоть бы и теперь взять) разный — и серьезный, и баловник, и все прочее... А Пётра-то был человек не задумчивый... Идут деньги, так бери! И брал со всего, то есть даже и нехорошо... Например дочери его... Дочери его тоже действовали... Потому народ ехал с деньгами, не то что теперь по чугунке за тридцать копеек едет человек сто верст, а в кармане экромя билета ничего нету. В ту пору в Москву ли, в Питер ли поднимался человек капитальный, помещик, купец, у всех деньги готовые, езда долгая, скучная, ну и баловались. И шибко баловались! до сих пор по дороге идут разговоры насчет этой жизни веселой... Вот Пётра-то и орудовал... Мало что дочерей, например, пожертвовал господам проезжающим (уж само собой не даром, и очень даже не напрасно), а и хуже бывало... Старичок какой-то ночевал у него с деньгами — и пропал. Пётра-то рассказывал (и все его сыновья, дочери и работник тоже рассказывали), что будто ночью за старичком подъехала тройка, а в тройке будто тоже старичок, из лица на Николая-угодника похож; взял, говорят, этого проезжающего, вывел из номера за руку, посадил на тройку и умчал... И так будто умчал, что и следов нету! Так ли точно было — неизвестно, но только что навряд, чтобы

так... Начальство Петра не касалось — человек денежный; а надо быть совесть-то у него была не очень правильна. Стала подходить старость — стал пить. По ночам ходит, кричит, стал с семьей драться — и дочерей и сыновей возненавидел. Долго ли, коротко ли так было, только, рассказывают старики, раз выехал он на тройке будто в город и мальчишку с собой взял — вот этого самого Егора, что теперь в канаве-то лежит... Тогда Егору не больше как лет под четырнадцать было... Самый был последок и самый любимый отцов сын — потому еще не успел насобачиться, как братья его и сестры. Взял с собой Егора и уехал... Никому ничего не сказал, кроме что «еду, мол, в город...»

«Мало ли в городе дел у него было! Ну, ничего, уехал и уехал. Только неделя прошла, нет его назад; и месяц прошел — нет! И год — нет... Пропал старик, и сын пропал... Хватились — и денег нет: и деньги увез все; одно слово — бросил дом; «живите, мол, как хотите»!.. Куда делся, что сталось с ним — никому ничего неизвестно, словно вот сквозь землю провалился. И год прошел, и два прошло — нет! все нет ни слухов, ничего... В течение того времени все его хозяйство пошло дуром — без денег что уж за хозяйство, — да на беду по второму-то году ударила в его постоялый двор молния, и двор весь дочиста сгорел. Вскорости жена померла с горя, а дочери, бог их знает, куда разбрелись; сыновья в люди пошли, да и там что-то не уживались, потому легкое ли дело после своего-то хозяйства да в батраки к чужому идти? Пошло все прахом (что значит нечисто наживать-то! — прибавил Петр нравоучительно). И совсем было изверлась о них память, как на четвертый год слышим: «Поймали!» Схватили их, Петра и Егора, где-то, изволишь видеть, на границе. Грубить, что ли, Пётра-то зачал али как, ну только схватили их обоих и по этапу, значит, на место жительства, сюда...

«Воротились... Ску-у-учно стало старику-то глядеть на свое разоренье. Поглядел он, съездил на погорелое и так-то заскучал, затосковал. В ту пору мне было от роду годов девять — помню, что̀ у нас по деревне разговору было об этом деле! Вот тут-то и обозначилось, где они пропадали. С этим вот самым Егором целые ночи, бывало, напролет не токмо молодые ребята, а и старые

старики леживали, всё расспрашивали: «где», да «как», да «что». И Егор так-то хорошо рассказывал — на редкость! И были они все эти четыре года в странствии, и всё по святым местам... Чуть, поди, в самом Ерусалиме не были. Что-то будто разговаривали об этом. И к затворникам-то и к схимникам заезжали и пещеры все, какие есть, прошли насквозь, то есть все, все начисто видели, всю святыню. И уж так-то хорошо Егор рассказывал, то есть ах как хорошо!.. И был он, Егор, в это время чистый, как монах: одно только и было у него на уме: «в монахи», «в монастырь», «спасаться». Ходил он в ту пору тоже почесть по-монашески: скуфейка эдакая и пояс кожаный, а уж в храме божием он раньше всех, первый. Поет, читает, служит — сущий монах... Да и прямо сказать — самое ему место в монахи; завсегда был он слаб, и силы в нем мало было; самое ему бы место — спасать душу, за нас грешных богу молиться, потому в крестьянстве нужен человек сурьезный, ну не то, чтобы, например, угодник или что-нибудь... Так все и полагали, что будет он, мол, в монахах... Только что же? В монахи да в монахи, а Пётра-то, отец-то Егоров, свою линию гонит. Стало ему, сказывал я, тяжко на своем разоренье-то, скучно... Жаль ему стало, что все пошло прахом, все изведется, ничего не останется, и так он об этом тосковал, боже ты мой! и уже не было в нем прежнего разбойства ни капельки, то есть ни-ни — тоже ослаб, и устал, и покаялся. Жаль ему было так свет белый покинуть, род свой расточивши, и задумал он Егорушку женить. Деньжонки у него еще были кой-какие, и дом был, и задумал он все это вполне произвести. «Как внучат дождусь, говорит, то и помру — раньше ни за что умирать не согласен!» Зарубил себе эдаким вот манером, и все! Уж Егор и так и сяк, и просил и молил — нет, засело у старика: «Хочу свой род ободрить», и шабаш... И сосватал он Егору первую красавицу. Дом поправил, все свои остатки, то есть капиталы, уложил на новое их жилье, им отдал. «Теперь, говорит, — внуков! внуков мне!» Ждет — не дождется... Год прошел — нету... другой — нету... Стал старик тосковать, скучать, богу молиться, молебны служить. Между прочим и хозяйство идет плохо, ну — где уж Егору хозяйничать! И третий год прошел — и опять нет ничего! Совсем старик сва-

лился. «Наказывает, говорит, меня бог за грехи мои тяжкие!» Грустить, грустить — на четвертую весну помер... Ну вот тут и стало обозначаться... Покуда отец был жив, муж с женой (стало быть, Егор с Авдотьей) как-никак — жили... Да и Авдотья-то хотя и красавица была, а еще понятия настоящего не имела: молода была... Ну тоже и старика, чай, побаивалась, а пуще всего была довольна, что за богатым; старик-то ее всячески ублажал — и нарядами и всячески (надо быть, порядочно старик-то набил на ямской работе денег!). Ну она и молчала. Живет, молчит, ничего не чувствует... Ну а в три-то года она вошла в понятие. Опять ежели бы дети — так, привязка, уж тут крепко привязано... А детей-то и не было. Вот как умер отец-то, с полгода не прошло, видим, выскочил ночью Егор из дому, руки так-то к небу поднял, всю деревню разбудил — орет: «Господи! Не могу я в сей земной жизни быть, прибери ты ее», стало быть жену-то, «тогда я тебе слуга до последнего!»

«И с тех пор, как к вечеру дело, — глядишь, идет Егор по деревне: «Не пойдет ли кто, ребята, ко мне ночевать? Я, говорит, ее, дьявола, страсть боюсь...» Ну и ходили, бывало, мальчишки. Потом рассказывают, что там промежду них идет, боже защити! .. Вот раз и я попал ночевать. Лежу на печке и смотрю: ничего, все тихо, благородно; смотрел, смотрел я, слушал, слушал, ничего — покойно спят. Ну и я заснул... Только слышу крик... Продрал глаза-то, глядь — он, Егор, перед образом и все этак руки кверху. «Прибери ты, вопиет, ее, владыко, на тот свет, отец всевышний, не могу я этого!» А та в одной рубахе на лавке катается, волосы на себе рвет и, как бесноватая, кричит: «Злодей! злодей! варвар!» А Егор все перед образом: «Уж, говорит, услужу я тебе, владыко, освободи ты меня только, батюшка, от эфтого, например, беспокойства!» А та: «Какой ты муж, какой ты муж!» все одно и одно... И почало ее бить, трепать — значит, это нечистый... Тут я уж так перепугался и не помню, что дальше... И заснул с испугу как мертвый. И пошло так каждый почесть день... Стал Егор пропадать: уйдет на день, на два; придет еле жив... Авдотья скучает, жалуется, а чтобы прямо баловаться — нет, надо сказать прямо, не баловалась, нет.. Только по ночам с ней родимец делался... Ну вот Егор и пропадает. «Где ты это,

Егорушка, пропадаешь?» спрашиваем. «А, говорит: все богу заслуживаю; уж, говорит, освободит он меня от этой муки-мученской...» И что ж бы вы думали? Ведь точно богу служил! Теперь вот хаживали вы в Турны, в церковь? Знаете дорогу лесом? Ну, ведь всю эту дорогу, почитай три версты, сам Егор своими руками сделал, все деревья выкорчевал, заровнял — ведь сами знаете, какая дорога! Прежде надо было вот какой крюк делать, эво куда, а тут он стрелой сделал. Ведь это только посудить надо, что тут труда, и все один!.. Да ведь это еще что! Вокруг нашей деревни пять сел, кое пять верст, кое семь, а кое и меньше, так ведь он ко всем церквам также дороги провел, сровнял, перекопал, мосты положил через ручейки, и всё сам, собственными руками... Вот не угодно ли, пойдемте как-нибудь, я вам все это покажу... Удивления достойно, как человек себя обременял! Теперь от нас куда хошь иди — всё прямые дороги, да какие! где мало-мальски мокринка, камень навален, утрамбовано все в лучшем виде. На перекрестках часовенки, то есть четыре столба, крыша и скамейка, а под крышей сбразок... И всё он, один Егор. Таким манером трудился он для господа не один год. Хозяйство его пошло все хуже да хуже, потому землю сдавал, а денег — сами, чай, знаете, как деньги-то отдаются? И все Авдотья — нет, нет и забунтует... Но Егор становился все серьезней. Как забунтует — он взял лопату, в полночь ли, за полночь ли, пошел...

«Хорошо... Вот когда ежели вам будет угодно, пойдем мы с вами посмотреть все эти Егоровы постройки, покажу я вам далеко в лесу одно место. Больше ничего, яма. Глубокая, глубокая ямища и ступеньки каменные вниз. Эту яму выкопал Егор для себя. Хотел уж начисто спасаться, стало быть зарыться тут и богу молиться, а от миру отойти. Эту яму стал он рыть уж по шестому либо по седьмому году после, стало быть, свадьбы-то. Про жену он уж в эту пору совсем и забывать стал и все в яме больше находился. Вот хорошо. Сидит он так-то однажды в яме, поет молитвы, вдруг голос:

«— Егор! а Егор!

«Оглянулся Егор, встрепенулся: думал, его не найдут, потому выбрал самое глухое место, ан над ямой-то стоит один наш мочалкинский мужик.

«— Что это ты, — говорит наш-то, — в яму сел?

«Тут и открылось, что Егор-то хотел душу спасать по-настоящему.

«Похвалил его мужик и говорит:

«— Стало быть, жену-то совсем покинешь?

«— Бог с ней совсем! не по мне это дело!

«— И то ладно, и то правда, — говорит мужик, — и давно пора ее поганой метлой вон из деревни выгнать, чтоб не безобразничала.

«— Как так?

«— Да как же? Уж давно твоя баба расхожая, а теперь вон со вдовым с мельником связалась. От этакого дьявола как, говорит, в яму не зарыться. Зарывайся, говорит, Егор, с божьим благословением! За нас грешных похлопочи как-нибудь. А баба твоя, прямо сказать, ничего не стоит.

«Сидит Егор словно бы каменный, сообразить ничего не может. «Сижу, говорит, сижу в яме, а зачем — неизвестно!» А тут, глядь, еще мужик набрел.

«— Что вы тут, ребята? Ты что, Егор, куда это залез? Аль в медведи поступаешь? ха-ха-ха!

«— Он душу спасать взялся, чего гогочешь-то?

«— Душу? Ну это хорошо. За нас грешных похлопочи.. Какую выкопал себе ямищу. Ловко! Право, ловко. Довольно искусно ты, братец мой, закопался. Ну а жену-то возьмешь с собой али нет? ха-ха-ха!

«— Что орешь-то, — говорит первый мужик, — чего горланишь? Человек от всего отказался, до жены ль ему тут?

«— И то правда... Ничего! Зарывайся, Егорушка, зарывайся, ничего. Зачтется... А жену твою одобряют, хвалят. ха-ха-ха! Право! Ты вот спокою не нашел, а прочие ничего — «ладно», говорят...

«Тут Егор ровно бы очнулся.

«— Да верно ли?

«— Чего верней! — оба сказали.

«— А ты думал, она тебя ждать будет, покуда ты спасаешься? — говорит балагур-то: — Ну, брат, это повременить надобно... Да!..

«Стал было его первый-то мужик останавливать, что нехорошо, мол, об этом разговаривать, подвижника

огорчать, а балагур все свое; под конец того заспорили; балагур и говорит:

«— Как же ты свое добро позволяешь каждому обижать? Ну какой ты есть угодник? Какой ты есть человек? Разве ты хозяин своему добру? Ну, говори, хозяин ты или нет?

«— Хозяин, — говорит Егор.

«— Врешь! Ты вот в яме тут, а там твоим добром другой владеет... Ведь твое добро-то?

«— Мое!

«— Ну, так что ж ты за человек после этого? Твое или нет?

«— Мое!

«— И есть ты, стало быть, опосля этого дубина. Хоть ты спасаешься, хоть ты нет...

«Тут уж и сам Егор сказал:

«— Мое доброе!

«И встал с камня. А балагур ему:

«— Ты душу-то спасай, да и своего не забывай, дурак будешь... Кто свое доброе бросает, тот есть дурак, а не угодник. Я б на твоем месте не так распорядился. По мне как хошь. Сиди тут в яме, сделай милость, ей во сто раз приятнее... да!

«— С кем она? — спрашивает Егор.

«— А со вдовым, с мельником...

«— Со стариком-то? С пьяницей?

«— Да вот, со стариком. Старик, старик, а должно быть, что посерьезней тебя вышел... ха-ха-ха!.. А ты, брат, ничего — сиди тут в яме-то, сделай одолжение!

«Выболтал, наболтал и ушел.

«— А ведь мое доброе-то!.. — говорит Егор первому мужику.

«— Обыкновенно твое.

«И с этих пор засело у него в голове «мое». Оно ведь и в самом деле — так точно, — добавил Петр от себя, — только что это надо завсегда помнить, а не забывать...

«— Мое, мое, мое, — говорит... — И вылез из ямы-то; ну и с этого часу все его спасение так и пошло прахом... Потому в таком деле надо делать дело правильно. Добро мое, так и поступать надо. Тут уж делать нечего, тут одно — топор, либо себе петля. Ну, а Егор-то — нет,

не того ума человек. Все норовит «по совести»... Ну и вот что вышло!..

«— Я тебе муж! Я тебе глава! — говорит он Авдотье...

«— Это верно!

«— Как же ты смеешь против меня? Против закону?

«— А ты нешто соблюдаешь со мной закон-то? Ты вон душу спасаешь, нешто я тебе мешаю? А нешто имеешь обо мне попечение?

«Так-то вот скажет, и выходит по совести-то верно; Егор и замолчит, потому правильно. Придет мельник, станут они с Авдотьей угощаться. Опять Егор с разговором:

«— Что это за человек?

«— Мой друг приятный...

«— Как же ты смеешь?

«— Люблю его...

«— Да ведь я муж? Ты моя раба?

«— Я знаю, я твоя раба... а его люблю!

«И опять верно выходит, ежели, например, по совести... Или нападет на любовника.

«— Ты как смеешь у меня в доме путать?

«— Чем я путаю?

«— Ты мне препятствуешь! Она — жена, она должна с мужем завсегда.

«— И пущай; когда тебе угодно, тогда она и при тебе. (Хитрая шельма этот мельник!) А ежели тебя дома нету по целым неделям, почему ж так и с людьми не побыть бабе-то?

«И опять так!.. Хочет Егор по правилу поступить — нет, опускаются руки!

«И жена говорит:

«— Что по закону — я всегда, я закона не нарушаю.

«И точно. Стал Егор каждую ночь дома ночевать — и ничего. И Авдотья ночует... А между прочим и с мельником. «С тобой, говорит, по закону, а с ним — по сердцу». Вот это-то всего и обидней!.. Уж обидней этого ничего и нет!

«И все это мельник, хитрая шельма, орудовал! «Соблюдай, говорит, закон в точности; чорт с ним! не убудет!», потому что знает Егорову совесть — знает, что ему, богомольному человеку, невозможно руку поднять... Хитрая бестия!.. Запутался Егор, стал в кабак

заглядывать. Ну а как стал заглядывать в кабак, пошло еще хуже. Выпьет рюмку, охмелеет, тут его и начнут поддразнивать. Одни говорят: «Бей ее, подлую! Как она смеет? Твое доброе!» Егор прибежит домой и изобьет жену. Жена — в суд. А на суде, глядишь, сам Егор у нее прощенья просит, потому и Авдотья и любовник уж успели все наоборотку, то есть на совесть повернуть.

«— За что ж ты бьешь-то, — скажут: — какой ты есть человек? Какой ты угодник? Иди душу спасай, а сюда не мешайся: ведь ты знаешь, что она мне все одно что жена настоящая; как тебе не стыдно силком заставлять? — И все такое! И так доведут дело, что видит Егор, не добром он поступил, избил жену, и отстать не может, потому *мое!* Оно ведь и вправду ни за что не отстанешь...

«А то подбодрят его пьяного — бить любовника.

«И изобьет. Опять любовник жаловаться. На суде все дело выйдет, присудят с мужем жить. «Да я и так с мужем живу!» Авдотья-то... «Живет она с тобой?» — «Живет!» говорит Егор... и сам же в дураках остается. Любовник говорит: «Хотя он меня и обидел, но я его прощаю за его богоугождение».

«А не то так на обоих подаст жалобу: ну, тут еще хуже. Первое дело — свидетелей нет, второе — жена закон исполняет, третье — из дома не тащит, и все правильно. Да и суд видит, что дело тут любовное и ничего не возьмешь.

«Так Егор и завяз... И перед богом виноват, и перед женою, и перед любовником. Богу измену сделал, жену насильно жить заставлял, любовника обидел, бил... И стал он пьянствовать, а расцепиться не могут! Тут уж, как виноватым-то стал, тут с ним смело стали обращаться. Мельник уж прямо стал:

«— Я у тебя, Авдотья, ночевать буду.

«— А я? — говорит Егор.

«— Ну, и ты. Ты — хозяин, я тебя не гоню... Скучно мне что-то на мельнице-то... Давай-ка водочки, выпьем лучше.

«И пьют.

«Так и посейчас идет у них канитель. « — Иди в монастырь, говорит Авдотья: я с мельником буду жить как жена с мужем». А любовник говорит: «Ты глава, я тебе

не препятствую»... И Егор-то должон бы сказать: «И я вам, братцы, препятствовать не могу, потому вы по сердцу»... да в пьяном-то виде и говорит так. А всё расцепиться не могут, потому «мое», «мое доброе» — забыть этого невозможно. Ну, и путаются, свинушничают... Как только на водку деньги достает — уж и не знаю. Вот треснется где-нибудь в пьяном виде башкой об камень, вот и делу конец будет. А по мне, коли ежели делать дело правильно, взял бы топор, да и пошабашил — либо ее, либо себя, либо его — что-нибудь одно: по совести тут невозможно в таких делах...»

III

Пьяненький долго валялся в траве, не подавая никаких признаков жизни... Уж поздно, когда почти совсем стемнело, я увидал, что он приподнимается, что белеет его рубашка. Кое-как он поднялся и, кряхтя, пошел куда-то, на каждом шагу останавливаясь и держась за плетень. Он уж ничего не бормотал, а только кряхтел. Что бы понял я в этом пьяном мужике, подумал я, если бы его бормотанье, его пьянство не разъяснил мне Петр? И сколько не разъяснено, никем не понято этих пьяных бормотаний, и, стало быть, сколько не понято народных драм, хотя бы из-за одного этого «мое»! Не будь Петра, пьяный остался бы для меня просто пьяным, что-то бормочущим и потом валяющимся в крапиве. А ведь какая драма валялась в этой крапиве!

УМЕРЛА ЗА «НАПРАВЛЕНИЕ»

...На берегу Невы, далеко за городом, в небольшой беседке, довольно аляповато сколоченной из барочного леса, собралось посидеть и полюбоваться рекой, подышать чистым вечерним воздухом — человек пять-шесть добрых знакомых, дачников и их гостей... Минут двадцать разговор шел в такой степени благополучно, что никто ни разу не коснулся «текущих вопросов», не завел речи о газетных «слухах» и т. д. Действительно, и река, и погода, и небо были так удивительно хороши в этот вечер, что невольно овладевали вниманием собеседников. Берег, на котором помещались неказистые дачи и дачные беседки, был по случаю праздничного дня оживлен без стеснений веселившеюся дачною и местною молодежью, по всему берегу звенел смех и раздавалась торопливая беготня по мосткам, в погоню друг за другом; песни и звуки гармоний неслись с разных пунктов берега и со множества лодок, рассыпавшихся по широкой, в этот вечер необыкновенно гладкой поверхности быстрой реки. Было чем полюбоваться усталому человеку, — и собеседники наши, по положению своему принадлежавшие к так называемой «чистенькой», работящей столичной бедноте, точно некоторое время не нарушали своих почти безмолвных ощущений, возбуждаемых общею картиною вечера... Но увы! — продолжалось это недолго. Одно совершенно незначительное обстоятельство неожиданно изменило господствовавшее в беседке расположение духа; оно заставило собеседников заговорить, и притом заговорить о таких вещах, разговоры о которых и в начале

и в конце, кажется, уже ни в ком не возбуждают ничего, кроме ощущения оскомины...

Обстоятельство, бывшее причиною такой неожиданной неприятности, было очень незначительное. Какой-то небритый солдат, в распоясанной рубахе, в рваных ситцевых розового цвета штанишках, босиком, но в форменной, хотя и рваной, фуражке, какой-то мастеровой и человека четыре простых рабочих-мужиков пришли на берег и расположились на травке около беседки. Все они были рабочие, в будние дни работавшие тут же на берегу, вбивая сваи для строившейся набережной. По случаю праздника они гуляли с утра на свободе и вот теперь целой «канпанией» привалили на берег, быть может потому, что у компании уж больше не было денег, чтобы толкаться вокруг веселых мест, а быть может и просто для отдохновения и дружеской беседы. А беседа шла между ними оживленная. Все они были под хмельком, и разговор их хотя и был довольно не тверд относительно постройки фраз и порядка их появления в речи, но касался очень интересного предмета — именно, последней войны и других животрепещущих событий дня. Солдат, конечно, орудовал на первом плане; прочие только вставляли свои замечания... С первых же слов этого человека можно было догадаться, что он вовсе не походит на ту громадную массу русских воинов, которые, исходив тысячи верст, перемучившись всеми муками, совершив необычайные подвиги, возвращаются смиренно по домам и не находят иного разговора, как о харчах, об одеже, о том, где что дешево из продукта, и так далее. Нет, этот человек старался осмыслить великие подвиги воинства, старался придать им вес и значение и умел приурочить их к своей собственной личности...

— Мы, — говорил он громко и при этом, как настоящий оратор, размахивал рукою с окурком папиросы, свернутой из газетной бумаги: — Мы их, болгаров, праздникам господним научили, закон им показали христианский, они до нас и звону-то церковного от роду рождения не знали. Вот что! .. Со слезами они, братец ты мой, как дети, малые ребята, рады... Это должно понимать!

— Чья же она теперь, земля-то?

— Наша! Чья же еще? Нет, брат, теперь извини! Был у него хвост вон какой, пуще павлиньего, — ну будет!

довольно! Погуляй-ка и так; порядочно мы ему хвост-то отхватили.

— Чей хвост?

— Чей! всех вообще ихних народов... Иностранных подлецов. Теперича посиди-ка, друг любезный, смирненько, мутить нашу Россию перестань! Довольно ты мутил, притеснял, оставь! Наш царь-батюшка нечто даром посылал нас, детей своих, на гибель, на мучение? Нет, брат! Теперь хучь и много крови пролито, а золотые места взяли. Да-да! По газетам пишут, сказывают, уж ба-а-льшой раскоп идет в араратской горе... Первобытного быка отыскали. Самое то место нашли, куда он в допотопные времена воткнулся. У него, братцы мои, одна щиколка, вот это самое место (солдат поднял ногу и, широко расставив руки, кругообразно водил ими вокруг щиколки), шесть четвертей обхватом... Первобытных веков бык.. Вот что!.

— Это что же такое? — очевидно с явным замиранием сердца, почти шопотом, спросил один из слушателей.

— А то, что это самое и есть корень золотым местам во всем свете... А они (так и так) туда-то нас и не пущали... Ты теперича поди с нашей рублевкой в ихнюю землю, он тебе рубля не даст ни во веки веков...

— Не даст?

— Ни-ни! Бери полтину!.. А не то, так и сорок копеек.. Ведь вот какая сволочь!

— Полтину за рублевку?

— И той, говорю тебе, захочет — не даст! Такие дьяволы, на редкость! У них все, братец ты мой, золото да серебро, а бумажек и в заводе нет... потому завладели коренными местами: все золото себе забрали, а нас не допускают; ну только теперь — шалишь! Будет форсить-то, зарылись в золоте-то... Под-ди ты, погляди, как они живут-то!.. Нос задирает выше самого Балкану... Да-да! Ишь ты, скажи пожалуйста! А нашему брату все так и бедствовать? Как же, довольно с вас, господа!.. Тут крови человечей пролито — море!

— Окияны, братец мой!

— Дна не найдешь, вот сколько из-за него, мошенника, притеснений было... Сам в деньгах, в золоте да серебре зарылся, а у нас в России денег нехватает! Тут совести нисколько нет... Он нас в Севастопольскую кам-

панию из-за чего мучал? Все из-за этого из-за самого — не пускал к коренным местам. Наш царь объявил ему войну — небось он не пошел на Питер-то (солдат указал рукой на Неву). Ему бы тут как по маслу в Россию-то вломиться... Флот у него есть, матросов пятнадцать миллионов — отчего он, немецкая шельма, сюда не шел? Ты думаешь спроста? Не знал? Нет, он тонко это понимает! Он взял да и объявился — эво где, в Севастополе! Полез на Россию из-под кручи! из-под горы! Тут бы он одним духом на кораблях-то вкатил, а там в год на гору-то не влезешь — а полез! Почему? Боялся! Потому там самые и начинаются коренные места — вот он нас и припер снизу, чтоб к местам-то этим не подпустить! Во!.. Ох, брат, гляди ему в зубы-то... Он свое дело знает тонко. А теперича места-то наши! На-ко вот, съешь!.. ха-ха...

Всеобщая детская радость охватила собеседников. Солдат воодушевился, и обуял им мгновенно дух хвастовства. Он принялся рассказывать, что, «бывало, из штуцера как хватишь из-под кручи-то — пятерых насквозь; он тебя дует навесом, эва какие пускает закуски, пудов по пяти весу, а они все позади ложатся, а мы из-под кручи-то его из ружейцов — тук да тук... Два года после окончания войны плыли по морю мертвые тела... Легло их тридцать восемь миллионов...» Дух хвастовства разгорался в солдате все сильнее и сильнее каждую минуту... «Теперь, — размахивая руками, гремел он: — нам только одну Англию осталось перекувыркнуть.. Не перекувыркнем, что ли? Сделай милость!.. Поперек живота сцапал ее, да и вся!.. Л-любезная! Самая вредная нам шельма!.. Что ты на морях мастерица, так это, братец мой, для нас наплевать!.. Ты в воду, а мы под тебя карпеду!.. Она тебя, шельму, выплюнет оттудова, из-под воды-то, в небо в самое... во... ха-ха-ха!»

Необузданный детский смех и детское веселье обуяло слушателей. Молодой парень, из числа рабочих-мужиков, до того был восхищен нарисованной солдатом картиной, до того живо представил себе, как «карпеда» выплевывает под небо всю иностранную механику, ухитрявшуюся повредить нам откуда-то из-под воды, что опрокинулся на спину и закатился отчаянно веселым хохотом, даже брыкнул босыми ногами.

А солдат, не теряя, повидимому, последовательности в своих мыслях, вдруг перешел к самым последним событиям и объяснил их тоже с точки зрения того положения, которое он высказал раньше.

— Будет, будет баловаться-то!.. довольно вы людей-то, души христианские, на борзых собак меняли. Будет!.. Теперича Россия пошла на поправку, а вашего брата за это надо — вот как...

И он показал, как надо поступать с теми, кто, подобно иностранцам, отнимающим у нас деньги, хочет опять продавать людей и менять их на собак. По этому поводу солдатом было высказано полное сочувствие к одному недавнему событию.

— Пойдем, ребята, — угощу! Рано спать-то... — провозгласил кто-то в толпе собеседников, разговор которых мы слышали, и все скоро, весело и громко разговаривая и очевидно отлично чувствуя себя, ушли по направлению к слободе.

А в беседке начался разговор, и потом пошел спор: говорили, кричали, сердились, волновались... Две дамы, бывшие тут же в беседке, потихоньку поднялись с своих стульев и ушли; они сочувствовали и интересовались, но ушли потому, что уж очень часто слышали такие разговоры, и всегда они оставляли впечатление неопределенное, хотя несомненно тяжелое; без всяких перерывов спор продолжался часа два кряду: дело по обыкновению было обследовано со всех сторон, и по обыкновению же в результате получилось ощущение какой-то тупой безвыходности, горечи, тоски и непритворно болезненного стеснения в груди... Наконец настало молчание озабоченное, тяжелое, утомляющее...

— Нет, вот я знал одну старуху, кухарку, так она, вот она от всего от этого должна была без покаяния и причастия помереть!

Строго задумчивые лица собеседников, смотревшие в разные стороны, невольно обернулись по направлению к тому человеку, который произнес вышеприведенные слова. Человек этот, все время молчаливо куривший в углу беседки, был человек тихий, скромный и на первый взгляд недалекий: он служил большею частью в каких-то частных компаниях, из которых каждая непременно оставалась, после внезапного прекращения дел, должною

Максиму Иванычу (так его звали) по крайней мере за год. Бывали случаи также, что некоторые места он должен был оставить по «неблагонадежности», так как было доказано, что в числе его знакомых есть писатели и тому подобные подозрительные случаи. Но на денежные обиды Максим Иванович не сердился, а от обвинения в неблагонадежности не робел и не прерывал знакомств, которые сделал раньше. Все его считали очень добрым человеком, но совершенно необразованным. И то и другое было справедливо; но недалекий по виду Максим Иваныч внимательно слушал, что говорят, думал по-своему и по-своему делал разные соображения. Видел он на своем веку много, от бедной лачужки мещанина, в которой родился, до дворца какого-нибудь шарлатана-финансиста, который в конце концов надувал его. Однажды по делам службы Максиму Ивановичу пришлось даже быть за границей. К людям, из-за которых ему иной раз приходилось терять место «по неблагонадежности», его влекло не просто сознание невежества своего прошлого и неправды виденного шарлатанства и денежного блеска, — нет, он, как уж сказано, слушал и думал, хотя думал по-своему, а выражаться даже и совершенно не умел.

— Что такое? — как бы не очнувшись и еще в полусне от великих дум, возбужденных утомительным и важным спором, произнес один из собеседников, повернув к Максиму Ивановичу величественно осоловелое лицо с величественно осоловелыми глазами. — Что такое — без покаяния и причастия?

— Больше ничего, — продолжал Максим Иванович, видимо сконфузившись: — я говорю, что одна старуха от этого вот самого.. принуждена была скончаться без покаяния и без причастия.

— Какая старуха?

— Кухарка, Аксиньей Васильевной звали...

— Без покаяния и без причастия?

— Скончалась без покаяния и без причастия.

— От направления?

Максим Иваныч сильно затянулся папиросой и робко ответил:

— Да-с, от этого, от него...

— Чорт знает, что вы говорите. Я ничего не могу понять.

Кто-то из собеседников неожиданно звонко засмеялся, и олимпийское величие, царствовавшее в беседке, рассеялось в миг. Максим Иванович совершенно сконфузился и как-то пискливо бормотал:

— Чего же вы смеетесь? Я, ей-богу, совершенно по сущей правде говорю вам...

— Без покаяния и без причастия? — переспрашивали его среди смеха.

— Да! И без покаяния и без причастия, — с какой-то напускною твердостью проговорил Максим Иванович.

— От направления?

— И тут нет ничего смешного. Да-с, от направления... Вы же целый вечер изволили сами излагать, что открылось, например, направление для ближнего... То есть, чтобы пользу всячески... Так ведь вы утверждали?

— Так, так.

— Ну, а я больше ничего, привожу вам пример, что существовала некоторая старуха Аксинья Васильевна... Ну... Ну — и от этого самого действия в пользу ближнему скончалась бог знает как...

— Знаете, Максим Иваныч, вы расскажите всю эту историю подробно, а то решительно понять ничего невозможно. Вы не обижайтесь...

— Я не обижаюсь, я только...

— Рассказывайте, рассказывайте, а то это чорт знает, что такое: какая-то старуха скончалась на пользу ближнему без покаяния и без причастия — ведь тут ничего даже и сообразить невозможно. Рассказывайте!

Но Максим Иванович медлил.

— Я, видите, что хотел сказать, — всячески желая выяснить свою мысль, проговорил он: — вот вы говорите, на пользу. а что, если выйдет безобразие? И почему?

— Ну, ладно, рассказывайте. Там увидим. Кто такая старуха? Знали вы ее?

— Я ее двадцать лет знал... Старуха самая обыкновенная...

— Нос в табаке?

— Нюхала и табак... В прежние времена живала она все больше по постоялым дворам, в артелях, то судомойкой, то стряпухой, а я-то узнал ее, когда уж взяла ее к себе одна моя знакомая старуха, сжалилась над ее старостью. Ей в ту пору было уже шестьдесят лет, и ее

уж два раза переехали на масленице чухонцы. Ну, словом, старуха самая обыкновенная, в морщинах, в котах и шерстяных чулках, грязная и дураковатая, и стряпала скверно. Хлебнешь, бывало, ложкой — хвать, мочалка или щепка... Всего в течение жизни ее переехали лошадьми восемь раз, в последний раз так, что слегла и уж не встала... А то полежит за печкой недели две, ничем не лечится, только просит испить, думаешь — вот-вот скончается, а она и выползает... Обокрали ее в жизни четыре раза, обокрали начисто, дотла. В такие минуты она не плакала, как другие, но мрачно ожесточалась и худыми руками норовила затянуть платок вокруг шеи либо просила ножа... Увидишь ее в такие минуты, скажешь: «Будет тебе, Аксинья Васильевна! На, вот, на счастье двадцать копеек, у меня рука легкая, опять наживешь...» — «Ой ли? Легкая ли рука-то?» — «Легкая!» Возьмет деньги и начинает жить, ждать молодого месяца... И не понимаю, зачем ей деньги и откуда у ней к ним такая жадность необыкновенная... Так и трясется! Ни копейки ни на что не тратила, а все мечтала какой-то клад еще разрыть... Ну да все это вовсе не нужно вам знать, и незачем об этом распространяться, это я только так...

— Зачем же вы говорите, что не нужно? Вы к сути-то, к сути поскорей.

— Я так только... Разговор был, вот я и... Но не в том дело... В то самое время, как Аксинья Васильевна служила на постоялых дворах, стряпала щи с мочалками и пироги с мухами и прочее, — в течение того времени стало открываться это самое направление... Ну, разумеется, она от всего от этого за тридевять земель... Даже не знала, что было освобождение крестьян... Не поверите? Как угодно, а я не лгу. Да что Аксинья Васильевна! Со мной, я вам расскажу, какой был случай... Была — уж давно, впрочем, — в Петербурге одна личность, и притом личность такая, что положительно на всю Россию одна. на мое несчастие, мне именно случилось быть свидетелем, как эта личность вдруг стушевалась. Самый то есть момент этого события перечувствовать... Однажды, часов этак до трех ночи, засиделся у меня в гостях один молодой человек. Сидели мы, и почти только и разговору у нас с ним было, что об этой личности. Вдруг

звонок на всю квартиру, и впопыхах влетает молодой человек. Бледен как полотно, дрожит как осиновый лист и вообще видимо потрясен.

«— Где ты пропадаешь (это к моему гостю), я тебя ищу три часа. Нельзя, говорит, терять ни минуты... ни мгновенья...» Каким манером и я увязался с моим гостем — уж не помню хорошенько; только знаю, что мы оба принялись торопливо одеваться, оба — бегом с лестницы и на улицу, а улица эта, надобно вам сказать, в Седьмой роте Измайловского полка, и ехать надобно было в Фурштадтскую. Выскочили, ноги подкашиваются, бежим что есть духу, ни единого извозчика. Вот уж именно была минута, когда за извозчика — полцарства».

— За «коня», а не за извозчика!

— Ну, все равно... Н-нет ни единого! Наконец уж около Обуховской больницы видим, стоит наш спаситель — «подавай!» Растолкали, сели без торгу, «пошел!..» Не тут-то было: лошадь — кляча, и притом хромая. Еле взялась с места. «Бей, говорю, потому что я по опыту знаю, как на такие заезженные существа действует кнут; стоит только разжечь, ей удержу нет, — бей, говорю, ради самого бога, дело важное». — «Бей-бей! — повторил извозчик, — а как убьешь?» И завел он историю о скотинке, о хлебушке, о податях, а сам все кнутиком о крыло постукивает, не бьет лошадь-то, а только крыло постукивает. Можете представить, какое положение! Сидим на извозчике как в аду, как в огне. «Опоздаем!» — шепчет приятель. Четверть часа ехали до Пяти Углов. Хотя бы до Палкина, думаем, добраться — там бы взяли хорошего рысака. Стали с Загородного поворачивать на Владимирскую, и около гостиницы «Москвы» уж виден извозчик, глядь — наш старикашка (извозчик был древнейший старец) как-то тихонечко тпрукнул на лошадь и мгновенно с козел съерзанул и заковылял бегом прочь. Бежит и нагибается, поглядит-поглядит в землю и опять дальше. Кричит: «Кнут обронил!» А мы сидим: соскочить и бежать — закричит караул! Кнут обронил! Сказать ему, что, разыскивая свой кнут, он делает непоправимое зло — ничего не поймет, ни единого слова. Все-таки кнута бросить нельзя... он двадцать копеек стоит, а деньги трудовые. Сидим и ждем. Ждем бесконечно... века!.. Передумал я в эту минуту, прямо вам скажу,

очень много... даже до слез... Наконец шлепает сапожонками, запыхался, прибежал. «Господь, говорит, мне еще подкову послал... хорошая, говорит, попалась штука... На сорок на пять копеек... Н-но, голубь, трогай»... Добрались до Палкина, взяли рысака; но увы, было уж поздно! А уж как нас извозчик-то благодарил, ужас! Как же? Сколько счастья привалило: нашел кнут, нашел подкову, да мы ему у Палкина, когда пересаживались, сунули в руку без счету... Крестился даже на меня и все твердил: «Пошли вам царица небесная, Никола праведный, архангелы преподобные!»

— Ну будет, будет вам философствовать-то, Максим Иваныч, не отвлекайтесь от дела.

— Это я только так, к случаю... Здесь, как видите, невозможно было рта разинуть с мужиком, с крестьянином, ну, а что же могла бы тут понять какая-нибудь Аксинья Васильевна? Я тогда жил на хлебах у ее хозяйки и, разумеется, видел ее каждый день — совершенное дерево... То есть ни малейшего отношения... Бывало, наслушаешься за день-то — время было одушевленное — бог весть чего, придешь домой, взглянешь на Аксинью Васильевну, как это она, например, квашню месит голой рукой, и так какое-то неудовольствие почувствуешь. Ну да не в том дело. Где ей знать и понимать! А мысль, между прочим, в то же самое время не ослабевает. Аксинья Васильевна квашню месит да спрашивает: «будешь, что ль, хлебово-то есть?», а там своим чередом — период за периодом, теория за теорией. Прошел период, когда о мужике толковали с нежностью и сочувствием, и настал период, когда о мужике заговорили как о дураке; кончился этот период, начался новый. Пропасть деятелей сошло со сцены, еще больше появилось новых. Множество из деятелей сами отказались: «устал! утомился! поработал!» А иных гнала со сцены публика, и те упирались... Дело становилось серьезным, и вопрос не разъяснялся, а запутывался. Планов, путей стало являться множество... Словом, дела шли своим порядком, а Аксинья Васильевна продолжала месить тесто, вставать до петухов, вздыхать по ночам о том, подошло ли тесто. То есть ничего общего, и две вещи совершенно разные.

— А все-таки без покаяния?

— Без покаяния и без причастия.

— И от направления?

— От него-с, от направления.

— Удивительно!

— А вот извольте слушать далее, и все будет совершенно ясно, и ничего удивительного тут не будет.

— Продолжайте, продолжайте, мы слушаем.

— Планов и разных систем, как я уже вам докладывал, — продолжал Максим Иваныч, — развелось весьма значительное количество. Перечислять их было бы затруднительно, да, признаться сказать, и не сумел бы я этого сделать. Скажу кратко, пути обнаружились двух родов: законные и незаконные. О незаконных путях говорить мне незачем, так как они суть незаконные, и хотя мне и пришлось просидеть под арестом в Александро-Невской части более трех месяцев, по доносу одного закладчика, но впоследствии оказалось, что я совершенно ни к чему подозрительному не прикосновенен. Я говорю только о законных путях и о лицах, действующих только на них. С одним-то вот таким деятелем я познакомился за границей; теперь он очень известный человек, имеет и деньжонки. За границу я попал по конторским делам, то есть, если сказать правду, разыскивал там нашего директора компании. Поехал и провалился там... Кроме этого, было еще одно поручение от одного богатого барина — осмотреть больницы и привезти уставы, а если можно, так и на месте составить устав при помощи специалистов. Необходимо было, чтобы все новейшие усовершенствования по этой части были применены к делу, а больница предполагалась для крестьян. Ну конечно, не зная языка, долго я кое-как путался по Парижу без всякого толку, наконец — уж не помню, кто и когда познакомил меня с господином, о котором рассказываю, и с первого же раза он произвел на меня самое благоприятное впечатление. С первого взгляда видно было, что это человек недюжинный: настойчив, энергичен, основателен... Работу, которую я предложил ему, он исполнил так, что даже я, посторонний человек, получил от заказчика-барина сто рублей серебром награды. Словом, это был такой человек, который если уж взялся за дело, так сделает его в самом лучшем виде, раскопает вопрос до корня, да и из корня-то еще норовит что-нибудь извлечь. Ему мало

узнать, что́ вот на этом, например, столе, — он узнает еще, что̀ и под столом-то творится, и все запишет и разъяснит. Ничего общего ни с какою из легкомысленных партий он не имел, — напротив, много над ними смеялся, стоял от всех их представителей в стороне и никаких надежд на них не возлагал. В случае же каких-нибудь столкновений он всегда так озадачивал своею основательностью самых сильных из них, что приходилось только краснеть. Однажды при мне — я был сам свидетелем — он, что называется, влоск положил человек двадцать народу, целую компанию самых разнородных направлений и партий... И на чем срезал-то? То есть на сущих пустяках. И всегда он так, всегда разыщет какую-нибудь такую маленькую штучку, которую другой и не замечает среди своих громаднейших планов, а в штучке-то этой все и дело... Словом, уж верно вам говорю, человек вполне основательный... Так вот раз затеяли несколько человек русских устроить в Париже читальню, выписать газеты и проч. Назначены были место, день и час, где всем собраться и обсуждать. Ну и я тут, конечно... Пошли мы на это собрание с этим самым основательным человеком вместе. Помню, бе́жит мой барин да на часы поглядывает: «Опоздаем, говорит, ох, опоздаем». — «Что вы, говорю, беспокоитесь, еще только десять минут девятого, а собрание назначено в восемь. Там, поди, еще и ни единого человека нет!» — «Какое, говорит, нет — уж там наверно все решено. Вы думаете, говорит, у нас как дела делаются? У нас не то что такие дела, а и почище которые бывают, так и то нам ничего не стоит решить их в две минуты...» И дует вперед, еле я за ним поспеваю. И что же? Прибежали — полна комната народу, и точно, все уже решено. Основательный-то человек мой взглянул на меня — дескать, «что, не правду я говорил?» — и спрашивает компанию: «Решено уже все?» Отвечают: «Все!» — «Позвольте узнать подробности?» — «Извольте», говорят и объясняют дело таким образом: решено собрать со всех присутствующих на первое обзаведение по пяти франков; ежемесячный взнос — по два, а случайный посетитель платит два су. Мой — судит, внимательно рассчитывает и спрашивает: «Что же далее?» — «А далее, говорят, вот что: составили мы список всем, на кого можно рассчитывать, и насчитали таких

лиц сорок четыре человека; по пяти франков взносу — составит двести двадцать франков; на эти деньги нанимаем квартиру — комнату и кухню — шестьдесят франков за три месяца. На сто пятьдесят выписываем важнейшие русские газеты и журналы, а на остальные покупаем шесть стульев плетеных, стол и лампу. Егоров купит мебель, Семенов наймет квартиру, а Алексеев отправит деньги на почту. Кассиром выбрали Марью Васильевну; если угодно, вносите ваши пять франков, а о дне открытия, то есть о том дне, когда получатся журналы, — известим». — «Все?» спрашивает. «Все...» Признаюсь — и я было думал — «да чего же, мол, тебе, друг любезный?» Ну, сами вы посудите, чего еще тут надо? А он, вижу, только бороду подергивает и что-то соображает... «Отлично-с!» говорит. «Ну, думаю, друг милый, кажется, тебе тут не подо что подобраться».. Молчал, молчал, спрашивает:

«— Лампу, кажется, господин Егоров купит?» — «Егоров!» — «А керосин?» — «Керосин тоже Егоров». — «А зажигать кто будет?» — «Консьержка». — «А тушить-с?» Молчание... Зацепил-таки! Кто-то было сказал: «Тот, кто последний уйдет». — «А вам известно, кто именно будет уходить последним?» — «Ну, да тот, кто после девяти часов вечера...» — «Ну, а если забудет погасить-то, может это случиться? Ведь тут газеты, бумага-с...» Молчание... Тут уж он осмелел и стал говорить с большою кротостью: «У кого будет ключ? Или дверь так целый день и будет стоять открытой? А если кто возьмет журнал да унесет с собой!» Тут было зашумели, а он им: «А о посторонних посетителях...» И опять: «Почему же шесть стульев, а не семь и не восемь? Кто купит керосину, если он выйдет? А перья, бумага, чернила...» То есть в самое короткое время перевернул все вверх дном: в конце концов оказалось необходимым, чтоб в библиотеке кто-нибудь жил, так как консьержке со всем не управиться. Живущий не будет платить за квартиру и будет за это присматривать за порядком, запрет дверь, погасит лампу, сложит в кучу старые нумера газет и т. д. Квартира в двадцать франков оказалась неудобной, надо было нанимать в тридцать, расход, следовательно, увеличился на целую треть. Одну из газет похерили, а жить в квартире согласился один бедный русский студент. «С удовольствием, говорит,

буду. . .» Все кой-как уладилось, но мой не унялся. Помолчал, помолчал да опять: «Отлично-с! Вы будете жить?» — «Я!» — «А подушка у вас есть?» — «Чорт возьми, говорит, в самом деле у меня нет ни подушки, ни кровати». — «Да я думаю, вам надо бы и стул и стол?» — «Конечно, какого же чорта я буду в пустой комнате. . . Я хочу работать, мне надо заниматься. . . Что ж, я так и буду валяться на голом полу, как собака, да смотреть, чтобы кто не украл газет? Чорт возьми!» Не прошло, одним словом, и часу после того, как мы явились в собрание, как уже все было расстроено окончательно; оказывалось, что на одно только начало, то есть чтобы только, господи благослови, подумать начать, — и то надо тысячи четыре денег. А там пошли и графины для воды, и пепельница, и кровать, одеяло, проверка кассы, приходо-расходная книга, большая и малая, и чорт знает что. . . Поднялся шум, несогласие. . . Помню, один, кажется художник какой-то, вышел из всякого терпения. . . Долго он все думал, думал, наконец не выдержал, затрясся весь и возопил: «Я, я, я дам подушку, спички, лампу. Я. . . я. . . бумагу. . . одеяло, чорт бы его драл. . . возьму у жены, отыму все, все, все. . . но, ради бога, ради бога, оставьте, оставьте меня, оставьте меня в покое! . .» Весь план рухнул; все стали расходиться в полном неудовольствии. Впоследствии все дело, однако, устроилось, но мой приятель тут уж не участвовал; да и вообще, говорю вам, человек этот был «особ статья». Учености необыкновенной. . . У него, например, в комнате места нет от бумаг; по стенам — крюки, на столах — иглы, и на каждом крюке и каждой игле насажены бумаги. . . и всё по разным частям. . . То есть, например, какая-нибудь самая малость, а бумаг для нее на восьми крюках насажено. . . И, например, народы разные. . . То есть таких народов, кажется, отроду никто не слыхивал; в Африке, например, открылись народы ростом с кошку, а между тем уже вступили в драку. Какой-то, например, попался ему африканский народ, так ведь он его решительно, то есть, по всем суставам разобрал; и народ-то, шут его знает, какой-то удивительный, ростом не больше хорошей кошки, а также, каналья, лезет в драку и королем себе нанял одного французского цирюльника. . .»

— Нет! — с нетерпением в голосе воскликнул один из слушателей: — это невозможно, Максим Иваныч... Вы бог знает как рассказываете... Теперь о каких-то африканцах...

— И об этих-то тварях, — торопливо прервал Максим Иваныч протестующую речь, — и об этих-то, бог их знает, каких-то уродах у него целые вороха было надрано лоскутьев из разных газет, а уж на что, кажется, плевый народ, и никому до него нет дела. Коротко сказать, человек был основательнейший.

— Слышали, слышали.

— Отлично-с! Сочинение его, вероятно, и вам известно...

— Известно. Далее, далее.

— Сочинение это, как вам тоже, вероятно, известно, одобрено в первейших наших изданиях, и вообще ученый мир признал, что автор — самый основательный молодой ученый... Все это вам, да и всем известно...

— Но когда же выступит старуха?

— Позвольте-с! с течением времени появится и старуха... Все будет в свое время и в своем месте... Итак, человек был первейшего просвещения, но не крыса, например, архивная, не книгоед... хотя он и восставал против легкомыслия, как я уже вам объяснил, и хоть он ничего общего с «теми» лицами, о которых также было упомянуто, не имел, но он никоим образом не желал своей деятельности ограничивать изданием хотя бы и хороших сочинений, но пригодных только для избранной публики. Нет-с! Он хотел действовать так же, как и прочие, но план у него был особенный... свой! Само собой, весьма естественно, действовать он желал также на пользу ближнему, то есть, вообще говоря, на пользу народа... Только план у него был не тот. Раскритиковавши все планы, какие в то время ходили в публике, изобрел он такую, например, механику. Неоднократно представлял он мне ее в примерах. «Представьте вы, говорит, Максим Иваныч, что где-нибудь на острове необитаемом, но принадлежащем к нашему отечеству, или где-нибудь на Чукотском Носу скрывается какой-нибудь смоленский мужик, за которым числится три рубля серебром недоимки и который именно и уплел на Чукотский Нос с тем единственно намерением, чтобы упомянутые выше три рубля

скрыть. Как вы думаете: поймают ли его и извлекут ли из его кармана эти три рубля? Подумайте, говорит, хорошенько». Принимая во внимание многие обстоятельства, всякий невольно должен ответить на этот вопрос утвердительно, то есть хотя и не скоро дело сделается, хотя на переписку и прочие проволочки потребуется много времени, но в конце концов ежели упомянутому смоленскому мужику господь продлит веку, так или иначе, а три рубля из него извлечены будут. «Или представьте себе, говорит, что в Петербурге в каком-нибудь великолепном помещении пришла кому-нибудь мысль обложить полукопеечным, положим, сбором всякий горшок каши, продающийся, предположим, в обжорном ряду, где-нибудь, ну хоть в Шемахе, в Тифлисе или вообще где-нибудь у чорта на куличках, — то будет ли сия мысль приведена в исполнение?» — «Будет!» говорю, да и вы, господа, вероятно со мной согласитесь. Таких примеров обыкновенно я выслушивал от него множество по самым разнообразным предметам, и из всех их само собою вытекало то заключение, что если все сие можно совершить, то, следовательно, существует некоторый удивительно стройный механизм, позволяющий приводить в исполнение самые фантастические планы и притом во всех концах громаднейшего государства. А ежели такой механизм существует, ежели он стоит крепко, действует аккуратно, то само благоразумие заставляет воспользоваться им для целей высших... Если можно из Петербурга достать рукой до мужика на Чукотском Носу или до торговки в обжорном ряду города Шемахи, то почему, пользуясь тою же самою рукою, не распространять и на Чукотский Нос, и в Шемаху, и вообще куда только вам будет угодно новых, но, без сомнения, исключительно только здравых, основанных на строжайшей критике понятий и теорий? Во сколько раз этот способ лучше, практичнее и действительнее той борьбы с голыми кулаками, тех широких теорий, проповедываемых в тесных кружках, которые в ту пору до некоторой степени занимали общественное мнение? И такой образ действия называл он действием «сверху»! Долго я, признаться, по невежеству своему не мог разобрать, что такое это означает: то «сверху», то «снизу»... Думаю: откуда же это надо действовать, куда лезть? Но когда я уж довольно-таки понатерся, тогда

я понял. В самом деле, если механизм может исполнять все, что кому-нибудь придет в голову в Петербурге, и притом исполнять немедленно и повсюду, то почему же этот механизм не мог бы разнести по всем концам, ну, хоть приказ о том, чтобы люди вели себя немножечко по-аккуратней? Ну, вообще, картину этот господин разрисовал мне удивительную, ослепил меня направлением своей предстоящей деятельности. А между тем вот от этого-то направления Аксинья Васильевна и скончалась без покаяния.

— Наконец-то, слава богу, и старуха появилась на сцену... Ну что же она? Что с ней?

— Что? По обыкновению... Все там же, у хозяйки, и все так же ровно ничего не понимает, а стряпает хуже прежнего, в рот нельзя взять... Но все это потом. Не в старухе дело. Прежде, нежели ее постигло несчастие, необходимо рассказать, что претерпел мой герой и сколько вынес и каких невероятных усилий стоило ему добиться того, чтобы...

— Чтобы старуха померла без покаяния?

— Да-да-с! Смейтесь сколько угодно, а только дело это далеко не смешно. Если вас не затруднит выслушать меня до конца, то вы сами увидите, какая вышла из всего этого.. трагедия... Извольте вот послушать. Пришлось так, что я и он, этот самый человек, выехали мы из-за границы вместе. Вместе приехали и в Питер. На границе, признаюсь откровенно, оба мы струхнули порядочно-таки, особливо как вагоны заперли на замок и сабли по платформе зазвенели, но, благодарение богу, все обошлось благополучно. Только на меня один офицерик поглядел этак довольно пристально и этак кашлянул довольно серьезно, но ничего, не тронули, и до Петербурга мы доехали в самом великолепном расположении духа. По приезде в Петербург он отправился к своим родственникам, а я — к Аксинье Васильевне; но знакомство наше не перервалось: напротив, мы стали видеться очень часто. Меня ужасно интересовало, каким родом он примется? — «Тут, батюшка, нельзя с бацу, тут нужен лисий хвост!..» частенько говорил он мне, и точно, тонко повел дело, очень искусно. Первым долгом выпустил в свет книгу и тем самым произвел разговор по всем газетам... «Ученый» и притом «молодой»!.. Само собой, благосклон-

ность дам... Впечатление было приятное — не выскочка, не вертопрах, не семинарист какой-нибудь, а серьезный, образованный молодой человек, имеющий состоятельных родственников, и притом чрезвычайной учености... Заручившись таким манером солидною репутациею, знакомствами и влиятельными связями — «ну, говорит, Максим Иваныч, теперь будет баловаться!..» И вознамерился он проникнуть, конечно только на первый случай, в какую-то думскую комиссию, продекламировать там свое мнение и добиться официального содействия, «сначала хотя чуть-чуть». И не долго думая — человек был энергический,— приступил к осуществлению... Поверите ли? Два года, день в день, несмотря на всевозможные свои связи и репутацию благовоспитанного и ученого человека, два года кряду ни дня, ни ночи не было ему покоя, и жизнь его сделалась чистым мучением. Препятствия на каждом шагу. То придешь к нему, видишь, сияет, «ну, говорит, обещали!», то волосы на себе рвет — «препятствуют!» Интриги какие-то, сплетни, зависть, недоверие, оскорбительная подозрительность, апатия к «общему благу» — словом, тысяча затруднений и неожиданных неприятностей ежедневно!.. Похудел мой парень, даже облысел... Мыкался он по городу с утра до ночи. Там надо сделать визит, там надо на вечер ехать, чтобы познакомиться с Марьей Петровной, Анной Николаевной, которые имеют на того-то влияние, а тот на другого, а тот другой может дать по шапке тому, кто препятствует... Чего, чего только ни приходилось ему делать для осуществления своей цели! и с кокотками ужинал, и пьян напивался, и пикники на тройках, и даже принужден был вступить в любовную связь против собственного желания, принужден был трем девицам подать надежду на брак, подписал три сомнительных векселя, проиграл в карты тысячу рублей, и — не приведи царица небесная, что он только ни проделывал в это время. Наконец-то, наконец уж чрез два года помощью невероятных усилий удалось-таки добиться, чего хотелось. Назначен был уже день и час, в который мой герой должен был предстать с своей речью пред господами гласными... Но... тут явились новые затруднения.

«Опытные люди, ознакомившись с содержанием его речи (речь эта касалась гигиенических вопросов), посо-

ветовали ему «кое-что» уступить из своих требований. Уступки эти оказывались необходимыми по многим весьма существенным обстоятельствам, а главным образом требовались потому, что некоторые из влиятельнейших гласных, пред которыми должна была происходить декламация, могли выслушать ее с неудовольствием... В числе их были фабриканты, заводчики, имеющие по тысяче, по две рабочих, были крупные коммерсанты, поставляющие провизию на казенные заведения, наконец были такие люди, которые постоянно испытывали какое-то злобное раздражение, о чем бы ни шли прения, ибо привыкли к тому, что в конце концов всякие прения завершаются требованием авансов... Раздражать с первых слов всех этих людей, от которых вполне зависело все дальнейшее, было «неловко», бестактно, и, следовательно, волей-неволей, а приходилось послушаться советов добрых людей и уступить.

«И вот стал герой мой уступать.

«Первым долгом из уважения к фабрикантам уступил он пищу... То есть, понимаете ли, все эти тухлые селедки с выпученными глазами, на которые даже и смотреть страшно, всю эту рыбную ржавчину, солонину, которой дух слышен по Нарвскому и Шлиссельбургскому трактам, хлеб с тараканами, квас, словом — всю гниль и прель, весь «дух» и смрад — все это шло в уступку... Обо всем пришлось «упомянуть», вскользь... мимолетно... упомянуть так, чтобы оказался виновен мелочной лавочник, квасник какой-нибудь... Вообще, пришлось сказать об этом предмете «в общих чертах». «Нередко, мол, встречаешь в овощной лавке таких сельдей, которые напоминают не продукт, годный в пищу, а скорее нерадиво посоленный рыбий труп», и так далее в поверхностном этаком очертании... Затем пришлось уступить и по части воздуха тоже очень много пунктов: в заседании присутствовали домовладельцы, дома которых населены массами рабочего народа, обижать их тоже было нельзя. Пришлось тоже в общих чертах пройтись насчет кубической сажени воздуха на человека и насчет, например, вентиляции. Кабачники и трактирщики также, как известно, народ довольно самолюбивый, влиятельный и во всяком случае — большинство. Надо было и тут прошмыгнуть мимо дурмана, мимо подмесей в водку кислот

и кукельвана в пиво и пройтись что-то насчет песочку в мокрых местах. Затем и вообще в вопросах о чистоте также пришлось поубавить свои фантазии, так как вообще все домовладельцы относятся к навозу и т. д. довольно раздражительно. Вам известно, что несколько лет тому назад один купец в Москве, известнейший капиталист, даже умер от удара, когда полиция очистила его от навоза и на свой счет вывезла этого продукта со двора капиталиста четыреста возов. Старец, очевидно, остался в пустыне и холоде и не вынес — так он привык к окружавшему его теплу и так присиделся в нем. С крайнею поэтому осторожностью надобно было покориться обстоятельствам и уступать. Уступал он, уступал, с болью конечно, с искреннею болью... и из всех его планов осталось одно «чуть-чуть», так, хвостик. Скрепя сердце, надо было, однако, и за него ухватиться, благо был хороший случай. Я и забыл сказать самое-то главное — комиссия решилась выслушать моего приятеля, единственно только благодаря тому счастливому обстоятельству, что в Петербурге, в рабочих кварталах, и по Шлиссельбургскому и Нарвскому трактам, как известно населенных исключительно почти рабочим народом, в сильнейших размерах распространился тиф. Не будь этого предлога для научной беседы, я не знаю, когда бы мой приятель добился своего. Терять такого благоприятного случая не приходилось. Пользуясь им, можно было во всяком случае хотя проникнуть к кормилу, а уж потом можно было подумать и о большем. Итак, пришлось уступать и уступать. Помню я этот памятный вечер в думе! Гляжу я на моего ратоборца, слушаю, с какою изысканною любезностью перед слушателями излагает он причины тифозной эпидемии, с какой осторожностью касается селедки, напоминающей труп, «упоминает» о воздухе. вентиляторы... посыпать песком. не худо бы навоз.. также и мусор... Слушаю все это и думаю: «Боже милосердый! Что сталось с твоими планами? И где твоя бойкость, та бойкость, с которой ты сокрушал соотечественников своих, хотя бы в деле о библиотеке?» Жалко мне было его, жалко ужасно. Да и сам он точно на экзамене, и точно ему стыдно... Жиденько, очень было жиденько, и, однако, кто бы мог подумать? Моего приятеля неожиданно поддержали два влиятельнейших слушателя, именно: фабрикант иностра-

нец, громадный капиталист, джентльмен с ног до головы, сильно поддержал его в вопросе о кубической сажени воздуха на человека; и еще тоже капиталист, но по виду простой русский седенький человечек с седенькой бородкой и малиновым носом, не только энергично, а даже как-то ожесточенно возопил о своем согласии с мнением моего приятеля по вопросу о навозе и о прочем подобном... Эти два лица, в то время, когда по окончании реферата начались рассуждения о мерах, крепко стояли за моего приятеля. Мужичок просто вопил против нечистоплотных хозяев и лавочников, указал множество мест, заваленных нечистотами, и требовал энергических мер. Иностранец-фабрикант изумил и меня и моего приятеля, нарисовав ужасную картину рабочих помещений, скученность которых доходит до поразительного безобразия. Оба говорили так смело, так бесцеремонно и так настаивали на крутых мерах, что мой приятель видимо ожил и, немного развязав язык, с своей стороны сообщил кое-что из своих богатых материалов по этим вопросам. Впоследствии по окончании вечера он ужасно восхищался тем, что за него встали: непосредственность — в лице мужичка, русская народная восприимчивость к доброму полезному делу, а с другой стороны — в лице иностранца, европейская порядочность, европейский, так сказать, усовещенный опытом ум. Он был в восторге, тем более что содействие мужичка и иностранца, привлекших, благодаря своему влиянию, еще по нескольку сочувственных голосов на сторону моего приятеля, дало делу ход в тот же вечер. Комиссия постановила: «войти с ходатайством о принятии мер» и назначила двум лицам из среды гласных по тысяче двести рублей на непредвиденные расходы по осуществлению. В этот вечер мы с приятелем прямо из думы — к Палкину! Заняли отдельный кабинет и строили великолепнейшие планы до бела света, конечно за бутылкой... Вот теперь дело дошло и до старухи».

— Боже мой! Наконец-то!

— Тем временем старуху, как я уже сказал вначале, переехали на масленице в последний раз уже серьезно. В обыкновенное время в подобных случаях она, бывало, покряхтит за печкой, попьет водицы и поправится; теперь же — увы, было не так. В этот раз она в такой степени неудачно попала под чухонца, что была при-

несена в квартиру на руках и слегла. Стоило было взглянуть на нее в это время, чтобы убедиться, что дело ее плевое: лицо, и глаза, и голос — все это говорило, что «приходит смерть». Немало дивился я последним минутам покойницы; необходимо сказать, что в то самое время, как Аксинья Васильевна слегла, старушка-барыня, у которой я жил на квартире, по рекомендации дворника взяла в услужение на время двенадцатилетнюю босоногую девчонку. Робко дрожа и замирая, вошла девчонка в квартиру старушки и от первого же вопроса барыни о чем-то залилась слезами. Впоследствии выяснилось, что плакала она оттого, что ничего не знает и не понимает. Старушка ободрила ее и стала относиться к ней внимательно, тем более что девчонка была со способностями и хотя шибко робела в первое время, но уже на второй день глазенки у нее прояснились и засверкали, и затем с каждым днем она становилась все понятливее и развязней. По мере того как она поняла круг своих занятий — ходить в лавочку, вымыть посуду и т. д., — как только она узнала лавочки, и лавочников, и весь дом, и всех дворников, застенчивость и некоторая неповоротливость постепенно заменялись развязностью, ловкостью и какою-то уверенностью в себе самой; она чувствовала, что барыня ею довольна и любуется на эту молодую жизнь. Но что сталось с Аксиньей Васильевной, как только в доме, а главное на ее глазах объявилась эта молодая жизнь! До появления девочки она только кряхтела, недвижимо лежа под какими-то тряпками в кухне на кровати, сколоченной кой-как из досок, поленьев и деревянных ящиков. Появление девчонки заставило Аксинью Васильевну приподнять из-под тряпок седую голову и вперить умиравшие глаза в этого юного пришельца. Тут только я стал понимать, что Аксинья Васильевна — не просто механизм для мешания теста или сажания пирогов. Какая-то необычайная зависть, доходившая до злости, пробудилась в ней к этой двенадцатилетней девчонке. Зависть и злость возрастали в Аксинье Васильевне по мере того, как девчонка от застенчивости и первых слез испуга переходила к развязности и понятливости. Должно быть, Аксинья Васильевна, при виде этой начинающей жить в людском обществе девчонки, вспомнила вдруг все свои восемьдесят лет, вспомнила

свое бесцветное, темное, чернорабочее существование; вспомнила всю эту грязь, и вонь, и обиду постоялых дворов, углов, наполненных нищетой, вспомнила жестокость людскую, которая давила ее лошадьми, похищала ее кровным трудом заработанные деньги, видела, что все это — восьмидесятилетние мучения, тьма и обида — оканчивается смертью в углу, и злоба неистовая поднялась в ней против проворной, ловкой, даже плутоватой девчонки, начинавшей жить смело и весело.

«Злость эта заставила Аксинью Васильевну не только поднять голову; но иногда возбуждала ее до такой степени, что она находила в себе силы подняться с кровати и почти ползком проползти в другую-третью комнату, чтобы уследить, подкараулить: не ворует ли девчонка сахар? Какими позорно-грязными эпитетами не награждала она девчонку, какой только несчастной и осрамленной будущности не сулила ей! С другой стороны, и девчонка, скоро понявшая, что столичная жизнь не бог весть какая мудрость, не оставляла старуху в покое. Ей, несомненно, было приятно сознавать свою удачу в виду этой явной неудачи жизни, олицетворявшейся в беспомощной старухе. Иной раз она принималась дразнить несчастную старуху: «утри нос-то! .. — пищала маленькая каналья. — Ишь у тебя он какой розан!» А то возьмет нарочно на ее глазах за щеку куска три сахару и стоит, улыбаясь до ушей: «На, мол, тебе!» Девчонке было приятно чувствовать бессилье старухи, которая ничего сделать не может ей, а старухе сознание бессилия причиняло великую скорбь, переходившую в неистовую злость. Однажды ночью, когда я уж давно спал мертвым сном, прикосновение чьих-то холодных рук заставило меня открыть глаза, — смотрю: с ночником в дрожащей руке, почти в одной грязной рубахе, стоит передо мной худая, как щепка, и страшная, как сама смерть, Аксинья Васильевна. «Что такое?» возопил я в испуге... И она тоже в испуге, но в испуге злости и гнева шепчет что-то... «У Варьки... нашла... под тюфяком...» И показала мне гривенник и стала тоже шопотом ругать Варьку. Бедная старуха! Впоследствии оказалось, что она по ночам не только занималась обысками постели и платья Варьки, а и сама, несчастная, не желая отстать от этой девчонки в смелости, воровала и сахар, и сухари, и лимон. После

смерти ее под тюфяком найдено было пропасть всякого добра в этом роде. Нельзя сказать, чтобы было особенно приятно смотреть на старого и малого, на начинавшего жить и умиравшего. Что особенно было непостижимо, так это то, что старуха не ограничивалась в зависти своей к вероятному в будущем успеху девчонки одними только уличениями, жалобами хозяйке, мне и ругательствами самой девчонке, но не желала, как кажется, также и отстать от нее на деле. Вместе с злостью в ней развилась и жадность. Я уж сказал, что она таскала и сахар и все, что попадется под руку, — но все это ничто в сравнении с той фантазией о богатстве, которая в это время возникла в ее воображении и почти мгновенно овладела им безраздельно... Приснилось ли ей, но только с некоторого времени она что-то стала шептать о кладе... Пять бочонков с серебром... зарыты под алтарем в деревне, в той деревне, где Аксинья Васильевна родилась... И зачем ей такая куча денег, не раз подумывал я, ведь умрет не сегодня-завтра, ведь знает это? Но старуха, должно быть, думала не так, наверное ей что-нибудь рисовалось за этими деньгами, что-нибудь кроме денег, потому что сон о кладе скоро перешел в полнейшую уверенность. К ней, по ее словам, стал являться сам Николай чудотворец, сидел на ее постели, стоял у изголовья и подробно объяснял и место и время, когда можно «взять», и указывал даже мужика, который все это обделает, называл по имени, говорил, что дом его стоит, пройдя кабак, налево и крыльцо с колонками. Поминутно приставала она ко мне с просьбою написать в деревню, к этому самому мужику, поминутно допрашивала: пришел ли ответ? Я, конечно, говорил, что писал, что ответ будет на днях. Признаюсь, никогда мне не приходилось еще на своем веку видеть такой необыкновенной жажды жизни, такой ненасытной зависти к ней, какую Варюшка возбудила в умиравшей Аксинье Васильевне. Давно ли эта старуха, принесенная с переломленной ключицей дворниками, шептала только: «смерть моя пришла! пошлите за попом!», шептала о душе, а теперь она ни о чем другом не думает, как о кладе, о пяти бочонках с серебром и т. д. Возбуждена была она до крайности, возбуждение это держалось в ней подряд семь недель великого поста. Но на страстной, при первых теплых

весенних днях (святая была поздняя), она вдруг свалилась. Она притихла, тяжело дышала, не в силах была говорить, даже шептала редко. Девчонка попробовала было над ней подшутить, по обыкновению подсмеявшись над ее носом, но Аксинья Васильевна даже не ответила ей, а только посмотрела широкими неподвижными и стеклянными глазами. Еще день, два — и мы, особоровав, причастив Аксинью Васильевну, отправили бы ее честь-честью по железной дороге на Преображенское кладбище. Все бы было честно и благородно, и кончина старухи была бы самая приличная кончина, кончина праведная. Но — увы! вышло совсем напротив, да и не только напротив, а просто случилось бог знает что...

«В одно утро в дворницкую того дома, где лежала умирающая Аксинья Васильевна, раздался резкий, оглушительный звонок, который заставил дворника тотчас же впопыхах выскочить на улицу. Здесь не то городовой, не то околодочный второпях и на ходу резким голосом сказал ему несколько слов, вследствие которых дворник тоже опрометью бросился в квартиру старухи, у которой я жил, и, подойдя к старухе, без дальних разговоров возопил: «В часть требуют! Собирайся!» Случилось же это следующим образом и по следующим причинам. Вам уж известно, что, благодаря просвещенному содействию капиталиста иностранца и непосредственной восприимчивости седенькой бородки, постановлено было ходатайствовать о том, чтобы ввиду распространения тифа были приняты меры, указанные моим приятелем в реферате, и к осуществлению их на практике оказано законное и возможное содействие. Бумага об этом, отправленная комиссиею, как всякий из вас понимает, именно ввиду того, чтобы достигнуть какого-нибудь результата, то есть добиться какого-нибудь содействия, не могла входить в общие рассуждения, а непременно должна была с точностью указать на существенную причину, объясняющую просимое содействие. Поэтому на первом плане явился тиф, а потом уже две или три «меры», также самых существенных и по возможности осуществимых. Бумага была принята благосклонно. Но вы поймете, что ведомство, предписывающее мероприятия, имея дело с людьми, которых главная обязанность исполнять то-то и то-то, почему

они и называются подчиненными, должно было совершенно выкинуть все самые слабые остатки общих взглядов на сущность просимых мероприятий, а прямо предписать эти мероприятия по пунктам. «Предписывается вам первое, второе, третье. . .» Те лица, которые получили эти предписания, обязаны были при исполнении этих пунктов иметь дело с людьми, которым уже в обязанность ставилось «не рассуждать», да кроме того люди эти за множеством подлежавших исполнению их собственными руками дел не могли и подумать о том, чтобы уделить время на какие-то еще рассуждения. Мероприятия поэтому излагались для них еще в более сжатой форме в двух словах. Таким образом дело, начатое в самых широких размерах, потребовавшее многолетних трудов, усилий, жертв, тысячи существеннейших обязательств, постепенно суживаясь по мере того как оно с вершин спускалось к народной массе, превратилось пред Аксиньей Васильевной в дворника, который стоял над ее смертным одром и требовал ее в часть, так как держать «таких» «не велено». Нет никакого сомнения, что в изустно передаваемых мероприятиях, от околодочных к городовым, от городовых к подчаскам, а от сих последних к дворникам, было немало всевозможных ошибок, путаницы и всякого вранья. Впоследствии я положительно узнал, что на Загородном проспекте близ Технологического института городовой самым энергическим образом приставал к шедшим на лекции студентам, прося их «честью» разойтись, так как сейчас должен проехать новый генерал из немцев, по фамилии «Гигиен», — но спрашивается, как иначе и могло быть? Разве все это они понимают? И разве у них, то есть у этого механизма, на руках не масса дела? И разве вся эта масса дел не обязывает их к тому, чтобы не рассуждать о ней? Ничего нет поэтому странного, что самое благое намерение, самая прекрасная цель, одушевлявшая моего приятеля во имя народного блага, достигнув до этого самого народа, превратилась в «божеское наказание». Подумал ли мой приятель, работавший над своим сочинением, добивавшийся реферата в думе и т. д., что из всего этого в конце концов не выйдет ничего другого кроме дворника, которому ничего не будет известно ни об этих трудах, ни об реферате, кроме того что за это «ответит» он, дворник,

которому уже надоело, до смерти надоело «отвечать»? — «Вставай! Собирайся! — вопиял он над старухой: — небось я отвечать-то буду за тебя...»

«Вот от этого-то от самого Аксинья Васильевна и умерла без покаяния и причастия... Дело было так: старуху-барыню вызвала какая-то приятельница в Гатчину на какие-то похороны, и ее дома поэтому не было; как на грех и мне в этот несчастный день надобно было уйти из дому рано. Оставалась дома старуха и Варюшка. В это-то время и раздался вышеупомянутый звонок. «Направление» добиралось до старухи. «Не держать больных, которые опасны... сейчас вон!» — второпях объявила составная частица великого механизма и побежала далее, предупредив о том, что дворник «ответит» штрафом. Так как дворник и без того насчитывал очень много таких случаев в ряду своих обязанностей, по которым ему приходится «отвечать» — паспорта, несколотый снег и т. д., — то, разумеется, он немедленно же приступил к выполнению новой гигиенической обязанности и потребовал старуху в часть, в полицейскую больницу... Но беспомощный вид старухи тронул его: «что тут делать?» думал он, стоя над ее смертным одром, и наконец, вспомнив, что у старухи есть племянник в фруктовом магазине на Невском, решил немедленно пригласить последнего к участию в этом деле.

«Он тотчас же побежал в магазин, объявил племяннику, что старуха помирает, что «не велено», что «штраф», и говорил, чтобы он сейчас брал свою тетку с рук на руки. Была страстная суббота, и помимо хлопот, суетни, наполнявшей фруктовый магазин, у племянника как на беду в этот день предстояло важное дело: в семь часов вечера он получал от хозяина расчет и переходил в трактир «Золотой лев» буфетчиком. В восемь часов вечера ему необходимо было принимать в «Золотом льве» буфет и посуду... Не было никакой возможности манкировать этим местом, так как место хорошее, жалованье достаточное, и, стало быть, надо дорожить им. Что же скажет хозяин, когда на первых же порах придется оказать себя неаккуратным? Дворник, как человек, «знавший нужду», конечно понимал все это очень хорошо, но именно поэтому-то не мог принять на себя материального ущерба, которым угрожала смерть старухи, и волей-неволей

потащил племянника к тетке, и здесь у ее смертного одра произошла такая сцена:

«— Бери, — говорит дворник: — нам не велено держать! Как помрет, так кто отвечать будет?

«— Освободи ты меня до завтрашнего числа! Дай буфет принять — сделай милость! Ведь, братец ты мой, из деревни пишут... а ведь это место, скоро ли его найдешь?

«— Где ей до завтрева прожить? Эва, она уж икает!

«— Ей-богу, проживет — она живуща! Это ты не гляди, что икает... Ей-ей, проживет!

«Оба они, без всякого сомнения, были люди, а не звери; но что же делать, если разные «меры», дойдя до народа, резюмируются только выражением: «ответишь!» Все это я узнал от Варюшки, возвратившись домой часу в седьмом вечера. Она объявила мне, что сейчас только увезли в часть Аксинью Васильевну. Пришли племянник с дворником, долго разговаривали около нее и увезли в часть. Что такое, думаю? Немедленно же я отправился в часть — и застал там такую сцену. Дворник и племянник держали почти бездыханную Аксинью Васильевну под руки и — ни много, ни мало — слезно упрашивали полицейского врача выдать теперь же, то есть когда она еще была жива, свидетельство на ее погребение. Дворник говорил, что раз это свидетельство будет у него в кармане, он не только не побеспокоит Аксинью Васильевну, но и похлопочет, чтобы она померла честь-честью, то есть причастит и исповедует. Буфетчик слезно молил оказать ему эту услугу, так как от этого зависит все его будущее, что он и его родители люди бедные, и неужели ж он захочет его разорить? Что, ежели новый хозяин откажет, а старый не примет?

«— Да ведь она жива еще! — с изумлением слушая эти мольбы, возразил было врач.

«— Умрет-с! — в один голос произнесли и дворник и буфетчик.

«— Она до утра не доживет-с, извольте поглядеть... нос... Она уж утре икала! — прибавил дворник...

«А когда старуха, все время безжизненно висевшая на дюжих локтях своих спутников, приподняла голову и каким-то басистым шопотом произнесла: «Жжи-в-ва!»,

то буфетчик прижал ее руку локтем и нетерпеливо шепнул:

«— Да будет вам, — кажется, можно и помолчать покуда...

«Сцена была достойная внимания! Я прервал ее и взял старуху на свою ответственность. Впрочем, по дороге из части домой она отдала богу душу...

«В тот же вечер заглянул я и к моему приятелю. Застал его; сидит, пишет письмо.

«— Вот, — говорит, — извещаю одного моего заграничного друга о моем успехе.

«— О каком это? — спрашиваю.

«— А приказ-то о мерах? все-таки начало!

«— Ну, — говорю, — не знаю, точно ли это успех, — и рассказал ему про Аксинью Васильевну.

«Задумался мой парень, крепко задумался. А успех точно от всего этого был, только совсем не там, где бы следовало. А именно: изволите вы помнить этих двух лиц — просвещенного иностранца и непосредственного человека, — которые поддержали в думе пользу мер? Помните? Ну, так вот они и получили! Иностранец фабрикант, изволите видеть, выстроил при фабрике помещение для рабочих и назначил за комнату два рубля в месяц. Рабочие не шли, потому что привыкли жить артелями, человек по двенадцати, и платить за квартиру так рублей шесть, всего, стало быть, по полтиннику, и притом со стиркой. При заработке рублей в пятнадцать это большой расчет! Вот иностранец-то и поналег на кубическую сажень воздуха... Что же касается непосредственного человека, то он выкинул другой фортель. По Шлиссельбургскому тракту у него было пустопорожнее место, не приносившее ему никакого дохода. Услыхав в реферате про «навоз» и про «вред», он энергически настаивал на штрафах, говорил, что без этого ничего не поделаешь, и в особенности напирал на то, что хорошо бы штрафовать содержателей хлебных амбаров за нечистоту, делаемую голубями и прочей птицей: птичные дворы также предполагал он обложить штрафами за несвоз нечистот. И всех этих мер он добился. Теперь на Шлиссельбургской дороге вы можете встретить такую вывеску: «Оптовая продажа удобрений, а также голубиных и птичьих пометов». Пуд стоит иногда до двадцати пяти копеек.

Кроме того, эта седая бородка целое лето торгует льдом, который, как известно, долго не тает под мусором и навозом...

«Так вот, изволите видеть, какой оборот-то вышел? То есть дело выгорело совершенно в другую сторону, вовсе не туда, куда хороший человек метил».

Максим Иваныч замолк.

— Все? — спросили его.

— Все, больше ничего нет.

— Но к чему же вы все это говорили?

— Как к чему? Да просто так сказал... Потому сказал, что поглядишь, поглядишь и не знаешь — что такое творится на белом свете. Вот почему. — Тоска!

ПРИМЕЧАНИЯ

РАЗОРЕНЬЕ

(Очерки провинциальной жизни)

Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том первый. Третье издание Ф. Павленкова, СПБ., 1889.

Повести, составляющие цикл «Разоренье», были написаны в 1868—1871 годы как самостоятельные произведения и опубликованы впервые независимо друг от друга в журнале «Отечественные записки»: «Разоренье. Наблюдения Михаила Ивановича. Повесть первая» — 1869, №№ 2, 3; «Тише воды, ниже травы» — 1870, №№ 1, 3; «Наблюдения провинциального лентяя» — 1871, №№ 8, 10, 12.

В 1871—1873 годы Успенский после большой стилистической правки перепечатал эти повести с некоторыми купюрами в серии «Библиотека современных писателей», издававшейся А. Ф. Базуновым: «Разоренье» — в одноименном сборнике (1871), «Тише воды, ниже травы (Провинциальные заметки)» — в сборнике «Очерки и рассказы» (1871), «Лентяй, его воспоминания, наблюдения и заметки» — в одноименном сборнике (1873).

Судя по сохранившимся письмам Успенского, а также по ранним редакциям, повесть «Разоренье» представляла собой первую часть задуманного писателем большого произведения, «романа», как он его называл, о новой, пореформенной эпохе. Главным героем этого романа должен был быть протестующий рабочий. Однако трудности создания большого эпического произведения о современной действительности в переломный исторический период, цензурные препятствия и, наконец, материальная нужда, не дававшая писателю возможности длительно работать над своими произведениями, помешали осуществлению этого широкого замысла. Задуманный Успенским роман не был создан, а на материале, собранном для него, были написаны повести «Тише воды, ниже травы», «Наблюдения одного лентяя», лишь отчасти связанные с первоначальным замыслом.

В 1883 году при подготовке к изданию первого собрания сочинений Успенский объединил все три повести в один цикл, тем самым как бы частично осуществив свое намерение — создать широкую картину эпохи «„разоренья" старых порядков».

Первая повесть вошла в цикл под названием «Наблюдения Михаила Ивановича», а ее прежнее название «Разоренье» перешло ко всему циклу с подзаголовком «Очерки провинциальной жизни». Причем, стремясь связать повесть сюжетно, Успенский отождествил героев первой повести — Василия Андреевича и Наденьку — с героями второй — автором дневника и его сестрой, которых он переименовал (первоначально — Василий Петрович и Мария Петровна). К третьей повести было дано подстрочное примечание, указывавшее на ее тематическую общность с предыдущими. Заглавие «Наблюдения провинциального лентяя» было переделано в «Наблюдения одного лентяя». Всему циклу Успенский предпослал специальное предисловие, в котором подчеркивал единство замысла всех трех произведений (см. стр. 7, 8. В последнем прижизненном собрании сочинений предисловие печаталось как подстрочное примечание).

Объединенные в цикл повести подверглись стилистической доработке, одновременно некоторые детали и эпизоды по цензурным условиям были изменены либо устранены. Успенский продолжал стилистически править повести и при включении их во второе и третье собрание сочинений.

Повести цикла создавались в период, когда начали сказываться последствия пресловутой «великой реформы» 1861 года — страшное обнищание и обезземеление основной массы крестьянства: в 1867 — 1868 годах голод поразил свыше шести губерний, в том числе и Тульскую. Усилилась эксплуатация, обострились нужда и бедствия городского трудящегося населения. Все это послужило толчком к оживлению демократического движения среди интеллигенции.

В конце 60 — начале 70-х годов был опубликован ряд публицистических и художественных произведений, а также социально-экономических трудов, анализировавших и оценивавших результаты реформы. В «Отечественных записках» в 1868—1870 годах были помещены «Письма о провинции» Салтыкова-Щедрина. Его же очерки из цикла «Признаки времени» печатались в 1866—1871 годах в «Современнике» и «Отечественных записках», а в 1869 году оба цикла вышли отдельным изданием. В 1867—1869 годах в «Отечественных записках» печатались очерки Скалдина «В захолустье и столице» (в 1870 году изданы отдельной книгой), основанные, как писал В. И. Ленин, «на непосредственном наблюдении и тогдашней «столицы», и тогдашней «деревни»...» (В. И. Ленин. Сочинения,

т. 2, стр. 463). В 1869 году была напечатана книга Флеровского (Берви) «Положение рабочего класса в России», по словам Маркса— «первое произведение, в котором сообщается правда об экономическом положении России» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIV, стр. 286). К этим произведениям в известной мере примыкали и повести Успенского.

Цикл «Разоренье» подводил итоги наблюдениям и раздумьям Успенского над пореформенной Россией. Многозначительный смысл имело само заглавие, под которым подразумевалось не только материальное и духовное «разоренье» старого, крепостнического уклада, но также и невиданное разоренье, которое нес народным массам слагающийся «новый порядок». Через все повести проходят объединяющие их темы: разоблачение «нового порядка», восхваляемого либералами, и тема растущего стихийного протеста народа против эксплуатации и угнетения. Показывая нарастание протеста в широких народных массах, Успенский одновременно подчеркивал и незрелость, ограниченность этого протеста, острую потребность народа в руководителях, которые помогли бы ему правильно разобраться в настоящем и указали пути борьбы за общественное переустройство. Так появляется в повестях тема интеллигенции, призванной руководить народом.

В основу повестей положен большой фактический материал, почерпнутый писателем непосредственно из своих воспоминаний и наблюдений. Современники свидетельствуют, что сюжетные ситуации, особенно первых двух повестей, восходят к подлинным фактам, образы их — к реальным людям.

В первой повести Успенский широко использовал свое знание быта и нравов Тулы — в то время крупного промышленного центра, где он жил в детстве, а затем неоднократно бывал с 1865 по 1869 год. В частности, в повести отразились наблюдения над рабочими-оружейниками Тульского казенного завода, недовольство которых невыносимыми условиями существования вылилось в 1863 году в продолжительные волнения. В своих неизданных записках брат писателя И. И. Успенский сообщает, что «прототипом» Михаила Ивановича был тульский рабочий, воспитывавшийся в доме И. Я. Успенского. В повести использована также история жизни семей матери и отца писателя. В образе Нади воплощены, по свидетельству писательницы В. В. Тимофеевой-Починковской, некоторые черты облика жены писателя А. В. Успенской.

Материалом для повести «Тише воды, ниже травы» послужили факты из земских и судебных дел, собранные Успенским в 1867 году в Крапивне и Липецке, а также почерпнутые из опыта учительской

работы самого писателя (в г. Епифани Тульской губернии в 1867 году), его жены А. В. Успенской и его сестры Е. И. Успенской. Не случайно повесть вызвала возмущение местных обывателей, узнавших себя в ее персонажах. Успенский писал об этом жене 20 июня 1870 года из г. Крапивны: «Моя повесть «Тише воды» наделала здесь дел, — все перессорились и переругались, и я боюсь, как бы в самом деле не сорвали зла на сестре и матушке».

В повести «Наблюдения одного лентяя», очевидно, отразились впечатления, вынесенные Успенским из поездки в Тульскую губернию летом 1870 года и из трехмесячного пребывания в том же году в Саратовском крае у народника П. В. Григорьева, с которым он вместе разъезжал по деревням и беседовал с крестьянами.

В цикле ярко проявилось глубокое внутреннее родство Успенского и революционных демократов 60-х годов, с их «горячей враждой к крепостному праву и *всем его* порождениям в экономической, социальной и юридической области» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 2, стр. 472). Однако, не ограничиваясь борьбой против остатков крепостнического строя, Успенский в этих повестях поставил вопрос о характере пореформенной эволюции России, то есть о развитии капитализма. Смену России крепостнической Россией капиталистической символизирует «облаживание и открытие чугунки» — строительство и открытие железной дороги в небольшом провинциальном городе («Наблюдения Михаила Ивановича»; см. также и другие произведения 70-х годов: «Книжка чеков», «Злые новости» и др.). Громадный подъем железнодорожного строительства был одной из характерных черт развития капитализма в России в конце 60 — начале 70-х годов.

Показывая в повестях влияние происшедших перемен на духовный мир людей из народа, Успенский подчеркивал «подъем чувства личности, чувства собственного достоинства», характерный для пореформенной России (см. В. И. Ленин. Сочинения, т. 1, стр. 394). При этом писатель разоблачал иллюзорность надежд угнетенного и замученного народа на «новые времена». Для народа в сущности все осталось по-старому. Это особенно наглядно показывает изображенная в первой повести рабочая слобода Яндовище, где господствуют нищета и безудержная эксплуатация («прижимка цветет и не увядает»), правда, последняя иногда принимает либеральный вид и форму (эпизод с новым «молодым хозяином»); в этой же повести Успенский выводит и носителей новой «прижимки»—нарождающуюся буржуазию, выходцев из крестьян (процентщица Арина, кулак Евсей).

Во второй повести, «Тише воды, ниже травы», Успенский сосредоточил свое внимание на пореформенной деревне. Он показал, что

в действительности представляют собою возвещенные царскими манифестами «народное благоденствие», «народная школа», «новый суд, скорый, правый, милостивый», «земские учреждения, предоставляющие освобожденному крестьянину право голоса за свои нужды». Результаты реформ 60-х годов Успенский оценивал так же критически, как и авторы публицистических статей и обзоров, опубликованных в «Отечественных записках» тех лет.

Широкие хронологические границы третьей повести (от 30—40-х годов до 60 — начала 70-х годов) позволили писателю наглядно показать тщетность всех упований, возлагаемых на «новый порядок»: «новый порядок», так же как и старый, «крепостной порядок жизни», враждебен народу, гнетет и уродует человеческую личность.

Острота разоблачения сущности пореформенных порядков вызвала в 1903 году запрещение отдельных изданий повестей цикла. В своем докладе по поводу повести «Наблюдения одного лентяя» цензор писал: «Типичное для Гл. Успенского отрицательное отношение к деятельности правительства в устроении народной жизни в рассматриваемом сочинении выступает особенно резко».

В центре внимания Успенского, как и революционеров-демократов 60-х годов, были народные массы, интересы которых он непреклонно отстаивал. Отсюда его стремление познакомить читателя со всеми слоями народа, выяснить его положение, взгляды и настроение.

В первой повести цикла Успенский с большой социальной проницательностью создал, впервые в русской литературе, образ рабочего протестанта-бунтаря, характерный для эпохи зарождения рабочего движения в России. В отличие от героев Ф. М. Решетникова — рядовых представителей рабочей массы, которые в поисках лучшей жизни приходят к стихийному протесту против эксплуататоров (см. романы Ф. Решетникова из жизни рабочих: «Глумовы» (1866—1867), «Где лучше?» (1868), Михаил Иванович понимает, что причиной страшной жизни рабочего человека является классовое угнетение — «прижимка». Успенский изобразил не только пробуждение классового сознания, «просияние ума», у представителя рабочей бедноты, но и свойственные ему в ту эпоху иллюзии, незнание путей борьбы.

Историческую правдивость созданного Успенским образа подтверждают дошедшие до нас отрывки предназначавшейся для герценовского «Колокола» статьи «Голос тульских оружейников», которая отражала взгляды тульской рабочей бедноты. В статье смело разоблачаются заводские порядки, она проникнута глубокой ненавистью к «ватаге деспотов», командирам и полковникам —

управителям завода, и к богатым оружейникам, действующим «в ущерб горькой бедности» (см. ст. В. Н. Ашурков. Голос тульских оружейников — «Каторга и ссылка», 1933, № 2).

Цензура сразу почувствовала политическую остроту повести. Когда в 1871 году был представлен в цензуру сборник произведений разных авторов, в который был включен отрывок из «Разоренья», цензор Н. Лебедев потребовал запрещения сборника; об Успенском он писал следующее: «Судебному преследованию, на основании ст. 1036 Ул. о нак., подлежит и автор отрывка «Михаил Иванович» — Г. Успенский, так как в уста этого лица он старался вложить протест против неудовлетворительности современного общественного строя... Необузданностью своей речи он клеймит разными наименованиями достаточное сословие, ставя в параллель с ним бедствующий класс, безжалостно эксплуатируемый классом обеспеченным. Без сомнения, такой монолог может возбудить страсти одной части населения против другой, будучи написан пером очень талантливым».

По выходе в свет повести отдельным изданием в 1871 году цензура возбудила против автора преследование, «ввиду нарушения им законов о печати». Главный герой повести — рабочий-протестант — был совершенно неприемлем для царской цензуры.

В двух других повестях цикла Успенский воссоздает духовный облик современного ему крестьянина, прослеживает «работу темной мысли над своим положением», «нарождение новых, неясных стремлений в толпе, то есть в неразвитой, забитой и необразованной среде». Его пристальное внимание привлекают недовольство крестьян «новым порядком», поиски ими социальной справедливости, которые во второй половине 60-х годов выразились как в отдельных случаях открытого возмущения, так и в образовании религиозных сект рационалистического характера. Сектанты, используя религиозные идеи, отрицали современное общественное устройство и путем создания религиозных общин пытались построить свою жизнь на новых экономических и нравственных началах. Скрывающийся под религиозной оболочкой крестьянский протест нашел свое отражение в повестях цикла (история Мироновской общины — стр. 207—212, отстаивание жителями села Покровского своих прав на землю и человеческое достоинство, рассуждения ходока «от всего мира» Демьяна — стр. 257—261, 305—311).

В то же время в повести «Наблюдения одного лентяя» отразились свежие воспоминания о кровавых расправах с крестьянами, обманутыми царским манифестом 1861 года (усмирение крестьянских волнений в Поволжье в 1861 году — рассказ солдата).

В повести «Наблюдения одного лентяя» помимо крестьян писатель показывает также ряд выходцев из мещан, протестующих против подавления личности гнетом господствующего порядка. Подчеркивая индивидуалистический пассивно-анархический характер этого протеста, Успенский называет его «протест помощью лени». Индивидуалистическому протесту мещан во имя «спокойного существования с крошечными и пустяшными привязанностями» писатель противопоставил социальный протест крестьянских масс: «люди хотят чего-то большего», — заявляет он.

Но народ, считал Успенский, бессилен самостоятельно «завоевать вещи, которых, за долгим отсутствием досуга, он не может даже и выразить настоящим образом» («Наблюдения провинциального лентяя» — «Отечественные записки», 1871, № 12).

С горечью и грустью констатируя ограниченность и пассивность крестьянского протеста, Успенский показывает их источник—страшную темноту задавленных нуждою, непомерно угнетенных крестьян. Следствием «безграничной темноты, обуревающей темного человека», является, по мнению Успенского, и гнет традиционного религиозного мировоззрения.

Писатель считал несознательность народных масс главным препятствием для вступления их на путь активной борьбы за подлинно человеческую жизнь. Эта мысль красной нитью проходит через весь цикл и особенно подчеркнута в повести «Тише воды, ниже травы». В первой редакции («Отечественные записки», 1870, № 3) повесть кончалась следующими словами: «Все бежит, все шевелится, все тревожится в своем положении, — и все может быть вдруг проглочено либо собственной темнотой, либо посторонним вмешательством, задача которого доводить людей до состояния — «Тише воды...». Идеи Успенского были близки взглядам Салтыкова-Щедрина, высказанным им в «Письмах из провинции» — письмо шестое, посвященное народу (1868).

Однако Успенский видит в крестьянстве и скрытые незаурядные силы и возможности: они проявляются и в стремлении к справедливости, которой проникнуто решение крестьян-присяжных («Тише воды, ниже травы»), и в необычайной душевной стойкости крестьян, их готовности идти на смерть за то, что они считают истиной («Наблюдения одного лентяя»). Осознание возможностей, таящихся в народе, должно побудить демократическую интеллигенцию встать на путь борьбы, утверждал писатель.

Вслед за Чернышевским и Добролюбовым Успенский своими повестями ставит вопрос о потребности народа в руководителях. Многозначительный смысл приобретают поиски Михаилом Ивановичем

бывшего семинариста Максима Петровича, которому он обязан «просиянием ума».

В цикле Успенский создает галерею типов интеллигенции пореформенных лет. В повести «Наблюдения Михаила Ивановича» перед нами преемники героев дворянской литературы «лишних людей» — питомец «лихоимного гнезда» Василий Черемухин и разорившийся барчук Уткин. В исповеди Василия Черемухина Успенский разоблачал «причины существования и свойства одного из многочисленнейших типов русского благородства, — бесплодно живущего и бесплодно погибающего человека. В прежнее время воспевание бесплодных шатаний человека этой породы составляло единственный подвиг литературы, которая таким образом сделала его почти образцом истинного героя, никогда не упоминая о влиянии оброков, взяток, откупных доходов и других вариантов чужого труда на развитие нравственного капитала человека, выросшего среди их и на них. И благодаря сокрытию вышеупомянутых, весьма некрасивых вещей, тип этот был весьма пленителен — и разнообразие его оттенков было бесконечно, хотя сущность оставалась одна и та же — недостаток нравственных сил, вследствие обезличивающего влияния семьи. В настоящее время привлекательная сторона этого типа утратилась безвозвратно, но существование его и до сих пор не подлежит никакому сомнению и обнаруживается поминутно, только в иной форме» (первая редакция повести).

Создавая эти художественные образы, Успенский продолжил добролюбовскую традицию обличения «лишних людей», которыми «не может удовлетворяться свежее чувство человека, жаждущего деятельного добра и ищущего себе руководителя» (Добролюбов).

Текст ранней редакции, изъятый при переработке 1883 года, позволяет уточнить облик героя повести «Тише воды, ниже травы». Это участник освободительного движения 60-х годов, морально сломленный разгромом революционного движения и правительственным террором, пришедший к признанию бесполезности борьбы, «результат которой заключается лишь в ясном понимании повести о плети и обухе». В изъятом тексте он так писал о своей эволюции: «Я теперь думаю: горе человеку, воспитанному иллюзиями пятидесятых годов! В то время въявь совершались такие дела, от которых голова кружилась, которые вызывали наружу все живые силы, заставляя соваться во множество маленьких дел и мечтать о больших.

Может быть, и окажутся со временем какие-нибудь результаты этих сований — не знаю; но покуда... Недели четыре или пять тому назад, помню, шел я в Петербурге по какому-то очень серьезному

делу; до места оставалось несколько шагов, вдруг говорят: «проезда нет!» — Да мне очень нужно. — «Пожалуйте в обход». Повернул. Шел-шел, — думаю: «недалеко» — глядь опять — стоит городовой и, как капельмейстер, посредством махания руки дирижирует публикой. «Нет проезду! Баба — куд-ды!.. Эй, вороти назад». Поворотил опять... Иду и думаю: «если я не послушаюсь и пойду, — меня воротят насильно; если же послушаюсь, то не исполню крайне нужного для меня дела... Как тут быть? Но так как за первое наказывают сибиркой, а за второе — ничего, снисходят, то не есть ли это знак, что лучше своротить?»

И я все сворачивал, все сворачивал и уж не помню, куда пришел...» («Проезда нет» — намек на покушение Каракозова 4 апреля 1866 года, когда петербургские улицы были оцеплены полицией, и на последовавший за покушением террор).

В несокрушимости «порядка» убежден и герой повести «Наблюдения одного лентяя», который противопоставляет этому «порядку» только пассивное сопротивление, «лень», «ничегонеделанье», то есть в сущности мещанский пассивно-анархический протест.

Бессилие интеллигенции тех лет перед большими и насущными вопросами, которые волновали народ, незнание и непонимание ею народа особенно подчеркнуто в главе этой повести, получившей в 1883 году ироническое название «Я и Павлуша „ходим в народе“» (ранее «Два непродолжительные путешествия»).

Интеллигенция в цикле «Разоренье» классово дифференцирована. Наряду с демократической интеллигенцией, ненавидящей господствующий порядок и его носителей, Успенский показывает новую, либерально-буржуазную интеллигенцию, о которой Ленин писал, что это «„интеллигенция“ довольная и спокойная, чуждая каких бы то ни было бредней и хорошо знающая, чего она хочет» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 1, стр. 276). За ее «образованностью», деловитостью и громкими «гуманными фразами» скрываются грубый эгоизм, беспринципность и приспособленчество (юрист-либерал Шапкин). Особо Успенский останавливается на судьбе интеллигента-разночинца, выходца из «низов», который становится «участником в поддержании благообразия настоящего времени»: Иван Куприянов бесстрастно «делает свое дело и прокармливает семью», в сущности же предает народные интересы. Поставленная Успенским тема впоследствии получила широкое развитие в творчестве Горького («Дачники», «Варвары» и др.).

Повести цикла «Разоренье» являлись новым этапом не только в идейной эволюции Успенского, но и в становлении его художественного метода.

Характер новых тем, поставленных в цикле, и самого материала требовал иных, по сравнению с «Нравами Растеряевой улицы», художественных средств и в первую очередь новой большой повествовательной формы. О трудностях работы над такой формой Успенский писал Некрасову 19 октября 1868 года: «Необходимость написать именно повесть, а не ряд рассказов и очерков, путала меня в течение целого года, и я по крайней мере шесть раз написал эту вещь».

Уже в первой повести, наряду с авторским повествованием, большое место занимают самые «наблюдения» Михаила Ивановича, которые он излагает в монологах, а также в беседах с окружающими. Две другие повести цикла написаны в форме дневника и воспоминаний, причем Успенский в заглавиях подчеркивал дневниковый характер своих произведений («Тише воды, ниже травы» — подзаголовок «Дневник», в ранних редакциях подзаголовок «Провинциальные заметки»; «Наблюдения одного лентяя» — в ранней редакции «Лентяй, его воспоминания, наблюдения и заметки»). Повествование в этих произведениях ведется от имени интеллигента-разночинца, одного из «героев своего времени», то есть с точки зрения участника событий, анализирующего и пытающегося разобраться в окружающем. Идейная эволюция героя становится основой построения сюжета повестей или, как называл их Успенский, «ряда очерков».

Успенский показывает, как непосредственное познание действительности разрушает ошибочные взгляды героя. Так, герой повести «Тише воды, ниже травы», увидев настоящую жизнь деревни, убеждается в невозможности отхода от общественной деятельности и пытается вступить в борьбу за осуществление «простым и прямым путем» идеи о «законности желания крестьянином сытости и тепла». Столкновение с представителями народа обнаруживает несостоятельность жизненной позиции и взглядов «лентяя» — героя третьей повести.

Искания героев приводят их вплотную к сознанию необходимости «дела», какой-то активной деятельности, борьбы с «порядком», но пути этой борьбы им неясны. Вопросом «Что мне делать?» оканчивается повесть «Тише воды, ниже травы», вопросом же заключает Успенский третью повесть. Такое построение повестей усиливало их воздействие на читателя, который делался как бы соучастником исканий писателя и его героев.

Большое место в цикле занимают монологи и диалоги — прямая речь представителей народа, которая непосредственно раскры-

вает их духовный облик, а также отношение к окружающей действительности.

Повести цикла «Разоренье», как одно из наиболее значительных явлений демократической литературы конца 60 — начала 70-х годов, привлекли к себе внимание критики всех направлений и вызвали ожесточенные литературные и политические споры. Основным объектом полемики явилась первая повесть. «О моем «Разорении» пошли толки по Петербургу самые оживленные», — писал Успенский А. В. Бараевой 18 марта 1869 года.

Салтыков-Щедрин в статье «Уличная философия» («Отечественные записки», 1869, № 6) отметил «широкие мотивы» — значительное общественное содержание повести. На страницах «Отечественных записок» выступил также критик-народник А. М. Скабичевский. В статье «Герои вечных ожиданий» (1871, № 11), посвященной «Разоренью», он первый указал на выдающийся и оригинальный художественный талант Успенского, а «Разоренье» поставил «в число замечательнейших произведений последнего времени». «Гл. Успенский составляет уже шаг вперед после Решетникова, — писал Скабичевский, — он не ограничивается уже изучением быта одного какого-либо слоя или среды общества, а изучает быт общества в его совокупности — в разных его слоях и в столкновении этих слоев между собою»; в произведениях Успенского, замечает критик, содержатся «обобщения, касающиеся уже всей русской жизни». Но, раскрывая идейный смысл этих обобщений, Скабичевский свел все содержание повести к показу несостоятельности и пассивности интеллигенции, разоблачению иллюзорности надежд, возлагаемых на решающую роль этой интеллигенции в общественном переустройстве, причем к «общему типу российского прогрессиста» критик причислил и Михаила Ивановича.

Резко отрицательно отнеслись к повестям Успенского реакционная критика и журналистика (журналы «Заря», «Русский вестник» и др.). Чувствуя таящуюся в этих повестях опасность, критика реакционного лагеря обвиняла Успенского в искажении действительности, стремилась доказать надуманность созданных им «озлобленных, недовольных, протестующих» типов из народной среды, одним из которых являлся, по их утверждению, «бесцельно-озлобленный ругатель» Михаил Иванович.

В цикле «Разоренье» Успенский одним из первых показал те исторические сдвиги в жизни народа, о которых писал Ленин: «...падение крепостного права встряхнуло весь народ, разбудило его от векового сна, научило его самого искать выхода...

(В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 65). Это определило большое познавательное значение цикла для широких демократических кругов. Вместе с тем повести настоятельно ставили перед интеллигенцией вопрос о поисках путей борьбы с гнетущим народ «порядком», о необходимости прийти на помощь протестующему против эксплуатации и угнетения народу. Не случайно выдающийся деятель освободительного движения Н. П. Огарев, напряженно следивший издалека за всем происходящим в России, с особым вниманием отнесся к этому произведению. В письме Герцену от 6 марта 1869 года Огарев писал: «Любопытно мне знать твое мнение о рассказе Успенского (Разоренье). Тут есть промахи, но чрезвычайно оригинально, хотя и аляповато: а притом оно полезно. Начало хуже, но потом живее и резче. Очень желаю, чтоб ты прочел это, и пришлю «Отеч. зап.» как можно скорее». И ему же 9 марта 1869 года: «Прочти Успенского «Разоренье»... сильно меня волнует» («Литературное наследство», № 39—40, стр. 532—533).

Отдельное издание «Разоренья» (СПБ., 1871) находилось в числе книг, присланных Чернышевскому в 1872 году в Вилюйскую ссылку.

Несомненна высокая познавательная ценность цикла и в наше время.

Стр. 7 *...недостроенной железной дорогой...* — строительство Московско-Курской железной дороги. 15 августа 1868 года было открыто движение по участку Орел — Москва.

Стр. 19. *Кутейники* — шуточное прозвище церковников, здесь — семинаристы.

Стр. 20. *С войны это расстройство пошло...* — Имеется в виду Восточная война (1853—1856). Неудачи в Восточной войне содействовали развитию освободительного движения в стране.

— *Казенный завод.* — Имеется в виду Тульский казенный оружейный завод. До 1864 года завод обслуживался *казенными людьми* — прикрепленными к нему государственными крепостными. В 1864 году тульские оружейники были освобождены от крепостной зависимости и перечислены в мещане, а завод стал обслуживаться вольнонаемными рабочими.

— *...махнул в арендателя камнем...* — С 1864 года Тульский оружейный завод был передан в аренду генерал-майору Х. К. Стандершельду.

Стр. 75. *Присяжные заседатели* — выборные лица, введенные судебной реформой 1864 года, привлекавшиеся для участия в заседаниях окружного суда.

Стр. 78. *Мировой съезд* — съезд мировых судей уезда.

Стр. 136. *«Таинственные монахи», «Кузьмы Рощины».* — «Таинственный монах или некоторые черты из жизни Петра I» — исторический роман реакционного романиста Р. В. Зотова (1834); «Кузьма Рощин. Истинное происшествие» — исторический роман М. Н. Загоскина (1836).

Стр. 137. ...*очутился «на руках»...* — Одной из мер репрессии, применявшейся царским правительством по отношению к лицам, участвовавшим в освободительном движении, была высылка на родину под надзор (на поруки) родителей.

Стр. 141. *«Сын отечества»* — исторический, политический и литературный журнал консервативного направления, издавался в Петербурге с 1812 по 1852 год.

Стр. 160. *И добился под красную шапку...* — т. е. был сдан в солдаты.

Стр. 171. *Гласный* — член земского собрания.

Стр. 174. *Мужику есть нечего. Посейчас он уж лебедку жует...* — намек на голод 1867 года.

Стр. 183. *Синоп* — турецкая крепость на южном берегу Черного моря. Во время Восточной войны 18 ноября 1853 года русская черноморская эскадра под командованием вице-адмирала П. С. Нахимова разгромила турецкий флот под стенами Синопа и овладела крепостью.

Стр. 218. ...*школ, которые дрожали на гроше...* — Имеются в виду земские школы — школы для деревенских детей, созданные по «Положению о начальных народных училищах» от 14 июля 1864 года. Программа школы сводилась к обучению элементарной грамоте и «утверждению в народе религиозных и нравственных понятий».

Стр. 229. *Лестовка* — особые четки староверов.

Стр. 230. *«Обучение амбушуру»* (амбушюру) — способу сложения губ при игре на духовых инструментах.

Стр. 250. *Шатриан* — Шатриан Луи-Шарль-Александр (1826—1890), французский писатель, писал в сотрудничестве с Эмилем Эркманом под общим псевдонимом «Эркман-Шатриан» романы из крестьянской жизни и исторические романы. Имеется в виду роман Эркмана-Шатриана «История одного крестьянина» (1865, русский перевод 1868—1870).

Стр. 252—253. ...*в это время была война, и поэтому некоторое время шел довольно оживленный разговор о коммуне.* — Имеется в виду франко-прусская война 1870 года и Парижская Коммуна 1871 года.

Стр. 292. *Тропарь* — стих церковного пения.

Стр. 303. *Польская кампания.* — Имеется в виду подавление

царскими войсками восстания за независимость в Польше в 1863 году.

Стр. 303. *Во время крестьянства...* — Имеется в виду период после объявления манифеста 1861 года. Объявление манифеста сопровождалось многочисленными крестьянскими волнениями, беспощадно подавляемыми царским правительством. Особую известность получило волнение в с. Бездна *(Поволжье)*, закончившееся расстрелом безоружных крестьян.

Стр. 309. *...есть такие раскольники, называемые бегуны.* — Бегунство, или странничество, — секта, отразившая пассивное сопротивление крестьянства и мещанства дворянско-буржуазному строю. Сопротивление выливалось в форму бегства от тягот крепостного состояния, а после объявления реформы — в отказ от принятия сокращенных наделов, платежа выкупа, подушной подати и т. п. Не признавая размежевания земель, бегуны призывали «бегати и таитися», не подчиняться законам и властям.

Стр. 317. *«Делибаш»* — стихотворение А. С. Пушкина.

ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ

Все очерки и рассказы печатаются по изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том первый. Третье издание Ф. Павленкова. СПБ., 1889. Раздел IV. «Очерки и рассказы». Повесть «Очень маленький человек» печатается по первой публикации — «Отечественные записки», 1874, №№ 2, 5.

В разделе «Очерки и рассказы» Успенский поместил произведения, по материалу и тематике примыкающие к циклу «Разоренье». Писатель включал эти произведения во все прижизненные собрания сочинений.

БУДКА

(Очерк)

Очерк впервые опубликован в журнале «Отечественные записки», 1868, № 4. Он явился первым произведением Успенского, напечатанным в передовом органе революционной демократии. Начиная с этого времени, писатель сотрудничал в журнале вплоть до его закрытия.

При перепечатке очерка в сборнике «Очерки и рассказы» (1871) в нем были произведены незначительные изъятия по цензурным со-

ображениям. Большой стилистической правке очерк подвергся при включении в первое собрание сочинений. К работе над текстом очерка Успенский вернулся и при подготовке третьего издания собрания сочинений.

Очерк первоначально входил в задуманное Успенским большое произведение, над которым он работал в бытность свою учителем в Епифани Тульской губернии (сентябрь 1867— январь 1868). 22 сентября 1867 года он писал матери: «...должен известить вас, что в свободное время я пишу большую историю». Епифанская «большая история» не была полностью написана, а ее материалы использовались автором для цикла «Разоренье» и ряда очерков.

Образ будочника эпизодически появляется в других связанных с «большой историей» очерках «Спустя-рукава» (1868) и «Прокофий Петров» (1869).

В дореволюционную публицистику образ Мымрецова с его практикой «хватания за шиворот» и девизом «тащить и не пущать» вошел как воплощение характерных черт российского самодержавно-полицейского режима. Неоднократно обращался к нему в своих работах В. И. Ленин (см. «Манифест либеральной рабочей партии» — 1911, Сочинения, т. 17, стр. 288, «О праве наций на самоопределение» — 1914, Сочинения, т. 20, стр. 392).

Стр. 330. *Илоты* — один из низших классов в древней Спарте (Греция), представители которого находились почти на положении рабов; здесь: бесправные люди.

Стр. 335. *Кизиль-баши*—наименование употреблялось в старину для обозначения чуждых народностей.

СПУСТЯ-РУКАВА

(Из провинциальных заметок)

Впервые опубликовано в журнале «Дело», 1868, № 5, подпись: Гл. Ус-кий. При включении в собрание сочинений очерк подвергся стилистической правке.

В очерке отразились личные наблюдения Успенского в период его учительства в Епифани (см. примеч. к очерку «Будка»).

Очерк является одним из вариантов темы омещанивания разночиной интеллигенции, впервые поставленной Помяловским в его романе «Молотов» (1861). Та же тема затронута Успенским в «Разоренье».

ИЗ БИОГРАФИИ ИСКАТЕЛЯ ТЕПЛЫХ МЕСТ

(Карикатурные наброски)

Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки», 1870, № 5. В дальнейшем очерк перепечатывался без изменений.

Очерк рисует пореформенные изменения в помещичьем укладе и новые капиталистические способы хищничества и ограбления народа. Тематика очерка связывает его с циклом «Разоренье» и очерками цикла «Новые времена, новые заботы».

ПРОГУЛКА

Впервые опубликовано в журнале «Библиотека дешевая — общедоступная», 1871, № 6. В дальнейшем очерк перепечатывался без изменений.

В очерке Успенский беспощадно вскрывает антинародную сущность либерально-буржуазной интеллигенции, порожденной новым, капиталистическим «порядком». Разоблачение этой интеллигенции занимает большое место в творчестве Успенского 70-х годов. Впервые ее представители были выведены писателем в цикле «Разоренье». В образах героя очерка и его жены получают дальнейшее художественное развитие образы четы Шапкиных («Наблюдения Михаила Ивановича»).

Стр. 413. *«Песня о рубашке»* — популярное в демократических кругах стихотворение английского поэта Т. Гуда, неоднократно переводившееся на русский язык в 60-е годы, в частности поэтом-революционером М. И. Михайловым — «Современник», 1860, IX.

ТЯЖКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Впервые опубликовано в «Неделе», 1868, № 30. Рассказ подвергся стилистической правке при включении в собрание сочинений.

НА ПОСТОЯЛОМ ДВОРЕ

(Летние сцены)

Впервые опубликовано в учено-литературном сборнике «Луч», том первый, СПБ., 1866, под названием «Перепутье (Летние сцены)». Рассказ перепечатан без изменений в сборнике «Очерки и рассказы», 1871. В 1883 году, при включении в собрание сочинений, он подвергся стилистической правке и значительному сокращению за счет текста, относящегося к хозяину постоялого двора и его арендатору.

Провинциальное захолустное духовенство привлекало внимание Успенского в 60 — начале 70-х годов, представители этого духовенства выведены в повестях и очерках тех лет: «Деревенские встречи», «Разоренье» («Тише воды, ниже травы», «Наблюдения одного лентяя»), «Новые времена, новые заботы» («Неизлечимый»).

Рассказ «На постоялом дворе» связан с близкими по времени написания очерками «Деревенские встречи» («Современник», 1865, № 10). Некоторые эпизоды из жизни героя очерков, спившегося дьякона Медникова, в развернутом виде даны в рассказе о себе спутника живописца Егора Смягина.

В истории жизни семинариста Николая использованы биография и некоторые черты облика дяди писателя — Григория Яковлевича Успенского. В письме к родителям от 13—15 января 1864 года писатель сообщает: «Пишу в «Современник» историю *Григория Яковлевича».* Г. Я. Успенский учился в московской духовной семинарии, затем преподавал греческий язык в тульской семинарии. «Не имея сил ужиться с окружающей его средою, — писал о нем один из мемуаристов, — и не видя исхода из своего положения, он, по примеру многих из своих сослуживцев, впал в пьянство. В этот период угара он влюбился в одну малоизвестную провинциальную актрису, женился на ней, бросил пьянство, хотел было зажить по-человечески, но было уже поздно: перенесенные нравственные страдания, притупляемые стаканчиками пенного, так пошатнули его здоровье, что он вскоре и умер» («Русское богатство», 1894, № 6, стр. 47).

Очевидно, рассказ предназначался для «Современника» и, так же как и ряд очерков «Нравов Растеряевой улицы», был напечатан в сборнике «Луч» в связи с закрытием журнала.

Откровенное изображение жизни и нравов захолустного духовенства и отношение Успенского к церкви и религии обратило на рассказ внимание цензуры, цензор отметил в нем насмешку «над обычными формами проявления религиозных чувств в наших купцах и вообще в необразованном классе».

ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК

(Страницы из одних записок)

Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки», 1874, № 2 (гл. I, II, III), № 5 (гл. IV, V). Пятый номер «Отечественных записок» был уничтожен по постановлению цензуры,

а напечатанные в нем главы повести появились в виде самостоятельного очерка, приспособленного к условиям цензуры, под названием «Хорошая встреча» в газете «Русские ведомости», 1874, №№ 288—289. Первоначальная редакция этих глав была опубликована в журнале «Нива», 1918, № 25.

Эта незаконченная из-за цензурных преследований повесть по своему построению близка к второй и третьей повестям цикла «Разоренье». Ее герой, интеллигент-дворянин, «по мере ближайшего знакомства с окружающей действительностью» приходит к сознанию ничтожности либеральных воззрений и их носителей. Участие в судебном деле, обнажившем ложь и узкие эгоистические интересы, господствовавшие в интеллигентской среде, приводит его к пересмотру всей прошлой жизни. Этот пересмотр представляет собой страстное обличение либеральной интеллигенции — «очень маленьких людей» (ср.: «неплательщики», «люди среднего образа мыслей» в других очерках 70-х годов).

Редактор «Библиотеки дешевой — общедоступной» А. Б. Каменский в письме к В. Г. Короленко от 27 января 1910 года указывает, что «прототипом» героя повести явился приятель Успенского П. В. Григорьев, участвовавший в революционном движении 70-х годов, человек, как его характеризует Каменский, «ломаный».

В III—V главах повести Успенский противопоставляет интеллигенции народ, среди которого «массы сильных натур, могучих характеров», как силу, способную изменить жизнь, «искоренить зло». В лице крестьянского парня Феди писатель создает образ человека из народа, «идущего снизу вверх», по «пути света» (см. также «Голодная смерть»). Этот образ создан под впечатлением, которое произвел на Успенского облик выходца из народа писателя-шестидесятника Ф. М. Решетникова. В биографии Решетникова (1873), написанной по материалам его архива, Успенский выделяет «непосредственное чувство правды», «скрытую, но истинную любовь к народу, желание ему пользы, добра» как характерные черты его личности.

Цензор Н. Лебедев отмечал «крайнюю тенденциозность» заключительной главы повести Успенского, напечатанной в «Отечественных записках». В ней, указывал цензор, писатель «выставляет одною из тормозящих общественное развитие причин всякого рода регламентации, не дающие возможности человеку развиваться согласно своему призванию и наклонностям. Говоря о простом народе, автор указывает на его безвыходное положение и инсинуирует на тунеядство и бесполезность людей обеспеченных». Далее цензор обращает внимание на критику писателем образования, предоставляемого крестья-

нам, а также на рассуждения Феди, который «приходит к заключению, что всех бесполезных людей следует искоренять, потому что от них вред... Со всеми этими рассуждениями автор вполне согласен и не только не опровергает, но называет азбучными истинами». Управляющий министерством внутренних дел в записке от 1 мая 1874 года писал по поводу IV и V глав: «В статье заключается в самой беззастенчивой форме проповедь социализма вообще и в частности пропаганда вражды между имущими и неимущими классами».

С КОНКИ НА КОНКУ

Впервые опубликовано в газете «Южный край», 1880, № 7, 7 декабря, под названием «Любя (Из памятной книжки)».

В очерке отразились личные наблюдения Успенского. В 1879—1880 годах писатель периодически бывал в Петербурге, где проживал на рабочих окраинах, о которых повествуется в очерке.

Созданный в годы, когда определяющей в творчестве писателя была крестьянская тема, очерк свидетельствует о непрерывном внимании Успенского к городскому «чернорабочему народу». Не случайно в 1883 году, подготавливая к изданию свое первое собрание сочинений, писатель в предисловии к циклу «Без определенных занятий» 1881—1882 годов замечал: «Из числа тех глав, которые следовало выкинуть из настоящего издания, я оставляю только одну, которая хотя и написана по поводу случайного явления, но имеет кое-какой *общий, постоянный интерес, так как касается участи городского пролетариата»* (курсив мой. — *М. Д.*).

В центре первой части очерка — фигура фабричного. Его монолог, проникнутый страстной ненавистью к «господам», показывает возросший уровень классового сознания российского пролетария. За ядовитой иронией фабричного скрывается подлинный социальный протест.

Рисуя пьянство как одну из характерных черт быта и нравов мастеровых и фабричных, Успенский подчеркивает, что в тех нечеловеческих условиях, в которые поставлены рабочие люди, пьянство для них единственная возможность «разогнуться». Следствием этих нечеловеческих условий является и страшный по своей сущности эпизод спаивания «любя» ребенка. Это тот обыденный факт, который, как писал Успенский, «требует от впечатлительного ума писателя огромной работы, анализа всего строя общества и неминуемо должен истерзать справедливое сердце» (статья «Смерть В. М. Гаршина»).

НОРОВИЛ ПО СОВЕСТИ

Впервые опубликовано в газете «Биржевые ведомости», 1878, № 42, 11 февраля, № 45, 14 февраля.

Рассказ Успенского о тяжелой личной драме в крестьянской семье раскрывает сложность и глубину душевного мира крестьянина. Рассказ является вариантом или, возможно, наброском истории отставного солдата и его жены из повести «Тише воды, ниже травы» (цикл «Разоренье»), однако в повести семейная драма носит ярко выраженный социальный характер.

УМЕРЛА ЗА «НАПРАВЛЕНИЕ»

Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки», 1879, № 9, под названием «Вокруг да около. Очерки и рассказы. I. Без покаяния, без причастия». Подпись: Г. Иванов.

Сохранился рукописный отрывок черновой редакции рассказа, не вошедший в печатный текст.

В конце 70-х годов в связи с нарастанием революционных настроений оживилось земское либеральное движение. ...либералы опять начинают все с той же „тактичности“: „не раздражать“ правительство! добиваться „мирными средствами“, каковые мирные средства так блистательно доказали свое ничтожество в 60-ые годы!» — писал Ленин о соглашательской и трусливой тактике либералов в этот период (В. И. Ленин. Сочинения, т. 5, стр. 36). Успенский в рассказе «Умерла за „направление“», созданном в то же время, обращается к эпохе первого демократического натиска, к 60-м годам, когда «стало открываться это самое направление», то есть выступили либералы с их пропагандой реформ «сверху» и резко отрицательным отношением к революционным, «незаконным» методам.

Своим рассказом писатель обличает соглашательскую и антинародную сущность политики либеральных деятелей, проповедующих мирные реформы «сверху», «законные пути» как средство достижения «народного блага».

Вводный эпизод о безуспешной попытке героя увидать Чернышевского («личность такая, что положительно на всю Россию одна...») на пути следования из Петропавловской крепости на место гражданской казни — Мытнинскую площадь 19 мая 1864 г. подчеркивает глубочайшее уважение и любовь писателя к вождю революционной демократии, идеологу крестьянской революции.

В письме к В. А. Гольцеву (декабрь 1888 года) Успенский вспоминал свое идейное одиночество и тяжелое душевное состояние в первые годы литературной деятельности. «Хороших руководящих личностей не было, — писал он. — В 1861 г. в ноябре я видел Добролюбова в первый раз — в гробу. В 1863 г. увезли Чернышевского в Сибирь...» Возможно, что эпизод, описанный в рассказе, носит автобиографический характер, так как во время гражданской казни Чернышевского Успенский находился в Петербурге.

Немногочисленные известные нам факты характеризуют отношение Успенского к личности и деятельности Чернышевского. Так, в библиотеке Успенского находились сочинения Чернышевского. В начале 1875 года он принял участие в хлопотах о написании и помещении во французской республиканской газете «Le rappel» большой статьи о Чернышевском. В 1875—1876 годах Успенский сблизился с революционером-народовольцем Г. А. Лопатиным, предпринявшим в 1870 году неудачную попытку освободить Чернышевского. Ему он передал список написанного в Сибири романа Чернышевского «Пролог, ч. 1. Пролог пролога», который получил от революционера М. Д. Муравского, отбывавшего каторгу вместе с Чернышевским. По этому списку роман был издан П. А. Лавровым в 1877 году в Лондоне.

Стр. 529. *...именно последней войны...* — Имеется в виду русско-турецкая война 1877—1878 годов, окончившаяся победой России и заключением Сан-Стефанского (19 февраля 1878 года), а затем Берлинского (1 июля 1878 года) договоров. Договоры предоставляли ряд преимуществ славянским народам, боровшимся за политическую независимость. Одним из пунктов этих договоров было образование Болгарского княжества. Англия и Австро-Венгрия занимали враждебную России и крайне агрессивную позицию в балканском вопросе.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗОРЕНЬЕ

(*Очерки провинциальной жизни*)

ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ

Редактор В. И. Морозова
Художник А. Я. Малков
Художественный редактор А. М. Гайденков
Технический редактор Л. П. Крючкина
Корректор А. А. Большаков

Подписано к печати 19/X 1955 г. М-41051. Бумага 84×108[1]|32 — 36,5 печ. л. 29,93 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 30,90+5 вкл. =31,10 л. Тираж 150 000 экз. Зак. 698.
Цена 11 р.

Гослитиздат. Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28.

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 4-я тип. им. Евг. Соколовой. Ленинград, Измайловский пр., 29.

ГОСЛИТИЗДАТ
1955